М·А·Алданов

БИБЛИОТЕКА «ОГОНЕК»

М·А·Алданов

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ В ШЕСТИ ТОМАХ

ТОМ 2

Москва
Издательство «Правда»
1991

84 Р 1
45 А

Составление и общая редакция
А. А. Чернышева

Иллюстрации художника
И. С. Айдарова

А $\frac{4702010201-2467}{080(02)-91}$ 2467-91

5-253-00377-0

Мыслитель



Заговор

ПРЕДИСЛОВИЕ

В основу настоящей книги легла мрачная историческая драма. В деле, закончившемся 11 марта 1801 года, сказалась с необыкновенной силой черта безвыходности. В совершенно безвыходном положении были и царь и цареубийцы.

Император Павел по характеру не был тупым, кровожадным извергом, каким не раз его изображали историки русские и иностранные. От природы человек одаренный и благородный, он стал жертвой душевной болезни, по-видимому, очень быстро развившейся в последние месяцы его царствования. Неограниченная власть самодержца превратила его личную драму в национальную трагедию.

Среди участников заговора были, разумеется, люди разные.

Первые пятнадцать лет 19-го века представляются мне самым блестящим периодом во всей истории России. Подход к этому времени был, по многим причинам, нелегкий. Нужно было прежде всего преодолеть в себе и казенного Иловайского, и Иловайского революционого,—для людей моего поколения второй был опаснее первого. Как романиста, меня в первую очередь занимали не исторические события, не политические явления, а живые люди. Долголетнее изучение документов, относящихся к людям, убедило меня в том, что не только наиболее выдающиеся из русских деятелей конца 18-го и начала 19-го веков (Суворов, Пален, Безбородко, Панин, Воронцовы), но и многие другие (Талызин, Вал. Зубов, Яшвиль, Завадовский, Строгановы, С. Уваров) в умственном и в моральном отношении стояли не ниже, а выше большинства их знаменитых западных современников, участников Французской революции. Убийцы Павла I составляли небольшую часть блестящей исторической группы. Но и часть эта отнюдь не была однородной: заговорщики говорили на разных языках — даже

почти в буквальном смысле этого выражения[1]. *Если б граф Пален остался у власти в царствование Александра I, вероятно, история России (а с ней и европейская история) приняла бы иное направление. Гадать на эту тему не приходится, но всемирное историческое значение дела 11 марта достаточно очевидно.*

Автор

Август 1927 года
Париж

---

[1] Слог людей поколения Палена, получивших воспитание в царствование Елизаветы Петровны, очень заметно отличается от языка деятелей александровской эпохи, уже довольно близкого к нынешнему.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

I

Солнце четко очерченным малиновым шаром просвечивало сквозь молочный туман. Казалось, будто странная чужая планета подошла к освещенной не ею земле и неподвижно повисла в тусклой белизне неба.

К Кушелевскому театру беспрерывно подъезжали экипажи, каждый раз неожиданно вырастая в тумане перед глазами будочников. Поспешно соскакивали лакеи, откидывали подножки карет и высаживали господ, которые, беспокойно оглядываясь на темневший вдали тенью Зимний дворец, осторожно по мерзлым ступеням лестницы поднимались в сени театра, бледно светившиеся дрожью масляных фонарей. Будочники, переводя глаза от седоков к кучерам, мгновенно меняли почтительное выражение лиц на злобное и строгое. Кареты быстро отъезжали, исчезая за серой стеной тумана.

Морщась от света ламп и от запаха горелого масла, Иванчук в сенях отряхнул снег с сапог, снял перчатки и заботливо положил в карманы шубы, так, чтобы их не оттопырить. Затем скинул с себя шубу и, сложив ее вдвое, мехом вверх, отдал у боковой вешалки лакею, которого несколько раз твердо и отчетливо назвал по имени, напоминая этим, что он здесь свой человек. Не торопясь, он осмотрелся перед тускло освещенным зеркалом под насмешливым взором дамы, желавшей поправить прическу. Иванчук, не поворачиваясь, через зеркало послал даме приятную, слегка игривую улыбку. За дамой в зеркале отразилась высокая фигура в мундире. Улыбка Иванчука стала чуть задумчивой,— будто он улыбался своим мыслям. Он отошел от зеркала и направился к дверям зрительного зала, испытывая, как всегда в большом обществе, легкое нервное

возбуждение. Его место было во втором ряду паркета: для первого ряда он еще считал недостаточным свое служебное положение, а третий стоил столько же, сколько второй. За свои деньги Иванчук желал и умел получать самое лучшее. Знакомый кассир оставлял ему даже на парадные спектакли всегда одно и то же, запиравшееся ключом, кресло. Таким образом, внимательные к мелочам люди могли думать, что кресло это взято Иванчуком по абонементу на целый сезон и что он, как человек очень занятой, посещает только парадные спектакли. Грациозно наклонив голову, слегка улыбаясь и повторяя «пардон», «миль пардон», Иванчук прошел боком к своему креслу, отпер ключом замок, но не сел. Он быстро одним взглядом окинул зрительный зал, сразу заметил почти всех, кто этого стоил, затем поднес к глазам лорнет (лорнеты опять вошли в моду) и, беспрестанно отводя его в сторону,—без лорнета он видел лучше,— принялся рассматривать залу, любезно раскланиваясь, с легкой улыбкой и с грациозным движеньем левой руки. Иванчука, состоявшего теперь на немаловажной должности при графе Палене, в лицо начинали знать почти все. Люди, неуверенно вспоминавшие его имя, смутно знали, что это очень способный и основательный молодой человек, делающий прекрасную карьеру. И даже неблагозвучная фамилия его, по мере того, как к ней привыкали, принимала какой-то новый, нисколько уже не смешной характер.

С легкой досадой Иванчук подумал, что приехал все-таки минут на пять раньше, чем следовало бы. Лучшие ложи первого яруса и места в паркете еще не все были заняты. Зато партер и второй ярус были набиты битком. В ложах верхнего яруса расположилось купечество, по преимуществу немецкое. Дамы там были одеты попроще и носили на шее не бриллианты, а жемчуга. Некоторые раскладывали на барьере бутерброды и филейное вязанье. Иванчук имел знакомых и в верхнем ярусе, но с ними не раскланялся. Он подошел к одной из лож и, часто оглядываясь, поговорил со старой дамой, которая ласково кивала ему головой.

Театр быстро наполнялся. На спектакле, сборном и благотворительном, было лучшее общество. Императорская ложа, однако, была пуста. Входившие в залу люди первым делом оглядывались на эту ложу и облегченно вздыхали, увидев, что в ней не зажжены свечи.

В проходе между сценой и первым рядом кресел показался граф Ростопчин. Учтиво отвечая на поклоны, он бы-

стро прошел к своему месту и остановился спиной к сцене, опершись на барьер. Иванчук мгновенно простился с дамой, скользнул в первый ряд и там, на виду у всего театра, пожал руку Ростопчину, который в последнее время очень благосклонно к нему относился. Ростопчин теперь занимал в обществе и в правительстве такое высокое положение, что мог без всякого ущерба для себя быть хорошо знакомым с кем угодно. Прежде особенно подозрительный, всегда находившийся настороже, он понемногу переходил на роль природного грансеньора, со всеми ровного в обращении: он уже одинаково *учтиво* раскланивался с Иванчуком и с графом Паленом. Сияя приятной улыбкой, Иванчук поговорил с Ростопчиным: по-настоящему это могли оценить в театре только пять или шесть человек его сверстников, но именно впечатление, произведенное на них, было особенно приятно Иванчуку.

На сцене гулко стукнули три раза молотком. Иванчук успел изобразить сожаление по поводу того, что начало спектакля не дает ему возможности продлить интересную беседу, и, наклонив вперед голову, прошел обратно во второй ряд, повторяя с сияющим выражением «пардон», «миль пардон». Как он ни любил общество высокопоставленных людей, он всегда, расставаясь с ними, чувствовал некоторое облегчение. Занавес поднялся с приятным, чуть волнующим шелестом. Одновременно в первую от сцены ложу вошел, вызывая общее внимание, граф фон дер Пален, военный губернатор Петербурга.

Под стук дверей и отодвигаемых стульев что-то сыграла на английской гармонике заезжая девица. Кроткое выражение ее лица свидетельствовало о том, что она знает свое место: девица всегда играла под стук дверей и шорох шагов. Ей похлопали в ложах второго яруса; в отсутствии императора аплодировать можно было кому угодно и когда угодно. Артистка встала, шагнула вперед и низко присела, наклонив длинную голову (она очень долго, по лучшим образцам, училась этому поклону). Хлопали девице мало, однако достаточно для того, чтобы она сочла себя вправе снова сыграть ту же пьесу,— к большому удовольствию немок и немцев второго яруса: чем дольше продолжался спектакль, тем им было приятнее.

Иванчука в театре интересовали исключительно антракты. Он отвернулся от сцены и снова принялся рассматривать зал. «Патрон какой именинник,— подумал Иванчук, глядя на графа Палена.— Он, впрочем, на людях всегда именинник... Тонкая штучка Петр Алексеевич, сущий Ма-

шиавель!.. А поглядеть глупому человеку со стороны — совсем душа нараспашку»,— думал Иванчук с удовольствием. Он с чрезвычайным почтением относился к своему начальнику, и ему особенно было забавно, что глупым людям со стороны Пален может показаться добродушным и простым человеком. В соседней с военным губернатором ложе сидела красавица Ольга Жеребцова. С ней Иванчук не был знаком и очень об этом сожалел. Он внимательно вглядедся в ее бриллиантовую диадему и оценил ее не меньше как в восемь тысяч — даже по ценам, сильно сбитым французскими эмигрантами, которые распродавали свои последние вещи.

«А ведь она этак долго будет играть — сыграет и повторит, сыграет и повторит... До Шевалихи еще далеко. Не пойти ли в ресторацию?»

В ресторацию во время спектакля выходили только важные люди или щеголи. Иванчук дождался конца пьесы и под шум новых, немного более жидких рукоплесканий направился к выходу, со снисходительной усмешкой, относившейся к игре артистки. У полуоткрытых дверей зрительного зала стоял только что вошедший красивый молодой генерал, командир Преображенского полка Талызин. Иванчук был с ним знаком, но не совсем; его раза два представляли генералу, однако уверенности, что Талызин его знает, у Иванчука не было. Он с достоинством поклонился и скользнул мимо генерала, говоря вполголоса:

— Мочи нет, как фальшивит...

Это замечание передавало Талызину инициативу дальнейшего: он мог, если хотел, начать разговор. Генерал приветливо протянул руку Иванчуку и, может быть, поддержал бы разговор об артистке. Но его внимание отвлек молодой невысокий офицер, тоже выходивший из зала.

— Вы, сударь мой, что ж, или знать меня не хотите? — сказал Талызин, ласково улыбаясь и хватая молодого человека за рукав.— Третьего дни опять не были, а?

Иванчук оглянулся на офицера, помешавшего ему поговорить с командиром Преображенского полка, и с удивлением узнал двадцатилетнего графа де Бальмена. «Не умеет Талызин соблюдать диштанцию,— подумал Иванчук.— С этаким клопом как разговаривает. А где же это он третьего дни опять не был?.. Говорят, Талызин зачем-то собирает у себя молодых офицеров».

— Странный нынче день! На солнце не больно смотреть, точно и не светит,— сказал Талызин.

Солнце не интересовало Иванчука. Он приятно улыбнулся и вышел из зала. В пустом коридоре было холодно. Иванчук, морщась, потрогал перед зеркалом суставом указательного пальца образовавшуюся у него в последнее время складку между шеей и подбородком («нет, это так,— успокоил он себя, поднимая голову,— вот и нет никакой складки»). Он снял с досадой только что замеченную им на левом плече пушинку от шубы («ох, стала лезть») и прошел в ресторацию. Она тоже была еще пуста. Буфетчик симметрично раскладывал на тарелках бутерброды, наводя на них пальцем последний лоск. Лакей, сонно сидевший в углу, вскочил и подбежал к барину, предлагая занять столик. Иванчуку не хотелось есть (в театр приезжали в четвертом часу прямо с обеда), да и денег было жалко. Столика он не занял, чтобы не давать на чай лакею, но у буфета выпил рюмку гданской водки и поговорил с буфетчиком, внимательно расспрашивая его об артистках и об их покровителях. Буфетчик отвечал неохотно. Иванчук расплатился. В эту минуту в ресторацию вошел Штааль. В руке у него был букет, обернутый в тонкую бумагу.

«Его только не хватало, куды кстати»,— со злобой подумал Иванчук. Штааль подходил к буфету, и ограничиться поклоном было невозможно.

— Ты что здесь делаешь? — небрежно протягивая руку, сказал Иванчук первое, что пришло в голову.

— Глупый вопрос,— кратко ответил Штааль, подавая левую руку.

Иванчук вскинул голову от неожиданности.

«Как этот болван озлобился после их похода, аж лицо стало другое. А ведь вернулся с поручением ранее всех и не ранен, слава Тебе, Господи! — подумал он.— Злится, что видел меня с Ростопчиным...»

— Мне коньяку дайте с зельцвасером,— неприятно щурясь, произнес Штааль и взял в левую руку букет с проступавшей на бумаге влагой.

— Белого или желтого прикажете?

— Желтого.

— Да ведь ты, кажется, не охотник до представлений,— сказал Иванчук, подчеркивая равнодушным тоном, что грубый ответ его задеть не может.— И то, скучно. Я, брат, признаться, зеваю от гипокондрии, когда не Шевалиха... Все одни персонажи. И на сцене, и в зале.

— Ты мне уже говорил это в Каменном театре.

— Да, да, всегда зеваю,— повторил, несколько смутившись, Иванчук. «Однако, правда, какая у него стала не-

приятная физиономия. Совсем не тот, что был прежде»,— подумал он.

— А когда Шевалье, то не зеваешь? — насмешливо спросил Штааль.

«Да, вот оно что, ведь он за ней волочится, дурак эдакой,— подумал Иванчук.— И букет для нее... Очень он ей нужен, твой трехрублевый букет...»

— Что ж, она без экзажерации [1] хороша,— сказал он.— И притом мила необыкновенно... Особливо не на сцене, а дома,— добавил Иванчук, и по лицу его вдруг скользнуло наглое выражение.— Я в четверг к ней собираюсь вечером. Ты, верно, тоже у ней будешь?

Штааль вспыхнул:

— Так ты у нее бываешь? Как же ты...

Он оборвал вопрос. «Ведь все равно этот лизоблюд не скажет, как он туда пролез. Какой он стал, однако, противный с тех пор, как в люди выходит!.. И голос жирный эдакой...»

— Бываю, бываю,— с невинным видом ответил Иванчук (он в первый раз получил приглашение).— В четверг уговорился быть у ней с патроном. Ну да, с графом Петром Алексеевичем... А ты разве не бываешь у Шевалихи? Твое начальство, кстати, тоже ее не забывает. Осенька де Рибас-то... Ведь ты при нем состоишь? Да, кстати, ведь он получил абшит [2]! Так ты теперь при ком же?

— Ни при ком,— кратко ответил Штааль.

— Ежели я могу быть тебе полезен, с превеличайшей радостью замолвлю словечко,— покровительственно сказал Иванчук. Он охотно давал такие обещания, так как считал, что они решительно ни к чему не обязывают: никогда без надобности не замолвлял словечка.

— И много народу у ней бывает? — перебил Штааль.

— У Шевалихи? Нет, немного,— неопределенно ответил Иванчук.

— Правда ли, будто она в связи с государем? — быстрым злым шепотом спросил Штааль.

Иванчук быстро оглянулся (буфетчик стоял далеко) и пожал плечами:

— Ну, разумеется, это всякий ребенок знает...

— А как же княгиня Гагарина?

— Что же Гагарина? Гагарина Гагариной... Ты бы еще спросил: «А как же императрица Мария Федоровна?» Глупый вопрос, брат,— сказал Иванчук, улыбнувшись от удовольствия.

---

[1] Преувеличение (*франц.* exagération).
[2] Отставка (*нем.* Abschied).

— Тебя кто ввел к Шевалье? — как бы рассеянно произнес Штааль и зевнул.

— Кто ввел? — так же рассеянно переспросил Иванчук.— Ты знаешь, здесь дует. Еще получу кашель, и без того физика расстроена... Пойду в зал... Кто ввел? Право, не помню. Мы давным-давно с ней хороши.

— А я думал, ты по вечерам в ложах,— сказал, с ненавистью на него глядя, Штааль.— Ведь ты стал фреймасоном?

Иванчук опять беспокойно забегал глазами по сторонам.

— Да ты не волнуйся, никто не слышит. Говорят, в «Умирающем сфинксе» много всяких богачей и знатных персон... Или ты не в «Умирающем сфинксе»?.. Ведь, кажется, и государь — масон? Так чего ж бояться? Совершенствуйся, брат, не мешает... Ну, вот теперь молчу, люди идут.

В дверях ресторации показалось несколько человек. Среди них был весело чему-то смеявшийся граф де Бальмен. Он подошел к буфету и поздоровался с Иванчуком и с Штаалем.

— Mais je la trouve très gentille, la petite, au contraire [1],— громко сказал он, оглядываясь на свою компанию.

— Кто эта жантиль? — покровительственно спросил Иванчук.

Де Бальмен уставился на него круглыми глазами, затем снова покатился со смеху.

— Что ж, как потеплеет, поедем на юг? — спросил он, видимо тщетно придумывая объяснение своему веселью.— Ведь решено?

— Поедем, ежели отпуск получу. А то работы у графа пропасть, истинный аркан. Может, и вовсе не поеду...

— Ты у графа по какой части? По Тайной канцелярии? — вызывающе спросил Штааль.

Де Бальмен удивленно на него взглянул. Иванчук вспыхнул. В это время издали донеслись шумные рукоплесканья. Из ресторации все устремились в залу. На сцене, сияя умиленной актерской улыбкой, стояла, вся в бриллиантах, госпожа Шевалье. Публика бешено аплодировала. У барьера, отделявшего залу от сцены, толпилась молодежь, восторгу которой кисло снисходительно улыбались, подбирая под себя ноги, важные люди, сидевшие в первом ряду паркета. Штааль пробился к барьеру, бросил свой букет к ногам артистки и отчаянно захлопал. Аккомпаниатор поднял букет, скромным жестом протянул его госпоже Шевалье и от-

---

[1] А по-моему, она, наоборот, очень мила *(франц.)*.

ступил на шаг назад. Красавица улыбнулась Штаалю особо и, опустив голову, поднесла букет к лицу. Еще несколько букетов упало на сцену. Аккомпаниатор подошел к клавесину, но не сел. Часть публики продолжала хлопать, часть взволнованно шипела, призывая к тишине. Артистка как бы с трудом оторвала лицо от букета и повернула голову к аккомпаниатору, который тотчас, стоя, опустил руки на клавиши. Молодежь бросилась по местам. В ту же секунду публика стала подниматься: клавесин играл мелодию «God save the King» [1]. Госпожа Шевалье запела по-русски:

Крани, Гаспод, крани
Монарка Россов дни,
Гаспод, крани...

Она пела, не разбирая заученных слов, произносила их по-французски и сама мило улыбалась своему произношению. Подавленный стон восторга пронесся по залу. То, что артистка выговаривала «гаспод-крани», еще усиливало общее восхищение.

...Рассискик он синов
И слава, и льубов;
Драгие Павля дни,
Гаспод продли!

Госпожа Шевалье закрыла глаза и взволнованно шагнула назад. В первой ложе, слегка перегнувшись над барьером, восторженно захлопал граф Пален.

II

Не дожидаясь последней пьесы длинного спектакля, Иванчук вышел в сени, потребовал шубу и дал на чай лакею, сказав: «Прощай, Петр». Другой лакей, сняв шапку, широко раскрыл перед ним выходную дверь. Иванчук поднял воротник и, постаравшись не заметить второго лакея, вышел на крыльцо, сжимая губы и ноздри. Туман рассеялся. Было очень холодно. Резкий ветер задувал горевшие у лестницы фонари. Будочников не было видно, и Иванчук об этом пожалел: он очень любил полицию. Небольшая кучка людей толпилась у цепи экипажей. Огромный бородатый сбитенщик с полотенцем, переброшенным через плечо, вдруг вытянулся перед Иванчуком у фонаря и закричал диким голосом: «Кто начнет, того Бог почтет...» Иванчук испуганно отшатнулся, затем крепко ругнул сбитенщика.

---

[1] «Боже, храни короля» *(англ.)*.

Тот смеялся пьяным смехом,— видно, он уж не раз проделывал эту шутку с выходившими из театра людьми и старался ею рассмешить народ. Иванчук неторопливо пошел вдоль вереницы извозчиков, как будто хотел для прогулки вернуться домой пешком: он никогда не брал первого в ряду, зная, что первый возьмет дороже. Дойдя до середины цепи, он, точно передумав, остановился и нанял, поторговавшись, извозчика, который, под недоброжелательный ропот, выехал из цепи, тотчас за ним замкнувшейся. Высокий сбитенщик следовал за Иванчуком и бормотал пьяным голосом: «А у вашего Никитки вот-то хороши напитки...» Иванчук презрительно отвернулся, плотно застегнул шубу и вложил руки в муфту. «Как бы *его* не встретить,— подумал он, имея в виду государя, при встрече с которым приказывалось выходить из экипажей.— Жуть какая, однако...»

По темному небу, догоняя сани, неровно бежала, вспыхивая голубыми краями, тусклая луна, окаймленная мутным сияньем. Извозчик свернул на Миллионную и поехал скорее. Иванчук, немного освоившись с пустынной, слабо освещенной улицей, тишиной и холодом, стал соображать расходы: билет, водка, на чай лакею, извозчик в оба конца... По мере того как росло благосостояние Иванчука, он становился все скупее: не потеряв времени на службе, он имел уже и клочок земли, и закладную на каменный дом, который, по состоянию дел и по характеру должника, непременно должен был скоро достаться Иванчуку в собственность. Были у него и деньги в Гамбургской конторе. Земли он не скрывал — говорил, что имение, хоть недурное, совсем не приносит доходу, а продать опять же нельзя: родовое. Но закладную, и особенно капитал за границей держал в большом секрете. Иванчук не боялся, что у него попросят взаймы: ему не стоило бы никакого усилия отказать — даже и неприятно не было бы нисколько. Но молчать было все-таки лучше. Он приторговывал еще другое имение под Житомиром, собирался туда съездить и уже подготовлял общественное мнение к своей покупке: знакомым он говорил неопределенно, что, быть может, ненадолго съездит по делу *на юг;* близким же приятелям доверительно сообщал, что, если б у него были деньги, он, пожалуй, купил бы еще клочок земли, где-либо под Полтавой или в Новороссии. Иванчук был скрытен не по замкнутости характера и даже не из расчета (никто не мог помешать ему купить имение, а *так:* не то по ограниченности, не то по наследственному инстинкту. В действительности

он твердо решил купить имение на Волыни и стать настоящим помещиком (первый клочок земли был действительно невелик и без порядочного дома. Но Иванчуку не хотелось сразу вынимать немалую сумму денег из Гамбургской конторы. «Теперь всего можно ждать»,— мысленно повторил он фразу, которую говорили все.

Хоть ему, собственно, ничего не приходилось бояться — он не имел никакого соприкосновения с императором,— мысли эти вызвали в Иванчуке смутное беспокойство, и одновременно он почувствовал, что еще было что-то неприятное — совсем недавно — в театре. «Да, Штааль. Ну и черт с ним! И не любит она его больше... Только как же с ней быть, с Настенькой? Надо попросить Шевалиху. Ей одно слово сказать, и Настеньку примут куда угодно...»

Он поспешно высвободил руку из муфты, нагнул голову и схватился за шапку. Слева рванул пронзительный ветер. У Иванчука захватило дыхание, слезы выступили на глазах и защемило в висках. Открылась темная огромная Нева, с медленно двигавшимися белыми пятнами последних, крытых снегом, льдин. В черной воде быстро дрожали вертикально в нее погруженные узкие огненные столбы. Извозчик повернул направо, выехал на площадь и торопливо сорвал с себя шапку.

Вдали чернела громада Михайловского замка. Лунный свет поблескивал на золотом шпиле. Два окна в верхнем этаже горели красноватым огнем.

«Зачем он шапку снял? Ведь государь еще не живет здесь... Или он сейчас во дворце?» — подумал Иванчук — и тоже немедленно обнажил голову, как предписывалось в последнее время делать перед дворцом, в котором находился император. Извозчик съежился и подтянул вожжи, зажимая под мышкой худую желтую шапку. Морщась от дувшего в затылок ледяного ветра, придерживая рукой волосы, Иванчук не отводил глаз от дворца. Михайловский замок был неприветлив и страшен. «Совсем почти готов. Капитальная, однако, штука... И то сказать, обошелся, говорят, в восемнадцать миллионов,— ну, правда, и крали немало»,— думал Иванчук. По ту сторону канала произошло движение. Ворота дворца медленно открылись. За ними у пушек показались окаменевшие фигуры часовых. «Это какие же ворота, Воскресенские?.. Нет, Рождественские»,— подумал Иванчук и вдруг вздрогнул. Вблизи загремел барабан. Что-то огромное пошатнулось над каналом. Быстро опустился подъемный мост. Из ворот, стоя в коляске лицом к Михайловскому замку, быстро выехал

офицер. Барабан замолк, раздалась команда, мост снова взвился над каналом. Извозчик растерянно оглянулся на седока с козел. Лицо у него было бледное.

— Поезжай живее, ты! — приказал Иванчук, соображая, можно ли уже надеть шапку. Извозчик ударил вожжой по лошади и пробормотал что-то невнятное. «Зачем, в самом деле, этот мост, зачем пушки? Или вправду, как болтают, затеян кем-то заговор?» — спросил себя, замирая, Иванчук, нервно откидываясь на неудобную невысокую спинку саней. Он с облегчением подумал, что не имеет и не будет иметь никакого отношения к заговору (если заговор и существует). «Разве только играя наверняка? И то нет». Мысли его перескочили к Тайной канцелярии, затем к масонам. Иванчук лишь недавно стал масоном, узнав, что в ордене состоит государь. «Да, полно, еще состоит ли?» — думал он беспокойно, вспоминая, что в ложе разговор всегда странно обрывался, когда речь заходила об императоре. «Не спросить ли об этом нынче Баратаева? Нет, еще неловко. А проще бы, пожалуй, орудовать через Шевалиху или Ростопчина, чем через них». Он очень боялся масонов, особенно потому, что не знал пределов их власти и компетенции. «Ну, если они губернатора пожелают другого назначить — могут аль не могут?» Он все же склонялся к тому, что не могут.

Мысли его стали совсем мрачными.

Из предосторожности Иванчук велел извозчику остановиться, не доезжая до баратаевского дома, в котором должно было состояться заседание масонской ложи. Вытащив из кармана кусок бумаги, он старательно вытер им сапоги, бросил грязный комок на мостовую, вылез из саней, расплатился с извозчиком и, осмотревшись, направился дальше пешком. В доме Баратаева были освещены только три окна. Лакей запуганного вида, дремавший в передней под фонарем, с удивлением посмотрел на Иванчука. Шуб на вешалке не было.

— Что, разве никого нет у барина? — спросил Иванчук.

Узнав, что никого нет, он посмотрел на часы, затем нерешительно велел о себе доложить. Лакей, однако, не пошел докладывать, а пригласил гостя следовать за собой. Они пошли по лестнице, затем по коридорам. Запахло аптекой. У высокой двери лакей испуганно остановился, постучал, затем, открыв дверь, пригласил гостя войти. В освещенной свечами комнате никого не было. Иванчук осмотрелся и с неприятным чувством увидел стоявший в углу на небольшом пьедестале человеческий скелет. Поста-

рался устроиться от него подальше: сел было за большой стол, посредине комнаты, но и тут ему не понравилось. На столе под укрепленной на песчаной бане ретортой с какой-то красноватой жидкостью горел слабый огонь. Иванчук перешел к маленькому, обтянутому черным бархатом столу, на котором лежали разные книги. Он сел на неудобный низкий стул, подогнув под себя ноги, сложив руки, которые решительно некуда было деть. Против него висели на стене в черных рамах две картины. Одна изображала фигуру человека. На светло-коричневой груди его с левой стороны, чуть повыше сердца, свилась зеленая змейка с надписью «Самолюбие». Под фигурой было написано: «Земной естественной темной человек». На другой картине пожилой бритый мужчина в тоге и сандалиях, вытянув в сторону левую руку, сидел в задумчивой позе где-то очень высоко, над памятниками, куполами, крышами города. Надпись поясняла:

Ужели это все?.. так Цесарь возвещал,
Когда вселенною он всей возобладал.

Неприятное чувство все усиливалось в Иванчуке. Он потрогал черный кожаный переплет одной из книг, затем нерешительно стал пересматривать книги. «Господина Макера начальные основания умозрительной и деятельной химии»... Immanuel Kant. «Träume eines Geistersehers, erläutert durch Träume der Metaphysik...» [1] «Это тот кенигсбергский старичок, о котором всегда врет Штааль... А это что, экое длинное заглавие!» Он прочел полушепотом заглавие книги в дорогом золоченом переплете (по-немецки он знал лучше, чем по-французски): «Die wahrhafte und volkommene Bereitung des philosophischen Steins, der Bruderschaft aus dem Orden des Gulden- und Rosen- Creutzes. Darinne die Materie zu diesem Geheimniss mit seinem Namen genennet, auch die Bereitung vom Anfang bis zum Ende mit allen Handgriffen gezeiget ist...) [2].

«Так и есть, он розенкрейцер»,— подумал Иванчук. Слово «розенкрейцер» было интересное и страшное, гораздо интереснее и страшнее, чем фреймасон.

Внезапно дверь кабинета распахнулась, и в комнату вошел Баратаев. Иванчук поспешно встал, сделал несколько

[1] Иммануил Кант. «Грезы духовидца, поясненные грезами метафизики» *(нем.)*.

[2] «Истинное и полное [описание] изготовления философского камня, данное братством Ордена гульденкрейцеров и розенкрейцеров. В коем сущность этой тайны поименована и само изготовление со всеми его приемами от начала до конца изложено...» *(нем.)*

шагов вперед и мягко улыбнулся. Но хозяин, не глядя на него, быстро подошел к большому столу и наклонился над ретортой. Неловкая улыбка повисла на лице Иванчука. Он испуганно смотрел на Баратаева.

Красная жидкость в реторте слегка дрожала. Со дна по краям побежали пузырьки. Вдруг пузырьки появились и посередине, вся поверхность жидкости задрожала, и на конце длинного оттянутого горла реторты показалась бесцветная капля, наросла и сорвалась в подставленную под горло черную бутылочку. Баратаев с восклицанием быстро отвел из-под бани черную лампу. На лампе была надпись: Ardarel.

«Что ж, этот сумасшедший и не думает со мной поздороваться»,— подумал Иванчук, нехотя готовя себя к тому, чтобы обидеться (он очень не любил обижаться). Но обидеться он не успел. Баратаев повернулся к нему и протянул свою огромную, длинную руку.

— Прошу простить, сударь,— сказал он.— Не сочтите невниманием.

— Ах, ради Бога...

— Прошу садиться,— отрывисто произнес хозяин и снова наклонился над ретортой. Красная жидкость медленно успокаивалась. Баратаев взял из-под горла черную бутылочку (на ней было написано: Nekaman) и закупорил пробкой.

— Рад посещению,— вопросительным тоном сказал он, садясь в кресло. Изможденное лицо его было мрачно и неприветливо. Во впадинах щек темнели тени.

— Я, кажется, приехал слишком рано,— начал Иванчук.— Помнилось мне, будто собрание нашей ложи должно быть в осьмом часу?..

Баратаев смотрел на него, очевидно стараясь что-то сообразить.

— Собрание ложи? — переспросил он холодно.— Отложено. Жалею... Будет не у меня, но на Васильевском острову.

— Как отложено? — воскликнул Иванчук.— Мне ничего не дали знать.

— Из чужих земель прибыло одно лицо,— сказал нехотя Баратаев.— Имеет важную нотицию об их делах и о французском Востоке. Собрание по сией причине отложено. Не чаю, чтобы было ранее той недели... Верно, не знали, где изволите стоять. Не взыщите.

— Да что ж, беды никакой,— сказал Иванчук с достоинством и поднялся с места.— Тогда не смею более беспокоить.

Хоть он нисколько не желал оставаться в обществе старика, в этой странной комнате,— его неприятно задело, что хозяин ничего не сказал и даже не пытался его удержать. Баратаев проводил Иванчука до двери и простился, недоброжелательно глядя на гостя. Стараясь не сбиться в неровных, очень плохо освещенных коридорах дома, Иванчук вышел к лестнице. В передней сгорбленный старик, при помощи лакея, с трудом освобождал руки из рукавов шубы. Отдав шубу лакею, старик устало опустился на скамейку, скользнув по Иванчуку острым взглядом из-под густых желто-седых бровей. «Дряхлый, однако, черт!.. Лоб что старая кость»,— подумал Иванчук. Ему очень хотелось узнать, кто это. Но узнать было не у кого. Он с полупоклоном приподнял шапку и вышел.

Иванчук вернулся домой в десятом часу, еще побывав в двух местах,— в одном по делу, в другом больше так, чтобы напомнить о себе людям. В гостях он не засиживался — не любил поздно возвращаться домой (хоть имел особое разрешение для выхода на улицу в ночные часы). Жил он вблизи Невского, в небольшой квартире из четырех комнат, которая была бы совсем хороша, если б парадная лестница была побогаче. К Иванчуку, впрочем, редко ходили приятели — он не всем сообщал и свой адрес. Но зато когда принимал гостей, то бывал очень хорошо расположен и всячески о них заботился.

Усталый и возбужденный, он возвращался домой пешком, внимательно всматриваясь в редких прохожих, шедших ему навстречу, и оглядываясь на тех, кто шел позади. Мысли его были заняты Настенькой. Не было надежды, чтобы она ждала его так поздно, но Иванчуку очень хотелось ее увидеть. Ему вдруг пришло в голову, что все его занятия и успехи, в сущности, ничего не стоят по сравнению с наслаждением и счастьем, которые давала ему Настенька. Эта мысль его удивила и растрогала. «Не бросить ли все, в самом деле, и не увезти ли ее в деревню? Право, надо бы подумать...»

Подходя к своему дому, Иванчук ускорил шаги, отпер дверь, затем поспешно повернул за собой два раза ключ в замке и еще для верности потянул дверь за ручку — точно кто-то за ним бежал и собирался ломиться в дом. Его сразу охватило чувство спокойствия и уюта, как после счастливо избегнутой опасности. Лестница была слабо освещена желтоватым огоньком сальной свечи, горевшей на первой площадке. Ковер на ступенях был лишь до второго этажа, да и то потертый и грязный. По нижней лестнице

Иванчук шел на цыпочках (жилец бельэтажа, сердитый немец, не любил шума); на второй площадке он остановился и подумал, что сейчас за дверью сонно заворчит собачонка, та, что спит у капитанши Никитиной, на сером тюфяке, на пороге боковой комнатки, в которой помещается Володя, кадет первого корпуса, когда ночует у матери. «Сегодня, верно, дома: суббота...» Иванчук знал в подробностях все, что делалось в квартирах жильцов его дома и даже в соседних домах. Собачонка заворчала, и он удовлетворенно пошел дальше. На третьей площадке было уж совсем темно, но Иванчук и в темноте мгновенно, безошибочным движеньем, отыскал ключом скважину замка, отпер дверь и по отсутствию полосы света на полу коридора с грустью убедился, что Настеньки не было. Он вздохнул, засветил свечу и вошел в столовую. На столе стояли блюда, покрытые перевернутыми тарелками, и бутылка пива. Под ней Иванчук тотчас увидел бумажку, сложенную лодочкой, как всегда складывала письма Настенька. Он развернул листок и прочел. Записка была заботливая и нежная. Настенька извещала, что ждала его до половины девятого, потом ушла и что на малом блюде рубленая селедка с луком, «как вы любите», а на большом — телячья котлета и ее можно разогреть, и это лучше, чем есть холодной. «Прелесть какая милая»,— подумал Иванчук с нежностью и даже хотел поцеловать записочку, да стало совестно. Он надел мягкие туфли, снял кафтан, галстук, повесил их, как им полагалось висеть, и с жадностью поужинал, думая, по давно заведенной привычке, во время еды только об еде,— так было много приятнее. Затем он перебрался в гостиную, которую особенно любил. В ней мебель была совсем новенькая, модная и блестящая: выкрашенная под красное дерево, с медузиными головками накладной латуни, обитая красным кашимиром, с красной бахромой и кистями. В гостиной немного пахло перцем, которым хозяин выводил моль. Иванчук сел в мягкое кресло, протянул ноги к печке и опять вернулся мыслями к Настеньке. Ему очень хотелось бы посидеть с ней по-хорошему. «Эх, надо было прийти раньше... Да, в самом деле, не бросить ли все это?» Его трогало, что он так сильно любит Настеньку: он попробовал представить себе жизнь без нее,— конечно, представить было можно, но жизнь выходила не та. «Не жениться же мне на ней, однако»,— нерешительно подумал Иванчук и сам испугался, что подумал об этом так нерешительно. От усталости, от тепла, от еды и пива его сильно клонило ко сну. Он рассеянно снял на-

гар со свечи и вспомнил, что кто-то сегодня при нем смешно назвал это по-французски: moucher la bougie [1]... «Страшный еще тоже был шкелет в кабинете того сумасшедшего... И что это он все кипятит?» Глаза у Иванчука стали маленькие. Он с усилием оторвал ноги от печи, поднялся и торопливо, пошатываясь, перешел в спальную. Кровать была постлана, концы розового стеганого одеяла вынуты из-под подушки и положены поверх наволочки. Это тоже было Настенькино дело, еще более трогательное, чем забота о селедке и о телятине. «Милая девочка»,— сказал опять Иванчук и радостно подумал, как он завтра по привычке проснется ровно в шесть часов, вспомнит, что рано вставать не надо: воскресенье,— и тотчас снова заснет уже до десяти. Он быстро разделся, лег, вздрагивая от прикосновения холодной простыни, вытянул ноги под одеялом и с наслаждением уперся ими в тепловатую деревянную спинку кровати, так что в коленках захрустело. «С Настенькой было бы приятнее, но и так хорошо»,— подумал он, согреваясь. На столике, рядом со свечой, графином и коробочкой карамели, лежала книга «Нежные объятия в браке и потехи с любовницами (продажными)». Иванчук, зевая, вытащил конфету и с усилием развернул бумажку. Кусок бумажки пристал к конфете, но отскребывать не хотелось. Иванчук положил карамель в рот, постаравшись возможно скорее выплюнуть шероховатую бумажку, взял книгу и, скосив глаза набок, стал читать «утехи отца и матери и вообще удовольствия блаженного супружества». Книга была забавная, но и спать было очень хорошо. Карамель во рту растаяла. Иванчук почитал еще об уловках, проказах и шутках любовниц, все представляя себе при этом Настеньку, улыбнулся и вдруг, не поднимая головы от подушки, дунул. Пламя свечи метнулось в сторону, но не погасло. Он сделал отчаянное усилие, поднялся на локте и задул свечу. Хотел еще положить книгу на столик, но уже не мог. «Еще, пожалуй, стакан опрокину»,— подумал Иванчук, засыпая.

III

Ламор уселся в кресло и внимательно осмотрел комнату.

— Вы у Демута остановились? — спросил Баратаев по-французски.

---

[1] Moucher — вытирать нос; второе значение — снимать нагар со свечи *(франц.)*.

— Да, у Демута.

— Отчего же не у меня? Я вам предлагал свой дом.

— Благодарю. Зачем вас стеснять? Да и мне, пожалуй, здесь было бы невесело. Я хочу сказать, не так весело, как всегда... Это ваша лаборатория?

— Да.

— Я очень люблю химию... И алхимию... Ведь это, впрочем, одно и то же. Вдруг химия переродит мир, а? Я когда-то много спорил о перерождении мира с графом Мирабо. Умный был человек, чрезвычайно умный, хоть занимался всю жизнь пустяками. Так он и умер, от попыток возродить мир и от последствий сифилиса... Скучная, в общем, вещь история, а отдельные эффекты все-таки попадаются блестящие и неожиданные. Вот я и думаю: что, если миру суждено переродиться самым неожиданным образом? Революция человечество, наверное, не накормит, а алхимия, может быть, и накормит. Сытое человечество, как сытый зверь, станет спокойнее, смирнее и, вероятно, бездарнее. Но тогда вы, пожалуй, создадите в этой лаборатории гомункулуса? Только, пожалуйста, не «по образу и подобию Божию».

— Что ж, вы были у Панина? — спросил Баратаев. «Заладил с места»,— подумал он угрюмо.

— Был. Умный и интересный человек,— очень, правда, беспокойный, как, впрочем, кажется, теперь вы все? У меня были к нему рекомендательные письма. Ведь дело между Россией и Францией идет к миру.

— А вы, собственно, зачем к нам пожаловали?

— По просьбе первого консула. Он предложил мне съездить в Петербург, посмотреть, что делается, послушать, что говорится, и обо всем ему доложить. Не скрываю, у генерала Бонапарта сейчас здесь немало агентов, секретных, полусекретных и даже совсем почти не секретных. У первого консула, как у многих государственных людей, есть маленькая слабость к тайным агентам.

— Поговаривают у нас о здешней артистке, госпоже Шевалье.

— Я собираюсь к ней заехать. Сам я себя особенной тайной не окружаю да никаких таинственных поручений и в самом деле не имею. Только что паспорт не совсем настоящий, но у меня настоящего давно, давно нет, и зачем же непременно иметь настоящий паспорт? Первый консул вдобавок, я слышал, в большой милости у вашего монарха? Правда ли это?

— Не знаю... Меня мой монарх интересует мало. Да

и первый консул немногим больше. Зато у вас он в большой милости? По-прежнему?

— Нет, пожалуй, несколько меньше прежнего... Вы, помнится, меня когда-то упрекали, что уж слишком грубо я подхожу к людям и к жизни: главного будто бы не вижу и не понимаю. Может быть: я и сам иногда так думаю. А все-таки скажу: кого только я, древний старик, не встречал, кого не знал близко!.. Что ж, ошибался ли я в оценке людей, с которыми сталкивала меня судьба? Да, разумеется, бывало. Но как? Недооценивал? Нет,— истинно вам говорю — я переоценивал гораздо чаще. Теперь (уже довольно давно) я к каждому новому человеку подхожу с самыми худшими предположениями на его счет. Поэтому я остаюсь вполне равнодушным, когда мои предположения сбываются, а в случае ошибки испытываю приятное удивление. Так много спокойнее жить. Советую и вам попробовать... Руссо, король трагикомических писателей, утверждал, что человек родится совершенным — и становится мерзавцем. Что, однако, если он и родится,— скажем, не вполне совершенным? А то, в самом деле, откуда взялись бы и инквизиция, и драгоннады, и террор, и санфедисты, а?

— Так что же?

— И хоть бы счастье это ему давало,— нет, он вдобавок еще и несчастен. Я на своем веку видал с десяток счастливых людей — из них человек пять были круглые дураки, остальные пьяницы или, реже, фанатики. И хоть бы несчастье облагораживало, как это часто утверждают. Вздор! Никого оно не облагораживает. От вполне несчастных людей веет скукой — и только. Мы инстинктивно их избегаем... Я почему об этом заговорил?.. Да, вы спрашивали меня о Бонапарте. Спора нет, генерал Бонапарт — огромный человек. Однако и его историческую роль я несколько переоценил. Первому консулу достался в наследство от Директории большой публичный дом. Бонапарт медленно и верно перестраивает его в казарму. Разумеется, казарма во всех отношениях лучше публичного дома. Но это все-таки лишь казарма, а никак не Эдемский сад и не Платонова академия.

— Так вы рассчитывали на Эдемский сад? — с неприятным смехом сказал Баратаев.— Жаль, что разочаровались... Но зачем же вы продолжаете служить первому консулу?

Ламор помолчал.

— Вопрос правильный, и ответить мне нелегко. До

19-го брюмера было бы легче. Долго я ждал конца,— и дождался. Сделано это дело было мастерски — вы, верно, уже слышали? Я был в день переворота в оранжерее Сен-Клу. Мне дано было стать свидетелем исторической расплаты за десять лет словоблудия. Не говорю, за десять лет преступлений: преступлений и теперь будет достаточно... Я слышал, как вдали раздался зловещий грохот барабанов. Я видел, как гренадеры Мюрата ворвались в залу заседаний. Это было незабываемое зрелище. Господа депутаты прыгали из окон дворца, путаясь ногами в своих величественных римских тогах. Все эти люди сто раз клялись лечь костьми за дело свободы. Их здоровье сейчас, слава Богу, не оставляет желать ничего лучшего. Впрочем, я здесь, кажется, пристрастен. Знаю за собой некоторое недоброжелательство в отношении этих людей. Ведь цели-то у них были в конце концов недурные... Не люблю, не люблю самодовольства,— с внезапным раздражением сказал Ламор.— А у этих передовых людей личики всегда так и сияют. За ними, видите ли, история! Радость какая, а? Один черт знает точно, за кем история. Может, и за ними... Большая дорога, кажется, в самом деле идет именно в этом направлении. Правда, и сворачивает иногда история с большой дороги. Вот теперь ее немного повернул Бонапарт. Будет трагическое интермеццо между скучноватыми действиями.

Ламор помолчал. Баратаев глядел на него угрюмо.

— Таким образом, с эстетической стороны я был вполне удовлетворен событием брюмера — грех жаловаться и чего же еще желать? Но этого, конечно, недостаточно для «исторического оправдания дела»... Прекрасное слово «историческое оправдание»,— я всегда его любил. Прежде я думал, что мы с генералом Бонапартом спасаем остатки французской культуры. Но теперь начинаю подозревать, что она прекрасно могла спастись и без нас. Очень выносливая вещь — культура: вынесла халифа Омара, вынесла Аттилу, вынесла Тамерлана,— может быть, ее не погубили бы и еще лет десять — пятнадцать революции. Как вы думаете? Я говорю себе в утешение, что первый консул выполняет роль исторического сита: через него процеживается наследье умершего восемнадцатого столетия. Мне суждено было провести жизнь в этом столетии — грешный человек, я его люблю. Не скучал — и на том спасибо... Можно, можно кое-что оставить. Разумеется, немало дряни пройдет сквозь сито, немало ценного останется на сите — ничего не поделаешь. В общем, все-таки сито — вещь нуж-

ная. Только теперь, видите ли, во Франции началась «созидательная работа». А это совершенно не мое дело — снабжать деревни повивальными бабками. Трудно вообще от меня требовать политических восторгов, но у нас мне было особенно тяжело. Для старика, как я, нет ничего мучительней, чем новая жизнь на старом пепелище. Тяжело было смотреть, как разрушали, но право, легче было, чем теперь, когда строят. Они все теперь что-то строят, все во главе с первым консулом. Новое строят, и все точно повторяют: новое, новое, новое... Очень может быть, что это новое будет и лучше старого. Ненамного, конечно, лучше. Но смотреть мне на это было гадко. Я не прочь был съездить к вам в гости...

— Милости просим.

— Надо же что-нибудь делать. Только уж очень у меня разъехались мысли, и все труднее мне их связать, склеить, прилизать... Ведь чего живой человек за один день не передумает, а тем более за семьдесят лет!.. Есть люди, у которых не один, а несколько характеров. И добрый десяток умов на придачу. Я у нас во время террора мечтал о режиме Людовика XIV. Пышный двор, блеск, красота, а? Взять Лувр или Версальский дворец — ведь демократия таких не выстроит, правда? Или Notre Dame? Ни для университета, ни для парламента, ни даже для биржи этакого храма не создадут... Что и говорить, не Бог знает какие орлы нынешние европейские монархи. Но все-таки сколько красоты унесут они с собой из мира, когда исчезнут навеки! Так я думал, сидя в Консьержери. А вот поживу у вас, вероятно, помяну добром покойного Робеспьера. Упокой Верховное Существо его бессмертную душу! Скачут, скачут мои мысли...

— А вы лечитесь.

— Не стоит: скоро умирать.

Он взял со стола книгу.

— Канта читаете! Я проездом был у него в Кенигсберге. Лучше было бы, если б не заходил: тяжело! Он впал в детство, не меняет больше белья, подвязывает чулки к пуговицам жилета. Уверял меня, что погода составила против него заговор... Очень тяжело смотреть. Я на своем веку, как, впрочем, все люди, видел достаточно разных memento mori! [1]. Чем memento mori банальнее, тем оно действительнее. Заметьте, что и мысли, связанные с memento mori, всегда очень банальны. Ну, труп, могила, черви — умного

[1] Помни о смерти *(лат.)*.

ничего не скажешь. Однако впавший в полуидиотизм Кант — это такое зрелище, которое не может изгладиться из памяти. Другой об этом забудет, а вспомнит «Критику чистого разума». Я «Критику» помню, но и этого при всем желании никак не могу забыть... А за всем тем что ж?.. Вы говорите, я все ненавижу. Это неверно. Я многое люблю. Природу очень люблю. Не то что какую-нибудь долину Колорадо (красивей я ничего не видал) — нет, самую обыкновенную природу: где есть вода, и солнце, и зелень, там и чудесно. Даже в вашем петербургском холодном ветре есть своя прелесть. Музыку тоже очень люблю. Умные книги еще больше люблю. Только ум и талант ведь и живут вечно. Ну, не вечно, так долго. Теперь я, впрочем, мало читаю, больше о делах инквизиции, о делах революции,— чтобы приятнее было, знаете, покидать эту милую землю... Да, кстати о книгах, я вам привез подарок, зная, что вы занимаетесь химией.

Он вынул из кармана небольшую тоненькую книжку в белом кожаном переплете.

— Что это такое?

— Это автобиография алхимика XV-го столетия, графа Бернарда Тревизского, довольно редкое издание. Прелестная вещь... Граф был очень славный, доверчивый человек, от всего сердца любивший науку. На нее, на опыты, на путешествия в поисках философского камня, он потратил все свое состояние. Очень он трогательно рассказывает, как его надували разные нехорошие люди. Так и дожил, бедный, до седых волос. Впрочем, я вам прочту.

Ламор перелистал книжку и, отыскав нужную страницу, стал читать:

— «Et par ainsi ie despendy en ces choses, que cherchant que allant, que pour esprouuer, que pour aultre chose bien dix mil trois cens escuz & fuz en moult grâde pouurete et si n'auoye plus guerres d'argent. Aussi l'estois ia vieulx de soixante deux ans & plus, & encoires quelque martire que j'eusse, peine, & souffreté, & vergoigne, qu'il me falloit laisser mon pays...» [1].

Он засмеялся:

— Наконец старик обозлился. Ругает этих шарлатанов последними словами, кричит: «trompeurs! larrons pendables!

---

[1] «И таким образом я потратил на те вещи, которые искал и изучал, которые исследовал, а также на иные вещи десять тысяч триста экю и дошел до последней степени бедности и не имею более средств. И теперь я старик, мне более шестидесяти двух лет, я подвергался разным мучениям, испытывал горе, страдания и позор, и мне пришлось покинуть мою страну» *(франц.)*.

И советует бежать от них как от чумы: «Laissez sophistications, & tous ceulx qui y croient, fuyez leurs sublimations, coniunctions, separations, congelations, preparations, disiiunctions, conexions & aultres deceptions» [1]. Я обрадовался, прелестный ведь старичок... Но выводом своим он меня порадовал еще гораздо больше.

— Каким выводом? — с раздражением спросил Баратаев.

— Оказывается, другие алхимики действительно идиоты и обманщики, но сам-то граф все-таки открыл великую тайну: «Car il n'y a aultre vinaigre que le nostre, ne aultre regime que le nostre, ne aultres coulleurs que les nostres, ne aultre sublimation que la nostre, aultre solution que la nostre, aultre congelation que la nostre, aultre putrefaction que la nostre...» [2].

Старик засмеялся снова:

— Дарю вам это полезное сочинение.

— Благодарю за подарок. Я все же удивляюсь вашей смелости. Издеваться над тем, о чем не имеешь представления... Впрочем, бросим это.

— Да, бросим.

Ламор положил на стол книгу.

— Как вы знаете, я имею к вам и масонское дело,— сказал он, помолчав.

— Знаю.

— Мы в прошлом году воссоздали Великий Восток Франции. Во главе его Ретье де Монтало. Уже действует несколько десятков лож, мы решили возобновить и международные связи. Сношения с Россией у нас прежде были довольно тесные — кому же и знать, как не вам? Мне поручено побеседовать в Петербурге с вами, еще кое с кем. Я уже говорил с генералом Талызиным. Он просит меня подробно их со всем ознакомить.

— Ну что ж, вы и ознакомьте.

— Талызин пригласил меня к себе на ужин для разговора.

— Я знаю, он звал и меня. Вы о чем будете говорить?

---

[1] «Обманщики, мошенники, достойные виселицы!.. Бросьте эти подделки и всех, кто в них верит, бегите от их сублимаций, соединений, отделений, замораживаний, приготовлений, разделений, связей и прочих обманов» *(франц.)*.

[2] «Ибо нет эссенции, кроме нашей, и режима, кроме нашего, и красок, кроме наших, и сублимации, кроме нашей, растворов, кроме наших, замораживаний, кроме наших, другого разложения, чем наше...» *(франц.)*.

— Хотел бы о многом, да не знаю, стоит ли? Ведь мне состав слушателей неизвестен.

— Будут люди умные и порядочные.

— И по-французски все понимают?

— Разумеется.

— Тогда я, быть может, поделюсь некоторыми своими мыслями. Говорил я во Франции, послушаю, что вы скажете...

— Так вы вернулись к масонству?

— Формально я всегда к нему принадлежал... Но теперь увлечен его идеями больше, чем полвека тому назад. В мире дьяволу принадлежит все, а в масонстве только как-никак пятьдесят процентов. Ведь я, быть может, самый старый масон из всех ныне живущих на свете. Надеюсь, вас не очень удивят мои последние мысли. Я во многом гораздо ближе к вам, чем вы думаете. Вот только обхожусь без скелета и без этих картинок для малолетних. Да и вы их, должно быть, повесили на стену лет тридцать тому назад, правда? Не снимать же на старости, я понимаю. Есть масонство общедоступное. Оно ни меня, ни вас не интересует, оно мало отличается от других религиозных учений. Разве что совместило с моральным совершенствованием производство в высшие степени, что-то вроде служебного повышения... И есть символы большой глубины, есть величественная поэзия мысли. Я верю, что наш орден был основан Соломоном. Но к этому масонству можно прийти, только подарив окончательно мир дьяволу. Говорю аллегорически — вам, конечно, моя мысль понятна?

— Больше, чем понятна. Однако сомневаюсь в том, чтобы мы могли с вами сойтись... Может быть, в отдельных взглядах, но не в главном. Главное от вас всегда ускользало. Я давно вас знаю — и слышал от вас много самых разных речей... Слова и мысли были разные, а тон всегда один и тот же... Вы уж во всяком случае не из тех людей, у кого несколько характеров. Души у вас и одной не найдется. И упрекал я вас никак не в грубости мысли, а именно в этом: тяжел, очень тяжел и однообразен тон вашей души...

— Ведь и у вас он, кажется, нелегкий? Вы все-таки послушайте то, что я скажу у Талызина... Что за человек, кстати, Талызин?

— Прекрасный человек. Умный и благородный.

— Влиятельный?

— Не думаю,— сказал Баратаев с удивлением.— У нас кто же влиятелен? Ростопчин, Кутайсов...

— Вы их знаете?
— Желал бы не знать...
— Могли бы меня с ними свести?
— Нет, увольте. Всего влиятельнее сейчас, кажется, люди из Тайной экспедиции. Но им нельзя руку подать.

Ламор усмехнулся.

— Руку можно подать кому угодно,— сказал он, глядя на часы,— я здоровался бы с Картушем... А о Палене вы что думаете?

— Очень умный человек.

— Да, по-видимому. Я не знаю, чего он хочет. Но он зато прекрасно это знает,— что́ бывает не так часто, особенно у вас в России... Так вы ко мне приезжайте, давайте пообедаем вместе? Хорошо кормят внизу у Демута. Неаполь вспомним... Очень милая была тогда у вас дама...

Он быстро взглянул на Баратаева.

— Эх, тяжело нам, старикам,— сказал как бы рассеянно Ламор.— Вот теперь немцы выдумали теорию трагедий. Знаете, в чем сущность трагедии? В воле, лишенной возможности осуществления. В воле, в желании, все равно. Если это есть, значит, налицо основное условие трагического конфликта. Уж эти немцы: глубокомысленный народ, только совершенно лишены чувства смешного. Говорят, и Эсхил на этом построен, и Софокл, и Корнель. Теперь еще Шекспир очень в моду входит... А в мое время он считался образцом дурного вкуса: темная вещь искусство — никто никогда не узнает, что это такое. Так, видите ли, и Шекспир построен на этом. Казалось бы, мы, старики, готовые трагические герои. А вот нет, занимаются нами одни комические писатели — да еще как: одного Мольера вспомнить! И действительно смешно: не нам с вами, разумеется, а им, молодым. Но есть старички брюзжащие, вот как мы с вами. Это куда ни шло — по крайней мере, естественно. Зато я ужасно боюсь старичков, «сохранивших молодую душу»: они всегда за все новое, свежее, за молодежь и этак благодушно, видите ли, радуются на юношей и особенно на девушек: мы, мол, пожили, теперь ваше время. веселитесь, детки, веселитесь. Детки, дурачки, верят. Таких-то старичков они особенно и любят... Одно только устроено умно, то, что мы черствеем с годами и не так все это чувствуем. Да и смерть — чужую — переносим легче... Ну, я заболтался. Прощайте, до скорой встречи,— сказал Ламор, поднимаясь.

IV

...«La tyrannie et la démence sont à leur comble...» [1]

Панин имел привычку обдумывать важные депеши, расхаживая по своему огромному кабинету. В комнате было полутемно. Только на письменном столе горели свечи и в камине слабо светились последние тлеющие угольья. Никита Петрович еще прошелся раза два большими неровными шагами из угла в угол, повторяя вслух вполголоса свои мысли, по привычке замкнутого человека: депеша к Семену Романовичу Воронцову была готова.

Панин подошел к двери, запер ее на ключ, затем сел за письменный стол, вытащил из ящика лимон и разрезал его пополам, морщась от скрипа тупого ножа, с трудом входившего в корку, и от брызнувшего на стол сока. Он выжал в стеклянную рюмку сок из половины лимона. В мутную, чуть желтоватую жидкость упало несколько зернышек и волокон. Наклонив левой рукой рюмку над корзиной, Панин вытащил зерна концом ножа. Мокрая косточка, минуя корзину, упала на ковер. Никита Петрович раздраженно поставил рюмку рядом с чернильницей.

«Совсем расшаталась душа, эдак нельзя»,— подумал он и успокоился. Он просидел минуты две, старательно разглаживая средним пальцем золотой шероховатый позумент, окаймлявший темно-зеленую кожу стола. Затем взял одно из свежеочиненных перьев, опустил его в рюмку и стал писать. Лимонный сок только секунду блестел на плотной бумаге, затем высохшие буквы исчезали, и писать было поэтому утомительно. Не отрывая от бумаги пера, чтоб не попасть им на то же место, Панин набросал несколько строк. Затем с недоверием взглянул на белый попрежнему лист, на котором быстро высыхали последние слова.

«Si j'essayais? C'est pourtant bien ainsi qu'on le fait» [2],— подумал Никита Петрович. Ему еще не приходилось писать симпатическими чернилами. Он пододвинул к себе свечу и помахал исписанным листом высоко над пламенем. Бумага осталась белой. Панин опустил ее значительно ниже. Вдруг выступили желто-оранжевые строчки, и в ту же секунду приятно запахло горелой бумагой. Никита Петрович отдернул лист с восклицанием досады.

«Да, все совершенно ясно»,— подумал он, читая.— C'est très commode en effet» [3].

---

[1] «Тирания и безумие дошли до предела...» *(франц.)*.

[2] «А если попробовать? Они делают это хорошо» *(франц.)*.

[3] «В самом деле, это очень удобно» *(франц.)*.

Панин представил себе, как Воронцов будет тоже тайком, в запертой комнате, над свечой, проявлять депешу. Он хмуро усмехнулся. Ему странным показалось, что он, граф Панин, вице-канцлер Российской империи, должен из боязни полицейского надзора, из страха перед какими-то подьячими Тайной канцелярии, прибегать к воровским приемам для сношения с русским посланником в Англии, с Семеном Романовичем Воронцовым, одним из самых уважаемых и самых знатных людей России. «C'est dû propre! — произнес он вполголоса.— D'ailleurs, cette fois-ci il n'y a rien à craindre: Ла Тайная ne l'aura pas...» [1]

Он повернулся в кресле и выплеснул жидкость рюмки в камин. Уголья слабо зашипели. Панин взял другой лист бумаги и стал писать обыкновенными чернилами. Во второй редакции французские фразы выливались стройнее и глаже.

«Je connais parfaitement, mon respectable ami, tout ce que vous devez souffrir en apprenant chaque jour quelque sottise nouvelle de chez nous, et je ne vous déguiserai pas que le mal va en empirant, que la tyrannie et la démence sont à leur comble...» [2]

Фраза эта опять взволновала Панина. Он вскочил и зашагал по кабинету. Те мысли, которые Никита Петрович тысячу раз повторял в последнее время, представились ему с новой силой.

«Ежели мы, высшая аристократия страны, не положим конца царствованию, то народ возьмется за вилы,— сказал он себе.— Опять будет в прямом ознаменовании та же жакери, о которой по вечерам в Дугине, содрогаясь, рассказывал покойный батюшка. Il s'agit, cette fois, du salut de la Russie [3]. Нельзя государству быть управляему безумцем».

На мгновение ему представился последний прием у императора, хриплый бешеный крик, глаза с остановившимися зрачками. Панин вздрогнул и зашагал быстрее, укоротив неровные шаги.

«Du moment qu'il en est ainsi, il n'y a pas de serment qui tienne [4],— сказал он себе решительно.— Да, впервые в исто-

---

[1] «Вот мерзость!.. Впрочем, на этот раз бояться нечего: Тайная не узнает...» *(франц.)*

[2] «Я вполне себе представляю, мой почтенный друг, как вы должны страдать, каждый день узнавая о какой-нибудь нашей новой глупости, и я не скрою от вас, что зло усиливается, что тирания и безумие дошли до предела...» *(франц.)*

[3] «На сей раз речь идет о спасении России» *(франц.)*.

[4] «В такое время, как сейчас, никакая присяга не удержит» *(франц)*.

рии нашей фамилии Панин берет такую дорогу. Mais entre le monarque et le pays, je choisis mon pays[1]. И батюшка, и дядя Никита Иванович поступили бы точно так же. Когда своеволие царей приходит в коллизию с интересом России, Панины выбирают Россию... Я не Ростопчин...»

Граф Панин, человек богато одаренный, безукоризненно порядочный и во многих отношениях весьма замечательный, не обладал тем особым сочетанием цинизма с энтузиазмом, которое нужно и свойственно настоящим политическим деятелям. Его природная нелюбовь к людям не выливалась в форму совершенного равнодушия, для политических деятелей весьма полезную, позволяющую им хладнокровно мерить друг друга и все на свете одной политической меркой. В Панине эта особенность характера переходила в тоскливое, безотрадное и несовместное с политикой состояние вечной мнительной раздраженности. Он думал схемами, но обнаженными нервами воспринимал людей. Ненависть к Федору Васильевичу Ростопчину, прошедшая через всю жизнь графа Панина, имела причиной не одно политическое разномыслие. Все было ему противно в Ростопчине: и его взгляды, и, еще гораздо больше, его круглое пухлое личико, волосы змейками и брови, высоко поднятые над круглыми выпученными глазами, его самоуверенный, трещащий голос, его французские шуточки, его каламбуры, его фамильярно покровительственный тон. Воспитанный в строгих традициях семьи Паниных, вице-канцлер любил холодок в отношениях с людьми. В детстве отец даже по-русски обращался к нему на «вы» и называл мальчика «любезнейший и драгоценнейший друг, граф Никита Петрович». А сам он свои письма невесте, в которую был нежно влюблен, подписывал словами: «с неограниченной преданностью, на справедливейшем почтении основанною, вашему сиятельству вернейший граф Панин». Вице-канцлер по должности был подчинен Ростопчину как первоприсутствующему в Коллегии иностранных дел, и всякий раз, отправляясь в коллегию, Панин нервно себя спрашивал, как кончится заседание: отставкой, скандалом, дуэлью? Обычно Никита Петрович успокаивал себя тем, что он — граф Панин, сын знаменитого полководца, спасшего Россию от пугачевщины, племянник еще более знаменитого государственного деятеля, продолжающий их большое жизненное дело: для себя ему ничего не было нужно.

[1] «Но между монархом и страной я выбираю мою страну» *(франц.)*.

Он вернулся к столу, сел в кресло и опустил голову на руки. Панин чувствовал себя все хуже и не раз с тревогой задумывался, выдержит ли до конца то страшное дело, которое составляло теперь цель его жизни. Никита Петрович знал, что о заговоре уже ходят зловещие слухи, и все себя спрашивал, откуда они пошли. Предателей быть не могло. Он снова перебрал в уме еще немногочисленных участников заговора и, настраиваясь недоброжелательно к каждому из них, не мог, однако, найти никого, кто был бы способен на предательство. «Пален уверяет, что сама жизнь творит слухи о заговоре и что все равно мы теперь каждый день разыгрываем жизнь в кости. Il a raison, au fond [1]. Он всегда прав, Пален,— думал вице-канцлер, вспоминая холодное лицо с вечной усмешкой в углу плотно сжатых губ.— Но надо иметь его железную душу, его сердце старого игрока. Для него заговор — та же партия бостона, только с более высокой ставкой. Et il la joue en indépendance... [2]— Панин усмехнулся своей шутке.— Он не привязывает цены к жизни, а до России ему нет дела. Он и не русской крови... Среди них я один русский. Еще Талызин...»

Он посмотрел на часы и позвонил, вспомнив, что в этот день у Талызина назначен прием, на котором должен сделать важное сообщение заезжавший к нему старый француз. Через полминуты ручка двери повернулась. Панин вздрогнул, кровь отхлынула у него от лица. «Забыл, что сам запер дверь на ключ... Да вздор какой! Je deviens fou!» [3] — прикрикнул он на себя мысленно.

— Вели заложить карету,— сказал Панин лакею, открыв дверь.

«Первым делом надо бы поехать в Дугино отдохнуть,— подумал он, с наслаждением себе представляя свое любимое имение, засыпанные снегом аллеи в великолепном парке, застывшее пустынное озеро.— И главное, кругом ни живой души, это то единое, что мне нужно...»

Общество людей, даже тех, кого он любил и уважал, было в последнее время мучительно тяжело Панину. Все его раздражали. Значительная доля его душевных сил уходила на то, чтобы скрывать нервное раздражение, в котором он находился почти постоянно. «Да, пожить там, от-

---

[1] В сущности, он прав *(франц.)*.

[2] Термин игры в бостон. Так называется партия, которую один из игроков разыгрывает самостоятельно, без помощи партнера.— *Автор*.

[3] «Я схожу с ума!» *(франц.)*

дохнуть и, вернувшись, довести дело до доброго конца. A bonne fin, c'est bien le mot...» [1] Лицо его дрогнуло.

Целью заговора считалось отречение Павла. Участники дела, иногда, не глядя друг на друга, упоминали о загородном дворце, куда можно было бы поместить на остаток его дней открекшегося императора. При этом усмешка на лице графа Палена становилась еще более странной.

«Да, конечно, девяносто шансов на сто, что дело кончится убийством, или застенком, или тем и другим вместе... Ну а в самом лучшем случае, admettons, soit! [2] Дальше что? Лишить самодержавной власти безумца и передать ее мальчику, у которого ничего на уме, кроме юбок и танцев. Всю полноту власти над миллионами людей! Mais c'est de la folie!» [3] — вскрикнул Панин. Вечные мысли о конституции, об усилении роли аристократии, об увеличении прав Государственного совета беспорядочно теснились в его голове.

«Oui, c'est tout réfléchi [4], но с кем делать все это? Кто последует за мной в этом пути? Лорд Уитворт? Или балтиец Пален, un joueur [5], производящий опыт со своей душою? Или разные мелкие авантюристы, дичь виселицы? Кто у нас думает об этом? Даже Семен Романович против конституций. Он убежден, что в России нечего делать людям добра и что au fond им всем следовало бы переехать в Англию. И никогда он из Европы не вернется... Не с кем идти, и не для кого, и незачем! Человеку, как я, здесь одна дорога: на виселицу или в сумасшедший дом...»

— Карета подана, ваше сиятельство,— доложил лакей.

V

О генерале Талызине почти никто в Петербурге не говорил дурно — признак, обычно свидетельствующий не в пользу человека. Во всяком обществе, где идет ожесточенная политическая борьба, есть люди, в этой борьбе определенно участвующие и не вызывающие, однако, ни раздражения, ни ненависти в противоположном лагере. Такие люди встречаются во всех партиях, и каждой партии они нужны: история редко сохраняет их имена, но при

---

[1] «До доброго конца — хорошо сказано» *(франц.)*.
[2] «Допустим, пусть так!» *(франц.)*
[3] «Но это безумие!» *(франц.)*
[4] «Да, это все обдумано» *(франц)*.
[5] Игрок *(франц.)*.

жизни роль их бывает значительна. Чаще всего это люди ленивые, добродушные и слабовольные, которых и по фамилии редко называют за глаза, а больше уменьшительным именем или пренебрежительно ласковой кличкой. Иногда это, напротив, очень расчетливые ловкие люди, честолюбивые не в историческом, а в карьерном масштабе. И только в виде самого редкого исключения попадаются политические деятели, обезоруживающие противников своими моральными качествами.

Талызина любило все петербургское общество. Он был молод, богат, вел широкую жизнь, имел превосходный стол. Но хлебосольством в Петербурге никого нельзя было удивить. У Талызина в доме бывали люди враждебных групп и воззрений, вследствие чего ему приходилось устраивать тройное количество приемов: среди его приятелей или добрых знакомых много было людей, которых никак не полагалось звать вместе в один вечер. Талызин обладал таким опытом, так хорошо знал сложные взаимоотношения своих бесчисленных гостей, что в доме его не могли встретиться люди, не желающие видеть друг друга,— разве только в намерение хозяина именно и входило свести для примирения этих людей.

Престижу Талызина в петербургском обществе способствовало еще и то, что он был деятельным масоном и не скрывал этого. В последние годы восемнадцатого века от масонов в России немного отвыкли. О Новикове вспоминали почти так, как о графе *Калиостросе*. Немало видных, почтенных людей в молодости принадлежало к масонству. Некоторые из них, однако, теперь плохо помнили и почему вошли в орден, и в чем это у них, собственно, выражалось. Талызин представлял в масонстве новое направление. Носились слухи, будто оно ведет важную политическую работу (по словам одних, в согласии с государем, по словам других, вопреки, и даже очень вопреки, его воле). Ложи иногда собирались у Талызина. Посещавшие генерала молодые люди с любопытством у него осматривались и спрашивали друг друга втихомолку, где же, собственно, заседают фреймасоны: комнаты как комнаты,— уж нет ли потайных дверей? Талызин, командовавший Преображенским полком, жил в Лейб-Компанском корпусе в большой, полагавшейся ему по должности, квартире.

Когда граф Панин вошел в кабинет Талызина, там уже собрались гости. Их было человек пятнадцать. В этот день не было заседания масонской ложи. Талызин пригласил на ужин одну из групп своих друзей, ту, с которой он был

связан всего теснее. Гостям было, однако, известно, что зовут их не только на ужин и что, по всей вероятности, доклад о событиях во Франции прочтет прибывший в Петербург иностранец, занимающий очень высокое положение во французском масонстве.

Дипломатические сношения с Францией еще не были восстановлены. Ходили слухи о предстоящих мирных переговорах и о людях, уже будто бы ведущих эти переговоры втайне. Тем не менее с республиканским паспортом проникнуть в Россию было невозможно. Гости догадывались, что человек, прибывший из Парижа, вероятно, приехал на правах нейтрального подданного или французского эмигранта: эмигранты в последнее время попадались самые различные. Впрочем, это никого не интересовало: в петербургском обществе и в пору войны не было ненависти к французам. В масонских же кругах национальность приехавшего гостя не имела никакого значения. И только один граф Панин, как вице-канцлер и как сторонник противофранцузской коалиции, почувствовал некоторую неловкость, здороваясь с дряхлым стариком, сидевшим в кресле между хозяином и Баратаевым. Это неловкое чувство, однако, очень скоро рассеялось. Гость обнаружил чрезвычайное внимание к Панину. Он тотчас подсел к нему и завел с ним вполголоса отдельный разговор, который, по-видимому, оживил обоих.

Другие гости тихо между собой переговаривались. Общий разговор еще не налаживался. Это никого не тяготило. У Талызина все чувствовали себя свободно. Несколько неясно было только, что именно ожидалось, кому и как начинать беседу. Но все хорошо знали, что Талызин всегда все устроит вовремя и как надо. Один Баратаев молча неподвижно сидел в кресле у окна, глядя на висевшую против него на стене богатую коллекцию ружей, турецких сабель и кинжалов.

Хозяин вышел в столовую отдать последние распоряжения. Круглый стол посредине ярко освещенной комнаты сиял белоснежной скатертью, серебром и фарфором. Старый лакей расставлял корзины цветов и вазы с фруктами. Талызин заботливо все оглядел, затем перешел к столу с закусками.

— Не растаял бы лед, Никифор,— сказал он старику.— Раньше как через час-полтора к столу не пойдем. Ты еще принес бы...

Он бегло взглянул на сгорбленную фигуру лакея, на его утомленное лицо со стариковским недоверчиво-робким

выраженьем и, как всегда, испытал мучительное чувство неловкости. Неприятно было заставлять служить такого старика; еще неприятнее было говорить ему «ты», особенно в масонском кругу. Талызин не раз собирался перейти на «вы», но чувствовал, что это невозможно. «Хуже всего фальшь,— подумал он.— Легче у нас опровергнуть трон, чем это переделать...»

По долгому опыту он знал, что такие мысли не имеют решительно никакой связи с жизнью и ничего в ней изменить не могут.

— Подай в кабинет сахарной воды,— сказал он лакею.— Сам подай, а потом никому не вели входить. У нас дела.

Талызин вспомнил, что ему недавно опять говорили, будто дом его находится на замечании у Тайной канцелярии. «Молву поветрием носит... Надо бы принять меры».

Он давно поставил себе правилом верить каждому человеку, пока не будет обнаружено, что верить ему не следует. Хотя обнаруживалось это часто, Талызин не отступал от своего правила. Но теперь дело шло о жизни, и притом не только об его собственной. За себя он почти не беспокоился. Талызин сел верхом на стул, опустил подбородок на спинку и постарался представить себе ясно Тайную канцелярию, одно название которой вызывало у всех ужас. Контраст казематов и застенков с роскошной столовой позабавил его. «Ну что ж, каземат так каземат, надо пройти и через это... Может, и вправду настал последний квартал моей жизни,— сказал он себе почти весело и тут же подумал, что только масонство дает ему такую внутреннюю свободу.— Да, это большое счастье! Каземат так каземат... А вот застенок так застенок — этого я не скажу. Да и в каземате было бы жаль вспоминать... Там, конечно, все это получит в мыслях особенную прелесть»,— думал он, представляя себе ясно койку полутемного сырого каземата, черствый хлеб и кружку ржавой воды. Он окинул меланхолическим взглядом ананасы, розы, зажженные свечи, вина, разлитые по графинам, темно-серые зерна икры на льду в серебряной вазе. «Да, все это очень красиво: забывают ведь, как красив хорошо накрытый стол... Так что же? Надо вправду принять меры. Но какие меры? Хороша наша конспирация! Только Пален и знает это дело... Впрочем, Бог даст, и не пропадем за ним да за Александром Павловичем. А пропадем, так за доброе дело... К тому ж нынче об этом разговора не будет».

Он улыбнулся, встал, взял у лакея поднос с графином и сахарницей и вернулся в кабинет. На ходу он встретил неподвижный взор Баратаева, с беспокойством взглянул на свою коллекцию оружия и тотчас снова перевел взгляд на мрачное, измученное лицо гостя. «Краше в гроб кладут»,— подумал он и поставил поднос на столик перед Ламором. Старик удивленно взглянул на Талызина. Другие гости, напротив, оживились. Графин придал определенность собранию, указав ясно на то, что французский гость сделает доклад. Хозяин сел и постучал по столу. Разговоры замолкли.

— Дорогие друзья,— начал Талызин по-французски (собрание было не формальное, и потому он не говорил «братья», да и вообще избегал этого слова, хотя был убежденным и деятельным масоном).— Только два слова... Я сердечно рад приветствовать сегодня здесь нашего гостя. Вы о нем знаете, не мне его вам представлять, и не в нашем тесном кругу говорить друг другу комплименты. Я к тому же, как вы знаете, и не оратор. Однако я считаю себя обязанным сказать со всей искренностью следующее (он помолчал). Еще недавно кровь лилась ручьями на полях Италии, в швейцарских горах. Мы все, французы и русские, исполнили свой долг, как могли, но ненависти не было и нет в наших сердцах. Есть нечто высшее, чем наш долг национальный: это наш масонский, наш человеческий долг! Теперь война, по-видимому, кончена, я надеюсь, надолго, навсегда. Позвольте же от вас всех приветствовать нашего дорогого французского гостя.

Он встал и крепко пожал руку Ламору. Все сделали то же самое. Талызин еще поговорил несколько минут, с приемами неопытного оратора. «Еще два слова», «я, конечно, не оратор», «если я ясно выражаюсь», «это только мое личное мнение», «я могу, конечно, ошибаться»,— часто повторял он. Панин слушал его, слегка улыбаясь и закрыв глаза.

— К большому нашему огорчению,— заметил Талызин,— нам очень мало известны и плохо понятны важные события, недавно произошедшие во Франции. Мы были бы чрезвычайно признательны нашему гостю, если б он поделился с нами и сведениями, и своими ценными мыслями.

Он замолчал и вопросительно взглянул на Ламора. Старик сказал кратко:

— Сердечно вас благодарю. Я охотно исполню ваше желание.

VI

Он долго молчал, видимо собираясь с мыслями, и это начинало тяготить собравшихся.

— Да вы что же, собственно, хотите знать, господа? — неожиданно спросил Ламор. Все почувствовали легкое разочарование.

— Мы желали бы прежде всего услышать ваш рассказ о перевороте 18 брюмера,— вежливо сказал Талызин, испытывая некоторую неловкость при слове «брюмер». Ему трудно было произносить это слово без той усмешки, с какой говорили о революционном календаре французские эмигранты; трудно было и представить себе, что оно кем-то произносится всерьез.— Это чрезвычайно важно и интересно.

— Восемнадцатое брюмера? — протянул Ламор.— Да что же тут рассказывать? Переворот, обычный военный переворот, устроенный очень умным генералом, необыкновенно умным и удачливым генералом. Да и так ли это вам интересно? Вы говорите: чрезвычайно важно... Я знаю, что вижу здесь цвет петербургского общества,— поспешно сказал он.— Почитать о французских делах в газетах, поговорить за обедом, отчего бы и нет? Но может ли это быть чрезвычайно важно для вас? Ох, из разных трудных, бесстыдных слов мне всего труднее выговорить слова о братстве народов... Если бы вы пожили у нас немного перед девятым термидора, вам восемнадцатое брюмера было бы понятно без объяснений. Знаете ли вы, что такое право покупать каждый день хлеб у булочника? Право есть в обед три блюда по единоличному вашему усмотрению? Право воспитывать детей так, как вы находите нужным? Право переселяться из Лиона в Париж, с уверенностью, что вас, без крайней необходимости, не зарежут ни в Париже, ни в Лионе, ни по дороге? Вот эти великие священные права нам дал генерал Бонапарт. И вместо них он отобрал у нас некоторые другие права, из тех, что перечислены во всевозможных декларациях прав человека и в другой плагиатной литературе того же рода. Свобода слова, свобода печати, свобода мысли, всеобщее голосование! Эти права также назывались священными, великими и (что всего лучше) неотъемлемыми. Собственно говоря, даже они одни так назывались прежде. Было бы очень хорошо, конечно, если б можно было иметь и булочника, и всеобщее голосование. Но у нас точно назло пришлось выбирать: либо булочник, либо всеобщее голосование. Ни-

какого теоретического противоречия между ними нет, я знаю. Но так, к несчастью, вышло. И вот тридцать миллионов людей выбрало булочника. Без декларации прав как-нибудь обойдемся, а есть и пить хотим каждый день. Без свободы слова проживем (хоть и очень приятно чесать язык), а на эшафот идти ни под каким видом не желаем. Довольно! Помолились на Робеспьера, и будет. Генерал Бонапарт застраховал от гильотины, от Консьержери, от разбоя, от разорения тридцать миллионов французов — и они за это смотрят на него теперь как на земное воплощение божества. А для тщеславья нашего он, поверьте, найдет, вместо народных трибун, какие-либо другие утешения — ордена, чины, красивые мундиры, не знаю... Вот и весь смысл восемнадцатого брюмера, другого не ищите. Вам, может быть, скажут, что французский народ опьянен военной славой,— не верьте, вздор! Это генералу Бонапарту пирамиды нужны, а французский народ — помилуйте, зачем они ему, пирамиды. Ведь это тоже из шутки «общенациональной собственности». А нам и слава нужна в частную собственность, в частную. Пирамиды — та же, в сущности, декларация прав: есть — прекрасно, нет — ну и не нужно. На самом же деле необходимо только одно: чтобы на каждой улице были булочник, мясник, кофейня и полицейский.

Один из гостей, почтенный старый генерал, одобрительно кивнул головою. Генерал этот, связанный тесной личной дружбой с Талызиным, видимо, еще не был своим человеком в собравшемся обществе и чувствовал себя в нем не вполне свободно. И лица гостей, большей частью неестественно торжественные, и некоторые предметы, украшавшие стол: голубая бархатная скатерть с золотым галуном и бахромою, меч с золотой рукояткой в голубых бархатных ножнах, тяжелые серебряные шандалы с аллегорическими фигурами, видимо, не внушали доверия генералу. Особенно подозрительно он с самого начала поглядывал на мрачную фигуру Баратаева и на неизвестно зачем прибывшего таинственного французского гостя. Но речь Ламора оказалась для генерала приятной неожиданностью. Остальные гости молчали — никто не хотел высказываться первым.

— Позвольте вам сказать,— заметил Талызин с улыбкой недоумения, показывавшей, что он склонен понять слова гостя как шутку, однако считает ее не слишком удачной.— Я не совсем, вероятно, вас понял: ведь булочники у вас были и при старом строе. Самые закоснелые эмигранты согласятся с этими мыслями.

— Разве? Может быть, может быть... Не со всеми, конечно, моими мыслями они согласятся... Да и очень уж они красноречие любят. У них ведь свои «декларации», и даже похуже тех. Я не эмигрант, но против эмигрантов ничего не имею. И закоснелых людей вообще люблю: живые ведь люди, а не рассуждающие автоматы. Впрочем, я ничего не имел бы и против рассуждающих автоматов, если б было из чего исходить рассуждениям. Вот у Евклида все вытекает из аксиом, и как это приятно! Слава Богу, есть, есть аксиомы. Где же наш политический Евклид? Где политические аксиомы? Я не знаю в настоящее время ни одной общепризнанной ценности. Благо лица? Благо государства? Его процветание? Его могущество? Все это противоречиво. Ведь во Франции, в Англии, в России, с их войнами, завоеваниями, переворотами, люди живут, наверное, много хуже, чем в какой-нибудь «свободной Швейцарии», у которой и истории-то ровно на медный грош? А между тем вы, конечно, отказались бы сделать из России Швейцарию. Да и сами швейцарцы, когда были свободны (если когда-либо были), наверное, стыдились своего тихого благополучия. Маленькие народы всегда выдумывают себе бурную историю. Нет хуже вралей, чем провинциальные Плутархи.

— Однако, если даже не существует политических аксиом, в чем я сомневаюсь,— заметил Талызин,— то есть учреждения, относительно которых сошлись все честные люди. Ну, назову рабство...

— Это особенно приятно слышать из уст рабовладельца,— сказал Ламор. Генерал засмеялся.

— Позвольте вам доложить,— ответил, вспыхнув, Талызин,— позвольте вам доложить: уничтожение того, что вы зовете рабством, составляет цель многих из нас...

— Поверьте, мне совершенно все равно: участь русских рабов меня интересует очень мало.

— Это печально...

— Было бы еще печальнее, если б я стал вам лгать. У меня никогда рабов не было... Мне случалось об этом и сожалеть. Может быть, в моей душе есть и такая частица, которая жаждет полной, собственнической власти над человеком. Если я выродок, тем хуже. Но я этого не думаю. Ах, господа, кто знает, кто знает, из каких инстинктов слагаются лучшие человеческие чувства, из каких побуждений свершаются так называемые доблестные подвиги... Шаткая, шаткая вещь человеческая душа, вот уж из нее никак нельзя сделать исходное положение: ничего хорошего не построишь.

«Parlez pour vous»[1],— хотел было сказать Талызин, которого все больше раздражал этот самоуверенный старик, в неприятно саркастическом тоне перескакивавший с одного серьезного предмета на другой. Но Талызин не сказал: «Parlez pour vous» из учтивости и в особенности потому, что счел этот ответ слишком общедоступным: вероятно, так подумала половина гостей.

— Я, конечно, говорил о себе,— сказал Ламор, отвечая общей мысли.— В нашей среде полагается быть откровенным, хотя это и трудно. Вот я на себя и оглядываюсь: опыт жизни у меня есть, большой опыт, господа. Много я видел и ко многому был причастен. Что же мной руководило? В молодости на девять десятых похоть, но это в счет не идет. Потом себялюбие — тоже не идет в счет... Жажда знания? Да, это было и осталось: у всякого человека есть что-либо одно, самое настоящее, самое подлинное,— у меня, пожалуй, это. А вот жаждой общественного блага, каюсь, прежде я не страдал вовсе. Я об этом и не жалел, видя, что делалось вокруг меня, особенно в последние годы. Ведь тысяча самых свирепых разбойников, тысяча Картушей, господа, не пролила десятой доли той крови, которую, из жажды общественного блага, пролил добродетельный Робеспьер. Я и думал прежде: слава Господу Богу, что не все люди и не целый день мучаются жаждой общественного блага, а то они давным-давно перерезали бы друг друга. Так я думал. А потом пожалел. Почему, сказать затрудняюсь...

Он замолчал.

— Я, господа,— начал Ламор снова,— скажу прямо: я не могу себе представить другого понимания жизни, кроме чисто пессимистического. Я как те грешники, которых, помнится, Данте посадил в ад за то, что они не любили жизнь: «Tristi fummo nel aer dolce dal sol s'allegra...»[2] Так, видно, я до самой смерти не пойму, в чем тут было преступление. Боюсь, боюсь жизни! — вскрикнул он неожиданно и снова замолчал, закрыв глаза. Гости смотрели на него с все большим недоумением. На лице генерала выразилось сожаление: он опять, видимо, ждал другого.— Вот мне восьмой десяток, позади бесконечное кладбище, впереди как будто ничего нет, кроме смерти. А я боюсь, как бы она, жизнь,

[1] «Говорите о себе» (*франц.*).

[2] Имеются в виду строки из «Ада» Данте:

«...В воздухе родимом,
Который блещет, солнцу веселясь,
Мы были скучны, полны вялым дымом».
(Песнь VII, ст. 121—123. Перевод *М. Лозинского.*)

еще чем-либо меня не удивила, чем-либо постыдным, смешным, отвратительным,— она на это мастерица, на безвыходные положения... А ведь немногие так знали, так любили радости мира, как я. Мне и теперь до глупости тяжело сознавать, что всего этого я безвозвратно лишусь очень скоро. Я, человек, мучительно страдающий по ночам бессонницей, боюсь вечного сна,— как глупо! Да, да, я знаю, это старо, это очевидно до плоскости. Но в плоскость и упирается жизнь в своем конечном итоге. Говорят, без веры жить нельзя,— я хочу сказать, без веры в загробное существование. Можно, конечно, но очень, очень худо. А веру взять неоткуда, что же себя обманывать? Вот и вывертывайся как знаешь. Видите ли, господа, полторы тысячи лет — со времени Константина Великого — Европа жила более или менее спокойно, потому что была твердая, непоколебимая, почти всеобщая вера в загробный мир...

— Ну, не очень спокойно жила,— вставил Талызин.

— Все же спокойнее нашего, правда? Чума в счет не идет... Инквизиция поддерживала веру кострами — и по-своему была права. Не так глупы были эти люди, и фразами они не обольщались. Но теперь на наших глазах гаснут и земные, и адские костры. После французской революции адом никого не запугаешь — этакая расплылась на устах человечества скептическая улыбка, не дьявольская, нет, просто улыбка, скептическая улыбочка. Прежний смысл жизни потерян, новый не найден. Мир стоит на краю пропасти. Я не верю в возврат к карам, да и не хочу его. Отныне, по-видимому, приходится действовать больше при помощи наград, но это далеко не так верно.

— Мысли ваши вызывают в нас смущение,— сказал Талызин.— Мы, верно, плохо вас понимаем... Мне казалось, вы хотели нас познакомить с работой братства свободных каменщиков?

— Братства свободных каменщиков? — протянул как бы с удивлением Ламор.— Да я именно об этом и говорю. Боюсь только, что вы приписываете слишком большое значение братству свободных каменщиков. Что такое масонство? Масонство — это организация по борьбе с людоедством, действующая посредством раздачи орденов, выгодных мест и других хороших вещей тем, кто людоедством занимается меньше.

Баратаев встал и простился с хозяином дома. Наступило неловкое молчание.

— Вы торопитесь? — по-русски сказал, поспешно вставая, Талызин.

— Тороплюсь. И не люблю шуточек. Не так мне весело, да и стар я.

Панин тоже поднялся.

— И мне пора. Я только на четверть часа заехал,— сухо сказал он, слегка поклонился и вышел. Талызин проводил их и вернулся со смущенным видом. Гости переговаривались вполголоса.

— Должен вам сказать,— заметил Талызин, обращаясь к Ламору,— я никак не могу, да и все мы не можем, согласиться с тем определением масонства, которое вы дали. Мы...

— Вы совершенно правы. Масонство не поддается общему определению, каждый толкует его по-своему. Я говорил к тому же не о России, а о Западе. Да я и сам не рад, что наше масонство стало на такой путь. У него была великая задача: воспитание молодого поколения. Вот что поважнее власти и теплых мест. Великая, великая вещь воспитание... Масонство привыкло исходить из того, что человек хорош по природе. Я думаю, по природе он достаточно дурен. Но его можно усовершенствовать, если взяться за это достаточно рано. Возьмите акробатов. Какие чудеса может производить приученное с детства человеческое тело! Только начать надо лет с пятнадцати, не позже. Ведь акробатская техника улучшается с каждым поколением. Я думаю, душа тоже поддается гимнастике. Все будущее мира зависит от воспитания молодых поколений.

— Надо работать не над детьми, а над собою,— горячо сказал Талызин.

— Надо, конечно. Но для этого незачем создавать всемирную организацию, надевать ленты и говорить в глубокой тайне страшные слова. Вот мы поужинаем и уйдем, а вы наедине будете работать над собою,— сказал Ламор с улыбкой. Генерал опять засмеялся.

— Обряд и тайна необходимы. Надо поэтизировать мир тайной,— продолжал Талызин с еще большим жаром (он дорожил этой мыслью).— Без поэзии ритуала наше братство невозможно. Пусть масонство — компромисс религии с жизнью, пусть слово «брат» есть лишь символ грядущих человеческих отношений, ваше толкование для меня неприемлемо. Цель наша тройная: самоусовершенствование, создание лучших учреждений, создание лучших людей.

— Это не одна цель, а целых три. Отсюда и три направления в масонстве,— заметил кто-то из гостей.

— Нет, нет, разрешите мне пояснить свою мысль.

Я готов и раба, как вы изволили выразиться, принять в масонское братство...

— Ну, это запрещено уставом,— вставил генерал.

— Ах, все равно,— сказал Талызин, с досадой махнув рукой.— Все равно! Я готов принять своего слугу в масонский орден и буду называть его братом. Пусть это фальшь, я знаю, я чувствую сам,— торопливо говорил он, отмахиваясь, хоть никто его не перебивал (да никто и не говорил об этом).— Но слово «брат» — символ будущих человеческих отношений,— повторил он.— Вся наша жизнь создана из символов. А сейчас перед нами задача — создать лучшие справедливые учреждения, без которых никакое братство невозможно, ни в настоящем, ни в будущем...

Ламор слушал его, улыбаясь.

— Из этого взгляда вышло братство французской революции,— сказал он.— Впрочем, я не спорю. Большой разницы в наших выводах нет... Спорили мы о разном, и довольно бестолково, уж вы меня извините... Я желаю полного успеха русскому масонству. Мне поручено нашим новым главою, Ретье де Монтало, передать вам привет. Делаю это с искренней радостью. Но, не скрою, некоторые сомнения у меня все же есть, сомнения основного свойства... Я, готовясь к смерти, вспоминаю книги мудрых людей... Очень мне хочется поверить в загробную жизнь. К несчастью, мудрые люди меня не убедили. Да еще точно ли известно, что они-то в загробную жизнь верили? Платон где-то проговорился, что сами боги не совсем бессмертны, не совсем и не всегда... Были у него, помню, разные «если». Не помню точно, какие именно, но были, были «если»... Так ведь то, видите ли, боги... Или стоики — они что-то лепетали странное: индивидуальная душа, конечно, бессмертна, но, так сказать, на некоторое время: поживет, поживет и сольется с мировой душою. Я думал, они шутят, право... А если я не желаю сливаться с душою Торквемады или Робеспьера? Я своей собственной не слишком доволен, но за семьдесят лет все же свыкся. Черт с ним, с Робеспьером. Уж лучше приму я восточную веру: на Востоке осведомленные люди предполагают, что души в лучшем мире распределятся по чинам,— душа мошенника перейдет, например, в ящерицу или в змею. Это мне как-то приятнее...

Он помолчал. Талызин хотел что-то сказать, но Ламор перебил его:

— Кант прямо говорит: если нет бессмертия, нравственный закон становится совершенно бессмысленным; а так

как нравственный закон существует, значит, должно быть бессмертие. Я принимаю начало рассуждения и изменяю конец: если нет бессмертия, нравственный закон становится совершенно бессмысленным,— верно; а так как бессмертия нет, то нравственный закон... Нравственный закон есть нечто вроде тех акробатических фокусов, которым необходимо учить молодых людей... Да, да необходимо...

Он подавил зевок.

— Простите меня, господа. Я сегодня не в ударе и, конечно, вам наскучил. Очень бестолковая вышла беседа, по моей, разумеется, вине... Собственно, я не об этом хотел говорить. Да и вы ждали от меня другого... Вы желали, чтобы я рассказал вам о перевороте 18 брюмера? Извольте...

— Ах, ради Бога,— торопливо сказал Талызин (он с неприятным чувством думал, что был недостаточно любезен с гостем).— Вы нам сделаете большое одолжение.

— Просим,— сказал один из гостей. Другой тоже пробурчал что-то в этом роде, хотя серьезный разговор уже утомил многих. Талызин встал, открыл дверь и заглянул в столовую; оттуда сверкнул богато накрытый стол. Это, видимо, всех оживило.

— Просим, просим,— сказало сразу несколько человек.

— Да вот вы за ужином и расскажете,— сказал Талызин.— Пожалуйте, господа.

— Отлично, я проголодался,— произнес Ламор, вставая.

— Очень было интересно все, что вы изволили сказать,— начал один из гостей, выходя с Ламором в столовую.— Хотя, конечно...

— Пожалуйте, господа, пожалуйте...— говорил Талызин, стоя сбоку от дверей. Он задержал на секунду генерала и сказал ему тихо: — Что, очень скучал? За терпенье будет тебе награда. Получил я из Бремена «Иоганнисбергер!» Один ты во всем Петербурге оценишь.

— Давай его сюда... Никому и попробовать не дам,— ответил весело генерал.

VII

В большой роскошной квартире госпожи Шевалье только парадные комнаты были отделаны по-настоящему. Французская артистка как-то не могла привыкнуть к своей жизни в Петербурге и к своему богатству. Хотя уезжать

из России она нисколько не собиралась, но чувствовала себя в русской столице почти как на сцене. Театр занимал очень большое место в заботах госпожи Шевалье. Она часто говорила с застенчивой улыбкой, что для нее сцена и есть настоящая жизнь. Но и сама этому не верила, и догадывалась, что не верит никто другой, несмотря на мастерскую застенчивую улыбку. Госпожа Шевалье так же не могла считать настоящей и жизнь, выпавшую на ее долю в России, как не могла всерьез чувствовать себя Ифигенией или Эвридикой.

Знаменитая певица принимала у себя самое лучшее петербургское общество. Только очень немногие видные люди не посещали ее дома. Не бывал у госпожи Шевалье кое-кто из старых французских эмигрантов. Сама она считалась как будто эмигранткой, однако же считалась не совсем твердо. Втихомолку о ней говорили французы, что она во время террора была где-то богиней разума [1], а затем, в пору Директории, стала любовницей Барраса. Но когда у передававших слух спрашивали недоверчиво, действительно ли это так, они разводили с усмешкой руками и говорили, как полагается в таких случаях: «Que voulez-vous! Je n'y ai pas tenu la chandelle» [2]. Были слухи, будто красавица состоит секретной агенткой первого консула. О муже ее говорили и не то: поздно выехавшие из Франции эмигранты утверждали, что мосье Шевалье был еще недавно свирепейшим террористом, сподвижником в зверствах Колло д'Эрбуа. Русское общество этим не очень интересовалось (в последнее время обличение ужасов революции так же всем надоело, как и самые ужасы), да и плохо разбиралось,— кто Баррас (его называли французы виконтом), кто Колло д'Эрбуа (эта фамилия тоже звучала как будто по-дворянски). Посещать дом Шевалье стали, однако, не сразу. Первое время к знаменитой артистке ездили только холостые люди и разговоры велись у нее тоже холостые: хозяйка первоначально охотно подчинялась этому тону и сама его поощряла. Но с тех пор как госпожу Шевалье взял под свое покровительство Кутайсов, один из самых влиятельных людей Петербурга, и особенно после того, как на нее обратил внимание император Павел, ездить к ней стали и дамы, и степенные сановники. Характер разговоров в гостиной артистки изменился довольно быстро,

---

[1] В представлении «Празднество Разума», состоявшемся в Париже 10 ноября 1793 года, роль Богини Разума исполняла артистка Тереза-Анжелика Обри (1772—1829).

[2] «Чего вы хотите! Я там свечу не держал» *(франц.)*.

перейдя от тона веселого заведения к тону политического салона (хоть некоторые срывы еще случались с завсегдатаями). При этом одни из гостей без стеснения хвалили за твердость революционное правительство, особенно первого консула; большинство не шло столь далеко и говорило с госпожой Шевалье так, как принято было в то время говорить со знатными эмигрантами,— грустно, с выражением соболезнования, но и с легкой укоризной, имевшей разные оттенки: от «как хотите, господа, но и вы сами тоже виноваты: вот ведь у нас никакой революции нет» до «а пора бы вам, господа, бросить ерунду, и незачем вам, собственно, у нас засиживаться, хоть мы из вежливости и по нашему гостеприимству не говорим этого прямо». Многие эмигранты в ту пору уже сами полусознательно принимали такой тон, как принимали езду на санях, рюмку водки перед обедом и другие обычаи страны, в которой им приходилось жить. Другие пожимали плечами, усвоив, после долгих лет протестов и негодования, тон иронически равнодушный, означавший приблизительно: «Чего же другого было ждать — то ли еще будет!» И лишь немногие, самые оголтелые, эмигранты упорно не поддавались ни тому, ни другому тону. Эти не ездили к госпоже Шевалье и знать ее не желали. Сама знаменитая артистка иногда охотно входила в роль знатной эмигрантки и говорила о революции так, как говорили о ней эмигранты оголтелые. Но иногда говорила совершенно иначе. Госпожа Шевалье, быть может, действительно уже сама не вполне ясно себе представляла, кто она, собственно: знатная ли эмигрантка или сторонница первого консула. Так странно и непонятно было все, случившееся с ней в России, куда она приехала без денег и без имени.

В этот день у певицы был назначен небольшой прием, человек на двадцать. Хозяйка даже собиралась сделать вид, будто и приема, собственно, никакого нет, а так пришли посидеть друзья. Из гостей только человека два или три знали, что в этот вечер в доме госпожи Шевалье должен был появиться впервые наследник престола, живший очень уединенно. Его предполагалось выдать гостям за своего человека, и для правдоподобия гости были приглашены самые разные: очень важные и совсем незначительные люди.

Гости, не интересовавшиеся серьезными разговорами, играли у госпожи Шевалье в карты. Для них каждый вечер были готовы бостонные столы. Угощала гостей хозяйка по-французски: кроме сладкого печенья к чаю и конфет,

ничего не подавалось. В Петербурге многие находили этот обычай прекрасным и говорили, что его нужно было бы ввести везде: нельзя каждую ночь пить шампанское и есть ужин из десяти блюд. Но в русских домах французский обычай не прививался.

У госпожи Шевалье время было распределено строго. После обеда, за которым она вовсе не ела хлеба и ничего не пила, чтоб не пополнеть, знаменитая артистка полтора часа ходила взад и вперед по своей спальной при опущенных шторах: таким образом достигалась двойная выгода — для талии и для цвета лица. Затем, уже при свете, перед зеркалом, тоже полтора часа пела гаммы. Закончив упражнения, госпожа Шевалье проглотила рюмку какого-то питья и не торопясь занялась туалетом. Это длилось долго. Хозяйство в доме, по раз навсегда выработанной программе, вел мосье Шевалье, больше от скуки: ему совершенно нечего было делать. Когда певица, в модном, очень узком темном платье с поясом почти под мышками, вышла в парадные комнаты, в гостиных и в передней все оказалось в полном порядке: с вешалок у входа было снято все хозяйское, в канделябры вставлены новые свечи (зажжены были только два канделябра, остальные зажигались в последнюю минуту). Конфеты, печенье уже стояли на главном столе в большой гостиной. В передней находилась молодая, некрасивая, но нарядная горничная. Лакеев вовсе не было. Госпожа Шевалье очень заботилась о том, чтобы у нее в доме все было не так, как у русских бар: она инстинктивно чувствовала, что, принимая богатейших людей России, у которых были огромные дворцы и несчетное количество прислуги, она могла выезжать только на оригинальности приема. Мосье Шевалье встречал гостей и переправлял их из передней в большую гостиную. Здесь его роль кончалась. Когда все гости были в сборе, он держался больше в непарадных комнатах и только изредка для приличия показывался в салоне, предлагал то одному, то другому гостю еще чашку чаю и снова исчезал. Госпожа Шевалье любила своего мужа (он был свой, близкий человек в этом огромном чужом городе), но немного стыдилась его; вдобавок побаивалась, как бы он по привычке не назвал кого-либо из гостей «citoyen» или не сказал императору «salut et fraternitè» [1].

Убедившись, что все в полном порядке, госпожа Шевалье лениво подошла к окну и отодвинула шторы. За окном рвалась вьюга.

[1] «Гражданин»... «Привет и братство» *(франц.)*.

«Quel affreux climat!» [1] — подумала артистка. Мосье Шевалье беспокойно вошел в салон. Ей вдруг почему-то стало жалко мужа.

— Elle est bien, ma robe, qu'en dis-tu? [2] — спросила она, прислушиваясь к музыке своего голоса.

— Exquise, ma cherie [3],— радостно ответил мосье Шевалье. Ее раздражило, что он произносил esquise,— и стало скучно с ним разговаривать: ей всегда было известно, что и как он скажет. Она села в кресло у большого стола гостиной и открыла наудачу томик Кребильона («mon vieux Crebillon» [4] — так обычно называла она с милой улыбкой своего любимого писателя). Но не успела госпожа Шевалье дочитать первую страницу, как у входных дверей задрожал колокольчик. Хозяин поспешно зажег все свечи и бросился в переднюю. Госпожа Шевалье в последний раз взглянула в зеркало и вполоборота повернула голову от книги.

Иванчук приехал на вечер в числе последних гостей вместе с графом Паленом, которому был обязан приглашением. Он вошел в переднюю каким-то особенно бодрым шагом, перебирая в уме, как бы чего не упустить. В нем природное нахальство всегда перевешивало застенчивость молодого человека. Но все же перед важными вечерами он чувствовал себя, как обстрелянный воин перед сражением: дело было знакомое и нестрашное (кроме первой минуты), а все-таки требовалось смотреть в оба, работать мозгами и хорошо собой владеть, чтобы извлечь из вечера всю выгоду, а заодно и все удовольствия, которые он мог дать. Смущало его немного, что говорить придется по-французски. «Ну, да я очень насобачился»,—бодро подумал Иванчук.

В передней Екатерина Николаевна Лопухина вкалывала булавку в курчавые черные волосы. Она вскрикнула от радости, увидев графа Палена, который остановился, развел руками и очень непохоже изобразил на лице крайнюю степень восхищения. Несмотря на свой далеко не молодой возраст, Пален пользовался большим успехом у женщин: они неопределенно говорили, что в нем есть *что-то такое*. Сам Пален был к дамам благодушно снисходителен. Говорил он со всеми женщинами как с маленькими детьми,

---

[1] «Какой ужасный климат!» *(франц.)*.
[2] Как ты находишь мое платье? *(франц.)*
[3] Превосходно, дорогая *(франц.)*.
[4] «Моего старика Кребильона» *(франц.)*.

с идиотами или как с учеными пуделями,— точно его забавляло и восхищало, что они все-таки понимают не очень сложные вещи. Иванчук, для которого Пален был воплощением совершенства (не мог он простить графу только выбор военной карьеры), старался перенять его манеру разговора с дамами. Но ему она никак не давалась.

— Ах как я рада видеть вас, Петр Алексеевич,—сказала Лопухина, нерешительно оглядываясь на Иванчука. Она совершенно его не помнила. Но веселая улыбка молодого человека ясно показывала, что здесь очевидное недоразумение и что они сто лет знакомы. Лопухина поверила улыбке и смущенно поздоровалась, стараясь сообразить, кто это. Иванчук галантно поцеловал руку Екатерины Николаевны и отступил из скромности на несколько шагов в сторону. Лопухина оживленно заговорила вполголоса с Паленом. Он совершенно ее не слушал и отвечал ласково-бессмысленно первое, что приходило ему в голову.

— Так у вас, в вашей политике, все хорошо? Non, dites [1],— негромко говорила Екатерина Николаевна каким-то особенным, грудным и теплым голосом.

— Напротив, княгиня, напротив,— отвечал замогильным тоном Пален.— В политике готовятся страшные, неслыханные катастрофы. Le monde s'engouffre de plus en plus. Mais qu'est ce que cela peut bien me faire, puisque vous existez! [2]

Иванчук с восторгом смотрел на своего начальника. Лопухина махнула рукой.

— Правда, у меня сегодня ужасный вид? — быстро сказала она, расширив глаза со стыдливой улыбкой.— Я сегодня безобразна, правда? Нет, скажите раз в жизни правду...

— Вы сегодня очаровательны, княгиня. Я никогда не видел вас столь сказочно прекрасной. Боже, как вы хороши! — говорил восхищенно Пален, глядя через голову Лопухиной на дверь соседней комнаты, откуда слышались голоса.

— Ах нет, я бледна, я знаю, что я нынче бледна... Я не спала всю ночь.

Через малую гостиную они прошли в большую, где собралось общество. Госпожа Шевалье с улыбкой поднялась навстречу Лопухиной. Обе дамы впились друг в друга взглядами, и каждая на всю жизнь запомнила до мельчайших подробностей платье другой — искусство, свойственное одним женщинам и неизменно повергающее в изу-

---

[1] Нет, скажите *(франц.)*.

[2] Мир все больше и больше скатывается в пропасть. Но есть нечто, что может меня обрадовать: это то, что есть вы! *(франц.)*

мление мужчин. Затем они нежно расцеловались. Вид Лопухиной ясно показывал гостям: «Да, я у *нее* бываю, да я с *ней* целуюсь, ибо талант выше *всего этого*» (Екатерина Николаевна ездила к новой фаворитке императора главным образом назло своей падчерице).

У госпожи Шевалье обычно никого не знакомили, и вновь входящие здоровались только с хозяйкой. Но на этот раз гостей было немного, и Пален, поцеловав руку госпожи Шевалье, обошел всех. Иванчук следовал за ним. Ему очень нравилось то, как входил в гостиную Пален, неизменно сосредоточивавший на себе общее внимание. Иванчук огорченно думал, что так входить трудно и что для этого нужно иметь очень многое: и высокий рост Палена, и его звучное имя, и его репутацию, и его безграничное равнодушие к тому, что о нем подумают и скажут. Некоторые гости, подавая руку Иванчуку, скороговоркой называли свои фамилии, и опять его веселая улыбка показывала, что здесь совершенное недоразумение. Не поверил недоразумению только вице-канцлер Панин: он ответил холодным взглядом на улыбку молодого человека и тотчас отвернулся. Иванчук немедленно выразил лицом, что вполне понимает и прощает рассеянность государственного деятеля. Обойдя всех гостей, он выбрал себе самое подходящее место: не слишком близко к хозяйке (это не соответствовало бы его служебному положению), но и не очень далеко от нее.

Только осмотревшись, Иванчук вполне оценил, каким важным успехом было для него появление в доме госпожи Шевалье. Пять-шесть человек из находившихся в гостиной были важнейшими сановниками России. Остальные гости тоже ничего не портили, и лишь очень немногие были приглашены напрасно. Иванчук особенно пожалел, увидев молодого де Бальмена. Его присутствие здесь несколько уменьшало цену приглашения в дом знаменитой артистки.

VIII

У Панина значилось правило в памятной книжке: ни под какими светскими предлогами не ездить в гости к людям, которых не любишь и не уважаешь. У Никиты Петровича была привычка заносить в записную книжку разные правила для собственного руководства. В последние месяцы он почти не имел времени для записей, но изредка с грустной усмешкой перечитывал старые тетрадки в бархатных переплетах.

На вечер к госпоже Шевалье он поехал главным образом потому, что ему было неловко и неудобно во второй раз отклонить ее приглашение. Кроме того, как ни тяжело переносил Панин общество большинства людей, в одиночестве ему было порою еще тяжелее. Он говорил себе, что для дела полезно изредка посещать дом французской артистки: у нее собирались Уитворт, Рибас, Пален, Талызин, и там они могли говорить за карточным столом, не возбуждая никаких подозрений. Но законный предлог визита не рассеял дурного настроения Панина. Ему все-таки было досадно, что он поехал в этот подозрительный дом дурного тона.

Старательно избегая Ростопчина, сидевшего с хозяйкой и занимавшего ее последними парижскими анекдотами, Панин поместился за небольшим столиком, в углу гостиной. Его соседом оказался де Бальмен. Он отсюда, завидуя Ростопчину, любовался госпожой Шевалье. Немного смущенный обществом вице-канцлера, де Бальмен пробовал с ним заговорить. Панин отвечал односложно. Молодой человек раздражал его, однако раздражал меньше, чем другие гости: он был *никто*.

— Не будете ли вы добры сказать мне,— вежливо спросил де Бальмен, вместе робко и чуть насмешливо поглядывая на угрюмого вице-канцлера,— какая это звезда у графа Петра Алексеевича, вон та пятая, что поверх ленты? Верно, иностранной державы?

Панин рассеянно посмотрел по направлению взгляда молодого человека.

— Не могу вам сказать, не знаю,— кратко ответил он.

— Благодарю вас. Верно, иностранной державы...

«Он в самом деле весь в орденах,— подумал Панин.— Шесть, семь... восемь звезд... Говорят, он очень храбрый воин, с большой боевой заслугой. Однако не гнушается теперь иметь верховный надзор за Тайной канцелярией. Может быть, он читает и мои письма... Глава заговора и лучший друг государя! Да, верно, так надо. Гнусная вещь — политика...»

Пален все менял места. Вначале он долго разговаривал с хозяйкой, затем пересел к Кутайсову, дружески беседовал и с другими гостями. Оказался ненадолго и за столиком в углу, причем тотчас вступил в оживленный разговор с чрезвычайно польщенным де Бальменом. Панин прислушался было к их беседе. Военный губернатор внимательно расспрашивал молодого человека о делах его полка, о том, какие офицеры пользуются особенным влиянием и славные ли они люди. «Так он, верно, и ту даму выспрашивал

о государе, и Кутайсова о дворцовых делах»,— подумал Панин.

— Как жаль, что офицерам вашего полка трудно сделать карьер,— сказал конфиденциальным тоном Пален, нагибаясь дружески к де Бальмену.— Скажу вам по секрету, государь очень недолюбливает ваш полк.

«Все лжет,— подумал раздраженно вице-канцлер.— И как обдуманно лжет!»

Раздался звонок, и в соседней комнате послышался громкий, веселый, чуть по-детски пискливый смех.

— Le voilà, notre cher amiral[1],— сказала хозяйка, улыбаясь.

В комнату не вошел, а бочком вбежал странный, уже очень немолодой человек. В дверях он вдруг круто повернулся, так что носом к носу столкнулся с мосье Шевалье, ударил его по животу, покатился со смеху и мелкой рысцой побежал к хозяйке дома.

«А, Штаалево начальство»,— подумал де Бальмен.

Это был адмирал де Рибас. Де Бальмен, никогда не видавший его вблизи, всматривался с особенным любопытством в нового гостя. «Неужели вот этот человек в Италии заманил самозванку к Орлову? — подумал он.— Вот бы узнать, что у него в душе...» Адмирал, схватив обе руки госпожи Шевалье, покрывал их поцелуями и, бегая глазами по комнате, радостно улыбаясь то одному, то другому гостю, что-то быстро говорил по-французски со странным твердым, но не русским акцентом. Де Бальмен смотрел на него с завистью. «Вот захотел и взял сразу обе ее ручки. Он на кота похож. А у Ростопчина глаза, как у жабы... А вот Пален внушительный — и любезный какой, прелесть! Уж если кому подражать, то ему... Досадно, однако, это, что он сказал о карьере. Надо будет у нас рассказать...»

Пален встал, слегка потянулся и сказал, скрывая зевок:

— Что ж золотое времечко терять, Никита Петрович? Стол давно готов.

Де Бальмен, тоже вставая, подумал, что у них в полку за игру садились обыкновенно с этим самым восклицанием о золотом времечке. Как ни приятно было де Бальмену присутствовать на приеме у госпожи Шевалье, он в течение вечера испытывал и некоторое разочарование: в гостиной находились известнейшие люди России, но разговоры их не были значительнее, чем те, которые де Бальмен ежедневно слышал в полку и еще раньше в корпусе.

[1] Вот и наш дорогой адмирал *(франц.)*.

Иванчук в этот вечер совершенно *дознакомился* с госпожой Шевалье: теперь он был уверен, что она всегда узнает его при встрече. Хотел даже попросить ее о Настеньке, но отложил до другого раза: случаи уж наверное будут. Он был чрезвычайно доволен вечером. Вначале Иванчук устроился при Лопухиной и занимал ее с большим успехом: Екатерина Николаевна слушала его шутки благосклонно. Через четверть часа он получил приглашение бывать у них в доме запросто. Это был громадный успех, о котором Иванчук только смутно мог мечтать. Но, как только он добился успеха, его уважение к дому Лопухиных сильно уменьшилось: по-настоящему он уважал (хоть ругал и недолюбливал) лишь тех людей, которые его не пускали к себе на порог. Иванчук даже вытащил записную книжку и спросил у Екатерины Николаевны адрес, хотя, как все, прекрасно знал, где живут Лопухины. Затем он присоединился к Ростопчину и долго говорил ему комплименты. Лесть у него выходила плоская и потому особенно действительная. Ростопчин, от природы человек *наивно* пристрастный, не замечавший своей несправедливости (цинизма в нем, как и в Иванчуке, было очень мало),— под влиянием служебных успехов, совершенно потерял чувство меры и чувство смешного. Никакая лесть не казалась ему преувеличенной, и всякий человек, восторженно о нем говоривший, ему нравился, каков бы он ни был в остальном. Так и на этот раз, слушая Иванчука, Ростопчин благожелательно отметил в памяти почтительного молодого человека. Но как только разговор от дел и заслуг Федора Васильевича перешел на другую тему, он перестал слушать. Иванчук перебрался к Кутайсову, и тоже вышло хорошо. В этот вечер все удавалось Иванчуку. Он чувствовал себя настолько свободно, что сам попросил у хозяйки еще чашку чаю. Удовольствие его от общества, в котором он находился, все увеличивалось — и вместе с тем ему становилось скучно. Этот вечер среди высокопоставленных людей уже был для него навсегда приобретенным капиталом; Иванчук испытывал такое чувство, как при накоплении новой тысячи рублей,— когда хотелось возможно скорее запечатать и отослать пачку ассигнаций в Гамбургскую контору. Соображая, что такое еще можно было бы сделать, Иванчук вспомнил о Талызине: хорошо было бы и с ним подогреть знакомство,— какие это у него собираются молодые люди? Талызин играл в карты в маленькой боковой комнате, которая отделялась аркой и колоннами от большой гостиной. Его партнерами были Пален и Рибас. Четвертый игрок сидел к салону спиной. «Это кто

же? — спросил себя Иванчук, всматриваясь в высокую прическу густых пудреных волос, выделявшихся над черным бархатом воротника.—Да, тот нахал, Панин... Разве пойти посмотреть, как они играют?» Он взял за спинку стул, слегка качнул его ножками вперед и бойко, с чашкой чаю в другой руке, направился в боковую комнату.

— Бонн шанс, месье,— сказал он весело, садясь между Паленом и Талызиным. Ему показалось, будто игроки не очень ему обрадовались. Никто не ответил, и разговор оборвался.

«Да нет, вздор какой»,— подумал уверенно Иванчук. Он поставил чашку на стол и, отодвинув немного подсвечник, сказал «pardon». «Эх, глупость сморозил! — пожалел тут же Иванчук.— Не надо было говорить pardon — подсвечнику, что ли? Ну, да не беда, подумают, я кого-нибудь задел ногой под столом... А интересно, почем у них игра?» На столе лежали кучки круглых, продолговатых и квадратных жетонов из разноцветной слоновой кости. «У патрона уйма какая,— обрадовался Иванчук.— Ну и мужчина! Сдает, сдает-то как!» Пален чрезвычайно быстрым и точным движением сдавал карты по три, справа налево, как полагается при игре в бостон. Каждая карта падала на свое место, не уклоняясь ни на вершок; вдруг последняя упала открытой. «Неужели засдался?» — спросил себя огорченно Иванчук и вспомнил, что пятьдесят вторая карта открывает в бостоне козырь.

— Carreau, carissimo! [1] — воскликнул де Рибас, торопливо разбирая свои карты.

— Бубны козыри, значит, бостоном становится червонный валет,— сказал Иванчук, ни к кому в отдельности не обращаясь. Пален на сукне, не открывая, собрал свои карты в четырехугольник, выправил по столу и в одно мгновенье развернул веером, по мастям. Затем, почти не взглянув на них, снова свел карты в четырехугольник и положил на стол.

— Demande en petite,— сказал де Рибас.— En toute petite, en toute-toute-petite! [2] (он произнес немое «е» в конце слов).

Талызин задумался. Пален смотрел на него с усмешкой.

— Тут она ему и сказала,— произнес он.

— Je passe... [3]

[1] Бубны, дражайший мой! *(франц., итал.)*

[2] Прошу по малой... Совсем по малой, совсем-совсем по малой! *(франц.)*

[3] Я пасую... *(франц.)*

— Misère... [1]

— А вы как, с экаром играете? — спросил Иванчук погромче. Поймав вдруг на себе злобный взгляд вице-канцлера, он смутился и замолчал. Игра досталась Палену. «Эк он рискует, ведь ничего у него нет»,— сказал мысленно Иванчук, смотря в карты своего патрона, опять мгновенно раскрывшиеся веером. Пален, не задумываясь ни на секунду над ходами, мастерски разыграл игру и еще придвинул к себе большую кучу жетонов. В передней прозвучал звонок. «Я, может, в год столько жалованья не получаю, сколько Петр Алексеевич сейчас загреб»,— с восхищением подумал Иванчук. Он смотрел вкось мимо колонны,— какой гость приехал так поздно? Гость этот еще не появился, но по неуловимому движению в первом, сообщавшемся с передней, салоне (открытая широкая дверь его была видна из боковой комнаты) Иванчук сразу догадался, что прибыл очень важный человек. В дверях мелькнуло испуганное лицо мосье Шевалье, и в ту же минуту в большой гостиной все поднялись с мест. На пороге показался наследник престола. Иванчук смотрел на него во все глаза, еще не приходя в себя от восторга и ужаса. Александр Павлович торопливо шел к хозяйке, неловким движением головы и руки приглашая гостей сесть. Вдруг сбоку от себя он увидел поспешно поднявшихся из-за стола игроков. В глазах великого князя что-то мелькнуло — и исчезло. На поразительно красивом, еще совершенно юном лице его засветилась шутливая улыбка.

— Je suis sans excuse, Madame, je le sais [2],— сказал он, целуя руку госпожи Шевалье.

IX

— Не так ты бьешь,— наставительно говорил Насков, поправляя инструментом кончик кия.— Не так бьешь, сын мой. Надо было играть легонько от красного — вот так. Тогда бы они у тебя и остались в уголочке. А ты жаришь изо всей силы, только разбросал шары. Сила, сын мой, и хорохоренье при игре в карамболь не требуются... Вот, сам видишь, конечно, а могла бы быть серия. Dixi [3].

Он говорил быстро и оживленно, но изредка как-то странно спотыкался в слогах.

---

[1] Мизер *(франц.)*.

[2] Мне нет прощения, сударыня, я это знаю *(франц.)*.

[3] Я кончил (буквально: сказал) *(лат.)*.

— Ну, уж это мое дело,— сердито ответил промахнувшийся Штааль, отходя от биллиарда и садясь к столику.

— Твое, разумеется,— согласился Насков.— Но зачем же, сын мой, ты сердишься, аки тигра лютая?

«Совсем это не остроумно, «аки тигра лютая»,— подумал Штааль, почти с ненавистью рассматривая лысую голову, помятое лицо без ресниц и бровей, неряшливый костюм своего партнера.— И ведет себя скоморохом, и говорит, как скоморох. Вечно острит, вечно лжет».

Насков вынул мелок из кармана, намелил кий и нескладно опрокинулся туловищем на биллиард. Руки у него всегда немного дрожали. Но по покачиванию прицела, по особой легкости удара, по тому, как Насков, в неудобной позе, держал между указательным и большим пальцами передний конец кия, сразу виден был мастер. Все три шара сошлись в углу. Насков спустил правую ногу с борта, опять намелил кий кубиком и легонько повел шары по борту. «Четыре, пять, шесть,— считал мысленно Штааль.— Теперь до десяти дойдет! Опять я проиграл...»

Он как бы равнодушно отвернулся и взялся обеими руками за кий, поставленный толстым концом на некрашеный дощатый пол. В длинной узкой комнате дневной свет слабо сопротивлялся свету ламп в стеклянных шарах, спускавшихся с потолка к биллиардам. У окна на узеньком кожаном диване, прижавшись тесно друг к другу, скромно сидели два зрителя, стараясь не касаться плечами висевших около них на стене чужих кафтанов и шинелей. В грязноватых зеркалах отражались лампы, стойки с киями по стенам, озабоченные раскрасневшиеся лица и белые рукава игроков. Все три биллиарда были заняты. Отовсюду, вперемежку с неровными голосами и смехом, слышался сухой стук шаров, более громкий при первом ударе и слабый, иного тона, при втором. В биллиардной в одни и те же часы неизменно собирались одни и те же люди. Эта длинная, темноватая по углам зала, на чужой взгляд неприветливая и неуютная, для них была родным домом, и всякое явление мира они расценивали главным образом по тому, как к нему здесь отнесутся. По истечении двух-трех лет, по вечным законам биллиардных, одна группа завсегдатаев внезапно куда-то исчезала, уступая место другой такой же. Только редкие люди были связаны с биллиардной раз навсегда: до ее закрытия или до своей смерти. К таким одиночкам относился Насков, давно уволенный со службы дипломат и опустившийся человек. Штааль принадлежал к предшествовавшему поколению

завсегдатаев. Теперь, в этой зале, кроме Наскова, он не знал, даже в лицо, почти никого. Ему было грустно.

«Неужели не дойдет больше до меня очередь?.. За десять перевалило. Этот может, однако, не выйти,— думал Штааль, невольно поводя плечом, как бы помогая своим движением шару Наскова уклониться от цели.— Нет, сделал и этот...»

Насков столкнулся задом с игроком соседнего стола и остановился, рассеянным мутным взором глядя на игру соседа. Затем опять наклонился над биллиардом.

— Два всего осталось. Плакали, сын мой, твои денежки,— сказал Насков, опять нагибаясь над биллиардом.— Так... И этак... Напоследок три борта... Пребезмерно мне сие любезно.

Он положил в карман протянутый Штаалем золотой.

«Теперь заговорит о своем фамильном происхождении или глупые анекдоты начнет рассказывать... И конец каждого анекдота повторит два раза»,— подумал Штааль.

— Больше не желаешь играть? На дискрецию? — спросил Насков.

— Не желаю.

— Не сердись, светик. Мне всего дороже соблюдение твоего здоровья... Позволь, ради Бога, мне пойти вымыть руки.

Он надел кафтан и энергичной, подрагивающей походкой направился в уборную, нескладно размахивая руками и странно сгибая колени, точно он все время шагал через препятствия. Штааль смотрел ему вслед и не без удовольствия думал, что Насков болел дурной болезнью: он сам всем об этом рассказывал со смехом, как о случившейся с ним когда-то забавной истории, которой, по-видимому, он не придавал никакого значения. «А нос у тебя и очень может провалиться»,— думал Штааль, сожалея, что неудобно напомнить об этом Наскову.

— Время мое, Кирилл,— сказал он лакею, убиравшему шары.— Принеси-ка мне бутылку портеру,— добавил он неожиданно для самого себя: ему не хотелось ни пить, ни оставаться в накуренной биллиардной.

— Слушаю-с.

На третьем биллиарде играли в пять шаров игроки-завсегдатаи, звезды нового поколения. На их партию смотрело человек десять. Спиной к Штаалю, с любопытством следя за игрою, стоял сгорбленный старик. Штааль бегло скользнул взглядом по его спине и желто-седому затылку.

«В Париже биллиарды больше наших,— подумал он

почему-то.— И кии там кривые, шары толкают толстым концом...»

— А, ты портеру потребовал, тигра лютая,— весело сказал вернувшийся Насков.— Увлекательная мысль.

Он вытер руки о панталоны, налил полный бокал и выпил залпом.

— Будь здоров!..

«Из этого стакана не пить»,— отметил в уме Штааль.

— Послушай, как влачатся твои дела с божественной Шевалье? — спросил развязно Насков, очевидно желавший развеселить проигравшего приятеля.— Мне говорил Бальмен...

— Никак.

— Рифма: чудак! Есть еще рифма, но об оной умолчу (он приложил палец к губе и сделал испуганное лицо, затем быстро засмеялся).

— Ты думаешь, так легко сойтись с госпожой Шевалье?

— А ты думаешь, так трудно? У тебя есть сто рублей?

«Нет»,—хотел было ответить Штааль и утвердительно кивнул головой.

— Тогда завтра, часов в пять, поезжай к ней с посещеньем.

— Да я не знаком!

— Сие не требуется, сын мой. Ты приказываешь доложить. Божественная тебя принимает. «Madame, je suis très malheureux...) [1] — (Насков хорошо владел французским языком и считал необходимым грассировать; однако грассированье у него, как у всех нарочно картавящих людей, совершенно не походило на французское). «Сударыня, мне до смерти хочется попасть на ваш бенефис, но, увы, все билеты расписаны за два месяца. Вы одни можете ввергнуть меня в блаженство...» Тут ты бросаешь на стол сто рублей.

— Не видала она моих ста рублей.

— Видала, натурально. Но она бережлива, как всякая француженка, и жадна, как всякая актерка. Ста рублей за билет, стоящий три, рядовой дурак не даст. Кроме того, ты красивый мальчик. Я вижу отсель ее благосклонную улыбку.

— А дальше что? — спросил заинтересованный Штааль.

— Дальше ты можешь, например, сказать, что ты видел в Париже в ее роли знаменитую Нунчиати. Разуме-

---

[1] «Сударыня, я очень несчастен...» *(франц.).*

ется, ты ее и во сне не видал, но это не имеет никакого значения. «Ах, вы бывали в Париже?.. Простите, мосье, я не разобрала вашу фамилию». Ты называешь. Она ничего не понимает в русских фамилиях: ей все одно — что Шереметев (у него неожиданно вышло: Шемеретев), что Штааль...

— Или что Насков.

— Pardon, я Бархатной книги...

— А я шелковой,— сказал Штааль и сам покраснел от того, что так глупо сострил.— К тому же у нас нет под рукою Бархатной книги.

— Позволь. Я тебе докажу. Мой пращур...

— Не трудись.

— Впрочем, не в этом дело. Повторяю, божественная ничего не понимает. Ты горячо восклицаешь, что Нунчиати и Давиа не достойны быть у ней служанками. Она мило и конфузливо улыбается: «Мосье, вы преувеличиваете...» — «Сударыня, я клянусь...» Клянись всем, что придет в голову, это тоже не имеет значения. Если хочешь, моей жизнью, не препятствую. Цени любезность, потому что по правде Давиа много лучше твоей Шевалье. Кому и знать, как не мне: не скрою, дело прошлое, прелестная Давиа дарила меня своей милостью...

— Об этом я что-то не слыхал.

— Cher ami [1], ты тогда бегал под столом. Я потратил на нее более ста тысяч.

— И того не слыхал. Я думал, ты и десяти тысяч не имел сроду.

— Ты думал? Так ты не думай. Ежели ты будешь думать, то что будут делать Аристотель, Платон, Фукидид? Кстати, ты знаешь, как звали жену Фукидида? Фукибаба... Понимаешь: жена Фуки-дида Фуки-баба.

Он залился мелким смехом.

— Старо! Еще в училище слышал.

— Старый друг лучше новых двух. И даже лучше новых трех... Passons...[2] Я продолжаю. Божественная улыбается еще милее и безмолвственно взирает на тебя с вожделением. На твоей очаровательной фигуре, к счастью, ничего не написано: может быть, у тебя, опричь наличного капиталу, сто тысяч душ. Ты просишь дозволения бывать в доме. «Ах, я буду очень рада...» Dixi.

— Скорее всего, меня просто не примут: «Барыня велели узнать, что вам угодно?»

---

[1] Дорогой мой *(франц.)*.

[2] Но оставим это... *(франц.)*.

— Tiens[1], об этом я не сделал рефлексии... Впрочем, это не беда. Ты становишься нахален: «Скажи, что имею важнейшее персональное дело». Девять шансов из ста... я хочу сказать, девять шансов из десяти: тебя примут.

— Ну а ежели у меня нет сейчас свободных ста рублей? — краснея, сказал Штааль.

— Ах вот что,— разочарованно протянул Насков.— Тогда другое дело. К сожалению моему, я беру назад все ценное и мудрое, что было мною сказано. Тогда проклинай свою столь плачевную судьбу. Человек, не имеющий ста рублей, не достоин звания человека. Dixi.

— Предположим, я мог бы взять взаймы.

— Не будем предполагать, сын мой. Достать взаймы сто рублей в этой развратной себялюбивой столице! Не льстись несбыточным сном... Разве что жалованья подождешь? Поголодай, правда: нет беды в том, чтоб поголодать для любимой женщины. C'est une noble attitude[2] (слово «attitude» тоже у него не вышло). Кстати, прости, я выпил весь твой портер. Не заказываю для тебя другой бутылки: ты, натурально, обиделся бы, и ты был бы прав... Теперь видишь, как это просто? Вперед всегда слушай дяденьку... Ты еще остаешься? Тогда прощай, я бегу. Еще надо быть во дворце. Я обещал одному человеку (он назвал громкую фамилию). Скоро придешь сюда опять?

— Едва ли... Впрочем, может, завтра приду.

— Приходи, отыграешься. Ты сделал успехи, сын мой, я тебе говорю. Прощай, расцеловываю тебя, однако лишь мысленно.

Он застегнул плащ на одну пуговицу и своей бодрой лошадиной походкой вышел из биллиардной.

«Куда же мне пойти? Скука какая! — подумал тоскливо Штааль. Наклонившись к столику — так, чтобы никто не видел,— он заглянул в кошелек.— Три, шесть, семь рублей... Потом опять буду в ресторации обедать в долг... Господи, когда же придет конец этой нищете!»

Дела его не улучшались от того, что он постоянно размышлял и говорил о преимуществах богатых людей перед бедными. Зорич умер и ничего ему не оставил. Штааль, стыдясь, ловил себя на том, что вспоминал о своем воспитателе не иначе как со злобой.

Он встал, сердито протянул руку поверх головы скромного посетителя, который робко искоса на него смотрел

---

[1] Смотри-ка (*франц.*).
[2] Это благородная позиция (*франц.*).

с дивана, и снял с гвоздя шинель. Освободившийся биллиард уже снова был занят; лакей с обреченным видом нес назад только что убранные шары. Штааль повернулся, надевая шинель, и опять ему у третьего биллиарда попался на глаза тот же желто-седой затылок.

«Что денег я тогда извел в Париже! — подумал он.— Ведь и Семен Гаврилович немало прислал, и Безбородко дал на ту дурацкую командировку. Обоих более нет в живых. Прошла и моя молодость,— верно, и я скоро околею... Питт тоже тогда предлагал денег, я сблагородничал, отказался. Теперь пригодились бы... Глупый я был мальчишка!»

Он вздохнул и направился к двери. Проход мимо третьего биллиарда был занят игравшим с борта чиновником. Штааль остановился, пренебрежительно глядя на новую знаменитость. Удар вышел очень искусный.

— Ну и молодец! — воскликнул восторженно один из зрителей.— Такого шара сам Яков не сделает.

— Bien joué [1],— пробормотал кто-то у стены.

Штааль оглянулся — и вздрогнул.

«Да нет, быть не может!.. Ужели Пьер Ламор?..»

Старик показывал лакею на стакан, стоявший перед ним на столике.

— Полтинничек с вас, барин. Полтинник,— особенно внятно и вразумительно говорил лакей.

— Vous ferez porter ça sur ma note. Je suis au numéro douze [2].

Лакей улыбался глупой улыбкой непонимающего человека.

«Разумеется, Ламор... Господи!..»

Штааль быстро подошел к старику.

— Вы меня не узнаете? — по-французски спросил он дрогнувшим голосом.

Старик смотрел на него удивленно. Вдруг улыбка пробежала в его глазах.

— Quel heureux hasard! [3] — сказал он, протягивая приветливо руку.

— Вы? В Петербурге? Какими судьбами?

— Да, я здесь живу, у Демута.

— В Петербурге?

Ламор рассмеялся:

---

[1] Отлично сыграно *(франц.)*.

[2] Запишите портер на мой счет. Я из двенадцатого номера *(франц.)*

[3] Какой счастливый случай! *(франц.)*

— Как видите... В самом деле, какая странная встреча! Так вы военный? Как же вы поживаете?

— Да ничего...

Они смотрели друг на друга, не зная, что сказать.

— Вы мало изменились...

— Будто? А вас я едва узнал... Ведь лет шесть прошло? Вы тогда были совсем мальчиком. Очень это много в вашем возрасте, шесть лет... Вот не думал встретить здесь старого приятеля. Я зашел из столовой сюда в биллиардную, не хотелось подниматься в свою комнату. Да вы что ж, спешите? Посидите со мною...

— С удовольствием.

— Ну и прекрасно, я рад! Хотите, сядем в том углу, там никого нет... И вина велите подать.

— Принеси бутылку бордо, Кирилл, вон туда,— приказал Штааль лакею, стоявшему около них с недоверчивым видом.

— В три рубли или в четыре прикажете?

— В три.

Они сели за стол в темном углу комнаты.

— Я когда-то очень любил биллиард,— сказал Ламор.

«Предложить ему сыграть партию? Нет, неловко такому старику»,— подумал Штааль.

— А мосье Борегар?.. Ведь его казнили? — вдруг вскрикнул он.

Проходивший мимо гость на них оглянулся. Ламор пожал плечами.

— Comme tout le monde, mon jeune ami, comme tout le monde [1],— сказал он.

X

За кулисами Каменного театра было полутемно, холодно и неуютно. Кое-где уже горели лампы. В огромных пустых пространствах позади сцены бродило несколько посетителей репетиций. Штааль, впервые попавший за кулисы, осторожно ступал по доскам пола, боясь провалиться в люк или ущемить ногу в пересекавших пол узких щелях. Он растерянно смотрел на канаты, уходившие куда-то вверх, на огромные зубчатые колеса, на торчавшие повсюду деревянные рамы. Все здесь было непонятно и таинственно, но нисколько не поэтично: Штааль иначе себе представлял кулисы. Пахло пылью и крысами.

---

[1] Как и всех, мой юный друг, как и всех *(франц.)*.

За стеной кто-то пел одну и ту же музыкальную фразу. Штааль прислушался: «Ни принцесса, ни дюшесса, ни княгиня, ни графиня»,— пел хриплый баритон и вдруг — без всякой злобы в выражении — разразился отчаянной бранью. Из боковых помещений постоянно пробегали по направлению к сцене необычайно торопившиеся, часто полуодетые, люди с крайне озабоченными лицами. Другие неслись вверх и вниз по узким боковым лестницам. Штааль понимал, что где-то по сторонам идет напряженная подготовительная работа. Вдруг около того места, где он стоял, огромная рама со скрипом пришла в движение и поплыла по щели прямо на него. Штааль растерянно отступил. Декорация прижала его к лесенке. Он поднялся по ступенькам и попал на сцену. Там зажигали фонари. Кто-то вколачивал молотком гвозди. Темный пустой зрительный зал теперь казался маленьким по сравнению с огромными пространствами позади сцены. Это особенно удивило Штааля. Прежде ему представлялось, что зрительный зал и составляет почти весь театр.

«Да что же никого из них нет?» — с досадой подумал Штааль. Компания, к которой он принадлежал в последнее время, должна была собраться за кулисами в четыре часа. Ему там и назначили свидание, указав, как пройти. Но еще никого не было. Он все боялся, что его спросят, зачем он здесь. «Или они где-нибудь собрались в другом месте?» Морщась от резких ударов молотка, Штааль направился назад.

— Ваше благородие, к нам пожаловали? — окликнул его кто-то. Штааль быстро оглянулся и не без труда, больше по голосу, узнал знакомого старичка-актера.

— А, здравствуйте,— радостно сказал Штааль.— Вы что ж это так нарядились?

— Наша роль: Бахус, древний бог Бахус,— сказал робко актер.

— У вас что нынче играется?

— «Радость душеньки», лирическая комедия, последуемая балетом, в одном действии, сочинение господина Богдановича,— скороговоркой ответил актер.— Изволите по поддуге видеть,— добавил он, показывая рукой на странное раскрашенное полотно, висевшее на раме.— Волшебные чертоги Амуровы-с.

Штааль взглянул на декорацию: вблизи она совершенно не походила на чертоги.

— А это что? — спросил он, показывая на сложное сооружение у потолка.

— Это Нептунова машина,— пояснил актер.

Штааль сделал вид, будто понял.

— Наверху машинное отделение. Если угодно, покажу-с?..

— Нет, не стоит,— устало сказал Штааль.— Да, так что же...— Он запнулся, не зная, о чем спросить актера, и боясь, как бы тот его не покинул.— Говорят, прекрасная комедия?

— Весьма прекрасная,— тотчас согласился актер.

— Ну а так у вас все идет, как следует?

— Ничего-с... Все как следует-с... Говорят, Яков Емельянович опять у нас будут играть. Не изволили слыхать?

— Кто это Яков Емельянович?

— Шушерин, как же, Яков Емельянович Шушерин,— удивленно пояснил актер.— Они из Москвы, слышно, к нам переводятся.

— Да?.. Скажите, французы тут же играют?

— Как же-с, здесь все: и они, и мы.

— А госпожа Шевалье?

— Как же-с, оне каждый день здесь бывают... Попозже только, часам к пяти. Их уборная по коридору первая...

— Ах, вот что... Да вообще где у вас тут комнаты артисток?.. И артистов.

— Везде-с. Общих теперича две-с. Одна мужская — нынче в ней хор зефиров. А женская наверху, там сейчас нимфы одеваются.

— Да... Вы хотели показать мне машинное отделение. Это должно быть интересно.

— Слушаю-с.

В эту минуту на сцене послышались голоса, и у лесенки показалось несколько театральных завсегдатаев. Среди них Штааль увидел Наскова, де Бальмена, Иванчука.

— А, Бахус,— воскликнул Насков.— Бахус Моцартус... Mes enfants [1], представляю вам бога Бахуса.

Напились неосторожно,
Пьяным мыслить невозможно,
Что же делать? Как же быть? —

запел он хриплым голосом.

— Фальшь, фальшь,— воскликнул, затыкая уши, Иванчук и как-то особенно бойко перескочил через низко ви-

[1] *Дети мои (франц.).*

севшую веревку, хотя через нее можно было просто перешагнуть.

— Никак нет, верно поют-с,— сказал, улыбаясь, Бахус.

Иванчук очень холодно поздоровался с Штаалем.

— Вчера не были, сударь,— сказал актер.— Новостей нет ли-с? Верно, все штафеты читать изволите, и те что по телеграфам?

— Новостей? — переспросил польщенный Иванчук.— Какие же новости? Скоро воевать будем.

— С турками-с?

— С турками-с,— передразнил Иванчук.— Уж не с гишпанцами ли? С Англией, а не с турками-с. Сдается мне, Бонапарт начинает нами вертеть!

— Дерзновенного духа человек,— вздохнул актер.

— Ну, насчет войны еще гадания розны,— пренебрежительно сказал Штааль, не глядя на Иванчука.

— В самом деле, вряд ли мы заключим аллианс с Бонапартом,— вставил де Бальмен.

— А почему бы и нет?

— С республиканским правительством? Это при суждениях государя императора?

Я люблю вино не ложно,
Трезвым быть мне невозможно.
Что же делать? Как же быть? —

пел Насков, бывший сильно навеселе.

— Я, впрочем, не утверждаю положительно,— сказал, спохватившись, Иванчук и заговорил вполголоса с де Бальменом об артистках театра, сообщая о них самые интимные сведения.

— Откуда ты знаешь? Откуда ты знаешь? — все больше краснея, беспрестанно спрашивал де Бальмен. Иванчук только пожимал плечами. Штааль усиленно зевал. Ему очень хотелось послушать.

— Да быть не может!

— Верно тебе говорю.

Де Бальмен вдруг толкнул его в бок, показывая глазами в сторону. К ним неторопливо подходил седой как лунь красивый старик с очень умным и привлекательным лицом, в коричневом суконном кафтане, с шитым шелковым жилетом, манжетами и брыжами. Голова у него слегка тряслась. Это был знаменитый актер Дмитревский.

— Здравствуй, здравствуй, дуся моя,— ласково говорил он каждому.— Что, инспектора не видал? Где инспектор?

— Они у краскотеров, Иван Афанасьевич,— сказал почтительно Бахус.— А Алексей Семеныч в своей уборной.

— Пьян? — деловито спросил Дмитревский.

— Не иначе как, Иван Афанасьевич.

Дмитревский вздохнул.

— Жаль, талант какой,— сказал он.— Так я к нему пройду. Скажи инспектору, чтоб засел, дуся моя,— добавил он, исчезая за декорациями.

— Экой маркиз! — сказал с жаром де Бальмен, очень довольный тем, что увидел вблизи Дмитревского.

— Помаркизистее настоящих маркизов,— подтвердил Штааль.

— Кто это пьян? Яковлев? — спросил Бахуса Иванчук.

— Они-с.

— Как ты умный человек, Бахус,— сказал с таинственным видом Насков,— то разреши мне сию задачу: ежели б в реке разом тонули турок и иудей, то которого нужно спасать первым?

Он засмеялся, окинув всех веселым взглядом, и затянул:

У меня гортань устала.
Лучше, братцы, отдохнуть,
Отдохнуть, да пососнуть,
Так, так душенька сказала...

— Да, вот он, ваш инспектор,— сказал Иванчук. Бахус подтянулся и быстро исчез. По лестнице из машинного отделения спускался, похлопывая себя хлыстиком, осанистый мужчина, с жирным, осевшим складками, лицом. Он поздоровался с главными гостями так, как здороваются на сцене актеры, встречаясь с давно пропавшими без вести друзьями: склонял голову набок, на расстоянии, не выпуская хлыстика, хватал руки знакомых повыше локтей и при этом говорил изумленно радостным тоном: «Ба, кого я вижу!» или: «Сколько лет, сколько зим!» Это он говорил даже тем гостям, которых видел накануне. Впрочем, с людьми малозначительными, как Штааль, инспектор труппы поздоровался гораздо сдержанней, а Наскова даже вовсе не узнал. Особенно любезно он встретил Иванчука.

«Экая противная фигура,— подумал Штааль.— Так и хочется в морду дать... И никто, кроме актеров, не говорит «ба»!»

Иванчук фамильярно охватил за талию инспектора и отвел его к сцене.

— Вы, батюшка, как, Настенькой довольны? — спросил он вполголоса.

— Степановой? — переспросил инспектор.— Старательная девица. Она нынче в хоре нимф.

— Да, я знаю. Правда, отличнейший талант?

— Ничего, ничего.

— Только ход ей давайте... А зефиры к ней не пристают?

— Попробовали бы приставать! С зефирами разговор короткий. Будьте совершенно спокойны.

— Ну спасибо,— сказал Иванчук, горячо пожимая ему руку.— Граф Петр Алексеевич очень доволен вашей труппой.

— Стараюсь, как могу. Просто жалость, что у нас на русские спектакли так смотрят... Ей-Богу, играем не хуже французов.

— Она где сейчас, Настенька? В большой фигурантской? Так я туда пройду?

— Другим не разрешил бы, а вам... Только к нимфам, пожалуйста, не заходите. Не от меня учинено запрещенье. Велите служительнице вызвать.

Иванчук кивнул головой, поднялся, немного волнуясь, по лестнице к фигурантской и приказал вызвать Анастасию Степанову. Через минуту в дверях общей уборной появилась с испуганным видом Настенька в костюме нимфы. За ней показались сквозь полуоткрытую дверь две женские головы и скрылись. Послышался смех.

— Ах, это вы? — сказала Настенька, улыбаясь и прислушиваясь к тому, что говорилось в уборной.

— Ты, а не вы,— поправил Иванчук, восторженно на нее глядя.— Я привез тебе конфет.

— Ну, зачем вы это? Благодарствуйте...

Иванчук вынул из кармана маленькую плоскую коробочку.

— Нарочно взял маленькую, незачем, чтоб болтали. Самые лучшие конфеты, по полтора рубли фунт.

Иванчук знал, что так говорить не следует, но не мог удержаться: с Настенькой ему хотелось разговаривать иначе, чем со всеми.

— Благодарствуйте, зачем вы, право, тратитесь? Это лишнее.

— Без благодарения: для тебя нет лишнего, Настенька.

Она засмеялась.

— Ты и не знаешь, какой я тебе готовлю сюрприз. Нет, нет, не скажу. А вот только что я говорил с инспектором. Он так полагает, что у тебя немалый талант. Увидишь, я тебе устрою карьер. Только слушайся меня во всем.

— Да я и так слушаюсь.

Иванчук оглянулся и быстро поцеловал Настеньку в губы.

— Ты знаешь, Штааль здесь, в театре. Ведь ни-ни, правда? — спросил он, краснея (что с ним бывало редко).— А, ни-ни?

Она вспыхнула:

— Мне все одно... Только вы идите, очень инспектор строгий.

— Так я после репетовки за тобой зайду.

— И то заходите, спасибо.

— Заходи, а не заходите.

Иванчук радостно простился с Настенькой и вернулся к сцене. Там движение усилилось. Слуги поспешно тащили рамы и сдвигали декорации. Волшебные чертоги Амура уже были почти готовы. Поддуги очень плохо изображали звездное небо. Работа кипела. Напряжение передалось и зрителям, которые взошли на сцену и уселись на стульях по ее краям в ожидании начала репетиции. В конце темного зрительного зала блеснул слабый свет. Дверь открылась, из коридора вошла дама в сопровождении лакея и поспешно направилась к сцене. Когда она поравнялась с паркетом, Штааль и Иванчук одновременно узнали Лопухину. Штааль поклонился, Иванчук мимо суфлера бойко сбежал со сцены в зал и остановился с Екатериной Николаевной.

— Пренсесс,—сказал он, целуя ей руку.— Вы, в храме Мельпомены?

— Да, да, правда, Мельпомены... Я не помешаю?

— Ради Бога! Вы, можете ли вы помешать? — воскликнул Иванчук, подражая Палену.— Садитесь где вам будет угодно, пренсесс, где вам только будет угодно! — говорил он, точно был в театре хозяином.

— Здесь что сейчас?

— Сейчас начнется репетовка. «Радость душеньки», вы как раз, пренсесс...

— Ах, это русская труппа,— протянула, щурясь на сцену, Лопухина.— А я к дивной Шевалье...

Она вдруг вскрикнула, узнав Штааля, и радостно закивала головой.

— Это тот ваш товарищ, я его знаю. Он такой милый. Позовите его...

Де Бальмен, стоявший рядом с Штаалем, толкнул его локтем. Штааль встал словно нехотя и медленно спустился в зал, искоса взглянув на озадаченного Иванчука.

— Вы, конечно, меня не узнаете? — с томной улыбкой сказала Лопухина. В голосе ее послышались теплые грудные ноты.— Ну да, конечно, не узнаете...

— Помилуйте,— ответил Штааль, досадуя, что не придумал более блестящего ответа.

— Не помилую,— сказала Екатерина Николаевна с ударением на слове не.— Я вас не помилую, молодой человек.

Иванчук отошел очень недовольный. Лопухина быстро приблизила лицо к Штаалю.

— Я сегодня безобразна, правда? Правда, у меня ужасный вид?

— Что вы, помилуйте,— опять сказал Штааль и покраснел.

— Нет, я знаю. У меня голова болит, это оттого...

— Зачем же вы пришли в театр, если у вас голова болит? — спросил Штааль грубоватым тоном.

Лопухина слабо засмеялась:

— Parfait, parfait...[1] Нет, он очарователен. Ему надо ушко надрать. «Зачем вы пришли в театр?..» Я должна видеть прелестную Шевалье, вот зачем, молодой человек. Ах, она такая прелестная. Проводите меня к ней, да, да?

— С удовольствием,— поспешно сказал Штааль.— С моим удовольствием. Ежели только она уже прибыла... Ее уборная там, мы можем пройти коридором.

— Да, да, коридором. Дайте мне руку... Останься здесь, Степан... Ах, она такая прелестная, Шевалье. Ведь, правда, вы не видали женщины лучше? Сознайтесь...

Она терпеть не могла госпожу Шевалье и постоянно ее превозносила по каким-то сложным соображениям.

— Сознаюсь.

— Ах, она обольсти... Вот только фигура у ней нехороша... И плечи... Неужто вы никого не видали лучше? Боже, какой вы молодой! И как вас легко провести! Ведь, правда, вы в нее влюблены?

Она опять слабо засмеялась.

— А помните, вы когда-то говорили, что в меня влюблены до безумия? Да, да, до безумия... Так ведите же меня к ней, изменник. Да, да, изменник! Стыдитесь, молодой человек.

---

[1] Чудесно, чудесно... *(франц.)*

XI

— А, это, должно быть, та заезжая великанша, что недавно показывалась на театре,— пояснил Штааль Лопухиной.

В коридоре недалеко от них у стены на табурете сидела огромная женщина, с упорным, тупым и неподвижным выражением на лице. Ее рыжая голова была видна издали подходившим, хоть великаншу с трех сторон обступали зефиры, обменивавшиеся деловитыми замечаниями о разных частях ее тела (она по-русски не понимала). Без всякого подобия улыбки, сложив руки на коленях, она смотрела на двух мальчиков, пришедшихся по линии ее взгляда, как смотрела бы на стену, если б их не было. Зефиры замолчали и расступились, увидев подходивших. Когда Лопухина и Штааль попали под взгляд великанши, она вдруг тяжело вздохнула, подумала немного и встала. Зефиры радостно зафыркали. Лопухина оглянулась на них. Привычным движением великанша раскинула руки по стене и вдруг улыбнулась жалкой улыбкой. Это и было все ее выступление, для которого она ездила из одного края света в другой.

— Какая странная жизнь должна быть у этой женщины,— сказал Штааль негромко своей спутнице. Лопухина восторженно закивала головой, точно он сделал необычайно тонкое замечание. Штааль увидел, что она смотрит не на великаншу, а на зефиров.

— Что это за юноши? — отходя, спросила Лопухина равнодушным тоном.

— Это, кажется, воспитанники театрального училища.

— Parfait, parfait... Какое чудовище эта женщина! Ах, ужели есть мужчины, которые могли бы ее полюбить? Как вы думаете?

— Своей красоты, не хуже многих других,— буркнул Штааль, тут же подумав, что ведет себя и неучтиво, и глупо: Лопухина с ее громадными связями могла быть чрезвычайно ему полезна.— Это, верно, здесь,— сказал он, остановившись перед закрытой дверью последней комнаты коридора.

Лопухина постучала и вошла, не дожидаясь ответа. В небольшой, хорошо убранной комнате перед зеркалом горели свечи. Госпожа Шевалье, в шелковом пеньюаре, сердито встала с места, но тотчас, увидев Лопухину, сменила недовольное выражение лица на радостную улыбку. В углу комнаты с дивана поднялся грузный Кутайсов.

На равнодушном лице его не было никакого выражения. Однако Штааль почувствовал себя неловко. Расцеловавшись нежно с Лопухиной, госпожа Шевалье подала руку Штаалю, с которым уже была знакома; однако не предложила ему сесть.

— Княгиня приказала мне проводить ее к вам,— смущенно сказал Штааль.

Кутайсов равнодушно наклонил голову в знак согласия, точно это ему вошедший гость объяснял причину своего появления. Штааль вспыхнул. Он невнятно пробормотал, что княгиня, верно, одна найдет дорогу назад,— и, неожиданно для самого себя, направился к двери. Никто его не удерживал. Штааль вышел с яростью, чувствуя, что визит не только не подвинул вперед его дела, но, скорее, мог повредить ему в глазах красавицы: «Глупо вошел, еще глупее вышел...» С порога он смерил взглядом Кутайсова с ног до головы, но это не могло его утешить, так как Кутайсов и не смотрел на него в эту минуту. Хлопнуть дверью было тоже неудобно. Штааль быстро шел, не замечая, куда идет, и говорил отрывисто разные злобные слова.

Справа за стеной тот же хриплый баритон пел: «Ни принцесса, ни дюшесса, ни княгиня, ни графиня...» Навстречу Штаалю шел, переваливаясь, с хлыстиком в руке, осанистый инспектор труппы. Он недовольно посмотрел на Штааля и холодно кивнул головой, как если б тот ему поклонился. «Еще бы стал я первый кланяться»,— почти с бешенством подумал Штааль.

У окна стоял стул с продырявленным сиденьем. Со сцены, находившейся совсем близко, слышалось пение. Штааль сел и угрюмо уставился на улицу. Еще было светло. Начинались весенние дни. Грязное месиво, оставшееся после растаявшего снега, уже немного подсыхало. Стояла теплая погода без дождя и солнца, которую любил Штааль.

«Да, правду говорил Ламор: нечего мне лезть к этим людям,— угрюмо думал он.— Странно я повстречался с Ламором. В Неаполе тогда были единовременно и не знали. А здесь, в Петербурге, вдруг встретились у Демута. Очень странно! Я думал, он давно умер. Живуч старик и стал еще болтливее. Но, пожалуй, он прав».

Они тогда довольно долго оставались в биллиардной. Когда все предметы разговора были исчерпаны, Штааль вдруг, сам не зная для чего, рассказал Ламору о своей

любви к госпоже Шевалье. Старик выслушал его с интересом.

— Молодой друг мой,— сказал он,— глупый, благоразумный человек, вероятно, счел бы себя обязанным с ужасом вас предостеречь. Очень может быть, что за любовь к фаворитке императора вас бросят в каземат или сошлют в каторжные работы,— такие случаи бывали в истории. Но в русской Бастилии (ведь ее, слава Богу, еще не взяли) или по дороге в Сибирь, позвякивая кандалами, вы вдруг вспомните какую-нибудь улыбку, или взгляд, или сказанное вам нежное слово — и сердце ваше замрет от такого умиления, от такого мучительного восторга, по сравнению с которыми, конечно, ничего не стоит вся слава и роскошь мира. Эти минуты и составляют высшую радость в любви, а не то, что, помнится, Марк Аврелий или другой древний импотент называл презрительно «convulsicula» [1]. Платоническая любовь, которую наивные люди именуют «чистой»,— самое утонченное наслаждение, выдуманное великими сибаритами. Я отнюдь не враг «convulsicula»,— но высший восторг дают все же те мгновенья. Правда, восторг пройдет, а Сибирь и Бастилия останутся. Поэтому, с чисто логической точки зрения, глупый человек, пожалуй, будет не совсем не прав. Однако особенность глупых людей именно в том и заключается, что они суют логику туда, где ей решительно нечего делать. Область полномочий здравого смысла в жизни до смешного мала... Впрочем, по прежним моим наблюдениям, у вас не слишком бурный темперамент. Вы, кажется, человек мнимострастный: есть такие — уж вы меня извините. Благоразумнее было бы, конечно, не лезть в соперники сильным мира. Но отчего же и не попытать счастья? Есть серьезные прецеденты. Возьмите нашего первого консула. Уж какое могущественное лицо, да вдобавок гений, да вдобавок красивый человек,— но с огорчением должен сообщить вам то, о чем давно говорит весь Париж: Le grand homme est cocu [2]. Счастливый соперник первого консула — конный егерь, мосье Шарль: просто конный егерь, просто мосье Шарль, ничего больше. Это, кстати сказать, по-моему, проявление высшей справедливости. Судьба мудро поступила, наградив пяткой Ахиллеса. На месте наших республиканцев я нашел бы себе утешение: мосье Шарль отомстил человеку судьбы за 18-ое брюмера: le tyran est cocu [3].

---

[1] Любовные корчи, любовные конвульсии (*лат.*).

[2] Великому человеку наставили рога... (*франц.*)

[3] Тирану наставили рога (*франц.*).

«Все он шутит, да острит,— думал Штааль.— Нет утомительнее таких людей. Неужто в первом консуле ничего иного подметить было невозможно?..»

Мысли Штааля были в последнее время все более печальны. Дела его, и денежные, и служебные, находились в совсем дурном состоянии. Товарищи-офицеры его не любили и считали чужим, случайным человеком в своей среде. Штааль это приписывал тому, что не имел знатного имени. В действительности были также другие причины. В его блестящем полку, одном из лучших в мире, традиции чести и достоинства стояли и в ту пору чрезвычайно высоко. Штааль не сделал ничего противного этим традициям, не сделал и вообще ничего дурного. В походе он прилично себя вел. Поэтому его терпели. Но в нем смутно чувствовали человека, в безукоризненном поведении которого нельзя быть вполне уверенным. «Надо уйти в отставку, пока не попросили,— думал Штааль.— Не создан я для военной службы».

Он взглянул в окно и тяжело вздохнул.

«Вот скоро поеду на юг, в Киев, в Одессу даст поручение Рибас... Бальмен предлагает ехать вместе. Дешевле будет и не так скучно: он приятный мальчик. Там отдохну... Какая, однако, мелочь может расстроить душу... Ведь ничего, собственно, этакого и не случилось. Ну, увижу ее в другой раз. Да и на ней свет не клином сошелся. На юге много красивых женщин... Вот бы только Лопухина не оскорбилась, что я ее бросил...»

На сцене Амур пел арию: «Ее устами говорила сама любовь, сама любовь». Певец произносил: «сам-ма любо-у, сам-ма любо-у». «Да, именно, любоу... Почему, однако, старик думает, что я человек мнимострастный? Это обидно...» Голос певца оборвался на длинной пискливой заключительной ноте. «Какой скверный певец! Да, все мое расстройство оттого, что нет ни *любоу*, ни денег. Одно утешало бы, ежели б не было другого. А вдруг на юге найду и деньги, и любоу?..» «Я говорю, что она загрустила от печали»,— сказал на сцене голос. «А я говорю, что она печальна от грусти»,— ответил другой. Послышался смех. «Экое дурачье! Что тут остроумного?» — подумал Штааль. Он встал и направился к сцене.

Сбоку от лестницы шел на сцену хор нимф. Нимфы шли в ногу походкой балерин, подняв голову, опустив плечи, странно держа руки и подрагивая бедрами. Все улыбались совершенно одинаковой, задорно-радостной улыбкой. Четвертой шла Настенька. Штааль знал, что она оставила

Баратаева и сошлась недавно с Иванчуком, который определил ее в балет. Сначала это было чрезвычайно неприятно Штаалю, потом он решил, что ему совершенно все равно. Иногда ему хотелось даже спросить своего бывшего приятеля игриво-благодушным тоном, как поживает Настенька. «А она уж, пожалуй, и немного стара для нимфы,— подумал Штааль, хоть Настенька теперь была красивее, чем в пору их встречи в Таверне.— Отвернуться в сторону или смотреть прямо, будто не узнаю?» Он встретился с Настенькой взглядом. Хоть она тотчас отвернулась, залившись румянцем, Штааль поспешно сорвал шляпу с головы и прошел мимо, направляясь к выходу. «Зачем мне идти на сцену? Чего я там не видал?..»

В коридорах театра никого не было. Но в небольшой галерее около лестницы стояли, горячо и негромко разговаривая, два человека. В одном из них Штааль еще издали узнал графа Палена. Лицо его, нахмуренное, без обычной усмешки, поразило Штааля выражением сосредоточенной силы. Другой человек, по-видимому очень молодой, в семеновском мундире, стоял спиной к Штаалю. Штааль на цыпочках скользнул мимо разговаривавших. Они его не видали. Пройдя шагов пятнадцать, он оглянулся и с удивленьем узнал в собеседнике Палена великого князя Александра Павловича.

XII

Иванчук легко достал продолжительный отпуск для Настеньки: в балетной труппе она была совершенно не нужна; приняли и держали ее только благодаря его связям. Ему самому было труднее получить отпуск. В течение нескольких лет Иванчук ни разу не выезжал из Петербурга: он старательно внушал — и внушил — своему начальству убеждение в том, что без него все пропадет. С этим, конечно, связывались немалые выгоды по службе, но они были уже давно получены, и теперь Иванчук начинал тяготиться своей ролью незаменимого человека, смутно опасаясь, уж не свалял ли он в общем дурака, работая за те же деньги гораздо больше других (он всегда боялся, как бы в чем-либо не «свалять дурака»). Просьба его о двухмесячном отпуске вызвала недоумение начальства, правда, лестное, но и раздражившее немного Иванчука. «Да ведь вас и заменить некем, просто лавочку закрывай»,— сказал, разводя руками, ближайший его начальник. Иванчук с достоинством и твердостью дал по-

нять, что, хоть это совершенно справедливо, он все же человек, а не вол. Отпуск Иванчук получил; получил даже и прогонные на шесть лошадей, несмотря на то, что ехал по собственной надобности: он отправлялся на юг для осмотра и покупки имения под Житомиром.

Настенька должна была сопровождать Иванчука. Об этом он никому не рассказывал, но принял меры к тому, чтобы все это знали. В путешествии с молоденькой балетной актрисой было, по представлению Иванчука, что-то удалое, легкомысленное, молодеческое, не очень шедшее к репутации солидного основательного человека, которую сам же он годами заботливо себе составлял. Однако именно противоречие это и было ему приятно. Деловую репутацию свою он справедливо считал вполне упроченной и заботливо намекал, что есть в его жизни еще многое помимо службы и что, будучи правой рукой графа Палена, он в то же время и по другой части утрет нос многим ветреным молодцам. Получая отпуск для Настеньки у директора театра и сообщая приятелям о своем путешествии на юг, Иванчук старательно отводил глаза в сторону, в меру конфузился (принимая в расчет свое служебное положение), в меру плутовски улыбался и в нужную минуту переводил разговор на другой предмет, причем интонация его и строгое выражение лица ясно говорили: «Я перевожу разговор на другой предмет».

От путешествия он ждал необыкновенных наслаждений. Немного его беспокоило то, что в Киеве трудно было не встретиться с Штаалем, который как раз был послан Рибасом в служебную командировку на юг. «Ну, положим, я живо его отошью, ежели что»,— говорил себе Иванчук. Однако мысль эта, как все связанное с Штаалем, была ему неприятна. И еще огорчило Иванчука, что Настенька, по его мнению, не обнаружила достаточной радости, когда узнала о получении отпуска и о предстоящем путешествии (это был тот сюрприз, о котором он говорил ей за кулисами театра).

Настенька давала Иванчуку самые наглядные доказательства любви. Он знал вдобавок, что облагодетельствовал Настеньку (сознание это всегда его умиляло) и что она должна быть ему благодарна по гроб жизни. Таким образом, в ее любви Иванчук почти не сомневался и был в этом почти прав. Настенька действительно была ему благодарна по гроб жизни.

Она пережила тяжелое время после того, как покинула Баратаева. Покинула она его тотчас по возвращении из-за

границы: ей с ним было мучительно скучно и страшно. Она даже толком не знала, по своей ли воле ушла от Баратаева или это он ее отпустил. От его имени ей при уходе была вручена денежная сумма, очень большая по сравнению с тем, что в таких случаях получали женщины одного положения с Настенькой. По непривычке ей тогда показалось, что денег этих хватит на целый век. В действительности очень скоро она осталась без гроша. Настенька так и не могла сообразить, куда девались деньги. Правда, бриллиантовое ожерелье, купленное у проезжего торговца по редкостному случаю за треть цены, оказалось фальшивым. Настенька хотела было даже подать жалобу, как ей советовали, но все собиралась, плакала, плакала и не подала, а всем объясняла, что торговец, верно, давно ускакал из города. Да еще она помогла немного одной хорошей старушке и двум подругам дала взаймы. Остальные деньги разошлись незаметно. Она чувствовала, что, если бы попросить еще у Баратаева, он, вероятно, не отказал бы. Но на этой мысли она и не остановилась. Настеньке пришлось очень плохо. Подруги даже рассказывали всем с искренним огорчением, что она пошла по рукам. Спас же ее, по их словам, Иванчук.

Таково было и собственное мнение Настеньки. Не то чтобы он с самого начала очень ей понравился. Но другой мог быть гораздо хуже — Настенька насмотрелась всего. Иванчук устроил ее в балет. Это было нелегко: ни по возрасту, ни по фигуре она уже для балета не подходила. Он снял для нее комнату и денег давал,— правда, немного, но, с балетным жалованьем на придачу, ей хватало на жизнь. Требовал Иванчук за все это меньше, чем многие другие, а обращался с ней совсем хорошо: ласково, внимательно, нежно. Настенька и прежде, еще с «Красного кабачка», чувствовала, что нравится Иванчуку и что он завидует Штаалю.

О Штаале Настенька, в огорчениях жизни, вспоминала все реже. Правда, когда вспоминала, то вздыхала очень грустно, а в первое время нередко и плакала. Известие об его возвращении из похода (он был послан курьером и вернулся раньше других) Настенька приняла с волнением. Затем она несколько раз встречала его, то в Летнем саду на гулянье, то на Невском проспекте и всякий раз мучительно краснела, больше от того, что считала себя подурневшей. Да еще ее беспокоило, знает ли он обо всем, что с ней произошло. Но Штааль, по всей видимости, мало ею интересовался. Это очень оскорбило Настеньку: про-

стая вежливость требовала большего. Иванчук говорил, что Штааль огрубел в походе до неузнаваемости. Она тоже так думала: ей было и больно, и почему-то немного приятно. Настенька не сравнивала Иванчука с Штаалем, но, по чувству справедливости, все более ценила заботливость и внимание своего нового покровителя. Оценила она и его практические дарования. Настенька ясно чувствовала, что за ним не пропадешь. Этой уверенности Штааль никогда ей не внушал. Он, напротив, был ей мил тем, что за ним пропасть было очень легко. Настенька не без удивления замечала, что оба чувства приятны. Она сама не знала, какое лучше.

Радости от сюрприза, преподнесенного Иванчуком, Настенька не выразила главным образом потому, что отвыкла выражать радость. Ей надоел Петербург с его дурными воспоминаниями, с людьми, которые часто и, как ей казалось, нарочно бередили эти воспоминания. Балет утомлял Настеньку. Она делала вид, будто очень любит сцену,— так было принято в ее кругу. В действительности она не только не любила балета, но и плохо верила, что другие могут его любить. Сама она с удовольствием навсегда бросила бы сцену. Поездка «в деревню» была ей очень приятна. Немного ее смущало лишь то, что в дороге им, очевидно, предстояло оставаться круглые сутки вместе: она с беспокойством думала, что надо будет все время поддерживать разговор. Настенька знала, что она не мастерица разговаривать, и всегда боялась, как бы ее за это не разлюбили. В Петербурге она с Иванчуком, занятым целый день, проводила не более часа, двух в сутки, и ей никогда с ним вдвоем не бывало тяжело, разве лишь немного скучно. С любопытством Настенька думала и о том, что сможет выйти из их совместной поездки. Иванчук не раз делал ей таинственные намеки, но тотчас торопливо переводил разговор, когда она пыталась выяснить их значение. «Уж не жениться ли хочет?» — думала она с искренним недоумением: ей было непонятно, зачем бы Иванчук на ней женился, когда он и так имел от нее все, что мог иметь. А между тем смысл таинственных намеков сводился как будто именно к женитьбе. «Что ж, я бы пошла,— думала нерешительно Настенька, не без задорной радости представляя себе лица подруг, когда она им объявит, что выходит замуж за Иванчука.— Не то что пошла бы, а за счастье должна почитать,— тотчас же наставительно поправляла она себя,— да никогда он и не подумает». Настенька приучала себя к мысли, что Иванчук

не подумает на ней жениться. У нее была такая привычка — оставлять возможную удачу про запас: выйдет, и слава Богу, а не выйдет, что ж, никто и не ждал.

В утро, назначенное Иванчуком для отъезда, Настенька с особенной ясностью почувствовала, что за ним никак не пропадешь. Иванчук заехал за ней к шести часам в превосходной, обитой сафьяном, заваленной подушками коляске четверкой. На нем был, под серым *англинским* плащом, перловый фрак с перламутровыми пуговицами и мягкие сапоги с отворотами, а в руке он держал трость с серебряным набалдашником, изображавшим голову мопса. Настенька даже удивилась, зачем он в дорогу надел столь нарядный костюм. Иванчук снисходительно объяснил ей, что именно такого цвета фрак под плащом не слишком запылится; на станциях же надо быть хорошо одетым, чтоб уважали.

И действительно, уважали их в дороге чрезвычайно. У Иванчука была такая подорожная бумага, что на каждой станции все, во главе со смотрителем, неизменно выходили их провожать и низко кланялись, хоть Иванчук оставлял на чай именно столько, сколько полагалось, даже немного меньше. Путешествовали они с необыкновенными удобствами. В коляске, обитой сафьяном, было решительно все, что могло пригодиться в дороге, от сабли и охотничьего ружья до ящиков с конфетами и банок с вареньем. Иванчук, очень редко путешествовавший, превосходно знал, как нужно путешествовать. И ездить с ним было очень приятно. Настенька совершенно не чувствовала той неловкости, которой боялась. Он предупреждал все ее желанья. Когда ей не хотелось разговаривать, они не разговаривали. Когда хотелось дремать, дремали очень уютно, без всякого стеснения, плечом к плечу. На станциях после обеда случалось им заниматься и чтением. У Иванчука в одном из вкладных ящиков коляски оказались книги: «Павел и Виргиния» и «Нежные объятия в браке и потехи с любовницами (продажными)». Эту книгу Иванчук на ночевках заставлял Настеньку читать вслух, что, видимо, доставляло ему необыкновенное удовольствие. Сначала Настеньке было стыдно, но потом и она полюбила эту забаву.

XIII

Штааль был послан в Киев и Одессу со служебным поручением, но, в отличие от Иванчука, прогонные получил лишь в обрез: поручение, очень пустое, само по себе могло

считаться наградой, как бы продолжительным отпуском. Для сокращения расходов Штааль уговорился ехать с де Бальменом который отправлялся на юг к родным. Ехали они то на почтовых, то на обывательских, без больших удобств: у них не было ни подорожной Иванчука, ни его уменья устраиваться. Тем не менее их поездка оказалась также чрезвычайно приятной.

У заставы, возле которой стояли конные и пешие люди, вооруженные с ног до головы, пристав Тайной экспедиции внимательно просмотрел бумаги отъезжающих, справился в какой-то книге, что-то записал и затем сказал угрюмо: «Можете ехать», не прибавив даже слова «господа». Они вздохнули с облегчением, когда шлагбаум (только что введенная вместо рогаток новинка) и выкрашенные в косую полосу будки скрылись за облаком пыли. Штааль высказал несколько вольных мыслей о Тайной экспедиции. Де Бальмен горячо его поддержал. Заговорили о книгах, преимущественно французских и вольнолюбивых. Читали они приблизительно одинаково, но Штааль естественнее бросал слова «да, когда-то читал», когда речь заходила о книгах, ему не известных, и слушал он суждения де Бальмена с легкой насмешливо-благодушной улыбкой, которая незаметно закрепила за ним превосходство. От книг они перешли к предметам более близким к жизни. Еще до первой остановки Штааль знал разные школьные истории де Бальмена, а де Бальмен — приключения Штааля в Италии, в Париже, в походе. О своих путешествиях Штааль научился рассказывать очень тонко: сказал, что в Италии всего лучше Равенна, не в пример Риму и Венеции; а из парижских памятников искусства восторженно похвалил церковь Святого Иулиана — «ее мало кто знает»,— небрежно вставил Штааль. Де Бальмен, ничего не слыхавший ни о Равенне, ни о церкви Святого Иулиана, проникся большим уважением к своему старшему товарищу.

Пригородные строения исчезли. Показались настоящие поля. Грязноватый, неподвижный, поросший тиной пруд умилил путешественников-горожан. Вскоре по их выезде из Петербурга пошел легкий весенний дождь, и после него повеяло таким ароматом, что оба совершенно ошалели.

«Будет, будет Шевалье моею»,— решительно подумал Штааль.

— Как хорошо вояжировать! Право, осточертела служба,— сказал неожиданно де Бальмен.— Ничего нет лучше свободы.

— Ну, разумеется,— совершенно искренне согласился с ним Штааль.

На первой станции они решили отобедать, несмотря на ранний час. Оказалось, что получить к обеду можно все что угодно. Они заказали студень с солеными лимонами, похлебку с каштанами и пармезаном, белужий паровой схаб, паштет с трюфелями, утку с фиговыми ягодами. Потребовали они и бутылку шампанского и тут же выпили на «ты», почувствовав с удовлетворением, что очень нравятся друг другу. Де Бальмен принадлежал к людям, неизлечимо больным желанием нравиться каждому. Штааль же еще в Петербурге замечал, что этот юноша менее неприятен ему, нежели другие люди. Он совершенно не испытывал желания говорить неприятности де Бальмену — это с ним теперь случалось нечасто, особенно в обществе людей молодых. На станции за шампанским началось их настоящее прочное сближение. Они заговорили о женщинах, были употреблены не принятые в литературе слова, и сразу исчезли последние следы напряжения, немного чувствовавшегося вначале. Полились рассказы. Оба оказались Геркулесами и вдобавок совершенно извращенными людьми. Ни один не хотел отставать — Штааль потому, что был старше, де Бальмен потому, что был моложе. Верили они друг другу не слишком, но слушали с большим любопытством: каждый старался по собственному опыту сделать верную количественную поправку к рассказам другого. Штааль рассказал и о своем первом дебюте, причем сразу обеспечил себе победу, отнеся этот дебют к тринадцатилетнему возрасту.

— Нет, я начал позже, я на пятнадцатом году,—тотчас сказал де Бальмен с самым правдоподобным смущением. Штааль пространно развил мрачные мысли о любви. «Все это очень преувеличено в книжках,— пренебрежительно говорил он.— В двадцать лет, разумеется, это очень мило. А потом, право, надо и стыд иметь...» Де Бальмен улыбался и с полной искренностью мотал отрицательно головою: он никак не находил, что все это преувеличено. Напротив, каждую хорошенькую женщину, которая ему не принадлежала, он рассматривал как личную потерю. Штааль пожимал плечами, все более впадая в тон Ламора в разговоре со своим молодым другом.

— Что ж, ты еще клоп... А моя молодость давно кончена.

Он взглянул на де Бальмена, ожидая возражений, и испытал легкое неприятное чувство от того, что возражений не последовало.

— Ах, в мои годы Цезарь завоевал мир,— не совсем кстати сказал задумчиво де Бальмен.

— Не Цезарь вовсе, а Александр Македонский,— поправил Штааль.

— Ну, все равно, я и в тридцать не завоюю...

— И не надо, незачем тебе, Сашенька, завоевывать мир. А вот разбогатеть нам с тобою не мешает. Особливо мне. В двадцать пять лет, право, уж и смешно быть бедным,— никакой больше поэзии.

— И в двадцать с поэзией довольно, брат, глупо.

Штааль бессознательно скинул себе для круглого счета один год; де Бальмен так же бессознательно один год набавил.

— Впрочем, мы не об этом говорили,— сказал де Бальмен.— Ты знаешь, у меня самые интересные знакомства завязывались в пути...

Он рассказал о любовных приключениях, случавшихся с ним в дороге. Де Бальмен чувствовал, что Штааль ему верит плохо, и это его обижало, так как из рассказанных им историй одна действительно почти целиком соответствовала правде.

В эту поездку как назло никаких дорожных приключений и знакомств у них не выходило. Они ограничивались критическими замечаниями насчет попадавшихся на станциях женщин.

Ехали они не торопясь, хоть для приличия (так делали все) устраивали иногда скандалы смотрителям, не дававшим лошадей. Ни родные де Бальмена, ни служебное поручение Штааля не требовали спешки. Стояла поздняя весна, переходившая в лето по мере их приближения к Киеву. Днем уже бывало жарко. Но езда в утренние и предвечерние часы доставляла им истинное наслаждение. Особенно приятно было ехать лесом. Иногда вечером, когда все стихало и сквозь густую чащу деревьев переставал просвечивать закат, в лесу бывало немного жутко. Вспоминались смутно рассказы о каких-то неизвестно где находившихся Брынских, Муромских лесах, о берлогах разбойников, о свирепых атаманах. Штааль и де Бальмен, точно для забавы, заставляли ямщика рассказывать о страшных дорожных приключениях и, слушая его, смеялись, однако несколько нервнее обычного. Было бы странно, если б разбойники напали на экипаж, в котором путешествовали два хорошо вооруженных человека (с ними в бричке был целый арсенал). Но все-таки выезжали они из лесу не без удовольствия. Штаалю казалось, что именно

в эту поездку он по-настоящему узнал и полюбил Россию. Он гордился ее необъятными пространствами, бесконечно тянувшимися, нигде не виданными лесами, гордился своей принадлежностью к миру, который зовется Россией. Здесь в глуши (*глушь* начиналась в пятидесяти верстах от петербургской заставы) ничего не знали о том, что делается в столице. Ею интересовались ненамного больше, чем Лондоном или Парижем. Де Бальмен, любивший смелые афоризмы, сказал, что между Петербургом и Россией лежит пропасть. И пропасть эта тоже как-то льстила их национальному самолюбию. Для развлечения они подолгу играли в карты. Играли и на станциях, и в коляске, положив на колени шкатулку и придерживая карты от ветра. Оборот не превышал десяти рублей, но выигрыш записывался аккуратно, и на остановках производилась расплата. Пробовали они было играть без денег, но тотчас бросили, почувствовав, к своему удивлению, что это неинтересно (хоть несколько рублей ни для одного из них счета не составляли). «Значит, я по натуре игрок»,— не без удовлетворения подумал каждый. Когда играть надоедало, они показывали друг другу карточные фокусы. Впрочем, фокусов они знали немного, а некоторые вдобавок не выходили с первого раза (что очень расхолаживало) или были известны обоим и тогда обрывались на смущенном смехе фокусника. Иногда они с подчеркнутой шутливостью передергивали вольты. Эту забаву полагалось знать каждому светскому человеку, но оба испытывали некоторую неловкость, если хорошо выходило.

В дороге они довольно много пили и всякий вечер, ложась, были не то что пьяны, но чрезвычайно бодры, благодушны и оживлены. Вино очень скрашивало жизнь. За вином завязывались и самые приятные, самые интимные разговоры. Де Бальмен предпочитал шампанское, Штааль — обыкновенную водку; в том и в другом был, как оба они чувствовали, свой стиль.

Штааль все больше забывал свою мизантропию и по-настоящему привязался к де Бальмену. «Право, очаровательный мальчик»,— говорил он себе, точно оправдывая перемену своего мрачного нелюдимого настроения. Он находил в своем молодом спутнике много живости, юмора, неподдельного веселья; все это никогда его не раздражало, как раздражало прежде в Рибопьере, в других очень молодых людях, в сущности на де Бальмена довольно похожих. Де Бальмен хорошо рассказывал и, к особенному удовольствию Штааля, отлично передразнивал разных об-

щих знакомых. Штааль приставал к своему другу, чтобы тот изобразил и его самого. Де Бальмен долго от этого уклонялся. «В тебе, видишь ли, ничего такого забавного нет, уцепиться не за что, право»,— говорил он. Это льстило Штаалю, но он упорно повторял: «Ну, да уж как-нибудь, умоляю тебя, я уверен, пресмешно выйдет». Однажды в конце обеда де Бальмен наконец согласился, подумал немного, встал и прошелся по комнате. Штааль очень удивился, глядя на появившееся перед ним скучающее, кислое лицо с примесью самодовольства и без всякой самоуверенности в выражении, на распущенную, шаркающую по полу походку.

— Нет, совершенно непохоже,— сказал он.— Ты, надеюсь, понимаешь, я не потому говорю, что это обо мне: просто непохоже. Разве я так хожу? Это, прямо скажу, тебе не удалось.

— Да, конечно, не удалось,— поспешил признать де Бальмен.

Штааль говорил своему другу и о Настеньке, и о госпоже Шевалье. О своей связи с Настенькой он рассказывал по-разному: то весело-цинично, в обычном тоне их разговоров о женщинах, то с некоторой меланхолией, показывая, что дело в свое время было не такое уж легкое и веселое. А о госпоже Шевалье, в самом конце их путешествия, он рассказал де Бальмену очень кратко и уж совсем неопределенно, так что оставалось неясным, было ли у них что-либо или нет. Почему-то это сообщение неприятно задело де Бальмена, хоть он сразу склонился к выводу, что ничего не было. Ему даже в первый раз за всю дорогу захотелось сказать Штаалю колкость. Он этого не сделал, но не поддержал разговора о госпоже Шевалье. Оба они вдруг почувствовали, что как будто маленькая трещинка образовалась в их дружбе. Впрочем, это продолжалось лишь мгновенье и прошло совершенно бесследно.

Простились они в Броварах, с самым искренним огорчением, взяв слово друг с друга писать часто и «обо всем». Де Бальмен бывал прежде в Киеве и на этот раз там не останавливался. Он посоветовал Штаалю снять комнату в нижнем городе у купца, как обычно делали, или хоть на постоялом дворе. Ему было известно, что в гостинице на Печерске должен был, по его же указанию, остановиться Иванчук, выехавший незадолго до них (Штааль этого не знал). У де Бальмена промелькнула было мысль устроить Штааля в одном месте с Настенькой — этот сюрприз мог быть забавным. Но он тотчас отказался от соблазна неделикатной шутки.

XIV

Ямщик остановился на повороте дороги, снял шапку и перекрестился. Вдали блестели купола киевских церквей. Коляска долго стояла у колодца. Поили лошадей. Затем тронулись дальше шагом. Дорогу постоянно заграждали богомольцы, число которых все увеличивалось по мере приближения к городу. Жаркий, совсем почти летний, день кончался. Разгорался закат, заливая багровым пламенем изжелта-лиловое небо.

Когда они подъехали к Днепру, уже было почти темно. Повеяло сырой прохладой. Впереди показалась отсвечивавшаяся последними огнями неба стальная, быстро темневшая, местами уже черная лента, загибавшаяся где-то вдали. «Вот он, Борисфен»,— сказал вслух Штааль, настраиваясь на торжественный лад. Ямщик подтянулся на козлах и осторожно спустился к реке. Через Днепр переезжали по плавучему мосту на барках. Почерневшая река казалась неровной и неуютной, несмотря на тихую погоду. Справа на Трухановом острове уже зажигались редкие, отражавшиеся далеко в воде фонари. Мост дрожал. Перил не было. Лошади пугливо озирались, у ямщика вид был озабоченный. Штааль вздохнул свободно, когда они съехали с моста и медленно пошли в гору. Беловатый полукруг месяца быстро желтел, наливаясь огнем. На потемневшем небе показалась дрожащая звезда и долго оставалась одинокой. Потом сразу вызвездило все небо. Воздух был свеж необыкновенно. С обеих сторон шедшей по холмам зигзагами дороги тянулись мрачные леса. Кое-где горели костры богомольцев.

— Аскольдова могила,— сказал ямщик. Штааль высунулся из экипажа.

— Где? — спросил он. Ямщик неопределенно ткнул рукой в пространство. Штааль не видел никакой могилы. Везде грозно чернел неподвижный лес. Имя Аскольда было знакомо Штаалю и как-то связывалось в его памяти с Киевом, но Штааль решительно не помнил, кто это: не то он кого-то здесь убил, не то его здесь убили. «Верно, его убили, иначе и могилы бы не было»,— основательно заключил Штааль. Помнил он еще, что кроме Аскольда был какой-то Дир. «Кажется, и Дира тоже убили, а вот могила называется Аскольдовой»,— подумал он, с улыбкой чувствуя легкую обиду за Дира и раздражение против Аскольда за то, что *выскочил*. Так в училище говорили о совавшихся вперед товарищах. «Колька Петров любил выскакивать,

мы его раз за это вздули. А то еще были Кий, Щек и Хорив. Эти, я помню, основали Киев... Больше, хоть убей, ничего не помню и не знаю, что за люди, не то поляне, не то древляне, не то еще какие-то «ляне». Эх, плохо нас учили, стыдно не знать отечественной истории»,— печально думал Штааль.

В Киев коляска въехала поздним вечером. Поэтически настроенный лесом, кострами и звездами, Штааль осматривался по сторонам и никак не мог понять, начался ли уже город или нет. То шли длинные строения, то тянулись бесконечно пустыри. У ворот каждого дома, под фонарями, по-дачному уютно сидели люди. «Конечно, это и есть город»,— решил Штааль. Но скоро коляска опять въехала в лес и стала спускаться по совершенно пустынной неосвещенной местности, которая называлась Липки (это название показалось Штаалю как-то не совсем русским). Затем снова появились фонари, дома, большей частью маленькие, одноэтажные, разделенные садами, люди на завалинках у ворот. Коляска затряслась по мостовой, ямщик прибавил ходу. «Ишь ты, и мостовая кое-где есть»,— подумал насмешливо Штааль. Оказалось, что прежде они ехали по верхнему городу, Печерску, а здесь был нижний город, Подол.

Постоялый двор оказался не лучше, а скорее хуже тех, в которых Штааль и де Бальмен останавливались в самых глухих городах по дороге. В неосвещенном коридоре дурно пахло. Комната, отведенная Штаалю, была хоть и большая, но грязная и плохо обставленная, а к ужину, кроме чая, ничего нельзя было получить. Штааль, сильно проголодавшийся в пути, вынужден был поужинать остатками дорожных запасов. Где-то в соседнем дворе играли на гармонике. Замиравшие вдали звуки навели тоску на Штааля. Он с особенной грустью вспомнил о де Бальмене — ему было очень без него скучно. «Где он теперь, Саша? Тоже, верно, скучает на почтовом дворе...» Штааль лег спать в самом печальном настроении. Всю ночь его кусали насекомые. Из постели что-то торчало колом. Белье было шершавое. Несмотря на усталость, Штааль заснул только глубокой ночью.

Когда он проснулся, комната вся была залита косыми дрожавшими золотыми лучами и показалась ему уже не такой гадкой. Штааль повеселел, быстро оделся и в седьмом часу утра вышел из гостиницы. Людей на улицах по-

падалось немного. Дома были очень убогие, скорее лачуги. «Так это Киев?» — разочарованно думал Штааль. Он поднялся на Крещатик, в рощу, погулял в ней зевая, съел на ходу купленный тут же крендель с моченым яблоком, затем по узенькому деревянному мостику перешел в Царский сад. Здесь насмешливое настроение с него соскочило. Сад был изумительный — такого он никогда и не видал. Штааль долго поднимался по крутым аллеям, вышел к обрыву и оттуда любовался рекою. «Верно, здесь в старину были *терема* над Борисфеном»,— подумал он, зная, что древность — одно из главных достоинств Киева. Полюбовавшись Днепром, он вышел к крепости, взял извозчика и поехал осматривать город.

Штааль скоро составил себе мнение и впоследствии с чувством говорил столичным приятелям, что Киев сохранил следы величия падшего. Город, раскинувшийся на горах, весь утопавший в зелени, был в самом деле удивительный. Великолепные монастыри, старинные здания, пышные сады чередовались с огородами, с грязными лачугами. Штааль думал, что в Киеве разлита какая-то особенная печаль, странно сочетающаяся с жарким южным солнцем. Впрочем, как всегда бывает, первое впечатление от нового места определилось больше настроением духа путешественника. Штаалю было очень скучно в этом городе, где он никого не знал. Он чувствовал себя одиноким, как когда-то в Париже. Удивляло и смешило Штааля, что извозчик называл его «паничем», что, вместо «не знаю», прохожий на его вопрос об адресе присутственного места ответил: «не скажу», что на аптекарском магазине была вывеска «Аптечный склад». Удивила его и киевская полиция. Вместо будочников на перекрестках стояли конные *милиционеры* (Штааль и слова этого не знал), очень пышные и странные с виду. Лошади у них, точно у средневековых рыцарей, были в стальных панцирях, со страусовыми перьями над гривой. А всадники, вооруженные копьями и палашами, носили атласные пунцовые жупаны, зеленые контуши с откидными рукавами и белые шапки. «Поляки какие-то,— с недоумением думал Штааль.— А еще мать городов русских...»

По незастроенной горе извозчик шагом поднялся в Старый Город. Открылась огромная белая площадь. На ней было еще светлее, чем внизу, как-то необыкновенно светло. Даже в Италии Штааль не видал такого обилия света.

В Италии все было меньше. Эта раскрашенная киевским солнцем площадь по размеру не уступала Парижской Place de la Révolution. В памяти Штааля она осталась белым пятном несравненной красоты. Со всех сторон виднелись церкви. Высоко над белыми стенами горели золотые купола. Слева за белой оградой раскинулась церковь, не похожая на другие, не похожая вообще ни на что из всего виденного Штаалем. Он долго на нее смотрел.

— Это что же, Лавра? — спросил извозчика Штааль, неохотно нарушая молчание.

Извозчик покачал головою.

— Не, панич, яка Лавра! — сказал он недовольным тоном.— Лавра на Печерске... Це Софийский собор.

«Кажется, это очень древняя церковь, чуть ли ей не тысяча лет»,— подумал Штааль, опять сердясь на себя за то, что так плохо знал историю своей страны. Он еще оглянулся. Огромный собор (кое-как оправившийся в ту пору от разрушений 17 века и от мазепинской реставрации) лучше можно было разглядеть с другого конца площади.

«А ведь это не русский штиль? — нерешительно подумал Штааль, сходя с дрожек.— Русский штиль — это Василий Блаженный. А может, то не русский, ведь это будет подревнее. Ну, уж я не знаю, какой это штиль, только лучше этой площади и этого храма я ничего в мире не видывал. Белое с золотом, как просто и как хорошо...»

Он обошел вокруг церкви. Извозчик недоверчиво ехал за ним шагом. Штааль снял шляпу и очутился за оградой, замешавшись в толпу богомольцев. «Какая громада — другой такой в мире нет, разве парижская Notre Dame,— сказал себе неожиданно Штааль, почему-то сравнивая обе церкви.— Вот уж сходства никакого: день и ночь. А все-таки...» Он не знал, какое тут все-таки. Солнечный свет вдруг погас. Горели восковые свечи. Штааль с наслаждением вдыхал прохладный, дышащий ладаном воздух.

Старый монах объяснял богомольцам, что церковь построена великим князем Ярославом. «Как будто не менее тысячи лет,— подумал Штааль еще нерешительнее.— Всякие у нас были Ярославы, Святославы, Мстиславы, Изяславы — разве это можно запомнить? — Он постоял перед Нерушимой Стеной.— Чудо, как красив! — подумал Штааль, отходя за толпою, следовавшей за монахом (в качестве Вольтерова ученика он только красоты и искал в храме).— Изумительно! Как странно, что тысячу лет на-

зад люди умели создавать такое...» Его немного задевало, что старый монах, видимо, не делал никакой разницы между ним и богомольцами и не обращался к нему особо. В алтаре Владимирского придела они остановились перед гробницей князя Ярослава. На двускатной крыше мраморного иссиня-белого саркофага были изображены странные фигуры: не то птицы, не то звери, не то рыбы. Штааль долго думал, что это могло бы значить. Неразгаданная мысль неизвестного художника, жившего тысячу лет тому назад, его волновала. Он отделился от богомольцев, вернулся к Нерушимой Стене, поднялся по лестнице. Где-то из-под облупившейся штукатурки виднелись потускневшие фрески, видимо очень старые. Штааль вгляделся в них. Фрески изображали охоту. Были здесь грифоны, крылатые львы, разные диковинные звери. Фрески показались знакомыми Штаалю. «Неужели и это создано в ту пору?.. Какую же Петр нам открыл Европу, ежели у нас было это за тысячу лет назад? — спросил себя Штааль, с все большим удивлением глядя на фрески.— Ведь это прямо Венеция...»

XV

«Разве делом теперь заняться?» — спросил себя Штааль и велел извозчику ехать в присутственное место. Главное его служебное поручение относилось к Одессе, с которой адмирала де Рибаса тесно связывала прежняя служба. В Киеве же требовалось только получить одну сводку.

Канцелярия, как все в этом городе, помещалась в саду. Штааль и не видал таких канцелярий. На крыльце баба чистила картофель. Она с любопытством оглядела посетителя, стыдливо засмеялась и указала, как пройти в «габинет к сесару». Асессор коллегии, ведавший делом Штааля, был пожилой человек настолько неправдоподобной толщины, что Штааль, увидев его, даже приостановился на пороге. По-видимому, асессор и сам не мог вполне серьезно относиться к своему телосложению. Не без труда скосив голову, он сопя уставился на Штааля с легкой благодушной насмешкой во взгляде, как бы свидетельствуя, что это серьезно: никакой подделки нет. Оглядев гостя, он медленно повернул голову и окунул кренделек в стакан с мутно-белой жидкостью. Перед асессором, среди бумаг и на бумагах стояли чайник, тарелки со сметаной, с колбасой. Штааль подал свой документ. Асессор неохотно взял

его, кивнул головой и, жуя кренделек, предложил сказать *так*, в чем дело. Выслушав Штааля, он опять скосил голову, тяжело вздохнул и спросил:

— Чаю не хочете?

— Благодарю вас, я уже позавтракал,— ответил несколько озадаченный Штааль.

— С *рогаликом?*

Штааль отказался и от рогалика. Чиновник налил себе другой стакан чаю, отогнал муху, которая села на край тарелки, скороговоркой сказал: «Пошла к... проклятая!» — и накрыл сметану бумагой Штааля.

— Шо много ем, это ничего,— сказал он неожиданно.— Все одно, кондрашка. Чи годом раньше, чи годом позже, все одно.

Асессор хорошо говорил по-русски и слова «шо», «чи», «хочете» употреблял больше для малороссийского стиля, который шел к его наружности: он гримировался под медлительного картинного «дядька» и, отстаивая вольности края, из патриотизма портил свою русскую речь. Асессор намазал кусок хлеба маслом и осведомился, правду ли говорят, будто князь Зубов не имеет больше никакой силы. Штааль высоко поднял брови. Асессор упорно на него глядел с радостно-вопросительным выражением на лице.

— Так точно,— сказал Штааль, зевая.

Асессор подмигнул, засмеялся и пригласил гостя к себе на обед. Штааль сухо отклонил неожиданное приглашение: его весьма мало интересовало общество человека, для которого свежей новостью была опала князя Зубова. Отказ, видимо, удивил и огорчил асессора.

— Борщ будет,— сказал он, с недоумением глядя на гостя.— С бурачками.

— Когда же прикажете прийти за сводкой? — официальным тоном спросил Штааль.

Асессор вздохнул и задумался.

— Недели через три не поздно? — спросил он с испуганным выражением на лице.

Штааль всплеснул руками: он рассчитывал получить бумагу на следующий день.

— Помилуйте! — воскликнул он.— Я завтра хотел выехать в Одессу.

— Шо Одэсса? Чи куда-с убежить? — спросил асессор с чрезвычайно убедительной интонацией. Штааль невольно подумал, что, собственно, и вправду торопиться некуда: Одесса в самом деле не убежит и ему же лучше, если не по

его вине затянется командировка. Однако из приличия он стал торговаться. Асессор вытер лоб грязноватым клетчатым платком.

— Бумага длиннющая, пане добродею,— сказал он.— Ну, да уж если вам такая спешка, так забегите недельки через две. Так и быть, изготовим.

Они сошлись на том, что сводка будет готова через неделю; но по тону асессора чувствовалось — особенно полагаться на обещания не следует. Штааль намекнул, что считает неправильным и недопустимым такое отношение к государственным делам.

— Вы где остановились, пане добродею? — спросил, не дослушав, асессор.

— На Подоле, на постоялом дворе.

— Ну вот, ведь блохи заедят,— сказал асессор и оживился, услышав, что Штаалю в самом деле всю ночь не давали спать насекомые.

— Ну да, итальянской породы блохи,— пояснил он.— Хоть маленькие, а такие подлые, что беда...

Увлекшись, он заговорил чистым русским языком, выбранил русское правительство, а затем посоветовал Штаалю переехать в другую гостиницу на Печерск, к немке.

— И кормят так, что спасибо скажете, дай Бог всякому, и блох нет, разве самая малость. Правда, подороже, да ведь вы на казенный счет, правда?.. И немка славная... Краля дивчина,— добавил он, спохватившись.

Штааль расспросил, как разыскать гостиницу, и несколько ласковее простился с асессором. Он даже пожалел, что отказался от приглашения на обед: уж очень картинный был асессор. С такого толстого человека, собственно, и требовать было нечего. Баба на крыльце опять стыдливо засмеялась и застенчиво закрыла лицо рукавом. «Вот так канцелярия»,— подумал Штааль, выходя в сад. Он вернулся на постоялый двор и велел вынести свои вещи. Их вынес с очень недовольным видом сам хозяин. Штааль беспокойно пересчитал чемоданы и приказал извозчику ехать на Печерск в гостиницу к немке. Коляска поднялась по горе и въехала в уже знакомый ему лес. «Странный, странный город, и люди странные»,— говорил себе Штааль.

Извозчик остановился у калитки сада, обведенного ровным, непохожим на другие, заново выкрашенным забором с острыми иглами наверху. Штааль слез и, поколе-

бавшись с минуту, можно ли оставить извозчику вещи, решительно направился к калитке: извозчик, возивший его в течение нескольких часов, внушал ему доверие. В саду чудесно пахло сиренью. Дорожки были посыпаны желтым песком, который так и горел на солнце. Штаалю бросились в глаза круглый фонтан посредине садика, беседка с мраморной статуей и ярко сиявший зеркальный шар на столбе. В глубине сада стоял чистенький одноэтажный белый дом с зеленой покатой крышей. Все это совершенно не походило на подольский постоялый двор. Навстречу Штаалю поспешными шагами шла, приветливо улыбаясь, полная миловидная дама.

— Пан шелайт апартемант?..— начала она и вдруг громко ахнула.— Du, lieber Gott! [1] — воскликнула дама.

Штааль тоже ахнул от радостного изумления: перед ним была фройлейн Гертруда, та самая, за которой он когда-то ухаживал в Кенигсберге.

Через четверть часа он знал все существенное, что с ней произошло за последние семь лет. Отец ее четыре года тому назад скоропостижно умер от удара (фройлейн Гертруда вынула беленький платочек и приложила его к глазам). С кончиной отца их дело пошло хуже, а тут у самой фройлейн Гертруды вышла очень неприятная, тяжелая история с одним господином, который, хотя и был чиновником, ein Staatsbeamte, однако оказался чрезвычайно дурным человеком. При этих словах фройлейн Гертруда опять было поднесла платочек к глазам, но тотчас отняла, взглянув на улыбающегося Штааля, и добавила с жаром: «Ein furchtbarer Mensch, Herr Leutnant, aber wirklich ein furchtbarer Mensch!..» [2] После этой истории фройлейн Гертруде неудобно было оставаться в Кенигсберге (Denken Sie nur, Herr Leutnant!.. Hatte ich Recht oder nicht? [3]). Она продала предприятие отца, переехала в Россию и открыла гостиницу в Киеве по совету двоюродной тетки ее покойной матери. «Это та самая тетка, которая маленькой девочкой видела в Цербсте покойную императрицу Екатерину»,— пояснила фройлейн Гертруда, и по ее интонации Штааль понял, что тетка эта должна быть ему известна. Он утвердительно кивнул головой и сказал наудачу: «Ach, ja» [4], хотя

[1] Боже, это ты! *(нем.)*

[2] «Это был ужаснейший человек, господин поручик, в самом деле ужаснейший человек!.. *(нем.)*

[3] Только представьте себе, господин поручик!.. Права я или нет? *(нем.)*

[4] «О, да» *(нем.)*.

никакой тетки не помнил. Штааль узнал, что в Киеве дела фройлейн Гертруды идут недурно; правда среди проезжающих много грубых людей, ganz unerzogene Leute[1], но в общем грех жаловаться, а она всегда всем довольна: «Hab'ich Recht, oder nicht?»[2]. Фройлейн Гертруда рассказывала это Herr Leutnant'y (так она его застенчиво называла) очень быстро и сбивчиво. Затем она прослезилась, вытерла слезы и засмеялась. Видимо, она совершенно растерялась от радости. Штааль тоже был искренне обрадован встречей и растроган поднявшимися в нем воспоминаниями и радостью фройлейн Гертруды. Он взял ее руки обеими руками, свидетельствуя свое умиление этим не вполне естественным жестом. Фройлейн Гертруда изменилась и пополнела, но оставалась по-прежнему хорошенькой, и в глазах ее было то же небесно-чистое выражение. Штааль вдруг почувствовал с совершенной ясностью, что им предстоят радости любви, и притом не долее как нынче вечером, если еще не днем после обеда. Он видел также по лицу фройлейн Гертруды, что и ей это вполне ясно. Она заговорила вдруг, вперемежку со многим другим, о той самой любовной истории, которую они вместе читали в Кенигсбергском саду, о «Вертере» доктора Гете и заодно быстро-быстро рассказала, что ей, уже после их встречи, ее подруга (та самая, Herr Leutnant помнит) писала о докторе Гете и сообщала самые удивительные и интересные вещи, которые... Ну тут фройлейн Гертруда всплеснула руками, внезапно вспомнив, что извозчик Herr Leutnant'a все еще стоит у ворот. Она ахнула, выбежала за калитку, велела снять вещи и расплатилась. Извозчик после этого долго ругался самыми нехорошими словами, к чему фройлейн Гертруда отнеслась, однако, совершенно хладнокровно.

Вещи были внесены по лестнице, пахнувшей свежевымытым деревом, в просторную чистую комнату, в которой было все, что требовалось: плюшевый диван, стол, два кресла, умывальник с зеркалом и с палочкой сбоку для полотенец, превосходная постель с белоснежными подушками. Были и украшения: часы, сделанные в брюхе поднявшегося на дыбы коня, фарфоровый Фридрих Барбаросса, виды Саксонской Швейцарии и портрет Анны Леопольдовны. Окно выходило в сад, и под ним, заползая ветвями на подоконник, поздняя сирень пахла бесстыдно-

[1] Совершенно невоспитанные люди *(нем.)*
[2] «Права я или нет?» *(нем.)*

крепко. Фройлейн Гертруда налила воды из кувшина в чашку умывальника, нерешительно оглядываясь, оправила полотенце и затем выразила намерение удалиться. Но Штааль решительно этому воспротивился. Он заявил, что не умеет мыться без чужой помощи: ему всегда льют воду на руки из кувшина; он выразил надежду, что фройлейн Гертруда не откажется ему помочь.

— Aber selbstverständlich, Herr Leutnant! [1] — воскликнула с умилением фройлейн Гертруда. Штааль снял мундир, попросив у нее извинения. Она конфузливо кивнула головой, но не сказала «aber selbstverständlich» и, сливая ему воду на руки, старалась смотреть немного в сторону. Однако это их сблизило. Умывшись, Штааль опустился на колени и открыл свой сундук. Фройлейн Гертруда придерживала крышку сундука, уже с материнской нежностью глядя на густые мокрые волосы, на белую, сверху загоревшую шею молодого человека. В сундуке на самом верху лежали флаконы французских духов. При виде их фройлейн Гертруда застонала от восторга. Штааль немедленно подарил ей флакон духов Houbigant, ловко его откупорил и с нежной улыбкой провел смоченной стеклянной пробкой по бровям и по верхней губе фройлейн Гертруды, которая густо покраснела. Штаалю пришло в голову, что, собственно, нет никакой причины откладывать решенное дело до вечера или даже до послеобеденного часа. Та же мысль пришла одновременно и фройлейн Гертруде.

XVI

Столовую гостиницы Штааль тотчас узнал. Она очень походила на ту комнату, в которой он когда-то познакомился с фройлейн Гертрудой. Только камин заменяла печь и все было хотя и чисто, однако несколько менее чисто, чем в Кенигсберге. «Верно, и belegte Brödchen [2] есть, с кильками и с яйцом»,— подумал, улыбаясь, Штааль. Он устало сел за приготовленный для него у открытого окна стол. Девка в деревянных башмаках, надетых на босу ногу и, видимо, очень ее стеснявших, принесла на подносе серебряный кофейник, кувшинчик горячих сливок, граненый толстостенный стакан, масло, ветчину, яйца и расставила все перед гостем, испуганно на него глядя. Штааль позавтракал с большим аппетитом, лениво думая о случившемся.

---

[1] Ну, разумеется, господин поручик! *(нем.)*
[2] Бутерброды *(нем.)*.

Что-то было ему неприятно. «Жаль, правда, нет де Бальмена,— вдруг догадался он.— Вот бы ему рассказать... Напишу, конечно, да он, пожалуй, не поверит: так долго ехали вместе — ни одного приключения, а как остался один, ан сразу и приключение...»

Боязливая девка, стуча башмаками, принесла ему блюдо земляники (которая здесь, впрочем, называлась клубникой). Вслед за девкой в столовую спустилась фройлейн Гертруда. Она переоделась и принарядилась. На ней было теперь очень узкое голубое платье с красным бантом (платье это, по-видимому, еще более напугало девку). Фройлейн Гертруда с нежной, застенчивой улыбкой подошла к Штаалю и присела за его столик. Она как будто чего-то ждала и, немного помолчав, с легким укором напомнила Штаалю, что это то самое платье, которое было на ней тогда, в Кенигсберге. Она надеялась, что Bube[1] сам его узнает. Фройлейн Гертруда стала называть Штааля Bube вместо Herr Leutnant в ту самую минуту, когда приобрела права на фамильярность. Новое обращение не очень нравилось Штаалю.

— Ну а я сильно изменился? — спросил он и вздохнул, выслушав ответ фройлейн Гертруды, хотя по точному смыслу ее слов выходило как будто, что он изменился мало.

— Да, прошла молодость,— угрюмо сказал по-русски Штааль (он уже почти механически произносил эту фразу). Фройлейн Гертруда смущенно засмеялась — она была с ним почти одних лет. Заметив, что Bube приходит в дурное настроение, хозяйка поднялась, поплыла к шкафу, приоткрыла его, строго взглянув на девку, которая тотчас отвела испуганно глаза в сторону, и принесла зеленый круглый стаканчик с надписью: «Schmeckt gut, nicht?»[2] и красивую четырехгранную бутылку с кальмусовкой. Фройлейн Гертруда сказала Штаалю, что в Киеве всегда запивают кальмусовкой кофе. В душе она не очень одобряла этот обычай запивать кофе водкой, но считала кальмусовку безошибочным средством для того, чтобы приводить мужчин в доброе настроение духа.

— А что ж тот старичок, профессор Кант? — спросил Штааль, не без труда подыскивая тему для разговора.

Фройлейн Гертруда благодарно ему улыбнулась: Кант навсегда был для нее связан с воспоминанием о поцелуе Штааля и, вероятно, не существовал вне этого воспомина-

---

[1] Малыш, мальчуган; шалун *(нем.)*.
[2] «Правда, вкусно?» *(нем.)*

ния. Фройлейн Гертруда ничего о нем не знала — ей редко писали из Кенигсберга. Она предполагала, что Кант давно умер, так как он был очень стар и дряхл. Она грустно улыбалась, вспоминая о Канте: старик так хотел выдать ее замуж.

— Да... да... Ну а чиновник, что же было с чиновником? — спросил Штааль. Фройлейн Гертруда приписала его вопрос ревности, виновато улыбнулась и, оглянувшись на девку, слегка потрепала Штааля по руке.

— Bube, das geht Dich nicht an [1],— кокетливо сказала она — и вдруг поспешно встала. У калитки остановилась коляска. В сад вошла дама, за ней вприпрыжку вбежал нарядный господин. Он что-то весело кричал. Сидевший к ним спиною Штааль еще прежде, чем сообразил, кому именно принадлежит этот знакомый голос, почувствовал, что случилась большая неприятность. «Ein sehr anständiger Herr aus Petersburg» [2],— быстро сказала вполголоса фройлейн Гертруда и поплыла к двери с самой приветливой улыбкой на лице. В столовую вошла Настенька в сопровождении Иванчука. Штааль проглотил восклицание досады. Он встал и очень принужденно поклонился, не только не скрывая, но даже подчеркивая свою досаду. Настенька побледнела, слегка кивнула головой, оглянулась на Иванчука и закашлялась, хоть нарочно, но так, что у нее на глазах показались слезы. Смутился несколько и Иванчук, и даже фройлейн Гертруда почувствовала, с любопытством и с инстинктивным неприятным чувством, что произошла какая-то неудачная встреча.

— Вот не думал, что *тебя* здесь увижу,— сухо сказал Штааль, здороваясь с Иванчуком и предоставляя своему приятелю инициативу дальнейшего — сводить ли его с Настенькой или нет. Именно этот сердитый тон успокоил Иванчука и вернул ему его обычную самоуверенность. Он изобразил радость от встречи, великодушно пожал руку Штаалю и подвел его к Настеньке с видом полководца, начинающего сражение, которое оказалось срочно необходимым. При этом самоуверенность почему-то так вдруг в нем разлилась, что он чуть-чуть не спросил: «Ведь вы знакомы?..» Однако удержался вовремя и проговорил неопределенно-шутливым тоном:

— Кель ранконтр!.. [3] Вот и он.

---

[1] Малыш, тебе нечего беспокоиться *(нем.)*.

[2] «Очень приличный, порядочный господин из Петербурга» *(нем.)*.

[3] Вот так встреча! *(франц.* quelle rencontre).

Настенька протянула руку. Штааль спросил себя, целовать ли ее или только пожать. Он поцеловал руку Настеньки, больше назло Иванчуку, великодушно-самоуверенный тон которого сразу его раздражил.

— Ach, die Herrschaften sind aus Petersburg bekannt, aber natürlich! [1] — восторженно защебетала фройлейн Гертруда. Ее болтовня смягчила неловкость первых минут. Она заговорила одновременно с Иванчуком и Штаалем по-немецки, а с Настенькой (с принужденно-нежной улыбкой) на русско-польско-немецком наречии. Иванчука она называла Herr Staatsrat, Настеньку же — Frau Direktor [2]. Фройлейн Гертруда этим тонко подчеркивала, правда в очень почтительной форме, что хоть закрывает глаза, однако не считает их мужем и женой. Собственно, звание Frau Direktor Настенька, очевидно, могла иметь, в чьем бы то ни было представлении, только как жена Иванчука. Но если б она действительно была его женою, фройлейн Гертруда называла бы ее Frau Staatsrat, по тому званию, которое она давала мужу. Настенька же ничего этого не понимала и лишь робела, почему-то связывая это наименование с особой директора петербургской театральной труппы, с которым у нее никогда ничего такого не было. Почтительность фройлейн Гертруды в отношении Иванчука еще больше раздражила Штааля. Он знал скупость своего приятеля и не мог понять, почему его всегда принимают с особым почетом. Штааль с болью почувствовал, что неожиданное появление этой пары мгновенно вернуло его в тот тоскливый мир беспредметной злобы, отвращения от людей, глухой борьбы ни за что, в котором он жил в Петербурге после похода. Он за время путешествия, в обществе милого ему де Бальмена, отвык от этого мира и отдохнул душою.

— Die Herrschaften speisen zusammen? [3] — вскользь осведомилась фройлейн Гертруда. Хоть никто ей не ответил на этот прямой вопрос, она сорвалась с места, поплыла к столу, стоявшему у среднего окна (этот лучший стол предназначался для Иванчука и Настеньки), поставила третий прибор и отправилась распоряжаться по хозяйству. С ее уходом наступило недолгое молчание. Затем Штааль не совсем кстати рассказал, что целый день бегает по делам высунув язык, что он остановился было в нижнем городе, но переехал сюда по совету одного чиновника. Ему хотелось яснее удостоверить, что уж он-то никак не искал

---

[1] О, господа, конечно, знакомы по Петербургу *(нем.)*.

[2] Господин государственный советник... Госпожа директор *(нем.)*.

[3] Господа пообедают вместе? *(нем.)*

с ними встречи. Иванчук великодушно прервал его объяснения:

— Да что ты! Мы очень рады.

Эти слова «да что ты», сказанные в самых лучших намерениях Иванчуком, снова смутили Настеньку и еще более раздражили Штааля.

— И вообразите, нашел здесь приятельницу,— сказал он, обращаясь к Настеньке. Он рассказал свою кенигсбергскую историю с фройлейн Гертрудой. Историю эту и Настенька, и Иванчук в свое время слышали неоднократно. Узнав, что хозяйка гостиницы была та самая фройлейн Гертруда, Иванчук покатился со смеху в самом искреннем изумлении.

— Ну и ле монд э пти же! [1] — решительно сказал он.— Правду говорят люди...

Настенька очень непохоже изобразила на лице снисходительную улыбку. Штааль немного колебался, рассказывать ли дальше.

— Нет, каков! А еще жалуется, что на неделю задержали бумагу,— воскликнул радостно Иванчук.— Вот и доведи амуры до конца!

Ответ напрашивался сам собою.

— Уже довел,— со скромной улыбкой сказал Штааль, искоса поглядывая на Настеньку, и в деликатных выражениях сообщил о том, что было. Настенька улыбалась еще старательнее. Иванчук хохотал в восхищении. Он уже почти искренне радовался встрече с Штаалем — так все хорошо сошло.

— Нет, этакий красивец — говорил он со смехом.— Этакий красивец! — Словом «красивец» Иванчук давал понять Штаалю (и в особенности Настеньке), что никак не считает его красавцем и к тому же не придает никакого значения мужской красоте.— Только вот что, ты поспеши: ведь мы увозим твою Гертрудку.

— Как так?

Тут Иванчук немного заторопился. Из не совсем ясных его слов выходило, что фройлейн Гертруда сводит его с «факторами», по одному небольшому дельцу, и что они завтра с утра ненадолго уезжают втроем,— надо осмотреть одно именьице,— клочок земли,— которое ему, Иванчуку, поручил купить один его приятель (Настенька покраснела). Несколько позже от самой фройлейн Гертруды Штааль узнал, что именно она в качестве посредницы

[1] Тесен мир (*франц.* le monde est petit jeu).

и устраивала покупку именьица. Фройлейн Гертруда не без успеха занималась в Киеве коммерческими делами.

— Ты, разумеется, с нами обедаешь? — быстро спросил Иванчук, переводя разговор на другой предмет.

— Какой же обед, я только что кофий пил.

— Вздор, вздор, здесь рано обедают. И ляпети в путешествии виен ан манжан [1].

XVII

Настенька поднялась к себе и к обеду спустилась в столовую в новом светлом платье с огромным кружевным веером. По тому, как смотрела на веер фройлейн Гертруда, Штааль понял, что вещь стоящая и кружева настоящие (Иванчук перед самым отъездом за бесценок купил этот веер у знакомого таможенного чиновника). Обед прошел вполне благополучно. Настенька вела себя достойно. Неожиданно для себя самой она при этой встрече с Штаалем (за исключением первой минуты) взяла совершенно новый тон, нисколько не трагический и даже не печальный, а светский, легкомысленно-веселый, который с непривычки очень понравился ей самой. Еще больше тон этот понравился Иванчуку. Он старался даже великодушно скрыть торжество и лишь втихомолку поглядывал на Штааля. В конце обеда выпили «по случаю приятного сюрприза». Настенька пила вино не без удовольствия, но делала вид, будто пьет в шутку: «Уж эти мужчины всегда заставят»,— сказала она, как всегда в таких случаях говорила. От нескольких рюмок вина, от нового тона, от присутствия Штааля и фройлейн Гертруды у Настеньки приятно закружилась голова; ей хотелось говорить смелые, чуть-чуть неприличные вещи, и она, несмотря на природную свою застенчивость, незаметно переводила разговор на легкомысленные предметы.

Штааля раздражали и новый тон Настеньки, и великодушное лицо Иванчука, и подобострастие, которое проявляла в отношении Herr Staatsrat'а фройлейн Гертруда. «Какой он, к черту, штаатсрат? — сердито думал Штааль, собираясь сейчас же после обеда объяснить немке общественное положение Иванчука.— А фрау директор жеманится, точно у нас никогда ничего с ней не было. Было, голубушка, было. А может, и опять будет, ежели только я захочу...» Штааль себя спрашивал, хочет

---

[1] Аппетит приходит во время еды (*франц.* l'appétit vient en mangent)

ли он, чтоб опять было. Выходило как будто так, что хочет, да не очень: если само собой выйдет — прекрасно, а если не выйдет, то Бог с ней,— «попользовался, и будет». Но всякий раз, как он встречался глазами с великодушным взором Иванчука, Штаалю хотелось устроить так, чтоб вышло. «Она, однако, опять похорошела и помолодела, без балетной муштры... И с ним тоже разговаривает не так, как ранее». Это наблюдение было верно. Настенька действительно в дороге привыкла к Иванчуку и обращалась с ним гораздо свободнее прежнего. «Хороша голубка: то я, то Иванчук... Или вправду снова попользоваться? Верно, она еще меня любит... А может, и не любит? Разве у них поймешь?» Штааль со злобной радостью думал, что из трех бывших в столовой женщин только запуганная девка ему не принадлежала,— это было приятно еще и тем, что как-то ставило Настеньку на уровень запуганной девки в деревянных башмаках. Штаалю неожиданно пришла мысль, что по-настоящему надо бы в один день иметь два похождения. С ним этого никогда не случалось, но от товарищей он не раз слышал рассказы о таких историях. «Вот уж этому Саша никогда не поверит...»

Сердитое настроение Штааля понемногу принимало характер злобно-игривый. Иванчук, который после обеда должен был уехать по делу с фройлейн Гертрудой, за десертом, в порыве великодушия, посоветовал Штаалю и Настеньке пойти на Крещатик поохотиться на уток и предложил им свои ружья (у него, собственно, было только одно ружье, но сказалось: «свои ружья»).

— Какая же теперь охота? — заметил Штааль, пожимая плечами.— Впрочем, я с удовольствием,— добавил он поспешно, хоть незадолго до того уверял, будто целый день высунув язык бегает по делам по городу. Настенька отказалась охотиться, сославшись на усталость. Это вышло очень удачно: и Штаалю давалось понять, что его обществом вовсе не дорожат, да и Иванчука отказ должен был успокоить (Иванчук в самом деле просиял и окинул Штааля еще более торжествующим взглядом). Впрочем, Настенька действительно устала. Ей хотелось прилечь, но так, чтоб Штааль, или Иванчук, или даже они оба были тут же и, сидя у нее на постели, вели легкомысленные разговоры.

Прилечь было, однако, невозможно — платье и прическа не позволяли. Настенька поднялась к себе, пододвинула кресло к окну и уселась, положив на колени деревянную

коробку с маркизом и пастушкой на крышке. В этой коробке из-под конфет она возила с собой предметы первой необходимости: ножницы, пуговицы, нитки, коллекцию мушек. Настенька занялась работой: она вышивала платочек для Иванчука. Но голова у нее кружилась здесь от сирени еще больше, чем в столовой; работа шла плохо. Сидела она так, что ей было видно в саду все; ее же увидеть оттуда было труднее. Она думала, что Иванчук точно очень мил и любит ее, как, вероятно, никто никогда ее не любил. Настенька вздохнула. Она чувствовала, что надо обдумать возможные последствия этой неожиданной встречи с Штаалем. Но думать ей не хотелось. У нее было приятное сознание, что вела она себя с ним очень хорошо и «показала ему». Этим, конечно, и объяснялся его вызывающий тон, который она, в отличие от Иванчука, сразу заметила. Настенька загадочно улыбалась: как многие самые скромные дамы без всяких прав и претензий, она иногда, правда очень редко, чувствовала себя роковой женщиной.

Иванчук с фройлейн Гертрудой прошли по саду к калитке, разговаривая по-немецки. «И все он знает, и по-немецки, и по-французски,— с гордостью подумала Настенька.— А немка-то тихоня...» На секунду она мысленно попробовала приревновать Иванчука к немке, и сама засмеялась: так ей ясно было, что другие женщины не существуют для Иванчука, несмотря на некоторые его особенности и на книжку «Нежные объятия в браке». У калитки Иванчук оглянулся на окно комнаты Настеньки — она оценила это и даже хотела *наградить* его улыбкой (все больше чувствуя себя роковой женщиной), но раздумала и не показалась в окне. Иванчук открыл калитку и вышел первый: он хозяйку гостиницы рассматривал не как даму, а как «факторку». Фройлейн Гертруда смиренно принимала это как должное, но все же ей было неприятно — она подумала, что Bube, наверное, пропустил бы ее первой и что Herr Staatsrat очень строгий человек.

Послышался грохот отъезжавшей коляски. Настенька опять вздохнула. Она не без удивления замечала, что ей теперь все скучнее оставаться одной без Иванчука,— так за время их путешествия она оценила и его самого, и подорожную, и власть денег. «Не иначе как сделает предложение,— подумала Настенька с хитрой улыбкой и сама себе подивилась, какая она умница, кроме того что роковая женщина: — Ведь за него бы всякая рада пойти». Ей захотелось взглянуть, точно ли она так похорошела. Настенька

не без труда повернулась в кресле — уж очень покойно было сидеть — и оглянулась на зеркало. Но оно висело так, что ничего нельзя было увидеть. Впрочем, белая рама окна на свету все отражала — Настенька, придвинувшись, могла разглядеть даже свои брови и ресницы. Вдруг она беззвучно засмеялась, увидев в саду Штааля. Он стоял в профиль к ней, подняв голову, перед столбом с высеребренным шаром (эту игрушку фройлейн Гертруда вывезла из Германии) и с явным неудовольствием себя рассматривал. Шар отражал толстого, низенького человека, безмерно раздувшегося лицом и туловищем. Настенька поспешно бросила в коробку шитье, вытащила коллекцию мушек и, еще раз оглянув себя в раму, подвинулась ближе к окну. Она хотела было наклеить на середину лба вырезанную звездочкой большую тафтяную мушку, что означало холодное равнодушие: «смотрю, да не нравишься» (язык мушек Настенька знала твердо; ей было известно, что и Штааль, как все молодые люди, хорошо его знает). Но она раздумала и надела маленькую мушку на верхнюю губу. Это значило кокетство и ни к чему не обязывало. Настеньке хотелось еще проучить зазнавшегося мальчишку.

— Ах какие прекрасные,— сказала она, перегнувшись в окне и смеясь не совсем уверенно.

Штааль быстро оглянулся.

— Ну да, вот и вы, фрау директор,— произнес он нахальным тоном, как будто и не сомневался в том, что она появится. Он заметил мушку на верхней губе и презрительно усмехнулся, точно нисколько не сомневался и в этом. Настенька смутилась: она не так понимала свою мушку. Но смущение ее было приятное. От запаха сирени голова у нее кружилась все сильнее.

— Очень сирень пахнет,— смущенно сказала она. Он презрительно засмеялся.

— То-то, фрау директор,— сказал он.

Слова его были совершенно бессмысленны, он и сболтнул их наглым тоном больше от собственного смущения. Но Штааль ничего не мог бы выдумать лучше: и «то-то», и «фрау директор» перепугали Настеньку.

— Ишь какие вы стали...

— Значит, такие...

— Какие же? — пробормотала Настенька.

— Такие,— еще более значительным тоном повторил Штааль. Но, решив, что диалог этот не может все же продолжаться бесконечно долго, он кратко добавил: — Хорошо, я к вам сейчас приду.

«Так и есть, два приключения в один день»,— торжествующе подумал он. Но первые сказанные им не бессмысленные слова успокоили Настеньку.

— Вот еще! — обиженно произнесла она.— И вовсе не *хорошо*, и никто вас не просит.

Штааль почувствовал свою ошибку.

— То глаза в сторону воротит, то к *вам приду*, чуть друг со двора. Ишь тоже! — продолжала Настенька, переходя в наступление.

— А он вам муж, что ли, или жених?

— Может, будет и жених, и муж, почем вы знаете?

— Это Иванчук-то! — Штааль искренне расхохотался.

— А знаете, кто без резону смеется?

— Кто, Настенька?

— Дурак, вот кто.

Она улыбнулась, желая смягчить непривычно резкое слово. Но улыбка у нее вышла гораздо более нежной, чем ей хотелось. Настенька тревожно подумала, что, кажется, все выходит очень нехорошо.

— Жарко как... Пить хочется,— уж совсем смущенно сказала она.

— Я сейчас принесу.

Штааль побежал в столовую, к столу, за которым они обедали. Стол не был убран, но обе бутылки фройлейн Гертруда заперла на ключ. В стаканах, однако, еще оставалось вино. Штааль слил остатки в один стакан, вылил туда и кальмусовку, остававшуюся на дне рюмок, и понес в сад. Он подбежал к окну, ловко стал на выступ стены и подал стакан Настеньке, не пролив ни капли.

— Упадете, расшибетесь,— сказала Настенька.— Ну, мерси... Что это вы мне дали, крепкое какое? Фу!.. Я думала, сироп, ей-Богу!..

— Совсем не крепкое... И не все ли равно?

— Ан, не все равно. Пьяна буду, вот что... Стыдно вам!

Штааль заметил, что на ней была другая мушка, означавшая «а вот и не поцелую». Он засмеялся от радости.

— Чего зубы скалите?

— Настенька, я сейчас к тебе приду.

Она сделала вид, будто не заметила к «тебе», но с ужасом почувствовала, что все кончено, что она любит его по-прежнему.

— Попросите честью.

— Прошу честью.

— Скажите: на коленях вас, Настенька, умоляю.

— На коленях тебя, Настенька, умоляю.— «В окно, что ли, влезть?» — быстро подумал он. Влезть было можно. Можно было и порвать панталоны. «А отчего бы не взойти по лестнице? Нет, нельзя ее отпускать ни на минуту, еще дверь закроет...» Он оглянулся, сделал усилие и поднялся «на мускулах». Настенька попятилась назад и замахала руками. Со всей возможной грацией Штааль взобрался в окно, чувствуя себя одновременно и школьником, и испанским кавалером. Он даже вытянулся во весь рост на подоконнике, хоть это вовсе не было нужно. «Эх, не поверит Саша»,— подумал Штааль, сбивая с колен пыль. Он на цыпочках соскочил в комнату Настеньки.

XVIII

Клочок земли (в полторы тысячи десятин), который собирался приобрести Иванчук, был расположен недалеко от городка Житомира. Владелец находился в отъезде и поручил продажу управляющему богатых помещиков Обуховских, у которого, в иванковском имении, и должны были остановиться покупатели. Иванчук рассчитывал съездить и вернуться в Киев в три-четыре дня. Он желал на месте взглянуть, не вводят ли его в обман продавцы, хоть еще в Петербурге знал, что дело чрезвычайно выгодное. «Кота в мешке не покупают»,— сердито говорил Иванчук фройлейн Гертруде — от нее, однако, ускользал смысл этого выражения в дословном немецком переводе. По мере приближения сделки, которая должна была наконец сделать его настоящим помещиком, Иванчук волновался все больше. Сгоряча он даже предложил Штаалю съездить с ними — тотчас, правда, спохватился, но Штааль уже принял приглашение.

— Вот и прекрасно, парти карре[1] учиним,— кисло сказал Иванчук. Он утешился тем, что большую часть расходов отнесет на счет Штааля. «Как парти карре, то пусть за свою немку и платит, чтобы мне хоть не кормить в дороге эту прорву». Кислый вид Иванчука рассеял последние колебания Штааля. «Ежели Иванчуку неприятно, значит, надо ехать. Однако не предполагал я, что он этакий осел»,— подумал Штааль. Оба они совершенно искренне считали друг друга дураками.

Штааль не мог разобраться в своих чувствах. Вернее, чувства эти менялись у него беспрестанно. То ему больше нравилась Настенька, то фройлейн Гертруда. В мыслях

[1] Увеселительная прогулка вчетвером (*франц* partie carrée)

он сравнивал обеих цинично и говорил себе, что не любит ни ту, ни другую,— любит же госпожу Шевалье. Он очень дорожил этим своим чувством. Штаалю неприятно запали в душу слова Ламора об его бедном темпераменте. «Да, единственно к ней пожирает меня страсть,— не совсем уверенно думал он.—А что до пылкости нрава, я сделал мои доказательства». Временами ему казалось, что он создан для такой жизни, исполненной мимолетных любовных приключений: нынче с одной, завтра с другой. В эти минуты он смотрелся в зеркало, приглаживал волосы напомаженной щеткой и чувствовал себя победителем: зеркало отражало самую победоносную улыбку. Но Штааль помнил также, что, выходя из комнаты Настеньки, он испытывал отвращение и от нее, и от себя самого, и от всего в жизни. «Пуще смерти надо бояться ресидивов любви, через несколько лет той же даме строить куры. Я состарился, да и она не помолодела. И волюпте в ней теперь острее, противнее... Впрочем, все это приукрашено в книгах»,— думал он, забывая, что его пожирает страсть к госпоже Шевалье.

Перед самым отъездом фройлейн Гертруда вошла в комнату Штааля и подала ему бумажку. Счет был на четырнадцать рублей семьдесят копеек. Значились в нем комната, извозчик, завтрак, обед, ужин, свеча и корзинка с едой, приготовленная в дорогу. Но свеча была зачеркнута, а кроме того, под итогом была карандашом сделана пометка Rabatt[1] 15%, d. i. 2 р. 20 к., и Штаалю пришлось уплатить только двенадцать с полтиной. Фройлейн Гертруда с застенчивой улыбкой обратила его внимание на скидку в счете и на зачеркнутую свечу. Он поблагодарил, с трудом удерживаясь от смеха. «Вот о чем непременно напишу Саше».

Ехали они более суток в старом фаэтоне фройлейн Гертруды. Коляска Иванчука была и недостаточно поместительна, и слишком нарядна. Иванчуку хотелось прибедниться немного перед продавцом,— может, что-нибудь скинет в последнюю минуту,— но хотелось также внушить уважение в местах, где он должен был стать помещиком. Из этих противоречивых стремлений он избрал средний выход: ехал в чужом экипаже, выговорив заранее, что фройлейн Гертруда за фаэтон не возьмет ничего. Она согласилась, но только в случае, если сделка состоится. Фаэтон был четырехместный, и лицом к лошадям могли поместиться трое. Мужчины решили сидеть на «скамеечке» попеременно.

---

[1] Скидка *(нем.)*.

Дорога была пыльная. Однако кое-где в рытвинах лужи от давно прошедших дождей были таковы, что фаэтон уходил в воду до верха колес,— фройлейн Гертруда сообщила, что недавно в одной из таких луж утонул почтарь. Иванчук, обычно всех занимавший, теперь был поглощен мыслями о покупке, обо всем том, что нужно оговорить (он то и дело вынимал книжечку и записывал несколько слов для памяти). Когда Штаалю выпадало сидеть с дамами, его сажали посредине, и обе дамы конфузливо говорили, что он из них четырех самый тонкий. Штааль угрюмо подтверждал: «Да, самый тонкий» — и вообще не проявлял особенной любезности. Глупая роль Иванчука не доставила ему того наслаждения, на которое он рассчитывал. Удовольствие, конечно, было, но очень скоро притупилось, как и легкое волнение от тесной близости женщин. Фройлейн Гертруду деловые соображения волновали не меньше, чем Иванчука (они изредка обменивались краткими замечаниями, которых не понимали их спутники). Настенька явно больше не знала, как себя вести, и разговор ее, никогда не отличавшийся блеском, от смущения выходил особенно натянутым. Хотя она, по прежней своей жизни, не придавала чрезмерного значения физической любви, Настеньке было, однако, очень стыдно перед Иванчуком. Штааля все раздражало: и разговоры Настеньки, и облупившийся нос Иванчука, и задумчивый сосредоточенный вид, с которым фройлейн Гертруда уписывала крутые яйца, заботливо счищая с них ногтем скорлупу, и то, что лица у них у всех скоро стали серыми, а потом гнусно черными от пыли. Штааль больше не чувствовал себя победителем. «Нет, положительно у меня испортился характер,— думал он (почему-то эта мысль доставляла ему легкое удовольствие).— Не со скорлупой же ей, в самом деле, есть яйца и отчего же не совать их в бумажку с солью. Вот и я то же делаю... И они не виноваты, что дорога пыльная. Посадить мадам Шевалье, она не лучше была бы. Ну, положим, лучше, и с ней милей бы было так сидеть рядышком...»

Под конец дороги они почти все время дремали. Земли, по которым они ехали, принадлежали большей частью польским богачам, Браницким, Олизарам, Поляновским, Обуховским. Кучер называл их имена, а фройлейн Гертруда тихо вскрикивала: «Furchtbar reich! Kolossal reich!» [1]. Понаслышке знал их и Иванчук. Он внимательно расспра-

[1] «Ужасно богатый! Колоссально богатый!» *(нем.)*

шивал фройлейн Гертруду и кучера, сколько душ и десятин у каждого помещика.

Последняя их остановка была в деревне Котельне. Они плотно закусили в корчме. Иванчук старался в наибольшей мере использовать те припасы, которые были захвачены из Киева. Штааль же, которому надоели яйца, высохшая ветчина на просаленных бумажках, зачерствевший пыльный хлеб и теплое пиво, приказал корчмарю «тащить на стол все, что есть»,— больше, впрочем, назло Иванчуку, который терпеть не мог таких неопределенных и рискованных заказов. Корчмарь принес старательно запачканную бутылку и украдкой показал на ней Штаалю княжескую корону. Это был мед из погребов соседнего ивницкого имения, принадлежавшего еще Вишневецким. Корчмарь получал его по знакомству, через масонскую ложу, бывшую в ивницком дворце. Цена бутылки была такая, что фройлейн Гертруда вскрикнула от испуга. Штааль, иронически глядя на Настеньку, предложил взять бутылку на свой счет. Но Иванчук разошелся, ударил Штааля по колену и велел откупорить бутылку, заявив с достоинством, что платить будут они пополам. «Дамы не платят»,— сказал он, галантно кланяясь. Штааль усмехнулся, подумав, что галантность эта Иванчуку небезвыгодна: обе были его дамы. Мед точно был удивительный. Они не оставили ни капли в бутылке. Фройлейн Гертруда выпила рюмку с таким видом, будто в атаку шла,— зажмурив глаза и с отчаянным выражением на лице. Через полчаса они снова сели в фаэтон — отяжелевшие ноги очень их беспокоили. Хоть езды от Котельни до иванковского имения было минут сорок, не более, обе дамы заснули в фаэтоне, и даже Иванчук несколько сомлел.

Как раз когда они усаживались, к корчме с грохотом подъехало несколько тяжело нагруженных фур. Из них выскочили люди и стали поспешно вытаскивать ковры, диваны, кресла, подушки. Корчмарь с просиявшим лицом выбежал на крыльцо. Кучер объяснил Иванчуку, что это в Киев едет богатый пан, верно, из Ивницы или из Лещина; высланные им вперед люди готовили к его приезду корчму. Действительно, не успели они отъехать версты три, как показался поезд самого барина. Дамы в испуге проснулись от звука труб. Кучер придержал лошадей и почтительно свернул к самому краю дороги, пропуская мимо коляски поезд, состоявший не менее чем из двадца-

ти экипажей. Впереди неслись верховые с незажженными факелами. Затем проехали фуры с музыкой, с кухней, с аптекой, с гардеробом. Дальше скакали вооруженные люди, личная охрана барина, за ними трубачи, потом шутиха в разноцветном наряде, сидевшая верхом на осле, задом наперед, и что-то отчаянно кричавшая. Наконец показался и сам пан в коляске, запряженной шестеркой белых лошадей цугом, с форейтором и гусарами на запятках. Пожилой осанистый человек в атласном розовом халате полулежал на заваленном подушками тюфяке, повернув голову и приставив руку к уху. За ним бежали скороходы. Кучер снял картуз. Иванчук тоже приподнял было шляпу. Но барин даже не посмотрел на них, и Иванчук сделал вид, будто поправляет шляпу на голове. Шутиха показала ему нос.

— Кто же это? — спросил Штааль, когда музыка заглохла вдали.

— Должно, Ивницкий пан, альбо Лещинский,— ответил кучер.

Штааль из запыленного фаэтона с завистью смотрел вслед помещику.

— Как ездит, а? — сказал Иванчук, видимо любуясь богатством проехавшего барина. В отличие от Штааля, он относился к богатым людям без всякого злобного чувства. В глубине души Иванчук был совершенно уверен в том, что и сам он рано или поздно будет богат. В этом помещике он уже с гордостью видел соседа.

— Grossartig! — восторженно говорила фройлейн Гертруда.— Wunderschön!..[1]

— Эх ты, и не знаешь, кто едет,— укоризненно сказал Иванчук кучеру.— Верно, скоро этак все спустит. Плакали панские гроши,— добавил он, обращаясь к Штаалю, и по одному этому, с жадностью произнесенному, слову «гро́ши» Штааль с удовлетворением почувствовал пропасть, которая отделяла его от Иванчука.

Фаэтон свернул налево под прямым углом, затем опять направо. Кучер хлестнул по лошадям. Показались невысокие крытые соломой строения. Собаки с отчаянным лаем понеслись за лошадьми, то приближаясь к ним, то отскакивая от кнута с яростным визгом. Какой-то бородатый человек, сорвав картуз побежал за экипажем, крича на собак и отгоняя их картузом. «Браму, браму открой!» — кричал он с ужасом. «Что такое брама?» — с недоумением

[1] Он великолепен! Он прекрасен! *(нем.)*

спросил Штааль. Иванчук приосанился. Встречные люди почтительно снимали шапки. Дети, кланяясь, бежали за экипажем. Коляска въехала в широко открытые ворота парка, около которых, запыхавшись, стоял без шапки сторож, свернула направо, быстро обогнула огромную круговую клумбу, обсаженную низкими стрижеными кустами, и подошла к белому одноэтажному длинному дому. Кучер снял шапку и низко поклонился господам. Иванчук выскочил первый и помог сойти Настеньке. Несколько человек прислуги бросилось целовать руки приехавшим господам.

XIX

Управляющий имением, старый литовец, высокий, худой, с необычным для деревенского жителя изможденным лицом лимонно-желтого цвета, встретил гостей на веранде и произнес цветистое приветствие, смысл которого они плохо уловили. Фройлейн Гертруда неудачно сказала вполголоса: «Glänzend...» [1] Иванчук немного насторожился,— нет ли тут со стороны продавца какого-либо подвоха. Но скоро успокоился, так как в приветствии не было ни слова о покупке имения. Штааль сладко зевал. «Какие, однако, уроды водятся в глуши»,— думал он, ожидая, дадут ли им наконец возможность умыться как следует и переодеться. Управляющий говорил о предметах возвышенных, упомянул о матери земле, о друидах, коснулся также вопросов космогонических. Вид у него был очень торжественный. Говорил он медленно, довольно плавно, как вдруг, к общему изумлению, заикнулся так страшно и продолжительно, что все гости, кроме Иванчука, опустили глаза — в первую секунду им даже показалось, будто он шутит: так свободно он говорил до той минуты. Лицо управляющего передернулось. Он, видимо, скомкал конец своей приветственной речи, причем вторично заикнулся еще мучительнее и по-польски велел прислуге проводить гостей в предназначенные для них комнаты. Штааля отвели в большой кабинет, довольно просто убранный и украшенный портретами папы Пия VI, Яна Собесского и Месмера. Это сочетание немного озадачило Штааля. «Да, странные люди водятся в глуши»,— подумал он снова, уже несколько мягче. Через полчаса их позвали обедать.

Обед был не то чтобы очень тонкий, но чрезвычайно сытный и обильный. Подавали малороссийский борщ, рыбу,

---

[1] «Блестящий» *(нем.)*.

зразы, какое-то жаркое по-гусарски, сочни с сыром и сметаной. Дамы сидели по одну сторону стола, мужчины по другую — в Петербурге этот старинный обычай уже понемногу выводился. На почетных местах сидели Настенька и Иванчук. Фройлейн Гертруда и для управляющего была «факторка». Относительно же Штааля он находился, по-видимому, в некотором сомнении, не зная, кто это, собственно, такой и зачем сюда пожаловал. Штааль сам чувствовал, что он здесь лишний, и сердился на себя, что поехал. На своего хозяина гости теперь поглядывали не без опаски. Особенно Настенька боялась, как бы он снова не начал так тяжко давиться словами. Управляющий ел мало, но со старинным гостеприимством потчевал гостей. Говорил он вначале немного, больше отвечал на вопросы, рассказал, однако, кое-что об иванковском имении[1], об оранжереях, славившихся на всю Польшу (он, видимо, и эти места считал Польшей), о богатстве владельца, которого управляющий, не совсем понятно для гостей, титуловал паном маршалком: фамилии он не называл вовсе, точно на свете существовал только один пан маршалок. В кратких фразах управляющий совершенно не заикался, и гости успокоились. Успокоился, видимо, и он сам: чувствовалось, что большая часть душевной энергии этого человека уходит на борьбу с непослушными органами речи. Случайно разговор соскочил снова на возвышенные предметы. Тут, к большому удивлению Штааля, управляющий одушевился и вдруг стал рассказывать о самых неправдоподобных происшествиях, свидетелем которых или даже участником ему пришлось быть. Оказалось, что он

---

[1] С именем, описанным в настоящих главах, неясно связывается трагическое воспоминание. Граф Август де Лагард, путешествовавший по России в 1811 году, оставил чрезвычайно интересный дневник своего путешествия («Voyage de Moscou à Vienne». Paris, 1824). В записи, помеченной июлем месяцем (без числа) и сделанной в 20-ти верстах от этого имения, автор в очень взволнованном тоне сообщает о преступлении, только что совершенном в деревне Иванково под Житомиром и вызвавшем много шума. Крепостными убит, из мести, в спальной своего дома помещик граф Каменский (следует драматическое описание убийства). Сообщение это явно не может относиться к известному убийству фельдмаршала гр. М. Ф. Каменского, происшедшему 12 августа 1809 года в совершенно иной обстановке. Лагард, мог, конечно, смешать фамилии, но трудно предположить, что неверна вся запись, сделанная им на месте, под свежим впечатлением события, с точным указанием деревни. По сведениям пишущего эти страницы, иванковское имение принадлежало в 1800 году польским богачам Обуховским. Волынские архивы могли бы разрешить эту загадку.— *Автор.*

собственными глазами три раза видел сатану, а один раз сам сделал чудо, исцелив месмерическим способом, при помощи некоего заклинания, издыхавшую, даже совсем почти издохшую, лошадь.

Иванчук вначале все выше поднимал брови и тонко-насмешливо улыбался, свидетельствуя, что ему никакой космогонией зубов не заговоришь. Настенька старалась не показать, что она не знает, какая-такая космогония. Фройлейн Гертруда сочувственно кивала головой и изредка вставляла с жаром: «Wie interessant!»[1] Когда дело дошло до исцеленной месмерическим способом лошади, Иванчук догадался, что перед ним сочинитель, и успокоился, так как считал, что с такими господами всегда легче иметь дело. В эту минуту управляющий опять заикнулся самым ужасным образом, и тотчас оживление с него слетело. Иванчук воспользовался случаем и заговорил о покупке имения.

— Что ж, ведь по одному плану нельзя судить,— сказал он недовольным тоном. В его интонации ясно чувствовалось, что продавцы ведь часто и надувают доверчивых покупателей. Иванчук выразил желание сейчас после обеда осмотреть имение. «Экой, однако, железный»,— подумал Штааль, очень утомленный путешествием.

— Досконале, пане ласкавый,— ответил сухо управляющий (до того говоривший по-русски) и тут же приказал заложить четверку цугом. По тому, как изумленно выслушал это приказание лакей, Штааль понял, что здесь после обеда разъезжать не в обычае. Отдав распоряжение, управляющий с неестественной улыбкой придвинул к Иванчуку блюдо сочней, подчеркивая, что для него дело и гостеприимство — вещи, друг от друга не зависящие.

— Мы ведь к вам ненадолго,— пояснил Иванчук, почувствовавший, что его желание признано бестактным.— Ведь у вас говорят: «Гость что свежая рыба: три дни хорош, а потом портится».

Он первый засмеялся, желая вернуть беседе непринужденный характер. Тотчас засмеялась и Настенька, все время следовавшая за ним.

— Як то можно, пане ласкавый,— начал было хозяин. Но его перебила фройлейн Гертруда. Она вдруг горячо вмешалась в разговор и, хотя поддержала продавца, свидетельствуя с полным убеждением, что план составлен вполне честно, но поддержала и покупателя в том, что проверить план на месте нужно непременно,— и лучше

[1] «Как интересно!» *(нем.)*

всего им поехать сейчас после обеда, ибо она тоже очень спешит: ее ждет принадлежащий ей Gasthaus [1]. Фройлейн Гертруда с достоинством дала понять, что не «факторка», а единоличная владелица гастгауза, а «комиссионсгешефтами» занимается так, больше из желания оказать услугу, притом очень добросовестно и за умеренную плату. Из неожиданно горячего слова ее стало ясно, что фройлейн Гертруда тоже поедет с ними осматривать имение и что разговаривать о деле она имеет полное право, куда бы ее ни сажали за столом. Управляющий холодно, с демонстративным вниманием, слушал ее польско-русско-немецкую речь; как только она кончила, он, ничего не ответив, приказал подать кофе. Штааль едва удерживался от смеха; он предполагал, что немка разгорячилась из-за него, желая перед ним оградить свое достоинство владелицы гастгауза. Это было верно, но лишь отчасти: фройлейн Гертруда, кроме того, не хотела отпускать Иванчука ни на шаг, боясь, как бы он не вошел с продавцом в какое-либо соглашение за счет ее интересов.

Штааль — не совсем кстати — сообщил, что он слышал в Петербурге, будто земля в этих местах скоро должна сильно подняться в цене.

— Ну, это вздор,— сказал поспешно Иванчук, взглянув на Штааля. Но управляющий тотчас подтвердил слух и, хоть, видимо, не мог себе объяснить цели замечания непонятного гостя, стал с ним особенно любезным. После кофе он сам проводил Штааля в свой кабинет.

Штааль с удовольствием устроился на мягком диване и взял с полки первую попавшуюся под руку книгу. Она оказалась старинным описанием земноводного круга на русском языке. Штааль прочел, зевая, о разных дивьих людях, о тех, что «до пупа человеки, а от пупа хобот змиев, крылаты, а зовомы василиски»; об Астромовых людях, «кои живут в Индейской земле, сами мохнаты, без обоих губ, а питаются от древа и коренья пахнучего, и от яблок лесных, а не едят, не пьют, только нюхают и, покамест у них те запахи есть, по та места и живут». «Бабий вздор! — подумал Штааль, решительно не веривший ни в василисков, ни в Астромовых людей,— он даже и в существование сатаны плохо верил.— Однако и в философических книгах часто на то упирают, что есть у всех народов вера в бытие загробное... Вот и в василисков же все народы верили...» Идея эта ему показалась очень смелой.

---

[1] Гостиница *(нем.)*

Он подумал, что хорошо было бы ее сообщить в Париж какому-нибудь энциклопедисту, пусть тиснет где-нибудь от его имени. Но Штааль не знал ни одного энциклопедиста. «Может, их и не осталось вовсе? Темная эта все материя — кто из них прав? И не мое это дело... А ведь когда-то читал, волновался». Штааль перелистал книгу, перешел от дивьих людей к современным народам. Прочел, что французы «зело храбры, но неверны и в обетах своих не крепки, а пьют много»; что «люди королевства англенского немцы купеческие и богатые, воинских людей у них мало, а сами мудры и доктуроваты, а пьют много». Эту черту — «а пьют много» автор книги с видимым удовлетворением отмечал почти у всех народов. Несколько сильнее было сказано о поляках: «...а пьют зело много». Прочел Штааль также, что «король французский есть ныне самовластнейший на свете потентат». Штааль, вздрогнув, вспомнил fosse commune[1], в которую бросили труп французского короля, и закрыл книгу. «Все бренно, все проходит... И я скоро умру... Зачем я здесь, в каком-то чужом имении? Вот завтра уедем, и никогда больше всего этого не увижу... Жаль, парк, кажется, редкостный».

Он вскочил с дивана, точно испугавшись, что больше никогда всего этого не увидит, и подошел к окну, выходившему на круглую ярко-зеленую клумбу с серой полоской кегельбана посредине. За ней шли отгороженные парники. Слева расстилался великолепный парк. «Деревья, деревья какие! — подумал Штааль. Сон у него прошел.— Стыдно спать в такую погоду, когда под боком этакая натура!» Он вышел из кабинета. Дом управляющего, очень просторный, был убран без роскоши, но удобно и приятно. Штааль прошелся по комнатам. Никого не было. В буфетной мальчик, стоя спиной к Штаалю у выбеленной стены, бил мух сложенным вдвое поясом. После каждого удара на стене появлялось пятнышко; другие мухи, однако, не улетали. Штааль окликнул мальчика и, подделываясь под польско-малороссийскую речь, спросил, уехали ли «панове». Узнав, что уехали, он лениво вышел на веранду, зачем-то поскреб недавно вычищенные сапоги о тупую скобку сбоку от лестницы и спустился в парк. Слева уходила вдаль прямая как стрела аллея, с проложенными следами колес. «Верно, к *палацу* идет»,— сообразил он: за обедом выяснилось, что «палац» пана маршалка расположен в самом конце парка, над обрывом,

---

[1] Общая могила *(франц.)*

опускающимся к деревне. Штааль быстро шел по аллее. Парк был огромный. В конце аллеи, на залитой светом поляне, действительно стоял дворец Обуховских. Штааль не подошел к дворцу, чтобы не навязываться (он забыл, что владельцы имения находились в Варшаве). «Княжна, верно, где-нибудь в *угольной* живет, во втором этаже,— предположил он (почему-то он мысленно называл Обуховских князьями, хоть они никакого титула не имели).— А недурно бы с нею познакомиться... Вдруг влюбится, на эдакой и жениться можно. Пригодились бы и парк, и палац. А ежели попросить государя, улучив добрую минуту,— ко мне перейдет и титул князей Обуховских. Буду называться князь Штааль-Обуховский. Можно даже и выкинуть Штааля — глупое имя... Князь Юлий Обуховский... Ерунда, конечно. Главное в ней самой. Право, недурно бы...»

Он постоял немного в раздумье. Перед «палацом» расстилались великолепные цветники. Особенно удивил Штааля один из них, окруженный соснами величины необыкновенной. «Сосны вокруг цветника. Странно... Эх, хорошо живут люди!..» Он свернул вправо по тропинке. Вдали внизу блеснула заросшая водорослями узкая река Гуйва. Вдоль нее шла запущенная, густо засаженная деревьями самая прекрасная часть парка. Дорожка некруто спускалась к реке. Штааль сошел к огромному мшистому камню, далеко вдававшемуся в мутно-зеленую, блестевшую на солнце воду. Лягушки прыгали у него под ногами. Справа вдали белела дощатая купальня, к которой шел длинный мостик. Штааль выбрал место поблизости, в чаще парка, осторожно уселся, прислонившись спиной к огромному, ободранному снизу, поросшему мхом дереву, затем облокотился и прилег на бок. С подозрительностью городского жителя он смотрел на сыроватую землю, сплошь усеянную бесчисленными обломками прутьев, листьями всех цветов, зелеными, желтыми, красноватыми, то влажными, то сухими, свернувшимися в неровные трубочки. Неба не было видно, но солнце кое-где просвечивало сквозь чащу, оставляя на земле и на стволах деревьев снизу неровные ветвистые бледно-золотые пятна. Над ними слышалось щебетанье птиц. Штааль не знал, какие это птицы, и ничего не знал здесь по названью — ни птиц, ни деревьев, ни кустов. Ему было и смешно, и стыдно. Тощие кусты косо росли над оврагом, точно заглядывая вглубь верхушками. Штааль сорвал лист, поднес его к носу. «И не пахнет почти что...» Он потрогал шершавую

поверхность листа, глянцевито-зеленую с одной стороны, бледноватую с другой, разодрал листок по нервам, взял в рот длинный прямой стебелек... Натура ему нравилась. Чрезвычайно нравился ему и парк, и все это имение. Его неустанно точило привычное чувство зависти к чужому богатству.

Поблизости раздался странный радостный крик. Штааль выплюнул стебелек листа и приподнял голову. За бледно-золотым пятном, на поляне, вытянув длинную шею с прямым острым клювом, неподвижно стояла большая серая птица. «Верно, журавль,— лениво скашивая глаза, подумал Штааль,— а может, и не журавль». Птица с жадным любопытством смотрела на землю. Штаалю был виден сбоку тупой, злой, светлый глаз. Вдруг по земле что-то метнулось. В ту же секунду изогнулась длинная шея, острый клюв хищно ткнулся в землю, что-то взлетело вверх. «Это он, подлец, лягушкой играет»,— подумал Штааль. Он приподнялся на локте, звонко ударил себя по колену и закричал. Птица замерла, встрепенулась, побежала в сторону, с резким криком отделилась от земли и исчезла. «Вот это и есть настоящая жизнь,— подумал Штааль.— Это и есть натура! Лягушка припала к земле, он поиграет и съест... А я его... А меня — ну и на меня найдутся... Вот и учись у натуры — у этого журавля. Надо жить, как он...»

Штааль зевнул, устроился поудобнее и скоро задремал. Ему снились крылатые женщины с длинным хоботом. Он во сне уверял себя, что это вздор, ерунда,— ни один энциклопедист теперь не верит, и Ламор будет хохотать, когда ему это расскажет Баратаев. А он назло непременно расскажет. Дивьи люди тоже хохотали на вершине Парижского собора Божьей Матери, особенно один, горбоносый, с высунутым языком, очень страшный. Но крылатая женщина с хоботом была — только без крыльев и без хобота, а высокая, прекрасная, с дивьей грудью и шеей. И непонятно было, почему этот сумасшедший называет василиском госпожу Шевалье...

«Разве искупаться? — подумал, проснувшись, Штааль.— А в самом деле? — Он оглянулся. Людей не было.— Да хоть бы и были, мне что, лишь бы одежу не стащили. Ну, здесь не стащат». Штааль спустился снова к камню, разделся, бросился в воду вниз головой, коснулся руками дна, вынырнул и, фыркая, выплыл на середину реки, подальше от цеплявшихся за ноги водорослей. «Мы еще поживем, поборемся,— вдруг с чрезвычайной бодро-

стью подумал он.— Вот вернусь в Петербург и начну жизнь заново. И госпожа Шевалье будет моею». Он плыл с непривычной, радовавшей его энергией, точно уже начав новую, полную трудов жизнь. Дощатая ветхая, чуть заметно дрожавшая на солнце купальня приближалась. Штаалю показалось, что в ней кто-то есть. Штааль поплыл бесшумно. ««Может статься, княжна Обуховская?» — подумал он. Сердце у него забилось сильнее. Хоть ему было и совестно, он осторожно подплыл к купальне вплотную. Слегка запахло гнилым деревом. Достать дно ногами Штааль еще не мог и, приняв вертикальное положение, взялся рукой за сваю, брезгливо уклонясь от слизкой зелени, покрывавшей у столбов воду. Купальня дрогнула. Он замер. Однако купавшаяся дама (Штааль почему-то был уверен, что это дама), по-видимому, ничего не заметила. Штааль переждал несколько секунд, оглянулся и осторожно приблизил глаза к узкой щели, прижавшись лбом к шершавым разогретым солнцем доскам. Ничего не было видно. С сильно бьющимся сердцем он так стоял в воде несколько минут, все время стараясь сохранить равновесие. Течение толкало его на доски. Он оцарапал лоб, колено. Справа от него полоскалась в воде невидимая княжна Обуховская. «Русалка!»— книжным словом восторженно подумал Штааль, с трудом переводя дыхание. Княжна рисовалась Штаалю в образе госпожи Шевалье, которую он так часто раздевал в мыслях. «Глупо, однако, этак здесь торчать, глупо и стыдно»,— решил он наконец, оттолкнулся ногами от сваи так, что купальня довольно сильно дрогнула, и быстро поплыл назад к камню, уже не заботясь о том, чтобы плыть бесшумно. Отдуваясь и дрожа от холода, он взобрался на камень. Ногам было больно. Вытереться было нечем. «Глупая затея так купаться...» Штааль оделся, не вытираясь, и быстро пошел наверх по сырой, тенистой аллее, мимо парников,— тоже великолепных и тоже чужих.

Минут через двадцать, обойдя парк кругом, он уже перед самым домом неожиданно встретил Настеньку, которая с мохнатым полотенцем через плечо, в белом платье, свежая и веселая, шла быстрой легкой походкой, видимо доставлявшей ей наслаждение. «Да это, верно, она купалась,— разочарованно подумал Штааль.— Хороша княжна Обуховская...» Они столкнулись у выхода из круглой клумбы, в которой был устроен кегельбан. Оба одновременно вспомнили о «Красном кабачке». Настенька робким умиленным взглядом взглянула на Штааля и покраснела.

— А, вы *тоже* купались? — холодно спросил Штааль тем наглым тоном, который теперь вошел у него в бессознательную привычку при разговоре с Настенькой наедине. Она густо залилась краской, что-то невнятно пробормотала и поспешно поднялась на веранду.

XX

По сдержанному, но сильному и явно радостному волнению Иванчука, по раскрасневшемуся лицу фройлейн Гертруды и Штааль, и Настенька сразу поняли, что дело сделано.

— Подписал,— кратко сказал Иванчук, выходя из коляски, пыльный и потный.— Я подписал!

Он великодушно взглянул на кланявшегося кучера и протянул ему серебряную монету. Фройлейн Гертруда одобрительно закивала головой и тоже, порывшись довольно долго в сумочке, дала кучеру на чай. Иванчук, видимо не удержавшись, поцеловал подошедшую Настеньку, чего до тех пор при посторонних не делал. Настенька покраснела и слегка оттолкнула его от себя. Но она была довольна и его поступком, и в особенности тем, что это произошло на глазах у Штааля, который, с ленивым видом, с принужденной улыбкой, стоял на лесенке веранды. Штааль иронически поздравил Иванчука с покупкой, явно отвергая официальную версию, будто клочок земли приобретался для другого лица. Он чувствовал немалую досаду оттого, что его приятель стал помещиком. Однако Иванчук в своем волнении решительно не заметил иронии Штааля и крепко, с благодарностью, пожал ему руку.

— Превосходное имение! Прямо превосходное! — говорил Настеньке взволнованно и гордо Иванчук — он сам забыл о своей официальной версии и даже не называл больше имение клочком земли: гордость помещика в нем ненадолго вытеснила его обычную осторожность. Фройлейн Гертруда была тоже сильно возбуждена.

— Wir haben alle Herrn Staatsrat herzlichst zu gratulieren, aber herzlichst,— повторяла она.— Herr Staatsrat, hatt'ich Recht oder nicht? [1]

— Ja, ja [2],— говорил взволнованно Иванчук. Фройлейн Гертруда недурно заработала на сделке, и деньги от

---

[1] Мы должны искренне поздравить господина государственного советника, искрение. Господин государственный советник, права я или нет?.. *(нем.)*

[2] Да, да *(нем.)*.

Иванчука получила, по своей вежливой, но настойчивой просьбе, при самом заключении условия (к продавцу она инстинктивно имела больше доверия). Скоро появился на веранде и управляющий. Он был чрезвычайно любезен и просил дорогих гостей остаться у него подольше. Гости, однако, решили ехать на следующее утро. Хозяин тотчас распорядился отправить им в Бровки повара с провизией, чтобы они к полудню могли там пообедать. Такая любезность опять встревожила Иванчука,— уж не переплатил ли он или, может, где-либо скрыт обман? Но беспокойство его продолжалось одно мгновенье; он отлично знал, что купил имение за гроши.

Слуги накрывали на веранде стол для ужина. С усилившимся к вечеру ароматом цветов смешивался доносившийся из кухни вкусный запах жаркого. Все, кроме Штааля, были веселы. За ужином хозяин сказал приветственное слово — на этот раз без друид. Он любил говорить речи, как иные нервные люди любят сильные ощущения. Иванчук, очень растроганный, провозгласил тост «за всех дворян — землевладельцев края и за нашего доброго хозяина». Штааль, от которого тоже ждали тоста, предложил, с усмешкой глядя на Настеньку, выпить за ее здоровье. Этот тост был принят с энтузиазмом; фройлейн Гертруда даже вскочила и расцеловалась со смущенной Настенькой. Немка прекрасно понимала, что первый тост Bube должен был провозгласить за Frau Direktor, но теперь смотрела на него выжидательно. Выпили и за фройлейн Гертруду, хоть значительно холоднее. Однако она прослезилась, чокнувшись с Штаалем. Фройлейн Гертруда в течение всего ужина глядела на Bube с чрезвычайной нежностью.

В промежутках между тостами разговаривали на всякие темы. Хозяин учтиво заспорил с Иванчуком о том, кто лучший полководец, Ян Собесский или Суворов. Иванчук отстаивал Суворова, но без особого жара. Он готов был теперь соглашаться с чем угодно. Управляющий нехотя отдавал Суворову должное, однако Собесского ставил гораздо выше — выше всех полководцев. Он даже дал понять, что Собесский обладал одним таинственным секретом, который безошибочно доставлял ему победу. Но, по-видимому, управляющий тотчас пожалел, что коснулся этой темы с людьми непосвященными. Впрочем, главный интерес разговора для него, как всегда, был не в содержании, а в том, чтобы ни разу не споткнуться на длинных фразах. Это после ужина ему удалось, и потому он был особенно

хорошо настроен. Штааль, внезапно разгорячившись от венгерского, резко заявил, что Суворов не знал никакого таинственного секрета, однако всегда побеждал. «Вот и Варшаву взял в свое время»,— нелюбезно добавил он. Иванчук тотчас признал, что и в этом мнении есть большая доля правды: жаль, конечно, что Собесский и Суворов, живя в разное время, никогда между собой не сражались,— и, может быть, вернее всего считать их равными по силе полководцами. «Aber selbstverständlich,— говорила фройлейн Гертруда, сразу немного опьяневшая.— Sehr richtig, Herr Staatsrat» [1]. Настенька грустно размышляла о наглом выражении лица Штааля в ту минуту, когда он поднял тост за ее *здоровье*. Штааль хотел взглядом дать ей понять, что нисколько не ревнует ее к Иванчуку и совершенно к ней равнодушен. Он не был, однако, уверен, что Настенька поняла это по взгляду, и подумывал, как бы пояснить ей намеком. «Это и есть, как журавль с лягушкой. Так и надо!» — мысленно говорил он. Почему-то Штааль решил, что мстит Настеньке за прошлое, хоть ему, собственно, не за что было ей мстить, да он прежде ни о какой мести и не думал. В действительности Настенька отлично все поняла. Она и в его тосте усмотрела какой-то дурной намек на ее полноту. Однако наглый тон Штааля произвел на Настеньку совсем не то действие, какого он ожидал (он, впрочем, мало об этом заботился, да и тон такой взял случайно, а поддерживал уже механически). Настенька не чувствовала за собой никакой вины перед Штаалем. Она опять сравнила его отношение к ней с нежной заботливостью Иванчука. Настеньке все больше казалось, что достоинства Иванчука имеют, в особенности для нее, очень большое значение. «Вот и имение теперь задаром купил, а тот всегда будет голышом». При всем бескорыстии Настеньки, независимо от ее воли, богатство Иванчука сильно поднимало его престиж в ее глазах. «И говорит как бойко»,— думала она, почти с нежностью слушая нового помещика.

Стемнело. Слуги внесли свечи в колпаках, подали чай с вареньем, кренделями и лимоном. Управляющий посидел после ужина столько, сколько нужно было для приличия, и попросил извинения у дорогих гостей: он вставал ежедневно с зарею и рано ложился спать. Штааль тоже подумывал о постели. Он немного боялся, как бы к нему в кабинет не поместили Иванчука (Штааль терпеть не мог спать в одной комнате с мужчинами). Но оказалось, что

[1] «Разумеется... Очень верно, господин государственный советник» *(нем.)*.

в доме нашлось по свободной комнате для каждого гостя. Лучшая комната была отведена Настеньке — ее Иванчук представил хозяину как добрую знакомую, однако в разговоре ввернул с самого начала, что это его невеста: Иванчук про себя уже давно принял решение жениться на Настеньке и заботился о репутации своей жены в том крае, где он становился помещиком. В его планах женитьба, не совсем понятным образом, тесно связывалась с покупкой имения.

Простившись с управляющим, Штааль зевнул и сказал, что у него болит голова. «Armer Bube» [1],— воскликнула сгоряча фройлейн Гертруда и объявила, что мигом вылечит его фиалковой настойкой, которую всегда возит с собой, так как у нее часто бывают ужасные головные боли. Иванчук пожелал им спокойной ночи и многозначительно объявил, что сам он еще посидит на веранде с Настенькой. Фройлейн Гертруда закивала головой, показывая, что понимает и находит вполне закономерным желание Herr Staatsrat'a. Она при этом подмигнула Штаалю. Штааль, несмотря на усталость, вдруг почувствовал желание остаться на веранде хоть всю ночь, лишь бы испортить удовольствие «дворянину-землевладельцу края», как он теперь называл мысленно Иванчука. Штааль видел, что его приятель находится в необычно приподнятом настроении. Но после того как сам же объявил о своей головной боли, а Иванчук, крепко пожимая ему руку, сказал игриво: «Приятных снов, красивец»,— оставаться было неудобно. Штааль засветил свечу и, зевая, прошел в кабинет, где для него на диване была приготовлена постель.

В одиночестве он, однако, оставался недолго. Через несколько минут в кабинет не вошла, а прокралась, с заговорщическим выражением на лице, фройлейн Гертруда, в пеньюаре, с коробкой ваты и с темно-зеленой бутылочкой в руках. Она намочила Штаалю голову фиалковой водой и поцеловала его в лоб, который он страдальчески морщил.

— Armes Kind [2],— нежно сказала фройлейн Гертруда, садясь ему на колени. «Да, все это сильно преувеличено»,— успел подумать Штааль.

Для Иванчука вопрос о женитьбе на Настеньке был, после долгих колебаний, решен. Но под свое решение он

[1] «Бедный мальчик» *(нем.)*.
[2] Бедное дитя *(нем.)*

все еще упорно подыскивал разумные практические доводы. Он говорил себе, что не в деньгах счастье. Изречение это, однако, не имело для него никакого разумного смысла. «Да, не в приданом счастье,— повторял он, несколько сузив мысль.— Вот я и без богатой женитьбы приобрел порядочное именьице». Говорил он себе и то, что люди (он разумел людей влиятельных) должны будут оценить его бескорыстие, как бы они ни отнеслись к женитьбе на женщине с прошлым Настеньки. Иванчук думал даже, что об этом (особенно ежели попросить Палена) легко может узнать сам государь, а при рыцарском характере государя стоит попасть в добрую минуту и еще, пожалуй, перепадет весьма порядочная награда. Подобные происшествия случались не только в сказках. О покойной матушке государыне рассказывали трогательные истории в том же роде. Иванчук, сладостно замирая, мечтал, как они вдвоем *упадут к ногам* императора, благодаря его за неожиданное счастье. Но он прекрасно понимал, что это только мечты: так он иногда (даже он) представлял себя в мыслях то герцогом, то фельдмаршалом, то турецким султаном. Никакого серьезного расчета на милость государя по случаю женитьбы на Настеньке строить, конечно, не приходилось. Не приходилось и вообще связывать соображения выгоды с этой женитьбой. Иванчук чувствовал, что он просто «влюбился, как дурак». Это и конфузило его, и трогало — в одних сочетаниях мыслей больше трогало, в других больше конфузило. Окончательно решил он для себя вопрос по дороге в Киев, когда постоянная близость Настеньки стала для него привычкой и источником счастья.

Он оглянулся на освещенное окно комнаты Штааля и нерешительно спросил взволнованную Настеньку, не желает ли она погулять в парке. Ему, впрочем, нисколько не хотелось гулять — он очень устал за день, да и темные аллеи пустынного парка глядели ночью неуютно. «Нет, оттуда не слышно,— подумал Иванчук, измеряя глазами расстояние от веранды до окна освещенной комнаты.— Да у него сейчас, верно, Гертрудка...»

— А то здесь посидим, здесь славно,— тоже нерешительно сказала Настенька. Она чувствовала, что он сейчас все скажет. Ее мучили угрызения совести, ей хотелось плакать.

Иванчук отогнал муху от блюдечка с вареньем, кашлянул и начал издалека, с той самой мысли, которая теперь переполняла его душу: сказал, что вот он как-никак

и без всякого приданого приобрел нынче порядочное именьице (при слове «приданое» Настенька покраснела). Затем Иванчук сообщил, что за него хотели выйти замуж две девицы: одна племянница генерал-поручика, другая с двумя тысячами душ, с тремя домами в Москве и с большим капиталом в Заемном банке. Для верности он назвал обе фамилии. Собственно, этих невест только предлагала Иванчуку сваха — ни с невестами, ни с родителями и разговора не было. Но опытная сваха говорила жениху, что обе невесты уж с какой радостью за него пошли бы. Иванчук на этом основании давал понять приятелям, что его «ловили, да не словили». Настеньке же он прямо объяснил, почему отказал начисто обеим невестам: потому что не любил их, а любовь — первейшая вещь в женитьбе. «Уж если жениться, Настенька, то надо быть уверенным, что жена тебе предана, как собака, что она в огонь и в воду за тебя бросится... Я, Настенька, не хотел себя продать,— говорил горячо Иванчук,— я не то что некоторые... Вон тот Родомонт-забияка,— он чуть понизил голос и показал жестом на освещенное окно,— и рад бы жениться на богатой, да кто за него, балбеса, пойдет?» Настенька покраснела до слез.

Иванчук внезапно замолчал с открытым ртом, усомнившись на мгновение в правильности принятого им решения: так на него подействовал собственный его рассказ о двух невестах, которым он отказал начисто. Особенно ему было жаль второй из них. У нее не было трех домов и двух тысяч душ,— Иванчук знал, что сваха безбожно врет,— но один среднего качества дом в Москве, тысяча двести семьдесят незаложенных душ и тридцать пять тысяч капитала в Заемном банке у невесты действительно были...

Настенька испуганно посмотрела на Иванчука. Он подумал и заговорил снова. В самой мягкой форме он дал понять Настеньке, почему никто другой, кроме него, не женился бы на девушке без положения (из деликатности он обозначил ее лишь как девушку без положения). На это Настенька ничего не ответила. Инстинкт подсказывал ей, что лучше всего опустить голову и грустно молчать. Ее грустное молчание умилило Иванчука. Он встал и прошелся по веранде. Бабочки вертелись вокруг стеклянного колпака свечи. Где-то над круглой клумбой щелкал соловей. Он щелкал уже давно, но Иванчук только теперь услышал. И соловей как будто все решил: без него Иванчук, быть может, еще отложил бы последние, решительные слова. Но соловей перегрузил заряд поэзии в его душе,—

после покупки имения, в эту лунную ночь, в этом пышном старинном парке. Иванчук обернулся, взглянул на Настеньку и вдруг упал перед ней на колени (она вздрогнула).

— Ma chère, soyez ma femme [1],— прошептал он. У него давно, еще до знакомства с Настенькой, было твердо решено, что он сделает предложение невесте не иначе как по-французски и непременно прошепчет, а не скажет. Настенька по-французски понимала плохо, однако эту фразу про «ma femme» она должна была понять. Насчет самой фразы у Иванчука не было никаких сомнений. Но обращения он долго не мог придумать. «Ma chère» выходило суховато, а «Nastenka» недостаточно торжественно. Он все же выбрал «Ma chère». Настенька задрожала мелкой дрожью. Она не могла ответить по-французски и не знала, что нужно сказать.

— Я... я за счастье почитать должна,— прошептала она.

Самая лучшая французская фраза не могла бы так обрадовать Иванчука. Он знал, что все кончено, что нет больше ни дома в Москве, ни тридцати пяти тысяч в Заемном банке, ни тысячи двухсот семидесяти нигде не заложенных душ. Но он был полон счастья, какого никогда не испытывал в жизни. Иванчук опустил голову на колени Настеньки. Это тоже было предрешено.

---

[1] Будьте моей женой, дорогая *(франц.)*.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

I

Высокий худой сутуловатый человек в темном поношенном сюртуке вошел, опираясь на бамбуковую палку, с площади Согласия в Национальный сад и поднялся на террасу, внимательно вглядываясь в редких прохожих. Шел восьмой час утра. Октябрьский день был скучный, утомительно-серый. Кофейня только что открылась. Под навесом пожилой лакей в белом фартуке, зевая, снимал со столов стулья, с неудовольствием поглядывая на старичка, который уже устроился в углу на первом же снятом стуле. Старичок не без робости кивнул головой лакею и сказал особенно бодрым голосом: «Ça va, mon vieux?» [1] Лакей что-то буркнул в ответ и даже не справился о заказе: старичок этот ежедневно, в течение пятнадцати лет, спрашивал чашку липового чая, сидел за газетами два часа, в хорошую погоду на террасе, в дурную — внутри кофейни, а затем оставлял на чай одно су. Читал он за эти годы последовательно «l'Ami du Roi», «l'Ami de la Constitution», «l'Ami du Peuple» [2],— и всегда с одинаковым удовольствием. А когда при Робеспьере внизу, на площади Революции, перед самой кофейней шли казни и хозяин догадался класть на столики, вместе с картой блюд, ежедневные списки осужденных,— старичок аккуратно читал и эти списки, и тоже с удовольствием. Но на казни никогда не приходил: они производились не утром, а днем, да и столик в эти часы можно было получить только с бою.

Лакей принес чашку липового чая, поставил ее перед старичком и обомлел, увидев входившего сутуловатого человека. Весь Париж знал министра полиции. Бескровное, неподвижное, изможденное лицо с безжизненными черта-

[1] «Как дела, старина?» *(франц.)*
[2] «Друг короля», «Друг Конституции», «Друг народа» *(франц.)*

ми, редкие бесцветно-светлые, тронутые сединой волосы, бледные тонкие губы — «ходячий мертвец!» — говорили о нем люди. Лишь в маленьких, налитых кровью, чаще всего полузакрытых глазах и видна была иногда жизнь. Старичок в углу тоже обомлел. Из кофейни под навес выбежал сам хозяин. Он с низкими поклонами сбил салфеткой пыль со стула, вытер яростно сырой липкий столик и взволнованным шепотом передал лакею заказ: «Une tasse de café bien chaud, et plus vite que ça, tu entends?» [1]

Лакей сломя голову бросился за кофе. Хозяин с ожесточением ударил салфеткой толстую кошку, которая вскочила на стул возле старичка, испуганно уткнувшегося в газету, и, бегая на цыпочках, загнал ее внутрь кофейни.

На террасе сада с разных концов появились еще два господина. Они тоже вошли под навес и уселись за столиками между старичком и министром. Фуше с неудовольствием оглянулся. Это были сыщики, приставленные к нему для охраны. Говорили, что Жорж Кадудаль, страшный роялистский заговорщик, находится снова в Париже, и Фуше принимал меры предосторожности. Сыщики шли за ним по набережной от самого министерства — один спереди, другой сзади. Он знал их и в лицо, и по фамилиям, и по условным кличкам, как почти всех своих подчиненных. Агенты были хорошие, давние, служившие в полиции еще с королевских времен. Фуше, в общем, предпочитал эту породу сыщиков новым революционным агентам, которые достались ему от Комитета общественной безопасности. Министр нашел, однако, что вошли агенты за ним в кофейню слишком заметно, одновременно, да и сели не совсем так, как следовало: один должен был бы сесть позади него, у стеклянной двери. «Надо будет разработать подробную инструкцию слежки»,— подумал министр. Старичка, сидевшего в углу, Фуше не знал в лицо. В первую минуту он подумал, что это чужой сыщик, которому поручено следить за ним какой-нибудь другой полицией, скорее всего личной агентурой первого консула. Но, вглядевшись в старичка лучше острым взглядом полузакрытых красных глазок, Фуше тотчас убедился, что его догадка неверна и что старичок ни в какой полиции не состоит. Министр отвернулся, взял чашку, отпил глоток кофе и внимательно осмотрел площадь Согласия. Он нашел, что все в порядке: достаточно и полицейских, и агентов охраны. Однако, ввиду тревожного времени, Фуше

---

[1] «Чашку кофе погорячей и побыстрей, слышишь?» *(франц.)*

решил ввести в Национальный сад еще несколько человек наблюдателей. Он тут же наметил для них в саду удобные места — на террасах, на скамейках у бассейна и у тех мраморных пьедесталов, на которых, по мысли устроившего их художника Давида, философы должны были, согласно древнегреческому образцу, учить мудрости народ. Бескровные губы министра слегка искривились. Он всегда испытывал удовольствие от того, что другие люди оказывались дураками или прохвостами. В глупости Давида Фуше никогда не сомневался. Но ему было приятно, что знаменитый художник, бывший друг Робеспьера, стал теперь прихлебателем при дворе первого консула... Министр выбрал место и для старшего агента, в конце каштановой аллеи. Здесь на празднике в честь Верховного Существа стояла статуя атеизма. Фуше вдруг увидел перед собой пышно разукрашенную трибуну, стотысячную толпу людей, огромный костер. Нескладная неестественная фигура, с неестественно поднятой пудреной головой, спустилась с факелом по ступенькам, неестественно согнулась и неестественным жестом подожгла чучело, изображавшее Атеизм. Это воспоминание доставило еще больше удовольствия Фуше. Он всегда терпеть не мог Робеспьера и своей ролью в перевороте Девятого Термидора всю жизнь гордился чрезвычайно, как самым удачным и искусным из всех своих удачных и искусных дел.

Фуше в 1793 году, в разгар революционного террора, проповедовал крайние коммунистические взгляды. Он утверждал, что республиканцу для добродетельной жизни достаточно куска хлеба, и усердно отбирал у владельцев «золотые и серебряные сосуды, в которых короли и богачи пили кровь, пот и слезы народа». Умер же он одним из богатейших людей Франции, самым крупным ее помещиком. Фуше осыпал проклятьями аристократов и всячески их преследовал. Однако принял от Наполеона сначала графский, а потом герцогский титул. В Конвенте он подал голос за казнь короля Людовика XVI и даже удивлялся, как можно голосовать против казни тирана Капета. Но после падения империи тотчас пристроился на службу к Бурбонам. В бытность свою полномочным комиссаром в Лионе он сотнями расстреливал ни в чем не повинных людей за то, что они, по его мнению, были недостаточно революционны. Несколькими же годами позднее, в качестве министра полиции, он строжайше преследовал всех тех, кто проявлял какую бы то ни было революционность. Были — в частности, в эпоху революции — исторические

деятели, совершившие еще больше злодеяний, чем Фуше. Но, в отличие от них, у него никаких страстей не было. Все то, что он делал, он делал исключительно по соображениям простого, ничем не омраченного расчета. В пору террора для карьеры надо было сотнями казнить людей и произносить при этом пышные революционные фразы. Фуше это и делал, хотя по природе нисколько не был жесток и никогда не любил риторики. Те неслыханные гнусности, которые Фуше совершал в лионских церквах, тоже вызывались отнюдь не желанием надругаться над чувствами верующих. Никакой жажды издевательства в его характере не было, и верующих людей он нисколько не презирал и не ненавидел: при старом строе он долгие годы преподавал науки в духовном училище, поддерживал самые лучшие отношения с монахами и как раз перед революцией сам собирался принять монашество (педагогическую карьеру легче было сделать монаху). Но в 1793 году надругательства над верой входили в программу той революционной группы, с которой Фуше считал выгодным связать свою политическую карьеру. Он поэтому с полной готовностью осквернял лионские церкви. Еще несколько позднее, с появлением генерала Бонапарта, проницательным людям стало ясно, что революции приходит конец. В то же самое время революция кончилась и для Фуше. Все выгоды от нее были им получены. Теперь надлежало твердо, навсегда закрепить их за собою — Фуше стал консерватором в самом точном смысле этого слова.

Он охотно принимал почести, которыми осыпали его сначала Наполеон, а затем Людовик XVIII. Но свой герцогский титул Фуше ценил не очень высоко: слишком много герцогов взошло на эшафот на его глазах и при его близком участии. Титул был пустой звук. Настоящей и несомненной реальностью были деньги. Фуше жадно собирал их где только мог: и со своих жертв, и со своего герцогства. Часть золотых и серебряных сосудов, в которых короли и богачи пили кровь, пот и слезы народа, он откладывал себе на черный день. Впоследствии одни игорные дома ежедневно платили ему в виде взятки три тысячи франков. Настоящей любовью Фуше любил и свое полицейское дело. Здесь он чувствовал себя несравненным знатоком и мечтал о том, чтобы поднять технику розыска до высоты точных наук. И наконец, почти так же, как деньги и полицию, он любил свою чудовищно уродливую жену. Это была тихая, верная, подлинная привязанность до гроба, свойственная многим негодяям, историческим

и не историческим. Горько оплакав умершую жену, он женился снова, уже стариком, без любви, на молодой девушке, принадлежавшей к одной из самых знатных фамилий Франции. Родня невесты старого Фуше погибла на эшафоте в пору террора, в организации которого он играл такую страшную роль. Свидетелем же на свадьбе министра полиции был король Людовик XVIII, родной брат казненного тирана Капета. Фуше умер естественной смертью, должно оплаканный и с почестью похороненный. Перед кончиной он успел сжечь свои бумаги — летопись самых ужасных, самых грязных драм революции. В его характере не было ничего дьявольского, демонического, того, что мы обычно предполагаем в знаменитых шефах полиции. Он просто был негодяй, но негодяй в совершенно чистом, свободном от всяких примесей виде. Люди, подобные ему, редко добираются в революционное время до последних вершин власти. Но бельэтаж всех революций неизменно населен ими, и от них революции получают свой гнусный и отвратительный облик.

Фуше допил кофе, взглянул на часы, положил на стол монету и поднялся. Хозяин и лакей, испуганно кланяясь, выбежали на террасу. Старичок заерзал в углу, выглянув с жадным любопытством из-за газеты. Сыщики торопливо направились за министром. «Непременно разработать инструкцию»,— с раздражением подумал он.

Министр полиции считал себя обязанным в день покушения на первого консула еще раз проверить лично все охранные посты Тюльерийского сада и дворца. В этот вечер 18-го вандемиэра в оперном театре заговорщики должны были заколоть кинжалами генерала Бонапарта.

Большой опасности первый консул, впрочем, не подвергался: самые решительные из убийц были тайными агентами министра полиции. Однако заговор выдумкой не был. Фуше держался мнения, что полиция не должна выдумывать покушения да и не имеет в этом надобности: в тревожное время всегда найдутся такие политические дела, которые могут быть поданы как заговоры. Роль же полиции, по мыслям Фуше, должна была заключаться в том, чтобы руководить такими делами и давать им ход, отвечавший видам правительства или ее собственным видам. Так и теперь, заговор, конечно, был, но его, собственно, и не было. Все зависело от полиции. Несколько старых республиканцев, Демервиль, Арена, Черакки («Les vieilles barbes de la Révo-

lution» [1], как они сами себя называли с любовью и к себе, и к Революции), действительно предполагали, что следовало бы убить первого консула, захватившего всю власть в государстве. Это их желание было хорошо известно и Фуше, и самому первому консулу. Главный заговорщик, капитан Гарель, состоял на службе у охраны и ежедневно по вечерам представлял ей доклад о развитии заговора. Но заговор развивался плохо. У его руководителей не было ни людей, ни денег, ни оружия. И министр полиции вынужден был им доставлять и оружие, и людей, и деньги.

Фуше делал это очень неохотно. Он считал этот заговор несвоевременным, не отвечающим ни интересам государства, ни его личным интересам. По мнению министра полиции, гораздо нужнее и полезнее мог бы быть теперь заговор роялистов. У него был и такой: среди роялистов Фуше тоже знал людей, которые считали, что хорошо было бы убить первого консула. Они вдобавок, в отличие от якобинцев, имели и деньги, и оружие, так как за ними была секретная английская агентура. Но заговор роялистов еще не созрел. Между тем якобинский заговор, к большому огорчению Фуше, уже самостоятельно раскрыла собственная полиция главы государства. Личный секретарь первого консула был на службе у Фуше и за двадцать пять тысяч в месяц сообщал ему о каждом слове Бонапарта. Сообщения эти были чрезвычайно неприятны. Фуше с неудовольствием узнавал, что первый консул считает его обманщиком и негодяем, правда незаменимым на должности министра полиции. Узнал он также, что над ним, как над бывшим террористом, тяготеет смутное подозрение в сообщничестве с заговорщиками-якобинцами. Подозрение это было лишено основания: Фуше и думать забыл о своем революционном прошлом.

Убийцы уже были выбраны министром полиции из самых лучших сыщиков и, под видом отчаянных якобинцев, предоставлены в распоряжение заговорщиков. Министру был известен каждый шаг руководителей заговора. Одного из них, Демервиля, в этот день должен был навестить его старый приятель Бертран Барер [2], прежде зна-

---

[1] «Старикашки Революции» *(франц.)*.

[2] Роль Барера в этом малоисследованном историками деле чрезвычайно подозрительна. И показания Демервиля, и смущенный рассказ самого Барера, и так называемые записки Фуше, и архивные документы, относящиеся к заговору Арена (Archives Nationales, F[7] 6267, 1235, 3702, AD[1] 115), дают право утверждать, что знаменитый революционер был в этом деле агентом министра полиции.— *Автор*

менитый оратор Конвента, а теперь мелкий агент на службе консульского правительства. Но донесения Барера можно было ждать не ранее трех часов дня. В это утро министр хотел лишь условиться с генералом Бонапартом о подробностях покушения в опере.

Фуше свернул с главной аллеи и по узенькой дорожке, мимо ласкавших глаз кустов, выстриженных кубами, направился к Национальному дворцу. Сыщики отстали от министра. Пост наружной полиции оказался в исправности. Часовые везде были на местах. Фуше отдернул тяжелую зеленую портьеру и вошел в памятную ему залу, где когда-то помещался Конвент. Там было темно и пусто. Воздух стоял тяжелый. Пахло краской. Генерал Бонапарт, переехав в Национальный дворец, велел отовсюду убрать то, что он называл «Les saloperies» [1]. Под потолком над трибуной рабочие соскребывали со стены Марата. Маляр закрашивал революционную надпись, лениво водя кистью по первым буквам слова «Fraternité» [2].

«Да, как будто от этого всего ничего не осталось», — равнодушно подумал Фуше. По складу его ума ему могло быть лишь приятно сознание, что сотни тысяч людей погибли так, без всякого результата, ни для чего. Но министр полиции не любил общих вопросов. Он имел дело с людьми, а об идеях, стоявших за ними, думал мало, как не очень следил за модами на платье: и моды, и идеи постоянно менялись. Генерал Бонапарт мог себя считать продолжателем дела революции — Фуше это казалось искренней, а потому очень забавной причудой.

Министр долго ходил взад и вперед по еще темным залам дворца, часто останавливаясь у дверей, у окон. Фуше соображал, как он сам поступил бы, если б был заговорщиком и желал убить первого консула. Это был его обычный способ работы. На полчаса министр полиции перевоплотился мысленно в заговорщика. Он видел, что наружные караулы достаточно сильны. Дозоры часто обходили дворец. Несмотря на свою неприязнь к консульской агентуре, Фуше с беспристрастием знатока отдал должное постановке дела охраны. Это еще не было научно поставленной полицией. Но для дилетанта, каким мог считаться в полицейском деле генерал Бонапарт, охрана была поставлена недурно. Открытое нападение на дворец днем министр признал почти невозможным. Очень трудно

---

[1] «Гадость, мерзость» *(франц.)*.
[2] «Братство» *(франц.)*.

было и хитростью проникнуть ночью в покои первого консула. Тяжелые двери запирались наглухо. В комнате перед внутренними покоями спал адъютант, человек неподкупный, и только по его указанию открывал дверь мамелюк, дежуривший в передней внутренних покоев. За передней находилась спальная первого консула. Генерал Бонапарт на ночь в ней запирался и впускал в спальную лишь тех, чей голос был ему известен. «Да, трудно, очень трудно»,— сосредоточенно думал Фуше. Больше надежд можно было возлагать на отраву. Но и кухня первого консула, и вина, и миндальное тесто, которым он пользовался при мытье, и смесь водки с водою, служившая ему для полосканья рта,— все находилось под строгим наблюдением. Только на смотру или в театре и можно было убить первого консула. Однако и это было далеко не просто. Генерала Бонапарта везде окружали телохранители.

Фуше не без сожаления закончил опыт перевоплощения, чувствуя (как иногда с ним бывало), что мысли его несколько смешались. Перевоплощенье как бы становилось действительностью. Могло быть интересно покончить с заговорщиками. Но могло быть также интересно покончить и с первым консулом. В уме Фуше шевелились различные, очень сложные комбинации, иногда казавшиеся ему фантастическими. «Что такое фантастические?.. Для всего свое время»,— думал он, слегка кривя бледные, бескровные губы и нервно оглядываясь по сторонам. Он находился в комнатах, где при Робеспьере помещался Комитет Общественного Спасения. До революции здесь жила королева Мария-Антуанетта. «Да, конечно, что такое фантастические?» — спросил себя министр полиции, торопливо уходя из этих комнат.

В ранний час в большой приемной еще никого не было. Фуше попросил адъютанта разбудить первого консула. «Важное дело... Чрезвычайно важное!» — сказал он значительным тоном. О покушении должен был на следующее утро заговорить весь Париж, и Фуше считал полезным запечатлеть в умах парижан волнующую подробность: то, что министр полиции счел нужным разбудить главу государства. Но, к неприятному удивлению Фуше (все неожиданное бывало ему неприятно), оказалось, что генерал Бонапарт не спал.

Адъютант пошел докладывать о приходе министра. Фуше неторопливо прохаживался по полутемной комнате, обдумывая подробности предстоявшего разговора. «Ему нужен удар по якобинцам. Вероятно, он хочет запутать

в это дело Массену, Карно... Может быть, и меня... Посмотрим... Робеспьер сказал когда-то: «Через две недели Фуше взойдет на эшафот». Это было как раз за две недели до Девятого Термидора... На эшафот взошел не я... Чего только не бывает!.. Талейран считает возможным возвращение Бурбонов...»

Министр полиции беспокойно задумался, вспоминая, что в Конвенте подал голос за казнь Людовика XVI. «Бурбоны опять здесь, в этом дворце, после того, что было!.. Возврат к прошлому немыслим»,— повторил Фуше без большой уверенности то, что говорили все.

Лакей в зеленой расшитой золотом ливрее вошел в приемную, почтительно поклонился министру и зажег свечи люстры. Фуше рассеянно поднял голову. На потолке был изображен Лебреном Людовик XIV. В пору Конвента к голове короля примазали трехцветную кокарду. Первый консул, поселившись в этих покоях, приказал ее закрасить. Но, как ни старались художники, кокарда просвечивала сквозь закраску. Фуше с беспокойством глядел на потолок. «Нет, возврат к прошлому немыслим»,— тревожно думал министр полиции.

II

Аудиенция министра иностранных дел была назначена на девять часов утра. В приемной первого консула уже было довольно много людей. Талейран, прихрамывая, неторопливо вошел в приемную и раскланялся по-старинному. Его тотчас обступили придворные. Неопытные люди желали выведать у министра новости. Опытные хорошо знали, что он ничего не скажет, или если скажет, то непременно неправду. Но разговаривать с ним было чрезвычайно приятно, и всегда можно было чему-либо научиться. Как человек старого строя, как аристократ и потомок князей, Талейран, помимо своего личного престижа, пользовался особым обаянием среди придворных первого консула. Они вместе с его шутками — les mots de l'evéque d'Autun [1] — перенимали поклоны, обращение, тон разговора старого двора. Одет Талейран был тоже по-старинному, и его французский кафтан выделялся среди военных мундиров и модных иностранных костюмов новой знати. Несмотря на национальное направление революции, моды в Париже были исключительно иноземные: мужчины носили немецкие фраки,

[1] Остроты епископа Отенского *(франц.)*.

английские жилеты, итальянские шляпы, русские сапоги à la Souwaroff.

Лакей пододвинул кресло министру иностранных дел. Талейран учтиво его поблагодарил — это удивило новых придворных: они были убеждены, что при старом дворе с лакеями обращались грубо,— сами они дурно обращались с прислугой именно из желания подражать старому двору. Талейран уселся у окна, вытянув больную ногу.

Он значительную часть ночи провел за игрой, проиграл довольно много и выпил за ужином полбутылки редчайшей белой мадеры vino de rodo, пространствовавшей тридцать лет по морю. Были красивые женщины, хоть и не столь красивые, как те, которых он знал в молодости. Было довольно весело, но не так весело, как в ту пору, когда он, при старом дворе, задавал тон молодежи. После ухода гостей Талейран медленной тяжелой походкой, волоча ногу, удалился в свою роскошную спальную, занялся ночным туалетом, затем, намазанный, надушенный, в белом атласном колпаке, устало опустился в огромную постель с балдахином и оперся на высокую пирамиду подушек (он спал не лежа, а сидя). В постели бывший епископ Отенский долго читал своего любимого Вольтера, улыбаясь, как старым друзьям, давно знакомым мыслям. Это были мысли его времени. Талейран, ближайший участник Революции, настоящей жизнью считал только ту, которая была перед бурей и теперь миновала безвозвратно. Бывший епископ Отенский всех знал и ничего больше не делил в этой томительной, порочной, исполненной очарованья жизни. Вольтер и Мирабо в его воспоминании сливались как люди старого строя с Людовиком XVI, с Марией-Антуанеттой. Одни медленно подтачивали, другие слабо сопротивлялись. Свеча затрещала в тяжелом низком канделябре. Утомленный чтеньем, Талейран положил, наконец, на столик книгу в сафьянном переплете с гербами, погасил огонь и долго еще в темноте с улыбкой вспоминал эту разрушенную ими жизнь. Он заснул в пятом часу. Ему было достаточно четырех часов сна в сутки. Но чувствовал он себя всегда немного утомленным. Устало-учтивый вид и придавал Талейрану ту особенную distinction [1], секрет которой, по общему отзыву, был с Революцией потерян во Франции.

— Vous allez donc en berline au palais, citoyen minist-

[1] Тонкость, изысканность *(франц.)*.

re? [1] — сказал придворный, стоявший у окна.— Moi, je vais me promener en calèche, au spectacle en berline, chez ma femme en dormeuse, chez ma maitresse en demi-fortune... [2]

Он с улыбкой взглянул на Талейрана.

— Mes compliments pour vos chevaux... Ils ont dû vous coûter gros? [3]

— Pas le Pèrou, citoyen [4],— кратко сказал Талейран, подделываясь под слог собеседника. Он разговаривал с новыми людьми, как с торговками.

В эту минуту его позвали в кабинет первого консула. В дверях он столкнулся с выходившим Фуше и холодно с ним раскланялся. Они терпеть не могли друг друга. Фуше кто-то прозвал «Талейраном сволочи», и это было неприятно Талейрану, который сам, в глубине души, с отвращением чувствовал некоторое сходство между собой и министром полиции. Он был скептик, и Фуше, вероятно, был скептик. Он был циник, и Фуше также был циник. Правда, Фуше ничего не понимал ни в вине, ни в женщинах, ни в Вольтере, а по манерам, по языку ничем не отличался от сапожника. Но это сходства не уничтожало. Не уничтожало сходства даже то, что Талейран не был никогда революционным комиссаром и не расстреливал сотнями людей. Вид Фуше всегда был неприятен министру иностранных дел. «Забежал вперед,— подумал Талейран.— Конечно, по делу этого заговора...»

Генерал Бонапарт сидел перед письменным столом в кресле, спиной к огромному камину, в котором горел огонь. Ковер перед креслом был усеян газетами, книгами, письмами. Первый консул был одет и выбрит, несмотря на ранний час. «Неужели опять не ложился?» — подумал Талейран с удивлением. Бонапарт холодно ответил на поклон министра, не вставая и не подавая руки. Талейран знал, что первый консул старается больше не подавать руки никому, и в душе одобрял это, как все означавшее постепенный переход к тем порядкам, которые были в других странах. Но ему было немного смешно. Людовик XVI, Мария-Антуанетта в свое время подавали ему

---

[1] Вы ездите во дворец в берлине [род экипажа], гражданин министр? *(франц.)*

[2] А я на прогулку выезжаю в коляске, в театр — в берлине, к жене — в дормезе, к любовнице — в деми-фортюне... [род экипажа] *(франц.)*.

[3] Поздравляю вас с такими лошадьми... Должно быть, они дорого вам обошлись? *(франц.)*

[4] Не Перу, гражданин *(франц.)*. (Талейран имеет в виду богатейшие перуанские серебряные рудники.)

руку. Он бывал запросто в этом старом королевском дворце в ту пору, когда лейтенанту Бонапарту не могло бы прийти в голову показаться сюда и на порог.

Талейран не торопился начать разговор. У него не было на этот раз особенно важных дел. Он надеялся, что первый консул сам заговорит с ним о раскрытом покушении. Но Бонапарт ничего не сказал. Лицо генерала было неподвижно. «Этот не расчувствуется,— подумал Талейран.— А все-таки неприятная у него жизнь: работа, заговоры, покушения...»

Генерал Бонапарт действительно провел за работой почти всю ночь. Поздно вечером, продиктовав множество длинных писем, он отпустил измученного секретаря и велел подать в кабинет обычный ужин: цыпленка, мороженое, полбутылки шамбертена. Поужинав, он разделся и сел в ванну, которая находилась недалеко от кабинета, в бывшей капелле королевы Анны Австрийской. Вода была настолько горяча, что в комнате от паров ничего не было видно. Подремав в ванне часа два, Бонапарт оделся, снова сел за письменный стол и провел за ним весь остаток ночи, быстро переходя от одного дела к другому. Просмотрел доклады административных комиссий, полицейскую сводку за день, пробежал новый памфлет «La France f....e» [1], только что доставленный ему из подпольной типографии, где его под величайшим секретом печатали роялисты, раскритиковал последние донесения министров, сократил какую-то статью расхода в дворцовом ведомстве и только под утро перешел к своему любимому делу, к войне: прочел очередные отчеты штабов и занялся разработкой одного из трех планов кампаний, которые в то время его занимали.

Утром ему доложили о приходе Фуше, и Бонапарт с неудовольствием вспомнил, что в этот день его должны заколоть в оперном театре на первом представлении «Горациев». Эта мысль была ему неприятна и сама по себе, и еще по тем тяжелым вопросам, которые она поднимала: о связи его дела с делом французской революции, о поставленной им цели, о необходимых услугах негодяев и о казнях порядочных людей.

Он знал, что люди, которых вечером должны были схватить в театре и затем, после принятых формальностей суда, отправить на эшафот, хотели убить его по самым бескорыстным побуждениям. Генерал Бонапарт считал этих людей безнадежными дураками, но отдавал должное

[1] «Франция в дерьме» (*франц*.).

их убежденности и мужеству. По-своему они были правы: для них он был тиран. Он понимал, что заговорщики эти, желавшие вернуть правительственные порядки Конвента, в случае успеха непременно привели бы Францию к гибели. Логическое рассуждение, касавшееся их дела и участи, было очень простое. Первый консул не любил казней, но не верил в страх, внушаемый тюрьмою в тревожное революционное время, когда люди из тюрем то и дело переходят во дворцы, а из дворцов в тюрьмы. Он говорил себе, что бессмысленно отправлять на смерть за родину десятки тысяч солдат и бояться крови, пролитой на эшафоте. Все дело и здесь было в мере. Та обстановка полицейской провокации, в которой шел этот нелепый заговор, усугубляла отвратительность дела, но не меняла его существа. Генерал Бонапарт давно, с первой молодости, совпавшей с временем террора, пришел к твердому убеждению, что правителям должно гораздо чаще обращаться к худым, чем к добрым людским побуждениям. Он мог, конечно, отойти в сторону, оставив истории не очень большое, но хорошее и трогательное имя; мог погибнуть — глупо ли, как Дантон, или красиво, как генерал Жубер. Первый консул не собирался ни погибать, ни уходить в сторону. К власти, нужной ему для всего дела его жизни, не было бескровного пути. И в цепи логического рассуждения генерала Бонапарта одно звено неразрывно связалось с гибелью тех людей, которые, с ведома и с благословения полиции, собирались заколоть его в театре на представлении оперы «Горации».

...— Мы в Петербурге дадим бой Англии, Талейран.

Первый консул произносил «Тайеран», и это всегда раздражало министра.

— Разумеется, генерал. Но не могу от вас скрыть: строить серьезные расчеты на Россию трудно. Положение в Петербурге становится все более тревожным. Мои агенты доносят, что русская аристократия стоит за союз с Англией. Мальтийские штучки императора Павла надоели. Число недовольных растет, и можно каждую минуту ожидать переворота.

— Да, я знаю,— с неудовольствием сказал первый консул.

— Один из наших петербургских агентов, лично вам известный,— подчеркнул Талейран,— просит меня обратить особенное ваше внимание на грозящую опасность. Он

не без основания указывает, что Англия чрезвычайно заинтересована в кончине русского императора. А люди, в кончине которых заинтересована Англия, часто бывают недолговечны,— с особенным выражением в голосе сказал Талейран.

— Какой это агент? — спросил первый консул.

— Его имя — или псевдоним — Пьер Ламор.

— Ах, да... Тоскливый и злой старик... Это не человек, а моль. Терпеть не могу скептиков.

— Умный человек, генерал. С его мнением считаться не мешает.

— Вы сказали: псевдоним. Кто же он, собственно, такой? Я толком никогда не знал.

— И я, генерал, знаю немногим больше вашего, хоть знаком с ним очень давно да и пытался наводить справки. Это таинственный человек, с немалым, но плохо выясненным прошлым. На вторых ролях часто суетятся такие никому не ведомые, странные люди... Если не ошибаюсь, он выкрест из евреев. Знаю также, что он занимает видное положение в масонских организациях,— вскользь добавил министр с точно такой же усмешкой, с какой говорил о мальтийских штучках императора Павла. Талейрану было известно, что первый консул франкмасон. Это составляло для министра загадку, как, впрочем, многое в главе государства. Бывший епископ Отенский считал первого консула гениальным, но несколько сумасшедшим человеком. Конечно, генерал Бонапарт был неизмеримо талантливее всех европейских монархов, вместе взятых. Однако королевский строй представлялся Талейрану более прочным и надежным, чем консульский. Он думал, что во Франции должны быть приблизительно такие же порядки, как в других европейских странах. Одно из общих правил житейской мудрости Талейран видел именно в том, чтоб «быть, как все».

— Будем продолжать в Петербурге прежнюю политику,— сказал первый консул.— Кажется, все? Иначе торопитесь: меня сегодня убивают в опере.

— Я непременно приду посмотреть, генерал,— сказал, кланяясь с улыбкой, Талейран.

— Хороши эти господа! Кого же они посадили бы на мое место?

— Можно было бы избрать новый Конвент,— сказал Талейран.— Разумеется, с Комитетом Общественного Спасения. Барер будет председателем.

— Можно, конечно. Можно и просто выписать каторжников из Кайенны... Нет, тут не должно быть снисхождения,— с силой сказал Бонапарт, как бы отвечая себе самому. Он взял со стола перочинный нож и стал строгать им ручку кресла.

— Ни в каком случае, генерал,— подтвердил Талейран. Презрение промелькнуло на лице первого консула. Талейрану вдруг стало ясно, что он был для Бонапарта тем же, чем для него самого был Фуше. Эта мысль на мгновенье смутила бывшего епископа Отенского. «Да, конечно, все политические деятели, кроме очень глупых, в чем-то похожи друг на друга. Однако есть многое, кроме этого что-то...»

— Говорят, вы очень разбогатели, Талейран? — вдруг спросил первый консул.— Я слышал, вы играете на бирже.

— Я купил государственные бумаги накануне 18-го брюмера,— с холодной усмешкой ответил министр.

— Надеюсь, вы не разоритесь и впредь... Фуше тоже богатеет с каждым днем... Правда, ведь и вы, подобно Фуше, считаете полезным иногда устраивать заговоры? Эшафот и амнистия одинаково развлекают парижан?

Первый консул с силой ударил ножом по ручке кресла и бросил нож на стол.

— Нет, генерал. Я, как и вы, небольшой охотник до эшафота. Но мы живем в трудное время. От своего мнения я не отказываюсь: говорите неизменно о свободе, но правьте при помощи штыков.

— Это мнение я слышал и от того старика, вашего агента.

— Мы с ним действительно кое в чем сходимся. Ведь правда, если вас убьют,— сказал Талейран равнодушно,— некого будет посадить на ваше место.

Они молчали с минуту.

— Будьте совершенно спокойны,— с насмешкой проговорил наконец первый консул.— Меня не убьют ни сегодня, ни завтра. Пусть Бурбоны, которых вы так любите, подождут еще немного.

Он открыл ящик стола, порылся в бумагах и вынул два листка.

— Так называемый Людовик XVIII предлагает мне посадить его на престол и обещает щедрую награду. Роялисты мне советуют уступить Францию Бурбонам, а самому стать корсиканским королем.

Он засмеялся. Талейран молчал.

— Не знаю, показывал ли я вам свой ответ. Слушайте.

Он прочел по бумажке:

— «J'ai reçu, Monsieur, votre lettre, je vous remercie des choses honnêtes que vous m'y dites.

Vous ne devez pas souhaiter votre retour en France; il vous faudrait marcher sur 100.000 cadavres.

Sacrifiez votre intérêt au repos et au bonheur de la France... L'histoire vous en tiendra compte.

Je ne suis pas insensible aux malheurs de votre famille... Je contribuerai avec plaisir à la douceur et à la tranquillité de votre retraite» [1].

— Очень хорошо,— сказал Талейран.— Особенно про сто тысяч трупов... Вы так бережете чужую жизнь, генерал. Берегите же и вашу собственную.

— Постараюсь. Хоть в моей скоропостижной смерти тоже очень заинтересована Англия. Но на этом кончается мое сходство с императором Павлом.

Они еще помолчали.

— Да, да, непременно продолжайте ту же политику,— сухо сказал первый консул.— Я ничего другого так не желаю, как союза с Россией. Смерть Павла I была бы несчастьем для Европы. Пусть ваши агенты делают все для того, чтобы наладить прямые переговоры с петербургским двором.

— Боюсь, что из переговоров не будет толка. Император Павел все занят мыслью о завоевании Индии.

— Это не такая плохая мысль.

Талейран посмотрел вопросительно на первого консула. «Вот оно, безумие»,— сказал он себе.

— Я тоже разрабатываю план похода на Индию в союзе с русскими войсками. Впрочем, вам всего этого не понять.

«Как жаль, однако, что этот великий человек так плохо воспитан»,— подумал Талейран.

— Я человек штатский, вам, конечно, виднее, генерал,— произнес он с улыбкой.

---

[1] «Я получил, сударь, Ваше письмо и благодарю Вас за добрые слова, слова, которые Вы мне сказали.

Вы не должны желать своего возвращения во Францию; для этого Вам пришлось бы пройти по ста тысячам трупов.

Пожертвуйте своей выгодой, Вашими интересами ради покоя и благополучия Франции... История примет это во внимание.

Я не равнодушен к несчастьям Вашей семьи... Я с радостью сделаю все, от себя зависящее, чтобы Ваше пребывание в Вашем убежище [на покое?] было возможно более приятным и мирным *(франц.)*.

III

Камиллу, желавшую выйти замуж за Куриация, мучили мрачные предчувствия. Мрачные предчувствия мучили и мадемуазель Майар, создававшую роль Камиллы в новой опере Порта. Старая певица старалась изо всех сил: не отрывая ног от пола, зажав парик обеими руками, она скользила, шатаясь, по всему храму Эгерии и высокие ноты тянула так отчаянно долго, что хотелось перевести за нее дыхание. Но публика слушала ее плохо и смотрела не на сцену, а на большую, украшенную золотым орлом, ложу, в которой в начале действия появился генерал Бонапарт.

Одновременно с ним в первый ряд кресел торопливо прошел, оглядываясь по сторонам, министр полиции. Он сел, наладил бинокль и, повернувшись вполоборота, стал рассматривать освещенный зрительный зал. Фуше кивнул несколько раз головой, быстро перевел бинокль на задние ряды кресел, по-видимому кого-то разыскал и удовлетворенно повернулся лицом к сцене Эгерия как раз предсказала, что Камилла в этот самый день выйдет замуж за Куриация. Появился и сам Куриаций и, протянув руки к ложе первого консула, пропел: «Chère Camille, enfin je puis revoir vos charmes...» [1]

Генерал Бонапарт, в зеленом мундире, с кривой турецкой саблей, рукоятка которой, осыпанная брильянтами, была видна поверх красного бархата барьера, сидел в ложе боком, несколько впереди секретаря и адъютанта. Дамы не отрывали глаз от его мраморно-бледного лица. Он, казалось, не смотрел ни на зал, ни на сцену и нервно разглаживал средним пальцем руки заложенный угол лежавшей на барьере афиши. Зато люди, находившиеся позади него, были очень озабочены. Они все время переговаривались шепотом. Секретарь Бурьен, войдя, старательно запер за собою дверь ложи. Молодой генерал Дюрок отстегнул шпагу и поставил ее между колен, попробовав, вынимается ли свободно клинок.

Старик Гораций, не сводя глаз с первого консула, благословил дочь и отдал ее за Куриация. Занавес опустился. Послышались аплодисменты. В зале началось движение, хотя антракт должен был продолжаться лишь очень недолго: за первым действием непосредственно следовала интермедия.

---

[1] «Дорогая Камилла, наконец-то я могу снова видеть ваши прелести...» *(франц.)*

Министр полиции встал, оглянулся и вдруг, мимо соседей, испуганно поджимавших ноги под стулья, быстро направился к выходу. Все торопливо перед ним сторонились. Фуше встретился глазами с первым консулом и чуть заметным движением головы показал ему на колонну в проходе. У колонны этой, недалеко от ложи, украшенной золотым орлом, появился плохо одетый, бледный брюнет. Он прислонился к колонне и заложил руку за пазуху, не сводя глаз с генерала Бонапарта.

Первый консул повернул голову, на мгновенье впился глазами в человека у колонны и тотчас перевел взгляд на министра. Фуше, не замедляя хода, едва заметно кивнул утвердительно. Бонапарт слегка пожал плечами. В ложе, взявшись рукой за шпагу, поднялся генерал Дюрок.

Бледный человек поспешно вышел из залы в коридор и, по-прежнему держа руку за пазухой, по покатому боковому кулуару направился с решительным видом к ложе первого консула. Ему навстречу неторопливо шел очень изысканно одетый господин, весь погруженный в чтение программы спектакля. Бледный человек посторонился, но и господин, читавший программу, как раз посторонился тоже, так что они столкнулись.

— Mille pardons, citoyen [1],— проговорил нарядный господин и вдруг схватил брюнета за обе руки выше кистей. В ту же секунду на брюнета из-за угла бросились еще какие-то люди. За ними в коридоре мелькнула фигура министра полиции. Бледного человека потащили к выходу.

— Готово! — сказал вполголоса Фуше. Хотя он не одобрял всего этого дела, блестящая техника доставила ему удовольствие как специалисту.

Занавес взвился. Вокруг алтаря Юпитера Капитолийского толпился римский народ, воины, сенаторы. Оркестр играл торжественный марш, под звуки которого на сцену входили жрецы. В зрительном зале запоздавшая публика занимала места. Не обращая внимания на возобновившийся спектакль, министр полиции подошел к ложе первого консула. Встревоженное выражение лица Фуше ясно показывало, что случилось нечто весьма важное. На сцене первосвященник пел:

Faibles jouets des destinées,
Que pouvons nous sans son secours?..[2]

Генерал Бонапарт, хмурясь, перегнулся через барьер ложи. Министр, с озабоченным, очень серьезным лицом,

[1] Тысяча извинений, гражданин *(франц.)*.
[2] Мы в руках ее, как в клетке,—
Кто решится ей мешать...

заговорил вполголоса, кивая головой и разводя руками. На них во все глаза смотрели и публика, и римский сенат, и жрецы, медленно ходившие на сцене под звуки марша.

— Убийцы схвачены, генерал,— проникновенным тоном, довольно громко, как бы не в силах сдержаться, сказал Фуше. На лицах людей, повернувшихся в креслах близ ложи первого консула, изобразилось крайнее волнение.

C'est lui seul qui de nos années
Arrête et prolonge le cours [1],—

растерянно пел первосвященник.

---

[1] Мы в руках ее, как в клетке,—
Жизнь ли, смерть ли — ей решать.

Перевод с французского Е. Витковского.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

I

В первые же дни по возвращении в столицу Штааль выполнил долг — съездил на кладбище, на котором уже несколько месяцев лежал князь Суворов. Штааль выехал из Петербурга незадолго до кончины фельдмаршала. Известие о ней дошло до него на юге. Он чрезвычайно гордился Суворовым, однако к его скорби примешалось и раздражение от того, что Иванчук при получении этого известия сделал попытку схватиться за сердце.

Петербург неласково встретил Штааля. Задержавшись в Одессе, он вернулся лишь поздней осенью. К столице он подъезжал с неясными, смешанными чувствами. Глушь ему надоела. Все его интересы были связаны с Петербургом. Штаалю и жалко было свободы, и хотелось поскорее приступить к делу,— он сам точно не знал, к какому. Почему-то он многого ждал от предстоявшей зимы. «Пора, пора»,— с волнением говорил он себе, имея в виду выход в люди, о котором он мечтал так давно и бесплодно. Хотелось ему повидать и госпожу Шевалье, хоть он знал в глубине души, что было немало выдуманного и в этой его страсти.

У заставы дожидалось очереди много всевозможных возков и колясок. В них с унылым, покорным и измученным видом сидели всякие люди, военные и штатские. Стражи было гораздо больше, чем весною. Ждать пришлось долго. Сердитый пристав подозрительно и грубо расспрашивал Штааля о том, зачем он уезжал и зачем вернулся. Собственно, это было видно из предъявленной Штаалем бумаги. Но выражение лица пристава явно показывало, что бумаги могут быть у каждого и ровно ничего не значат,— а вот не угодно ли на словах все объяснить умному человеку. Штааль хотел было даже вломиться

в амбицию, однако не вломился и, затаив злобу, послушно дал объяснения. Пристав выслушал их недоверчиво, как бы говоря: «Так-то оно так, а, может, ты и врешь». Однако велел пропустить.

Петербургский ямщик, взятый на последнем перегоне, вполголоса, сочувственным тоном объяснял Штаалю по дороге, что очень трудно стало жить: пошли еще новые порядки. С вечера на перекрестках выставляют заставы, и всех, кто без пропуска выйдет на улицу, хватают и везут в часть, а то и в Тайную экспедицию (трудное слово «экспедиция» ямщик выговорил совершенно правильно — видно было, что он часто и слышал его, и произносил). Штааль слушал с тревожным изумлением. «Что же это такое? Что с ним делается? — спрашивал он себя, разумея императора.— Или все заговора боится? Ну и слава Богу, ежели не врали люди, будто есть заговор...» Коляска наконец застучала по мостовой, выехав на главные улицы. Оживления на них было гораздо меньше, чем весною. Немногочисленные прохожие точно торопились куда-то и все озирались с беспокойством по сторонам. Петербург — в дурную осеннюю погоду — произвел тяжелое впечатление на Штааля.

Немного радости ждало его и дома. Хоть он не очень любил свою квартиру и стыдился ее убогой обстановки, Штааль подъехал к дому на Хамовой не без радостного чувства: «Все же свой угол, и мебель своя, и все свое». Дворник, с которым он был в натянутых отношениях, неприветливо отдал ему ключ, не поздравил с приездом, а только сказал многозначительно, что со службы два раза присылали справляться. Из лавки, помещавшейся в том же доме, вышел приказчик и пожаловался на дела: совсем денег нет для оборота (Штааль был должен лавочнику). В квартире с забеленными окнами было темно, грязно и неуютно. Ямщик, кряхтя, внес в квартиру сундук. Штааль с трудом развязал веревки. Вещи были сложены плохо. Самое нужное оказалось внизу. Штааль с досадой повыбрасывал все вещи на стулья, причем опрокинул и разбил лампу. Затем он отправился в баню, оттуда на службу и по знакомым.

Настроение у всех было очень дурное.

Над могилой фельдмаршала была краткая, выразительная надпись: «Здесь лежит Суворов». Штааль расстроенно вспомнил швейцарский поход, бездонные пропасти Альпов, подвиг и смерть князя Мещерского, гибель приятелей, знакомых. «А они еще удивляются, что я вернулся из по-

хода другим человеком. Мудрено было бы проделать это и не стать другим». Ему вспомнился ясно образ старого полководца, проезжавшего над альпийскими пропастями. «Да, все ни к чему, и доблесть, и подвиги, и слава...» Штааль пытался настроить душу на торжественный лад — возвышенные и новые мысли не приходили ему в голову. Он еще постоял — делать у могилы было нечего — и пошел дальше: на том же кладбище лежал Александр Андреевич Безбородко. Штааль без труда отыскал его могилу. В гроте, за медной решеткой, на небольшом возвышении, стояла колонна с бюстом канцлера, окруженная какими-то аллегорическими фигурами. У подножья мавзолея был виден орел с опущенными крыльями и княжеский щит с девизом «Labore et zelo»[1]. Александра Андреевича Штааль знал гораздо лучше, чем Суворова, и любил его иной, более крепкой любовью: не как национальное сокровище, а как близкого, родного человека. Он смотрел на бюст и вдруг, к собственному своему удивлению, прослезился, впервые в жизни почувствовав страх при виде сходства с тем, чего больше не было. Бюст верно схватывал то оторопелое выражение, которое изредка появлялось у Александра Андреевича. Вытирая глаза, Штааль опять подумал, как много видел и унес с собой старик Безбородко,— так он и не успел обо всем его расспросить.

Он посидел с четверть часа у могилы. Думал о том, о чем всегда все одинаково думают над могилами и немедленно забывают, вернувшись с кладбища. Он старался создать такой круг мыслей, при котором не было бы глупой шуткой то, что случилось с князем Безбородко, с Суворовым и со всеми другими лежащими здесь людьми. Этого круга мыслей Штааль не нашел. Тоскливо вспоминались ему какие-то обрывки заученных представлений о загробной жизни, но все это было так смутно и неправдоподобно. К тому же умнейшие люди, разные Вольтеры, Аламберы и Дидероты, ни во что такое не верили и даже как будто научно доказали, что все это пустое суеверие и вздор. «Разумеется, вздор, разумеется, глупая шутка»,— думал Штааль, постепенно радостно озлобляясь, с твердым желанием не поддаться этой глупой шутке. Ему становилось скучно. Мысли были неинтересные — давным-давно, верно, все это передумано,— и сидеть так у могилы без толку в холодную, сырую погоду было неприятно. Штааль взглянул на левые часы (у него их было двое — он теперь

---

[1] «Трудом и ревностью» *(лат.)*.

очень следил за модой) и сказал себе, что спешить все равно некуда, который бы час ни был. Никто нигде его не ждал. «Погулять разве здесь, скоро и меня тут где-нибудь похоронят»,— подумал Штааль. Он был совершенно здоров и очень любил думать о своей *недалекой кончине*. В последнее время он не раз мрачно говорил о ней приятелям и немного раздражался от того, что никто не обращал на его слова никакого внимания. Мысль, что и его здесь где-нибудь скоро похоронят, была, скорее, приятна Штаалю. Он надолго задержался на ней, лениво бродя по огромному кладбищу и представляя себе во всех подробностях, как его будут хоронить и как каждый из знакомых отнесется к известию об его кончине. Штааль понимал, что известие это, собственно, ни на кого не могло произвести потрясающего действия. Но все-таки эффект, связанный в особенности с его молодостью и полным одиночеством — ни жены, ни родных,— был трогательный. Штааль старался угадать, какой именно уголок земли ему отведут, представлял себе обряд похорон — и приятное умиление все больше его охватывало. Затем он попробовал себе представить и день следующий за похоронами. Ему стало очень страшно.

«Экое ребячество,— подумал он.— Или мне всегда будет семнадцать лет? А ведь сейчас говорил, что стал другой человек».

Однако расстаться с приятными и трогательными мыслями было жалко. Устало бродя между могилами Лазаревского кладбища, Штааль продолжал думать о том же, лишь немного изменив тон своих мыслей, придав им и некоторую насмешливость, от которой, впрочем, они становились еще трогательнее. «Да, так где же я буду лежать?» — думал он, осматриваясь кругом. Одно место ему особенно понравилось. «Здесь недурно... Купить разве это место, когда будут лишние деньги?.. А соседи кто? Долго лежать рядом, надо бы познакомиться».

Он нагнулся и прочел эпитафию:

Аз тысяча седьмсот двадцать девять лета
В 28 ноября жителем стал света,
А год месяца седьмсот был сорок четвертый,
13 июля, как вкусил я смерти.
В Голландии живота я тогда лишился,
Когда дел отечеству полезных учился...

Стихи показались ему плохими. Он не пожелал лежать рядом с каким-то мальчишкой, вкусившим смерти более полувека тому назад. Штааль усмехнулся и пошел дальше,

читая по сторонам эпитафии. «Бех — несмь, есте — не будете». «Ну и не будем, что с того? А ты уже «несмь»,— думал он раздраженно о человеке, который позволял себе за гробом над ним издеваться.— И Бог с тобой, бех!.. Нехорошо, впрочем, так думать на кладбище. Обо мне тоже так будут говорить. Ну и пусть говорят. Мне совершенно все одно»,— думал Штааль. Плоские мысли эти казались ему глубокими и смелыми, особенно потому, что он чувствовал сам их неприличие. «Какое там уважение к мертвецам! За что их уважать?..»

Он опять вспомнил fosse commune [1], в которую бросили Робеспьера, стоявший там запах, огромную, блестящую, как металл, муху, ползшую по стеклу в сторожке. Штааль вдруг почувствовал усталость. На траве между могилами стояла пустая тачка. Он подошел к ней и, потрогав рукою, не очень ли грязна, присел на край. «Ну а здесь кто похоронен?» — задал он себе вопрос и стал читать длинную эпитафию. «На сем месте погребена Агафья Иванова дочь, де Ласкаря жена, урожденная Карабузина... — Верно, почтенная бабушка. Спи спокойно, Агафья Иванова дочь.— Монумент, который моя нежность воздвигнула ея достоинству, источнику и свидетелю наигорчайшей моей печали, приводи на память потомкам нашим причину моих слез...— Что ж, приводи, приводи...— Пускай оплакивают купно со мною обитающую здесь добродетельми изящных дней достойную гречанку...— Так она гречанка? Карабузина? Вот тебе раз!..— ...приятную разными живо в ней являющимися качествами, скромную, благотворительную и нежную жену без слабости, к прелестям, к талантам вмещающую в себя и премудрость. О, судьба! вот сколько причин долженствовали тебя умилостивить. Родилась в 1753 году, февраля 4 числа, преставилась в 1772 году...»

Сердце Штааля вдруг сжалось: «Так ей было всего девятнадцать лет...» Глупое, насмешливое настроение сразу с него сошло. Почтенная старуха вдруг превратилась в молоденькую красавицу. Штааль постарался вообразить гречанку, прекрасную, как те статуи, которые он видел в Италии, в музеях. «Ах, бедная, как жаль... Девятнадцати лет умерла, верно от злой чахотки»,— подумал он. Ему мучительно захотелось воскресить несчастную гречанку. «Она могла бы меня полюбить... Потом я вернул бы ее убитому мужу...» — Штааль вдруг устыдился глупости сво-

[1] Общая могила *(франц.)*.

их мыслей. Он повернулся на тачке и перевел глаза на соседнюю могилу, которая тоже была с эпитафией. «На сем месте погребена и вторая его, подполковника де Ласкаря, жена, Агафья Иванова, дочь Городецкая...» «Так он женился снова, неутешный супруг! И опять на Агафье Ивановне, как странно! — подумал Штааль, переводя глаза с одной эпитафии на другую и сверяя с удивлением имена.— Вот и наигорчайшая его печаль! — Штааль горько усмехнулся, точно относя к себе изменчивость подполковника де Ласкаря.— Да, да, пускай оплакивают купно со мной...— бессмысленно говорил он вслух слова эпитафии.— А впрочем, *их* нельзя винить... Что ж, они все так созданы. Этот подполковник де Ласкари, быть может, долгие годы оплакивал свою милую гречанку. А потом жизнь взяла свое, рана сердца зарубцевалась, и он полюбил другую деву,— говорил мысленно Штааль словами разных хороших сочинителей, настраиваясь на доброту и снисходительность к человеческим слабостям.— Все мы люди, все человеки, и де Ласкари, и обе Агафьи Ивановны, и вот этот, кто здесь лежит»,— думал он, переводя взор на третью могилу у тачки и снова всматриваясь в эпитафию: «На сем месте погребена Елена, де Ласкаря третья жена, урожденная Христоскулеева. Несчастный муж, я кладу в сию могилу печальные останки любезной жены...»

Штаалем вдруг овладел припадок неудержимого смеха. Он долго хохотал так, что тачка под ним дрогнула и сдвинулась. Штааль встал и, хлопая себя по ляжкам, как делают актеры, изображающие смеющихся людей (и как никогда почти не делают смеющиеся люди), прочел конец эпитафии: «Прохожий! ты, который причину моих слез зришь...» — Зрю, зрю, c'est ça...— «...восстони о печальной моей судьбе...» — C'est bien ça [1], вот я и восстонал,— задыхаясь от смеха, говорил вслух Штааль.— «...и знай, что добродетель, таланты и прелести и самая даже юность вотще смерти противоборствуют. Родилась в 1750 году, мая 27 числа, преставилась в 1773 году, апреля...» — Да когда же он, разбойник, успел их уморить!..

Штааль поспешно направился к выходу, все более довольный наглым тоном своих мыслей. Ему надоело кладбище. Он шел торопливо, точно кто-то хотел его здесь удержать: у него было такое чувство, будто он разгадал и расстроил козни, кем-то против него коварно направленные.

---

[1] Вот именно... Именно так *(франц.)*.

II

С кладбища Штааль проехал на извозчике к Демуту, надеясь застать там Ламора. Разговор со стариком был бы ему теперь приятен. Он хотел сказать Ламору, что отныне во всем с ним согласен и даже идет дальше. Штааль думал, что мысли, занимавшие его в последнее время, сближают его с Ламором: хоть он и затруднялся точно выразить эти мысли, ему казалось, будто они стали поворотными в его жизни. К своему огорчению, старика у Демута он не застал. Не встретив никого из знакомых, Штааль пообедал один в столовой гостиницы. Под конец обеда, выпив бутылку вина, он стал очень мрачен и ясно почувствовал, что, несмотря на всю свою ненависть к людям, не способен вернуться домой и провести вечер в одиночестве.

«Поеду в тот игрецкий дом, о котором говорил Саша»,— подумал он.

Модное дорогое заведение, которое ему рекомендовал недавно де Бальмен, собственно, не было только игорным домом. Де Бальмен с загадочной улыбкой сообщил Штаалю пароль, открывавший доступ в этот притон, и советовал ни в каком случае не называть там своего настоящего имени. Де Бальмен, по-видимому, гордился тем, что бывает в этом заведении, и давал понять, что проделывал там самые необыкновенные вещи.

Штааль подумал, что есть что-то непристойное в поездке в притон после посещения кладбища. Эта мысль тоже ему понравилась. Он даже пожалел, что вышло это как-то случайно. «Нарочно бы так сделал и в ресторацию не надо было заезжать»,— сказал он себе.

Он потребовал счет, расплатился и заодно пересчитал свои деньги. Их было не очень много, но достаточно для того, чтобы начать игру: двести двадцать рублей. «Ну, там видно будет»,— сказал он решительно и вышел на улицу.

Веселое заведение было расположено недалеко от Невского, на одной из тихих боковых улиц. Когда Штааль подошел к дому, его взяло сомнение, уж не ошибся ли он адресом. Окна не были освещены, и весь дом своим спокойным солидным видом нисколько не походил на притон. Поколебавшись немного, Штааль дернул ручку звонка и прислушался. Звонок, по-видимому, был подвешен далеко — звука почти не было слышно. Не было слышно и шагов. Но через полминуты раздался легкий сухой

треск задвижки, и дверь чуть отстала. Штааль попробовал ее рукой и вошел в небольшие сени без окон, освещенные лампой в спускавшемся с потолка на цепочке стеклянном шаре. Никого не было: очевидно, задвижка поднималась шнурком. В сенях не было ни вешалки, ни стульев. На стене висела картина, изображавшая наводнение в Петербурге. Штааль нерешительно кашлянул, испытывая неловкое чувство: ему казалось, будто откуда-то на него смотрят,— затем поднялся по лестнице. На первой площадке сбоку показалась почтенная, полная дама средних лет, густо нарумяненная кошенилью, в обшитом блондами платье фуро цвета soupir étouffé [1], с длинным лифом и с фижмами. Прическа дамы с косыми буклями была в пол-аршина вышиной. На шее болталось приличное *перло*.

Дама строго, с оскорбленным видом, осмотрела гостя с ног до головы, и опять Штааля взяло сомнение, не ошибка ли. «Это баронесса какая-то,— подумал он, неопределенно кланяясь: не совсем как баронессе, но и не так, как содержательнице веселого заведения.— Да нет, у баронесс дверей так не открывают...» Он набрался храбрости и произнес вполголоса пароль:

— Шапочка корабликом.

«Вдруг она позовет лакеев и прикажет меня вывести»? — подумал он. Дама не позвала лакеев, но к оскорбленному выражению ее лица прибавилось крайнее изумление.

— Что вам угодно, мусью? — сказала она, высоко подняв насурмленные брови.

Слово «мусью» сразу успокоило Штааля.

— Да вы, верно, знаете, что мне угодно,— ответил он и постарался улыбнуться возможно наглее.

Дама помолчала, внимательно его оглядывая.

— Кто вам дал наш адрес?

— Мой друг Жан-Жак... А меня зовут Жюль,— сказал Штааль и пожалел: «Уж если не называть себя, то и имя надо было выдумать другое. А впрочем, все одно...»

— Ежели вы играть,— сказала нерешительно дама,— то еще нельзя. К нам раньше шести не ездют...

— А ежели я не играть? — сказал Штааль.

На лице «баронессы» (он продолжал так ее называть мысленно) вдруг появилась старательная плутовская улыбка. При этом с левой стороны рта у нее открылись три сломанных зуба.

---

[1] Приглушенный вздох (*франц.*).

— Снимите шинель, мусью... Здесь повесьте. Не бойтесь, никто не сопрет,— сказала она со светским кокетством.— Пройдемте вот туды.

Шурша платьем, она поднялась по лестнице, свернула и пошла длинным коридором, в который открывались, на довольно далеком расстоянии одна от другой, одинаковые низкие двери. Дама остановилась около одной из них, оглянулась на гостя и, очевидно передумав, пошла дальше. Они вошли наконец в небольшую, освещенную разноцветными фонариками комнату. Как ни мало смыслил Штааль в мебели, он не мог не видеть, что находившаяся в комнате дешевка предназначалась для создания *восточного стиля:* низенькие широкие диваны, коллекция трубок, стоявшая в углу на стойке, *персидский* ковер во весь пол (Штааль и сам купил для своего кабинета в Гостином дворе, на Суровской линии, такой же персидский ковер за пятнадцать рублей). Пахло пудрой. Дама усадила Штааля на диван и села рядом. Диван был жесткий и очень низкий, так что колени приходились почти на уровне груди и сидеть было неудобно. Дама завела разговор: начала с погоды, коснулась военной службы, затем, понизив голос, пожаловалась на строгость Тайной, от которой просто житья нет. Тайной канцелярией она возмущалась (и голос при этом понижала) совершенно так, как возмущались действиями этого учреждения либерально настроенные люди. И вообще говорила дама очень достойно, так что Штааль вздрогнул от неожиданности, когда вдруг в разговоре она произнесла, деловито и просто, весьма неприличное слово. Штааль глупо засмеялся, точно это слово сразу все разрешало. Но дама, по-видимому, не поняла, чему он смеется, и удивленно на него взглянула.

— Нет, нет, ничего,— сказал Штааль,— продолжайте, баронесса.

На лице дамы вдруг опять засияла плутовская улыбка. Она ткнула гостя пальцем выше колена и сказала:

— Вы, должно быть, страшно развратный? Сейчас видно.

— Н-да,— произнес польщенный Штааль, но поторопился перевести разговор: «баронесса» нисколько ему не нравилась.— А Жан-Жака вы давно знаете? — спросил он в надежде узнать что-либо такое, чем он мог бы потом дразнить своего друга.

— Бальмошу? — переспросила дама и засмеялась радостному удивлению Штааля. Она стала называть условные клички, под которыми бывали у них в доме разные

очень известные люди. Одновременно она сообщала о них, о вкусах и привычках каждого, самые удивительные, непристойные и неправдоподобные вещи. Штааль так и ахал, хоть ему совестно было обнаруживать свою неосведомленность. Люди, которых он привык ценить, уважать или бояться, вдруг, навсегда невозвратимо меняли облик. Если б даже все это оказалось неправдой, он и тогда не мог бы относиться к ним так, как прежде. Не было, собственно, никакой связи между сообщениями «баронессы» и тем, что делали открыто эти известные, почтенные люди; да никто и не говорил никогда Штаалю, что они ведут аскетическую жизнь. Тем не менее он теперь испытывал такое чувство, будто перед ним вдруг случайно открылся бесстыдный обман: все эти люди и в своей открытой жизни были, конечно, низкие лжецы. Их честные души, их благородные мысли и дела — все наглая ложь и комедия!..

— Я это вам по секрету говорю,— сказала дама.— Уж вы, пожалуйста, не болтайте. Я так никогда никому ничего, только вам, Жюльчик, потому что вы мне страшно понравились. И, знаете, не сразу: как вы вошли, мне показалось, будто вы нехороший, ей-Богу! Очень они нас теперь эксплуатируют,— сказала она, старательно и с некоторой гордостью произнося это слово.— Прошлый месяц за опий оштрафовали на пятьдесят рублей, мошенники...

— Разве у вас есть опий?

— А как же, мы все получаем, все восточные снадобья: и из Персии, и из Константинополя, и из Египетской земли. Вы интересуетесь, Жюльчик?

— Интересуюсь,— подтвердил Штааль.

Дама опять ткнула его в ногу, встала, открыла дверцы висевшего на стене небольшого стеклянного шкапа и стала перебирать разные баночки и склянки, поясняя действие каждого снадобья. Штааль слушал с интересом.

— Это константинопольский опий... А это смирнский... Как кто любит... Вот терьяки, а это банджи... Лучше всего вот это.

Она подняла крышку коробки, в которой стояли в стойках, плотно прижатые одна к другой, жестяные трубочки величиной с наперсток, вынула из них две и, отвинтив крышку одной, протянула Штаалю. В трубочке была вязкая коричневая жидкость, похожая на мед. Штааль осторожно поднес ее к носу. Пахло приятно. Какое-то отдаленное воспоминание шевельнулось в уме Штааля.

— Что же это такое? — неуверенно спросил он.

— Давамеск,— пояснила значительным тоном «баронесса».— Гашиш.

— А пахнет будто миндалем и еще чем-то, только не помню чем. Франжипаном, что ли?

— К гашишу разное примешивают: и миндаль, и сахар, а для запаха мускус.

— Что ж, дайте-ка трубочку, я закурю,— сказал смело Штааль.

Дама снисходительно улыбнулась:

— Гашиш едят, Жюльчик, а не курят. Это опий курят. С кофеем скушаете, я сейчас вам дам кофею... Две трубочки — пятнадцать рублей.

— Мне на сегодня одной достаточно,—нерешительно сказал Штааль, вынимая кошелек.

— Ах, стыдно, возьмите две. Одна стоит десять,— сказала дама, внимательно вглядываясь в кошелек гостя. Штааль высыпал золото на диван. Дама улыбнулась и игривым движением опустила другую трубочку ему в карман.

— Одну теперича скушаете, а другую дома. Увидите, как приятно, еще придете просить,— сказала она, немного понизив голос.— Вы скушайте с кофеем и полежите здесь до шести. Давамеск приносит счастье. А как выиграете, Жюльчик, опять сюда приходите. Если не найдете, спросите у человека номер шестой... Я вам все устрою, потому вы мне страшно нравитесь, ей-Богу. Такое будет, что не пожалеете.

— Что же будет?

— Ишь кюрью! — сказала кокетливо дама и вышла. Штааль, недоумевая, глядел на коричневую жидкость. «Или в самом деле попробовать? Интересно, ежели она не врет... А вдруг одурею и меня здесь ограбят?»

Он понюхал давамеск и представил себе, как в стене откроется невидимая дверь и в комнату войдет грузный широкоплечий человек с белым шрамом во всю левую щеку, с огромными волосатыми руками... Штааль вдруг вспомнил: от давамеска пахло духами того полковника, которого он видел когда-то в брюссельской разведке.

«Да нет, вздор какой,— подумал он, пожимая плечами,— де Бальмена не ограбили же. И не опьянею я вовсе. Две бутылки вина выпиваю в вечер, и ничего, а от этой дряни одурею!.. Непременно попробую. Славное слово «давамеск», надо запомнить. Так живешь и ничего не знаешь...»

Дама вернулась с чашкой кофе. Она взяла трубочку у Штааля и вылила вязкую жидкость в чашку.

— Выпейте тепленьким и полежите с четверть часа,— сказала она, размешивая кофе ложечкой.— Как раз и игра начнется. А потом, помните, опять сюда приходите. Одно слово: не пожалеете. Ведь вы страшно развратный, Жюльчик, правда? И чем вы это меня взяли, не пойму.

За стеной прозвучал слабый звонок. Дама поспешно поставила чашку на стол и вышла снова.

Кофе было чуть слаще обыкновенного и немного пахло мускусом. Медленно помешивая ложечкой в чашке, Штааль сидел в неудобной позе на низком диване и думал, что, в общем, все это вышло довольно глупо. «Я сам виноват... Ежели пришел играть, то не к чему было пить масленое зелье. А ежели забавляться, то надо было сразу потребовать девочку, а не откладывать до ночи... И ничего она, верно, такого не покажет. Самый обыкновенный притон avec chambres closes [1], каких я видел сотню. Ну, не сотню, конечно, а все же видел достаточно. И гашиш ничего не действует — разве тошнит немного от этой сладкой дряни и от запаха. Все вздор... Прилечь, что ли, как она велела?»

Он прилег на диван, подложив под голову твердую узенькую подушку. Лежать на ней было очень неудобно. Штааль прислонил ее к стене, чтоб было выше голове, в которой он ощущал некоторую тяжесть. Стало лучше. Он почувствовал, что отлично мог бы заснуть и даже с удовольствием соснул бы, если б не было глупо спать в номере притона. За стеной теперь довольно часто раздавались тихие звонки; издали слышался негромкий звук голосов. Штааль больше не боялся: ему ясно было, что гашиш не подействовал. Это и разочаровало его немного, и доставило ему удовольствие. «Не очень тоже меня одурманишь... Легкое действие, конечно, есть,— думал он,— но пустяки... А приятного ничего нет. Все она врала, старая ведьма...»

Он перевел мысли на предстоящую серьезную игру и пожалел, что уже успел уменьшить на пятнадцать рублей свой оборотный капитал. Оставалось всего двести пять рублей. «Ну, этого для начала предовольно. Опять звонок... Пожалуйте, сударь, милости просим... Неужто она так всех встречает, как меня? Нет, должно быть, только новых, сомнительных. А разве у меня сомнительный вид?

---

[1] С отдельными кабинетами *(франц.)*.

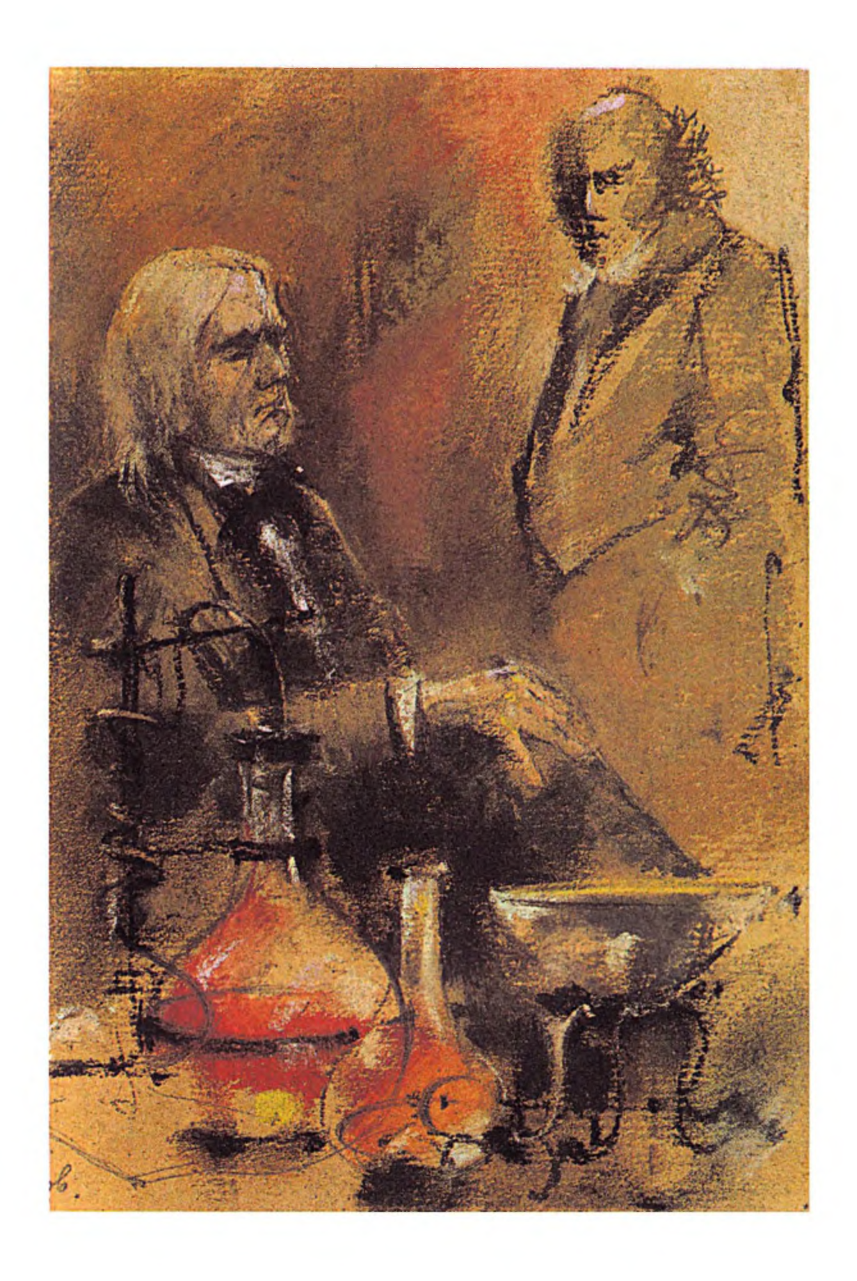
И уж будто такой развратный?.. Верно, здесь во все игры играют. Я, пожалуй, сяду в макао. Больше расчета, чем в банк, и многое зависит от хладнокровия... Опять звонки... А сколько я так лежу, верно, с полчаса прошло? Полно, однако, дурака валять!»

Он вскочил с не совсем обычной легкостью и выбежал из комнаты. В коридоре никого не было, но в конце его за дверьми показалась фигура штатского господина в шубе. Штааль побежал за ним. Он хотел даже окликнуть господина и предложить ему идти вместе, но не сделал этого. Господин в недоумении оглянулся и свернул вниз. «Он, что же, уходит, чудак этакой?» — удивился Штааль. Но господин не уходил: лестница, по которой он спускался, вела не на улицу, а во двор. «Где же я шинель оставил?» — спросил себя Штааль. Впереди сверкнули два ряда огней: в глубине двора стоял флигель. Обогнав господина, который опять посмотрел на него с недоумением и даже несколько испуганно, Штааль вбежал во флигель и поднялся по устланной мягким ковром лестнице, шагая через три ступеньки.

В большой, ярко освещенной, особенно у столов, комнате находилось довольно много игроков. Знакомых Штааль не видел, но это нисколько его не смущало. За средним длинным столом играли в банк. У другого стола поменьше метал талию в макао богато одетый пожилой желтой пудрой напудренный человек с холодным каменным лицом польского типа. Это был знаменитый петербургский игрок. Штааль, знавший его в лицо, радостно ему поклонился, первый подал руку и при этом громче, чем было нужно, произнес свою фамилию, забыв, что он решил быть здесь просто Жюлем. Банкомет не сказал ему ни слова, но движением руки предложил стул. За его столом было всего семь игроков. Штааль радостно высыпал на стол небольшую кучку золота, не почувствовав никакого стеснения, хотя перед большинством понтеров лежало гораздо больше денег. Некоторые игроки отмеряли для скорости ставки небольшими стаканами, доверху наполненными золотом.

Сдавая новую талию, банкомет вопросительно взглянул на Штааля и равнодушно обошел его при сдаче, услышав, что новый гость хочет сначала посмотреть две-три игры. Сухость была манерой, которую, по соображениям удобства, раз навсегда выработал себе банкомет. Он был

одинаково холоден со всеми понтерами, независимо от того, ставили ли они золото мерками или клали нерешительно на карту серебряный рубль. Заметив восторженное состояние Штааля, банкомет, считавший себя чрезвычайно умным и проницательным от природы человеком, тотчас его зачислил в разряд людей, которые в игре и игроках видят поэзию, или вдохновение, или какой-то еще глупый вздор в этом роде. Сам он видел в игре *дело*, притом самое грязное дело на свете. Банкомет, выигрывавший и спускавший на своем веку миллионы, почти всех игроков считал прохвостами и был убежден в том, что даже редкие порядочные люди становятся немедленно мошенниками в игорном доме. Он думал, что в дом этот лишь очень немногие приходят для забавы или из любви к сильным ощущениям, а громадное большинство понтеров, садясь за карточный стол, единственной целью имеют выигрыш. Думал также, что никто из них, кроме случайных игроков, выиграв сто тысяч, не даст взаймы ста рублей обыгранному дочиста партнеру и не оставит рубля на чай дежурящему всю ночь лакею. Щедро платили после выигрыша только продажным женщинам по какому-то странному обычаю или психологическому недоразумению, которое, несмотря на свой тридцатилетний опыт, плохо понимал банкомет. По его убеждению, из десяти понтеров девять ни за что не заявили бы об ошибке, если б он при расчете передал им лишний рубль, и ни на минуту не задумались бы (особенно женщины) сплутовать, если б это можно было сделать незаметно или безнаказанно. При игре с ним плутовать незаметно было невозможно, но безнаказанно мошенничать некоторые могли — он иногда считал необходимым или выгодным не замечать плутовства партнера. Так и на этот раз, как будто не занимаясь игроками, лишь изредка окидывая их рассеянным взглядом, как люстры на потолке и засаленную красную бархатную мебель, он отлично видел, что понтировавший от него справа богач, отсчитывавший золото мерками, регулярно в стакан, который в среднем вмещал двадцать пять золотых, но мог заключать в себе и двадцать четыре и двадцать шесть, всыпал именно двадцать четыре, получая при выигрыше двадцать пять или двадцать шесть. Он видел также (и заносил в память на случай надобности), что рассеянный игрок, сидевший слева на краю стола, в течение пяти минут небрежно играя кошельком, табакеркой, монетами, вел сложный маневр для того, чтобы незаметно присоединить к своей кучке денег золотой, не-





много отделившийся от груды золота соседа. Шулеров за столом банкомета не было: он хорошо знал в лицо и по манере всех шулеров главных европейских столиц — новых же распознавал после двух-трех сдач. Банкомет, так же гордившийся выработанной им философией, как своим каменным лицом, не чувствовал никакого отвращения к шулерам и только в техническом отношении отделял их от других игроков. Но сам он, в совершенстве владея всеми шулерскими приемами, не пользовался ни одним из них: он и так был вполне в себе уверен. Банкомет часто слышал от играющих и особенно от не играющих людей, что при азартной игре нет и не может быть никакого уменья, а все зависит от фортуны. Тех, кто так говорил, он немедленно причислял к числу самодовольных дураков, уверенно рассуждающих о том, о чем они не имеют представления. Сам он был убежден, что фортуна открывает равные шансы перед всеми и что в общем счете результат игры зависит именно от искусства игрока. В чем заключалось это искусство, за которое он заплатил десятками лет жизни и миллионами, он не мог бы сказать точно: сюда входили и опыт, и воля, и наблюдательность, и еще какой-то природный, не поддающийся определению талант.

Штааль попросил карту и поставил сразу все, что имел. По намеченному им плану игры надо было ставить на одну карту никак не более трети остающихся денег. Но он и не вспомнил о своем плане. «Будет девятка червей. Хочу, чтоб выпала девятка червей!» — сказал мысленно Штааль. Он в эту минуту был совершенно уверен, что девятка червей ему и достанется. Банкомет равнодушно метал карты белой длинной рукой, в запыленной снизу, белоснежной наверху, кружевной манжете. Штааль открыл девятку бубен.

— Neuf d'emblée! [1] — вскрикнул он.

— Вы двести пять изволили поставить? — не то просто сказал, не то спросил банкомет ровным, бесстрастным голосом. Штааль кивнул головой. Банкомет отсчитал ему шестьсот пятнадцать рублей. Штааль схватил мерку, наполнил ее золотом и поставил на карту, но ему показалось мало. Он высыпал золото и наполнил стакан вторично.

— Все, все идет,— почти задыхаясь, пояснил он. «Теперь выпадет...— он хотел дать новый заказ фортуне, но не дал, смертельно боясь ошибиться.— Все равно, что бы

[1] Девятка сразу! *(франц.)*

ни выпало, одно верно: я выиграю!..» Банкомет метал. «Je m'y tiens...», «Carte, s'il vous plait...», «И мне карточку...», «Crévé...» [1] — говорили понтеры спокойными голосами, подделываясь под бесстрастную манеру знаменитого игрока. Игрок, сидевший на краю стола, встретился глазами с банкометом и вдруг опрокинул свой бокал. Пока лакей вытирал полотенцем разлившееся по столу шампанское, банкомет не сдавал карт, сложив на сукне колоду. Очередь дошла до Штааля. Он опять выиграл, поставил еще три мерки и выиграл снова. Какой-то старичок, вертевшийся вокруг стола, подошел к Штаалю и негромко спросил, позванивая золотом в длинном вязаном кошельке:

— В моти желаете?

Штааль смотрел на него с изумлением.

— Что? Яснее говорите! — закричал он.

Старичок испуганно отшатнулся.

— Извольте видеть, они предлагают вам играть в доле, à moitié,— пояснил холодно банкомет.

— Не надо,— прошипел яростно Штааль.— Не надо мне никого! — Он чуть не бросил «дурака» этому старику, который хотел выманить у него половину подарка фортуны. Лакей приблизился к Штаалю и почтительно предложил подать шампанского. Штааль злобно замотал головой. «Надо сохранить всю ясность ума. Еще могут подпоить... Не в никитишны дуемся...»

Игра продолжалась.

Банкомет проиграл то, что назначил в этот день на случай проигрыша. Он равнодушно встал и велел лакею принести порцию ветчины. Никто из понтеров не торопился брать банк. Этому новичку слишком бешено везло. Банк достался Штаалю. Игроки понтировали против него без одушевления. Старый банкомет, закусывая рядом за столиком, следил за игрой. Ему было интересно, как будет метать этот клоп. «Не шулер ли все-таки?» — спросил он себя с любопытством. Наряду с шулерами обычного благообразно-величавого типа ему изредка попадались шулера пылкие, выезжавшие на энтузиазме и на восторженности. После первых же двух талий он удостоверился, что первоначальное его предположение было правильно и что новый гость не шулер, а *фатюй*, который не имеет представления об игре и через неделю заложит часы

---

[1] «У меня идет...», «Карту, пожалуйста...», «Лопнуло...» *(франц.)*

с цепочкой у старичка, а то продаст выигравшему партнеру любовницу или жену,— как Салтыков проиграл Пассеку свою Марью Сергеевну. Банкомет подозвал лакея, расплатился и, уезжая из игорного дома, подошел к Штаалю. Он щеголял перед самим собой тем, что почти всегда говорил прямо противоположное своим действительным мыслям.

— Прекрасно изволите играть, сударь,— сказал он.— Предсказываю вам: самого Кашталинского затмите. Рад буду завтра сразиться снова. Вы мне должны реваншем.

— Да что ваш Кашталинский! — вскрикнул Штааль.— Плевать мне на вашего Кашталинского!..

— Изъезженному коню навоз возить... Очень буду рад сразиться,— повторил с усмешкой банкомет и, ни с кем не раскланиваясь, вышел из комнаты.

Штааль загребал золото. Понтеры один за другим покидали стол, пожимая плечами. Он едко, по-актерски, хохотал им вслед, стараясь, чтобы смех его звучал возможно презрительней.

III

В одиннадцатом часу последние три игрока перешли от него к столу, за которым играли в банк. Штааль швырнул колоду на стол так, что часть карт упала на пол, и сгреб в карман последние золотые монеты. Лакей сбегал куда-то сломя голову, принес шинель и почтительно ему подал. Штааль тут же обещал принять его к себе на службу и для начала сунул ему несколько золотых монет: сначала он дал три монеты, потом подумал и добавил еще две. Лакей, чуть поддерживая барина, проводил его через ворота и усадил на извозчика. Штааль хотел дать на чай еще и за это, но трудно было лезть в карман за деньгами. Он протянул лакею руку, которую тот поцеловал два раза.

— Халуй! — закричал яростно Штааль.— Сейчас дай руку!.. Все люди равны... Мерзавец!..

Извозчик, боясь встречи с полицией, поспешно довез Штааля и помог ему добраться до квартиры. Штааль дал ему немного мелочи, нашедшейся в кармане шинели, и затопал ногами в ответ на его разочарованное бормотание.

Штааль открыл дверь своей квартиры и засветил в кабинете и спальной все свечи, которые у него были. Он презрительно засмеялся, увидев свою рыжеватую мебель, кровать с продранным одеялом, полку с коллекцией дрянных табакерок. В счастливом изнеможении он упал в кресло пе-

ред столом и так сидел минуты две, откинувшись головой на спинку кресла. Затем он вскочил с изумлением, вспомнив, что до сих пор не сосчитал выигранных денег. Он горстями стал высыпать золото на стол. С ростом сверкавшей близ свечей кучи все росло его счастье. Штааль стал считать и насчитал двадцать тысяч сто сорок рублей. Это очень его поразило: он был уверен, что выиграл гораздо больше. Вдруг он с ужасом подумал, что шторы не спущены: стол стоял у окна, и из второго этажа противоположного дома видно было то, что делалось в его квартире. Он быстро задул свечи на столе и, перегнувшись через стол, закрывая золото грудью, припал лицом к стеклу. В противоположном доме, как во всех домах, выходивших на улицу, свет был погашен с девяти часов. Штааль немного успокоился (хоть могли подглядывать и из темной комнаты), опустил шторы, плотно пригнал их концы к подоконнику и положил краем на бахрому штор «Французскую Революцию» Христофа Гиртаннера. Затем он снова стал считать деньги, раскладывая их столбиками, и насчитал двадцать тысяч сто семьдесят рублей. Расхождение в цифрах крайне его расстроило. В груде золота оказалось вдобавок несколько английских монет — эти монеты, которыми расплачивалось за поставки британское правительство, ходили в России после кампании 1799 года. Штааль принялся считать наново, решив принять каждую английскую монету за десять золотых рублей. Вышло опять двадцать тысяч сто семьдесят рублей.

«Куда же деть все это, украдут мошенники!» — подумал Штааль. Он открыл средний ящик стола и стал выбрасывать на пол все, что там находилось: сургуч, нетронутые гусиные перья, пакеты, перевязанные разноцветными ленточками,— это были *письма женщин*. Штааль вытащил ящик из стола и повернул его дном вверх. На пол посыпались кусочки сургуча, сор, запахло пылью. Он вдвинул снова ящик и принялся сбрасывать в него золото. Столбики рассыпались и со звоном падали в ящик. Штааль запер ящик на два поворота ключа, подсунул руку под стол и попробовал — ящик не поддавался.

«Что же теперь делать? — подумал он взволнованно.— Выйду в отставку?.. Довольно лямку тянул, абшит, поживу теперь в свое удовольствие... Жаль, за границу не пускают. Да, что людям сказать? Сказать, что получил наследство? Нет, не поверят: все знают, что не от кого... Да и в игрецком доме меня видели — ведь сразу разнесут по городу, подлецы!.. Но отчего же не сказать правды? Или

честные люди не выигрывают денег? Семен Гаврилович сотни тысяч выигрывал (он опять почувствовал нежность к своему воспитателю). А Меллисино? А Пален? Разве он не ставит на карту десятки тысяч?.. Правда, они все богаты, а я был бедняк... Да плевать мне на то, что люди скажут! — воскликнул Штааль.— Не для людей жить, а для себя... Но что же теперь делать? Имение купить, что ли? Говорят, Шклов продается после смерти Семена Гавриловича...»

Ему вспомнился шкловский парк, поросшая орешником аллея, спускавшаяся к реке. «Но что делать с училищем? Не содержать же мне всех этих мальчишек. С какой, в самом деле, стати? Их родители, верно, думают, что я обязан кормить эту ораву. Ну нет...»

Тут ему пришло в голову, что на покупку шкловского имения все равно не хватит денег. Ведь выигрыш — только двадцать тысяч сто семьдесят. И вдруг он с отчаяньем вспомнил, что в эту сумму входят и те двести пять рублей, с которыми он сел за карточный стол. «Господи, значит, еще меньше? Сколько же? Девятнадцать тысяч... Девятнадцать тысяч девятьсот, и сколько?..» Он не мог произвести вычитание, но чуть не заплакал при мысли, что даже и двадцати тысяч не выиграл, а всего только девятнадцать тысяч с чем-то... Прежде все-таки была круглая цифра, и звучала она как-то иначе. «Ну, да я завтра еще пойду играть... До ста тысяч доведу. Нет, до миллиона... А может, я не все вынул из карманов?»

Он засунул обе руки в карманы и вытащил подкладку наружу. Что-то со слабым стуком упало на пол. Штааль поднял жестяную трубочку с гашишем — и всплеснул руками. «Да как же я забыл! Ведь меня ждут в номере шестом... Но еще не поздно...»

Он вдруг засуетился. «Разумеется, сейчас надо опять туда бежать. Эх, жаль, извозчика отпустил... Да ведь недалеко». На мгновение ему пришло в голову, что можно остаться дома. «Mais non, je ne manquerai pas à la parole donnée,— бормотал Штааль, суетясь вокруг шкапа с платьем.— Vous ne voudriez pas que je manque... je manquasse [1],— поправился он и засмеялся оттого, что употребил imparfait du subjonctif [2].— Ну да, и правильно — я по грамматике двенадцать баллов... Тот старый дурак говорил «моти»...

---

[1] «Ну нет, я свое слово не нарушу... Не станете же вы требовать, чтоб я нарушал... чтоб я нарушил...» *(франц.)*

[2] Прошедшее несовершенное сослагательного наклонения *(франц.)*.

Одеться надо, однако, теплее, не простудиться бы после этой жары». Штааль весь обливался потом, хотя в нетопленной с утра комнате было холодно. Он надел давно не ношенные теплые вещи, направился к выходу и в передней вспомнил, что не взял с собой денег. «Ах, я дурак! Нет, какой я осел!..— вскрикнул он и бросился к столу. Ящик не открывался.— Куда же я положил ключ?» — беспокойно подумал он, хлопая себя по карману. Ключа не было. Штаалем овладел ужас, точно золото было потеряно. Он замирая сел в кресло, попробовал ящик снизу — ящик не открывался. «Постой, постой, как же это все было?» — подумал Штааль. Он стал водить рукой по столу, точно сгребая золото, повернул затем руку перед скважиной замка, автоматическим движением сунул ее в маленький боковой карман — и нащупал ключ. Он засмеялся от радости и открыл ящик Золото было цело. «Сколько же взять? Пятьсот, тысячу рублей? Нет, зачем так много?» Штааль ссыпал в карман десятка два золотых монет, снова запер ящик и положил на прежнее место ключ. «Теперь буду помнить, в верхнем боковом кармане». Он вышел, но на лестнице его взяло сомнение, точно ли он запер ящик. Хотя Штааль ясно помнил, что запер, он вернулся к столу и снова попробовал. «Конечно, запер, все в порядке...»

Плохо освещенная Хамова улица была пуста. Гулко отбивая шаги и с удовольствием к ним прислушиваясь, Штааль шел по Петербургу победителем, как по вновь купленному имению или как по завоеванной области. Изнеможение его прошло. Он чувствовал себя очень бодрым и все больше жаждал деятельности. В висках у него стучало. Ему было жарко и чрезвычайно весело. Вдруг он остановился и выругался, ступив в глубокую лужу лакированным сапогом (только в этом году стали носить лакированную обувь).

— Что за безобразие!— с возмущением сказал Штааль.— Вот так порядки! Азия!..

Он поднялся на цыпочки, сделал какое-то па, обошел лужу и внезапно запел. Пел он «Ельник», любимую песню императора, причем старался подражать хриплому голосу Павла. Вдруг впереди недалеко от себя, в полосе света от фонаря, он увидел приближавшийся к нему экипаж.

— Извозчик, подавай! — закричал Штааль и залился смехом, заметив свою ошибку: экипаж был занят. Держась за ко́зла, какой-то человек, в сплюснутой треугольной шляпе, стоя высовывался из коляски, внимательно вглядываясь в Штааля. Над его головой торчало перо.

— Шапочка корабликом,— закричал Штааль и помахал рукой в воздухе.

Коляска вдруг остановилась — сердце у Штааля екнуло. К нему поспешно направился человек с длинной тростью. Из экипажа выходили еще люди. Штааль уставился на них с тревожным изумлением.

— Вы зачем шумите? — сказал человек, быстро подходя к Штаалю и не спуская с него глаз.— Это что такое? Вы как одеты?

— А вам что за дело?.. Да здравствует свобода!.. Люди... А...— заорал Штааль во все горло. Мимо человека с длинной тростью кто-то бросился на Штааля, низко наклонив голову. Штааль почувствовал сильный удар в грудь и упал бы, если б его не подхватили под руки. Через мгновение, еще не опомнившись, он очутился в коляске. Человек с длинной тростью сидел против него. В руке у него был пистолет.

— В Тайную, живо! — приказал он кучеру.

IV

Когда он проснулся, в каземате было еще темно. Штааль растерянно вскочил, нащупал рукой жесткую солому и вдруг с невыразимым ужасом понял, что находится в Тайной канцелярии. Провел рукой по лбу: сомнений не было — он не спал, он был в Тайной.

У него сильно болела голова. Ему хотелось подышать воздухом поглубже, затем снова лечь, ни о чем не думая. Штааль почувствовал однако, что непременно надо вспомнить и обдумать все случившееся. Он сделал, что полагается делать,— растер виски руками и стал вспоминать. Сцены игорного дома он помнил совершенно отчетливо, но дальше все было неясно. Штааль помнил мосты, толчок остановившейся кареты, скрип открывшихся тяжелых ворот, свет фонаря, помнил еще высоких, грубых людей в треуголках. Помнил, что какой-то человек злобно его о чем-то спрашивал, что затем его вели по длинным, плохо освещенным, пахнувшим краской и гнилью коридорам, втолкнули в каземат и с шумом заперли за ним дверь. Штааль повалился на солому и тотчас заснул. Ночью он раза два был близок к пробуждению — от боли в спине, в ногах, в груди и от страшного крика, который, как ему казалось, откуда-то к нему доносился.

Опираясь руками на колючую солому, Штааль замирая прислушался. Никаких криков теперь не было слышно.

Напротив, стояла совершенная, непривычная даже ночью, тишина. Но боль ему не снилась, он чувствовал зуд во всем теле. Штааль с отвращением понял, что облеплен насекомыми. Это довело его ужас до последнего предела. Он вскочил, ударился об что-то в темноте, опустился на солому и обнял колени руками. Так он сидел долго с расширенными глазами, с сильно бьющимся сердцем, тоскливо ожидая конца ночи, точно утро должно было принести конец его страданиям.

Он плохо понимал размер совершенного им проступка. При императрице уличные скандалы с полицией обыкновенно кончались пустяками. При Павле за это можно было угодить в Сибирь. Но все было лучше, чем эта ночь в каземате. Штааль то вскакивал, с отчаянием чесался и ерошил волосы, то снова садился на солому и обнимал руками колени.

Холодный свет ноябрьского утра стал проникать в каземат. Штааль понемногу разглядел проделанное высоко в стене небольшое окно с решеткой, тяжелую дверь и табурет. За окном послышалось тонкое ржание лошади. Оно почему-то успокоило немного Штааля. Он вскочил и встряхнулся, с отвращением глядя на солому. Лишь теперь он заметил, как он был одет. Теплые вещи, которые он надел, уходя из дому, шинель с собольим воротником, черная казимировая конфедератка с мушковым околышком, были строжайше запрещены; они три года провалялись у него в шкафу без употребления. Штааль знал, в какую ярость приводили императора нарушения правил об одежде и какие строгие наказания за это полагались. «Ну, теперь моя песенка спета,— подумал он, проклиная себя, содержательницу притона и тех дьяволов, которые изобрели гашиш.— Попал в жерло ада... Вот что значит жить в стране с сумасшедшим царем!.. Эх, Марата бы на него...»

Штааль подошел к табурету и потрогал его руками. Словно он ждал, что здесь табурет окажется налитым свинцом или прикрепленным к полу,— он удивился легкости этого предмета. Штааль перенес его к окну, ступил на край одной ногой, оглянулся и бесшумно встал на чуть пошатнувшийся табурет, осторожно поднимая голову к решетке окна. О месте этом (называли его то Тайной канцелярией, то Тайной экспедицией) рассказывали всякое: часовые могли выстрелить в окно. Никто не выстрелил. Штааль припал лицом к решетке. Было уже довольно светло. Шел редкий, тотчас таявший снег. Окно выходило на не-

большой двор, обнесенный бревенчатыми строениями и высоким забором. Во дворе стояла повозка, запряженная парой лошадей, какая-то странная, длинная и низкая, похожая на похоронные дроги. На козлах не было кучера. Сверху и с боков повозка была обтянута рогожами и перевязана веревками. Одна веревка висела незавязанной. Лошади жевали овес из мешков. Ничего страшного во дворе Штааль не увидел. Часовых вовсе не было. На завалинке у забора под навесом грыз семечки старик сторож. В луже, по которой расходились кругами редкие, тающие в воздухе снежинки, стояла на телеге с приподнятыми оглоблями большая бочка. Вид ее тоже произвел успокоительное действие на Штааля. В такой бочке в Шклове возили воду в училище. И весь двор имел мирный деревенский вид.

Штааль сошел с табурета, сел и опять задумался о своей судьбе. «Неужто жизнь может разбиться из-за пустяка? Ужель я погибну в цвете лет, в тот самый миг, когда наконец улыбнулась столь длительно неблагосклонная Фортуна?» Хоть Штаалю было вовсе не до литературы, он по привычке думал о своей несчастной судьбе книжными словами и оборотами. Он вспомнил о своем золоте, протянул руку к боковому карману и нащупал ключ. «Золото еще цело, но далее что?.. Что будет? Что им показывать? Эх, и вчера я наговорил лишнего...» Из случившегося с ним он всего хуже помнил то, что отвечал на допросе приказному: в момент его ареста дурман достиг, по-видимому, предельного действия. Штааль смутно помнил, что говорил он в очень повышенном тоне, предлагал немедленно вызвать князя Безбородко, канцлера Российской империи, ссылался на графа Палена, которого, кажется, назвал ближайшим своим другом. Он морщился при этом воспоминании. «Что Безбородко вызывал, это даже хорошо, значит, явно был не в себе. А насчет Палена, худо... Надо было вызвать Иванчука, ведь он здесь свой человек, и не такой же он, в самом деле, подлец, чтобы не помочь мне в беде... Так я и сделаю, когда опять позовут на допрос. Не могут не позвать... Не станут же они меня пытать, в самом деле? — успокаивал он себя. С некоторой неуверенностью он думал и о том, как поведет себя Иванчук.— Да нет, не такой же он, в самом деле, подлец»,— повторял Штааль. Но уверенности, что Иванчук не такой подлец, у него не было, и злоба так и подступала у него к сердцу. Одновременно со злобой его одолевали покаянные мысли, которые в другое время могли бы быть приятны. Здесь он не мог извлечь удовольствия и из покаянных мыслей. Он

думал, что он сам теперь недалеко ушел от Иванчука. Мысль эта очень не понравилась Штаалю. Он до того всегда был уверен, что между ним и Иванчуком целая пропасть и в моральном, и в умственном отношении. Штааль стал поверять мысленно: пропасти не было. «Да, характеры разные. Он хам, конечно, а я, что хотите, но не хам... Он и неуч, не читает ничего. Правда, и у меня Гиртаннерова «Революция» который год лежит на столе... Прежде не то было».

Штааль вдруг вспомнил, как восемнадцати лет от роду проводил вечера в библиотеке Шкловского училища. Он ясно увидел перед собою крошечную книгу Байе о Декарте, изданную у вдовы Крамуази «avec privilège du Roy» [1], увидел «Discours de le méthode» [2] в сафьянном переплете и чуть надорванную снизу тонкую желтоватую страницу, с той фразой, которая когда-то так его потрясла: «C'est pourquoi sitost que l'aage me permit» [3] — и непривычное двойное «а» в слове «aage» опять его удивило, как тогда в Шклове. Штааль чуть не заплакал от горя в каземате Тайной канцелярии, как восемь лет тому назад от счастья и волнения по-настоящему заплакал над этой страницей в библиотеке Шкловского училища. Он подумал, что надо будет совершенно изменить жизнь, если удастся благополучно выйти из стрясшейся над ним беды. «Нет, что хотите, а таким, как Иванчук, я не стану, я и теперь не хам»,— повторял он упорно. И со злостью думал, что спасение теперь может прийти к нему только от хама Иванчука.

За стеной послышались негромкие голоса. Штааль опять поспешно вскочил на табурет. Во дворе теперь были люди. Около лошадей суетился фельдъегерь, отвязывая мешки с овсом. Старик сторож у ворот снимал огромные замки с запоров. Двери одного из бревенчатых строений широко открылись. Штааль с тревогой переводил взгляд с этих дверей на повозку и обратно. Из строения стали выходить люди. Первым вышел человек с тростью под мышкой, в сплюснутой треугольной шляпе с пером, в перчатках с огромными раструбами. За ним, осторожно и тяжело ступая, два *гвардиана* несли носилки, покрытые чем-то белым. Они подошли к повозке. Фельдъегерь поднял и оттянул в сторону конец рогожи. Гвардианы стали вдвигать в повозку

[1] «По королевской привилегии» *(франц.)*.
[2] «Рассуждение о методе» *(франц.)*.
[3] «Вот почему, как только возраст позволил мне...» *(франц.)*

носилки. Штааль, крепко вцепившись в решетку окна, увидел замирая, что на носилках лежал человек. Труп?.. Нет, кажется, живой, шевелится... Он, что ж, привязан?.. Что же это такое? Да что они делают?..» Гвардианы и фельдъегерь поспешно отступили на несколько шагов. Человек в треуголке совсем вдвинул носилки под рогожу повозки и, нагнувшись над головой лежавшего, очевидно закрывая ее от других, вытащил из-под рогожи покрывало. Гвардианы засуетились над рогожей, зашивая концы и завязывая свободную веревку. Фельдъегерь полез на козлы. Сторож быстро отодвинул тяжелые засовы ворот. Человек в треуголке махнул тростью. Повозка тронулась.

V

Иванчук, на которого сослался Штааль, прибыл часа через два, к полудню. Гвардианы ввели Штааля в очень бедно убранную комнату, ничем не отличавшуюся от обычных канцелярских передних. Здесь тоже стоял смешанный запах краски и гнили. По стенам на длинных вешалках висели шляпы, шапки и шинели. За дощатым столом сторож мирно пил чай вприкуску. Он не встал при входе Штааля и сказал равнодушно:

— Велено подождать.

Через минуту вошел Иванчук. Штааль никогда в жизни так не радовался его появлению, как на этот раз. Увидев приятеля, Иванчук покатился со смеху. Но и смех его музыкой прозвучал для Штааля.

— Так это вправду ты? — наконец, перестав хохотать, спросил Иванчук.— В чем дело?.. Выйди-ка, Степан... Скажешь Макарычу, что я с барином остался,— приказал он почтительно вытянувшемуся при его появлении сторожу, на которого показывал глазами Штааль.

— Слушаю-с.

— Да у меня, видишь ли, случился на улице скандал с полицией... Как снегом меня осыпало,— сказал радостно Штааль, как только они остались одни.— Ты думаешь, беда невелика, дружище?

Он никогда прежде не называл Иванчука дружищем и сам почувствовал некоторую неловкость.

— Истории, мой любезнейший, бывают разные,— ответил Иванчук (он тоже никогда не называл Штааля любезнейшим).— И друзья тоже бывают разные... Иногда, значит, и Иванчук может пригодиться?

— Да ведь, правда, у тебя здесь есть приятели? — принужденно улыбаясь, сказал Штааль.

Иванчук великодушно хлопнул его по плечу.

— У меня, почтеннейший, везде есть приятели. Кое-кого, слава Богу, знаю и здесь (он назвал по имени-отчеству несколько человек, очевидно бывших хозяевами в Тайной канцелярии). Наконец, ежели тут заартачатся, то можно и патрону сказать, Петру Алексеевичу. В два счета освободят. Рассказывай живо, в чем дело. Как ты еще напроказил?

Штааль принялся рассказывать. Когда Иванчук узнал о выигрыше двадцати тысяч, он всплеснул руками и изменился в лице.

— Да не может быть! — воскликнул он.

В дальнейшем его лицо становилось все серьезнее, и из его переспросов уже как будто не вытекало, что Штааля освободят в два счета. Дослушав до конца, Иванчук нахмурился и, помолчав, сказал, что дело выходит много важнее, чем он думал.

— Сам посуди, моншер. Тут и воротник, и конфедератка, и ночное безобразие, и сопротивление властям. У нас за круглую шляпу ссылают в Сибирь,— неодобрительно и печально сказал он.

— Как же быть? — вскрикнул Штааль.

Иванчук обещал сделать все возможное.

— Подожди меня здесь,— сказал он, как будто от Штааля зависело и уйти отсюда. Он вышел за дверь. Сторож тотчас вернулся в комнату и подал стул Штаалю.

— Вы бы, ваше благородие, сразу сказали, что с ними приятели,— сказал он, точно оправдываясь.

— А что?

Но от разговоров сторож уклонился. Иванчук вернулся через четверть часа с очень встревоженным видом, опять выслал сторожа и сказал, что дело чрезвычайно серьезно,— но замять все-таки можно. Однако будет стоить денег.

— Я готов заплатить... Сколько? — торопливо сказал Штааль.

— Порядочно, брат. Десять тысяч,— сочувственным тоном сказал Иванчук и в ответ на вырвавшееся у Штааля восклицание ужаса и негодования стал объяснять, какие мошенники и воры люди, ведающие Тайной канцелярией (он больше не называл их по имени-отчеству).— Впрочем, попробуй оставить дело натуральному ходу,— сказал он грустно.— Может, в Сибирь и не сошлют. Чуды всякие бы-

вают... Хотя ты сам знаешь, какие у нас порядки. Разве это свободная страна? Деспотия, брат, азиатская деспотия.

— Я больше пяти тысяч не дам,— сердито сказал, не глядя на него, Штааль.

Иванчук сокрушенно вздохнул:

— Ничего не выйдет. Этот мошенник говорит, что, если б не я был негоциатором, то он и двадцати тысяч не взял бы за такое дельце.

— Больше пяти не дам,— решительно повторил Штааль.

— Как знаешь, конечно. Только ведь, когда у тебя обыск произведут, то могут и все отобрать,— участливо произнес Иванчук.

— Ты обещал, однако, сказать графу Палену?

— Я с охотой патрону скажу, ты, надеюсь, сам понимаешь, что я для тебя все сделаю. Но Петр Алексеевич не всемогущ. Не заткнуть рта этим господам, еще дело дойдет до государя императора. Тогда, моншер, пиши завещанис.

Штааль нервно ходил по комнате:

— Как же быть? Ежели я и согласился бы дать, скажем, семь тысяч, ведь при мне денег нет.

— Это ничего. Надеюсь, ты мне доверяешь? — с достоинством сказал Иванчук и продолжал, не дожидаясь ответа: — Тогда дай мне ключ, я съезжу к тебе домой и привезу десять тысяч.

— Семь тысяч.

— Ну что ж, я попробую трактовать. Знаешь что? — сказал он, положив руку на плечо Штааля (Штааль немедленно ее снял со своего плеча).— Дай мне ключ,— продолжал, не смущаясь, Иванчук.— Я сначала съезжу к патрону. Ежели ничего нельзя будет сделать, только в этом разе,— внушительно подчеркнул он,— я привезу деньги. А ежели патрон может так тебя освободить, твое счастье, и деньги твои будут, разумеется, целы.

Получив ключи от квартиры и от стола, он уехал, приказав сторожу принести его благородию обед из трактира. При этом он вынул из кошелька рубль и, замахав на Штааля левой рукой, вручил сторожу монету.

— Когда-нибудь и ты угостишь меня обедом, моншер,— сказал он.— Ну, пока прощай.

Иванчук вернулся часа через полтора в большом возбуждении и объявил, что, хоть патрон все сделал, без денег замять дело оказалось невозможно, так как эти разбойники из Тайной канцелярии грозили донести госуда-

рю,— зато удалось сторговаться на восьми тысячах. Вид у Иванчука был очень взволнованный. Штаалю в первую минуту показалось, будто он немного выпил.

— Нет, каковы порядки, а? — быстро и негромко говорил Иванчук.— Какая дикая, несчастная страна, а?.. Сейчас тебя отпустят, и все шито-крыто, только уж впредь держись своей капусты. Я заплатил этим мерзавцам, а остаток твоих денег привез тебе, вот, сочти.— Он запер на ключ дверь комнаты и передал Штаалю аккуратно завязанный сверток с золотом.— Нет, я решительно тебя прошу, сочти сейчас,— быстро говорил он с проникновенной интонацией, точно Штааль отказывался это сделать.— Дружба дружбой, а деньги счет любят... Убедительно тебя прошу, мой милый... Ты подумай, негодяи каковы! Зато теперь будь спокоен: на себя муха обух не подымет.

Как ни жаль было Штаалю потерянных восьми тысяч, но известие о том, что дело улажено, и вид все еще достаточно полновесного свертка с золотом настолько его утешили, что он даже поблагодарил Иванчука (этого он потом долго не мог себе простить).

— Ну что ты, иль тебе не стыдно? — говорил Иванчук (как если бы Штааль рассыпался в выражениях признательности).— Не стоит благодарности, брат. Всякий для друга сделал бы на моем месте то же самое... Что за народ, грабители какие, а?.. Так сочти же деньги, я тебе помогу, моншер. Ты бы их поместил, право, в заклад недвижимости или фонды займов.

Счет оказался в порядке. Когда деньги были снова завязаны в сверток, Иванчук велел сторожу позвать *стрекулиста*, показал какую-то бумагу, получил другую и повел Штааля.

— Мы вместе выйдем. Мне пора...

— А ты здесь совсем свой человек,— съязвил Штааль.

— Меньше, нежели ты думаешь, поверь, гораздо меньше. Чем дальше от этих негодяев, тем лучше... Патрон, правда, частенько меня сюда посылает, он сам не любит здесь бывать... Да, кстати,— добавил он небрежно,— Петр Алексеевич желает тебя видеть...

— Меня? Зачем?

— Не знаю, он не сказал. Велел тебе сейчас к нему отправиться.

— Сейчас? Да я в баню хочу.

— Ну, так прямо из бани поезжай к нему. Признаться, я и сам не могу понять, зачем ты ему понадобился,— с досадой и, как показалось Штаалю, с некоторой

тревогой сказал Иванчук.— Ты у него, однако, не болтай, не заводи новой истории. Это, прямо скажу, было бы для тебя опасно... Теперь налево, в ту дверь и вниз по лестнице.

Они вышли во двор, который тотчас узнал Штааль.

— Вот куда они меня посадили,— сказал он, ориентируясь по бочке и показывая рукой на решетку крошечного окна.

— Сюда? — удивленно переспросил Иванчук.— Странно... Правда, у них теперь в крепости все переполнено. Ты знаешь, что здесь такое? Вон тут. Застенок... Ла он тортюр,— негромко пояснил он по-французски, хоть с ними никого не было.

— Быть не может! Вот здесь?.. Неужели пытают?

— А ты думал? Куды зря!.. Днем редко, ночью больше... Ты что ж, так в баню повезешь деньги? Ведь стащат? Дай лучше, раззява, мне на хранение.

— Нет, не надо... А не знаешь, нынче ночью пытали? — быстро спросил Штааль.

— Вероятно, брат, больше, нежели вероятно. Эти живодеры работают без отдыха. Теперь отсюда каждую ночь разных человечков отправляют с правежным листом куда надо и не надо. В такие кибитки зашивают, внизу маленькое отверстие, так и везет фельдъегерь отсюда в Сибирь, а кого везет, не знает. Они называются *безымянные*.

— Да кто же они?

— Разные бывают, люди худой нравственности, крамольщики и возмутители. Все государь подозревает заговор...

— А нынче кого пытали?

— Да ты, моншер, за кого меня считаешь? Ты вправду, кажется, думаешь, что я здесь распоряжаюсь? Почем мне знать? Смотри, благодари Бога (ну, без скромности, и меня немного можешь поблагодарить), благодари Бога, что отсюда ноги унес. Теперь ни за что пропасть — все одно что плюнуть. Прежде дворян и духовных редко пытали. А теперь и с нами не шутят. Ведь полковника Грузинова насмерть засекли... А пастор Зейдер, слышал?.. Кнутом приказано было драть за то, что немецкие книжки без цензуры получал. Нет, право, безобразие,— говорил убедительно Иванчук, точно это все оспаривали.— И книги самые, можно сказать, невинные. Открывай ворота, кобылья голова! — сердито закричал он на сторожа.

Старик сторож положил на скамью кулек с семечками, отодвинул запоры, равнодушно отпер и тотчас же запер

за вышедшими тяжелые ворота, от скрипа которых невольно поморщился Штааль. Отойдя немного от ворот, расчувствовавшийся Иванчук обнял Штааля, поздравляя его, и хотел расцеловаться с ним по-русски, трижды. Но поцеловал только один раз: Штааль энергично высвободился из его объятий:

— Прощай, прощай...

— Деньги в бане не потеряй, красивец,— отеческим тоном закричал ему вдогонку Иванчук.

VI

Час был неурочный. В чистой, удобно и хорошо обставленной (как весь дом военного губернатора) приемной никого не было. Чиновник, вежливый и деловитый, попросил Штааля подождать — его сиятельство скоро освободится. Штааль заметил небрежно в ответ, что ему совершенно не к спеху. Это замечание было не очень уместно, но все мысли Штааля спутались. Он был чрезвычайно утомлен. Из бани он успел съездить домой, спрятал золото и переоделся. Теперь Штааль с наслаждением ощущал только то, что по нем не ползают насекомые. Ему хотелось спать. Впечатления последних двух дней сказались в нем лишь большой усталостью. Он не думал ни о прошлом, ни о будущем. Его даже не очень теперь занимало, для чего он понадобился военному губернатору Петербурга. Лишь бы скорее кончилось еще и это. В темном углу приемной стоял большой диван; Штааль думал, что хорошо было бы лечь, сняв сапоги и натиравший шею, наспех завязанный, галстух. Он уселся в кресло у стены под канделябром и едва не заснул. Из соседнего кабинета доносились голоса. Разобрать слова было, однако, невозможно.

Штааль вышел из оцепенения и поспешно поднялся, когда высокая дверь кабинета распахнулась. На пороге, в блеснувшей полосе света, появился князь Платон Зубов. Штааль сразу его узнал, хоть не видел несколько лет (князь не жил в Петербурге). Зубов с порога быстро взглянул на Штааля, очень любезно ответил на его нерешительный полупоклон и, повернувшись, замахал руками в открытую дверь.

— Нет, пожалуйста, не провожайте меня далее, граф, ради Бога,— с жеманной улыбкой почти пропел он, видимо, любуясь своим, действительно прекрасным, голосом, и кокетливым жестом притворил за собою дверь кабинета. В сопровождении поспешно подошедшего к нему чиновника

он направился к выходу. Поравнявшись с Штаалем, Зубов остановился и протянул руку.

— Простите, пожалуйста,— учтиво сказал он.— Ведь мы с вами встречались, правда?

Штааль, польщенный, назвал свою фамилию.

— Ну да, конечно,— сказал Зубов радостно, точно случайно забыл имя доброго приятеля (хоть он совершенно не помнил фамилии Штааля).— Я оч-чень, оч-чень рад был снова встретиться.

Он, видимо, не знал, что сказать. После неловкого молчания он снова пожал руку Штаалю и простился. «Какой любезный стал, вернувшись,— подумал Штааль не без удовольствия.— И щуриться перестал».

Чиновник пробежал по приемной, вошел в кабинет и через минуту позвал Штааля. В ярко освещенной комнате за столом сидел граф Пален. Он сухо, без обычной усмешки, ответил на поклон молодого человека и с минуту молча его осматривал с головы до ног.

— Садитесь,— без обращения сказал наконец Пален.

Штааль сел на край стула. Усталость сразу с него слетела. Он чувствовал большое смущение.

— Ваше дело мне известно,— кратко произнес Пален, так, что нельзя было понять по этим словам, ждет ли он каких-либо объяснений. Штааль что-то пробормотал. Пален продолжал смотреть на него своими тяжелыми глазами.

— Вы воспитывались в Шкловском училище графа Зорича. Были в Париже с *миссией* (он подчеркнул это слово). Прежде служили в конногвардейском полку. Получили сему полтора года достоинство мальтийского рыцаря...

— Так точно...

— Вы участвовали в походе князя Италийского?

— Так точно, ваше сиятельство.

Пален помолчал еще, не спуская тяжелого взора с Штааля.

— Я мог вас выручить из беды и весьма тому рад,— снова заговорил он.— Но не ручаюсь, что дело так для вас сойдет. Другие лица могут донести о нем его величеству государю императору... Тогда, разумеется, вы можете счесть себя за погибшего человека.

— Ваше сиятельство, но мне сказали...

— Я не знаю, что вам сказали. *Я* говорю вам это. Равно вам не поручусь, что я сам не вспомню сего дела во всей точности, ежели не буду в полной мере вами доволен,— холодно, с явной угрозой в голосе, произнес Пален, подчеркивая каждое слово.

Штааль молчал.

— Вы прикомандированы к адмиралу де Рибасу?

— Так точно, ваше сиятельство.

— Вам нечего у него делать. Адмиралу де Рибасу поручено укреплять Кронштадт на случай войны с Англией. Но сего безумия не будет...

Он замолчал.

«Какого безумия?» — подумал Штааль. Смущение его все усиливалось.

— В Кронштадте нечего делать молодому человеку, способному и решительному,— сказал с расстановкой Пален, несколько изменив тон и подчеркивая слово «решительный».— Люди, вам подобные, нужны мне здесь.

Штааль взглянул на него с удивлением.

— Я велю отчислить вас в полк. Кавалергарды несут службу при особе его величества государя императора.

В том, что говорил Пален, не было ничего необыкновенного. Но интонации его голоса звучали мрачно и загадочно. Штаалю стало очень жутко.

— Я возьму на себя заботу о вашем карьере, ежели буду в полной мере вами доволен,— сказал медленно, негромким голосом, Пален, с теми же непонятными интонациями.— Помните, я спас вас от Сибири... С вами едва не случилось происшествие, у нас, по несчастью, довольно обычное. Как умный человек, вы, конечно, полагаете, что такие происшествия до той поры неизбежны на нашей родине, пока...

Он вдруг поднялся, не докончив фразы, и резким движением отодвинул кресло. Штааль тоже вскочил и с ужасом на него уставился. Пален перегнулся своей огромной фигурой через стол и, опершись на него руками, несколько театрально приблизил к лицу Штааля свое нахмуренное, мрачное лицо.

— Вполне натурально,— заговорил он снова, еще понизив голос,— что люди умные, решительные, любящие свое отечество, думают так, как вы. Мысли сии делают вам честь... К несчастью, ежели государь император узнает о вашей истории, о вашем образе мыслей, вы погибли... Узнать же может он всякий день... Жаль, жаль... Люди, как вы, нужны России... Прощайте, молодой человек. Помните, что отныне я буду иметь вас в виду. Каждый шаг ваш будет мне известен... Вы далеко пойдете, ежели я буду знать, что во всем могу на вас положиться. Во всем,— повторил он совсем тихо, но с необыкновенным выражением силы в голосе, в упор глядя на Штааля.

Правый угол рта скривился у Палена в его обычную холодную усмешку.

— До свиданья, молодой человек, до свиданья,— сказал он совершенно другим, обыкновенным и любезным, тоном, протягивая руку Штаалю.

VII

У ворот, открывавших доступ к Михайловскому замку, чиновник внимательно проверял документы. Штааль, стоя в небольшой очереди, с беспокойным чувством осматривал портал, гранитные столбы, красные мраморные колонны, затейливый вензель императора в кресте святого Иоанна Иерусалимского, ярко блестевшем на холодных лучах декабрьского солнца. Михайловский замок был уже освящен. Но государь все туда не переезжал: некоторые залы еще отделывались, и в замке, об устройстве и роскоши которого рассказывали чудеса, было очень сыро. Этим временем пользовались для его осмотра люди, не приглашавшиеся ко двору, но имевшие знакомых в дворцовом управлении. Штааль достал пропуск у каштеляна.

Чиновник повертел бумагу в руках, внимательно осмотрел Штааля и велел его пропустить. За воротами открывалась длинная аллея. Слева бесконечно тянулся пустой, скучный экзерциргауз. Штааль отстал от других посетителей и сел на скамейку, чувствуя себя с утра очень усталым.

Он еще не получил никакого назначения, и делать ему было нечего. Недавно скоропостижно скончался Рибас, при котором он числился. О смерти адмирала ходили мрачные слухи. Штааль с жадностью их ловил. Он теперь верил всем мрачным слухам.

В первые два-три дня после своего освобождения из Тайной канцелярии Штааль ездил по лавкам, с наслаждением покупал разные ненужные, дорогие вещи, совсем как когда-то перед отъездом в миссию за границу. Купил новую мебель в кабинет; хотел приобрести и библиотеку, вспоминая свои печальные мысли в заключении (Гиртаннерову «Революцию» он тотчас же убрал со стола). В первую очередь Штааль предполагал купить «Энциклопедию», Декарта и Вольтера,— непременно в темных кожаных переплетах. Но иностранные книги были запрещены. Штааль купил Карамзина, Фонвизина и несколько продававшихся по секрету легкомысленных книжек с картинками. Он собирался даже составить большую коллекцию таких книжек,— уж если нельзя достать Вольтера и Декар-

та,— но скоро покупки ему надоели. Хотел он переехать на квартиру получше, однако раздумал, решив, что в этом было бы нечто *скоро-богатое:* как все внезапно разбогатевшие люди, он весело смеялся над внезапно разбогатевшими людьми. Немало денег перебрали у него взаймы приятели. Он давал охотно, деля, по небольшому опыту, приятелей на три разряда: одни отдадут долг; другие не отдадут и сделают вид, будто забыли; третьи тоже никогда не отдадут, но при каждой встрече будут изображать отчаяние от того, что до сих пор не вернули денег. «Они, так сказать, расплачиваются отчаяньем да извинениями»,— думал Штааль, с удовольствием вошедший в роль богатого человека. О деньгах, розданных приятелям или потраченных на покупки и кутежи, он не жалел. Но о восьми тысячах, потерянных в Тайной канцелярии, думал с все большей злобой. «Сам я, ослиная башка, виноват: не сказал бы сдуру Иванчуку, что выиграл двадцать тысяч,— выпустили бы меня и так. Точно я его не знал — собачьего нрава не изменишь. Разумеется, это Пален приказал меня освободить, как я ему очень нужен...»

Беспрестанно вспоминая и обдумывая все, что сказал ему граф Пален, Штааль пришел к убеждению, что против государя составлен заговор. Об этом поговаривали давно. В таинственную связь с заговором ставили и скоропостижную смерть адмирала де Рибаса, и другую взволновавшую всех недавно новость: отставку и опалу вице-канцлера Панина. Но положение графа Палена, по общему отзыву, было чрезвычайно крепким. Он считался первым сановником империи и любимцем государя. Штаалю поэтому было трудно поверить, что именно Пален стоит во главе заговора. Пытался он и по-иному, естественным образом, объяснить странную сцену в кабинете военного губернатора, двусмысленные слова и непонятные интонации Палена. Приходило ему в голову, что Пален, быть может, его *испытывал,* и Штааль с волнением себя спрашивал, что должен был о нем, в таком случае, подумать царский любимец. Но это предположение казалось все же маловероятным Штаалю. «Если б Пален вправду хотел меня испытать, он говорил бы яснее. Верно, он просто предложил бы мне соучаствовать, а то какие же делать резоны из молчания в ответ на намеки?.. Нет, дело сурьезное»,— думал Штааль, холодея при этой мысли. После ночи в Тайной экспедиции он особенно ясно представлял себе, чем может грозить такое страшное дело.

Один из посетителей, проходивших в аллее мимо экзерциргауза, посмотрел на Штааля. Штааль беспокойно проводил его глазами. «Нет, это он так посмотрел. Не всякий же человек в Петербурге шпион... Да ведь я еще и не дал согласия... Опять же и не донес по долгу присяги... Конечно, я не доносчик, но эти живодеры в Тайной не будут так рассуждать... Предположим, я их не боюсь... Хотя как их и не бояться? Однако, если мне напрямик предложат участвовать в деле, соглашусь я или не соглашусь?» Он с ужасом чувствовал, что не может ответить. Штааль пробовал рассуждать и взвешивать. Он не любил царя, не прощал своего дела в Тайной экспедиции. Но и ненависти к царю у него не было. Да и в деле этом царь не был, собственно, виноват. «Точно при государыне не было Тайной экспедиции? Ведь Новикова, говорят, пытали, и Княжнина драли за «Вадима». Не только у нас, везде мучают, истязают почем зря, везде, во всем свете, а всех монархов не опровергнешь... Ведь речь у них, конечно, идет об опровержении царя. Не об убийстве же, в самом деле? Ужель у Палена руки поднимутся на венценосца, который его осчастливил?»

Штааль задумался, припоминая награды, которые в это царствование выпали на долю Палена.

«Да на какого дьявола мне нужна эта штука? — нерешительно спросил он себя...— Ну, не сделаю карьера, умру безвестным, как миллионы других, не все ль одно? Точно мне уж так хочется стать новым Паленом и править Россией! Еще и счастлив ли сам Пален? Может, гораздо лучше прожить свой век богатой приватной персоной...»

Мысли эти сильно его взволновали. Ноги в лакированных сапогах стыли на морозе. Штааль поднялся и пошел к Михайловскому замку. Перед укреплением в конце аллеи стояло несколько человек. Один из них нетерпеливо оглянулся на Штааля. Здесь у подъемного моста, через который впускали посетителей, другой чиновник снова спросил пропуск и, проверив, оставил его у себя. Штааль почувствовал себя стесненным, оставшись без зеленоватой бумажки: вдруг чиновник не знает, и там опять спросят.

— Пять? — сказал чиновник, пересчитав стоявших.— Опустить!

Дежурный с явным удовольствием стал опускать подъемный мост. Посетители с любопытством и страхом смотрели на невиданную штуку. Первый в очереди, почему-то на цыпочках, перешел через мост. За мостом открывалась перед замком большая площадь. С облегчением соскакивая с моста, посетители нерешительно оглядывались друг на

друга. Штааль отстал от кучки, прошел вдоль красной громады, вернулся, заглянул через перистиль во внутренний двор, затем вошел в замок.

Его сразу охватило тяжелое чувство. Пахнуло сыростью. Солнце исчезло. В овальной зале горели огни. В замке стоял густой туман и на небольшом расстоянии ничего не было видно. Штааль, осторожно ступая, медленно шел по залу — и неожиданно поймал себя на том, что старается зачем-то запомнить дорогу. Он вздрогнул и ускорил шаги. В тумане вырисовывались растерянные фигуры посетителей. Штааль шел туда, куда шли все. Он понемногу осваивался с туманом: в других покоях замка сырости было меньше, всюду горели огни. Штааль быстро переходил из одной комнаты в другую, нигде не останавливаясь и ничего не осматривая. Видел только, что все было чрезвычайно богато. Мрамор, порфир, золото, хрусталь, необыкновенная мебель, огромные зеркала, росписные потолки, колонны, вазы, балдахины — обычная нежилая обстановка дворцов — сливались в общее впечатление роскоши и скуки. Стены почти везде были затянуты великолепным бархатом самых ярких цветов, голубым, розовым, пурпурным, то с серебряным, то с золотым шитьем. Этот бархат особенно поразил Штааля. В тех европейских дворцах, которые ему приходилось видеть, стены обычно бывали голые. Штаалю не приходило в голову, что можно затягивать стены бархатом. Бархат местами темнел мокрыми пятнами. Посетители вполголоса обменивались впечатлениями и все куда-то торопились. Тоскливое чувство в душе Штааля нарастало. «Да в чем дело?» — нервно спрашивал он себя, ускоряя шаги.

— Как жаль, что не пускают в покои государя императора,— сказал у дверей кто-то вполголоса. Сердце у Штааля почему-то забилось сильнее. «В самом деле, государь ведь живет в верхнем этаже»,— подумал он. Он небрежным тоном спросил служителя, для кого предназначаются эти покои. Оказалось, что в нижнем этаже будет жить наследник престола, а также некоторые высшие лица свиты, как их сиятельства граф Кутайсов и князь Гагарин.

Усталость Штааля все росла от бесконечной вереницы зал. Он чувствовал себя нехорошо: в ногах была слабость, в ушах шумело. В самом мрачном настроении он повернул назад и пошел по направлению к лестнице. Вдруг его по-французски окликнул знакомый старческий голос. Он удивленно оглянулся и увидел Ламора. Штааль подошел к нему и поздоровался.

— Все живописью любуюсь,— сказал Ламор.— Немало дряни, но есть и превосходные картины... Особенно портреты... Лукавые люди ваши портретисты... Рисует человек этакого вельможу: какой блеск, что за величие! А смотришь — чего-то вельможе не хватает. Чего бы? Да кольца в носу — перед тобой точно разодетый дикарь. Я преувеличиваю, конечно, но что-то есть дикое и страшное в некоторых из этих портретов. Может быть, ваши художники *обличают* высшее общество? У нас перед революцией все обличали двор: писатели обличали, художники обличали, музыканты обличали... Вестрис тот и танцевал не иначе как с обличением и с патриотической скорбью. В вашей гостеприимной стране вдобавок все просвещенные люди думают, что Россия отстала от Европы на целые столетия. Это происходит оттого, что Россию вы знаете, а Европу нет. Конечно, Россия отстала, но так лет на тридцать, не больше.

— Да, у нас теперь есть прекрасные живописцы. Рублей за триста вы можете купить хорошего художника, ежели без жены,— деловито сказал Штааль. Он с напряжением поддерживал разговор.

— Как? Ах, да... Нет, я не торгую художниками. Что ж, пойдем?.. В общем, я должен признать, что этот замок — один из самых прекрасных, своеобразных и поэтических дворцов, какие я когда-либо в жизни видел. Его тоже Растрелли строил?

— Нет, что вы, Растрелли давно умер.

— Да? Я потому, видите ли, спрашиваю, что всю Россию, кажется, выстроил Растрелли. По крайней мере, у всех моих знакомых русских, либо в Петербурге, либо в имении, Растрелли непременно строил дом. Этот архитектор, по моему приблизительному расчету, должен был жить лет триста и все, днем и ночью, строил русским дворцы. А мы в Европе и не слыхали о таком архитекторе... Но кто бы ни строил Михайловский замок, поздравляю. Весь ваш Петербург точно из «Тысячи и одной ночи», а Михайловский замок едва ли не лучше всего. У вашего императора есть то, что в искусстве лучше вкуса: у него есть размах.

— Ну, размаха у покойной государыни было побольше,— сказал Штааль, оглянувшись.

— Я не нахожу. Монархи, как поэты, рождаются: nascuntur, non fiunt [1]. Екатерина II родилась захудалой

---

[1] Рождаются, а не делаются *(лат.)*.

немецкой принцессой и такой же осталась на русском троне. Вы скажете: ее победы. Но с кем она воевала? С турками, с поляками, со шведами. Турок, поляков побеждала — невелика заслуга. А шведов уж не очень и побеждала. Поверьте, никто в Европе не знает по названию ни одержанных Екатериной побед, ни заключенных ею мирных трактатов. Ведь это очень важно: что такое слава, если ее нельзя обозначить двумя словами? Ну, какой мир заключила она с турками? Ку?.. Кутшу?..

— Кучук-Кайнарджа,— подсказал с улыбкой Штааль.

— Вот видите, разве это можно запомнить? То ли дело император Павел! Воевать — так против французской республики, во главе европейской коалиции. Итальянская кампания, ваш переход через Альпы — это запомнится.

— Да, конечно,— сказал Штааль, вспыхнув от удовольствия.

— И имя хорошее: Суворов. Отличное имя для полководца. Оно звучит как трубный звук. Очень важная вещь... Прекрасное имя у нашего первого консула, у генерала Бонапарта.

— Какое? Ах да, Наполеон.

— Да, прекрасное имя, звучное, необыкновенное и не смешное. Оно очень ему пригодится. Что, если б его звали Жан-Селестен-Мари? Вы за себя не тревожьтесь, молодой человек. У вас фамилия так себе, но жаловаться не на что... Да, мы говорили об Екатерине? Ведь она, кажется, не выстроила ничего особенно грандиозного? Это ее вельможи строили настоящие дворцы: Орлов, Потемкин, Строганов, еще мне называли каких-то князей и графов. Эти точно были люди со вкусом и с размахом. А Екатерина и строила, кажется, больше для того, чтобы от них не отставать...

Они медленно шли по залам. Ламор часто останавливался и не умолкал ни на минуту, объясняя Штаалю достоинства и недостатки всего того, что им попадалось. Эта медленная ходьба с остановками и говорливость старика все больше утомляли Штааля. Богато одетая дама, с тройной длинной ниткой жемчуга на шее, шла им навстречу. Штааль проводил ее взглядом и увидел, что Ламор также смотрел ей вслед. Штааль усмехнулся.

— Вы смотрите на даму, а я на жемчуг,— пояснил Ламор.— Какое изумительное свидетельство человеческой глупости.. Вы знаете, что такое жемчуг? Я в молодости был на острове Цейлоне и видел ловлю Это очень интересное зрелище. Под палящими лучами солнца от берегов

Манарского залива отходят десятки лодок. Слышится заунывное пение: это специалисты заклинают акул, которыми кишит в тех местах море. На лодках ловцы, так называемые *дайверы*, самые несчастные из людей. К ногам их привешивают тяжелый камень — для того, чтоб им было легче нырять. В левой руке у дайвера сигнальный шнурок. В правой — кол для защиты от неверующих акул, не поддавшихся чарам заклинания. Ловец зажимает рот, нос и, зацепив пояс за веревку, бросается в воду. Опустившись на большую глубину, он набирает в сеть раковины, затем дает сигнал. По сигналу дайвера вытаскивают, если на счастье его милует акула. Впрочем, виноват: сначала вытаскивают сеть с драгоценными раковинами (она на особом шнурке), а уж потом самого ловца. К концу рабочего дня у дайвера обычно кровь идет изо рта, из носа, из ушей... Живут ловцы очень недолго: не акула, так апоплексический удар. Затем раковины складываются на берегу и там гниют: пока они не сгнили и не высохли, из них нельзя вытащить жемчужины, не оставив на ней знака, который, видите ли, ее портит. От гниения раковин стоит на милю расстояния такое зловоние, что жители бегут от берегов, пока не пройдет муссон и не очистит воздух. Делается же все это для того, чтобы та толстая дама могла своим великолепием огорчить других дам. Правда, даме все это неизвестно, и, по птичьему своему уму, она ничего такого и не понимает. Но для кого же существуют виселицы, если не для торговцев жемчугом?

— Да вы, сударь, говорите, как эгалитер,— сказал иронически Штааль. «Не велика мудрость толстую купчиху изобличать»,— подумал он.

— Нет, какой я эгалитер! Разве коллекционер человеческой глупости, и то нет: надоело и это.

Солнечные лучи вспыхнули, прорезав туман, осветили голубой бархат стены, хрусталь люстры, золото тяжелых канделябров. Штааль невольно сошел с дорожки, проложенной по средине узкой длинной комнаты, и заглянул в окно. День был ослепительно светлый. Вдали на Царицын луг проходил кавалергардский полк. Он шел по новому порядку, «колено с коленом сомкнувшись», с дистанцией в одну лошадь между шеренгами. В первой шеренге в середине каждого эскадрона чуть колыхались штандарты. Люди, в великолепных мундирах, украшенных белыми крестами, на тяжелых гнедых лошадях с красными вальтрапами, двигались медленно, непостижимо ровно. Солнце сверкало на пиках и кирасах.

— Вот это прекрасно! — сказал Ламор, с любопытством вглядываясь вдаль утомленными прищуренными глазами.— Сколько красоты и поэзии во всем этом! Вот, мой юный друг, истинное назначение армий: парады. Подумайте, как безобразна война: как на ней все нелепо, бестолково, до ужаса грязно... Не надо больше войн, мой друг, повоевали, и будет. Я неизменно говорю это и другому моему приятелю, генералу Бонапарту. Жаль, что он плохо слушает, как и вы, впрочем... Хорошо идут, а? Удивительный, на редкость красивый полк. Пожалуй, другого такого нигде не сыщешь. В дни моей молодости хорошо ходил наш Royal-Gravates, синяя кроатская кавалерия на французской службе... Мудро, мудро устроена эта отдушина: какая дивная система для уловления молодых душ! Нет человека, который в семнадцать лет всем этим не грезил бы — и слава Богу! Если б вы не грезили этим, то грезили бы чем-нибудь похуже — похождениями Картуша, величием Робеспьера...

Кавалергарды медленно уходили вдаль.

— Не дай Господь, чтоб на это прошла мода,— продолжал Ламор.— Быть может, именно это спасет вас от колеса или гильотины... Впрочем...

Он замолчал и оглянулся. В комнате никого не было.

— Что, мой друг, плачут царские кони?

— Как вы говорите? Я не понимаю...

— Это не я, это Плиний... Плиний говорит, что лошади льют слезы, когда их хозяевам грозит опасность. А другой древний лгун, Светоний, утверждает, что незадолго до мартовских ид заплакали горькими слезами кони, на которых Цезарь перешел Рубикон.

— Что вы хотите сказать?

Ламор пожал плечами.

— То, что говорит, кажется, весь Петербург. Мой друг, носятся упорные слухи о заговоре против императора Павла.

— Я ничего не знаю! Может быть, вам что-либо...

Голос Штааля дрогнул. Ламор посмотрел на него внимательно.

— Это весьма удивительный заговор. Все о нем говорят — и ничего... Я иностранец, по-русски не понимаю ни слова, а слышал. А вот ваша страшная Тайная экспедиция...

Он опять взглянул на побледневшее лицо Штааля и замолчал.

— Вот что, мой милый друг,— заговорил снова Ламор серьезным тоном.— Меня все это не касается, но я втрое старше вас и видел побольше вашего. Ничего я этого не знаю и не хочу знать... Впрочем, нет, очень хочу знать, но не знаю...— Он опять помолчал, вопросительно глядя на Штааля.—Я, конечно, ни о чем вас не спрашиваю, я так говорю, на случай чего: не лезьте вы в это дело,— вы, шальной юноша, господин Питтов агент,— вставил он с усмешкой.— Поверьте, ничего хорошего из этого не выйдет. А выйдет, так вас не очень поблагодарят... Других, может быть, поблагодарят, а вас едва ли... Не напоминаю вам, конечно, о присяге — это пустяки. Когда вас приводили к присяге, то, верно, не спрашивали, согласны ли вы присягать или нет, правда? Вы тотчас присягнете другому царю, и дело с концом... При всех переворотах первым делом те же люди присягают новой власти, и она всегда чрезвычайно этому рада — я никогда не мог понять почему... Однако причины вам лезть в эту петлю я не вижу решительно никакой. Правда, осведомленные люди утверждают, что ваш монарх сошел с ума. Но, во-первых, еще нужно доказать, что страна не может *процветать* при сумасшедшем монархе. По моим наблюдениям, народы и страны более или менее одинаково *процветают* при всяких правителях и правлениях. А во-вторых, не во всем верьте и осведомленным людям. Помните мудрое изречение: «Qui veut noyer son chien, l'accuse de la rage»[1]. Я вот недавно беседовал с одним либеральным помещиком. Уж так он бранил все ваши порядки — и верно, поделом,— пуще всего бранил разрыв дипломатических сношений с Англией: безумие, кричит. А потом выяснилось, что вследствие разрыва дипломатических сношений с Англией у всех русских помещиков доходы уменьшились втрое: некому продавать хлеб, дерево, лен. Я и думаю: хороший помещик, либеральный помещик, но, может быть, разрыв с Англией и не такое уж безумие, а? С английской точки зрения, конечно, безумие; как с русской, я не знаю, а с мировой — это вещь полезная. Почему не стать на мировую точку зрения? Во всяком деле первая вещь — точка зрения... Будет очень хорошо, если наши монархи назло Англии возьмут и заключат союз.

— Как это монархи? У вас ведь республика.

— Ах да, я забыл... Ну да все равно... Первый консул знает, что делает, стремясь к соглашению с Россией. Надо

[1] «Тот, кто хочет утопить свою собаку, заявляет, что она бешеная» *(франц.)*.

бы ему помочь в интересах мира... Впрочем, все это — высшая политика, а вам я попросту говорю: по дружбе вам советую стать на такую точку зрения, чтоб не соваться в это дело. Опять же, если оно не выйдет, у вас могут быть серьезные неприятности. Например, колесо. Я это в молодости не раз видал на Гревской площади — помните, недалеко от Notre Dame есть большая площадь? В доброе старое время на казни съезжалось все лучшее общество. Я в жизни не видал сборищ приятнее... Но висеть на колесе, могу вас уверить, вовсе невесело. У вас, кажется, более принято четвертование? Что ж, Берк недавно доказал, что ко всем национальным обычаям следует относиться с полным уважением. Четвертование так четвертование. Вот вы и представьте себе, как вас разденут и начнут привязывать к лошадям и как вы тогда вспомните, что можно было пить вино, ухаживать за хорошенькими женщинами или хоть со мной, стариком, болтать, а? Не лезьте, право... Не говорю уже о мелочах, вроде Тайной экспедиции с кнутом и другими хорошими вещами. В Тайной экспедиции, наверное, сидят изобретательные люди. В этой области есть в любой стране такие Франклины, такие Лавуазье, что невольно гордишься даровитой человеческой породой... Серьезно вам говорю, милый друг, любя вас говорю, не лезьте вы в это дело, и друзьям советуйте не лезть.

— Да о чем вы говорите, не понимаю,— сердито сказал Штааль.— Я не участвую ни в каком заговоре.

— Ну и хорошо, если так,— произнес Ламор с видом полного одобрения и замолчал.

— Вот поживете с мое,— начал он снова,— сами увидите: не стоило ни в какие истории лезть... Ведь сколько мне осталось жить? Год, два, предположим пять лет, хоть это почти невероятно. Я вспоминаю: что было пять лет назад? Да ведь точно вчера это было!.. Стоит ли стараться, а? Есть люди,— сказал он злобно,— есть люди, которые утешаются тем, что их переживет какое-то *дело*... Это самые глупые из всех: складывают ноли и радуются воображаемой сумме.

«И то пора тебе, в самом деле, помирать,— подумал Штааль, вспоминая, что Ламор еще семь лет тому назад, при первом их знакомстве, говорил ему о своей тяжелой болезни и о близкой кончине.— Все врал, разумеется...» Ему хотелось напомнить об этом Ламору. Они шли минуты две молча. Штааль искал случая проститься. Им повстречался неторопливо гулявший по залу величавый каштелян

замка в странном, очень длинном малиновом мундире с золотыми кистями.

— Вы, что ж, во двор не идете? — спросил он Штааля, покровительственно кивнув головой.

— Зачем во двор?

— Сегодня там представляются его величеству и благодарят. Как погода очень хорошая, то во дворе. Или не интересно посмотреть?

— Очень интересно, да разве можно присутствовать?

— Отчего же? Не воспрещается, ежели вас сюда пустили... Публика всегда есть. Кого даже и приглашают. Высовываться вперед, конечно, не годится.

Штааль не перевел Ламору слов каштеляна. «Еще тоже увяжется, Бог с ним, надоел. Много очень говорит и не в свое дело суется...» Он простился со стариком и направился во двор кратчайшей дорогой, указанной ему каштеляном.

VIII

Император должен был приехать с вахтпарада, производившегося на Царицыном лугу. В восьмиугольном внутреннем дворе замка представлялись офицеры гвардейских полков, не принимавших участия в вахтпараде, а также другие лица, которым в этот день надлежало за что-либо благодарить государя. Была во дворе и посторонняя публика. Около одной из ниш, вблизи перистиля, стояли стулья, очевидно для приглашенных на церемонию почетных гостей. Штааль увидел здесь и дам. Среди них он узнал падчерицу Екатерины Лопухиной, Анну Петровну, недавно выданную замуж за князя Гагарина. Другие зрители, служащие Михайловского замка или случайно, как Штааль, затесавшиеся люди, робко жались друг к другу по углам, видимо не зная точно, имеют ли они право присутствовать на церемонии.

Порядок до приезда государя соблюдался нестрого. Некоторые из представлявшихся еще гуляли под колоннами перистиля, выходили на лестницу замка или любезничали с приглашенными дамами. Большинство офицеров, однако, уже стояло группами, по полкам. Лица у многих были встревоженные, даже испуганные. Командиры полков тщательно с ног до головы осматривали каждого нового офицера: за упущение в форме можно было и виновному, и командиру угодить в ссылку или, по крайней мере, в чистую отставку. Штааль тоже с беспокойством себя осмотрел,

хотя было маловероятно, чтобы государь обратил внимание на постороннюю публику. Штааль занял место в кучке служащих замка, подальше, ни к кому не подходя. Он издали смотрел на Анну Петровну, по-прежнему не находил ее красивой и по-прежнему удивлялся тому, как в не очень красивую женщину может быть влюблен государь. Говорили, что император влюблен в Гагарину больше прежнего, а к госпоже Шевалье будто бы остыл. Говорили, впрочем, и обратное. Штаалю понравилось, как скромно и просто держала себя Анна Петровна (ее все хвалили за простоту и за то, что она, как прежде Нелидова, часто заступалась за пострадавших и ходатайствовала о них перед государем). К ней многие подходили. В то время как ее увидел Штааль, с Гагариной разговаривали Зубовы, князь Платон, недавно по ходатайству Палена возвращенный в Петербург после долгой опалы, и его брат, граф Николай, огромного роста гусарский офицер с грубым, отталкивающим пьяным лицом. Платон Зубов, видимо, рассыпался в любезностях перед Анной Петровной. «Верно, считает себя неотразимым, красавчик»,— с насмешкой подумал Штааль, хоть он теперь, после встречи в приемной военного губернатора, был доброжелательно настроен в отношении бывшего фаворита Екатерины. Анна Петровна, как показалось Штаалю, с робостью смотрела своими кроткими глазами на Зубовых, особенно на Николая.

Несколько поодаль от представлявшихся групп офицеров Штааль увидел с удивлением графа Никиту Петровича Панина, недавно подвергшегося опале и уволенного от должности вице-канцлера. «Он-то за что же благодарит?» — озадаченно спросил себя Штааль. Рядом с Паниным стоял взволнованный мальчик в мундире пажа. Они двое и составляли в этот день группу благодарящих. По-видимому, соседство мальчика раздражало бывшего вице-канцлера. Панин старался казаться спокойным и даже слегка улыбался. Но легкая судорога изредка дергала его тонкое, умное и желчное лицо. Паж испуганно на него поглядывал. Граф Панин вызывал всеобщее любопытство. Но он ни к кому не подходил и холодно-учтиво отвечал на поклоны. Впрочем, кланялись опальному сановнику далеко не все его знавшие.

«А ведь ежели есть заговор, то здесь должно быть немало участников,— подумал Штааль со смешанным чувством страха и радости. Он переводил взгляд от одной полковой группы к другой, стараясь угадать заговорщиков.— Зубовы? Да, вероятно... Платон Александрович, конечно,

ненавидит государя. И у Палена он тогда был, верно, неспроста... Кто же еще? Панин, что ли? А дальше?..— Штааль вглядывался в офицеров, стараясь прочесть на их лицах, участвуют ли они в заговоре или нет. Лица ровно ничего об этом не говорили.— Ведь есть же, говорят, такие, что читают в душах, как в книге... Верно, врут это... Ну, вот бы у меня кто прочел в лице, участвую ли я или не участвую, особливо ежели я и сам этого не знаю?.. Глупое, правда, мое положение... Однако, коль на то пошло, за чем дело стало? Чего проще его тут же зарубить саблями,— какая здесь может быть охрана? — думал Штааль замирая.— Может, и вправду царя сегодня убьют? Верно, за ним следуют?.. Не предупредить ли его? Нет, это было бы подло... А почему же подло? Разве я дал им слово молчать? Разве они мне открыли всю правду? Напротив того, я присягал государю, собственно, мой долг и есть в том, чтобы все ему донести... Правда, я никогда не донесу, но на то моя добрая воля... И вправду пора положить край этой тирании»,— нерешительно думал Штааль, все больше теряясь в своих мыслях.

Он продолжал осматривать собравшихся, почему-то вдруг вспомнив сцену во дворе Якобинского клуба. Внезапно за группами офицеров по другую сторону двора под его взгляд попала томно порхавшая Екатерина Лопухина. «Ее только здесь не хватало... Как бы не увидела меня»,— подумал Штааль и ретировался в сторону, так, что семеновские офицеры закрыли от него Лопухину. Но в ту же секунду она снова где-то выпорхнула. Лицо Екатерины Николаевны сияло. «Что же она не подойдет к Анне Петровне?.. Говорят, в семьях Лопухиных и Гагариных Екатерину Николаевну не переносят — считают ее за фамильный скандал и несчастье древнего рода... Потому Рюриковичи... У всех у них, у Рюриковичей, что ни говори, особое достоинство... Иные и милости Анны Петровны, слышно, не рады. С чего же Лопухина этакой именинницей ходит? Кто с ней? Ах, то-то: наследник, не кто иной». Великий князь Александр, принужденно улыбаясь и видимо думая о другом, рассеянно разговаривал с Екатериной Николаевной. «Говорят, она имеет на него виды. Тоже губа не дура... Какой, однако, красавец великий князь! Правду говорят, ангельское лицо: что за чистота в выражении! Вот бы кого в цари...» Александр Павлович поцеловал руку Лопухиной (она просияла еще больше), быстро отошел от нее и занял место впереди офицеров Семеновского полка. В ту же секунду офицеры, гулявшие у перистиля, бросились по ме-

стам. Панин с неприятной улыбкою оглянулся на вытянувшегося рядом пажа. Ужели государь едет? Не может быть, рано, да и дали бы знать, ежели б государь»,— подумал Штааль и, оглянувшись, увидел, что из открывшейся настежь большой стеклянной двери замка вышел граф Пален. Он командовал парадом. Пален, отдавая честь, неторопливо прошел по двору, внимательно оглядывая зорким взором каждую группу. Увидев вице-канцлера, он удивленно поднял брови, затем, что-то вспомнив, усмехнулся и слегка развел руками.

— Государь император прибудет не ранее как через полчаса, господа,— сказал он громко, закончив обход. Во дворе снова началось движение.

— А как сошел вахтпарад? — беспокойно спросил кто-то вполголоса.

— Как сошел, еще не знаю, полковник,— очень серьезным тоном сказал Пален,— а начался плохо. Я оттуда. Государь император нынче с утра гневен.

Лица у слышавших его слова побледнели. Известие мгновенно передалось во все концы двора, миновав только Гагарину, которая, беспокойно оглядываясь по сторонам, сидела у статуи Славы. Некоторые из служащих замка стали исчезать. «Не убраться ли и мне подобру-поздорову, пока цел?» — спросил себя Штааль. Но любопытство в нем превозмогло тревогу. На людях не было страшно. Группы во дворе снова разбились. Поднялся гул, более взволнованный, чем прежде.

Пален приблизился к отставному вице-канцлеру и вместе с ним прошел к стеклянной двери. Все провожали их глазами. Они поднялись по лестнице.

— Ты за сенаторское звание благодаришь? — спросил Пален с нескрываемой насмешкой, садясь на бархатный небольшой диван и показывая своему собеседнику место рядом с собою (этот жест тотчас раздражил Панина — точно Пален разрешал ему сесть).— Впрочем, ты больше и не сенатор.

Они приходились другу другу родственниками и были на «ты», несмотря на разницу в летах. Пален говорил по-немецки: немецкий язык в ту пору был уже мало распространен в обществе.

— Так пришел откланяться, говорят, нужно,— отрывисто ответил Панин, неохотно принимая и эту меру предосторожности, и иронический тон своего собеседника.— Благодарить мог бы разве за приказ немедленно выехать из Петербурга в деревню... Сегодня утром получил.





— Я знаю. Ничего не мог поделать.

— Я тебя и не виню.

— Едва ли он будет с тобой говорить,— сказал Пален, подумав.— Он очень зол на тебя... Лучше бы ты и не являлся, а написал письмо Гагариной. Графине передай мое искреннее участие. Впрочем, за тебя я могу лишь порадоваться. Отдохнешь душою от этого сумасшедшего дома... Да и голова останется на плечах, чего нельзя с уверенностью сказать о других (он привстал и заглянул вниз). Но для дела твой отъезд — истинное несчастье. Еще хуже, чем эта глупая смерть Рибаса... Нам не везет.

— Я присутствовал при этой *глупой смерти*,— сказал, хмурясь, Панин.— Вернее, я не отходил от него с той минуты, как он впал в беспамятство. Это было ужасно... Рибас бредил и мог проговориться... Я безотлучно был при нем, следил за каждым его словом, заглушал его голос, когда входили близкие... Разве теперь можно кому верить?

— Враги его у нас говорили, будто он не надежен,— сказал Пален.— Ходил, ходил такой слух...

Панин вспыхнул.

«Точно такой же слух ходит о тебе»,— подумал он с раздражением.

— *Рибас* ничего дурного не сделал,— сказал сухо Панин.— А вот кто может поручиться, что надежны те молодчики, которых ты ежедневно вербуешь?

— Никто не может поручиться.

— Так что же ты делаешь? — с горячностью произнес Панин.— Я не скрываю, не я один удивляюсь.

— Укажите мне, пожалуйста, другой, безопасный способ привлечения людей к заговору. Я с удовольствием приму... Какие вы удивительные люди,— сказал Пален. Он снова привстал, заглянул вниз через перила (в вестибюле по-прежнему не было никого).— Я отлично знаю, что вы все мною недовольны. Отчего же вы не возьмете дела в свои руки? Я охотно уступлю. Может быть, Талызин с братьями-масонами? Или князь Платон, а? Или — чего же лучше — ты сам?

— Ты прекрасно понимаешь, что это невозможно,— ответил, сдерживаясь, Панин.— Меня высылают из Петербурга, да я штатский человек. Руководить военным заговором может только военный с большим именем.

— Так возьмите Зубова, ведь он генерал-фельдцейгмейстер.

— Полно шутить. Зубов воин из будуара императрицы и... Ну, ты сам знаешь. Талызин — храбрый и *поря-*

дочный человек (Панин невольно подчеркнул это слово), но он молод и неопытен. После смерти Суворова ты один имеешь должный авторитет в офицерстве...

— Тогда предоставьте мне поступать так, как я считаю нужным. С тех пор как существует мир, заговорщиков, думаю, вербовали именно так, как их вербую я. Других способов я не знаю. Разумеется, риск есть, страшный риск... Тайная канцелярия, правда, ничего не делает помимо меня... Что?

— Ничего,— ответил Панин, стискивая зубы.

— Тебе не нравится? Талызину тоже не нравится (он сказал пренебрежительно: dem Talysin). В остальном вы не похожи друг на друга, а в этом сходитесь. Хороши бы мы были, ежели б я не стоял во главе Тайной канцелярии. Могу тебя уверить, что вы с Талызиным уже висели бы теперь на дыбе... И не вы одни...

Он помолчал.

— Я говорю, за Тайную канцелярию я более или менее спокоен. Но кто же может поручиться (как ты справедливо выражаешься), что один из тех молодчиков, которых я вербую ежедневно, не донесет обо всем прямо государю? Никто не может поручиться. Очень трудно устроить заговор с ручательством... Я каждое утро, выходя из дому, готовлю себя к тому, что больше никогда не вернусь. Каждый день жизни я рассматриваю как дар судьбы. Вполне возможно, что государь сегодня же пошлет за Аракчеевым. Может, он уже послал. Знаю, что он подозревает о заговоре... Он всех подозревает,— но больше всего... больше всего тех, кто действительно в заговоре участвует. От природы он человек неглупый. Быстро теряет рассудок, но, кажется, не совсем еще потерял. Я знаю, он хочет заменить меня Аракчеевым. Тогда с вами будет разговор.

«С *вами*? Отчего же не с *нами*?» — спросил себя Панин.

— Пока все же он еще *мне* верит... Ты только и умел с ним поссориться. Это очень нетрудно. Вы обвиняете меня в двоедушии, я это прекрасно знаю... Я все знаю — больше, чем вы, быть может, думаете. Однако на моем двоедушии держится все дело. Каких усилий мне все это стоит, как мне все это гнусно и гадко, не стану говорить. Но я это делаю для России...

В глазах Панина что-то мелькнуло.

— Я это делаю для России,— повторил Пален, чуть повысив голос и отчеканивая каждое слово: Was ich tue, das tue ich für Russland... [1] Я знаю, мое немецкое имя внушает

[1] То, что я делаю, делаю для России.. *(нем.)*

вам недоверие. У русского дворянства недоверие к людям с немецким именем — старинный и неизменный признак либерализма... Твою матушку звали, однако, баронесса Вейдель. Но, разумеется, решающее значение имеет кровь отца,— сказал он с насмешкой.— Иначе, может быть, и русских среди нас не осталось бы.... Все-таки, поверь мне хоть в этом, я такой же русский патриот, как вы с Талызиным. Шестой десяток живу, служу России, как могу, и ничем, слава Богу, пока русского имени не посрамил.

— Да кто же сомневался?..

— Ну, тем лучше, если никто не сомневается. Так повторяю, пока Павел *мне* верит. Но, в самом деле, *кто может поручиться* (он опять иронически подчеркнул это выражение), что один из завербованных мною молодчиков сегодня же, да вот здесь на представлении, не доложит всего государю?

— И что же тогда?

— Тогда пришлось бы действовать решительно, тут же,— сказал Пален равнодушно.— Боюсь только, как бы после этих решительных действий солдаты не подняли нас на штыки... Ну да что говорить заранее! Пока никто не донес. Разумеется,— сказал он, смеясь,— я не так уж во всем открываюсь молодым шалопаям, о которых ты говоришь и без которых, к сожалению, нельзя осуществить дело. Жаль, что покойный Фонвизен — тот, что комедии писал,— не видал меня с некоторыми из них. Я иногда сам себе напоминаю не то заклинателя змей, не то Месмера, не то злодея из пьесы сочинителя Коцебу. Это прекрасно действует почти на всех... Кстати, ты не знаешь господина фон Коцебу?

— Того, что заведует немецким театром? Встречал, кажется.

Пален опять засмеялся.

— Знаешь ли ты, чем он сейчас занят? Павел осчастливил его литературным заказом. Ему приказано составить от имени государя вызов на дуэль всем монархам.

— Что такое?

— Я говорю, государь вызывает на дуэль всех европейских монархов.

— Какой вызов? Это шутка?

— Вовсе не шутка. Впрочем, не знаю — разве у него разберешь? Как бы то ни было, Коцебу приказано составить вызов, который будет напечатан в русских и в иностранных ведомостях.

— Да кому вызов? Какая дуэль? Что за вздор!

— Знаю только, что я и Кутузов — секунданты. Принимаю поздравления.

— Да где ж это видано?

Пален пожал плечами.

— Где видано, чтоб мертвым людям делали выговор? Объявил же он выговор умершему Врангелю. Где видано, чтобы высылать так послов... Да вот опять вышло хорошо: он поругался со своим гостем, с шведским королем. Они, видишь ли, не поладили. *Наш* изображает из себя Фридриха II, а тот мальчуган — Карла XII... Что же ты думаешь? Королю не велено давать есть, будет голодать всю дорогу. Разве ты еще не слышал?

— Несчастная страна,— сказал со вздохом Пален.— Его по-человечеству жаль.

— Кого? Шведского короля?

— Государя, разумеется.

— Разве что *по-человечеству*.

Панин быстро на него взглянул.

— Мало ли в России сумасшедших. Их зверски бьют, на них надевают смирительные рубашки. Конечно, по-человечеству и их жалко... Почему *его* жалеть больше? Те хоть безобидные.

— Что Александр? — спросил, помолчав, Панин.

— Все тянет... Этот мальчик умен и очень скрытен. Сам не знаю, как быть. Без него действовать трудно, а он упорно не дает ответа. Видишь ли, ему очень хочется стать царем. И очень не хочется стать отцеубийцей... Что ты морщишься? Я правду говорю... Конечно, его положение тяжелое... Хуже моего! — вырвалось вдруг у Палена.— Вот он и думает, как бы так сделать, чтобы и царем стать, и отца не обидеть. Ему так хотелось бы, чтобы мы свергли Павла без него... Так, видишь ли, свергли, чтоб он ничего не знал. Тогда он мог бы, в порыве сыновнего возмущения, ну, не казнить нас — он юноша не кровожадный,— а, скажем, сослать подальше. Перед историей это было бы совсем хорошо... Я понимаю, конечно, что ему это было бы крайне удобно. Но нам совсем неудобно,— добавил он, усмехаясь.— Я вынужден поэтому все беспокоить его неприятными разговорами. Еще придется поговорить... Жаль, что нельзя при свидетелях. Этот мальчик очень хитер.

— Как бы мы не ошиблись в расчете?

— Не думаю. Но, разумеется, власть должна быть у них вырвана. В этом ты совершенно прав. Я знаю твой проект конституции. В общем одобряю, но есть серьезные недостатки.

Он кратко и точно изложил недостатки выработанного Паниным конституционного проекта. Панин внимательно слушал и удивлялся дельности возражений, здравому смыслу этого человека.

— Мы, конечно, не знаем, как к нашему делу отнесется русский народ,— начал Панин.

— Русский народ? Вероятно, нехорошо отнесется. Я думаю, народ любит Павла: любит именно потому, что мы его ненавидим,— другой причины я не вижу. К счастью, не так важно, что думает народ... Его нигде, кажется, ни о чем не спрашивают, а особенно в таких делах, да еще у нас в России... Войска, гвардия, это так.

— Я иного мнения,— еще больше хмурясь, сказал Панин.— Может, ты находишь, что народ любит и палки, и крепостное право?

— Да, это очень серьезный довод. Мы отменим и палки, и крепостное право, но нам потребуются годы. А народ ждать не любит. Поэтому рассчитывать на проявления народной благодарности не следует. Я даже принял кое-какие меры предосторожности.

— Почему потребуются годы?

— Если освободить крестьян без земли, они возьмутся за вилы.

— Надо, значит, освободить их с землею.

— Ты Дугино отдаешь?

— Дело не во мне и не в моем Дугине... Нужно найти общее решение, которому я подчинюсь, как другие.

— Зачем непременно общее решение? Если б ты хотел отдать своим крестьянам Дугино, ты давно мог бы это сделать. Как ни относиться к нашему самодержавию, надо все же признать, что оно никогда не запрещало частным лицам заниматься благотворительностью,— сказал Пален. В тоне его теперь, как и у Панина, звучала явная враждебность.— Во всяком случае, я решительно тебя прошу не поднимать вопроса о крепостном праве... До тех пор, пока мы не доведем дела до конца. Я прямо скажу: ты отобьешь от комплота девять десятых участников. У нас состав пестрый. Одни принимают участие в деле по самым высоким патриотическим мотивам, как ты. А другие — потому, что подкуплены на английские деньги. Одни хотят завести конституцию или даже республику, а другие смертельно боятся, как бы Павел не освободил крестьян.

— Назови имена. Я не желаю участвовать в деле с такими людьми... И об английских деньгах я слышу впервые.

— Я никак не предполагал, что ты подкуплен. И меня, как ты догадываешься, не подкупили. Что до английских денег, то беды никакой нет, ежели и правда. Лишь бы стать у власти, а затем мы отобьем у господ англичан охоту вмешиваться в наши дела... Впрочем, большинство у нас составляют люди, которым одинаково мало дела и до крепостного права, и до конституции, и до Англии. Большинство — это молодые люди, которые пойдут свергать царя, как еще недавно шли шалить в корпусе. Все равно: сейчас мы все союзники. А дальше будет видно... Нечего переделывать людей, бери их такими, каковы они есть, ежели ты хочешь быть политическим деятелем.

По побледневшему лицу Панина он увидел, что раздражение завело его слишком далеко. «Да, конечно, это не следовало ему говорить. Он хоть и молод, но занимал важнейшие государственные посты».

— Ну, что ж нам тут спорить на сквозном ветре,— изменив тон, благодушно сказал Пален (точно они только что заговорили на этом месте).— К тому же ты это понимаешь лучше меня. Ты так долго изучал все эти вопросы. Ich habe nur die *Pfiffigologie* studiert [1],— сказал он весело (Панин знал, что это слово, от pfiffig — «хитрый», было любимым выражением Палена).— Главное мое соображение: нет у нас конституционалистов. Ты, я, Яшвиль, еще два-три человека. Воронцов? И то не знаю. Едва ли даже Талызин? Да и у каждого конституционалиста, верно, свой проект конституции. Сговориться будет не так просто.

— Мы убедим других.

— Надеюсь, убедим: гвардия в моих руках.

Он опять пожалел о вырвавшемся у него слове, увидев снова раздражение и недоверие на смягчившемся было лице Панина. «Однако я все хуже собой владею»,— подумал он с неудовольствием.

— Ну да сначала сделаем дело,— сказал Пален.— Ты когда едешь? Завтра?

— Да, кажется.

— Счастливого пути... До его *отречения*... Когда он отречется, я тебя вызову... Мы немедленно тебя вызовем,— поправился он.— Пойдем, однако, он скоро приедет. И то ему, верно, сегодня же донесут, что я долго с тобой разговаривал...

---

[1] Я изучал только хитрологию *(нем.)*.

IX

Они вернулись во внутренний двор замка, и опять появление Палена привлекло общее внимание. Гул разговоров ослабел. Никита Петрович, ни с кем не заговаривая, вернулся на свое прежнее место и оттуда недоброжелательно провожал взглядом Палена. «Эким он ходит *хозяином дома!* — сказал он себе с легким раздражением.— И улыбается этак по-королевски...» Он подумал, что Пален, верно, ненасытной любовью любит свое *хозяйское* положение в России, почет, который ему воздают, и особенно сказывающуюся в этом почете власть. «Верно, любит и двор, и этикет дворцовый, и куртизанов, и пажей, и скороходов, и все эти chinoiseries [1],— с намешкой думал Панин, в душе сознавая, что и сам он ко всему этому не вполне равнодушен, и оттого озлобляясь еще больше.— Зачем же ему наша cause [2], если он и так хозяин в России, le maitre absolu du pays? [3] Для верности, что ли? Он не был бы и за конституцию, если б обеспечил себе ролю временщика. Ведь при Павле все это карточный дом... А когда Пален совсем усядется над нами, он в своем роде будет почище Павла...» Никита Петрович сердито оглянулся на пажа, который жадными глазами тоже следил за Паленом. Военный губернатор остановился около группы семеновских офицеров. Наследник престола отдал честь, настойчиво подчеркивая свою служебную подчиненность. Легкая ответная улыбка Палена и принимала это как должное, и вместе как бы показывала, что его немного забавляет подчиненность ему наследника русского престола. Так, по крайней мере, про себя толковал эту улыбку Панин.

Посторонняя публика в углу двора заволновалась. Штааль оглянулся. Кучка собралась и быстро росла вокруг немолодого дворцового служителя, который что-то рассказывал с очень значительным видом. Штааль подошел к кучке. Служитель, только что прибежавший с Царицына луга, взволнованным шепотом сообщил, что на вахтпараде случилась беда. Батюшка царь с самого начала был очень гневен. Под конец парада что-то такое не вышло, и государь изволил приказать отсчитать виноватому офицеру двести палок. Служитель ахал, рассказывая об этом происшествии,

---

[1] Китайские штучки; китайщина *(франц.)*.
[2] Дело *(франц.)*
[3] Абсолютный хозяин страны *(франц.)*.

но в глазах его сияла с трудом сдерживаемая радость. Принесенное известие в одну минуту облетело весь двор. Гул голосов как-то вдруг изменился. Изменились и лица офицеров. Из них никто не подходил и не расспрашивал служителя — его об этом было стыдно расспрашивать. Анна Петровна Гагарина вдруг откинулась на спинку стула и закрыла лицо муфтой. Александр Павлович, очень бледный, стоял перед Паленом, который продолжал что-то ему рассказывать. Пален был по-прежнему совершенно спокоен. Но на лице его больше не было улыбки. Он стал чрезвычайно серьезным.

Со стороны Дворцовой площади загремел барабан. За его грохотом не было слышно команды. Посторонняя публика мигом отхлынула в дальние углы двора. Пален занял свое место сбоку от представлявшихся и в последний раз окинул их беглым внимательным взором. Все вытянулись и замерли.

Барабан гремел все громче. Вдруг грохот оборвался. Настала мертвая тишина. К воротам, верхом на белой лошади, медленно подъезжал император. Адъютант и камер-гусар ехали по сторонам от него, сзади, так что головы их лошадей приходились вровень бедрам императорского коня, ни на дюйм не отступая от положенного расстояния. Странный треугольник приблизился к воротам и здесь в мгновенье расстроился. Адъютант и камер-гусар соскочили с коней. Въезжать верхом во внутренний двор замка имел право один император. Белый конь, скашивая глаза назад и закусывая удила, шагом вошел во двор. Землисто-бледный человек в синевато-зеленом мундире, с двумя звездами, немного поднявшись на стременах и наклонившись вперед, судорожно постегивая хлыстом по ботфорту, быстро озираясь по сторонам воспаленными красными глазами, доехал до середины двора. Адъютант боком бежал за государем, не сводя с него глаз. Вдруг государь рванул поводья. Белый конь, сильно мотнув головой, стал, не доходя до окаменевших людей.

Император сошел с лошади, бросив поводья камер-гусару, и принял рапорт Палена. Он больше не постегивал себя по ботфорту и хлыст держал как-то странно, на некотором от себя расстоянии, точно собирался отбить внезапный удар. Опустив подбородок, Павел снизу вверх в упор, странно остановившимися глазами, смотрел на графа Палена. Затем, не сказав ни слова, сдвинулся и мелкими

автоматическими шажками, высоко поднимая ноги, подошел к первой офицерской группе. Бледный как смерть наследник престола, не глядя на отца, что-то пробормотал невнятно. Неестественная и страшная улыбка искривила землистое лицо с выпученной нижней губою. Вдруг государь круто повернулся назад. За спиной Павла на расстоянии сажени огромным столбом стоял Николай Зубов. Хлыст дернулся в руке императора. Несколько секунд длилось мучительное молчание. Затем послышался внятный звучный голос Палена. Все на него оглянулись. Он назвал какую-то фамилию. Мальчик в мундире пажа сорвался с места и выбежал вперед. Император отшатнулся и поднял хлыст.

— Камер-паж... имеет счастье благодарить ваше императорское величество за высокую милость,— спокойно произнес Пален. Мальчик, споткнувшись, опустился на одно колено, с очевидным усилием сгибая ногу в высоком и узком ботфорте. Государь вдруг захохотал и протянул руку для поцелуя. В ту же секунду, взглянув поверх головы мальчика, он встретился взглядом с уволенным вице-канцлером. Павел отдернул руку, и воспаленные глаза его снова остановились.

— Прочь! Не надо! — хриплым голосом прокричал он, неизвестно к кому обращаясь. Он побежал автоматическими шажками вперед по двору. Вдруг у статуи Славы он увидел княгиню Анну Гагарину. Павел остановился. Лицо его сразу совершенно переменилось. Он тяжело вздохнул, провел рукой по лбу. Затем подошел к княгине, робко заглянул ей в глаза и бережно, с нежностью, приблизил к губам ее руку.

X

Костюмер вспрыснул волосы Талызина душистой жидкостью, расположил на его голове согнутую дугою проволоку и, закрепив косу, усердно засыпал все пудрой. Талызин, закутанный в пудер-мантель, морщился в белом облаке, закрыв глаза, сжимая ноздри и губы. Продольная складка, обозначившаяся при этом от носа к углам рта, придала его благодушному холеному лицу несвойственное ему надменное выражение.

— Нет, нет, конечно, над ухом,— открывая на мгновенье глаза и почти не разжимая рта, недовольно ответил он на вопрос костюмера, устроить ли фальконеты на высоте половины уха или над ухом. Талызин тотчас закрыл

глаза в облаке белой пыли, с живостью высвободил правую руку из-под пудер-мантеля и наметил указательным пальцем уровень фальконетов. Он задавал моду в Петербурге, очень изысканно одевался, насколько это позволял мундир, и немного гордился этим, как гордятся эстеты своей любовью к красивым вещам.

— Слушаю-с, ваше превосходительство, не извольте беспокоиться,— сказал почтительно-ласково костюмер, обожавший Талызина за его щедрость и за благодушную барскую вежливость. Белое облако разошлось. Складки на лице Талызина исчезли. Он открыл глаза и взглянул в большое тройное зеркало, расположенное над туалетным столом. Стол у него был китайчатый лаково-сургучный с золотыми храмами на доске; туалетный прибор — русского глянцевитого, снежно-белого фарфора с алыми розами. Талызин ценил русский фарфор и считал своим долгом богатого человека покровительствовать отечественному искусству. Стены комнаты, над низом резного дуба, были затянуты русскими гобеленами императорской шпалерной мануфактуры. Талызин не любил однородного стиля мебели: Louis XVI к тому же надоел и вышел из моды, Louis XV и даже Louis XIV были у всех знатоков. В комнатах Талызина были собраны красивые и дорогие вещи самых разных эпох и стилей. На полу лежал мягкий бархатный ковер Savonnerie. Мебель была розового дерева, крытая шитым шелком.

— Да, так хорошо,— сказал Талызин, внимательно осмотрев прическу. Он передвинул левую створку зеркала в раме, отделанной яшмой и порфиром.— Вон тут разве пригладить?.. Впрочем, нет, хорошо. Благодарю вас.

Костюмер, вытянув шею и губы, осторожно подул на края волос Талызина, который, почувствовав на лбу дыхание, брезгливо отшатнулся.

— Я вас, кажется, просил не сдувать пудру,— сердито сказал он и тотчас же смягчился: он не способен был говорить резко с людьми низшего положения.

— Простите, запамятовал, ваше превосходительство,— с несколько обиженным выражением сказал костюмер. Он развязал шнурок, которым был перевязан большой сверток в гладкой чистой бумаге, вынул розовое домино и ловко развернул его на левой руке перед Талызиным.

— Как изволили приказать, ваше превосходительство, французского шелка, капюшончик высокий, а маска прямо из Парижа, от Марасси...

— А другое домино у вас в свертке зачем?

— Это не для вашего превосходительства, это для их сиятельства князя Зубова. От вас к ним велено приехать, в кадетский корпус.

«В кадетский корпус? Ах да, в самом деле, ведь ему приказано воспитывать юношество... Хорош воспитатель,— подумал с неприятным чувством Талызин. Ему опять пришло в голову, что на то дело, которое они затеяли, должны были бы идти только безупречные люди.— Правда, во всяком хлебе не без мякины. Где же их взять, безупречных людей? Вот и Панина сослали...»

Он в сотый раз подумал, что только чудом каким-то они все еще гуляют на свободе, когда посвящены в дело десятки людей.

— Истинное чудо! — произнес вдруг вслух Талызин. Он в последнее время часто говорил сам с собой. Костюмер посмотрел на него вопросительно, но одновременно сам Талызин с испугом оглянулся на костюмера, точно тот по этим двум словам мог догадаться об его мыслях.

— Чудное домино,— сказал он, улыбнувшись своей нехитрой выдумке.

— Прикажете пристегнуть капюшон?

— Да, пожалуйста.

«Разумеется, чудо, не иначе как промысел Божий,— продолжал думать Талызин.— Да еще, кроме Провидения, то, что Тайной канцелярией ведает опять же Пален...» Он внутренне поморщился от циничной формы, в которую вылилась его мысль. Ему пришло в голову, что это не случайно: в последнее время слишком часто что-то совершенно непривычное, циническое стало заскальзывать в его душу. «Тот старик француз говорит, что людей можно делить по тому, как часто им приходят в голову так называемые циничные мысли, и по тому, любят ли они эти мысли или нет. Что ж, может быть, и вправду политика без этого не бывает. Да, я не создан для дел политических»,— думал Талызин. Эта мысль, все чаще приходившая ему в голову по мере того, как близился к развязке заговор, была ему и приятна, и немного его огорчала.

Талызину иногда хотелось быть настоящим политическим деятелем. В молодости он мечтал об этом. Он и теперь находил необходимым читать разные политические сочинения, хотя они утомляли его и наводили на него скуку: во всякую эпоху есть книги, которые нисколько не интересны громадному большинству образованных людей и которые тем не менее почти всеми читаются; не читавшие их стыдятся этого и делают вид, что читали. От политических

деятелей Талызина отталкивали их сухость и нетерпимость. «Надо родиться с особой узкостью души для этого дела»,— утешая себя, думал он. Как все люди, внутренне презирающие политику и политиков, Талызин старался презирать их откуда-то сверху; но откуда именно, он не знал сам. По-настоящему он любил веселых, благодушных, остроумных, независимых людей, никому не делающих зла, но умеющих, за бутылкой вина, пошутить довольно едко, отпустить в прозе, а то и в стихах колкую эпиграмму. Таких людей было немало. Талызин знал, однако, что ему, как человеку новых взглядов, следовало бы держаться своих единомышленников, а к людям, враждебным новым взглядам, относиться с насмешкой, даже с презрением, иногда и с ненавистью. Однако он с противниками нередко чувствовал себя гораздо лучше, чем с единомышленниками. Тон противников, благодушно подшучивавших над его взглядами (он так же благодушно отшучивался), обычно не раздражал Талызина, разве только уж кто-нибудь не совсем шутливо высказывал нечто ни с чем не сообразное, вроде того, что нужно бы запретить все книги или что либералистов следовало бы перевешать,— тогда Талызин вспыхивал и говорил резкости. Но это случалось нечасто. В среде же своих единомышленников он порою испытывал скуку и досаду от какой-то круговой поруки, которая, как он чувствовал, раз навсегда установилась между ними,— они все словно подмигивали вечно друг другу. Талызин не на словах, а по-настоящему верил, что правда была на их стороне. К новым идеям он примкнул совершенно искренне, не из желания пооригинальничать ими в аристократическом кругу. Но себя переменить Талызин не мог. Он читал Вольтера и, как все (даже противники), восхищался его стилем и остроумием. Но в глубине души Талызин сознавал, что ни он сам, ни девять десятых образованиых русских людей не могли бы отличить стиль Вольтера от стиля другого французского писателя. Блеск вольтеровского остроумия тоже несколько утомлял Талызина — в чем он никогда не решился бы признаться. Про себя он знал, что ему гораздо больше удовольствия доставляли едкие шуточки гетмана Кирилла Разумовского или юмор Александра Андреевича Безбородко в те, в последнее время его жизни все более редкие, минуты, когда старый канцлер оживлялся за бутылкою вина. Талызин, конечно, не думал, что Безбородко или Разумовский остроумнее Вольтера (он знал, что этакое и сказать невозможно,— даже враги бы рассмеялись: Вольтер был Вольтер). Но Безбородко и

Разумовский, со свойственным им природным умом, живостью, юмором, говорили о том, что было близко и знакомо Талызину. Самые же прославленные остроты и шутки Вольтера в большинстве относились к предметам, совершенно Талызина не интересовавшим. Он не всегда и понимал, что, собственно, могла бы означать символически Кунигунда и как именно следует толковать «Ecrasez l'infâme» [1]. Ни до какой Кунигунды Талызину не было ни малейшего дела, к формуле «Ecrasez l'infâme» он сочувствия не испытывал и сомневался, чтобы венерическая болезнь Панглосса могла способствовать опровержению Лейбницевой философии. По обязанности свободомыслящего человека Талызин прочел и Гольбаха, и Ламетри. Но эти философы уж никакого удовольствия не доставляли. От «Système de la Nature» [2] оставался даже весьма неприятный осадок, как от невкусного блюда, которое, в чужом доме, надо было есть и похваливать, чтобы не обидеть хозяина. Талызин говорил, что в материалистической философии есть *доля правды* (хотя сам чувствовал, что доли правды быть не могло: в «Système de la Nature» или все было правдой, или все было вздором). Однако в церкви всякий раз, как он слышал «Со святыми упокой», у него на глазах выступали слезы. Он в масонстве видел тот компромисс свободомыслия с верой, который допускался просвещенными людьми. Многое другое в учении парижских философов было еще более чуждо Талызину. Они называли себя гражданами мира; Вольтер поздравлял Фридриха II с военными неудачами французов. Талызин же был ревностным патриотом, гордился Суворовым как национальным сокровищем и страстно любил свой Преображенский полк. Все относившееся к полку он любил так, как любил те красивые вещи, которые собрал в своей квартире. Он считал свой полк лучшим полком в мире и испытывал хоть и легкое и быстро проходившее, но несомненное чувство досады, когда при нем особенно горячо расхваливали семеновцев, конногвардейцев или кавалергардов. Вслед за французскими энциклопедистами Талызин искренне верил в то, что люди равны и должны быть равны между собою. Но ему было приятно, что род его восходил к 15 веку. Он подшучивал над первым своим предком, Мурзой-Кучук-Тагай Ильдызом, выехавшим из Орды к князю Василию Васильевичу,—

[1] «Раздавите гадину» *(франц.)*.
[2] «Система природы» *(франц.)*

а втайне немного сожалел, что не был Рюриковичем, и утешался тем, что через Одоевских и Лобановых все же был сродни Рюрику, а через Куракиных Гедимину. Родословное дерево, заказанное его дедом домашнему художнику, висело у Талызина не в кабинете и не в зале, как у многих других, а в отдаленной комнате дома. Но он, случалось, водил в эту комнату приятелей и хоть шутливо пояснял, что «не на чердак же было прятать сие произведение искусства», однако знал свое дерево наизусть и о предках весело рассказывал разные истории, из которых выходило, что предки эти были хоть отнюдь не вольтерьянцы, но в общем славные люди. Талызин вообще любил генеалогию и в английских порядках высоко ценил палату лордов. В его раздражение против престола отчасти входило и то, что у власти обычно находились не очень родовитые люди. Немецкую знать он недолюбливал, и ему не пришло бы в голову признать, например, Палена равным по происхождению Рюриковичам, хотя род Паленов восходил к комтурам Тевтонского ордена. В масонских ложах Талызин неизменно отстаивал демократические взгляды и стоял за свободный доступ в ложи для людей всех сословий. Только крепостных принимать было невозможно: Талызин чувствовал, что их появление внесло бы в работу лож нестерпимую фальшь. Он поддерживал в масонстве оппозицию престолу. Люди, имевшие слишком много власти,— в частности власти над ним самим,— его немного раздражали еще со школьных времен (он учился в Германии). Это, вместе с природной независимостью характера, было главным источником свободомыслия Талызина. Но втайне он гордился многим в царствовавшей династии, даже тем, чем ему, по его взглядам, гордиться не приходилось: ее блеском, роскошью двора, двумя тысячами лошадей в царских конюшнях. Талызин понимал, что без монархии Преображенский полк невозможен да и теряет всякий смысл. Он чувствовал, что и дворцовый переворот может принести вред полку. «Но как нам выполнять военный долг в это ужасное время, при его системе, где все держится палкой?» — говорил он себе и другим. В глубине души Талызин не был убежден в том, что можно без палки поддерживать военную дисциплину, и старался вовсе не думать об этом предмете, отдавая возможно меньше времени строевой службе. В минуты полной откровенности с самим собой Талызин чувствовал, что он прежде всего знатный барин, знаток искусства, признанный в свете законодатель внешних приличий и правил поведения. С этой основной

линией его жизни не вполне отчетливо, но твердо слилось масонство. Все же прочее было случайное и наносное. Порою он себя спрашивал, не принадлежит ли к наносному и его участие в заговоре. Многое из того, что делал — особенно в последние дни — Пален, явно не соответствовало характеру Талызина, всем его привычкам и мыслям. Теперь развязка приближалась, и он становился все мрачнее. Как громадное большинство людей, сделавших военную карьеру в России, Талызин был храбр: в том, смутном, смешанном, очень тягостном чувстве, которое он испытывал, думая о близящейся развязке заговора, нерешительность, неуверенность и некоторая брезгливость преобладали над страхом. Долг гражданина, доводы рассудка предписывали ему принять участие в заговоре против безумного царя. Но Талызин все яснее чувствовал, что не его это было дело. Он не был республиканцем, как не был, собственно, и конституционалистом. Он был благородный, образованный, образцово порядочный русский барин, с наклонностями свободомыслия и оппозиционности. В нем было все то лучшее, что было в течение последнего века у русской аристократии,— и у той, что находилась у власти, и в особенности у той, которая власти чуждалась, а занималась хозяйством, философией, искусством, масонством, позднее земской службой и немного революцией.

— Готово-с... Сейчас изволите надеть?

— Да разве время ехать? Ведь в шесть назначено? — спросил Талызин, протягивая руку к соседнему столику, на котором лежал пригласительный билет. «Маскарад для дворянства и купечества...— быстро пробегал он глазами бумагу...— С фамилиями в маскарадном платье... для благородных мужеска пола персон розовые домины...» — Parfait [1] ...«Купечеству же разных цветов токмо не розового домины...» — De mieux en mieux [2]... Вот: «3 февраля в шесть часов пополудни иметь приезд в Михайловский Его Императорского Величества замок».

— Да ведь праздник был вчера, Сретение Господне? — спросил он костюмера.

— Точно так-с, но праздновать велено нынче, как нынче тезоименитство великих княгинь Анны Федоровны и Анны Павловны,— улыбаясь, ответил бойкий костюмер.

Талызин нахмурился. Хоть он не очень соблюдал обряды, но религиозное чувство в нем было задето перенесением церковного праздника. «И вовсе не из-за великих кня-

[1] Чудесно... *(франц.)*

[2] Все лучше и лучше *(франц.)*

гинь, а, конечно, из-за Анны Гагариной,— сердито подумал он.— Это они так поддерживают авторитет церкви... Митрополитам велено присутствовать в театре на спектаклях Шевалье... Общее собрание Сената государь с пренебрежением называет овчьим собранием... Везде, везде позор!..»

— Нет, я еще подожду, потом надену,— сказал Талызин, нервно поднимаясь.— Ведь вы теперь к Зубову? Скажите князю, что я просил кланяться,— добавил он. Костюмер собрал свои вещи, откланялся и вышел.

Талызин вышел в кабинет и стал неторопливо ходить взад и вперед по длинной комнате. «Fais ce que dois, advienne que pourra» [1],— повторил он свою любимую поговорку. Но ни фаталистическая поговорка, ни философские размышления его больше не успокаивали. «Хоть бы скорее, в самом деле, назначил он день,— нетерпеливо говорил себе Талызин, имея в виду Палена.— Чего он ждет, наш главный взмутчик и наущатель? Сил, говорит, у скопа еще недостаточно. И это, может статься, верно. Но если еще ждать, нас схватят, это тоже верно. Так всегда бывает в крамольных, в заговорных делах, при революциях, при переворотах. Никому не известно, когда пора, когда рано... Почему во Франции край терпения настал в 1789 году, а не раньше, не позднее? При четырнадцатом Лудовике, в пору драгоннад, недовольство, верно, было гораздо сильнее... И знает ли, по крайней мере, сам Пален, когда он начнет? Да есть ли план у Палена? Уж не сложная ли все это игра, уж не балансирует ли на две стороны, как поговаривают? Правда, от наговора не отгородишься... Нет, непременно сегодня поговорю с Паленом и потребую решительного ответа. На маскараде очень удобно разговаривать, там это выходит натурально и подозрения вызвать не может... Он уверяет, что Александр не дал еще согласия. Так пусть даст, ежели еще не дал. Да и не морально требовать от сына согласия на заговор против отца...» Он невольно вздрогнул, подумав об ужасном положении, в котором находился великий князь Александр Павлович. «Ну что ж, долг гражданина своей родины превалирует над долгом сына,— нерешительно говорил себе Талызин.— Да мы все в таком положении, по крайней мере, мы, свободные каменщики. Александр встает против отца, а мы против главы и покровителя масонского ордена, против человека, которого мы двадцать лет называем *братом*. Что с того, что государь отошел от ордена? Он остыл, но ничему

[1] «Делай, что должен, и будь что будет» *(франц.)*.

не изменил, он братом остается. Прав, быть может, Бараев, что считает это дело преступлением против нашего ордена... А мы все-таки идем на него, и, как граждане, мы правы, ибо другого, кроме крамольства, пути перед нами нет. И того предовольно, что всякий день творится в застенках Тайной! Как законно вырвать власть у безумного деспота? Да, мы правы, как граждане,— говорил все решительнее Талызин, довольный найденной формулой.— Александр Павлович должен понять, что его положение не труднее нашего. Нелегко, нелегко проливать кровь...» Он вдруг почувствовал ложь этой мысли. Кровь не так его пугала. Талызин не испытывал особенной жалости к Павлу и не ждал угрызений совести в случае убийства. Эти неизменные слова «нелегко проливать кровь» приходили ему в голову механически, точно он следовал вековому обычаю людей, находившихся в таком же или сходном положении. Он чувствовал, что и дальше будет зачем-то говорить эти слова. «Везде обман, в себе больше всего,— тоскливо подумал он.— Вот, говори fais ce que dois... Да и как узнать, что именно dois...»

Талызин сел к столу, вынул из ящика пачку ассигнаций и положил в карман мундира. Так, на случай внезапной высылки в Сибирь, поступали теперь все, отправляясь туда, где находился император. Талызин еще подумал, затем снял со стены небольшой кинжал, вытащил его из ножен и осмотрел лезвие. На стальном клинке с восточным орнаментом была восточными письменами выгравирована надпись Nekaman. Талызин вдвинул лезвие в ножны, спрятал кинжал под мундир и прошел снова в ту комнату, где его причесывал костюмер. Он надел розовое домино, попробовал маску и внимательно осмотрел себя в зеркало, медленно передвигая боковые створки.

XI

Настенька также получила приглашение на придворный маскарад. Красивая твердая плотная карточка с рисунками, с бордюром и с надписью (не сразу понятой) Bal paré [1] доставила ей большое наслаждение.

Настенька с каждым днем все тверже убеждалась, как благоразумно и хорошо поступила, согласившись выйти замуж за Иванчука. Радость шла за радостью. Много удовольствия принесла Настеньке первая в ее жизни собствен-

[1] Бал-маскарад *(франц.)*.

ная квартира. Хорошо было также иметь горничную, кухарку. Вначале Настенька перед ними несколько конфузилась, но скоро привыкла и даже научилась на них покрикивать. Приятно ей было и принимать у себя гостей, хоть здесь удовольствие отравлялось, особенно в первое время, мучительным страхом,— как бы чего не напутать, не сделать или не сказать глупости, за которую мужу было бы стыдно. Принимали они, впрочем, не очень много, зато гости все были хорошие,— как говорил Иванчук, первый сорт. Но приглашение на придворный бал, с правом на розовое домино и на участие в маскарадной фигуре, послужило для Настеньки самым наглядным доказательством того, как повысилось ее общественное положение. Она знала, что этим, как всем, обязана мужу и чувствовала, что ее благодарность все растет и даже начинает переходить в самую настоящую любовь, очень мало отличающуюся от той, которую она еще недавно испытывала к Штаалю. Настенька вначале немного стыдилась этой мысли: ей было совестно, что она так быстро полюбила человека, с которым сошлась по расчету и над которым когда-то посмеивалась. Она говорила себе, что прежде просто его не знала, и с каждым днем открывала в своем муже новые достоинства. Ей было обидно, что она не только сама смеялась над Иванчуком в прежнее время, но еще и другим позволяла при себе над ним смеяться. Этих других она старалась отвадить от дому.

Настенька после выхода замуж снова похорошела, что должны были признать приятельницы, наиболее ей завидовавшие. Она и одевалась теперь гораздо лучше, старательнее прежнего, хотя, как всегда, тратила на наряды немного. Экономила она каждую копейку и все беспокоилась, не слишком ли много берет денег у мужа. Так же она беспокоилась об этом, когда жила на средства других мужчин. Настенька всегда неясно думала, что их трогает ее бережливость. В действительности, бережливость эта их чаще всего раздражала. Но Иванчука она в самом деле трогала, особенно в связи с тем, что Настенька решительно ничего не понимала в денежных делах.

Известие о женитьбе Иванчука на Настеньке вызвало изумление у всех, кто его знал. Никто не хотел этому верить, искали и не находили причин его странного поступка. Все были убеждены в том, что Иванчук либо подцепит, улучив момент, настоящую невесту, с именем, со связями и с деньгами, либо в крайнем случае женится на богатой немолодой купчихе, на любовнице какого-нибудь вельможи.

Но еще больше удивлялись те из друзей Иванчука, которые ходили к нему в гости после его женитьбы. Он был, по общему их отзыву, неузнаваем.

Об Иванчуке все его знавшие неизменно говорили, что он хам. Одни (немногие) говорили это враждебно, другие благодушно, третьи почти с уважением. Но на этом определении все обычно сходились. Хамство Иванчука было настолько очевидно, что почти утрачивало свой предосудительный характер. Именно совершенная его очевидность, общепризнанность и неоспоримость примиряли с ним большинство приятелей Иванчука. По той же причине и его успехи не вызывали особенной зависти. Иные его приятели говорили даже, что, за вычетом этого своего основного свойства, Иванчук — человек далеко не без достоинств: и неглупый, и незлой, и весьма способный. Вычесть хамство из характера Иванчука не всегда удавалось. Но долго на него почти никто ни за что не сердился. Всех даже неприятно удивило бы, если б он стал поступать не по-хамски. Именно это слегка неприятное чувство и испытывали люди, бывавшие в доме Иванчука после его женитьбы. Не только самую женитьбу его должно было признать совершенно бескорыстной, но и вел он себя с женой так, как мог бы себя вести самый порядочный человек. Он был с Настенькой ласков, нежен, предупредителен, даже тактичен; избегал разговоров, которые могли бы быть ей неприятны, и не позволял рассказывать при ней неприличные анекдоты, которые сам чрезвычайно любил.

Иванчук действительно был влюблен. На второй день после женитьбы он вручил Настеньке ключ от ящика, в котором хранилась порядочная сумма денег. А еще недели через две, в минуту особенной нежности, он открыл ей то, чего не знал ни один человек на свете: объяснил Настеньке обстоятельно, ничего не скрывая, сколько у него всего денег, где они находятся и какие есть виды на будущее. Настенька не очень этим интересовалась и туго понимала дела. Но он объяснял так горячо, что она постаралась все запомнить и по возможности понять. Иванчука удивляло, смешило и трогало, что могут быть люди, не понимающие преимущества первой закладной перед второю. Он хохотал, умилялся и, как малому ребенку, все растолковывал Настеньке, так что она стала наконец разбираться. Ей было приятно услышать, что у *них* на черный день припасено так много денег (Иванчук только первую неделю говорил: у *меня*, а потом стал говорить: у *нас*; эту разницу тотчас заметила и оценила Настенька). Черный день был люби-

мой темой Иванчука. В возможности наступления черного дня он смутно чувствовал поэзию; возможность эта придавала особый уют его жизни. Настенька поддерживала разговор о черном дне, но она плохо верила в то, что у них может наступить когда-либо черный день. Раз как-то она дала это понять мужу.

— Да? Вот как? А что ты, к примеру, будешь делать, когда я околею? — спросил польщенный внутренне Иванчук.

Об этом Настенька не думала и сердито замахала руками: она терпеть не могла разговоров о смерти, да еще в таких выражениях. Иванчук с умилением приписал сердитый жест Настеньки ее любви к нему. Но и это, собственно, уже было близко к правде.

Сам Иванчук тоже входил во все дела Настеньки, сначала по чувству долга, а потом и с настоящим интересом. Он с первых же дней знал все ее платья, шляпы и туфли и так же твердо, как она сама, помнил экономию ее туалетного хозяйства: знал, в какой дом ей еще можно прийти в том или другом наряде и в какой уже нельзя, потому что его там все видели. Штааль ничего этого не знал и не понимал. К удивлению Настеньки, оказалось, что Иванчук прекрасно разбирается в дамских туалетах и в особенности в ценах на них. Так же безошибочно определял он стоимость драгоценных вещей, от юсуповских бриллиантов до золотого кольца с рубином, которое Настенька принесла в приданое. Настенька не знала, что могли стоить юсуповские бриллианты (только ахала, слушая цифры мужа), но цену своего кольца она знала хорошо и была поражена тем, как точно он эту цену определил. Сначала она было отнеслась недоверчиво-насмешливо к его указаниям, какие вещи нужно покупать в «Английском магазине», какие в Нюренбергских лавках, какие на Суконной линии Гостиного двора. Но потом, убедившись в верности указаний мужа, строго им следовала. Его внимание очень ей льстило.

Настенька понимала, что, при их давних близких отношениях, новым для Иванчука в женитьбе был только семейный уют, как для нее — квартира, горничная, гости или обеспеченность на черный день. Она поэтому с самого начала особенно заботилась о семейном уюте. Понемногу он захватил и ее. Они оба почувствовали, что их жизнь соединена твердо, навсегда, что у них нигде и ни в чем нет и не может быть разных интересов. Иванчуку, которого никто никогда не любил, это сознание доставляло большое наслаждение. Он с каждым днем все больше привязывался

к Настеньке. Хотя Иванчук (в отличие от Штааля и от большинства молодых людей) не любил и не умел копаться в своих чувствах, он как-то вечером, поджидая Настеньку, задумался над вопросом, уступил ли бы он ее добровольно самому императору. Перебирая мысленно блага, которые мог ему предложить император, Иванчук с удивлением и с гордостью убеждался в том, что, пожалуй, не уступил бы. «Ну, за шереметевское, скажем, богатство ужель не уступил бы? — спрашивал он себя.— Или за должность канцлера?.. Право, нет, ей-Богу...» Он был совершенно растроган и счастлив. При всей своей природной черствости Иванчук еще был слишком молод для свободной, спокойной и скучной жизни никого не любящего человека.

На придворный маскарад Настенька, после долгих совещаний с мужем, решила нарядиться индейской ворожеей. За час до бала, одетая, нарумяненная и разукрашенная, Настенька при зажженных свечах стояла перед зеркалом с большим букетом цветов в левой руке и повторяла позы ворожеи. В небольшой комнате все было блестящее и недорогое. Иванчук остался жить в своей прежней холостой квартире. Одна из четырех комнат, не имевшая прежде никакого назначения, была отделана под будуар Настеньки, а в спальную поставили новую постель. Гостей принимали в столовой и гостиной, но хозяин никогда не забывал ввернуть, что они временно живут на *бивакax*, в тесноте (на что гости обычно с игривой улыбкой отвечали: «да не в обиде»). Иванчук говорил также, что ищет хорошую квартиру где-нибудь за Фонтанкой,— там еще так просторно и дешево. В действительности он приторговывал двухэтажный дом на Невском и подумывал о хороших жильцах для нижнего этажа,— чтоб платили, как следует, и чтоб знакомство было приятное. Но с покупкой Иванчук не торопился. Хоть он ни во что не был посвящен Паленом, он, как все, смутно чего-то ждал.

Иванчук, в розовом домино и в маске, на цыпочках бесшумно вошел в комнату, таинственно вытянув вперед руки. Настенька увидела его в зеркале, вскрикнула и засмеялась. Из опустившегося букета роз выпала кожаная змея. Иванчук, неуверенно различая предметы сквозь прорези в черной бархатной маске, скользнул на пол, распахнув снизу домино, поднял змею и зашипел, тыча Настеньку в плечо жалом. Она замахала руками. Кожаная змея

решительно ей не нравилась, но Иванчук говорил, что в Индии у ворожей змеи — первое дело, и Настенька уступила — только поглубже спрятала змею в букет. Иванчук через маску нежно поцеловал жену.

— У меня с машуармувантом,— сказал он, снимая маску и мигая.— Ты очаровательна. ма бель, лучше ворожеи в Индиях не найти.

Он поцеловал ее снова.

— И краска вкусная...

— Вечно шутите.

— Ты обожаешь мои поцелуи.

— Вот еще!

— Обожаешь,— уверенно и кратко подтвердил с наслаждением Иванчук.— Видно, во мне есть что-то такое этакое...

— Еще что выдумаете...

— А я только что твоего осла видел. Тоже на бал собирается...

— Кого это? — небрежно спросила Настенька, как бы не догадываясь.

— Твоего Родомонта, Штааля,— с презрительной интонацией произнес Иванчук. Он называл Штааля почему-то Родомонтом-забиякой. У Иванчука был небольшой запас одних и тех же продолжительно державшихся шуток. Сначала это было неприятно Настеньке, но потом она привыкла, и они стали ей нравиться, как привычные серенькие обои в ее комнате. Настенька даже огорчилась бы, если бы ее муж переменил какую-нибудь старую шуточку. Но он не мог ничего переменить,— он механически произносил эти свои шутки, способствовавшие уюту его жизни.

— И вовсе он не осел,— обиженным тоном сказала Настенька. Она была человек справедливый и не считала Штааля глупым. Кроме того, ей было приятно возбуждать ревность Иванчука. Настенька находила это и полезным. Иванчук смутно чувствовал, что упоминание о Штаале, на первый взгляд вполне бестактное, не так уж неприятно Настеньке,— и потому упоминал о нем часто. В действительности он не очень ревновал Настеньку; но незнакомое чувство ревности (для которой, как он знал, больше не было никаких оснований) доставляло ему удовольствие. Он себе не отказывал в недорогих удовольствиях.

— Как же не осел? И капюшончик на домино этакой востренький. Ну да, осел, совсем Родомонт-забияка, храбрый дурак...

XII

Маски были обязательны только в Тронном зале, в котором находился государь. Там должно было состояться и маскарадное шествие. Держа в левой руке черную бархатную маску, Талызин поднялся по лестнице в бель-этаж. Издали слышалась печальная музыка. По ступеням между балюстрадами серого мрамора поднимались люди в домино. Большинство, как Талызин, держали маски в руках. Лица разобрать было нелегко. В сенях и на лестнице еще стоял довольно густой туман, сквозь который прорезывались обведенные дрожащим круглым сиянием бледные огоньки свечей. Наверху в залах было светлее; там сырость была выведена лучше. Талызин остановился и спросил себя, идти ли в Тронный зал. Хотя Пален, которого он искал, скорее всего, мог находиться именно там, Талызин почему-то пошел в противоположном направлении. Звуки музыки удалялись и слабели. «Все равно в Тронном зале не разговоришься»,— подумал он. По огромным, холодным, не одинаково ярко освещенным залам Михайловского замка неуверенно, двумя вереницами, тянулись в обе стороны, лишь изредка отражаясь в зеркалах, большей частью потускневших от влаги, странные розовые фигуры с высокими капюшонами на головах. Несмотря на огромное число приглашенных, оживления не было никакого. Почти не слышно было и гула разговоров. Талызин здесь, как везде, знал множество людей, но никто к нему не подходил. Знакомые с принужденной улыбкой обменивались неловкими поклонами,— очень непривычно и неудобно было кланяться в маскарадном костюме. Иные военные подносили руку к капюшону и тотчас ее отдергивали. «Не весьма приятный бал»,— подумал Талызин. Вдруг впереди себя он услышал другую, веселенькую музыку. Оркестр играл что-то старое, давно знакомое. Талызин вошел в белый зал, где собралось купечество. Здесь танцевали, было шумно и как будто весело. В ту минуту, когда вошел Талызин, маленький духовой оркестр, расположенный не на хорах, а в самой зале, в углу, на мгновение перестал играть. Распорядитель, молодой человек в красном, расшитом золотом домино, закричал диким голосом, все росшим к концу фразы (так, что Талызин вздрогнул): «Штейнбасс! чудный веселостью контратанец, с превычурными балансеями!..»

В дверях зала Талызин столкнулся с Иванчуком, который, обмахиваясь маской (хоть вовсе не было жарко), разговаривал с хорошенькой, сиявшей весельем женщиной в

костюме ворожеи. Иванчук, видимо, был недоволен тем, что Талызин застал его в зале, отведенном для купечества (Настеньке здесь было гораздо приятнее и легче). Он вступил в разговор и с жаром стал описывать роскошь внутренних апартаментов ее величества.

— Мервейе, мервейе, женераль,— говорил он.— А тут забавно, правда, грасы [1] какие! Веселятся толстосумы...

— Разве пускают во внутренние апартаменты?

— Нас пустили,— небрежно сказал Иванчук.— Разрешите, генерал, познакомить вас с моей супругой,— добавил он и, взяв Настеньку за руку, сказал ей значительным тоном: — Настенька, генерал Петр Александрович Талызин, командир Преображенского полка... Рефюзе,— шепотом добавил он, показывая глазами на распорядителя, который, очень бойко улыбаясь, на цыпочках скользил к ним, очевидно с тем, чтобы пригласить Настеньку танцевать.

Талызин поклонился Настеньке, невольно задержавшись на ней глазами.

— Вы не видели, граф Пален в Тронном зале?

— Вы желаете поговорить с Петром Алексеевичем? — хитро улыбаясь, переспросил Иванчук.— Нет, нет, он не в Тронном, он только что был в Готлиссовой галерее, я как раз оттуда... Граф, кстати, сегодня не будет у высочайшего стола. Графиня Иулиана Ивановна приглашена, а граф...

— Это где, Готлиссова галерея? — перебил Талызин.

— Да вот отсюда налево, во внутренних покоях государыни, за концертной залой,— поспешно сказал Иванчук.

Заглаживая свою неучтивость, Талызин особенно любезно простился с Настенькой и поцеловал ей руку. Она покосилась на мужа и вспыхнула от удовольствия, чувствуя, что понравилась красивому генералу и что Иванчуку это чрезвычайно приятно.

— Милости просим к нам,— смущенно сказала она и спохватилась. Иванчук с ужасом взглянул на Талызина, но, не заметив на его лице никакого негодования, сам горячо добавил:

— И правда, Петр Александрович, если заедете, вы нас осчастливите...— Он торопливо назвал адрес и пожалел, что Талызин не записал.

«Отчего бы, в самом деле, ему не бывать у нас, хоть он и командир Преображенского полка,— с гордостью по-

---

[1] Великолепно, великолепно, генерал... грации.. (*франц.* Merveilleux, merveilleux, général... graces...)

думал Иванчук.— Со временем министры будут захаживать». Он ободрительно улыбнулся Настеньке, имевшей виноватый вид. Талызин поблагодарил за приглашение и отошел. У него осталось неприятное ощущение от тонкой улыбки Иванчука и от интонации, с которой тот спросил: «Вы желаете *поговорить* с Петром Алексеевичем?» — «Да, конечно, все уже знают»,— с тревогой подумал Талызин. В действительности Иванчук ничего не знал, кроме ходивших по Петербургу неопределенных слухов о заговоре. Он, собственно, ничего и не имел в виду, а улыбался хитро больше так, наудачу.

Внутренние покои государыни в самом деле были открыты в этот вечер, но людей там встречалось немного. Отдельные гости заходили посмотреть комнаты и тотчас исчезали. Талызин искал глазами Палена. Хотя мысли его были заняты предстоящим разговором, он невольно любовался красивыми вещами, которых было так много в этих комнатах. «Неужто подлинный Бернини? Нет, едва ли... Это хорошо, голубой бархат на фоне белого мрамора... Золота, пожалуй, слишком много. А все-таки хорошо. Надо будет у себя устроить такую же штуку... ежели на плаху не попадем». Звуки музыки стали слабеть. Гостей попадалось все меньше.

В большой комнате, расположенной за концертной залой, было зажжено лишь несколько канделябров по углам. Но в огромном мраморном камине горел яркий красный огонь. Спиной к нему, заложив назад руки, стоял Пален, разговаривавший с человеком еще выше его ростом. Больше в комнате никого не было. «Николай Зубов»,— с неудовольствием подумал Талызин, быстро подходя к ним. Что-то в виде этих двух громадного роста тяжелых людей в высоких острых капюшонах было неприятно Талызину. Их лица были странно освещены снизу, как у актеров от рампы. Тени захватывали всю длинную комнату, ложась снизу на стену. Подходя, он услышал конец разговора.

— Я Сашке зубы выбью, даром что обер-камергер,— говорил Зубов.

— Да не в этом дело...

— А я говорю, в этом... И Саблукову тоже зубы выбью...

Зубов был, как почти всегда, навеселе. Пален смотрел на него с любопытством.

— А, Талызин, рад видеть... Холодно как, правда?— произнес Пален. «Ох, и с ним будет разговор»,— подумал он утомленно.

— Ну, я пойду к буфету греться,— сказал Зубов, здороваясь с Талызиным.— Потом приходите туда оба, отличное у *него* бургонское...

Он вышел из галереи, немного пошатываясь (что казалось страшным при его гигантской фигуре). Пален, улыбаясь, смотрел вслед Зубову.

— И этот нужен, и этот,— с легким вздохом сказал он.— Там штейнбасс играют, правда?.. Ну, что нового?

— Я у вас о том хотел узнать, Петр Алексеевич.

— Все идет отменно хорошо, Петр Александрович,— сказал Пален с шутливой интонацией, относившейся как бы к сходству их имени-отчества.— Догадываюсь о том, что вы хотите со мной поговорить. Вы натурально желаете знать — *когда?*

— Именно... Но кроме того...

— Точно не могу сказать, когда,— перебил его Пален.— Точно не могу сказать, но скоро. Теперь очень скоро.

— Чего вы ждете?

— Жду, чтоб набралось человек пятьдесят — шестьдесят.

— Зачем так много?

— Меньше нельзя. Выйдет на дело пятьдесят, не льщусь, чтоб дошло десять.

— То есть как же это? Остальные погибнут,. что ли?

— О нет... Отстанут в дороге незаметно... Дело, знаете ли, нелегкое, многие оробеют. Это будет похуже сражения... Вы еще, быть может, хотите мне сказать, что пролонгации рискованны, что нас могут выдать. Весьма верно, это я слышу от всех. Все осуждают, вот только помогают мало... Ничего не поделаешь, надо под... Ведь оригинал «Афинской школы» [1], кажется, в Риме, правда? Превосходнейший этот гобелен en haute lisse [2],— совершенно не меняя выражения голоса, сказал Пален, показывая рукой на стену, а глазами, едва заметно, на дверь против камина. Стоявший к ней спиной Талызин с удивлением оглянулся. В галерею зашли два молодых человека. Они быстро оглядели комнату, робко взглянули на Палена и исчезли через минуту, показав, что не испугались важных людей.

— Кроме того, Александр все еще не дал своего согласия. Я принял намеренье нынче опять с ним говорить,—

[1] Фреска Рафаэля «Афинская школа» находится в Ватикане

[2] Гобелен, в котором нити основы расположены вертикально

продолжал нехотя Пален.— Наконец, не аранжирован деталь, от которого полагаю зависящим многое... Это не весьма вам интересно.

— Напротив того, весьма интересно. Какой же деталь, Петр Алексеевич? — хмурясь сказал Талызин.— Я полагаю, вы могли бы иметь более ко мне доверия.

Пален смотрел на него с неудовольствием:

— Не репорты же об этом печатать... Что ж, если вы так хотите знать... Это, кстати, недалеко отсюда...

— Как?

Пален отошел от камина, прошел по галерее до конца, заглянул в дверь и вернулся.

— Вы хорошо знаете Михайловский замок?

— Совсем не знаю,— ответил Талызин, вдруг побледнев.

Пален слегка развел руками с выражением: «иного от вас и не ожидал». Он еще подумал, затем подошел к другой двери, которой в полумраке прежде не замечал Талызин.

— Кириллов,— позвал Пален, приоткрыв дверь. Ответа не было.— Кириллов! — повторил он громче.— Верно, перепились по случаю праздника. Это вход в его приватные покои. Желаете пройти? Там никого нет.

Пален подошел к канделябру и вынул из него зажженную свечу.

— Пожалуйте,— сказал он с усмешкой, открывая дверь. Пламя свечи изогнулось горизонтально. Им в лицо подул резкий ветер. Пален закрыл дверь. За дверью было темно и холодно. Только в конце анфилады комнат мерцал легкий свет. Пален шел осторожно, внимательно наблюдая за дрожащим пламенем свечи. Талызин безмолвно, как зачарованный, следовал за ним в нескольких шагах, неуверенно ступая и вытянув вперед левую руку, точно он боялся на что-то натолкнуться или упасть в яму.

— Воску б не накапать,— не останавливаясь и не оборачиваясь, сказал шепотом Пален.— Это его библиотека.

— Не слышу... Что? — шепнул, неровно ступая, Талызин. Сбоку огромным голубоватым четырехугольником слабо блеснуло окно. За ним, чуть светясь, расстилалась снежная пелена. Где-то вдали дрожал звездочкой огонек. Свет ночника впереди приближался. Талызин стукнулся рукой о дверь. Они вошли в комнату, где горел ночник. Пален остановился.

— Здесь,— сказал он едва слышным шепотом. Талызин, сжимая плечи, с трудом переводил дыхание. В комна-

те было очень холодно. Его колотила нервная мелкая дрожь. Сердце стучало. Он хотел что-то сказать, но чувствовал, что язык может не подчиниться. Без кровинки в лице, он молча кивнул два раза головою.

Комната была обложена по стенам деревом и выстлана во всю длину очень мягким толстым ковром. В памяти Талызина навсегда остались освещенные бледным пламенем ночника конная гипсовая статуя, громадный камин, странный письменный стол с решеткой из слоновой кости, небольшая кровать за ширмами. Камин и кровать почему-то были особенно страшны Талызину. Он опять хотел что-то сказать, но вышло невнятное бормотанье. Талызин взялся рукой за грудь и сделал вид, будто кашляет. Вдруг сквозь открытую, дрогнувшую на крючке форточку ветер с силой ворвался в комнату и рванул пламя свечи. Тени взлетели по стене. Пален, распахнув домино, быстро заслонил свечу левой ладонью и сделал несколько бесшумных шагов к стене.

— Вот он, *деталь*,— сказал он, высоко подняв руки и осветив тяжелую дверь.

— Что такое? — прошептал Талызин.

— От этого все зависит. Потаенных дверей в спальной нет. Я выяснил. Но есть эта. Двери двойные. Стены толщины необыкновенной. Слышно оттуда не будет.

— Так что же? — еще глуше шепнул Талызин. Дрожь его все усиливалась.

— Пойдемте, там скажу,— ответил Пален. Он быстро обвел свечой вокруг себя. Пламя заколебалось. Огромная бесформенная тень метнулась по стене, покрыв часть потолка. «Точно дьявол в удушливом сне!..» — подумал Талызин. Они поспешно пошли назад. Вдруг издали донеслись веселые танцующие звуки духового оркестра. Пален задул свечу и приоткрыл дверь. В Готлиссовой галерее по-прежнему никого не было. Он вошел в комнату, вставил свечу в канделябр, снова ее засветив, вернулся к камину и принял прежнюю позу, не глядя на смертельно бледного Талызина.

— В чем же дело? — спросил наконец, овладевая собою, Талызин. Он все время нервно оглядывался на дверь.

— В том дело,— сказал Пален,— что, коль скоро зачнется в библиотеке шум, он бросится в те двери, поднимет крик, и через минуту в спальню ворвется стража.

— Да ведь караул будет наш?..

— Наш, наш? — повторил Пален, барабаня пальцами вытянутой руки по мраморной доске камина в такт доно-

сившейся музыке.— Офицеры наши, а за солдат могу ли поручиться? Очень действует на солдат вид русского царя...

— Что же вы хотите сделать?

— Я его убеждаю наглухо закрыть те двери. Намекаю, что гибель может прийти оттуда.

— Как так?

— Двери ведут в спальню императрицы. Моя задача теперь в разговорах с ним вселить против нее подозрение. Авось ли выйдет...

— Какая...

Талызин хотел сказать «Какая низость!»,— но опомнился. Пален посмотрел на него мрачно, перестал барабанить пальцами и повернулся лицом к камину, как бы показывая, что разговаривать больше не о чем. Усмешка сошла с угла рта Палена, и глаза его стали стальными.

— Мы, однако, порешили лишь отреченье,— нерешительно проговорил Талызин.— На убийство иные не пойдут...

Он сказал это и почувствовал, глядя на Палена, что неловко и незачем говорить пустяки.

— Не *идите*,— равнодушно ответил Пален.— Это делает честь вашему мягкосердечию. Займитесь среди сиротства вашего самоусовершенствованием — кажется, это так называется?.. Оно же и более еще безопасно.

— Нет, полноте, Петр Алексеевич, не для того говорю я, чтобы меняться с вами оскорблениями... Вы знаете, как я вас уважаю.

— Ah, je vous remercie [1],— резко сказал Пален, снова к нему поворачиваясь. Он перешел на французский язык.— Конечно, я очень дорожу вашим уважением, но боюсь, что мне никак его не заслужить. У нас слишком разные взгляды... Я желал бы, однако, знать,— добавил он, видимо сдерживаясь из последних сил,— я желал бы знать, чего вы все, собственно, хотите? По-вашему, то, что я делаю, подлость? Вы это хотели сказать? Ну, мы не сделаем подлости, *этой* подлости, он убежит, нас схватят, изрубят в куски тех, кто не дастся, других повезут в Тайную... Вы нас в застенке будете утешать тем, что мы подлости не сделали? Да мы уже сделали тысячу подлостей! Да, да, мы все — и вы в том числе... Нет, вы правы, уходите из комплота, Талызин. Предоставьте политическое убийство людям покрепче вас. Панин, по крайней мере, был диплома-

---

[1] Ах, благодарю вас *(франц.)*.

тичен: он вовсе об этом не спрашивал. «Не мое, мол, дело, устраивайтесь, как знаете. Мне главное, чтоб была конституция...»

Талызин молча его слушал. Он чувствовал большую усталость. «Ах, все равно, лишь бы скорее... Он прав, конечно... Да и вправду вздор все это. И угрызений совести не будет ни у него, ни даже у меня... Все вздор»,— угрюмо думал он.

— Вы меня не поняли,— сказал он сухо.— Я говорил не о себе... Но быть может, целесообразнее добиться отречения, чем убивать.

Пален засмеялся:

— Конечно, вы еще молоды, Талызин, но вам все-таки не двадцать лет и вы не сын Павла, как Александр. Подумайте о том, что вы говорите. Отреченье немыслимо. Ну, предположим, он отречется, как отрекся его отец. Куда вы его денете? В крепость? В загородный дворец? Да на следующий день его освободит гвардия! А не на следующий день, так через месяц, через год, когда найдется новый Мирович, честолюбивый офицер, который взбунтует свою роту солдат. Пришлось бы задушить его в загородном дворце, как задушили его отца. По-моему, гораздо менее гнусно убить самодержца, чем беззащитного узника... Говорить об этом незачем. Но вы должны были бы понимать, что нельзя оставлять в живых двух царей. Мы не можем рисковать судьбами Русского государства. Уж лучше провозгласить республику...

Оркестр в белом зале заиграл новый танец.

— Это матрадура,— сказал, прислушиваясь и улыбаясь, Пален.— Очень люблю... Вы не танцуете, Петр Александрович? Пойдем, что ж все говорить о таких неприятных предметах...

Они вышли в Концертный зал.

«Он щеголяет своим хладнокровием... И о матрадуре тоже сказал из щегольства. Умный человек, а хочет зачем-то походить на злодея из слезной драммы... Но в существе он совершенно прав,— думал Талызин, сожалея о том, что возражал.— Все это и просто и неоспоримо».

Пален смотрел на него и улыбался, качая головой в такт матрадуре. «И с этим каши не сваришь,— думал он ласково.— Этот еще из лучших... Нет, надо в *исполнители* взять немца. Без Беннигсена дело не выйдет».

XIII

Знакомых на маскараде было у Штааля немало, но как-то так вышло, что не к кому было пристать. Впрочем, ему этого и не хотелось. Тоска не покидала его ни на минуту. «Да в чем дело? — уже по привычке думал он, хитря сам с собою.— Деньги есть... Не очень много, конечно, однако я никогда не был так богат, как теперь... Или в Шевалиху так я влюблен, что ли?.. Если говорю Шевалиха, как Иванчук, значит, не так влюблен... Или заговора я боюсь?» — невинно подходил он к этому предположению, хоть с самого начала знал, что именно в этом все дело. Мысль о заговоре лежала у него на сердце камнем. «Raisonnons[1],— повторял он угрюмо в сотый раз.— Во-первых, никто меня не заставляет лезть в комплот[2]... Быть может, Ламор и прав. Что ж, не захочу, так и не полезу. Значит, вздор...» Но это рассуждение, как будто совершенно неоспоримое, не требовавшее никакого «во-вторых», его не успокаивало. «Нет, пойдешь,— отвечал он себе злобно.— Вот и не заставляет никто, и прав старик Ламор, а ты все-таки пойдешь... И попадешь, чего доброго, на дыбу в том деревянном строении в крепости.— Он не раз (особенно после встречи с Ламором) представлял себе дыбу, знал ее устройство и по ночам возвращался к ней мыслями.— По потолку через весь застенок идет тяжелый брус, на нем блок с веревкой в желобе. Разденут догола, на ноги бревно, руки выкрутят назад и свяжут ремнями (это у них называется хомутом). За хомут подвесят к блоку. Затем заплечный мастер в красной рубахе потянет веревку,— верно, так завизжит в желобе... Тело медленно поднимается, руки выйдут из суставов. Это *виска*, а потом будет *встряска:* он вскочит на бревно и запляшет... А после встряски бьют кнутом... Ну, да разве я одну *виску* выдержу?.. Верно, тотчас околею, и слава Богу... А ежели и через это пройти? Тогда из строения в длинную кибитку, под рогожу. Снизу отверстие, пищу подают и для всего... Да, хорошего мало,— говорил он себе, содрогаясь,— надо очень, очень подумать... Ну, а во-вторых? Какое-то у меня было еще во-вторых и в-третьих?.. Да, во-вторых, не я один, верно, в заговоре, а, быть может, десятки или, скорее, сотни людей. И Пален в том числе, за ним ведь не пропадешь...» Он искал глазами Палена (его многие искали в этот вечер) и вдруг невдалеке от себя увидел Иванчука

---

[1] Обдумаем (*франц.*).
[2] Заговор (*франц.* complot).

с Настенькой. Штааль холодно поклонился. Иванчук ласково-пренебрежительно кивнул головой. Настенька ответила неестественно-бесстрастным поклоном (она этот светский поклон нарочно разучила для встречи с Штаалем и даже заимствовала гордый поворот глаз из игры госпожи Шевалье в какой-то пьесе). Раскланялись, разошлись, и оба почувствовали, что все кончено навсегда. Их даже почти не взволновала встреча. Штааль нисколько не домогался больше любви Настеньки. «Все взял, хорошего понемножку, дай Бог счастья Иванчуку!» — говорил он себе насмешливо. Однако ее равнодушный поклон с гордым поворотом глаз был ему неприятен. Эта маленькая неприятность теперь легла в *кучу*, едва увеличив давившую его душевную тоску. «Черт с ней, с Настенькой! — пробормотал он сквозь зубы и опять, как часто в последнее время, с удовольствием почувствовал себя циником, для которого нет ничего святого.— Были бы деньги да здоровье, вот теперь и вся моя философия... Да, вот только заговор... А не спросить ли прямо у Палена: так, мол, и так, выкладывай, старый черт, все что знаешь, не то до государя дойду!..» Штааль неожиданно улыбнулся, почувствовав, как невозможно сказать этакое Палену.

Вдоль стены комнаты, по которой он проходил, тянулся буфет с огромными серебряными леопардами по краям. Буфетов в залах дворца было в вечер маскарада несколько. Но этот был особенно роскошный. У него стояли только люди с именем и с положением. Штааль еще раньше обратил на это внимание. Он подошел к буфету и строго приказал лакею в красной ливрее дать ему рюмку коньяку. Лакей с удивленным видом выполнил приказание. «Ну, вот, и легче стало... А ведь это всегда при мне будет, что бы там ни случилось. Уж водки никто не отнимет. В кибитку, под рогожу, через дыру, и то, верно, можно будет получить косушку...— Штааль представил себя лежащим в кибитке, на соломе, в темноте, под рогожей, с избитым, окровавленным телом...— Душно не будет, скорее холодно, ведь в дыру будет входить стужа,— морщась думал он и вспомнил, как в Сен-Готардском убежище платком затыкал отверстие в потолке чулана,— все не мог заткнуть.— Навсегда и это прошло... Никогда больше не увижу...» Ему вдруг до сладостной боли захотелось увидеть Сен-Готард, черную чашу озера с дрожащей водою, крошечный уютный чулан в монастыре. Штааль тыкнул вилкой в какую-то закуску, велел презрительно смотревшему на него лакею налить еще рюмку, проглотил коньяк залпом — и на

мгновенье поймал страшную мелодию, которую в ту ночь за дощатой стеной чулана играл на виржинале монах. На Штааля нахлынула радость. В ту же минуту донесшиеся издали звуки оркестра подхватили и снова унесли безвозвратно мелодию Сен-Готардского убежища...

— А я Сашке морду набью, будь он двадцать раз обер-камергер,— сказал поблизости густой бас. Штааль оглянулся и саженях в двух от себя увидел у буфета возвышавшуюся над всеми головой фигуру Николая Зубова. С Зубовым пил Уваров. Штааль вспомнил бал у князя Безбородко. «Ах, тогда было весело, не то что теперь!..» Жаль бедного Александра Андреевича... При нем все было по-иному... Лопухина тогда очень ко мне льнула, мог, мог сделать карьер... Того карьера не хотел, а на этот, значит, иду? Разве, впрочем, я только для карьера? А то для чего же? Ежели дело выйдет, я потребую два чина и сто тысяч чистоганом... Как же, однако, потребую? Условие, что ли, заранее заключить? Какую кость ни выкинут, все придется съесть. Могут ли дать сто тысяч на брата? Скажем, нас сто человек, значит, сколько выйдет на всех: сто на сто тысяч — пять да два, семь нолей, стало быть сто миллионов... Где же это взять? Таких денег нет и в казне,— огорченно подумал он и отошел от буфета, с ненавистью взглянув на Уварова.— Правда, мне могут дать больше, нежели другим... Какая, однако, будет моя роля в комплоте? Хорошо бы вправду спросить у Палена. Надо же каждому знать свое дело. А то пройти в Тронный зал, на того посмотреть?..»

У противоположной стены длинного зала он увидел госпожу Шевалье. Она была в костюме Астреи и с ног до головы залита бриллиантами, хоть это не очень шло к костюму. Перед артисткой, разговаривая с ней, кто-то сидел спиной к Штаалю. «Прелесть какая!.. Подойти?.. Ах, какой я осел! — Штааль вдруг радостно сообразил, что сделал ошибку в счете: ведь сто тысяч, помноженные на сто, составят не сто миллионов, а десять.— Ну да, семь нолей, десять миллионов... Ах, я осел!.. Десять миллионов отлично могут нам раздать, конечно, могут за такую услугу...» Говоривший с Шевалье человек повернул голову вполоборота. Это был Пален.

Штааль пересек зал в ширину и с беззаботным видом пошел вдоль длинной стены так, чтобы пройти в двух шагах от них. Не доходя немного до госпожи Шевалье, Штааль, до того старательно смотревший в другую сторону, как бы случайно перевел взор, быстро изобразил на лице

удивление и низко поклонился знаменитой артистке. Она взглянула на него через плечо сидевшего Палена и приветливо улыбнулась.

Она не помнила фамилии Штааля, не помнила, кто он, знала только, что он в нее влюблен. Это ей было не в диковину, но оттого ли, что Штааль был очень красив в этот вечер (ему шла бледность и усталое выражение,— он много пил и почти не спал в последние ночи), взгляд госпожи Шевалье задержался на нем гораздо ласковей, чем обычно. Он тотчас это почувствовал. Сердце у него забилось. Пален повернул голову в направлении взгляда артистки и тоже улыбнулся Штаалю. Он жестом подозвал молодого человека и, положив ему левую руку на спину, остановил перед госпожой Шевалье.

— Вы знаете этого молодого воина, богиня? — сказал Пален, вопросительно глядя на госпожу Шевалье и на Штааля: он не был уверен, свободно ли говорит по-французски Штааль.— Это наш будущий Суворов.

Штааль с глупо-радостным видом пробормотал что-то вроде «Vous me comblez, comte...» [1]. Но, сообразив, что эта фраза как бы признавала серьезным замечание Палена, он густо покраснел и добавил:

— Oh, quelle cruelle plaisanterie!.. [2]

Это замечание также показалось ему неудачным. Пален, однако, не очень его слушал. Убедившись, что Штааль говорит по-французски, он встал и посадил молодого человека на свое место.

— Посидите-ка заместо меня с коллежской асессоршей, господин поручик,— шутливо сказал он по-русски Штаалю (мужу госпожи Шевалье был недавно пожалован чин коллежского асессора).— Богиня...— прощаясь, произнес Пален, целуя руку госпожи Шевалье.

Ей не нравилось, что он называл ее déesse. Это напоминало ей, что она была богиней разума [3] в революционном Париже. Она смутно даже подозревала, что Палену это известно и что он называет ее богиней нарочно. Он и слово «богиня» произносил деловито и просто, как обыкновенный чин: так он называл Штааля поручиком.

— Вы меня покидаете? — недовольным тоном спросила госпожа Шевалье.

На лице Палена выразилось отчаяние. Он глубоко

---

[1] «Вы слишком добры ко мне, граф...» *(франц.)*.
[2] О, какая жестокая шутка!.. *(франц.)*
[3] См. прим. к стр 50.

вздохнул и приложил к сердцу руку, в которой держал маску.

— Да, я покидаю вас, богиня,— сказал он проникновенным тоном.— Я покидаю вас, но только на несколько минут. Мне надо показаться в Тронном зале. Затем я вернусь к вам и у ваших ног проведу остаток моих дней. Больше ничто нас не разлучит, богиня,— две жизни наши будут соединены навеки...

— Allez, allez, incorrigible farceur [1],— сказала госпожа Шевалье с безнадежной улыбкой. Ей очень нравился этот человек, говоривший с ней, как с идиоткой; нравился даже его тон, хоть иногда ее раздражал; так никто с ней не говорил. Разговор Палена почти всегда был совершенно неинтересен. Но всеми ясно чувствовалось, что Палену и неинтересно быть интересным. Это внушало большинству женщин легкое нервное волнение.

Пален поднял с отчаянием руки и отошел прочь, очевидно забыв о госпоже Шевалье в ту самую секунду, как они расстались. Артистка с досадой проводила его глазами, затем перевела взор на Штааля. Пален был настоящий человек; этот был один из сотни влюбленных в нее мальчишек. Но и он был недурен в своем роде.

— Eh bien,— произнесла она, решительно не зная, что сказать Штаалю.— En bien! Mais qu'est ce que vous devenez donc? On ne vous voit plus [2].

Сказалось это случайно, как-то само собой, но точно так, как если б Штааль постоянно, по нескольку раз в день, бывал у нее в доме, а вот в последние два дня не заглядывал. Лишь затем, прочитав изумление и счастье на вспыхнувшем лице Штааля, госпожа Шевалье спросила себя, был ли у нее вообще когда-либо этот молодой человек. Ей сразу вспомнились их немногочисленные встречи. Она смотрела на него и чувствовала, что теперь нельзя вернуться к тону хозяйки большого политического салона или же влюбленной в искусство великой артистки,— нельзя да и незачем. Она много выпила шампанского в этот вечер и была в особенном, раздраженном состоянии: Гагарина все время попадалась ей на глаза, и поклонники что-то не ходили толпами, как обычно. Госпожа Шевалье в упор смотрела на Штааля, и взор ее совершенно изменился.

— Alors quand? [3] — быстро и негромко спросила она с

---

[1] Идите, идите, неисправимый балагур *(франц.)*.

[2] Ну хорошо... ну хорошо! Но что же вы делаете? Вас больше не видно *(франц.)*.

[3] Ну, так когда? *(франц.)*

наглым выражением в голосе, чувствуя себя Мессалиной из какой-то пьесы.

Штааль смотрел на нее и не смел верить новому выражению ее лица. Но в выражении этом ошибиться было невозможно.

— Cette nuit [1],— прошептал он.

Она засмеялась:

— Et le gros, qu'en fais-tu?.. [2]

— Je m'en f... [3] — решительно сказал Штааль, следуя больше звуковому темпу разговора и не понимая, о ком идет речь. «Ее муж, сказывают, уехал за границу... Ах да, Кутайсов...»

— Non, pas aujourd'hui, mais j'arrangerai cela, mon petit. Et maintenant f... le camp... [4]

Она встала. Но точно ей мало показалось, она вдруг сказала негромко:

— Attends... Combien? [5]

Ей совершенно не были нужны его деньги, и она догадывалась, что их у него немного... Это она говорила для *ощущения*, молодея на десять лет и чувствуя себя уже не Мессалиной, а лионской уличной женщиной, какой она была в юности...

— Ce que vous voudrez... Ce que tu voudras [6],— растерянно сказал Штааль. «Осталось десять, нет, девять тысяч... Мало!..»

Она весело засмеялась:

— Tu es bête. Tu mériterais le fouet [7].

Походкой Астреи она направилась к дверям. Штааль растерянно смотрел ей вслед.

XIV

Пален прошел по залам и, не встретив нигде наследника престола, неторопливо опустился вниз, в его апартаменты.

— Его высочество здесь? — спросил он у старого лакея. «Кажется, и этот на службе у нас, в Тайной?» — подумал он.

---

[1] Сегодня ночью.. *(франц.)*
[2] А как же быть со значительным лицом? *(франц.)*
[3] Плевать мне на него... *(франц.)*
[4] Нет, не сегодня, но я это улажу, малыш. А теперь... *(франц.)*
[5] Погоди... Сколько? *(франц.)*
[6] Сколько хотите... Сколько хочешь *(франц.)*
[7] Ты скотина. Ты заслуживаешь кнута *(франц.)*.

— Так точно, ваше сиятельство. Прилегли в кабинете отдохнуть.

Пален без доклада прошел к кабинету Александра Павловича, едва слышно постучал и открыл дверь, не дожидаясь ответа. В слабо освещенной небольшой комнате великий князь, в домино, лежал на розовом бархатном диване, глядя вниз на ковер, подложив руку под щеку. Он поднял голову, вздрогнул и быстро сел, увидев внезапно появившуюся огромную фигуру гостя. Палена поразило скользнувшее в глазах Александра и мгновенно исчезнувшее выражение острой ненависти.

— Что? Что случилось?

— Ничего, ваше высочество, ничего не случилось. Я так хотел сделать вам посещение,— пояснил, улыбаясь, Пален.— Вы почивали?

«Что, ежели все дело ошибка? — тревожно спросил он себя.— Ну, да он не решится...»

— Ах, нет... Устал от маскарадной суеты и толкотни... Отлучился на четверть часа к себе... Садитесь, граф, гостем будете,— приветливо приятным мягким голосом сказал Александр, улыбаясь своей прелестной детской улыбкой.— Никто не видал, что вы прошли ко мне?

— Никто, кажется, кроме вашего лакея... Славный старик ваш Василий...

— Ах, да, хороший старичок, хоть немного плохоголов.

Пален уселся в кресло около дивана, поднял лежавшую на ковре маску наследника и положил ее на стол.

— Зачем вы утруждаетесь? Благодарствуйте... Хороши вы в домино, граф, совсем молодой человек. Очень вам идет.

— Да я и веду себя, как малолетний, ваше высочество,— весело сказал Пален.— Вообразите, только что строил куры госпоже Шевалье.

— О-о!..

— И правда, истая волшебница. Люди, имеющие сколько-нибудь крови в жилах, не могут, видя ее, не испытать амурного волненья,— сказал Пален, впрочем для амурного волненья довольно равнодушным тоном.— Изящнейшая эта ваша комната... Ведь оттуда ничего не слышно? — помолчав, добавил он невзначай.

— Очень славная комната,— точно не разобрав вопроса, сказал Александр. — А моя жена наверху, на бале...

— Да... Прекрасный маскерад.

— Исключая скуки...

— В ваши годы наскучить балами, ваше высочество! Вот чего мы не знали. Ах, как я был счастлив в больших обществах, когда был молод. И танцевал я до упаду.

— Неужели? В Риге?

— Нет, нет. Ведь юность моя прошла в Петербурге... Когда ваш покойный дед отрекся от престола, я служил в конном полку.

— Вот как, я не знал,— сказал Александр, внимательно расправляя золотую кисть подушки. Темно-голубые, не очень большие глаза его полузакрылись. Морщинки появились меж странно-белых бровей.

— Видел, видел, как тогда все сделалось,— пояснил, улыбаясь, Пален.

— Позвольте, сколько ж вам было лет? Лет семнадцать?

— Да, не более того... Поэтому я и не участвовал в деле, но видел и помню все, как ежели бы вчера было. Решительные были люди...

Александр не поддержал разговора.

— Вот ведь и *тогда* многие находили, что безысходно погибла Россия. И что же вышло? Вышло блистательное царствование... Россия не погибнет, пока будут у нее достойные граждане.

— Надеюсь, всегда будут, граф. И даже уверен, что будут...

— С высоты престола подается пример гражданам, ваше высочество. Это зависит и от вас.

— Дай Бог, дай Бог!

— Мудрая наша поговорка, ваше высочество, указывает: на Бога надейся, а сам не плошай.

— А я, чем более живу, тем яснее вижу, что мы, человеки, бессильны, а во всем воля Божия.

— Это весьма справедливо, ваше высочество,— сказал Пален.— Но в иных обстоятельствах жизни приходится нам делать дела решительные, во всем на себя полагаясь.— Он помолчал.— Если б так думала покойная бабка ваша и Алексей Григорьевич Орлов, то Россия, верно, теперь была бы провинцией прусского короля, которым был покровительствуем почивший дед ваш.

— Да, конечно, может быть, вы и правы.

— А вот, ваше высочество,— сказал, невесело улыбаясь, Пален,— очень мне *по-прежнему* любопытно знать,

как по-вашему я прав: *конечно* или только *может быть?*

— Этого я что-то не пойму, граф.

— Я скажу яснее, ваше высочество... Мы ведь не раз говорили... Говорю снова с достоверностью: скоро вам надлежит взойти на российский престол.

— Я от *вас* действительно это слышал, граф. Но напомню вам, я всегда в самом начале отвечал, что своего долга сына и верноподданного забыть не могу.

— Вы действительно всегда отвечали это в *самом начале*, ваше высочество,— сказал Пален и нахмурился.— А я вам говорю: забудьте, ежели так, долг сына и верноподданного, ваше высочество, перед первейшим священнейшим долгом гражданина.

Александр молчал. На лице его выразилось волнение. Пален знал, что великий князь всегда волнуется при этом доводе. «Или притворяется? Может, и то и другое?..»

— И вид, однако, у вашего высочества, истинно краше в гроб кладут,— со вздохом сказал как будто некстати Пален: он чувствовал, что это замечание должно быть приятно великому князю. Впрочем, лицо у Александра Павловича было действительно бледное и измученное.

— Странно было бы, ежели б не так было, Петр Алексеевич.

— Вам надлежит сделать над собою усилие. Сделайте это для России, ваше высочество... Помните, как вы ей нужны. Подумайте, что вы скоро будете царем.

— Ах, полноте!..

— Через месяц, ваше высочество.

Александр быстро на него взглянул:

— Почему через месяц?

— Может, и раньше. Но едва ли позднее.

— Я не хочу вас слушать, граф,— строго сказал наследник, качая отрицательно головой и совсем закрыв глаза.

— Да что же, ваше высочество, мы говорим без свидетелей,— сказал Пален, не сдержав раздражения (лицо Александра чуть дернулось),— и ведь не расписок же мы у вас просим.— Он спохватился.— Мы льстились заслужить ваше доверие. Я только хотел заметить вашему высочеству, ежели вы говорите о сыновнем долге: должно вам спасти жизнь государю.

— Как? — встрепенувшись, сказал Александр. Он оторвался от спинки дивана и весь наклонился вперед.

— Почем вы знаете, что на жизнь государя императора

не готовится покушение? Да, покушение... За несчетные обиды, за непристойную брань, за поносные поступки, за все, ваше высочество. Думаете ли вы, что все себе можно позволить над русскими людьми? — с силой сказал он.— Почем вы знаете, что один из тех офицеров, которых он приказал бить палками, не заколет его кинжалом хоть нынче на маскераде? Или у полковника Грузинова, засеченного насмерть по его велению, не осталось ни родных, ни друзей?

— Боже мой! — слабо вскрикнул Александр, закрывая лицо руками.

«Может быть, и вправду поражен?» — спросил себя Пален.

— Ваше высочество,— сказал он проникновенно.— Вы должны спасти от ужасной участи вашего отца... И *не его одного:* разные разговоры идут в гвардии, ваше высочество. Люди доведены до отчаяния. Дошло до того, что вспоминают ужасный пример Франции. Вы не только отца, вы Россию, быть может, спасете. Дайте нам согласие, и дело будет сделано. Ни один волос не упадет с головы вашего отца... Поверьте, и ему будет слаще жить, не делая зла, в каком-либо загородном дворце вдали от треволнений царствования. Подумайте о спасении души отца вашего. На ней много, очень много грехов, ваше высочество.

— Ах, Петр Алексеевич,— сказал с жаром Александр.— Если б это случилось, я окружил бы всем почетом, всеми возможными радостями жизнь моего отца, я превратил бы ее в вечный праздник отрады. Не один загородный дворец, все мои дворцы («мои»,— отметил мысленно Пален) были бы в его распоряжении. Я устроил бы ему театр, я поселил бы с ним Гагарину... Да мы все ездили бы к нему в гости...

— Истинно так, ваше высочество. И государь будет счастлив, гораздо счастливее, нежели теперь, творя ужасы и от них же первый страдая.

— Ах, граф,— с еще большим жаром сказал Александр, хватая Палена за руки.— Вы один имеете влияние на отца. Убедите его добровольно отречься от престола, и отечество благословит ваше имя...

«Он что ж, или почитает меня за дурака?» — удивленно подумал Пален, пожимая красивые слабые руки великого князя.

— Да ведь как сказать, ваше высочество? — начал он.— Мы и хотим убедить государя императора отречься

добровольно... Вся задача, как того достигнуть. Да, конечно, я имею на него влияние и слава Богу: истинно вам говорю, ваше высочество,— вставил он, опустив глаза, особенно подчеркнутым значительным тоном,— истинно вам говорю, ежели б не я, Бог знает, какое зло еще не свалилось бы на Россию, на царскую семью, *на вас*. Хоть и без всякой приятности, а скажу это вашему высочеству: все возможно в деспотической стране, и времена царевича Алексея еще, быть может, не миновали в России.— Он мельком взглянул на Александра и продолжал: — Да, я имею влияние на государя императора. Мы и надеемся убедить его добровольно отречься в вашу пользу. Но боюсь, не будет ли нерасчетливо следовать вами указанному. Сейчас дела наши в порядочном состоянии, но как бы не взяли тогда оборот неблагоприятный? Вы знаете нрав его величества... Ну, ежели я, например, завтра скажу ему в докладе: отрекитесь, государь,— будет ли толк, ваше высочество? Нет, ничего не будет,— разве лишь моя голова слетит с плеч... Впрочем, разрешите от имени вашего высочества предложить сию вашу мысль на обсуждение в тесном кругу. Посмотрим, что скажут другие.

— Нет, ради Бога, от моего имени ничего не предлагайте на обсуждение. Я только вам говорю.

— Я за лестнейший долг почел бы сделать вам угодное. Но соучастники *наши*, верно, отвергнут сию попытку... А может, признают, ежели ее делать, то не кому иному, как вашему высочеству. Хоть времена царевича Алексея и не миновали, а все же законный наследник трона может более уповать на снисхождение царя, нежели всякий из нас.

— Нельзя мне говорить в свою пользу: ведь я на престол взошел бы, а вы не имеете в деле интереса.

«Вот как»,— опять отметил в уме Пален.

— Мы все имеем интерес,— сказал он,— и о каждом такое же скажут. Ваше высочество в разговорах со мною и с графом Паниным не скрывали от нас намерения по вступлении на престол, уважая своими и нашими мыслями, ограничить произвол самовластья.

— Вы знаете, что это всегда было дражайшей моей мечтой.

«Voilà qui n'ést pas très clair» [1],— сказал себе Пален.

— Я предполагал, ваше высочество, что здесь не только прекрасная мечта ваша. Доброта вашего сердца, бла-

[1] «Вот это не очень ясно» (*франц.*).

городство ваших чувствований и помыслов хорошо нам известны... Ведь мы правильно поняли ваше высочество, разумея в словах ваших безотлагательное дарование России конституционного правления?

— Я ничего другого не желаю, граф.

— Вот наш интерес как граждан, любящих отечество. Могут быть и приватные интересы, но они лишены важности по сравнению с главным. Клеветники не устыдятся представить нас в худом свете. Пусть несут, что им угодно... Ваше высочество говорили о своем намерении поручить графу Панину управление иностранным ведомством. Ростопчин ведь никуда не годится, пустой и сварливый человек.

Он замолчал и вопросительно посмотрел на Александра.

— Вы знаете, я видеть не могу это калмыковатое лицо. Стыдно, что ему был подчинен такой человек, как Панин.

— Я точно того же мнения, ваше высочество. Панин честный, образованный и умный человек... Не без педантства, конечно, и немного ослеплен самомнением. Но лучшего слуги не найти вашему высочеству... Вы еще говорили, что на меня хотите возложить бремя общего руководства правительственными делами?

— И натурально поручить это умнейшему человеку России.

— Благодарю выше меры, ваше высочество, хоть это отнюдь не важно,— сказал Пален, низко кланяясь.— Мне для себя ничего не надо. Я не алчен к почестям... Возвращаюсь к тому, как достигнуть отреченья отца нашего. Я прямо скажу, ваше высочество, тут необходим моральный шок. Мы должны предстать перед государем в образе силы. Мы будем молить государя об отречении, но надлежит, чтобы он чувствовал за нами и силу. И для того нужно согласие вашего высочества.

— Я не могу дать вам согласия... Я и слушать вас не должен.

— Тогда ничего не будет,— твердо сказал Пален.— Без вашего согласия никто не захочет идти в дело.

Оба замолчали.

— Ваше высочество, избегайте порок нерешительности.

— Да я и замысла вашего в точности не знаю... Я не должен вас слушать, но доносчиком, граф, я никогда не был.

— Получив ваше согласие,— упрямо повторил Па-

лен,— мы ночью явимся к императору и будем молить его об отречении.

— И вас схватят.

— Я возьму на себя удаление ненадежных частей. Мы выберем день, когда в карауле будет войсковая часть, вполне преданная вашему высочеству... Вас так любят.

— Я не даю согласия, граф. Не знаю, так ли меня и любят. Разве третий батальон Семеновского полка? Там действительно солдаты и офицеры за меня в огонь и в воду....

«Il est très fort, ce petit,— сказал себе Пален.— Et ses renseignements sont exacts...» [1].

Он низко наклонил голову.

— Я не даю согласия, граф,— еще раз твердо и отчетливо повторил Александр.

Пален встал.

— Что ж, а маскерад, ваше высочество? Не пора ли вернуться? — сказал он, как бы не расслышав последних слов великого князя.

XV

Штааль, пивший с горя до разговора с госпожой Шевалье, теперь у того же буфета пил от радости и счастья. Сначала он пил один, потом с Иванчуком. Иванчук ненадолго оставил Настеньку, пристроив ее к каким-то хорошим дамам. У буфета он, однако, не задержался. И Штааль показался ему что-то слишком оживленным («верно выпил, еще наскандалит и меня впутает в истории»), и публику этого буфета он сразу признал уж слишком для себя важной: как ни приятно было бы с ней провести вечер, Иванчук чувствовал, что на это он все-таки еще не имеет права: может и не понравиться. Он чокнулся, однако, со Штаалем, еще с кем-то, *чуть-чуть* не чокнулся с Уваровым (чего ему очень хотелось), а затем вернулся к Настеньке. Штааль продолжал требовать то коньяку, то шампанского. Придворный лакей все презрительнее на него поглядывал из-за буфета, делал было вид, что не слышит требований, а раз даже сказал: «Вы бы лучше, ваше благородие, выпили клюковного морсу». Но Штааль в своем радостном возбуждении не обратил внимания на

---

[1] «Он очень сильный, этот малыш. И его сведения точны...» *(франц.)*

дерзкое замечание лакея. Он, впрочем, приобрел большую привычку к вину и мог, не пьянея, выпить очень много, даже меняя напитки. Штааль пил, и при мысли о госпоже Шевалье на лице его расплывалась самодовольная улыбка.

Бледный, расстроенный Талызин подошел к буфету и спросил бокал шампанского. Хоть на буфете стояли неопорожненные бутылки, лакей сломя голову бросился к огромному серебряному чану со льдом доставать новую бутылку для гостя, известного всему Петербургу своей щедростью и богатством. Штааль сбоку глядел на соседа, с которым не был знаком. Талызин рассеянно на него взглянул, что-то вспомнил и протянул руку Штаалю.

— Я вас знаю,— сказал он, приветливо, хоть невесело, улыбаясь и повышая голос, чтоб покрыть доносившиеся из Тронного зала звуки оркестра.— Вы Штааль? Мне говорил о вас граф Пален. Будем знакомы.

— Я чрезвычайно рад, ваше превосходительство...

— Пожалуйста, без чинов на бале.

Пробка хлопнула. Талызин оглянулся и знаком приказал налить шампанского Штаалю.

— Выпьем вина... Послушайте, отчего вы никогда ко мне не зайдете? У меня по понедельникам — хоть тяжелый день — бывает вечерами много молодежи... Всякий понедельник, вот только не завтра. Завтра ничего не будет...

— Я с наслаждением приду,— горячо сказал Штааль. Он не очень искал знакомств в аристократическом кругу, но всегда бывал рад им. Приглашение в дом Талызина считалось немалой честью. Об его понедельниках Штааль слышал от де Бальмена, который, видимо, гордился этим знакомством. Штааль знал также, что Иванчук давно старается попасть к Талызину и все тщетно. Это, впрочем, происходило по случайности: Талызин охотно позвал бы и Иванчука.

— С моим наслаждением приду,— повторил горячо Штааль и вдруг, краснея, решил, что обнаружил слишком много радости.

— Вы говорите, по понедельникам, Петр Андреевич? — равнодушным тоном переспросил он, хотя отлично знал, что Талызина зовут Петром Александровичем.

— Петр Александрович...

— Ах, ради Бога, извините...

— Так в следующий же понедельник и приходите... Ваше здоровье...

— О вас говорят, Петр Александрович, будто вы раз-

личаете марки и год шампанского,— сказал Штааль, выпив залпом бокал вина и уже не считая нужным скупиться на любезности со столь любезным человеком.

— Прежде с легкостью различал. Теперь я меньше пью, могу ошибиться,— сказал, улыбаясь, Талызин.— Это, верно, Моэт, а какой год, не знаю, только очень хороший сухой год... Так и есть, Моэт,— проверил он по бутылке.— Славное вино... А вы обратили внимание на серебро? Оно, полагаю, лучшее в мире: аглицкое рококо. Это все подарки аглицких королей нашим царям, еще со времен Ивана Васильевича. Теперь у короля Георгия таких леопардов и в помине нет. Взгляните на эти кубки, грани что у бриллианта, правда?.. А вот та чаша, видите, посредине стола? Это знаменитая чаша Тюдоров, работы шестнадцатого столетия.

— Ведь правда, ни при одном дворе нет такого богатства, как у нас?

— Теперь, конечно, ни при одном... Но чего же это и стоит народу!..— добавил Талызин, точно что-то вспомнив.

— Да, конечно,— сказал Штааль с неприятным чувством, подумав опять о заговоре. Музыка вдруг оборвалась. Все почему-то встрепенулись. В ту же секунду из Тронного зала послышалось не очень стройное пение хора.

— Это, верно, маскарадное шествие,— сказал с живостью Штааль.— Старинная фигура: «Пришествие Астреи, или Золотой век», я слышал, прекрасно поставлено. Не пойдем ли полюбоваться, Петр Александрович?

Он давно хотел пройти в Тронный зал, но один не решался.

— И то надо бы посмотреть,— нехотя ответил Талызин.— Ну, спасибо, братец,— сказал он низко поклонившемуся лакею.— Да, правда, надо маски надеть,— добавил он, увидев, что некоторые из гостей стали надевать маски.— В Тронном зале для всех обязательно, без маски только государь. Таков обычай, идет еще от Людовика XIV. Впрочем, перед вхождением успеем надеть, а то и ходить в масках очень неудобно.

Они пошли по направлению к Тронному залу, куда со всех сторон стремились теперь гости. Сзади кто-то окликнул Талызина. Оба оглянулись. Их нагонял Пален.

— А, вы знакомы? — весело сказал он, увидев Штааля. Он говорил очень громко, покрывая шум шагов и голосов.— Что ж вы, молодой человек, бросили коллежскую

асессоршу? (Штаалю решительно не нравилась эта шутка.) Так вы знакомы?

— Только что познакомились.

— Вот отлично. Весьма рекомендую вам, генерал, этого молодого человека.— Он дружески потрепал Штааля по плечу и отошел улыбаясь.— Ах, да, Петр Александрович,— прокричал он, поманив к себе Талызина.— Он согласился.— Пален с усмешкой кивнул головою, чуть подняв плечи.— Согласился... Так в Тронном зале встретимся?

Штааль с удивлением увидел, что Талызин внезапно изменился в лице. Но внимание Штааля было тут же отвлечено. К ним, еще издали томно-задорно улыбаясь, подплывала Екатерина Лопухина. «Ах ты, черт!» — пробормотал сердито Штааль: юркнуть в сторону было невозможно. Лопухина искоса смотрела на него так, как если б очень хотела расхохотаться, но удерживалась из последних сил. С некоторых пор она усвоила со Штаалем (как, впрочем, со многими другими людьми) такой тон, будто он страстно в нее влюблен, но по известным ей, понятным и очень забавным причинам тщетно старается скрыть свою страсть,— да шила в мешке не утаишь. Лопухина подплыла к Штаалю, сияя от сдерживаемого смеха, протянула руку для поцелуя и с легким криком отдернула, точно испугалась,— как бы он тут же на нее не набросился. Талызин, который терпеть не мог Лопухину, хотел пройти вперед.

— Ах, вы идете в Тронный зал,— потупив глаза, томно прокричала Екатерина Николаевна с выражением крайней зависти, как если бы ей это было строго запрещено (сочетание ее опущенных глаз с крикливым голосом еще больше раздражило Штааля).— Вы увидите прелестную госпожу Шевалье? — Она по-прежнему восторгалась красотой французской актрисы, особенно подчеркивая, что не завидует и не может ей завидовать, не то что другие женщины.— Какая волшебница, не правда ли?..

Талызин развел руками и решительно направился вперед, надевая на ходу маску. Штааль сделал то же самое. Лопухина поплыла вслед за ними, с трудом сдерживая смех. В галерее арабеск, последней комнате перед Тронным залом, гости на цыпочках теснились к дверям, за которыми слышалось пение. В толпе Штааль потерял Талызина. Лопухина тоже отстала. Штааль протиснулся к входу, но войти в Тронный зал оказалось невозможным: у дверей внутри зала стояла сплошная стена людей, кото-

рые не хотели или не могли идти дальше. Здесь собрались преимущественно дамы. Вытянувшись на цыпочках, Штааль мог видеть то, что происходило в горевшем огнями колоссальном зале. У длинной стены неестественно, чуть не навытяжку, стояли, плотно прижавшись друг к другу, в два ряда, люди в домино, капюшонах и масках. По залу шла маскарадная процессия. Быстро окинув ее взглядом, Штааль стал искать глазами императора. «Ах, досада, надо бы пробиться дальше...» Прямо перед собой в самой середине процессии он увидел госпожу Шевалье. Участники шествия не носили масок, но загримированные лица их были затянуты газом. Астрея медленно в такт музыке скользила по залу. Впереди нее шли с пением *отроки* в белых балахонах, с оливковыми ветвями в руках. Они шли в ногу и держали оливковые ветви как ружья. Позади Астреи тоже следовали люди, какие-то старики, увенчанные лавровыми венками. У одних венки были надеты набекрень; у других сидели на макушке; третьи поддерживали их руками, видимо мучительно боясь испортить сложную прическу. Позже Штааль узнал, что старики эти изображали стихотворцев, философов, законодателей, которые в свите Астреи приветствовали пришествие Золотого века. Штааль не мог оторвать глаз от красавицы. Она одна, по-видимому, не испытывала никакого смущения. Штааль замирая освобождал ее глазами от легкого костюма Астреи. Вдруг он чуть не вскрикнул. Где-то наверху, почти у самого потолка зала, перед ним мелькнуло и исчезло знакомое искривленное, землисто-бледное лицо. Прямо перед Штаалем покрывало стену знаменитое зеркало Михайловского замка, считавшееся самым большим в России. В Тронном зале сырости не было, и зеркало все отражало, так что в первую минуту Штааль его и не заметил. Он схватился рукой за маску, поправил на глазах прорезы, протиснулся в дверях и снова поймал в зеркале бескровное лицо Павла. Опустив руки на колени, чуть наклонившись вперед, император сидел в углублении стены на очень высоком красном троне, к которому шла лестница. На широких ступенях трона стояли как статуи люди в черных масках. Штаалю показалось, что в одном из них, стоявшем ступенью выше других, он узнал великого князя Александра. «А этот высокий, кажется, Пален? Да, конечно, это он...»

Штааль вгляделся в мертвенное лицо с остановившимися, выпученными глазами и вдруг почувствовал себя нехорошо. «Кажется, я слишком много выпил»,— подумал он

тоскливо и с остервенением стал пробиваться назад. За ним уже стояла стена народа, но человека, освобождавшего место, выпустили легко. Штааль, пошатываясь, пошел по совершенно опустевшей комнате и тяжело опустился в углу в кресло под висячей лампой. «Да, не надо было так много пить. Как неприятен этот резкий свет!.. Я не пьян, конечно, сейчас все пройдет. Но зачем, зачем я ввязался в это дело?..»

Пение в зале становилось стройнее и увереннее. Штааль мог разобрать слова: «Ликовствуйте днесь, ликовствуйте здесь, воздух, и земля, и воды»,— пел хор отроков.—«Да, ликовствуйте... Нечего мне ликовствовать... Пропаду ни за грош...» Ему снова вспомнился бал у князя Безбородко,— там тоже был этот страшный землисто-бледный человек. «Вот и опять... Повторилось... Тогда Лопухина, теперь Шевалье... Как странно, однако,— с неизъяснимой тревогой подумал Штааль.— Да что же тут странного? Вполне натурально... Вздор!.. Тот сумасшедший старик думал, что все происходит в жизни два раза. «Deux est la nombre fatidique!» [1] — вспомнил Штааль запись в тетради Баратаева... Мучительная тревога его все росла...— Ах как режет глаза и греет этот проклятый свет!» — подумал он, щурясь и поднимая голову.

Лампа над ним висела действительно очень низко. Проходивший по галерее арабеск лакей приблизился к Штаалю и сбоку от него, перегнувшись над большой порфирной вазой, потянул вниз спущенную по стене серебряную цепочку. Лампа, висевшая на блоке, с легким визгом поднялась. Штааль, согнувшись, смотрел мутным взором на человека в красном костюме.

XVI

«Ma réponse, encore et toujours, est non. Pouviez vous en douter un instant?

Je ne puis vous empêcher de porter ce coup fratricide et insensé. Mais que vous comptiez sur moy, cést trop fort!

Je ne donne pas la mort. C'ést à sa négation que je vise. La vie est déjà assez courte. Décidément nous nous valons tous, surtout dans la stupidité.

Cent fois *non*.

Et une page de Suétone sur laquelle vous feriez bien de méditer:

«Sed Caesari futura coedes evidentibus prodigiis denuntiata est... Percussorum autem fere neque tridnnio quisquam amplius

[1] «Два есть число вешее!» *(франц.)*

supervixit, neque sua morte eefunctus est. Damnati omnes, alius alio casu periit» [1]

Баратаев запечатал письмо и надписал: «Милостивому Государю Петру Александровичу господину Талызину в собственные руки».

XVII

То мучительное душевное состояние, в которое впал после маскарада Штааль и которое теперь называется неврастенией, тогда приписывалось действию «паров» и так и называлось «ваперы». От него, как теперь, врачи лечили каплями. Житейская же мудрость советовала прибегать к вину. Штааль с отвращением глотал Гарлемские капли и, убедившись, что пользы от них нет никакой, обращался к бургонскому, к коньяку, к водке. Он пил в одиночку. Вино помогало, но ненадолго. Через час-другой состояние Штааля становилось еще мучительнее.

Хуже всего было по утрам. После тревожной тяжелой ночи он просыпался рано, с первым светом дня. Еще прежде, чем он приходил в себя, им овладевали беспричинный ужас, болезненная тоска. Судорожно подергиваясь, плотнее закутываясь в одеяло (ему теперь всегда было холодно), он припоминал, что такое еще случилось. Обыкновенно и припоминать было нечего: в эти дни в его жизни никаких событий не происходило. Тем не менее ужас и тоска не исчезали. Если же накануне случалась неприятность (чаще всего какая-нибудь новая приходившая ему в голову мысль), то неприятность эта, хотя бы самая ничтожная, немедленно представлялась Штаалю несчастьем. Вздрагивая под одеялом, он лежал в постели часами. Иногда первый же стакан чаю он с утра обильно разбавлял коньяком. Становилось легче. Штааль сбрасывал с себя одеяло, умы-

[1] «Мой ответ, снова и навсегда,— нет Неужели вы могли хоть на минуту усомниться в этом? Я не могу помешать вам нанести этот братоубийственный и безумный удар. Но то, что вы рассчитываете на меня, это уж слишком!

Я никого не убиваю. Моя цель — отрицание смерти Жизнь уже достаточно коротка. Решительно, все мы стоим друг друга, особенно в глупости.

Сто раз *нет*.

Вот страница из Светония, и вы хорошо сделали бы, если бы поразмыслили над ней *(франц.)*.

«Между тем приближение насильственной смерти было возвещено Цезарю самыми несомненными предзнаменованиями.. Из его убийц почти никто не прожил после этого больше трех лет и никто не умер своей смертью. Все они были осуждены и все погибли поразному» (Светоний. Жизнь двенадцати Цезарей. *Перевод М Л Гаспарова)*

вался, одевался и через некоторое время с головной болью снова ложился в постель. Он почти не выходил из дому.

Ему становилось лучше лишь с наступлением темноты. Затворив на запор дверь, он тщательно опускал шторы, проверял заряд пистолета, привычным усилием, морщась от боли в верхней части ступни, стаскивал с себя сапоги, поспешно раздевался и тотчас гасил свечу. Штааль так уставал за день (ровно ничего не делая), что ему казалось, будто он как ляжет, так и заснет тотчас глубоким сном. Но стоило ему лечь, немного угреться в постели, и мозговая усталость проходила, заменяясь лихорадочным оживлением мысли. Это, однако, его не тяготило. Он с наслаждением думал, что тишина, темнота, полное одиночество продлятся не менее десяти часов. К середине ночи он засыпал. Сон его был неизменно беспокоен. Его мучили кошмары. Чаще всего он видел во сне бревенчатое строение Тайной канцелярии.

Штааль догадывался, что лучшим средством борьбы с ваперами была бы работа и общество приятных людей. Но дела у него в эти дни не было никакого. С новым служебным назначением вышла случайная задержка. Люди же, почти все, были ему противны до отвращения. Как назло пропал куда-то де Бальмен. К собственному своему удивлению, Штааль и о госпоже Шевалье думал в эти дни мало. Первые два дня после маскарада он ждал от нее вестей. Никаких вестей не было. Это, однако, не слишком его огорчало. «Еще одна завязка без продолжения,— пренебрежительно говорил он себе, точно в его жизни было так много таких завязок.— Нет, видно, это и с моей стороны было менее сурьезно, нежели я думал. Да и ясно теперь, что она за женщина...» В том состоянии, в каком он находился, ему было не до любви,— он боялся даже оказаться не на должной высоте и пробовал, кроме Гарлемских капель эликсир столетнего шведского старца. «А может, я просто спятил? — с тревогой думал он.— То влюблен как мальчишка, то не сурьезно...» Он теперь находил также, что слишком опрометчиво, на вопрос «Combien?» [1] Шевалихи, ответил ей: «Ce que tu voudras» [2]. Остававшиеся у него девять тысяч для нее были явно на один глоток,— она могла потребовать и больше. Но и девяти тысяч было жалко. Штааль едва ли не впервые в жизни ощущал теперь материальную обеспеченность — не имел хоть забот, как све-

---

[1] «Сколько?..» *(франц.)*
[2] «Сколько хочешь» *(франц.)*.

сти в течение месяца концы с концами. Деньги не принесли ему счастья; но без них, он знал, и его бедственное душевное состояние стало бы много хуже. «Нет, это было не сурьезно, и вовсе не ce que tu voudras»,— неуверенно думал Штааль. Молчание госпожи Шевалье тяготило его разве лишь, как новое доказательство неблагосклонности к нему судьбы. «И здесь не повезло,— во всем всегда не везет...»

Как ни мучительна была для Штааля мысль очутиться в большом незнакомом обществе, в котором надо было бы разговаривать, сидеть, а не лежать, и быть одетым по форме, он с жутким нетерпением ждал вечера у Талызина. Что-то ему говорило, что вечерние сборища у командира Преображенского полка имеют близкое отношение к нависшему над Россией и над ним грозному, таинственному делу. Штааль смутно чувствовал, что визит этот многое уяснит и, быть может, его успокоит. Однако в воскресенье он получил краткую записку: Талызин в самой любезной форме извещал, что завтрашний прием отменяется и что он непременно ждет гостя в следующий понедельник. Записка была писана канцелярским почерком: только имя и отчество Штааля во второй строчке, после обращения «дорогой друг», были вписаны рукой, которой принадлежала подпись. Сообщение о том, что долгожданное свидание откладывается еще на целую неделю, произвело ужасное впечатление на Штааля. Мучаясь вопросом, почему отложен прием у Талызина, Штааль десять раз перечитывал записку, вдумывался в каждое слово и не находил ответа. Может быть, заговор раскрыт — тогда не будет ли тяжкой уликой это приглашение? Ведь через писарей и проследят, кого именно звали. Как только эта мысль пришла Штаалю, он сжег записку — в другое время было бы очень приятно при случае показывать приятелям письмо от одного из первых людей столицы с обращением «дорогой друг» (хотя бы писанным рукой канцеляриста) и с указанием его имени-отчества. Затем он с ужасом подумал, что, быть может, кто-либо оклеветал его перед Талызиным, назвал ненадежным человеком или даже предателем. Ничто решительно не говорило в пользу такого предположения. Текст записки (Штааль вспоминал каждое слово) был, очевидно, одинаков для всех приглашенных. Да и самое приглашение не отменялось, а лишь откладывалось на неделю. Тем не менее предположение это было невыносимо. Штааль спал ночью еще хуже обыкновенного. Он проснулся в шесть часов с сознанием, что случилась катастрофа и что с мыслью

о ней надо будет жить и весь этот день; и следующий и так до ближайшего понедельника.

Он лежал на краю постели часа два, скосив глаза вниз и внимательно пересчитывая половицы. Этим он подолгу занимался в спальной по утрам. Сосчитать было трудно — мешал лежавший у стены ковер. Штааль измерял его мысленно, определяя на глаз число покрытых ковром половиц. Денщик принес ему стакан чая с лимоном — Штааль в последние дни ничего не ел по утрам. Он жадно отхлебнул из стакана, приподнявшись на локте. Но усилие было слишком велико. Как тяжелобольной, он в изнеможении снова опустил голову на подушку, закрыл глаза и задумался.

«Ну да, это ваперы,— думал он,— это может случиться со всяким... В трусости, в недостатке мужества никто меня не упрекнет. Ламор правду говорит, что нет вполне храбрых, ничего не боящихся людей, что храбрость есть самая неопределенная штука. Он еще цитировал Фенелона... Кажется, Фенелона?.. Да, как это?.. «Le courage humain est faux, c'est un effet de la vanité: on cache son trouble...» [1] Значит, память еще работает, несмотря на ваперы... Сколько храбрых людей, столько и храбростей. Конечно, у меня нет того мужества, что было у князя Мещерского, перешедшего под огнем по бревну через Руссу на Чертовом водопаде. Он, однако, упал на колени, когда перебежал на левый берег... У меня нет и выдержки старика Суворова, на то он и Суворов. Но я вел себя в походе не хуже других, лучше очень многих, и опасность, к которой бывал я подготовлен, никогда меня не пугала. Я выйду охотиться на медведя, соглашусь стреляться с опытным дуэлянтом... В Париже я один вершок был от смерти... Ну, да! — радостно вспомнил он,— конечно, тогда опасность была похуже нынешней: шутка ли, Питтов агент в Париже в пору террора! И вынес ведь... Правда, и тогда был страх, были кошмары, были бессонные ночи... А все же не было того, что сейчас... Да что же, какая опасность может мне теперь грозить? Ежели только меня не связывает тот разговор с Паленом... Может статься, я у них значусь в списках...» — угрюмо думал он.

Штааль с тревогой замечал в себе признаки большого душевного расстройства. На столике возле постели у него постоянно лежал заряженный пистолет. Он испытывал больше, чем когда-либо прежде, то особое чувство свободы, которое дается постоянным обращением с оружием. «Де-

[1] «Человеческая храбрость обманчива, это следствие тщеславия: люди скрывают свое смятение...» *(франц.)*

шево себя не продам, а застрелиться всегда успею. Нет, не дойдет до дыбы,— думал он, соображая, сколько времени *им* понадобится для того, чтобы взломать дверь и ворваться в его комнату.— Разве врасплох схватят? Надо, надо быть осторожным...» Он теперь очень тревожился относительно входной двери; иногда вечером, ночью, по два, по три раза вставал, выходил в переднюю, проверял запор и заодно прислушивался — не слышны ли на лестнице тяжелые шаги гвардианов.

XVIII

Дядьки на руках перенесли пажей через мокрое грязное крыльцо и усадили в давно дожидавшуюся огромную придворную карету. Пажи, назначенные на дежурство при высочайшем столе, тщательно вымытые, в непривычных французских костюмах, в новых шелковых чулках, сидели в карете без шляп, чтобы не смять сложной прически. Им было жутко и весело. Разговаривать они не смели: пажеский надзиратель, прозванный в корпусе «зайцем», имел вид очень хмурый. Однако при въезде в Михайловский замок самый бойкий из пажей, Костя Бошняк, не утерпел, наклонился вперед и прижался лицом к стеклу кареты, чтоб посмотреть, как опустится подъемный мост, о котором ходили в корпусе таинственные волнующие слухи. Но Косте ничего не удалось увидеть. Никакого подъемного моста не было, да и «заяц» больно дернул Костю за ухо — за самый низ, чтобы не испортить ailes de pigeon [1] над ушами. Карета остановилась. Дядьки соскочили с запяток и снова вынесли взволнованно на подъезд пажей одного за другим. Стало очень светло и тепло. Золото, мрамор, хрусталь ослепили глаза Косте. Он видел только, что шедший сбоку от них надзиратель имел здесь далеко не такой величественный вид, как в корпусе. Это было приятно. Затем, в одной из бесконечных великолепных зал, раззолоченный старичок с палочкой в руке (важный человек, судя по виду и по тому, как с ним говорил «заяц») долго и ласково учил порядкам пажей. Этому, впрочем, их учили и в корпусе на уроках учтивства и благопристойности; устраивались даже репетиции. Пажи, находившиеся в том возрасте, когда нельзя разобрать, где кончается застенчивость и где начинается глупость, слушали старичка плохо. Он вздох-

[1] Крылья голубя *(франц.)*.

нул, посмотрел на часы, простился с надзирателем и повел пажей в столовую. Здесь у Кости совершенно разбежались глаза. У стены большой комнаты во всю длину выстроились лакеи в пышных красных ливреях, все такие громадные, что даже Володя, камер-паж, которому было семнадцать лет, приходился им по плечо, и сам учитель русского языка, прозванный в корпусе пихтою, был, пожалуй, их пониже. На стоявшем посредине комнаты огромном, покрытом белоснежной скатертью столе горели в канделябрах свечи. «Золотые канделябры!» — подумал благоговейно Костя. Все на столе, как в сказках, было золотое или хрустальное. В золотых вазах лежали такие фрукты, каких Костя отроду не видал (он, хоть и учился в Пажеском корпусе, был из очень небогатой семьи). Другие золотые вазы были полны доверху конфет. «Вот как живут, счастливцы,— подумал Костя.— Мне так не зажить». Он задумался, будет ли когда-либо царем. Надежды было мало. «Может, завоюю какое-нибудь царство в Африке»,— успокоил он себя, понемногу осматриваясь. В комнате было два камина, но ни в одном не горел огонь. «Чудаки или скупятся? — спросил себя Костя.— И то холодно, как у нас в дортуаре». По сторонам от каминов картины изображали войну. Это было бы интересно рассмотреть получше, но старичок как раз поставил Костю на его место, слева от Володи, позади зеленого бархатного стула. Таких стульев в комнате было всего семь. Посредине, перед Володей, стоял стул пошире, тоже зеленый бархатный, но весь расшитый золотом и с огромным золотым гербом на отвале. Другие стулья — всего штук двадцать — были красные. На них лежали зеленые, не бархатные, а штофные подушки. Костя знал, что на стульях, за которыми их расставили, будет сидеть царская семья, а впереди камер-пажа Володи, на стуле с золотым гербом, сам государь.

— Кубок его величеству, миленький, буду подавать я сам,— ласково-убедительно говорил раззолоченный старичок, точно упрашивая пажей согласиться на такой порядок.— Вы на меня, миленькие, смотрите: чуть что, я мигну, поймете. А как я возьму у тебя кубок, миленький, ты скоренько возьми у меня жезл, а потом тотчас и отдай, вот и хорошо будет...

Костя слушал плохо, довольный тем, что самая трудная роль выпадала на долю Володи, который заметно волновался. Косте очень нравились непривычные слова «кубок», «жезл». Он их знал только по книжкам; до того он и не догадывался, что палочка в руках старичка была жезлом. За-

тем каждому из пажей дали в руки по серебряной тарелке. Костя совершенно не знал, что с ней делать: о тарелках в корпусе на ученье им забыли сказать. Он украдкой посмотрел на камер-пажа. Тот держал тарелку впереди себя, приложив ее краем к груди. Костя сделал то же самое. Было неудобно и смешно.

— Ну вот, отлично понял, миленький,— говорил камер-пажу старичок.— Ну, вот и славно, молодцы, мальчики, молодцы!

Володя поклонился головой и тарелкой. Косте стало еще смешнее. Он хотел что-то шепнуть соседу, но вдруг вытаращил глаза. В столовую комнату вошел очень маленького роста человечек в разноцветном коротеньком халате, из-под которого виднелись красный и зеленый сапожки. Лицо у этого человечка было ярко раскрашено; он носил усы, закрученные кверху и продетые в кольца,— слева золотое, справа серебряное. На щеке у него была наклеена огромная мушка, как у генеральши, жены директора корпуса. К изумлению Кости, старичок в раззолоченном мундире не принял никаких мер против вошедшего, рассеянно на него взглянул и совершенно так же, как им, сказал ему: «Здравствуй, миленький».

— Это царский шут,— шепотом пояснил Косте камер-паж. Шут подошел к ним, вытащил из-под стола скамеечку и, видимо, с трудом опустившись, сел позади царского стула.

— Эх, старость не радость,— сказал он угрюмо. Молодой лакей, восторженно глядевший на шута, радостно фыркнул. Шут мрачно на него посмотрел.

— Чего смеешься, с... с...? — сказал он сердито.

— Ну, ну, ты потише, миленький,— укоризненно заметил раззолоченный старичок.— Какие ты слова при невинных детках говоришь, а?

Косте стало еще веселее оттого, что это они невинные детки и что при них, по мнению старичка, нельзя говорить такие слова. Он пришел в столь радостное настроение, что даже вход высоких особ не произвел на него большого впечатления. В шедшем странной походкой впереди человеке Костя сразу признал государя, хоть никогда его не видал и хоть портрет в корпусе большим сходством не отличался. Его немного удивило, что государь был не выше Володи (Костя иначе представлял себе царей) и что он все время фыркает. Наследника, который приезжал к ним в корпус, Костя видал и прежде. Ему показалось, что великий князь сильно изменился, исхудал и осунулся. «Верно, бо-

лен»,— подумал Костя. К большой его радости, шут вдруг галопом пробежал по комнате, высоко подкидывая полы халата. Царь вздрогнул и оглянулся. Шут замахал головой и сел на скамеечку позади стула, вытянув ноги в разноцветных сапожках и перебирая в воздухе ручками.

XIX

Штааль не знал, что переворот назначен на одиннадцатое число. Но он об этом догадывался.

План дела, время его выполнения были известны лишь очень немногим. По-настоящему все знал точно один Пален. На сборищах в доме генерала Талызина ничего толком не говорилось. Тем не менее после первого же из этих сборищ у Штааля исчезли слезы сомнения: стало совершенно ясно, что заговор существует, что развязка приближается и что сам он принимает в деле очень близкое участие.

На последнем ужине у Талызина Пален отозвал Штааля в сторону и минут пять говорил с ним наедине. Имел он при этом такой вид, точно хотел раскрыть Штаалю всю свою душу. Однако говорил Пален больше о преимуществах свободы, о позоре рабского состояния, о Бруте и о других римлянах. Затем он, как будто некстати, но с участием, спросил Штааля об его видах и пожеланиях по службе. Неожиданно для самого себя Штааль, волнуясь, сказал, что ему ничего не нужно: он и так готов всем пожертвовать для отечества. Пален одобрительно кивнул головой, как бы показывая, что это само собой разумеется. Тем не менее продолжал расспрашивать Штааля об его служебных видах и даже что-то записал для памяти в книжечку. Потом он опять поговорил о Бруте и о свободе, под конец разговора, глядя в упор на собеседника, сказал тихо, проникновенным голосом: «J-f... qui parle, brave homme qui agit» [1],— отошел и отозвал в сторону другого гостя. Больше ничего не было сказано, однако Штааль понял, что все закреплено и кончено. «Да, я сжег свои корабли»,— повторял он про себя с волнением. Ему нравилось это выражение (хоть он и не помнил толком, что за корабли и кто их сжег,— кажется, какие-то греки). Еще больше его взволновали заключительные слова Палена. Фразу «J-f... qui parle, brave homme qui agit» Штааль потом слышал не раз: по-видимому, Пален говорил ее и другим участникам дела (они,

[1] «Подлец — кто болтает, молодец — кто делает» *(франц.)*.

впрочем, на него не ссылались). Штааль про себя повторял эти французские слова в минуты особенного упадка духа. От них он как будто становился бодрее. Ваперы не исчезли, но ослабели: он переболел.

В марте вышла наконец бумага с его назначением. Он был определен ординарцем к генералу Уварову (который тоже постоянно бывал у Талызина). Штааль недолюбливал своего нового начальника, однако назначению был рад. Уварову как раз выпало исполнять обязанности дежурного генерал-адъютанта при государе, и по должности ординарца Штааль чуть не целый день проводил в Михайловском замке. Работы у него было очень мало: он выполнял отдельные поручения Уварова.

Государя Штааль видел редко, но с царской семьей встречался беспрестанно. Она чрезвычайно ему понравилась. Штаалю со школьных лет внушалась привязанность к царствующему дому, но он прежде не чувствовал настоящей любви к чужим, далеким людям. Теперь он с удивлением заметил, что искренне полюбил и императрицу (хоть его очень смешил ее немецкий говор), и великих княгинь, и княжон. К наследнику он не чувствовал сердечного расположения, но любовался им невольно, как сокровищем искусства. «Право, это уж не весьма справедливо,— думал он,— что одному дано столько: и первый в мире престол, и ум, и этакая изумительная красота». Штааль старательно изучал, как ходит великий князь, как здоровается (в отличие от императора Александр Павлович подавал руку приближенным). Пробовал Штааль и перенимать эти манеры, но сам чувствовал, что совсем не выходит: для них требовалось быть наследником русского престола. Штааль видел раз издали, как в концерте Александр Павлович аплодировал госпоже Шевалье: левая рука его была приподнята до высоты лица и оставалась почти неподвижной; он медленно хлопал по ней правой рукой, откинув назад голову, чуть наклонив ее налево. И жест этот, и выражение лица великого князя, и его узкие породистые руки с длинными тонкими пальцами казались Штаалю художественным созданьем. «Вот она, раса,— говорил он себе. Личная обаятельность, свойственная многим Романовым, в Александре Павловиче достигла высшего предела.— У покойной государыни был, сказывают, такой же шарм,— думал Штааль.— Может, в молодости,— ведь я ее видел старухой... Нет, такой же едва ли был и в молодости. Откуда у ней, у захудалой немецкой принцессы, взялся бы?..» Сильное впечатление производил на Штааля и строгий придворный

этикет. Было что-то магическое в вечном церемониале двора, в титулах этих людей, в странном обращении с ними. Штааль находился теперь в той степени близости к великим князьям, которая особенно способствовала их престижу. Они не были для него больше чужими, но не были и своими людьми. Он часто их видел, но никогда с ними не разговаривал. «Как ни смотри, а необыкновенные люди, и какие воспитанные!» — думал он. Мысль о том, что он участвует в заговоре против главы этой милой семьи, вызывала в нем иногда тоскливое недоумение. Он теперь старался возможно меньше думать о деле. Это, однако, не очень ему удавалось. В Михайловском замке становилось все страшнее.

На одном из французских концертов, часто устраивавшихся в столовой комнате замка, Штааль встретился с госпожой Шевалье. Он не получал приглашения на концерты, но, в числе многих других людей, под разными предлогами появлялся в комнатах, смежных со столовой, видел и разговаривал с приглашенными и сам чувствовал себя как бы приглашенным. Встретив госпожу Шевалье в вестибюле, он поклонился ей с той же самодовольной улыбкой, которая расплылась у него на лице после их разговора на маскараде. Артистка слегка прищурилась и холодно кивнула головой. Штааль не мог прийти в себя от изумления. Этот пренебрежительный кивок чрезвычайно его разозлил. «Постой-ка, погоди, моя прелесть»,— подумал он. Ему пришло в голову, что после низвержения императора неизбежно пропадет и вся сила его фаворитки. «И Кутайсову тогда конец, а мы, маленькие люди, как раз пойдем в гору. Вот тогда по-своему поговорим, моя прелесть...» К числу наград, которых он ждал от успешного завершения дела, он причислил еще и эту.

В этот самый день Штааль встретил на Невском Талызина. Он заметно осунулся и был, видимо, расстроен. Поговорить им не удалось: Талызина ждали. Он успел только пригласить Штааля к себе на ужин в понедельник.

— Я как раз вам хотел писать,— сказал с очень значительным видом Талызин, необычно крепко пожимая руку Штаалю.— Непременно приходите. В понедельник, одиннадцатого числа, часам к одиннадцати, не позже,— настойчиво повторил он, бледнея.— В понедельник, одиннадцатого числа... Непременно!..

Штааль тоже очень побледнел.

XX

В понедельник он проснулся очень поздно, с таким мучительным чувством тоски, какого не испытывал даже в худшую пору ваперов. Он с отвращением проглотил целую ложку Гарлемских капель (впоследствии один запах их возбуждал в нем тоску) и долго еще лежал в постели. Потом умылся, выбрился при зажженных свечах (эти свечи днем еще усилили его тоскливое, тревожное настроение), надел новый мундир и положил в карман маленький пистолет, с которым никогда не расставался. «Что ж теперь? — угрюмо спросил он себя.— Не в клуб же ехать?..» Штааль обычно обедал в клубе, в котором «настоятелем» был его новый начальник Уваров. Но самая мысль о поездке в клуб в такой день показалась Штаалю нелепой. Есть ему не хотелось. Идти на службу было рано: обычно он приезжал в замок лишь после обеда. Пробовал он почитать: на столе у него постоянно лежал Декарт. Штааль раскрыл «Discours de la méthode» и разыскал ту страницу. Она и теперь немного его растрогала, но больше по воспоминаниям счастливого школьного времени, вызывавшим острую душевную боль. Читать дальше ему, однако, не хотелось. На дворе было почти совсем темно. «Экой денек выдался»,— сказал вслух Штааль. Шел четвертый час. Собственно, можно было уже ехать в замок. Можно было еще немного и подождать. «Кажется, все взял, что нужно?..— подумал Штааль. Неясно было, что именно нужно брать с собой для дела, которое предстояло.— Не сжечь ли *лишнее?..*» Ничего лишнего у него не было. «Ах, да, еще за деньгами заехать»,— подумал он и обрадовался, что вспомнил. Штааль недавно, чтобы не держать дома остатков своего богатства, положил семь тысяч рублей ассигнациями в банк. «Тогда пора ехать,— не опоздать бы... И бумажник надо захватить, ежели ассигнациями заплатят». Обычно он не носил бумажника, а деньги хранил в боковом кармане,— вынимать их прямо из кармана было эффектнее.

Штааль открыл ящик стола, достал старый бумажник и сдул с него пыль. Из бумажника выпала игральная карта. «Это еще что?» — спросил себя Штааль. Карта была старинного фасона с девизом «Vive le roy»[1]. Изображена была на ней странная фигура, с рогами, с высунутым языком. Штааль смотрел на фигуру с удивлением, что-то смутно и беспокойно припоминая. «Откуда она взялась?.. Ах, да...» Он вспомнил, что карту эту он когда-то отложил

[1] «Да здравствует король» *(франц.)*.

в бумажник в убежище на Сен-Готардском перевале. «На кого-то еще была похожа эта фигура, и я не мог сообразить, на кого именно, потому и отложил... На кого же?» Штааль не мог вспомнить и теперь. Он долго, с непонятной тревогой, смотрел на карту. Затем сунул бумажник в карман. «Что ж, пора идти. Может, никогда не вернусь...» Он вздохнул, погасил свечи и вышел.

В жарко натопленной комнате банка ярко и уютно горели лампы. Сидевший за решеткой молодой франтоватый служащий, знавший в лицо Штааля, привстал с учтивым поклоном, пожал руку, протянутую Штаалем поверх перил, и поговорил о погоде.

— Нам принесли-с или получить прикажете-с? — осведомился служащий.

— Получить,— поспешно произнес Штааль. Ему было почему-то неловко сказать, что он хочет взять из банка все свои деньги. «Надо что-нибудь им оставить... Зачем закрывать счет? Оставлю сто... Нет, сто неудобно,— двести...» Он написал требование на шесть тысяч восемьсот рублей. Служащий любезно закивал головой, разыскал в книге счет Штааля и снова кивнул, но, как показалось Штаалю, несколько менее почтительно.

— Присядьте, пожалуйста... Сейчас запишем...

«Ежели б я принес им деньги, он, верно, сказал бы «запишем-с»,— подумал Штааль. Он сел на деревянный диван; вся мебель в банке — стулья, столы, диваны, решетки — была заморского дерева и сверкала медью. Чернильницы, вазочки с песком, ставки для перьев на столах — все было уютное, чистенькое. Служащие за перилами аккуратно делали каждый свое дело: справлялись по книжкам, записывали, принимали и выплачивали деньги, разговаривая вполголоса с посетителями. Любо было смотреть на все это. Штааль неизменно испытывал в банке особое чувство удовольствия: все делалось так гладко, все были так учтивы. Люди за решеткой имели, по-видимому, в своем распоряжении неограниченные суммы денег. Они и разговаривали так, точно и посетители должны были иметь в неограниченном количестве деньги. Штааль смотрел, как кассир за решеткой быстро отсчитывал заколотые булавками белые ассигнации, изредка прикасаясь средним пальцем правой руки не к губам, а к губке в стеклянной вазочке. «Что, ежели выхватить пистолет и выпалить в него, хвать все деньги и был таков... Пустяки, конечно... И поймают беспременно. Тогда перестанут улыбаться и уж совсем без словаерика заговорят... Какой вздор нынче лезет в голову,

срам!» Он получил деньги, не считая, положил их в бумажник и простился со служащим.

— На днях опять к вам заеду... Внесу малость,— небрежно сказал он.— На человеколюбивый процент,— добавил Штааль, подчеркивая улыбкой официальное выражение. Он снова сел в сани и громко приказал ехать в Михайловский замок. Извозчик заторопился. Проходивший господин вздрогнул и оглянулся на Штааля.

После недолгого пребывания в тепле крепкий мороз чувствовался не так сильно. День кончался. В кабаке, на углу двух улиц, засветился желтоватый огонь. Бородатый кабатчик у окна задергивал занавеску, опершись рукой на плечо сидевшего с поднятой головой, радостно улыбавшегося человека, перед которым на столе стояла бутылка. «Вот оно, настоящее счастье,— подумал Штааль,— так бы и прожить весь век, как они, и ничего не нужно другого...» Медно-красное улыбающееся лицо исчезло за грязной помятой занавеской. Тоска еще крепче сжала сердце Штааля.

Раздеваясь в вестибюле замка, он подумал, что хорошо было бы нынче снова встретить Шевалиху и возможно холоднее ей поклониться. «Нет, ведь нынче не будет французского концерта...»

Первый знакомый, которого Штааль увидел, был Иванчук. Он ежедневно заезжал в Михайловский замок и получал там нужный ему зачем-то список лиц, приглашенных к высочайшему столу. Иванчук вел тщательный учет того, кто и как часто получал приглашения к царским обедам; у него был даже заведен особый реестр, который он знал едва ли не на память. Штааль теперь немного щеголял перед Иванчуком тем, что постоянно находился во дворце. Он знал, что Иванчук ему завидует, и это было приятно: обычно ему почти во всем приходилось завидовать Иванчуку. Но, несмотря на постоянное пребывание Штааля в замке, всегда выходило так, что придворные новости он узнавал позднее, чем Иванчук. На этот раз вид у Иванчука был необычно растерянный. Он явно был чем-то сильно взволнован. Тем не менее Иванчук и теперь не мог отказать себе в небольшом удовольствии. Крепко пожав руку Штаалю и внимательно на него глядя, он спросил неопределенным тоном:

— Ты как думаешь? Их скоро выпустят?

Увидев по лицу Штааля, что сенсационная новость ему неизвестна, он добавил пренебрежительно:

— Да, впрочем, вам, верно, и не сказали? Государь посадил сынков под домашний арест.

— Великих князей? — воскликнул Штааль, в волнении не подумав о том, что его неосведомленность и изумленный вид доставят Иванчуку удовольствие.

— Обоих: и Сашу и Костю. Сначала велел их заново привести к присяге, а потом посадил под домашний арест... Ну, прощай, мне некогда...

Иванчук убежал, замахав руками. Штааль видел, что его приятель находится в большой тревоге. «Да, это вправду очень сурьезно. Это на нас на всех может сказаться и на деле нашем»,— подумал он холодея.

В Михайловском замке было очень тихо. Настроение у всех было чрезвычайно тяжелое. Штааль еще на лестнице узнал, что государыня императрица как раз вернулась из Смольного института, что вечерний стол назначен на девятнадцать кувертов и что приглашенные уже собрались в гостиной, поджидая выхода его величества. Государь, как говорили шепотом, настроен переменчиво: не то радостно, не то бурно — не поймешь.

XXI

Наследник престола действительно был арестован в своих покоях и провел день в смертельной тоске. К вечеру его позвали к столу государя. Александр Павлович привел себя в порядок (он много плакал в этот день) и, сделав над собой тяжкое усилие, поднялся в верхний этаж. Ему было мучительно неловко: не то он был арестован как заговорщик, не то наказан как мальчик. Но чувство неловкости подавлялось смертельной тоскою.

В комнате, смежной с той гостиной, где собрались приглашенные к вечернему столу в ожидании выхода государя, наследника встретил граф Пален. На его лице сияла благодушная, почти игривая улыбка. В тоскливом взгляде Александра Павловича ненависть примешалась к надежде.

— Третий батальон Семеновского полка, как изволите знать, занял на нынешнюю ночь наружный караул замка,— негромко, вскользь, сказал Пален беззаботным тоном.

Александр Павлович изменился в лице, открыл рот, хотел что-то сказать и не мог. С минуту они молча смотрели друг на друга. Великий князь бледнел все больше.

— Петр Алексеевич,— прошептал он.— Клянитесь мне, клянитесь, что ни один волос не упадет...

— Клянусь, клянусь,— небрежно перебил его Пален.

«Все-таки лучше было просто сказать «клянусь»,— подумал он, опять чувствуя, что, быть может, себя губит.

Нарушая правила этикета, Пален первый отошел от великого князя.

Государь, с шляпой и перчатками в руке, вошел в гостиную. Озираясь по сторонам и фыркая, он кивнул головой в ответ на общий поклон. Затем подошел к наследнику престола и с минуту молча глядел на него со странной насмешливой улыбкой. Несмотря на улыбку, неподвижные глаза Павла горели. Гости замерли. Среди приглашенных в этот вечер к высочайшему столу заговорщиков не было. Но об аресте наследника престола знали все, и все чувствовали, что нечто странное происходит между царем и его сыном. Александр Павлович был мертвенно бледен. «Упадет в обморок или нет?» — с любопытством спросил себя Пален.

Забили часы. На пороге гостиной показался старичок в раззолоченном мундире. Павел фыркнул, улыбнулся еще насмешливей и, отвернувшись от великого князя, пошел по направлению к столовой. Военный губернатор, не ужинавший в замке, почтительно склонился перед государем.

Одна за другой из гостиной выходили пары. Стоя сбоку от двери, чуть наклонившись вперед, граф Пален смотрел вслед императору.

XXII

— Прекрасное винцо,— говорил пажеский надзиратель, упорно и тщетно пытаясь завязать разговор.— У нас в корпусе тоже недурное, но с этим и в сравнение не пойдет.

Ужинало в маленькой комнате только несколько человек: Штааль, надзиратель, который привез пажей, да еще человека три из второстепенных чиновников дворца. Эти ели молча и, по-видимому, не тяготились молчанием. Штааль тоже был неразговорчив. Он почти не прикасался к блюдам, а пил одну воду, стакан за стаканом.

«Всякое тело пребывает в покоя или прямолинейного движения состоянии, доколе из оного состояния выведено не будет,— вспомнил Штааль слова школьного учебника.— Так нас учили. Это есть чей-то закон... Невтона, или Паскаля, или еще какого-то дьявола... Зовется закон инерции. По этому закону я и живу... Инерцией вошел в заговор против царя, инерцией пойду нынче ночью опровергать

его. Пусть у меня есть веские резоны,— но сам бы я не пристал к скопу, ежели б они меня не заманили. Да, они меня заманили, как мальчишку. Точно я не вижу?.. И веских резонов, собственно, нет никаких... Да, я хочу себя поставить в лучшее положение относительно карьера и денежных способов. Но я не для того пошел на дело... И так было всегда... Зорич меня послал в Петербург,— я поехал, Безбородко послал в Англию,— поехал, Питт послал в Париж,— поехал. Потом меня угнали в поход... Правда, и в поход, и в Париж, и в Петербург я собирался своей охотою. Только меня не спрашивали... Нет, не то что не спрашивали, все же жизнь моя шла инерцией... И не одна моя,— большинство из нас так живет...»

— Отличное винцо,— повторил надзиратель.

— Нет, вино среднее,— раздраженно сказал Штааль.— Совсем плохое вино.

Все на него взглянули. Надзиратель торопливо разрезал индейку.

«Что ж, и Анну Леопольдовну лишили престола, и Петра III... Петра не только престола лишили. (У Штааля внезапно выступила на лице испарина. Он вытер лоб платком и жадно выпил еще стакан воды.) Как он противно гложет кость, держит рукой... Вот он вернется домой, уложит пажей, сам ляжет спать, и горя ему мало... А мне какая предстоит ночь... И что еще вслед за ночью... Скверная погода. Идти будет холодно. Вздор какой!.. Не остаться ли вправду здесь? Или поехать домой?.. Талызину скажу, что забыл про его приглашение, и изображу, что жалею страшно... Бог с ними в самом деле, и с чинами, и с деньгами,— проживу как-нибудь маленьким человеком, как этот вот... Что за противная морда, давно я такой не видел!..» — злобно думал Штааль, недолюбливавший воспитателей по свежим еще школьным воспоминаниям. Его сосед, по-видимому, почувствовал эту непонятную ему злобу. Он отвернулся не то смущенно, не то подчеркнуто равнодушно, с видом: «мне все равно, да и не велика ты тоже фигура».

— Видел я нынешний вечер вблизи господина военного губернатора, графа фон дер Палена Петра Алексеевича,— сказал он чиновнику.— Давно мне, признаюсь, желалось...

Чиновник что-то промычал.

— Вельможа обширного ума и добродетели,— почти с отчаянием произнес надзиратель.

Из соседней комнаты донеслись голоса. Там ужинали люди поважнее, однако не приглашенные к царскому столу.

«Де Бальмена на днях арестовали за какую-то уличную историю, отдали в солдаты и отвезли в казармы... Жаль мальчика... Все тот делает, сумасшедший, надо бы его и вправду прикончить... Если выйдет, я первый потребую освобождения де Бальмена и сам за ним поеду. То-то обрадуется!.. А если не выйдет?.. Право, отлично можно сказать Талызину, что забыл. Мало ли про какие приглашения люди забывают... Или напишу ему сейчас, что по моральным причинам не могу участвовать, помня о присяге, тайну же буду блюсти, как честный человек, и от всяких наград отказываюсь. То есть ежели не могу участвовать, то какие же награды,— глупо и писать о наградах... Нет, моральным причинам не поверят. И писать неблагоразумно. Лучше просто скажу, что забыл... Тоже не поверят... Эх, да пусть говорят, что хотят, черт с ними! Так и сделаю... Я не могу идти на такое дело, грех убивать царя»,— решил Штааль.

Дверь открылась, и на пороге показалась грузная фигура Уварова.

— Зовут к нему... Скоро нынче поужинал,— громко сказал он поднявшемуся Штаалю, не стесняясь присутствием посторонних.— Спешит!..— Он засмеялся нехорошим смехом.— Ты меня в пикетной подожди... Пойду, может, он еще что прикажет.

XXIII

Царский ужин продолжался недолго. Однако даже обер-камергер граф Строганов, который в течение многих лет, при Павле, как при старой государыне, неизменно приглашался к высочайшему столу и был во дворце — дома, в этот вечер испытывал очень неприятное тревожное чувство. Граф Строганов обычно выносил на себе тяжесть застольной беседы в Михайловском замке: он один заговаривал с императором, иногда решался даже возражать ему. В часто наступавшие минуты молчания другие участники того ужина укоризненно поглядывали на Строганова. Он со вздохом делал свое дело, говорил и о погоде, и о блюдах, и о здоровье, пробовал даже шутить, но все как-то не выходило. Под конец ужина Строганов совсем замолчал, с несколько обиженным видом, как бы означавшим: «что ж, все я, да я,— попробуйте-ка поговорить без меня».

Государь то шутил будто весело, то злобно усмехался, то говорил что-то вполголоса: слова его трудно было разобрать, несмотря на совершенную тишину, всякий раз наступавшую, чуть только он открывал рот. Лицо у Павла в этот вечер было особенно оживленное и странно насмешливое. Косте, который иногда искоса на него поглядывал (без большого, впрочем, интереса), казалось, что государь — веселый человек, единственный веселый во всей этой компании. Костя судил только по лицам: он не слушал того, что говорили за столом. Самое же мрачное и грустное лицо было у наследничка (так в корпусе называли Александра Павловича),— он точно все время собирался плакать.

Больной, измученный вид великого князя привлек в этот вечер внимание не одного Кости. Каждый, кто встречался взглядом с Александром Павловичем, тотчас испуганно отводил или опускал глаза.

Еще одно немного озадачило Костю. Увидев на столе фарфоровый прибор с рисунками, изображавшими виды Михайловского замка, государь пришел в восхищенье. Он схватил одну из чашек и принялся покрывать ее поцелуями. Самому Косте это показалось не столь уж странным, хотя чашка была, по его мнению, как чашка, ничего такого. Но он видел, что все гости мгновенно уткнулись глазами в тарелки.

— Счастливейший день... Счастливейший моей жизни день!..— быстро бормотал государь, целуя чашку нового прибора и обводя гостей исступленным взглядом.

Сидевшая рядом с наследником жена его, великая княгиня Елизавета Алексеевна чувствовала, что, если ужин затянется, с нею может случиться нервный припадок.

Внезапно государь повернулся к Александру Павловичу, уставился на него в упор горящими воспаленными глазами, затем сказал громко хриплым голосом:

— Monseigneur, qu'avez-vous aujourd'hui? [1]

— Sire,— тихо произнес, не поднимая головы, великий князь.— Je ne me sens pas très bien... [2]

— Сир... Это я сир...— пропищал сзади шут. Государь гневно оглянулся и фыркнул.

— Décidément, je lui préfère Ivanouchka, son prédécesseur... [3] — быстро сказал вполголоса Строганов и тотчас смущенно замолчал.

---

[1] Как вы себя чувствуете сегодня, ваше высочество? *(франц.)*

[2] Государь... я неважно себя чувствую... *(франц.)*

[3] Решительно я предпочитаю ему Иванушку, его предшественника... *(франц.)*. Речь идет о принце Иоанне Антоновиче, убитом в 1764 г.

— Я, говорю, сир, сирота казанская, ни отца, ни матери,— бормотал шут, двигая ушами и вытирая глаза полой халата. Кто-то попробовал улыбнуться.

— Eh bien, Monseigneur, soignez-vous [1],— сказал через минуту хриплый голос.

Все молчали. Старичок в раззолоченном мундире поспешно наклонился над плечом государя и налил ему вина.

— И мне, и мне налей романеи,— плачущим голосом сказал шут, протягивая руку с колпаком.— Ишь скупой какой! Не будет тебе счастья, злюка!..

Косте показалось удивительным, что государь с сыном так странно называют друг друга. Он не знал слова «sire» и думал, что бы оно такое могло значить. В одной книжке, которую он читал, был сэр Ральф, но это был сэр, а не сир, и вовсе не государь и даже не король, а просто важный человек. Полковник Клингенберг учил их называть государя «ваше величество», а ежели спросит по-французски, то «Votre Majesté». Вообще многое в столовой комнате удивляло Костю. Раззолоченный старичок, сахар-медович, который им всем, даже «зайцу», показался очень важным лицом, на самом деле выходил мелкой сошкой: никто здесь не обращал на него внимания и к столу его не пригласили. Впрочем, трудно было разобрать, которые тут придворные, которые старшие слуги: все делали как будто одно дело. Очень занимал Костю обед. Он был удивительный, из семи редкостно поданных блюд. Но есть Косте не хотелось: они ужинали перед самым выездом из корпуса. Зато глаза его беспрестанно возвращались к грушам с человеческую голову и к золотым вазам с конфетами. В стоявшей против него большой вазе лежали на бумажках желтые ломтики засахаренных ананасов. Костя особенно любил эти конфеты,— они отдельно не продавались, и в кондитерских их клали только в двухфунтовые коробки лучшего сорта по полтора рубля фунт, да и то лишь по одной или по две на коробку. Здесь же их было очень много, на всех могло бы хватить. Вперемежку с ананасами лежали зеленые марципановые и шоколадные с белым ореховым пятном,— их Костя тоже чрезвычайно любил. Ваза эта стояла как раз перед наследничком, который мог незаметно таскать и есть конфеты хоть с самого начала обеда. Костя вытянул голову и взглянул сбоку на наследничка. Тот как раз слегка наклонился над столом, вынул белый платок и чихнул, схватился рукой за лоб и чихнул опять.

---

[1] Что ж, ваше высочество, лечитесь (*франц.*).

— Monseigneur, à l'accomplissement de tous vos souhaits [1],— сказал в гробовой тишине хриплый голос.

Костя скосил глаза, взглянул на усмехавшегося царя — и в первый раз за весь вечер ему стало не по себе. Он быстро вытянулся.

— Чему быть, тому не миновать,— ни к кому не обращаясь, сказал глухо государь и, тяжело вздохнув, поднялся с места. Все встали с невыразимым облегчением. Павел насмешливо фыркнул и обвел комнату выпученными глазами. Взгляд его остановился на Косте, который с сожалением глядел через плечо на вазу с конфетами. Государь вдруг засмеялся. Лицо у него стало другое. Он взял из вазы целую горсть конфет, отошел, оглянувшись, к стене столовой и пальцем подозвал к себе пажей. Они подошли с опаской, хоть были предупреждены об этой забаве царя.

— Рядом станьте, плечом к плечу. Так... Теперь ловите.

Он бросил конфеты в дальний угол. Мальчики, изображая веселое оживление, побежали за конфетами по комнате. Шут, подобрав полы халата, с криком побежал за ними. Павел захохотал мелким негромким смехом. Но, увидев в дверях комнаты старательно улыбавшегося Александра Павловича, царь внезапно оборвал смех. Он гневно фыркнул, вытер испачканные шоколадом руки, вырвал у раззолоченного старика свою шляпу и перчатки и, ни на кого не глядя, быстро вышел из столовой. Лицо наследника престола вдруг изменилось. Он, пошатываясь, отошел к камину...

В соседней комнате государя ждал дежурный генерал-адъютант Уваров.

Махальный закричал диким голосом: «Караул! Стройся!» Конногвардейцы, занимавшие пост у дверей спальной императора, бросились со скамьи к стене. Послышался топот тяжелых шагов и лязг обнажаемых сабель. «Слушай,— на-кра-ул!» — прокричал офицер. Люди вытянулись, скосили головы и замерли. В слабо освещенную комнату с лаем вбежала собачка. За ней, озираясь по сторонам, вошел государь. Уваров остановился в дверях и быстро оглядел комнату. Собака бросилась к стоявшему сбоку от караула

[1] Желаю вам, ваше высочество, исполнения всех ваших желаний *(франц.)*.

дежурному полковнику Саблукову и лизнула его в руку.

— Шпиц! сюда! — закричал хриплый голос. Государь быстро рванулся вперед и шляпой два раза ударил собаку по голове. Шпиц взвизгнул и отбежал. Настала тишина. Павел молча смотрел то на бледного полковника, то на окаменевшие огромные фигуры солдат.

— Vous êtes des jacobins [1],— вдруг сказал он.

За спиной императора Уваров, много выпивший за ужином, скорчил гримасу и постучал пальцем по лбу.

— Oui, Sire [2],— пробормотал растерянно Саблуков.

Павел смотрел на него в упор. Потерявший голову офицер стал что-то объяснять негромким дрожащим голосом.

— Я лучше знаю! — вскрикнул император. Он заговорил быстро и бессвязно. Солдаты дико смотрели набок в одну точку. Павел замолчал, тяжело вздохнул и повернулся.

— Ах, да, Уваров?..— произнес тихо, полувопросительно, государь — Я что-то хотел вам сказать...— Он задумался.— Ах, да! — вскрикул он и задумался опять.— Да, да, да... Пажи!.. Конечно... Пажи...

Уваров, наклонив голову, почтительно смотрел на грудь императора.

— Плохие пажи, плохие,— бормотал Павел.— Не нравятся мне эти пажи... Что? что? — вскрикнул он, озираясь.

Было очень тихо.

— Почему привозят пажей только из пажеского корпуса, а?

— Не могу знать, ваше величество,— по-солдатски ответил Уваров. Павел смотрел на него совершенно безумными глазами.

— Пусть возьмут других пажей, в кадетском корпусе. Там есть славные мальчики... Слышите, сударь? В первом кадетском корпусе. Сейчас извольте сообщить князю Зубову, чтоб сегодня же прислал сюда кадет... [3] Что?..

— Слушаю-с, ваше величество...

Павел быстро от него отвернулся.

— Караул убрать! Не надо конногвардейцев... Не надо!..

— Слушаю-с, ваше величество.

Раздалась команда:

— Караул! Напра-во! Шагом марш!..

Государь злобно-радостным взглядом провожал выхо-

---

[1] Вы якобинцы (*франц.*).

[2] Да, государь (*франц.*).

[3] Это было последнее распоряжение императора Павла.— *Автор.*

дивших солдат, затем с минуту еще прислушивался к удалявшемуся топоту.

— Прощайте, сударь,— отрывисто сказал он Уварову. Уваров звякнул шпорами и низко поклонился.— Я иду отдохнуть, сударь, прощайте,— вздохнув, повторил Павел другим, точно умоляющим, тоном. Он замолчал.

— Займите места здесь,— обратился он к двум камергусарам.— И никого ко мне не пускать... Никого!.. Слышите? Никого...

Он кивнул головой, зачем-то надел шляпу и прошел в спальную, повторяя вполголоса скороговоркой: «Чему быть, тому не миновать... Чему быть, тому не миновать...»

XXIV

«Visitando interiora terrae rectificandoque invenies occultum lapidem, veram mediciam» [1].

Баратаев переписал из книги эту фразу на толстом листе пергамента, отчеркнул первые буквы слов и дрожащей рукой выписал в ряд. Затем открыл тетрадь «Камень веры» и записал прыгающими буквами:

«Открылось ныне мне явственно, что славный Базилий Валентинус не иное мыслил, как купорос или vitriolum. От чего и я не могу отрещися, как с долголетними моими опытными изучениями несогласицы в оном не вижу. Сколь к яснейшему истины познанию... Не едино есть вещество первичное, земля Адамова. Второе соучаствует, aqua vitae [2], что и древним ведомо было. Из прозорливой рукописи, виденной мною в чужих землях, записал я памятный магистериум:

«De commixtione puri et fortissimi *xkok* cum III *qbsuf tbmkt* cocta in ejus negotii vasis fit aqua...» [3]

И сию оккультную тайну токмо долгим прилежанием дано было мне разгадать. Вместо букв непонятных, нелепице подобных, должно читать буквы оным предшествующие. И будут тогда слова: vini, parte, salis [4].

---

[1] «Войдя в недра земли и совершив ректификацию, ты найдешь тайный камень, поистине чудодейственный» (*лат.*).

[2] Влага жизни, живая вода (*лат.*).

[3] «От смешения чистого и крепкого *вина* с тремя *частями соли*, вываренными в каком надо, сосуде, рождается вода...» (*лат.*)

[4] Вина, частями, соли (*лат.*).

Богом же просвещенный Арнольдо из Виллановы указывает мудро: «Qui scit salem et ejus solutionem ille scit occultum secretum» [1].

И сие разногласности с моими изучениями не делает, ибо в рассуждении соли и жара не жидкость Невтонова [2], а неведомое должно родиться.

«Ainsy le mystère semble éclairci. C'est par la réunion convenable et réfléchie, dans l'oeuf philosophal, de l'esprit de-vin, du sel et de la couperose que j'obtiendrai le puissant magistère que seuls, parmi les philosophes de la nature, les plus sages ont connu icy-bas. Eau pénétrante, lait virginal. Sic habes elixir vel lapidem philosophum. Elixir perfecte completum sive sapientum tinctura. Et totum opus naturae non est occultum Deo, sed mundanis hominibus» [3].

XXV

В кругах чиновников Иванчук считался правой рукой военного губернатора. Он гордился этой своей репутацией и заботливо ее поддерживал. Пален в самом деле видел в нем очень полезного человека. Но в заговор его не посвящал и даже незнакомым молодым офицерам доверял более, чем Иванчуку. О перевороте, назначенном на 11 марта, Иванчук ничего не знал. Однако еще до того недели за две, как опытный человек с немалыми связями, он стал замечать, что в столице происходит нечто необыкновенное, подозрительное и весьма неладное. Некоторые тревожные

---

[1] «Кто знает соль и ее раствор, тот обладает знанием тайны тайн» *(лат.)*.

[2] Как знает каждый химик, спирт при нагревании с серной кислотой дает обыкновенный эфир. Открытие этого вещества обычно приписывается Фробениусу, хотя производилась указанная реакция целым рядом алхимиков: Раймондом Люлльским, Базилием Валентином, Валерием Пардом. В книгах, приписываемых этим великим ученым, многое с трудом поддается объяснению. Непонятно, например, то, какое назначение имели здесь сера, поваренная соль.

В 18-м веке эфир часто назывался Liquor Frobenii. Но Фробениус, преследовавший цели коммерческие, при осуществлении своего опыта пользовался записями Исаака Ньютона, что в ту пору могло быть известно только посвященным.— *Автор.*

[3] «Таким образом, тайна представляется проясненной. Путем надлежащего и обдуманного соединения винного спирта, соли и купороса, я в принципе буду обладать могущественным чудодейственным составом, и эти вещества, единственные среди философов по природе, самые мудрые из известных на земле. Вода проникающая, молоко девственное *(франц.)*.

Так ты получаешь эликсир или философский камень. Эликсир совершенно полный, или мудрости окрашивание. И каждая вещь в природе не есть Божье таинство, но земного человечества» *(лат.)*.

признаки были ему, по роду его службы, виднее, чем кому бы то ни было другому. Они повергли его в крайнее беспокойство. Иванчук прекрасно понимал, что граф Пален, первоприсутствующий в коллегии иностранных дел, глава почтового ведомства, военный губернатор Петербурга, руководивший косвенно и Тайной экспедицией, не мог не знать всего, что происходит в городе. Мало того: подозрительные признаки, которые видны были Иванчуку, очень странным образом вели к самому графу Палену.

Иванчук впервые в жизни чувствовал, что решительно ничего не понимает. Несмотря на ходившие упорные слухи, он плохо верил в самое существование заговора. На памяти Иванчука никаких переворотов не было, и ему, по складу его ума, было трудно верить в дела, которых он никогда не видал. Но уж совсем непонятно было Иванчуку, зачем могло понадобиться его начальнику такое неверное, отчаянное дело. Пален был первым сановником России. Он стоял во главе правительства. Он был вдобавок богат и при милости к нему государя, очевидно, легко мог разбогатеть еще гораздо больше; Иванчук и то плохо понимал, отчего такой искусный человек не использовал в удобную минуту общеизвестной щедрости императора. Соперников по службе у Палена больше не было,— он только что заменил Ростопчина на посту первоприсутствующего в коллегии иностранных дел (многие были убеждены, что отставка и немилость Ростопчина были делом Палена). В обществе некоторые шепотом утверждали, что Пален хочет ввести в России конституционный образ правления. О конституции Иванчук имел понятие смутное. Но все то, что он о ней слышал, совершенно не вязалось с его мнением о целях, намерениях и уме графа Палена. Говорили, что при конституции всякое действие начальства будет, как в Англии, обсуждаться четырьмя сотнями выборных людей. Об этом Иванчук без смеха не мог и подумать,— как это четыреста человек будут обсуждать и подписывать бумаги. Конституция явно принадлежала к разряду вещей мало серьезных, и уж Палену она никак не могла быть нужна. «На какого черта ему аглицкий парламент? — с искренним недоумением спрашивал себя Иванчук.— Ну, еще говорят, будто Панин Никитка *был* за конституцию (об уволенных сановниках Иванчук всегда говорил и думал в прошедшем времени). Это куда ни шло: хоть и Никитке никакой не было выгоды, но он и об умном там любил поговорить, и книжки ученые этакие читал, целыми волюмами [1], ежели не врал

[1] Том (*франц.* volume).

(Иванчук всегда с недоверием относился к тому, что люди — не доктора какие-нибудь и не архитекторы, а обеспеченные люди — могут для собственного удовольствия читать ученые книжки). А Пален, нет, верно, враки...» Он не только считал Палена чрезвычайно умным, ловким и хитрым человеком; он думал даже, не без чувства легкой обиды, что Пален умнее его самого; правда, он делал поправку на разницу в возрасте и особенно в положении: «С его властью нехитрая штука быть умным». Иванчук склонялся к мысли, что, если есть доля правды в слухах о конституции, верно, тут со стороны Палена какой-то ловкий подвох, настоящий смысл которого еще трудно разгадать.

Иванчук долго колебался, должен ли он сообщить Палену о ходящих слухах и о тех тревожных признаках, которые он замечал. Собственно, такова была его прямая обязанность. Он говорил себе, однако, что лучше оказаться виноватым в служебном упущении, чем *влопаться*. Но в первые дни марта месяца признаки стали настолько тревожными, что у Иванчука возникли сомнения, уж не влопается ли он и притом самым ужасным образом, если *никому* ничего не донесет. Прежде таких сомнений не могло быть; перед Иванчуком впервые стал вопрос, *кому* донести.

Он ежедневно бывал в Тайной экспедиции, разговаривал там с людьми, которые должны были знать очень многое. Говорил он с ними осторожно и туманно. «С такими господами ни в чем уверенным быть невозможно»,— думал он. Они отвечали ему еще осторожнее и туманнее. Однако он со все растущим беспокойством почувствовал, что и эти насквозь прожженные, видавшие всякие виды люди не только смущены, но находятся в чрезвычайной тревоге. Иванчук лишний раз убедился, как даже в этом учреждении боятся и почитают графа Палена.

В день 11 марта сведения, полученные Иванчуком, повергли его в такое волнение и страх, каких он никогда в жизни не испытывал. Грозные сведения эти говорили уже не о близком будущем, а о наступающей ночи, и указывали они прямо на графа Палена и на квартиру генерала Петра Талызина, командира Преображенского полка.

После мучительного колебания Иванчук решил, что наименее опасный (хоть и очень плохой все же) выход из тяжелого положения, в котором он находился,— принять роль нерассуждающего служаки и исполнять все предписанное ежедневным, будничным расписанием занятий. По этому расписанию он в одиннадцать часов вечера обязан

был являться к военному губернатору за приказаниями на ночь и на следующее утро.

Почти весь этот день Иванчук беспомощно метался по городу и лишь часов в девять вечера ненадолго заехал домой. Ужиная с женой, он был очень мрачен, неразговорчив и, к большому огорчению Настеньки, не прикоснулся к *жалею* из померанцев, изготовленному под собственным ее руководством, и даже шпаргеля едва отведал, хоть шпаргель стоил три рубля фунт. Настенька его купила не без волненья. Она и мрачный вид Иванчука объяснила тем, что он сердится на нее за столь дорогое блюдо. Настенька смущенно стала оправдываться. Но Иванчук лишь горько улыбнулся. Расставаясь с женой, он нежно ее поцеловал и едва мог скрыть волнение, с особенной ясностью почувствовав, как сильно любит Настеньку.

Ровно в одиннадцать часов он прибыл в дом военного губернатора, на углу Невского и Морской. Его немного успокоило то, что в доме все было, как в другие дни. Перед подъездом, как обычно, стояло несколько саней. Так же, как всегда, вытянулись по сторонам от крыльца будочники с алебардами у выкрашенных в косую полосу будок и мгновенно открыли стеклянную дверь расторопные почтительные лакеи. Те же люди дожидались на скамейках в вестибюле (только одного, громадного рыжеволосого полицейского офицера, не знал в лицо Иванчук). В боковой комнате, по обыкновению, засиделся за бумагами угрюмый старший секретарь Афанасий Покоев, а в приемной вежливо осведомился о здоровье Иванчука титулярный советник Тиран. После тоскливой тревоги тех мест, где Иванчуку приходилось быть в этот день, все это приятно его поразило. Тиран немедленно доложил о нем военному губернатору. Через минуту Иванчук был принят. Пален в парадном мундире, при ленте и палаше, стоял у стола, надевая тугие белые перчатки. В этом тоже не было ничего необыкновенного. Граф часто выезжал из дому и в более поздние часы. Никакого волнения на его лице Иванчук не заметил. Напротив, Пален был, по-видимому, прекрасно расположен,— мурлыкал какую-то песенку, что делал только в минуты очень хорошего настроения. «Конечно, все враки»,— облегченно подумал Иванчук.

— Особенные приказания на сию ночь и на завтрашнее утро? — повторил Пален, выслушав Иванчука.— Никаких особенных приказаний... Ах, чуть не забыл, на завтрашнее утро есть приказание. Сказывали мне, будто на Петербургской и на Выборгской стороне сугробы снега в

человеческий рост, так что и ходить по улицам невозможно... Ежели правда, то безобразие. Велите, пожалуйста, Аплечееву завтра же расчистить улицы...

Он разгладил на левой руке перчатку и снова замурлыкал песню. «Ну, разумеется, вздор... Эк мастера стали врать люди!» — подумал Иванчук, немного обиженный, но и успокоенный особенным приказанием Палена.

— Да, вот что еще,— небрежно сказал Пален, натянув и правую перчатку.— Вы ведь свободны в эту ночь?..

Иванчук побледнел. Он больше всего боялся, как бы военный губернатор не предложил ему принять какое-либо участие в деле.

— Я... Я... Ваше сиятельство... Жена больна... Что прикажете?

— Вот что я прикажу, мой милый,— сказал Пален, подчеркивая слово «прикажу».— Я сейчас еду к генералу Талызину, в казармы Преображенского полка (Иванчук совершенно побелел). Меж тем ко мне сюда будут люди по важному делу. Извольте оставаться здесь на крыльце и всем, кто спросит: «граф Пален», указывайте ехать к Талызину. В час ночи можете идти спать... Всем, кто скажет: «граф Пален». Поняли?

С ужасом глядя на своего начальника, Иванчук медленно кивнул несколько раз головой. Ему от волненья было трудно говорить. Пален посмотрел на него внимательно.

— Ну-с, так пожалуйте за мной... Мне пора,— холодно сказал он.

Внизу все встали и вытянулись. Надевая шинель, Пален подозвал того полицейского офицера, которого не знал Иванчук, и сказал несколько слов негромким голосом, показывая глазами на Иванчука. Полицейский оглянулся и проговорил уверенным тоном:

— Слушаю-с, ваше сиятельство.

— Вот и он с вами здесь постоит, чтоб вам не так было скучно... Эх, стужа какая!.. Ну-с, прощайте...

Он кивнул им головой. Затем уже на пороге раскрытой лакеем настежь двери, точно что-то припоминая, повернулся, окинул взглядом вестибюль, лестницу, быстро вышел и сел в сани.

— В лейб-компанский корпус,— приказал он кучеру.

XXVI

— Что с ним прикажете делать? — разводя руками, сказал Уваров, войдя в комнату, где его ждал Штааль.— Новые, вишь, пажи потребовались... На нынешнюю ночь...

Он опять засмеялся нехорошим смехом. Штааль молчал. Уваров махнул рукою и сказал Штаалю:

— Ну, что ж, как приказал, так и сделаем. Нынче он еще царь... Съезди, родной, в первый корпус и скажи князю Зубову, чтобы сегодня же прислал новых пажей. Доложи также, что конногвардейский караул сменен и что государь отбыл в свою опочивальню. Остались только преображенцы... Далеко,— добавил он многозначительно, подмигнув Штаалю левой бровью.

— Сейчас прикажете ехать, ваше превосходительство?

Уваров задумался:

— Сейчас князя, верно, еще нет в корпусе... Впрочем, как знаешь.

— Слушаю-с, ваше превосходительство.

Ночь была довольно темная. Шел снег. Мороз еще усилился и перешел в настоящую стужу. Штааль застегнул на все пуговицы тонкую шинель, на зиму подшитую старым мехом, и поднял воротник, хоть этого по правилам не полагалось. «Семь бед, один ответ... Беды-то разные»,— угрюмо усмехаясь, сказал он себе. Он еще подумал, что, отправляясь из дворца со служебным поручением, собственно, мог бы потребовать придворный экипаж. «Все равно возьму извозчика». Он вышел из замка со стороны Летнего сада. «Какие уж тут извозчики... Ну, на набережной отыщу...»

Штааль быстро пошел по аллее. Отойдя немного, он оглянулся. В окнах Михайловского замка еще кое-где горели огоньки. Один из них быстро заколебался и погас. Штааль поднял голову. На темном небе, чуть дрожа, блестела луна. Косые нити снега рвались, дрожали, рябили в глазах, так что голова немного кружилась. Идти было жутко. Штааль вытащил правую руку из рукава левой, опустил ее в карман и нащупал пистолет. Сразу стало легче. Через несколько минут он опять оглянулся на замок. Света в окнах больше не было видно.

Штааль вышел на набережную. Там не было ни души. Вдали на стенах Петропавловской крепости повисли в воздухе редкие огни. Очень высоко над ними, на вершине еле видного тонкого шпиля, слабо поблескивал синеватый свет луны. «Ламор говорит, что это самое красивое, самое поэтическое место в Европе: самое красивое место в Европе — Тайная экспедиция. Странно, правда... А извозчика и здесь нет... Набережной ли пройти до моста или здесь, что ли, перейти реку?»

От фонаря утоптанная дорожка в снегу косо спуска-

лась к Неве. «По набережной ближе»,— нерешительно подумал Штааль,— и поспешно спустился к реке, скользя и спотыкаясь на крутой обледенелой дорожке. Слева рвал ледяной ветер, взметая снежные сугробы, засыпая глаза Штаалю колючей пылью. Снег оседал на отяжелевшей шляпе. Черная стена приближалась. На валах у фонарей уже видны пушки. Штааль быстро шел вперед. Вдруг он остановился: от протоптанной по реке дорожки узкая обсаженная вехами тропинка сворачивала к Невским воротам крепости. Он замер...

«Ежели сказаться по важному делу, шеф Тайной экспедиции примет тотчас и завтра я буду богачом, генералом, князем... Нет, я сошел с ума...— С трудом дыша, вздрагивая всем телом, он стоял у перекрестка дорожек.— В крепость или в корпус?.. В крепость или в корпус? — бессмысленно повторял он вслух. Издали зловещим гулким звоном забили куранты. Штааль вздрогнул и поспешно пошел по прежней дорожке.— Мерзавец!... Предатель!..» — тяжело дыша, повторял он вслух с яростью. Одно только мгновенье он задержался на этой мысли и позже всю жизнь вспоминал о ней со стыдом и ужасом. Штааль не переоценивал своих нравственных качеств, но на предательство был совершенно неспособен даже в самые худшие свои минуты. Эта мысль, тотчас отогнанная с отвращением, осталась навсегда одним из наиболее мучительных его воспоминаний.

Петербургская сторона давно спала. Здесь и рогатки не выставлялись на ночь: некого было задерживать. Огоньки в маленьких домиках были давно погашены. Фонари в этой части города попадались нечасто. Только издали светились огни на валах Петропавловской крепости. Не видно было и будочников. Из-за заборов лаяли собаки. «Точно Шклов... Совсем деревня»,— думал Штааль, давно не бывавший на Петербургской стороне. Он хотел кратчайшей дорогой выйти на Васильевский остров, но заблудился, плохо разбираясь в темноте. «Кажется, не туда свернул... Авось ли здесь извозчик попадется... Экая глушь...» Небольшие деревянные дома, дощатые заборы, палисадники чередовались с пустырями. Штааль шел наудачу, крепко сжимая в кармане пистолет. «Вот до чего дожил, вот оно, паденье души,— вздрагивая, думал он.— Предатель!.. Иуда!..» Ветер выл, разбрасывая сугробы, разнося снежные столбы. Мутная луна то скрывалась, то выплывала из-за черных облаков, окаймленных узким желтым ободом. Ноги у Штааля коченели все больше; ему было трудно идти. Уши над воротником стыли. Он вынул правую руку из

кармана, с сожалением оторвав ее от пистолета, стащил перчатку и приложил руку к уху. Боль усилилась, потом ухо стало отходить. Штааль, искривившись, принялся обогревать той же рукой левое ухо. В двух шагах от него собака отчаянно завыла и заметалась вдоль забора, яростно царапаясь лапами о доски. Впереди, в светлой полосе, шедшей от фонаря, что-то большое стремительно пронеслось, пригнувшись к земле, странным, не собачьим, бегом. Штааль задрожал быстрой дрожью, уронил перчатку и мгновенно опустил руку в карман с пистолетом. «Волк!.. Ей-Богу, волк!.. Что, ежели стая!..» — промелькнуло у него в голове. Он расширенными глазами смотрел вслед пробежавшему зверю. В эту холодную зиму волки нередко забегали по ночам на безлюдные улицы окраин. Ветер подхватил и понес по снегу перчатку. «Ну и времена... Волки в императорской резиденции! — подумал Штааль успокаиваясь.— Волки в столице Екатерины Великой!..» Эта фраза, однако, ему самому показалась глупой. Он невесело засмеялся, хотел было разыскать перчатку, наклонился, но ее не было видно в белом вихре. «Бог с ней... Ну и забрался я в глушь!.. Может, нынче умирать, да не от волков же...» Штааль вернулся назад и, ориентируясь по огням крепости, вскоре вышел на правильную дорогу. Еще минут через десять он подходил к кадетскому корпусу.

XXVII

— Сейчас доставить кадет? Ночью? — с недоумением спросил дежурный офицер, подозрительно глядя на Штааля. Вид измученного, с воспаленными глазами человека, с ног до головы покрытого снегом, с перчаткой на одной левой руке, действительно внушал мало доверия.

— Так мне приказал государь император,— сказал Штааль.— Через генерал-адъютанта Уварова,— отрывисто добавил он, сняв шляпу и стряхивая с нее снег. От сапог его расходилась на полу лужа.— Впрочем, мне велено лично доложить князю Зубову.

— Так бы вы и сказали,— немного смягчившись, заметил офицер.— Снимите здесь шинель. Я вас провожу к его сиятельству... Ну и погода!..

Они пошли наверх по слабо освещенной лестнице. Офицер молча с опаской поглядывал на Штааля. Пройдя по длинному коридору, он остановился в нерешительности.

— У нас его сиятельство мало во что вмешивается,— нехотя сказал он.— Делами ведает генерал Клингер...

— Так что же?

— Так вот, видите ли, вы извольте сами доложить дело его сиятельству, а я тем временем сообщу генералу... Как раз и кадет поднимем. А то ведь все спят.

— Сделайте милость.

— Тогда будьте добры,— с видимым облегчением сказал офицер,— поднимитесь до той площадки и позвоните: это квартира его сиятельства. А я пойду к генералу.

Не дожидаясь ответа, он звякнул шпорами и быстро пошел назад.

На площадке было довольно темно. Шаги офицера затихли вдали. Нервы Штааля были очень напряжены. Он постоял, повернувшись ухом к двери и почему-то поднявшись на цыпочки. За дверью слышались голоса. Но разобрать слова было невозможно: говорили далеко. Штааль резко дернул ручку шнурка и вздрогнул: так сильно прозвучал звонок. Голоса мгновенно замолкли. Прошло не менее двух минут. Штаалю показалось, что кто-то на цыпочках прокрался к двери. «В щелку, что ли, смотрит?..»

— Кто такой? — спросил дрожащий голос за дверью.

— По приказу его императорского величества,— громко сказал Штааль: уж очень было трудно не произнести эту звучную фразу.

За дверью она, по-видимому, произвела чрезвычайно сильное впечатление. Кто-то слабо ахнул. Послышались бегущие легкие шаги, взволнованный шепот, затем опять шаги, но другие, очень тяжелые.

— Кто здесь? — спросил густой бас.

— Поручик Штааль... Имею поручение к князю,— сказал уже несколько смущенно Штааль.

— Ах, ты, Господи!.. Я его знаю, открой,— сказал первый голос (Штааль теперь признал голос Платона Александровича).— Впусти его... Ложная тревога...

Дверь приоткрылась, затем открылась совсем. Штааль вошел в переднюю. Гигантского роста человек без мундира, в белой рубашке, с обнаженным палашом в руке, изумленно посмотрел на Штааля, покатился со смеху и вложил палаш в ножны. Это был Николай Зубов. Он произнес с хохотом несколько очень крепких слов. Штааль почувствовал себя немного оскорбленным, хоть слова эти, собственно, ни к кому не относились. Хозяин, стоявший боком в конце передней, с неудовольствием покосился на своего брата, подошел к Штаалю и быстро поздоровался. Лакеев в передней не было.

— Что случилось? — тревожно спросил Зубов.

— Ничего такого, князь,— с достоинством сказал Штааль.— Имею поручение.

— Наверное, ничего такого?.. Скажите прямо, ради Бога.

— Да нет же, князь.

— Прошу вас, войдите,— вздохнув с облегчением, произнес Зубов.— Позвольте вас познакомить... Поручик (он скороговоркой произнес фамилию)... Мой брат...

— Имею честь знать графа Николая Александровича.

— Ладно, ладно, я тоже теперь имею честь,— сказал Николай Зубов.— Так говори, в чем дело, отец мой. Зачем пожаловал?

От него сильно пахло вином.

— Поручик наш,— недовольным тоном сказал Платон Александрович, не совсем уверенно глядя на Штааля. Штааль кивнул головой с легкой улыбкой, показывая, что понимает эти слова и что сомневаться в нем никак не приходится. Он только теперь заметил, что не снял в передней остававшейся у него перчатки; по возможности незаметно он стащил ее с руки и быстро сунул в карман.

— Войдите, голубчик,— повторил Зубов, пропуская гостя в большую, ярко освещенную комнату. У стола, заставленного бутылками, стоял пожилой, высокий, сухощавый, очень прямо державшийся генерал, с аккуратно зачесанными вниз волосами, с задумчивыми добрыми глазами. Штаалю, который не знал его в лицо, бросился в глаза белый крест на шее у генерала. Немногие имели Георгия третьей степени, да и мало кто носил в царствование Павла этот бывший в немилости орден.

— Поручик Штольц... Барон фон Беннигсен,— познакомил хозяин.— Поручик — наш... Голубчик, не томите, скажите, в чем дело.

Штааль передал приказание государя и то, что поручил ему сказать Уваров. Николай Зубов покатился со смеху:

— Пажей, говоришь? Пажей на эту ночь? Ах, забавник...

Беннигсен приблизился к Штаалю и спросил с сильным немецким акцентом:

— Так ви говорите, тшто он в свою опатшивальную комнату уходиль?

— Государь? Так точно, ваше превосходительство,— ответил Штааль и решил больше никого не титуловать: в таком деле все равны.

— Höchst wichtig [1],— многозначительно сказал Бенниг-

[1] Чрезвычайно важно (*нем*).

сен, обращаясь к князю.— И ви вашими глазами видели, тшто карауль с конной гвардии смениль?

— Собственными глазами... Дежурный по конногвардейскому караулу корнет Андреевский мой бывший сослуживец, и я...

— И конногвардейски карауль с дворца уходиль?

— Jawohl, jawohl,— фамильярным тоном подтвердил Штааль по-немецки, чтобы не говорить ни «уходиль», ни «ушел».— Jawohl, Excellenz[1],— добавил он, хоть и решил никого не титуловать: «Excellenz» было хорошее слово, которое приходилось употреблять не часто.— Gewiss[2],— добавил он не вполне кстати, но заботливо произнося «i» как «ы».

— Sehr wichtig[3],— повторил Беннигсен и, прикоснувшись двумя пальцами к груди Штааля, снял с его мундира пушинку меха. Штааль удивленно попятился.

— Слышал про пажей? Уморушка! — сказал с хохотом Николай Зубов, наливая себе вина.— Ты, малыш, пить хочешь? Тебя как звать?.. Ты ведь грузин, правда? Эх, брат...

Он опять произнес несколько сильных слов.

— Не пей так много,— перебил его Платон Александрович.— В самом деле, может, вы закусите? — учтиво спросил он Штааля. Он, видимо, любезной интонацией хотел загладить и грубость своего брата, и то, что сам нетвердо помнил фамилию гостя. Беннигсен наклонился к Зубову и что-то ему сказал.

— Ну да, конечно, надо исполнить,— торопливо ответил Платон Александрович.— Я сейчас прикажу Клингеру нарядить кадет... Выпейте с нами вина, голубчик, за успех нашего дела. Николай, налей-ка нам шампанского.

— Это что шампанское лакать,— говорил Николай Зубов, разливая вино.— Тебе налить, немецкая образина?.. Я шампанское и за напиток не считаю. Ты, отец мой, его с английским пивом пополам выпей... Не хочешь, малыш? Ишак ты, право, кавказский ишак...

Штааль вспыхнул, но сдержался. «Что с пьяного взять?» — подумал он. Платон Александрович умоляюще уставился на своего брата.

— Was heisst: ischak? [4] — спросил равнодушно Беннигсен.

---

[1] Так точно, так точно.. ваше превосходительство (*нем.*).

[2] Конечно (*нем*).

[3] Очень важно (*нем*).

[4] Что значит: ишак? (*нем.*)

— Я на вечерний стол приглашен к Петру Александровичу,— сказал Штааль, выпив вина.— К Талызину.

— Ах да, мы все там будем,— поспешно заметил Зубов.— Но прежде прошу вас заехать к графу Палену. Вы можете?

— Отчего же, могу, если нужно для дела.

— Очень нужно. Пожалуйста, поезжайте сейчас к нему и сообщите, что мы за ним заедем или ежели не успеем, то в полночь прибудем прямо к Талызину... Будьте добры.

— Не умедлю сделать. Так до скорого свиданья,— равнодушным тоном сказал Штааль, откланиваясь.

— И говорим вам пароль: «граф Пален»,— добавил генерал Беннигсен.

XXVIII

У кадетского корпуса стояло несколько извозчиков. Штааль выбрал лучшую на вид пару.

— По часам прикажете, ваше благородие, или в один конец?

«В самом деле, взять по часам?.. Может, и там пригодится: не пешком же мы пойдем его убивать,— спокойно подумал Штааль. Он теперь впервые вполне ясно почувствовал, что идут на убийство.— Жаль, сани неказистые. Ежели там кто из окна выглянет?.. Надо бы мне иметь выезд...»

— Пошел в губернаторский дом!

«Хорошая пара, рублей триста,— подумал Штааль, глядя мимо спины кучера на крытых сеткой лошадей.— Славно идут... Триста рублей, никак не меньше. У левой селезенка играет... Да, надо, надо завести выезд. Дешевы лошади на юге... С чего этот пьяный черт взял, что я грузин?.. А обижаться на него не стоило. Не обиделся же барон Беннигсен за немецкую образину. Это стоит ишака... Так вот он какой, Беннигсен. Говорят, храбрейший, заслуженный генерал. Неман верхом в бою переплыл... Он не русский немец, а немецкий: с немецкой службы перешел на нашу. Нельзя сказать «немецкий немец». А как же надо? Пароль «граф Пален», это хорошо. Прекрасный пароль, вспоминать будет приятно... Ежели доведется вспоминать... Я теперь совершенно не боюсь... Неужто я мог хоть на секунду помыслить о доносе?.. Не иначе

как дьявольское наваждение,— думал он, вздрагивая.— Он там в передней отлично мог с пьяных глаз рубануть меня палашом. Этакой хватит, пополам разрубит... Почему, однако, Зубов нынче с палашом? Неужто для этого? Жаль, не взял я палаша. Впрочем, Беннигсен тоже при шпаге, как я... Ну, что ж об этом думать, там будет видно...»

Штааль действительно больше не думал о том, что должно произойти ночью. К собственному удивлению, он пришел в оживленное, почти веселое настроение духа. Так, бывало, в училище он неделями волновался перед экзаменом, а в экзаменационную комнату входил совершенно спокойно. Сани, сворачивая, замедлили ход на вымершем Невском проспекте. Сверкнули фонари. В морозном воздухе запахло горелым маслом. Будочники вытянулись, стукнув алебардами. Высокий полицейский офицер сбежал с крыльца к остановившимся саням, вглядываясь в седока маленькими глазками.

— Граф Пален,— наудачу сказал Штааль. Он не знал, нужен ли здесь пароль, но эти слова могли подходить и без пароля. На крыльце, под фонарем, Штааль с изумлением увидел Иванчука. «Он-то здесь зачем? Это еще что?..» Первым инстинктивным движением Штааль подвинулся в санях за спину извозчика, так, чтобы Иванчук его не видел.

— Ежели к его сиятельству,— сказал, отдавая честь, полицейский,— то они у его превосходительства генерала Талызина. Просили туда пожаловать. Изволите знать, квартируют на Миллионной, в лейб-компанском корпусе.

«Неужели опоздал и без меня все сделают? — подумал Штааль не то с надеждой, не то с огорчением: теперь ему было бы отчасти и неприятно, если б все сделали без него.— Нет, на ужин опоздал, а на то не мог опоздать. Зубов с Беннигсеном приедут только в полночь...» Он еще себя спросил, не будет ли неблагоразумно показаться Иванчуку; однако не выдержал и, немного поколебавшись, окликнул своего приятеля. Иванчук сорвался с места, едва не упал, поскользнувшись на обледенелых ступеньках, и торопливо подошел к саням. Даже при тусклом свете фонарей было видно, что он дрожит всем телом и что лицо у него совершенно синее.

— ...А... И ты... Ты тоже?.. Я... Что ж это? — стуча зубами, говорил Иванчук. От его обычной самоуверенности ничего не оставалось. Он даже не пытался скрыть свою растерянность, которая почему-то успокоила и обра-

довала Штааля. Он никогда не видал своего приятеля в таком состоянии.

— Ты здесь зачем?

— Я... Право, странно... Ты не поверишь... Так ты тоже?.. Граф приказал тебе ехать к Талызину... То есть не тебе, а вам всем... Но ты понимаешь... А?.. Мое положение глупое... Так ты тоже?.. Впрочем, я не знаю... Извини...

Штааль слегка развел руками, показывая, что ничего не может сказать. Он позже сам не понимал, как он мог в такую минуту заботиться о том, чтобы удивить или унизить Иванчука. Всего лишь часом раньше он сам был почти в таком же состоянии.

— Скоро узнаешь, *братец*,— сказал он небрежным тоном, так, как говорят об именинном сюрпризе. Полицейский офицер с любезной улыбкой на лице прислушивался к их разговору.

— Так вы говорите, граф *просил* к Талызину... Наверное? — сказал беззаботно Штааль.— Знаете, было бы неприятно приехать некстати... Незваный гость...

Он даже слегка засмеялся.

— Так точно. Изволите знать, на Миллионной улице...

— Еще бы не знать!.. Слава Богу, не первый раз. («Незачем было говорить «не первый раз»,— подумал он.) Благодарю вас... Прощай, братец,— сказал Штааль и тронул рукой извозчика: — Пошел на Миллионную... В лейб-компанский корпус... Живо!..

Извозчик погнал лошадей. Штааль молодцевато откинулся на спинку саней. Молодцеватый вид он сохранял, пока сани не скрылись за углом Морской. Он думал, что Иванчук глядит ему вслед и всегда будет помнить эту встречу, его небрежный тон и слова «Прощай, братец», если они никогда больше не увидятся. «Может, и до Настеньки дойдет,— подумал он. Эта мысль была ему приятна.— Нет, до нее не дойдет. Ей он не так расскажет, особливо ежели мы погибнем... Ну, да мне все одно, не до Настеньки теперь,— думал он спокойно, вздрагивая только от холода.— А то разве приказать ему свернуть направо и на Хамову? Еще не поздно. В постель, что ли?.. Ну, нет... Вот и теперь еще не поздно: прикажу, он мигом повернет назад...»

Огромная площадь перед Зимним дворцом была так же пустынна, как Морская и Невский. Но на углу Миллионной и дальше по этой улице Штааль заметил людей, прятавшихся у подворотен. «Подозрительные что-то лю-

ди... Теперь, пожалуй, уж и поздно назад ехать... Кончено!..» Он тяжело вздохнул. Извозчик тоже, по-видимому, обратил внимание на этих людей,— Штаалю показалось, что он сильно испугался. В окнах квартиры Талызина из-за спущенных штор яркими тоненькими рамками просвечивали огни.

XXIX

— Так у вас много народа? — громко спросил Штааль небрежным тоном. В сенях все скамейки и стулья были завалены военными шинелями. У лестницы, перешептываясь, с необычным растерянным видом стояло несколько лакеев. Они испуганно оглянулись. Штааль неспроста задал этот вопрос: это, при неудаче, могло потом пригодиться, свидетельствуя о случайном его приходе. Ему было приятно, что он так хорошо собой владеет. Кроме лакеев, в сенях никого не было. «Кому же сказать пароль? — спросил себя Штааль с досадой.— Не лакеям же?»

— Так точно, много, ваше сиятельство,— шепотом ответил лакей, подбегая на цыпочках. Лицо у него было бледное, но оживленное, как будто даже веселое. Штааль по привычке сбросил шинель сложенной вдвое, так, чтобы плешь на меху справа не была видна. «Шпагу отстегнуть, что ли?..» Ни шпаг, ни палашей внизу не было. Штааль нарочно довольно долго поправлял у зеркала галстук и шарф, показывая лакеям, что нисколько не спешит. Сделав это, он направился к лестнице. Сзади стукнула дверь. Пахнуло холодом. Штааль обернулся. В сени быстро вошел знакомый ему офицер, артиллерийский полковник, князь Яшвиль. Почему-то Штааль чрезвычайно ему обрадовался.

— Кого я вижу? — воскликнул он, подняв руку. В другое время это восклицание ему самому показалось бы неуместным: он очень мало знал Яшвиля, который вдобавок был значительно старше его годами и чином. Однако Яшвиль тоже сделал радостный жест и, быстро сбросив шинель, поздоровался со Штаалем, очень крепко пожав ему руку.

— Велик Аллах! — как бы весело прокричал Штааль первое, что пришло в голову. «Что это, как глупо я говорю»,— промелькнула у него мысль. Яшвиль, однако, засмеялся и сказал в шутку, так, как говорят рассказчики анекдотов о восточных людях:

— Хадым, дюша мой, хадым...

Лакеи с испугом на них смотрели, видимо изумленные громким разговором. В сенях было странно тихо. Штааль и Яшвиль быстро поднялись по лестнице. Издали вдруг донесся бурный взрыв рукоплесканий. Потом снова настала тишина. Они удивленно взглянули друг на друга. Впереди с растерянным видом пробежал на цыпочках дворецкий. Вслед за ним показался Талызин. Бледный, с искаженным лицом, он быстро шел на цыпочках, размахивая руками и разговаривая сам с собою. «Что это с ним? Уж не пьян ли?» — подумал Штааль, опять начиная волноваться. Грохот рукоплесканий повторился. Яшвиль окликнул Талызина. Тот оглянулся, ахнул, поспешно подошел к ним и неожиданно с ними расцеловался. Штаалю, впрочем, это показалось вполне естественным. Но волнение его еще усилилось. Рукоплескания снова оборвались.

— Это Пален говорит речь,— пояснил шепотом Талызин в ответ на немой вопрос Яшвиля.— Скоро выходим.

— Куда? — вырвалось у Штааля. Талызин с отчаяньем взмахнул руками.

— Пройдите... Да... Стоит послушать!.. Стоит! — невнятно проговорил он и схватился за голову. Яшвиль ускорил шаги. Штааль следовал за ним. Сердце у него сильно билось. Они пробежали на цыпочках через несколько комнат и остановились. Впереди за закрытой высокой дверью металлический голос медленно, напряженно бросал слова. «Не месть своекорыстная... Не по расчету... Не за свои обиды... Нет!..» — нарастал средь жуткой тишины голос. Яшвиль бесшумно приоткрыл дверь. В кабинете Талызина тесно толпились люди. Стоя у середины короткой стены, граф Пален говорил, опершись обеими руками на палаш. Пален был чрезвычайно бледен. Несколько десятков людей, затаив дыхание, горящими глазами глядело на него в упор. «За позор родины... За неслыханные унижения...» Голос все рос. Что-то в душе Штааля дрогнуло по-новому... «За нашу поруганную честь... Нет прощенья!..» — со страшной силой бросил голос.

XXX

Ртуть в трубке термометра поднялась до 212 градусов и дрожа остановилась. Вода бурлила. Баратаев осторожно приподнял реторту, отодвинул водяную баню, заменил ее

песчаной, подставил под нее черную лампу. Затем снова опустился на табурет, раскрыл старинную книгу и прочел вслух негромким голосом.

«Sic enim habet virtutem efficacem super omnes alias medicorum medicinas, omnem sanandi infirmitatem, eo quod est occultae et subtilis naturae, conservat sanitatem, roborat firmitatem, et ex sene facit juvenem et omnem eorum expellit aegritudinem...» [1]

Легкая жидкость срывалась по каплям и все быстрее падала в приемник. Баратаев наклонился к концу трубки, жадно вдыхая пары стекавшего вещества.

XXXI

Штааль всю жизнь помнил вечер в квартире Талызина. Но мучительно-волнующее впечатление это в его памяти навсегда осталось бессвязным. Позже, в рассказах, он не раз (как многие другие) пытался воссоздать картину того, что было. Но это ему не удавалось. Запечатлелись навсегда в его памяти лишь отдельные мгновенья, и они через долгие годы вспоминались так же ярко, как на следующий день. И еще остался в памяти дух тех минут, исполненный тоски, самопожертвования, непонятного наслаждения.

В этот день группы заговорщиков ужинали в разных местах города и к десяти часам съехались к Талызину. Ко времени приезда Штааля общий заключительный ужин кончился. Шла попойка.

Штааль много пил, его заставляли пить другие, и он заставлял пить других. Однако ему потом всегда казалось, что пьян в ту ночь он не был: голова его работала ясно и в мучительно-радостном чувстве, которое он испытывал, не было следов пьяного разгула. За буфетом он запивал семгу шампанским, заедал водку сладким пирогом с вареньем,— ему казалось естественным и есть в этот вечер по-иному, не так, как всегда.

Позже все говорили, что речь Палена была почти перед самым выходом; да и Штааль потом, рассчитывая вре-

---

[1] «Воистину так: он владеет верным даром, превосходящим возможности медиков, возвращать немощному и дряхлому силу, знал тайну сокровенной и тонкой природы сохранять здоровье, укреплять твердость и превращать старца в юношу...» *(лат.)*

мя, соображал, что оставался в доме Талызина очень недолго, быть может не более четверти часа. Но казалось ему, что был он там долгие часы. «Что же мы делали?» — спрашивал он себя впоследствии и не мог ответить. В воспоминании был яркий, дрожащий свет свечей в высоких литых канделябрах, вино в бокалах, тревожный беспорядочный гул голосов, иногда повышавшийся до крика. Кто говорил, что говорили,— этого Штааль не помнил. Не помнил он точно всех, бывших на ужине. Но неизменно выплывали в его памяти отдельные фигуры: Талызин сидел у стола в расстегнутом мундире с выражением отчаянья и решимости на лице; Николай Зубов что-то орал под люстрой, чуть не касаясь ее головою; князь Яшвиль с налитым кровью лицом рвал зубами из бутылки туго засевшую в ней пробку; Пален, наклонившись у окна, вглядывался в улицу, мимо осторожно отодвинутой желтой штофной шторы, закрывавшей его волосы и лоб неровной круглой складкой.

— Па-кавказски пей! — закричал Яшвиль с яростью, не шедшей к его благодушному облику. В левой руке у него был большой рог. Штааль захохотал и приложил рог к губам. «Неприятно пить всем из одного рога»,— мелькнуло у него в уме. Он выпил очень много, но не дотянул до дна, схватился за грудь и пролил вино на шелковый шитый стул. Штааль подумал, что это досадно, особенно ежели видел хозяин. Яшвиль сердито на него закричал: «Пей до дна!»

Проходивший мимо них нстороплнвой важной походкой барон Беннигсен, в застегнутом на все пуговицы мундире, оглянулся на крик Яшвиля и приятно улыбнулся. «Ах, вот и вы, генерал»,— задыхаясь и кашляя, сказал Штааль. Беннигсен утвердительно кивнул головой. «Па-кавказски пей!» — закричал на него Яшвиль, подавая ему до краев наполненный рог. Беннигсен со снисходительной улыбкой взял рог в руку. Яшвиль, шатаясь, отбежал к уставленному бутылками столу. В ту же минуту к Беннигсену подошел Пален и сказал тихим голосом по-немецки:

— Прошу вас, *вы* не пейте ничего. Помните, вся моя надежда на вас, на ваше хладнокровие.

Беннигсен улыбнулся еще снисходительнее: очевидно, ему была смешна мысль, что вино могло на него подействовать, лишив его хладнокровия. Он кивнул головой, подтверждая, что другие действительно ничего не стоят и что

он все сделает. Однако с полной готовностью вставил рог острым концом в тяжелую серебряную братину, предварительно отлив немного вина в стакан, чтоб не залить скатерти: по-видимому, Беннигсену было вполне безразлично, пить или не пить. Они отошли от Штааля.

— Тшто ми ошидаем? — спросил Беннигсен, подходя с Паленом к хозяину дома, который в углу комнаты сидел у небольшого стола, опустив голову на руки.— Слуги могут вислушать и могут на улицу выходить, во дворец побежать и императору доносить. Промедление есть смерти подобное, wie der Peter sagte [1],— добавил он с улыбкой.

— Я уверен в своих людях,— резко ответил Талызин, подняв голову.

— Дом оцеплен моими агентами,— сказал, пожимая плечами, Пален.— Я велел никого не выпускать, ни слуг, ни господ... Но могут, конечно, проскочить и по воздуху. Дело счастья.

Беннигсен приятно улыбнулся.

— Durchlaucht, Sie denken an alles. Sie sind ein grosser Mann... Aber ein Spieler [2].

— Ein Hasardeur [3],— подтвердил с усмешкой Пален.

«Зачем они говорят по-немецки в моем доме?.. Не хочу...— со злобной тоской подумал Талызин.— И как он смел говорить, чтоб не выпускали господ?»

Пален взглянул на часы:

— Половина первого.

— Две минуты после половина первого.

— Пора,— сказал Пален.

— Höchste Zeit [4],— подтвердил Беннигсен.

XXXII

...Et liberavit eos qui timore mortis per totam vitam obnoxii erant servituti... [5]

---

[1] Как говорил Петр *(нем.)*.

[2] Ваше сиятельство, вы думаете обо всем. Вы великий человек... Или игрок *(нем.)*.

[3] Азартный игрок *(нем.)*.

[4] Самое время *(нем.)*.

[5] ...И освободил от страха смерти тех, кто был ее покорным рабом целую жизнь... *(лат.)*

XXXIII

Штааль помнил, что шли они по лестнице тихо, что он чувствовал странное душевное размягчение и непривычную слабость в ногах, что лакеи, сбившись по углам, смотрели на них с ужасом, что откуда-то вдруг высунулось на мгновенье, перекосилось и исчезло женское лицо, что кто-то из них при этом старательно-весело засмеялся. Штааль потом не мог сообразить, где именно это было — в доме ли или уже на улице у выхода. Но заспанное, мгновенно переменившееся женское лицо запечатлелось в его памяти навеки. Он потом не раз видел это лицо во сне. Штааль помнил еще, что внизу в сенях, когда они бесшумно надевали шинели, черные стоячие, расширявшиеся кверху, часы пробили один удар. Все поспешно оглянулись: длинная стрелка с надломленным кончиком почти ровно продолжала короткую на голубом фоне старинных вызолоченных часов. Штааль успел прочесть и перевести мысленно латинскую надпись, черным ободком обвивавшую циферблат: vidit horam nescit Horam [1]. Беннигсен в дверях с неудовольствием оглянулся на отстававшие часы. Старый швейцар придерживал рукою дверь. Штаалю запомнились его открытый рот, наклоненная булава, громадные медные пуговицы ливреи. Это было последним впечатлением Штааля в доме генерала Талызина.

Снег больше не падал. Низко повисло беззвездное небо. Было очень холодно. Редкими порывами дул ледяной ветер, свистя, вздымая снежную пыль, крутившуюся в лучах фонарей подъезда. Вдали по Миллионной было темно.

Потом Штаалю подробно рассказывали, как их при выходе делили на два отряда: один шел с Паленом по Морской и Невскому, другой, под начальством Беннигсена, по Миллионной и через Летний сад. Штааль, оказавшийся на улице в числе первых, попал в отряд Беннигсена и чрезвычайно вдруг расстроился оттого, что ему идти не с Паленом. Он тоскливо подумал, что незачем делиться на два отряда: уж если идти на такое дело, то лучше бы всем идти вместе. Он даже пробормотал это вслух (на улице в ту минуту было так тихо, что многие услышали). Пален нетерпеливо на него оглянулся и сказал:

— Господа, прошу ничего не менять в плане. Все обдумано и предусмотрено.

В воротах блеснул зеленовато-желтый свет. Из двора дома выехали запряженные тройкой очень длинные низ-

[1] Часы наблюдал, а Время не чуял *(лат.)*.

кие сани. На козлах, к которым прицеплен был фонарь, сидел офицер. Штааль узнал его, слабо улыбнулся тому, что полковой адъютант преображенец Аргамаков оказался кучером, и тут же вспомнил, что именно Аргамаков по долгу службы постоянно бывает у государя, знает пароль, знает также все входы и выходы Михайловского замка. «Он-то нас и проводит»,— с радостной благодарностью подумал Штааль. За первыми санями из ворот выехали другие. Барон Беннигсен сел в сани, неторопливо оправляя полы шинели. За ним вскочило еще несколько человек. Штааль подумал, что лучше бы сесть во вторые или в третьи сани. Он снова почувствовал легкую слабость в ногах, но преодолел ее и молодцевато вскочил одним из первых. Он даже помог взобраться Яшвилю.

— Вот как князь спешит: в первые сани сел,— шутливо сказал стоявший у крыльца Пален.— У Яшвиля счеты с Павлом,— улыбаясь, пояснил он громко.

Яшвиль побагровел. Кто-то слабо засмеялся.

— Да, да, pour faire une omelette, il faut casser des oeufs [1],— со странной интонацией в голосе сказал Пален (все вздрогнули).

— Так у Воскресенских ворот сойдемся. Недалеко...

— Недалеко...— как эхо, повторил кто-то в санях.

— Пароль: «граф Пален»...

— Граф Пален...— повторил голос.

Сани понеслись быстро. Ветер засвистел в ушах. Штааль сидел спиной к фонарю, втянув голову в плечи. Он ничего не видел по сторонам, не видел даже, кто кроме Беннигсена был в санях. «Как на острова едем»,— неуверенно пошутил человек, сидевший от него слева. Шутка не была поддержана. Все молчали. Слышался пронзительный скрип полозьев по твердому снегу. Набилось в огромные сани человек восемь или десять. Штааль сидел очень неудобно, на корточках, поджав под себя ногу, которая быстро затекала. Он хотел переменить позу, но раздумал: «Не стоит, недалеко...» — «Холодно очень»,— стуча зубами, проговорил кто-то рядом с Беннигсеном. Штааль по голосу признал Платона Зубова. «И вправду холодно»,— подумал ежась Штааль. Ветер дул ему в спину. Руки стыли. «Эх, некстати...» Он попробовал достать перчатки, но вспомнил, что одну из них потерял. «Да, волки... Как все стран-

[1] Чтобы приготовить омлет, нужно разбить яйца *(франц.)*.

но... Что за ночь!..» Он подумал еще, что теперь не страшно встретить и целую стаю: «Справимся... Впрочем, сюда волки и не забегут... Ерунда какая... Где мы, однако?..» Бешено несшиеся сани замедлили ход. Штааля на кого-то бросило толчком. «Oh, je vous demande pardon» [1],— сказал он и подумал, что глупо тут просить извинения, да еще по-французски. «Санки скок — Сеньку в лоб»,— пошутил сидевший слева (он, видимо, гордился тем, что шутит). «Il n'y a pas de mal» [2],— прошептал голос. «Говорит ильньяпа... Тот последний, кажется, Яшвиль... Ведь, правда, государь съездил его палкой, я и забыл про эту историю. Пален науськивает... Убивать нас послал, ясное дело... Ну что ж, убьем... Яшвиль, говорят, фреймазон... И государь тоже фреймазон. Посмотрю, как брат убьет брата... Pour faire une omelette, il faut casser des oeufs... Если шпагой колоть, то ткнуть слева в грудь, чтоб не мучился. Жаль, жаль, что палаша не взял, рубить проще... Зато крови меньше... А стрелять не надо: сбегутся, и оставить нужно пулю про запас для себя...» Сердце у него страшно замерло при мысли, что через четверть часа, даже меньше, через десять минут, он, быть может,— уже не *так*, не в мыслях, а вправду — пустит себе в рот пулю. «Только бы не на дыбу... Виска и встряска...» Ветер задул в ухо и в щеку Штаалю. Сани свернули. На повороте он увидел фонари мчавшихся за ними других саней. Сани снова понеслись быстро. Он почувствовал облегчение. «Много нас... Нет, застрелиться всегда успею... Только отбежать в сторону, выхватить пистолет, открыть рот — и поминай как звали... Нехитрая штука...» Штааль с трудом перевел дыхание. Он подумал еще, что в такой тесноте, при толчках саней, пистолет его может выстрелить в боковом кармане сам собою. «Вот будет штука, ежели Беннигсена убью и все дело лопнет из-за моего пистолета. Ведь тогда остановятся, не иначе... Куда же его отнесут?.. Нет, Беннигсена никак: дуло вниз. Скорее себе колено прострелю... Хорошо еще, если колено»,— подумал он содрогаясь. Сани сильно замедлили ход. Сердце у Штааля сжалось. Беннигсен привстал, вгляделся в темноту и вышел из остановившихся саней. Все сделали то же самое. Штааль, соскакивая, едва не упал,— нога у него была как деревянная.

Перед ними был вход в Летний сад. Вторые, третьи сани подъезжали. Пристяжная озиралась назад и часто

---

[1] «Ох, прошу прощения» *(франц.)*.
[2] «Ничего страшного» *(франц.)*.

храпела. Из ее ноздрей валил пар. С саней соскакивали люди. «Кто же останется с лошадьми?..— Штааль подумал, что, пожалуй, хорошо было бы ему остаться с лошадьми.— Нет, теперь ни за что не останусь...» Беннигсен наклонился, отцепил фонарь от козел и высоко его поднял, оглядываясь по сторонам. Внезапно раздалось страшное оглушительное карканье. Штааль задрожал. Кто-то вскрикнул: «Фу-ты, черт!» Стая ворон взлетела над липами Летнего сада. «Sacrament!» [1] — сердито пробормотал Беннигсен (ворон, очевидно, и он не предвидел). Ускорив шаги, он поспешно пошел по аллее. За ним последовал Аргамаков, дальше другие. «Эх, как каркают, проклятые»,— прошептал кто-то. «Могут и тревогу поднять в замке... Неспроста... вороныо ночью каркать в Летнем саду»,— прерывисто сказал другой голос рядом с Штаалем. Протяжное насмешливое карканье ворон продолжалось. Вдали мерцали огоньки. Беннигсен быстро шел, держа фонарь впереди себя в вытянутой руке. Штааль почти бежал, спотыкаясь на обледенелых скользких аллеях. Ветер больно стегал его в лицо, засыпая глаза снежной пылью. Нога понемногу отходила. Штааль больше ни о чем связно не думал, стараясь лишь не растянуться на земле. «Как на параде Беннигсен шагает... Этот высокий Николай Зубов... Он был во вторых санях. Дошел бы только, ведь пьян как зюзя... Это Аргамаков. А это Яшвиль... Слава Богу, стихли вороны! Они триста лет живут... Может, видели убийство короля Генриха III. Его убил монах Клеман,— я еще у Дюкро спрашивал... Память у меня славная... Но то было во Франции. Что ж, вороны и перелететь могли... Дня три им лететь... Нет, что я, больше, и с неделю пролетят... На той стороне сада водомет. Я там гулял раз с Настенькой...»

— Стой!..— негромко сказал, вдруг останавливаясь, Беннигсен. «Тсс!» — протяжно прошептал он, оглянувшись, и передал свой фонарь Аргамакову, что-то ему сказав. Впереди, не очень далеко, горел красный огонь. Аргамаков побежал, хрустя шажками по снегу, и скрылся в темноте,— только двигался быстро бледный огонек его фонаря. В тишине слышно было лишь тяжелое сопенье Николая Зубова. Штааль не дышал. Через минуту впереди послышались голоса, затем лязг железа и тяжелый стук. «Подъемный мост,— сообразил, замирая, Штааль,— ведь Аргамаков знает пароль...»

---

[1] «Проклятие!» *(нем.)*

— Марш! — скомандовал Беннигсен и стремительно бросился вперед. Все рванулись за ним. У красного огня, сбоку от вскочившего первым на мост Беннигсена, метнулась фигура часового. «Ваше благородие, а? Ваша милость... Что же это?.. Помилуйте!..» — говорил часовой, с ужасом глядя на офицеров, то пятясь, то пытаясь загородить дорогу.

— Ничего, брат, это свои,— задыхаясь, сказал Аргамаков.

— Свои! — с пьяным хохотом повторил Николай Зубов.— Идем навестить приятеля.

— Нас вызвал государь! — вскрикнул не своим голосом Штааль, приглашая взглядом всех оценить его находчивость. Беннигсен с неудовольствием на них оглянулся, взял у Аргамакова фонарь и высоко его поднял.

— Смир-но! — холодно скомандовал он часовому, глядя на него вдруг изменившимся, ледяным взором. Часовой вытянулся и окаменел.

— Пусть кто-нибудь останется с ним, чтоб не стрелял,— по-французски сказал Беннигсен и скомандовал:

— За мной! Марш!..

Они побежали вперед. Штааль оглянулся и увидел, что у моста остался не один, а несколько человек. «Стыдно!» — подумал он с гордостью и ускорил бег. Сбоку низко над землей сверкнули редкие огни фонарей. Впереди открылись стены Михайловского замка, темневшие таинственные строения. Перед Штаалем мелькнули вытянувшиеся высокие люди со сведенными набок, исполненными ужаса глазами. «Это семеновцы... Наружный караул... Офицер наш»,— успел на бегу подумать Штааль. Он не мог понять, где именно они были. Впереди у фонаря Беннигсен с угрожающим видом говорил что-то Платону Зубову, лицо которого выражало отчаяние. К ним подбегали другие. «Ну да, Палена нет... Предательство... Я говорил... Все пропало!..» — повторял Зубов. Выражение лица Беннигсена вдруг стало страшным.

— Was fällt Ihnen ein? [1] — прошептал он, хватая за руку Зубова. Зубов вскрикнул и беспомощно шатнулся в сторону. Все смотрели на них растерянно. Беннигсен оглянулся. Лицо его снова стало спокойным.

— Тэпэр зависит всо от бистрота... За мной! — проговорил он и бросился вперед. Штааль никак не подумал бы, что этот немолодой, важный, всегда на все пуговицы

[1] Как вы смеете? *(нем.)*

застегнутый человек может бежать так быстро. Все побежали за Беннигсеном, задыхаясь и обгоняя друг друга. Какие-то низкие своды, дворы, каменные столбы и тумбы промелькнули при неверном красноватом свете фонарей. Сердце у Штааля стучало так, как никогда в жизни. Вдруг Беннигсен на бегу обнажил шпагу. Все сделали то же самое. Аргамаков круто свернул. Блеснул слабый свет, открылась витая лестница. Беннигсен наклонил голову под сводом и первый на цыпочках бросился вверх по расширяющимся сбоку ступеням. Тень, неверно шатаясь, заскользила по стене. Штааль, вбегая, оглянулся и увидел, что их осталось человек десять. «Где же другие? Какая подлость!» — чуть не вскрикнул он. За ним по узкой витой лестнице, загромождая весь проход своей гигантской фигурой, поднимался, тяжело дыша, Николай Зубов. Внизу, у двери, клубился белый пар. В тепле пахло щами, капустой. Штааль, искривив шею, взглянул вверх и схватился озябшей рукой за перила (они слегка дрожали). «Уж не ошибка ли?.. Заблудились... В кухню идем, а не в спальную...» Над ним послышался стук, затем звук голоса. На освещенной верхней площадке Аргамаков что-то говорил перед закрытой дверью, приложив к губам левый указательный палец. Слов Штааль не мог понять, хоть ясно их слышал. Рядом с Аргамаковым, чуть наклонившись вперед, вполоборота стоял Беннигсен со шпагой наголо в правой руке и с фонарем в левой.

— Ну да, ну да,— говорил Аргамаков, с трудом справляясь с дыханием.— Отопри, Кириллов... Это я...

— Скажи ему: пожар...— начал было Николай Зубов, поднявшийся до самой площадки. Беннигсен схватил его за руку. За дверью послышалась возня.

— Чичас... Чичас...— сказал голос. Человек, говоривший за дверью, видимо, еще не вполне проснулся.— Чичас, ваше благородие...

Послышался подавленный зевок, шаркающие шаги, затем звук поворачиваемого в замке ключа. Штааль впился рукой в дрожащие перила, не сводя глаз с финифтяной бляхи замка. Дверь отстала: в ту же секунду Беннигсен поставил ногу так, чтоб нельзя было захлопнуть дверь. Запах капусты усилился.

— Пожалуйте, ваше высокоблагородие,— сказал сбоку от порога камер-гусар Кириллов.— А я думаю, кто та...

Беннигсен рванулся в комнату, за ним Аргамаков, Зубовы. Кириллов ахнул и, вытянув руки, странно засто-

нал, точно негромко засмеялся. Другой камер-гусар спал, сидя на полу, прислонившись спиной к печке.

— А-а-а!.. Кар-ра-ул!.. — ужасным голосом закричал Кириллов, хватаясь за саблю. Этот крик потом казался Штаалю самым страшным из всего, что произошло в ту страшную ночь. Николай Зубов схватил полено из лежавшей у печки груды и, взмахнув им над головой, ринулся на камер-гусара.

— Ваше величество!.. А-а-а!.. — еще отчаяннее прокричал, поднимая саблю, Кириллов. Беннигсен бросился дальше. Комната наполнилась людьми. Не помня себя от ужаса, Штааль пробежал вперед. Рядом с прихожей, в большой полутемной комнате мелькнули глобусы, шкапы с книгами. Он ступил на что-то мягкое, остановился и стал вытирать о ковер мокрые ноги. Затем вскрикнул — и бросился бежать.

Из библиотеки двойные двери вели в спальню императора. Между дверьми, в стене огромной толщины, был узкий коридор. Здесь, как и в библиотеке, горел ночник. В стене коридора белела маленькая боковая дверь.

— Потайный ход... Ушел! — стуча зубами, простонал, подбегая к Беннигсену, Платон Зубов. Беннигсен посмотрел на него тем же ледяным взглядом.

— Ausgeschlossen! [1] — сказал он спокойно и оглянулся. С ними никого больше не было. Из прихожей несся гул, рев голосов. Беннигсен пожал плечами, взял шпагу в левую руку, в которой держал фонарь, а правой потянул к себе за ручку вторую дверь. Она не поддавалась. Он толкнул ее в другую сторону и, наклонившись, налег с силой. Фонарь дернулся в левой его руке. Дверь открылась. За ней было темно. Платон Зубов замер. Беннигсен снова взял шпагу в правую руку и, вытянув вперед фонарь, вошел в спальную императора. Зубов отшатнулся, бросил взгляд назад и, слабо застонав, на цыпочках последовал за Беннигсеном.

В комнате, в которую вбежал Штааль, над белой кухонной плитою, мерцая, горел огарок свечи. Штааль безумными глазами взглянул на плиту и кинулся из кухни в набитую людьми прихожую, откуда несся все более глухой гул. Штааль с яростью толкнул кого-то, шарахнулся

---

[1] Исключено! *(нем.)*

в сторону, наткнулся на низко наклонившуюся тяжелую фигуру,— ему показалось, что это был Яшвиль. За ним на полу Штааль увидел расходившуюся лужу крови. «Камер-гусара убили!.. Господи!.. Господи, что же это!..» Он отшатнулся и выскочил на площадку. На него пахнуло холодом. Витая лестница была забита людьми. Штааль прокричал что-то непонятное и бросился назад. «Пропало! Спасайся!» — заорал дикий голос. Послышался топот бегущих шагов. Штааль вбежал в библиотеку и остановился, еле переводя дыхание. На одно мгновение все стихло. Из открытых настежь дверей спальной полз на ковер зеленоватый свет. Вдруг в спальной раздался негромкий хриплый крик. Из прохода, шатаясь, выбежал Платон Зубов. За ним пробежал кто-то еще. Слабый крик в спальной повторился. Штааль рванулся к двери и как вкопанный остановился в проходе. Сбоку, в нескольких шагах от него, в тускло освещенной комнате, император, босой, в нижнем белье, прислонившись к ширме, безжизненно опустив руки, ужасным взглядом остановившихся глаз смотрел на Беннигсена, который стоял против него с обнаженной шпагой в руке. На полу, перед ширмами горел фонарь, освещая смятую постель с полусвалившимся одеялом.

В прихожей поднялась волна дикого гула. «Преображенцы идут царю на выручку!» — мелькнуло в голове у Штааля. Он прерывисто закричал, задыхаясь, выбежал из прохода в библиотеку, увидел сбоку какую-то фигуру, вытянувшуюся у книжного шкапа, сам шатнулся в сторону и прижался к другому шкапу. На пороге прихожей вырос Николай Зубов с зверским выражением на лице. Он на секунду остановился, затем тяжелыми, медвежьими, переваливающимися шагами, странно расставив руки, медленно побежал к двери спальной. Штааль впился в него глазами. Зубов замер на пороге, тяжело вдохнул воздух и, низко наклонив голову, ринулся в спальню. Еще несколько человек пробежало по библиотеке. Перед Штаалем мелькнул Яшвиль с окровавленной шпагой в руке. В спальне внезапно потух свет, что-то упало, послышался треск разбившегося стекла, затем долгий отчаянный крик. Штааль завизжал и бросил шпагу на дверцы шкапа. Дикий рев голосов покрыл крик императора. На пороге спальной показался Беннигсен. Он притворил за собой дверь и вложил в ножны шпагу.

...Рев за дверью внезапно понизился, перешел в шипящий шепот и оборвался. На мгновенье настала мертвая тишина.

Несколько человек выбежало из комнаты. Один что-то оживленно бормотал, дергаясь лицом и размахивая руками. Другой, шедший на цыпочках, яростно на него зашикал. Третий выскочил из прохода, схватился за голову и снова вбежал в спальную. Библиотека наполнялась людьми, вбегавшими из спальной, из прихожей, с лестницы. Было, однако, тихо. С зажженной свечой в высоком подсвечнике прошел по библиотеке Беннигсен. Штааль, все еще у шкапа, еле дыша, смотрел на открывавшуюся дверь спальной. Он немного подумал, взял шпагу и, крепко сжимая рукоятку, на цыпочках, неуверенными неровными шагами прошел в спальную.

На полу длинной комнаты горела свеча. Штааль сделал несколько поспешных шагов и прирос к полу, не отводя глаз от лежавшей на ковре страшной белой фигуры с высунутым языком и выпученными глазами на окровавленном синем лице. Быстро колеблющееся пламя дымящей свечи тускло освещало то судорожно сведенные босые желтоватые ступни, то концы шарфа, затянутого узлом на шее, то узкую, криво загибавшуюся черную лужу у стола с лежавшей в ней чернильницей. Кто-то зажег о свечу огарок и, низко наклонившись, старательно прилеплял его к столу, капал воском на дерево, заслоняя пламя дрожащей рукою. Стало чуть светлее. Штааль увидел сорванную со стола решетку, валявшиеся на полу куски слоновой кости, опрокинутые ширмы, стул с повисшим на спинке камзолом, под ним белый шелковый чулок. Человек, засветивший огарок, ахнул и бросился поднимать ширмы. Молодой, бледный офицер без шарфа, ползая на коленях, торопливо подбирал осколки решетки и стекла. Беннигсен двумя пальцами поднял чернильницу, осторожно поставил ее на бумагу и, взяв со стола песочницу, посыпал чернильную лужу. Штааль подвинулся к ширмам, заглянул в лицо офицеру без шарфа и выбежал на цыпочках из комнаты.

Он пробежал, не останавливаясь, по внутренним покоям. Везде вспыхивали огни. Михайловский замок просыпался. Спереди несся гул голосов, крики, тяжелый, быстро приближающийся топот. По зале с ружьями наперевес бежали великаны преображенцы царского батальона. Впереди их был старый солдат с очень мрачным и решительным выражением на лице. «Поздно!» — захохотал Штааль, высунув язык. Убийцы разбегались. Штааль бежал изо всей мочи, сам не зная куда. Им овладел припадок

бурной энергии, все росший от быстрого бега. Он жаждал деятельности, жаждал самоотверженных подвигов и был совершенно готов тотчас пожертвовать жизнью.

XXXIV

Из-под разодранного шпорой шелка лезло что-то серое. Штааль поспешно сел и наклонился над тонким прорезом. «Ах, какая досада! — сказал он (в эту ночь не он один говорил вслух сам с собою).— Так и есть, разорвал... Или уйти отсюда, чтоб не догадались кто?..»

Он опомнился и негромко засмеялся. В смехе его не было ничего истерического. Ему действительно было смешно. «Шелк, шелк порвал, этакий гадкий мальчик!..» Он хотел было прилечь снова, но раздумал. Было полутемно. Две свечи горели перед ним в канделябре, на высокой тумбе. Их свет резал глаза. Штааль хотел встать, потушить свечи, чтоб лечь снова, но опять раздумал. Над свечами стенные часы показывали пятый час. «Vidit horam, nescit Horam [1],— вспомнил Штааль, вздрогнув.— Тогда они пробили один удар. Значит, был час. Или половина первого?.. Одна стрелка продолжала другую: половина первого. Ну да... (он с напряжением, щуря в полутьме глаза, проверил по циферблату). А потом на санях несколько минут, больше никак не могли ехать. Потом шли садом... Вороны каркали. Когда же это произошло?» Впоследствии никто не мог точно сказать, в котором часу был убит император (почему-то всех очень интересовал этот вопрос, и еще больше то, сколько времени заняло самое убийство). «Значит, часа четыре прошло, ежели теперь пятый».

Штааль всю ночь провел в замке. Овладевший им припадок самоотверженной деятельности скоро прошел,— в особенности оттого, что делать ему было нечего. Он почувствовал усталость, какой никогда до того не знал. В осветившихся покоях ожившего заколдованного замка носились люди. Все сливалось в перегруженной душе Штааля. Он помнил, что видел издали полуживого Александра Павловича. Его два человека испуганно вели под руки. На великого князя было страшно смотреть. Видел Штааль и Марию Федоровну, и всю царскую семью, и главарей заговора с Платоном Зубовым, который опять начал щуриться, и врачей, и штатских, и военных. На мгновенье его внимание остановили какие-то высокие мона-

---

[1] Часы наблюдал, а Время не чуял *(лат.)*.

хи. «Они что здесь делают?» — удивился Штааль и долго не мог понять, откуда взялись в такую ночь духовные лица. На площади в невиданном множестве горели фонари. За окнами проходили войска, слышался глухой гул, грозно гремели барабаны. «Ожила Россия!» — сказал кто-то, и все восторженно повторяли эти слова. Потом царская семья отбыла в Зимний дворец. Потом помнились Шаалю столы, заставленные бутылками, толпившиеся вокруг них невесело, но буйно шумевшие люди. Еще какие-то офицеры спали на диванах, на сдвинутых креслах, на полу. Штааль очутился в этой дальней комнате, где никого не было, куда почти не доносился шум. Он прилег на диван, но не заснул. По крайней мере, теперь ему казалось, что он не спал ни минуты,— хотя по расчету времени это было неправдоподобно. «Не все ли равно?.. Но что же теперь делать?...»

Штааль сорвался с дивана, точно вспомнил о чем-то очень важном, и побежал по направлению к *той* комнате. Покои Михайловского замка были ярко освещены попрежнему и в комнатах все еще бродило множество людей. Но порядка уже было больше. В ту комнату Штааль не попал. У дверей внутренних апартаментов часовые никого не пропускали. «Ну, да я все видел,— успокоил себя Штааль, глядя с досадой на закрытую высокую дверь.— Вот разве что не видал, как *туда* вошел Пален. Он, однако, прибыл в замок, как раз когда все кончилось. Странно... И на память я, жаль, ничего не взял в спальной. Эх, досада... Надо было захватить хоть кусочек решетки,— всю жизнь бы показывал...»

— Что? Нет, брат... Император Александр давно отбыл в Зимний,— сказал около него кто-то. Штааль с удивлением оглянулся: сочетание имени «Александр» со словом «император» резнуло его ухо. «В самом деле, у нас теперь император Александр,— подумал он.— Вот странно! Никогда не было Александров на престоле. Впрочем, не все ли равно?.. Да, так что же теперь делать? — вслух сказал он, отходя от двери.— Не домой же на Хамову ехать?» Ему хотелось есть. Он помнил, что дома была ветчина, сыр, пиво. «Ну а дальше? Завтра на службу, что ли? На какую же службу? К Уварову? Уваров был при Павле для личных услуг. Вот тебе и личные услуги...» Штааль засмеялся так, как смеялся Уваров, говоря о пажах. Он почувствовал, что в душе его все выжжено начисто и навеки. «Теперь на все наплевать... Да как же я давеча хотел отдать жизнь за родину?..— удивленно спра-

шивал он себя.— Ведь правда, хотел, жаждал! Ну и хотел, а теперь больше не хочу. Теперь на все наплевать!..» Он искал и не находил в себе ни угрызений совести, ни душевной муки. «Тяжело, конечно... Да, тяжело, но легче, чем было вчера. Разумеется, много легче, и сравнивать даже нельзя,— подумал он с полной искренностью.— Больше никаких ваперов... Наша взяла, вполне удалось дело». На Штааля нахлынула радость при мысли об избегнутой опасности и о предстоящих наградах. «Все видели, что я был среди первых. На витой лестнице я пятым стоял, все свидетели могут подтвердить»,— говорил он, точно кого-то убеждая.

Насков своей лошадиной походкой прошел по залу и, увидев Штааля, протянул ему влажную руку.

— Тиран все-таки жив, сын мой,— сказал он с таинственным видом, выждал мгновенье и пояснил шутку: — Титулярный советник Тиран, тот, что при Палене состоит.

Штааль с досадой отвернулся, незаметно вытер руку и пошел дальше. Перед овальной передней, у парадной лестницы, навстречу ему бросился Иванчук. Он заключил Штааля в объятия:

— Ну, поздравляю... Молодцы!.. От всей моей души поздравляю. Истинные молодцы!

— Да пусти! Отстань! — сердито сказал Штааль. Иванчук, однако, не обиделся. Теперь он видел в Штаале как бы начальство.

— Молодцы! Одно слово, молодцы,— говорил восторженно Иванчук.— Ведь я знаю, ты участвовал в дельце. Признаюсь тебе теперь, участвовал и я. Только мне граф приказал дежурить в его доме: были важные распоряжения... Ах, как я рад... Поздравляю... Ну, расскажи, жарко было, а?

Штааль нехотя принялся рассказывать и почувствовал, что рассказывает не без удовольствия, хоть для приличия он морщился при некоторых подробностях, показывая, как ему было тяжело «убивать человека». Роль его в деле была достаточно опасна, можно было не приукрашивать рассказа. Но как только Штааль сообщил, что в самом убийстве не принимал участия, по выражению лица Иванчука он понял, что этого лучше было не рассказывать.

— Ну да, конечно, ты не мог важную роль играть в этаком деле,— уже несколько иным тоном сказал Иванчук и сообщил Штаалю подробности убийства.

— Душили Николай Зубов и Яшвиль, а шарф, гово-

рят, дал Скарятин. Но первая персона в деле был натурально патрон, Петр Алексеевич. Он теперь истинный диктатор...

— Ты его видел?

— Нет, где же? Его-то и жду... Граф всю ночь носится по городу, все разные меры принимает. Войска объезжает, генералов рассылает как мальчишек. Ведь с Англией покойник довел нас до войны,— я давно говорил... Аресты идут вовсю. Вся павловская шайка схвачена, Аракчеев задержан на заставе. Вот только Кутайсов сбежал, верно к Шевалихе... Экая голова Петр Алексеевич, и сила истинно дьявольская! Другого такого человека нет во всей России. Из нынешнего дельца без него ничего бы не вышло... Ведь это он преображенцев остановил,— я тебе говорю: как из земли вырос. А то они бы всех нас на штыки подняли. Любили, любили покойника, мужичье... Был бы нам всем репремант.

Иванчук рассказывал уже как очевидец. Штаалю вдруг вспомнился мосье Дюкро, то, что он говорил о Баррасе после Девятого Термидора. «Только бы иметь успех, все за тобой побегут... Совсем как тогда Дюкро...»

— Да, кстати! — воскликнул Иванчук.— Знаешь ли новость? Знаешь, кто еще скончался этой ночью? (он выждал несколько секунд, устанавливая, что Штааль не знает новости). Баратаев... Николай Николаевич Баратаев.

— Быть не может!

Штааль глядел с радостным изумлением на Иванчука.

— Быть не может! От чего?

— Не знаю, кажется, от аневризмы, скончался скоропостижно. В канцелярию только что прибежали слуги сказать. Вчера был здоров, а нынче нашли мертвым.

— Может, самоубийство?

— С чего ты взял?.. Ах, вот и Петр Алексеевич,— вскрикнул, меняясь в лице, Иванчук.

В вестибюль, в сопровождении целой свиты, вошел граф Пален. Иванчук с восторженным лицом бросился ему навстречу. «Это, кажется, Сикст V сразу выпрямился и бросил костыли, как только избрали его папой,— с улыбкой подумал Штааль, глядя на Палена.— Петр Алексеевич, правда, и прежде без костылей обходился, а все же теперь словно стал выше ростом...» Штааль отметил в памяти это наблюдение, которое показалось ему очень тонким. Иванчук, восторженно улыбаясь и, видимо, рассыпаясь в поздравлениях, старался на виду у всех горячо пожать Палену руку. Свита смотрела на него с не-

удовольствием. Военный губернатор равнодушно поздоровался с Иванчуком, о чем-то его спросил и, нахмурившись, отдал какое-то распоряжение. Иванчук закивал головой и побежал к выходу.

Пален в сопровождении свиты поднялся по лестнице. «Ну, что ж, и я не хуже других,— сказал себе Штааль решительно.— Довольно я валял дурака...» Он немного выступил вперед и, почтительно поклонившись, стал сбоку от двери с написанным на лице сознанием некоторых заслуг перед родиной. Пален ласково кивнул ему головой, остановился и подозвал его к себе.

— Вы хорошо себя вели, я не забуду вашего поведения,— сказал он громко. (Штааль вспыхнул от радости.) — Продолжайте служить так дальше... Сейчас дела очень много, а людей мало. Мне все нужны, все... Каждого должно утилизовать в высшую меру возможности.

Он немного подумал.

— Ведь вы состояли при покойном адмирале де Рибасе, которому поручено было укреплять Кронштадт?

— Так точно, ваше сиятельство.— Штааль подумал, что все его ответы Палену почему-то постоянно сводились к этой фразе: «Так точно, ваше сиятельство». Он хотел что-то добавить, но Пален его перебил:

— Это дело ныне сугубо важно. Флот лорда Нельсона может всякую минуту появиться перед нашими берегами. Надеюсь, что войны не будет, ибо для нее более нет причины. Но уверенности не имею и, все должные меры приняв, войны не опасаюсь нимало. При случае окажем мы лорду Нельсону прием, которого долго не забудет,— еще повысив голос, во всеуслышанье сказал Пален.— По этой причине храбрые и знающие люди теперь весьма в Кронштадте необходимы, и как вы там служили, то вновь вас туда назначаю.

— Слушаю-с, ваше сиятельство,— произнес разочарованно Штааль.

Пален пристально на него посмотрел:

— Полагаю, что по вашей службе при адмирале знакомы вы с Кронштадтской фортецией и с цепью береговых укреплений?

— Обязываюсь доложить вашему сиятельству: весьма мало,— сказал Штааль, покраснев.

Пален усмехнулся.

— Жаль, что не успели ознакомиться,— помолчав, проговорил он.— Тогда оставайтесь здесь: там нужны люди знающие.

Он тронулся было дальше, но, что-то вспомнив, остановился снова. Усмешка на его лице стала необычно благодушной.

— Даю вам другое поручение... Я приказал плац-майору Горголи нынче в утро заарестовать французскую артистку Шевалье. Она весьма мне подозрительна, не агентка ли господина первого консула? Надо поставить иностранных агентов на место, и французских, и немецких, и всяких других,— сказал он, опять подняв голос.— Довольно они у нас хозяйничали! Мы не французской, не прусской, не английской, а единственно русской партии... Извольте, господин поручик, отправиться к плац-майору Горголи и, сказав ему, что мною присланы, возьмите госпожу Шевалье под караул. Натурально, у нее в доме при ней и останьтесь впредь до нового распоряжения... Караул над прекрасной дамой, надеюсь, будете иметь нестрогий. Однако полномочия вам вверяю совершенные,— добавил Пален с насмешкой в голосе.— Прощайте, поручик.

Он направился дальше в сопровождении свиты. Штааль смотрел им вслед. После этой ночи все точно отскакивало от его души. На большое повышение в чине, на стотысячную денежную награду слова Палена как будто не походили. «Однако же он сказал: «Я не забуду вашего поведения». Это очень важно... Нехорошо, что я отказался от Кронштадта, но и беды большой нет. Не такой я осел, чтобы теперь фортециями заниматься.— Штааль понимал, что ему в награду дана госпожа Шевалье.— Да, конечно, позиция караулящего офицера будет выигрышная». При этой мысли у него сладко забилось сердце. Ему на долю выпадало то, о чем он мечтал. Но он чувствовал, что было в этой своеобразной награде, данной после разговора о Кронштадте, нечто весьма пренебрежительное. «Не беда... Только он одной Шевалихой не отделается, нет. Будет еще разговор и о другом. Он ясно сказал: «Я не забуду вашего поведения». А и забудет, так мы напомним... Пора, пора домой... Поужинаю и лягу»,— подумал Штааль, чувствуя, что ему очень хочется есть. Он спустился по лестнице, направляясь к выходу на Фонтанку.

В одном из коридоров замка, за полуоткрытой дверью, Штааль услышал плеск воды, увидел медные ванны, умывальники, водоем. Это были бани замка, устроенные по-новому: вода была проведена по трубам, из Невы, и лилась прямо в водоем из кранов. «Хорошо бы искупаться,— потягиваясь и зевая, подумал Штааль, заглянув

в баню.— Разве приказать служителям истопить ванну? Теперь мы здесь делаем, что хотим. А странно было бы купаться в ванне, в которой вчера, быть может, купался он...» Штааль вздрогнул. В нескольких шагах от него наклонившийся над умывальником человек в рубашке и панталонах, с переброшенным через плечо полотенцем, подставлял голову и шею под струю воды, лившуюся мимо раковины на пол. Штаалю показалось, что это Талызин. «Он где же был все время? В отряде Палена, что ли? Что-то я его и не видал вовсе...»

— Петр Александрович, это вы? — нерешительно окликнул Штааль.

Талызин вздрогнул, выпрямился и, отбросив со лба длинную прядь мокрых, со смытой пудрой волос, уставился на Штааля.

— Вы нездоровы?..

— А-а? Что? — прохрипел Талызин, свертывая и разжимая в руке полотенце. По его открытой шее, по лбу, по волосам текла вода. Он не вытирал ее, точно не замечая.

— Вы нехорошо себя чувствуете, Петр Александрович?

Талызин негромко засмеялся медленным смехом.

— Нет, хорошо,— проговорил он.— Очень хорошо...

Штааль смотрел на него, разинув рот.

— Пален приехал?

— Приехал... Только что приехал,— заторопившись, сказал Штааль.

Талызин уронил на пол полотенце и направился к двери. На пороге он остановился, провел растерянным взглядом по комнате, поднял с полу мундир и, не надевая его, вышел в коридор с улыбкой, которая надолго запомнилась Штаалю.

XXXV

— Дело сделано, Талызин. Советую более о нем не думать и не наносить себе прискорбия. Теперь должно то оправдать, что без оправдания плодоносным трудом будет историей признано как преступление бессмысленное.

Пален встал и прошелся по комнате. Лицо у него было усталое, не такое, как там на лестнице, где его видел Штааль.

— Не стану уверять вас, что я вполне спокоен душою,— сказал он, останавливаясь перед высоким креслом, в котором, откинув мокрую голову на спинку, непо-

движно сидел Талызин.— Скажу вам и более еще: опасаюсь, что мы ошиблись. Страх Александра скоро пройдет... Что, ежели дворянство нас не поддержит, вечно помня дедовские нравы?

— Поддержит? — переспросил хрипло Талызин.— Это Зубов, что ли? Он поддержит...

— Да, вы правы. Дураки сносны, злые вдвое, но нет хуже злого дурака... Людей не вижу... Не в безумии Павла было бедствие отечества, а в том, что безумец мог пять лет миллионами тирански править, считая подданных за рабов, удовлетворяющих его прихотям. Необузданная единодержавная власть ханская должна быть уничтожена. Ежели российское дворянство не возьмется довершить наше дело, кто знает, быть может, на сто лет отстанет наше отечество!.. Александр не надежен, я теперь вижу ясно. Он меня ненавидит. И не он один. Уже зовут меня старым временщиком. Воскресает Кромвель от гроба. Уже пущен слух, будто хотел я ночью вас предать, ежели не удастся дело. Хорошо? — Он засмеялся и уселся в кресло у окна.— Веселонравные люди!.. Есть, правда, еще мне кое о чем с противниками молвить слово... Но я более был чем нерасчетлив, что не заставил Александра написать бумагу, которая с ясностью его роль указывала бы. У Панина кое-что есть. Да боюсь, не мало ли для совершенной ясности?..

— Вы когда его в последний раз видели? — спросил вдруг Талызин.

Пален нахмурился:

— Часа за три перед ужином... Но решительный разговор имел в четверг.

— О чем?

— Да вы знаете... Я застал его мрачным еще более обыкновенного. Он вдруг запер дверь и молча так на меня смотрит. А на лице выпечатаны страх и ненависть. «Господин фон Пален, где вы были в 1762 году?» (Пален вдруг очень похоже воспроизвел голос императора Павла. Талызин вздрогнул и наклонился вперед).— «Здесь в Петербурге, ваше величество. Но что вам угодно этим сказать?» — «Вы участвовали в заговоре, лишившем жизни моего отца?» (по лицу Палена пробежала легкая судорога).— «Нет, ваше величество, я был только свидетелем переворота. Почему вы мне задаете этот вопрос?» — «Почему? Вот почему: потому, что хотят повторить 1762-й год. Меня хотят убить!»— почти истерически вскрикнул Пален. Он быстро встал и снова зашагал по комнате.

— К счастью, я не потерялся. Я сказал ему, что сам участвую в заговоре, дабы в нужную минуту вас схватить. Вы видите, я сохранил обладанье собою, а на нужные вымыслы всегда бывал способен. Но чего мне это стоило! — опять вскрикнул он и замолчал. Талызин смотрел на него в упор.

— Помните твердо, Талызин,— уже спокойно сказал, останавливаясь, Пален.— С волками жить, по-волчьи выть. Однако цель наша была чистая. В том вижу я многое, хоть неуспех и сразит в истории наше дело. Пусть как угодно нас судят потомки, и о них не так я забочусь. Но сказал бы им я лишь одно с достоверностью: дай Бог, чтоб всегда в России было поболее людей, которые, ни крови, ни грязи не опасаясь, всеми способами, зубами, когтями, чистый замысел отстаивать бы умели...

XXXVI

Стук в дверь разбудил Штааля. Он поднял голову с подушки, приподнялся на локте и растерянно прислушался. «Да, это моя спальная. Я дома. Павел убит и никакой дыбы... Но стучат... Ну, и пусть стучат...» Он снова опустил голову на подушку. Стук усилился. Штааль выругался, ступил, морщась, босыми ногами на холодный пол, надел туфли, раздавив пятками войлочные задки, и, зевая, пошел открывать дверь, шаркая по полу плохо надетыми туфлями.

— Кто там? — сердито спросил он, отодвигая запор, но не выпуская его из рук, по приобретенной в последние дни привычке.

— C'est moi, mon cher, ouvrez sans crainte [1],— сказал старческий голос. Штааль с удивлением открыл дверь. Перед ним стоял Пьер Ламор.

— Вы спали? Извините меня, пожалуйста,— сказал он.

Смущенно застегивая на груди рубашку, Штааль заторопился, впустил старика и, быстро пробежав вперед, пригласил гостя в кабинет. «Чего ему надо! Ведь еще утро. Эх, забыл я шлафрок порядочный купить».

Он кое-как оделся, надел туфли как следует и вышел в кабинет к Ламору. «Угостить его, что ли? Есть мадера... Обойдется... Да и день не такой».

Ламор, как оказалось, уже знал об убийстве императора; знал, по-видимому, и об участии в деле Штааля. Тем не

[1] Это я, дорогой мой, открывайте, не бойтесь (*франц.*).

менее он угрюмо попросил его все рассказать подробно. Во второй раз рассказ Штааля вышел эффектнее, чем в первый. Он не говорил прямо, что принимал участие в цареубийстве, но сцену в спальной изложил с такими подробностями, что в выводе не могло быть сомнения. Тон его речи был довольно беззаботный, местами почти удалой. Штааль даже прервал на минуту рассказ и спросил гостя развязно:

— Vous ne prendrez rien? Un verre de Madère? [1]

Ламор покачал головою.

— А ведь вы были правы,— сказал Штааль улыбаясь,— вы были правы, помните, мы беседовали с вами в Михайловском замке: я уже тогда принимал ближайшее участие в заговоре.

— Ну что ж, и поздравляю вас,— мрачно сказал Ламор.— Очень, очень умно... Убили тирана, да? Одного тирана вынести можно, а десять тысяч — гораздо труднее. У нас в 1793 году в каждой деревне правили деспоты,— вышедшие из низов, тупые, озлобленные, невежественные... Поверьте мне, мой друг, все на свете лучше революции. А вы теперь от нее на волосок. Искренне желаю Александру спасти от нее и себя и Россию. Его положение, конечно, ужасное... Что ему было делать? Говорят, он умный и талантливый человек. Очень вам советую поладить с новым царем. Другой такой ночи, как нынешняя, Россия не вынесет... Да, в самом деле, что ему было делать, бедному юноше? — повторил Ламор и задумался.

— Будет война, долгая война,— сказал он решительно.

Штааль с легкой улыбкой развел руками, как бы показывая, что это уже зависит не от него, или, по крайней мере, не от него одного, хоть он и все сделает для предотвращения войны. Впрочем, он плохо понимал связь между войной и убийством императора Павла. «С Англией, что ли, война? Да ведь говорят, будто англичане дали деньги на дело...»

— Вы особенно не радуйтесь,— сказал с раздражением Ламор.— Ведь не меня убьют на войне, а скорее вас. Да и неизвестно еще, чья возьмет. У нас громадная армия, а такого полководца, как первый консул, нет в целом мире.

«Так с Францией война? Ну да, конечно»,— подумал Штааль.

— Qui vivra, verra [2],— сказал он задорно.— Вот вы мне тогда предсказывали, что я попаду в застенок. Ведь не попал же...

---

[1] Выпить ничего не хотите? Стакан мадеры? *(франц.)*

[2] Поживем, увидим *(франц.)*.

Ламор, ничего не отвечая, смотрел на него мрачным взглядом.

— Однако, вы веселый человек,— сказал он, еще помолчав.— Так ничего?

— Что ничего? — как бы не понимая, переспросил Штааль.

— Да то, что было ночью,— сердито пояснил Ламор.

Штааль сделал грустное лицо:

— Разумеется, приятного мало. Нелегко убить человека. Но мы спасли Россию от тирана. Ведь это...

— Я тоже думаю, что ничего или почти ничего,— перебил Ламор.— Пустяки убить человека, особенно если с идеей. Да, собственно, и без идеи,— при твердо обеспеченной безопасности. Вздор, будто казни никого не устрашают: очень устрашают, очень. Добряк Беккариа, чутьем угадавший ту слащавую ложь, которая была нужна людям его времени, сам боялся всего на свете, особенно же боялся начальства. А вот в страх, внушаемый пытками, казнями, не верил, совершенно не верил... Я так думаю, что у нас сейчас генерал Бонапарт решает своим опытом большую политическую проблему: можно ли в революционное время основать власть на полутерроре? Гнусно казнить пятьдесят человек в день, как Робеспьер. А пятьдесят человек в год, пожалуй, необходимо... Посмотрим, что ваш Пален сделает.

— Да ему кого казнить-то?

— Как кого? Крестьян, которые начнут бунтовать, поляков, которые пожелают отделиться... Вы как, кстати, полагаете, вернут полякам независимость или нет?

— Ну, мы подумаем...

— Подумайте. И если вы, молодые люди, решите сохранить Польшу за собой, то очень советую вам не трогать царей. Без них вам ее и не видать было. Надо знать, чего хочешь. Республика так республика, но тогда маленькая, вроде Батавской или Гельветической, а? Устройте у себя Сарматскую республику, это и звучит очень хорошо.

— Были и большие могущественные республики. Рим...

— Ах, Рим? — протянул Ламор.— Впрочем, что же нам спорить?.. А только скажу я вам, молодой римлянин, что вы порядком изменились за семь лет нашего знакомства. Какой тогда вы были славный мальчик, любо вспомнить.

— А теперь? — спросил Штааль.— Душегуб?

— Зачем душегуб? Теперь вы, простите старика, аван-

тюрист. Задатки, мой милый, у вас, впрочем, и тогда были недурные,— я помню. Но отныне вы авантюрист готовый, законченный и совершенный. Быстро же вас свернула жизнь, мой милый, это бывает в бурное время. Нынешняя ночь вас довершит, хотя вы теперь изволите о ней говорить в тоне благодушно веселом. Ну что ж, вы все-таки славный малый. Это, кстати, ровно ничего не значит: Картуш был тоже славный малый, даю вам слово. Пороха вы, конечно, не изобретете,— но это вовсе и не требуется.

Штааль сильно зашевелил бровями. Сравнение с Картушем его не обидело, скорее даже было приятно, но слова о славном малом и особенно об изобретении пороха очень ему не понравились.

Ламор посмотрел на него и усмехнулся:

— Вы, вероятно, находите мое заключение бестактным. Принято думать, что люди, говорящие неприятные или неуместные вещи, бестактны. Это неверно. На самом деле бестактен тот, кто говорит неприятные или неуместные вещи, не догадываясь, что они неприятны и неуместны. Это вовсе не всегда так бывает: мало ли какие могут быть у говорящего соображения... Впрочем, я ничего дурного не имел в виду. При ваших природных и благоприобретенных качествах вы, надеюсь, проживете в свое удовольствие. У вас теперь начинается интересное время. Я рад, что прожил жизнь французом 18-го столетия. Но если бы сейчас начинать заново, я, быть может, пожелал бы стать русским... Однако я пришел к вам не для приятной беседы. У меня есть дело.

— К вашим услугам,— холодно сказал Штааль.

— Вот какая моя к вам просьба. Сегодня ночью скончался один человек, с которым меня связывают очень давние отношения.

— Не Баратаев ли?

— А, вы уже слышали? Да, он. Баратаев умер, не оставив близких людей. Мне поручено взять некоторые хранящиеся у него бумаги. Я получил на это разрешение. Вот...

Он вынул из кармана бумагу, развернул ее и подал Штаалю, который с удивлением увидел подпись и печать графа Палена. Штааль пробежал документ: «Вручителю сего разрешаю произвести осмотр всех бумаг в сию ночь скончавшегося Николая Николаевича господина Баратаева и взять с собою беспрепятственно те из оных, кои за нужные признает».

— Как видите, разрешение есть. Но я не понимаю ни слова по-русски, а в доме покойного, вероятно, хозяйничают сейчас люди, не знающие иностранных языков. Мне могли бы дать проводника, однако сегодня все очень заняты. У графа Палена есть теперь более важные дела. Да и мне приятнее ехать со знакомым человеком. Я подумал о вас. Надеюсь, вы согласитесь? Чрезвычайно обяжете.

— Что ж, можно. Сейчас?

«К Шевалихе ничего и опоздать, а все же досадно»,— подумал он.

— Да, если вы так добры. Это дело не терпит отлагательства. Меня ждет внизу извозчик.

— Я тотчас оденусь.

Когда Штааль, одетый и выбритый, снова вошел в кабинет, Ламор в глубокой задумчивости сидел у стола, перелистывая «Discours de la Méthode». По вопросительному рассеянному взгляду старика Штаалю показалось, будто Ламор забыл о своем деле.

— Да, пойдем,— сказал старик и торопливо поднялся, положив книгу.— Декарт, говорят, был тоже розенкрейцер,— добавил он неожиданно.— Он говорил: «bene vixit bene qui latuit» (Штааль наудачу кивнул головой): «Тот хорошо жил, кто хорошо скрывал»,— перевел Пьер Ламор.— Умный был человек. Самый мудрый из людей, если не считать Екклезиаста. Да, да, пойдем,— сказал он и, застегнув шубу, направился к выходу.

Штааль назвал извозчику адрес, с удивлением чувствуя, что немного волнуется. Так много воспоминаний было связано у него с этим домом.

На улице, несмотря на дурную погоду, было шумно и весело. Перед винными лавками толпился народ. Из кабаков несся гул голосов. Штааль с любопытством смотрел на эту необычную картину. Ему очень хотелось смешаться с толпой, послушать, что говорят. Из саней ничего нельзя было разобрать, но он ясно видел, что оживление радостное. «Нет, мы хорошо поступили, мы освободили отечество»,— теперь уж совсем уверенно думал Штааль. Какой-то малый, в оборванном зипуне, выскочил без шапки из подворотни, прокричал: «Убили!.. Ур-ра!..» —и изо всей силы бросил пустую бутылку на мостовую. Стекло разлетелось вдребезги, лошади шарахнулись в сторону. Извозчик выругался и, повернувшись к господам, сказал с довольной улыбкой:

— Гуляет народ... Свобода...

Штааль одобрительно кивнул головой.

— Ведь вы знали Баратаева? — спросил после долгого молчания Ламор.

— Знал и, признаюсь, не очень любил.

— Его едва ли кто-нибудь любил.

— У меня были основания,— добавил Штааль.

— Да? — Ламор посмотрел на него вопросительно.— Тогда вы, собственно, должны мне быть благодарны. У арабов, кажется, существует изречение: «Если кто тебя обидел, выйди на дорогу, ведущую к кладбищу, сядь и жди; рано или поздно по этой дороге пронесут твоего врага, вот ты и будешь утешен».

— А может, тебя пронесут по этой дороге раньше? — сказал, усмехнувшись, Штааль.

— Поправка ваша существенная. Да и долго ждать иногда скучно. Но в настоящем случае вспомнить арабское изречение можно: вы сейчас увидите мертвое тело своего врага. Во второй раз сегодня,— добавил он.

— Не врага,— ответил сухо Штааль.— Я давно простил ему его вину предо мною. Я просто его не любил.

— Это был замечательный человек. Сумасшедший, конечно, но замечательный. О нем всей правды не скажешь. Я тридцать лет его знал,— он ведь подолгу живал за границей. У нас о нем часто говорили: «Только в России могут быть такие люди». Очень глупое, кстати сказать, замечание.

— Вы, вероятно, Россию не любите? — подчеркнуто равнодушно спросил Штааль.

— Напротив, я очень высокого мнения о России. Изумительная страна, изумительная столица. И народ ваш, насколько могу судить, на редкость сметливый, даровитый. Русский народ одарен природой едва ли не богаче всех других — на свою беду, конечно: счастливы народы бездарные... Повторяю, у вас теперь начинается интересное время.

— Россия вся в будущем.

— Да ведь вы сегодня освободили ее от тирана, чего же вам еще? Вот сегодня с утра, значит, и началось будущее. Русские, говоря о своей стране, всегда ссылаются на какие-то смягчающие обстоятельства: то тиран, то татарское иго, то что-то еще.

— Главное, это народное невежество.

— Полноте, все народы невежественны, и не в этом дело. Никогда во Франции не было худшего умственного убожества, чем с той поры, как мы залили страну просветительными идеями. Для появления Декарта народные школы не нужны. По-видимому, не нужна и республиканская конституция. Ваше будущее ничем не лучше настоящего. А может быть, и хуже. Если России суждено дать Декартов, пусть они не теряют времени... Вот Баратаев был неудачный Декарт, как, впрочем, и многие другие.

Он угрюмо замолчал и больше не раскрывал рта всю дорогу.

XXXVII

В доме чувствовалось сдержанное оживление. Лакеи шныряли вверх и вниз по узкой каменной лестнице. Какая-то молодая женщина, похожая немного лицом на Настеньку, застенчиво показалась в боковой двери и с любопытством оглядела вошедших. «Здесь я впервой был у Настеньки»,— подумал Штааль. На площадке лестницы квартальный поручик, куривший трубку, ругал гробовщика, очень маленького худого человека с грустно-ласковой предупредительной улыбкой на лице.

— Грабители вы этакие! Ежели бедный человек помрет, то и похоронить нельзя... Вот ежели, к примеру, я,— говорил он. По очень благодушному выражению его раскрасневшегося потного лица можно было предположить, что он только что весьма плотно закусил. Гробовщик приятно улыбался, понимая, что квартальный, свой человек, шутит. Он даже сам позволил себе пошутить:

— Вам, Степан Иваныч, ежели, упаси Боже, что, можно по знакомству и скидочку.

По-видимому, эта шутка не понравилась квартальному, однако ему трудно было рассердиться с трубкой во рту. Он затянулся, вынул изо рта трубку, хотел что-то сказать, но, увидев поднимавшихся по лестнице людей, вопросительно на них уставился. Штааль изложил дело. «Разрешение есть»,— добавил он. Квартальный снова затянулся, подумал, выпустил дым из носа и сказал:

— Что ж... Не по порядку это, ежели хотите знать... Ордер от частного имеете?

Слово «частный» он произносил очень многозначительно. Штааль, сразу и не догадавшийся, что квартальный разумеет частного пристава, взял у Ламора документ. Увидев на бумаге подпись графа Палена, квартальный, видимо,

растерялся. Он поспешно замахал рукой под носом, отгоняя дым, и сказал испуганно:

— Сделайте вашу милость... Просто голова идет кругом... Дела какия!..

Он заговорил о том, что всех занимало. Штааль не удержался и сообщил о своем участии в цареубийстве. Полицейский побагровел и вытаращил глаза. Ламор сердито напомнил о деле.

— Oui, à l'instant [1],— сказал Штааль.— Так будьте добры, проводите нас...

В комнате, выстланной черным сукном с нашитыми золотыми слезами, дымя, горели свечи в тяжелых литых канделябрах. Баратаев лежал на невысокой, покрытой черным одеялом кровати. Штааль подошел поближе. Поверх тела была наброшена тонкая, прозрачная кисея. Сквозь нее просвечивали медные монеты на закрытых глазах. Сжатые, еще красные губы неприятно выделялись на лице умершего. Штааль вздрогнул и поспешно отошел к задернутому окну, на котором трепалась, у открытой форточки, штора. Ламор, сгорбившись, склонился над подушкой.

Штааль пытался вспомнить ненависть, которую когда-то испытывал к Баратаеву, свой последний разговор с ним в Милане, свои мальчишеские слезы. «Che i gabia o non gabia, e sempre Labia...» [2]

Женщина, похожая на Настеньку, робко вошла в комнату и стала сбивчиво объяснять, почему еще не все сделано, точно чувствовала себя виноватой. Гробовщик ласково и грустно кивал головою.

— К вечеру беспременно сделаем и на стол их перенесем,— говорила она тихо, вытирая передником притворные, как показалось Штаалю, слезы.— За монашенками послали. В доме, верите ли, и иконы ихней не было.

— А то, может, на Брейтенфельдово поле отвезем их! — вздохнув, сказал гробовщик.— Славное кладбище и в большом порядке.

— Надо частного спросить,— ответил квартальный поручик.— Без частного нельзя... Они, верно, в кабинете будут рыться? — вполголоса спросил он Штааля, показывая глазами на старика.— Вот ключи...

Ламор взял связку ключей и измученной походкой направился за квартальным в соседнюю комнату. Штааль, оглянувшись на женщину, последовал за ними. В кабинете

---

[1] Да, немедленно *(франц.)*.
[2] «Богат он или беден, но он всегда Лабиа» *(итал.)*.

ничего не изменилось. На большом столе в беспорядке стояли склянки, лампы, реторты. Ламор приблизился к маленькому столу, тяжело придвинул стул, сел и стал пробовать ключами средний ящик.

— Я вам не нужен? — спросил Штааль.

— Нет, нет... Если б вы были добры дать мне час времени...

— Ах, дела какие, Господи! — повторил квартальный, видимо желая вызвать Штааля на разговор об убийстве императора. Но Штаалю больше не хотелось рассказывать.

— От чего умер? — спросил он тихо полицейского.

— Верно, от аневризмы. Доктор сказал, разорвалось сердце. А может, и отравился, не разберешь. Лекарь пошлет к штад-физику, а штад-физик к просектору, уж мы знаем... Человек тоже был странный, изволили знать? Комнаты сами видите какие. Шкелеты,— сказал испуганно квартальный.— Мы даже наблюдение учинили в последние месяцы,— нет ли чего такого? Да так, словно бы и ничего. Вот только огнегасительному мастеру на случай дали знать для предостережения пожара... Оригинал,— старательно выговорил он.— Нашли у этого стола. На полу лежал... Писал, писал и вдруг умер. Да, может, им и тетрадь эту дать, что ли? Вот, на столе открытой лежала... Писал, писал и умер,— повторил квартальный.

Штааль тотчас узнал переплетенную в черный атлас тетрадь, в которой когда-то в Милане он прочел тайком несколько непонятных страниц. Сердце у него забилось. На первой странице, как тогда, он увидел огромную цифру 2, под ней слова «Deux — nombre fatidique» [1]. От волнения у Штааля остановилось дыхание. Он быстро перелистал тетрадь, на три четверти исписанную знакомым прямым мелким почерком с утолщениями по горизонтальной линии. Почерк этот становился все неразборчивее и нервнее на последних исписанных страницах. Штааль заглянул в самый конец рукописи, но читать не мог. Перед ним выскакивали лишь отдельные слова и фразы, то французские, то латинские. В особую строчку прыгающими буквами было выписано: «Не жизнь, а смерть в сием эликсире...» Штааль разобрал еще последнее слово — délivrance [2]. За ним следовало чернильное пятно, по-видимому раздавленное тетрадью и перешедшее на другую страницу.

---

[1] «Два — число вещее» *(франц.)*.
[2] Освобождение *(франц.)*.

— Вы думаете, так писал и умер? — быстро спросил Штааль квартального и, не дожидаясь ответа, отошел к Ламору. Старик хмуро оглянулся и заслонил бумагу, которую читал. Штааль отдал ему тетрадь и вышел с квартальным в коридор.

— А богатый был человек, и наследников нет,— заметил квартальный.

— Разыщутся,— сказал Штааль, стараясь успокоиться.

— Верно разыщутся, а то в казну магистрат отпишет.

— Нам с вами пригодилось бы,— пошутил Штааль.

— Еще как, и не говорите,— засмеялся квартальный.— Так неужто и вы, господин поручик...

Он не докончил фразы. Им навстречу шел неровной быстрой походкой пожилой человек, которого Штааль тотчас узнал. «Бортнянский?» — с удивлением подумал он... «Да, ведь, правда, они приятели были». Штааль первый поклонился директору придворной капеллы, хоть и считал его низшим по общественному положению. Тот растерянно на него взглянул и спросил, не останавливаясь:

— Туда можно?

— Сделайте милость.

Штааль спустился по лестнице и вышел из мрачного дома, решив вернуться через час за Ламором. Он погулял немного, раза два взглянул на часы. Было холодно и скучно. Штааль свернул на людную улицу. Из кабака несся отчаянный рев. Против входа столпились люди. Слышались раскаты смеха. Штааль протиснулся,— ему не сразу дали дорогу, и это ему не понравилось: накануне дорогу уступили бы немедленно. Посредине кучки высокий мужик показывал дрессированную суку. «Шевалиха, как есть Шевалиха»,— гоготали в толпе. Мужик, радостно улыбаясь, снял шляпу. «А ну, покажи барину, что делает Шевалиха...» Собака зевнула и легла на спину лапами вверх. Раздался новый взрыв хохота. Штааль поспешно отошел. «Надо бы прекратить это безобразие... Нет ли бутошника? — гневно подумал он, оглядываясь. Будочника не было.— Черт их возьми, экое безобразие!» — сказал Штааль уже менее сердито и, отойдя немного, засмеялся. При мысли о госпоже Шевалье сердце у него снова сладостно замерло.

Когда он вернулся, уже стемнело. Ламор неподвижно сидел перед столом, на котором лежал черный портфель.

— Спрячьте, спрячьте ваши секреты,— полушутливо сказал Штааль, вытянув левую руку и закрывая на мгновенье глаза.

Ламор поднялся, не отвечая, и взял портфель.

— Надеюсь, нашли интересные документы?

— О, да, чрезвычайно интересные,— пробормотал Ламор.— Чрезвычайно интересные...

Он остановился, обвел вокруг себя взглядом и, выйдя в спальную, снова склонился над мертвым телом Баратаева. У постели ярче горели высокие свечи. Кисея казалась желтой.

— Чрезвычайно интересные... Чрезвычайно интересные...— бессмысленно бормотал Ламор.

«Ну, и он, кажется, тоже с ума спятил»,— подумал Штааль с удивлением.

— Так я вам больше не нужен? — нетерпеливо спросил он.

— Не нужны... Благодарю... Более не нужны.

Они вместе спустились к выходу. В коридоре Штаалю показалось, что где-то вдали слышна тихая музыка. Везде были зажжены свечи. На площадке квартальный поручик, галантно улыбаясь, разговаривал с той же женщиной. «Все перебрали?» — спросил он и игриво подмигнул Штаалю. Лакей подал шубу старику.

— Прикажете извозчика позвать?

— Сбегай за двумя извозчиками,— сказал Штааль, оглядываясь на женщину. Лакей выбежал на улицу.

— Вы куда? К Демуту? — спросил Штааль Ламора.

— Я?.. Да, в самом деле... Искренне вас благодарю за услугу... Кстати, я на днях уезжаю из Петербурга.

— Что так? Во Францию?

— Да, вероятно... Мне здесь больше нечего делать... Впрочем, и во Франции тоже нечего. Нигде больше...

Штааль смотрел на старика с недоумением, и вдруг ему снова, как когда-то при первом знакомстве, бросился в глаза восточный облик Ламора, точно обостренный измученным выражением. При дрожащем огне свечей лицо его было мертвенно-бледно. Древний, дряхлый, сгорбленный, Пьер Ламор медленно выходил в дверь, тяжело опираясь на палку. «Скоро помрет, не иначе»,— подумал Штааль с сожалением.

— Тогда позвольте вам пожелать...— начал он.— От всей души...

— Благодарю вас.

— Так... вы когда же едете? — спросил Штааль, не зная, что сказать.

— Я?.. Куда?.. Как только будут готовы бумаги. La podorojna,— с трудом улыбаясь, выговорил Ламор.

В тумане, к облегчению Штааля, показались сани. Лакей стоял в них боком, держась за плечо извозчика.

— Одного нашел, барин,— запыхавшись, сказал он, соскакивая.— Совсем перепился народ.

— Для вас есть извозчик,— обратился Штааль к старику.— К Демуту отвези барина... Так до свидания. Всего, всего лучшего...

— Прощайте,— сказал старик глухо. Сани тронулись. Штааль довольно долго смотрел вслед Ламору.

— Прикажете на Невский сбегать? — разочарованно спросил лакей, видимо ждавший начая.

— Ну да, сбегай,— приказал Штааль. Он поднялся по лестнице, чтоб не оставаться в передней с прислугой. Ему хотелось еще взглянуть на женщину в передничке. Но ни ее, ни квартального на площадке больше не было. Штааль пошел по неровному узкому коридору, припоминая расположение комнат в мрачном доме. Вдруг он явственно услышал доносившуюся издали музыку. «Что за неприличие?» — подумал Штааль. Он свернул из коридора и на цыпочках прошел через длинную нежилую комнату с закрытыми ставнями. В ней было темно. За этой комнатой, Штааль помнил, находилась небольшая гостиная. Он приоткрыл дверь. Спиной к нему в гостиной, освещенной одной горевшей над клавикордами свечой, играл Дмитрий Бортнянский. «Ах, он еще тут? Ну, ему можно играть, для него это все равно что молитва...» Штааль оставил дверь полуоткрытой и уселся на диван в темной комнате. Он слушал минуты две, уставившись глазами в бледную дрожащую полосу света на ковре. Вдруг он почувствовал сильный нервный удар. У него внезапно прервалось дыхание.

Штааль так до конца жизни и не узнал, что́ играл в день цареубийства Бортнянский в доме своего умершего друга. Может быть, это было импровизацией. Может быть, никогда это и не было записано. Одаренный чуткостью и слухом, Штааль не имел музыкального образования, не знал даже нот. Впоследствии что-то в концерте Бортнянского «Скажи ми, Господи, кончину мою» напоминало ему эту музыку. Одна — очень страшная — ее фраза походила на мелодию Сен-Готардского убежища. Они говорили об одном и том же, о смерти. Штааль слушал с расширившимися глазами, со все росшим душевным смятением. Он сам не мог понять, что с ним случилось.

Ему казалось, будто он только теперь очнулся от непонятно долгого, изменчивого, томительного сна. Он был во сне и на льду Невы перед тропинкой, шедшей к Петропавловской крепости, и у Талызина, слушая жгучую речь Палена, и у дверей спальной, в которой душили императора, и в долгие постыдные часы, последовавшие за ночью убийства. Самые низменные его чувства, самые циничные фразы и мысли, приходившие ему в голову, были сном, от которого лишь теперь пробудило его то, что играл, о *нем* играл, один из величайших композиторов России. В музыке Бортнянского слышались Штаалю и люди, замученные в Тайной канцелярии, и задушенный в эту ночь царь, и крик камер-гусара Кириллова, и душевная мука Талызина. В ней была вся та необыкновенная, несчастная, ни на какую другую не похожая страна, в которой счастье жить было послано и царю, и камер-гусару, и Талызину, и ему, Штаалю. В версте от дома Баратаева, в *той* комнате волшебного замка, трясущийся от ужаса художник раскрашивал кистями в эти минуты изуродованное лицо мертвого императора. Где-то в другом месте, уткнувшись лицом в подушку, сдерживал рыданья новый самодержец, так богато одаренный, так ужасно начавший царствование. Фраза росла грозно, росла беспощадно... «Да, все кончено!.. Загублена жизнь, искалечена душа, кости помяты, все выжжено в сердце. Но и у других тоже все кончено»,— почти с радостью говорил себе Штааль. Он думал о Баратаеве, лежавшем под кисеею с медными монетами на глазах, думал о Ламоре, которого никогда больше не суждено ему увидеть, думал о собственной, близкой до ужаса смерти. Так странно связала его судьба и с Баратаевым, и с Ламором, и с царем, так все в ней было случайно, так легко все могло быть по-иному. Штааль чувствовал мучительное бессилие, безотчетный страх перед жизнью. «Умру, через день забудут, ничего не останется, но ни от кого ничего не останется... Разве от него, от этого худо одетого бедного человека... Нет, и над ним, как надо мною, есть то, перед чем мы безвластны, то самое, о чем он играет...» Звуки слабели. Начиналась новая музыкальная фраза. «Нет, нет, я знаю, здесь начался обман,— жадно вслушиваясь, говорил Штааль.— Обман, обман... На это я не поддамся, не поддамся, не поддамся»,— бессмысленно твердил он, стискивая зубы.

— Да где же они? За извозчиком послали, а сами ушли? — сердито говорил в коридоре голос.

Послышался женский заигрывающий смех:

— А вы бы караулили... Уж, видно, из своих заплотити...

— Ну, это дудки-с...

— А извозчик шапку сдерет... Да... Без шапки, значит, гулять будити...

Штааль смущенно вышел в коридор.

— Я тебя ищу,— сказал он, не глядя на лакея.— Нашел? Спасибо, вот тебе...

Он спустился вниз, вышел на улицу и приказал извозчику ехать к госпоже Шевалье.

Святая Елена, маленький остров

ПРЕДИСЛОВИЕ КО ВТОРОМУ ИЗДАНИЮ

Настоящая книга представляет собой эпилог моей серии «Мыслитель». Написана, однако, «Святая Елена» раньше, чем «Девятое Термидора», «Чертов мост» и «Заговор». Она появилась пять лет тому назад на страницах журнала «Современные записки», а затем вышла отдельной книгой (изд. «Нева») с иллюстрациями художника Пинегина.

С выходом в свет (надеюсь, в следующем году) романа «Заговор» серия «Мыслитель» (I «Девятое Термидора»; II «Чертов мост»; III «Заговор»; IV «Святая Елена, маленький остров») будет закончена. Знаю, конечно, что неправильный порядок появления моих исторических романов связан со значительными неудобствами, и в частности затрудняет понимание того, что было бы слишком смело с моей стороны назвать символикой серии. Приношу снова свои извинения читателям.

Автор

Июнь 1926 года

В школьной тетради Наполеона от 1788 года (Fonds Libri, № 11), составленной по курсу географии аббата Лакруа, занесены рукой будущего императора следующие слова: «Sainte Hélène, petite île». На этом месте запись в тетради обрывается.

I

Однажды в раннем детстве Сузи Джонсон услышала от своей матери, что вперед к обеду больше не будет подаваться пудинг. Сузи заплакала от горя.

— My little darling [1],— сказала ей нежно и наставительно мать.— Бетси Браун и другие девочки тоже не получат пудинга. Надо терпеть и экономить. Во всем виноват злой Бони, который устроил дорогой старой стране континентальную систему.

Сузи сквозь слезы осведомилась, что это еще за континентальная система. Но мистрисс Джонсон и сама не совсем хорошо это понимала. Девочке показалось, что континентальная система что-то вроде длинной, гадкой змеи.

Вечером, ложась спать, Сузи, по указанию матери, помолилась Лорду [2], чтобы Он спас дорогую страну от злого Бони, который отобрал у нее, и у Бетси Браун, и у других английских девочек вкусный пудинг — с изюмом, сливами и сладкой коричневой коркой — верно, для того, чтобы все съесть самому.

Злого Бони мисс Сузи боялась и ненавидела больше всего на свете. Всякий раз, когда она дурно себя вела, мать и мисс Мэри говорили, что отдадут ее Бони, и при этом делали страшные глаза. В первый раз Сузи услышала имя Бони как-то утром за завтраком и с ужасом спросила, кто такой Бони.

— Он сам сатана! — воскликнула, не удержавшись, ее воспитательница.

— О, мисс Мэри! — с укором сказала мистрисс Джонсон, не любившая неприличных слов.

Но *дэдди*, подполковник Джонсон, оторвавшись от свежего номера «Morning Post» и ударив кулаком по столу, заявил, что мисс Мэри совершенно права: Бони действитель-

---

[1] Милочка *(англ.)*.
[2] Lord *(англ.)* — Бог.

но сам проклятый сатана. При этом подполковник Джонсон завращал глазами и в словах «d-damned d-devil» как-то особенно страшно растянул букву «d».

Только когда мисс Сузи стала уже большой, незадолго до того, как ей пошел восьмой год, ей сказали, что Бони — не просто Бони, что это кличка, вроде как ее двоюродного брата Эдуарда Брауна зовут Эдди. Она узнала, что у злого Бони есть другое, длинное и трудное, имя: Наполеон Бонапарт, и что он состоит Кингджорджем (просто кингом,— поправила, улыбнувшиесь, мать) у французов, которые живут за морем, едят лягушек (shame! [1]), хотят погубить дорогую старую страну и воюют, как настоящие гунны, нечестно, совершая всякие зверства.

Вскоре после этого *дэдди*, подполковник Джонсон, был убит злым Бони на войне. А еще позднее к обеду стало снова появляться сладкое. Читая газеты, большие оживленно говорили, будто дела злого Бони идут плохо: его бьют русские. Сузи тотчас осведомилась о русских и узнала, с некоторым страхом, но и с удовлетворением, что это хороший народ, который живет в снегу с медведями, ест сальные свечки, но любит дорогую старую страну и не любит проклятых французов: русский король Александр, дальний родственник Кингджорджа, и один русский граф с фамилией, которую ни выговорить, ни запомнить невозможно, подожгли даже свою столицу Москву, чтобы спалить забравшегося туда Бони и сделать удовольствие Кингджорджу. Это очень понравилось Сузи.

Чуть не каждый день, во все время ее детства, мисс Сузи приходилось слышать о разных злодеяниях Бони. Наконец, в одно летнее утро, к ним в дом вбежал их молодой кузен, лейтенант Эдуард Браун, весь сияющий и украшенный блестящими орденами. В разговоре, радостном и быстром, он часто произносил слово Ватерлоо,— и через несколько минут всему дому стало известно, что герцог Веллингтон и кузен Эдди победили злого Бони, отомстили за *дэдди* и что отныне дорогой старой стране больше нечего бояться. Кроме Эдди в победе над Бони принимали участие немцы — очень хороший народ, который воюет честно и не совершает никаких зверств. Но немцы помогли только чуть-чуть, а все главное сделали дорогие старые малые, дорогой старый герцог Веллингтон и особенно дорогой старый кузен Эдди.

---

[1] Какой стыд! *(англ.)*

Затем судьба странно завертела Сузи и всю ее семью. У них в доме стал бывать некрасивый, неприятный военный, с оттянутой верхней губой и острым подбородком, сэр Гудсон Лоу. Он как-то особенно почтительно обращался с мистрисс Джонсон и подолгу оставался с ней вдвоем по вечерам. Зимой того года, когда вернулся кузен Эдди, мистрисс Джонсон, слегка покраснев, сказала Сузи и ее меньшой сестре, что у них будет новый *дэдди*, ибо она выходит замуж за сэра Гудсона. Мисс Мэри под строжайшим секретом сообщила девочкам, что сэр Гудсон незнатного рода: ему до них так же далеко, как им до герцога Норфолька, первого пэра Англии. Но это не беда, ибо сэр Гудсон очень хороший человек и известный генерал. Одновременно оказалось, что они все переселяются очень далеко, на какой-то остров Святой Елены, куда их новый *дэдди* назначен губернатором, и что на этом острове уже находится злой Бони, которого они будут стеречь — и не позволят ему убежать и убивать англичан. Затем все они долго — два с половиной месяца — ехали по большому морю на корабле с мачтами и с пушками, их страшно качало, всех, но не ее,— она одна ни чуточки не была больна,— и наконец приехали на остров Святой Елены, в большой дом Plantation House. Прекрасный дом, чудный сад с невиданными мимозами очень понравились Сузи. Обежав квартиру, она первым делом спросила, в каком подвале заперт Бони и нельзя ли его хоть издали увидеть, если это не очень опасно. Но оказалось, к большому ее успокоению, что Бони в доме вовсе нет, что он живет в другом месте, на вилле Лонгвуд, очень далеко от Plantation House и что они, кроме *дэдди*, его видеть не будут, ни вблизи, ни издали.

На острове Святой Елены Сузи незаметно для всех, кроме нее самой, превратилась из малого ребенка в очаровательную девочку. Говорили, что она красавица. Ей шел шестнадцатый год и уже иногда называли ее мисс Сузанной, когда в нее влюбился и сделал ей предложение представитель русского императора на острове Святой Елены, граф Александр де Бальмен.

Своего будущего мужа Сузи в первый раз увидела на обеде, который губернатор дал в честь иностранных комиссаров. Она сразу обратила внимание на то, что граф де Бальмен — красивый человек, гораздо более красивый, чем австрийский уполномоченный, барон Штюрмер, и французский, маркиз де Моншеню. Когда негры внесли в залу канделябры, мисс Сузанна с любопытством и гадли-

востью приготовилась к тому, что русский вынет свечу и съест. Но русский этого не сделал. Мисс Сузанне даже показалось, будто граф де Бальмен совершенный джентльмен.

За обедом говорили то по-французски, то по-английски. Русский очень хорошо говорил по-английски — с оксфордским произношением, как кузен Эдди. Правда, мисс Сузанна сразу заметила, что оксфордское произношение у него выходит не совсем так, как у кузена Эдди, и что *ти-эч* у русского какое-то странное. Но и это ей почему-то понравилось. По-французски же граф де Бальмен говорил совершенно изумительно,— сама мисс Сузи с трудом изъяснялась на этом языке. Ей даже показалось, что он говорит по-французски гораздо лучше, чем маркиз де Моншеню. Маркиз был, однако, другого мнения и с некоторой иронией слушал картавую речь своего русского коллеги.

Разговор шел, как почти всегда, о генерале Бонапарте и о тех неприятностях, которые он продолжал чинить всему миру, а в частности сэру Гудсону Лоу и иностранным комиссарам. Моншеню, старый эмигрант, в свое время считавшийся крайним реакционером даже в Кобленце, рассказал несколько случаев из времен молодости корсиканца. Оказалось, что Бонапарт когда-то собственноручно задушил женщину легкого поведения. Маркиз описал это происшествие с чрезвычайно точным указанием места, обстоятельств, имен и всех подробностей убийства.

— Quel scélérat, Seigneur, quel scélérat! [1]— воскликнул в заключение Моншеню.

Граф де Бальмен, выслушав учтиво французского уполномоченного, со своей стороны рассказал несколько анекдотов о Наполеоне, но в другом роде. При этом оказалось, что граф, хотя и дипломат по профессии, проделал в чине подполковника несколько кампаний и имел много боевых наград. Де Бальмен рассказал это к слову, легкой иронической улыбкой показывая, что не придает ни малейшего значения своим военным подвигам — особенно в присутствии такого заслуженного воина, как сэр Гудсон Лоу. Наполеона граф де Бальмен видел за всю свою жизнь только один раз — после битвы при Ватерлоо. Он был прикомандирован императором Александром к верховному английскому командованию и во время знаменитого сражения неотлучно находился в свите герцога Веллингтона. При слове Ватерлоо лица всех англичан и англичанок про-

[1] Какой злодей, Господи, какой злодей! *(франц.)*

светлели, а Моншеню слегка нахмурился, несмотря на свою эмигрантскую ненависть к Наполеону. Де Бальмен тотчас это заметил и, обращаясь к маркизу, с величайшей похвалой отозвался о храбрости, проявленной в день Ватерлоо французскими войсками.

— Bonaparte y a déployé tout son terrible génie, et Dieu sait s'il en a! [1]

И он мастерски описал, как Бонапарт с вершины холма Belle-Alliance руководил сражением, которое считал совершенно выигранным. Вдруг — было около полудня — в тылу его армии неожиданно показались немцы Блюхера вместо французского корпуса Груши.

— Il faudrait la plume d'un Chateaubriand pour décrire le désespoir qui s'est peint alors sur la figure mobile de César... [2]

Так закончил де Бальмен свой рассказ. Все это он видел в полевую трубу. Сидевший за столом заезжий гость, седой, молчаливый офицер, получивший две раны под Ватерлоо и ничего этого не видавший, подумал, что у русских штабных офицеров удивительные полевые трубы. Но мисс Сузанне рассказ русского очень понравился. А еще больше ей понравилось, что во время рассказа де Бальмен два раза посмотрел в ту сторону стола, где не было никого, кроме нее и старой мисс Мэри.

Сэр Гудсон Лоу, осклабившись, заметил, что сражение при Ватерлоо было бы все равно выиграно англичанами, даже если бы Блюхер не пришел на помощь.

— Hé, hé, qui sait, qui sait, mon général! — возразил маркиз.— Quand on a affaire à l'armée française... [3]

— Nous n'en safons rien en effet,— заметил со своей стороны барон Штюрмер.— Ces prafes allemands fous ont rendu un choli serfice [4].

Де Бальмен, которому было все равно, кто победил при Ватерлоо: англичане или немцы,— похвалил и Блюхера и Веллингтона.

— Quel rude homme, votre Iron Duke [5],— сказал он сэру Гудсону — и тотчас сообразил, увидев кислую улыбку хо-

---

[1] Бонапарт проявил в тот день весь свой ужасный гений. А ведь он, видит Бог, гениален! *(франц.)*

[2] Нужно было бы Шатобрианово перо, чтобы описать отчаяние, изобразившееся тогда на подвижном лице Цезаря... *(франц.)*

[3] Кто знает, генерал, кто знает... Когда имеешь дело с французской армией... *(франц.)*

[4] В самом деле, это совершенно неизвестно... Храбрые немцы оказали вам славную услугу *(искаж. франц.)*.

[5] Какой суровый человек ваш Железный Герцог *(франц., англ.)*.

зяина, что сделал промах: губернатор недолюбливал Веллингтона, который однажды назвал его, хотя и вполголоса, но довольно явственно, старым дураком. Де Бальмен был совершенно согласен с такой оценкой умственных способностей сэра Гудсона и думал вдобавок, что сам герцог Веллингтон ненамного умнее губернатора Святой Елены. Желая загладить свой промах, он с легкой улыбкой добавил, что великим людям присущи маленькие слабости: победитель при Ватерлоо так желает во всем походить на генерала Бонапарта, что просил знаменитого Давида написать его портрет и... (тут он опять поглядел в сторону мисс Сузанны)... и близко сошелся с певицей Грассини. Но... (он, улыбаясь, помолчал несколько секунд) Давид отказался писать герцога, а госпожа Грассини теперь на пятнадцать лет старше, чем была во время своей близости к генералу Бонапарту.

Маркиз де Моншеню немедленно назвал Грассини безголосой дрянью (в его время при старом дворе были не такие певицы) и выразил удивление, почему его величество король Людовик XVIII, в обсуждение поступков которого он, впрочем, не смеет входить, не приказал повесить Давида: ведь этот мерзавец до Бонапарта писал портреты Дантона, Робеспьера и Марата и был дружен со всей революционной сволочью.

Моншеню принадлежал к очень знатной семье, находившейся в родстве с французским и испанским королевскими домами; поэтому он позволял себе, даже при дамах, самые грубые выражения, справедливо полагая, что у него они никак не будут отнесены на счет дурного воспитания.

Молчаливый седой офицер, к общему удивлению, вмешался в разговор и, холодно глядя на маркиза, сказал по-английски, что король Людовик XVIII, вероятно, потому не приказал повесить мистера Дэвида, что, во-первых, в культурных странах вешать можно только по приговору суда, а во-вторых, все цивилизованные люди чтут в мистере Дэвиде великого живописца.

Барон Штюрмер с приятной улыбкой перевел замечание офицера не знавшему по-английски маркизу. Наступившее молчание прервал де Бальмен. Он рассказал столь же мастерски, что, когда Дантона везли на эшафот, Давид, с террасы Café de la Régence, зарисовал его фигуру на колеснице парижского палача. Дантон увидел бывшего друга и закричал ему своим чудовищным голосом: «Хам!»

— Впрочем,— прибавил граф.— Monsieur прав: надо быть снисходительным к гениальным артистам.

Леди Лоу, заметившая, что разговор может принять неприятный характер, вернула его к вечной теме, на которой все были всегда согласны. Она заговорила о Бонапарте. Сэр Гудсон рассказал, как он, в начале своего пребывания на острове Святой Елены, тщетно старался установить хорошие отношения с корсиканцем.

— Когда графиня Лоудон, жена лорда Мойра, генерал-губернатора Индии,— сказал он, почтительно произнося английский титул,— была проездом здесь, я устроил в ее честь обед и пригласил генерала Бонапарта. Вот какое я послал ему приглашение.— Он наморщил лоб и медленно, значительным тоном прочел по памяти свой пригласительный билет: «Сэр Гудсон и леди Лоу просят генерала Бонапарта пожаловать к ним на обед в понедельник в 5 часов, чтобы встретиться у них с графиней».

— Скажите, что было обидного в этом моем приглашении? — прибавил он, обращаясь к де Бальмену.— Так знайте же: я не получил никакого ответа. Да, я не получил никакого ответа на это приглашение! — повторил он трагическим голосом, торжественно оглядывая всех присутствующих.

Де Бальмен подавил усмешку и подумал, что надо было быть совершенным дураком, чтобы послать Наполеону приглашение *встретиться с графиней*. Он сочувственно покивал головой. В это время дамы встали из-за стола; мужчины остались,— им подали портвейн и сигары. Мисс Сузанна, выходя, с непонятным и радостным волнением почувствовала на своей спине взгляд красивых глаз де Бальмена.

Он ей положительно очень понравился. Не понравилось ей только одно. Когда за чаем она с вареньем подошла к гостю сзади со стороны канделябра, то оказалось, что у русского графа на затылке довольно большая плешь, величиной с блюдечко для варенья. Хотя эта плешь была мастерски замаскирована приглаженными поперечно прядями волос и хотя де Бальмен, увидев неожиданно подошедшую сзади молоденькую мисс, тотчас совершенно естественно повернулся так, что плешь исчезла, как если бы ее вовсе и не было,— ничто не скрылось от пятнадцатилетних глаз мисс Сузанны. Это ей очень не понравилось. Но только одно это.

Граф де Бальмен стал часто бывать у них в доме, много шутил с ней, дразнил ее, исправлял ее французские ошибки,— они часто говорили по-французски по просьбе леди Лоу. Ко дню ее рождения, когда некоторые из до-

машних по привычке подарили ей куклы, он поднес Сузи красивый несессер, выписанный из Парижа, с ее инициалами на красном шелке шкатулки. Мисс Мэри, округлив глаза, отозвала в сторону свою воспитанницу и сказала ей, что такой несессер должен стоить по меньшей мере десять гиней, чему мисс Сузанна едва могла поверить и не поверила бы, если б это не утверждала знающая все мисс Мэри. Сузи очень смущенно благодарила графа за такой неслыханный подарок. Де Бальмен ласково смеялся, повторял ее сбивчивые фразы, подражая английскому произношению французских слов,— и мисс Сузанне казалось, что глаза у него влажные и чуть маслянистые, как слива ренклод. Это ей тоже понравилось. А поздно вечером, когда она легла в постель, ее поразила мысль, что подарок из Парижа надо было заказать за полгода вперед. От волнения она не могла заснуть по меньшей мере четверть часа.

Самое важное и необычайное событие всей жизни Сузи случилось вечером. Граф де Бальмен долго разговаривал с ее родителями, запершись с ними в кабинете губернатора. Затем он уехал, причем сэр Гудсон Лоу проводил его до ворот, у которых стоял экипаж графа с негром и русским грумом. Там они еще довольно долго разговаривали. Между тем леди Лоу вышла к дочери и сказала ей смущенно и взволнованно, что де Бальмен просит ее руки. Леди Лоу было неловко: она сама вышла замуж на четыре года раньше своей дочери и предчувствовала, что над этим будут смеяться. Мать сказала Сузи, что граф де Бальмен — прекрасная партия. Правда, странно выходить за русского и придется, к сожалению, если не жить, то подолгу оставаться в России. Но, впрочем, граф шотландского происхождения, и часть их семьи еще недавно жила в Англии: леди Лоу лично знала последнего в шотландской линии этого знаменитого рода, Рамсэй Босвелль де Бальмена, имевшего права на имение и замок Балмораль. А главное — граф прекрасный человек и совершенный джентльмен.

— You are so young, Suzy, arn't you? [1] — сказала леди Лоу, вздохнув.

— I am, mother [2],— ответила мисс Сузанна, сама не понимая своих слов.

— God bless you! [3]

---

[1] Ты так молода, Сузи, не правда ли? *(англ.)*

[2] Да, мама *(англ.)*.

[3] Да благословит тебя Господь! *(англ.)*

На этом они обе заплакали. Затем пришла мисс Мэри, которая тоже заплакала. Затем появился сэр Гудсон и сказал, что надо не плакать, а радоваться. А через день мисс Сузанна Джонсон стала невестой графа Александра де Бальмена: безумно счастливой и по уши влюбленной в жениха. Русский комиссар ждал разрешения своего правительства для того, чтобы покинуть остров Святой Елены. Перед отъездом должна была состояться свадьба.

II

Александр Антонович де Бальмен, стоя перед зеркалом, в третий раз завязывал галстук. Выходило все не то. Надо было сделать точно такой узел, какой носил в последнее время Джордж-Брайан Браммель. Граф часто встречал первого из европейских dandy (тогда это слово только что пришло на смену прежних кличек: «petits-maîtres, roués, incroyables[1]) в ту пору, когда служил в русском посольстве в Лондоне. Пряжку на ботинках, знаменитую браммелевскую пряжку, он воспринял давно и хорошо. Но с галстуками дело не совсем ладилось. Де Бальмену казалось к тому же, что на острове Святой Елены общество по неопытности не сумеет оценить гениальную простоту браммелевского стиля,— и он подумывал, не усвоить ли ему другой, более смелый тон туалета — вроде, например, костюмов лорда Байрона.

«Перейти разве от одного би к другому»,— спрашивал себя Александр Антонович, вспоминая ходившее в лондонском свете изречение, по которому существовало в мире три настоящих человека и все с фамилиями на букву Б: Бонапарт, Байрон и Браммель.

Байрона граф де Бальмен также встречал в Лондоне: периоды пребывания Александра Антоновича в Англии совпадали с расцветом славы и светского успеха молодого автора «Чайльд Гарольда». В первый раз де Бальмен увидел поэта на вечере у леди Гарроуби. Байрон неподвижно сидел в кресле, хмуро рассматривая гостей и почти не поднимаясь при появлении дам. Мужчины недоброжелательно поглядывали на его прозрачное лицо, напоминавшее мертвую красоту статуи, и на черный фрак, который он носил вместо принятого синего. Кто-то объяснял неучтивую неподвижность лорда его болезненным желанием

[1] Щеголь, франт (*франц.*).

скрыть свою хромоту. Несколько дам, забыв приличие, впилось глазами в красавца. Сам Бруммель, появившийся ненадолго в салоне, провожаемый завистливыми взглядами молодых денди, которые старались запомнить и усвоить каждую мелочь его простого костюма, окинул Байрона беглым взором и, хотя это был не его стиль, одобрительно кивнул головой: ему никакое соперничество не было страшно,— он был Бруммель. Рядом с Байроном сидел известный лидер тори и пространно излагал молодому пэру намерения консервативной политики в предвиденье поражения Бонапарта. Байрон внимательно слушал, не глядя на собеседника, и затем, помолчав, выразил надежду, что эти виды не сбудутся: сам он от всей души желает победы Наполеону — назло монахам, партии тори и редакторам газеты «Morning Post». Де Бальмен не мог без смеха вспомнить мигающие глаза консервативного лорда, растерявшегося при этом ответе. В продолжение всего вечера Байрон говорил очень мало — преимущественно о погоде — и, по-видимому, меньше всего думал о том, что сказать. Автор «Чайльд Гарольда» оживился только тогда, когда послышались звуки клавесина: Каталани своим бархатным голосом пела романс Гретри: «Je crains de lui parler la nuit» [1]. Сверкающие глаза Байрона расширились. «Рисуется»,— сказал себе в утешение де Бальмен, но вместе с тем он подумал, что ничего прекраснее этого лица и этих безумных глаз ему никогда видеть не приходилось. После концерта Байрон тотчас поднялся и незаметно уехал. В обществе его считали гордецом; де Бальмену показалось, что он просто застенчив.

Несколькими днями позже Александр Антонович встретил лорда в другой обстановке, поздно ночью, в модном ресторане Стефена, где они случайно оказались соседями по столикам. Байрон ужинал с двумя друзьями: в одном из них, небольшого роста брюнете с добрыми беспокойными глазами, де Бальмен тотчас узнал знаменитого актера Кина, который по средам и пятницам сводил с ума Лондон трехминутной агонией датского принца в последнем действии «Гамлета», а по понедельникам — словами «And buried, gentle Tyrrel?» [2] в роли Ричарда III. Другой спутник Байрона, чудовищного сложения мужчина, неестественно носивший костюм, как-то особенно бережно

---

[1] «Я боюсь разговаривать о нем ночами» *(франц.)*.

[2] «И зарыл их, милый Тиррел?» — В. Шекспир. Ричард III, Акт IV. Сцена 3. *Перевод Анны Радловой.*

прикасавшийся к тарелкам и стаканам, точно боясь их раздробить, и всем своим обликом сильно напоминавший носорога, был король боксеров Джэксон. Стол трех знаменитостей привлекал внимание всего ресторана: дамы и иностранцы смотрели на Байрона, кокотки и англичане — на Джэксона, о котором с почтительным ужасом передавали друг другу, будто он одним ударом кулака сваливает с ног вола. К общему удивлению, Байрон ел исключительно омаров и бисквиты, запивая их крепкой водкой и горячей водой. Метрдотель, знавший привычки знаменитого лорда, раз пять или шесть подносил ему попеременно рюмку водки и стакан горячей воды. Де Бальмен смотрел на поэта и не узнавал молчаливого гостя леди Гарроуби. Лицо Байрона сверкало оживлением, он что-то рассказывал и звонко-добродушно хохотал, слушая художественную речь Кина, который с необыкновенным искусством подражал мистрисс Сиддонс, Кэмблю, Гаррику, Фоксу, принцу-регенту и другим известным людям. Смеху Байрона вторило рычание носорога, обнажавшего чудовищной величины, целые и сломанные зубы. Кин ел ножом, называл поэта «ваша светлость» и беспокойно оглядывался по сторонам, особенно на де Бальмена, уставившегося на них не совсем учтиво. Наконец он не выдержал и что-то тихо сказал своим товарищам. Джэксон поднял голову и сверкнул на Александра Антоновича обломками огромных зубов и белками маленьких глаз: де Бальмен инстинктивно опустил руку в карман, где у него всегда лежал небольшой двуствольный пистолет, сделанный для него по особому заказу Лепажем. Но Байрон быстро сказал несколько слов носорогу, и тот немедленно успокоился.

«Да, очень интересный человек, этот сумасшедший лорд... Необыкновенная смелость в мыслях. «Чайльд Гарольд»,— ну, в стихах я плохой судья... Но черный фрак с этим фантастическим жилетом. Très personnel...[1] Все-таки стиль Браммеля вернее. Надо быть Байроном, чтобы позволять себе эксцентричность. И Геллеспонт он переплыл, если не врет. Кажется, не врет. Другие ломаются, а у Байрона это все естественно. Глаза у него совершенно необыкновенные... Почему от него сбежала его супруга? Неужели правда, что говорил тот птенец?..»

Не так давно приезжавший на Святую Елену из Англии молодой офицер, краснея и шепотом (хотя дам при разговоре не было), рассказывал де Бальмену ходившие

[1] Здесь: очень оригинально (*франц.*).

в Лондоне скандальные слухи о причинах развода Байрона с женой.

Де Бальмен снова потянул своими длинными пальцами концы галстука. На этот раз вышло недурно. Александр Антонович открыл небольшую шкатулку, задумался немного при виде десятка лежавших в ней булавок, соображая соответствие каждой галстуку и костюму, старательно вколол одну и стал надевать жилет. Де Бальмен со своим большим опытом жизни отлично знал, какое значение имеет платье. Бруммель, человек без роду и племени, стал первым человеком в самом чопорном обществе мира почти исключительно благодаря своему умению одеваться. И, тщательно это скрывая, де Бальмен ежедневно отдавал часа два туалету: меньше было невозможно. Граф всегда одевался сам, ни вывезенный им из России Тишка, теперь *грум,* а прежде просто малый, ни лакей-негр не присутствовали при его туалете.

«Сегодня, вероятно, получу и новые произведения Байрона»,— подумал де Бальмен, с удовольствием вспоминая, что с минуты на минуту должны принести привезенную вчера кораблем европейскую почту. «И письма непременно получу. Не может быть, чтобы Нессельроде еще не дал ответа... Неужели Люси опять ничего не напишет? Впрочем, черт с ней... Газеты и книги будут во всяком случае. Поменьше бы все-таки стихов. А много умных людей в Европе теперь пишут стихи: Гёте, Делавинь... Чего доброго, я сам скоро начну... И деньги за это платят порядочные. Говорят, Байрону Меррей отвалил за «Чайльд Гарольда» 600 фунтов, а тот кому-то их подарил. Очень бы пригодились — при дороговизне на этом проклятом острове. Сколько еще будет расходов по свадьбе...»

Де Бальмен застегнул жилет и опрыскал себя духами.

«А все-таки есть в этом что-то несерьезное. Не то что несерьезное, а смешное.— «Чем вы занимаетесь?» — «Пишу стихи...» En voilà un métier...[1] Все человеческие занятия не слишком умны — мое в том числе,— но это, пожалуй, поглупее остальных. В службе нет ничего смешного, а в стихотворстве — есть... У нас сочинители еще, впрочем, не вошли в моду. Не будь покойник Державин министром, кто стал бы его читать? «Гляди, Алкид, на гидру дерзку, смири ее ты лютость зверску...» C'est complètement idiot...[2] Кто у нас еще пишет стихи? Ce pauvre bâtard Joukov-

[1] Вот так ремесло... *(франц.)*
[2] Как глупо... *(франц.)*

sky... Un brave homme d'ailleurs...[1] Или Гаргантюа Крылов... Да еще несколько мальчишек. Чаадаев говорил, будто в Сарскосельском лицее два мальчика пишут прекрасные стихи. Энгельгардт тоже их хвалил. Того, что поталантливее, зовут, кажется, Илличевский. А другого... Забыл... Diable!.. Забыл... Скверная становится память. Говорят, что к сорока годам память всегда слабеет... И морщинка, кажется, новая обозначается, вот здесь около носа».

Де Бальмен подошел к другому зеркалу, которое висело в углу, сбоку от окна, и которое он особенно любил. В этом зеркале он всегда выходил моложе и лысина была не так заметна. Осмотр его несколько успокоил.

«Влюбилась же Сузи...»

Александр Антонович осторожно, чтобы не смять костюма, сел в кресло и задумался. В сотый раз он себя спрашивал, не безумно ли он поступает, женясь в сорок лет, да еще после такой жизни, да еще на шестнадцатилетней девочке, да еще на англичанке.

III

Граф де Бальмен был внук родовитого шотландского выходца, состоявшего сначала на французской, потом на турецкой службе и окончательно устроившегося на русской при императрице Анне Иоанновне. Отец Александра Антоновича занимал пост генерал-губернатора курского наместничества. Де Бальмен, в раннем детстве потерявший отца, девятнадцати лет от роду поступил в конногвардейский полк и в два года достиг чина штаб-ротмистра, когда с ним случилось странное и неожиданное происшествие. За уличный скандал с полицией, после бурно проведенной ночи, он был, внезапным распоряжением императора Павла, лишен дворянства, разжалован в рядовые и немедленно водворен в казармы. Там он оставался только три дня. За это время случилось — уже не с ним одним, а со всей Россией — происшествие еще более странное, хотя и не совсем неожиданное.

На третий день после своего несчастья де Бальмен, убитый тем, что с ним произошло, уничтоженный физической усталостью, беспрестанным унижением, бессонными ночами и грязью павловской казармы, был утром выведен со

---

[1] Бедняга незаконный сын Жуковский... Впрочем, славный человек... *(франц.)*

своей ротой на ученье. Но отряд их не дошел до Царицына луга, а почему-то стал около Невского проспекта. Офицеры в недоумении перешептывались. Вдруг на противоположной стороне Невского появился человек в круглой шляпе. Он что-то взволнованно кричал. Александр Антонович смотрел на него во все глаза: за круглую шляпу при Павле ссылали в Сибирь, ибо от нее и от жилетов произошла, по мнению императора, французская революция. Сердце де Бальмена забилось от радостного и страшного предчувствия. В это время показалась быстро мчащаяся коляска «vis-à-vis», запряженная шестеркой цугом, с кучером в национальном костюме и с форейтором,— все это также было строжайше запрещено. В коляске неподвижно сидел генерал с нахмуренным, умным лицом, бледным и утомленным, точно после веселой ночи. Де Бальмен тотчас узнал военного губернатора Петербурга, графа фон дер Палена. Солдаты стали «смирно». Генерал остановил свой экипаж, подозвал ротного командира и, высунувшись из коляски, что-то ему сказал. Офицер изменился в лице и перекрестился. Де Бальмен не вытерпел мучительного волнения. Он потерял голову.

— Петр Алексеевич, ради Бога, что случилось? — вскрикнул он не своим голосом, выступив к Палену из шеренги.

Ротный командир и солдаты застыли. Пален с недоумением посмотрел на молодого человека, узнал его, усмехнулся и сказал несколько слов ротному командиру, показав на де Бальмена глазами.

— Ребята! — произнес он затем звучным, спокойным голосом.— Его величество император Павел скончался нынче ночью от апоплексического удара. Вас поведут присягать его сыну, императору Александру Первому. Учения сегодня не будет. Вам выдадут по чарке водки.

И, кивнув ротному командиру, Пален тронул рукой кучера. Форейтор заревел страшным голосом; коляска по мокрому снегу понеслась дальше — по направлению к Зимнему дворцу. Оцепеневший де Бальмен мог еще разглядеть, как граф Пален, отъехав, несмотря на холодную дурную погоду, снял с себя шляпу и вытер платком лоб.

Солдаты молчали.

— От чего бы умереть? Кажись, вчера не был хвор,— сказал наконец один.

— Что ж так зря присягать? Этак всякому присягнешь...

— Эх, нам что? Кто ни поп, тот и батька. Водка будет, и на том спасибо.

— Нам, известное дело, все одно, а вот их благородиям... Офицерье-то старый царь не больно жаловал.

Через два часа, провожаемый недобрыми взглядами солдат, де Бальмен ехал из казармы на извозчике в баню, оттуда на свою старую квартиру — пить шампанское (к вечеру в Петербурге не осталось ни одной бутылки шампанского). А на следующий день он, как все, отправился в Михайловский замок проститься с прахом Павла I.

В эти два дня люди в офицерских мундирах входили во дворцы беспрепятственно и делали там что хотели. На царскую семью никто не обращал внимания. В течение нескольких дней офицеры были хозяевами России. Еще накануне перед заговорщиками стоял призрак дыбы и палача. Но 12 марта общее мнение было такое, что убийцам обеспечены не только безопасность, но и почет, и деньги, и власть. Каждый уверял, будто участвовал в заговоре или, по крайней мере, знал о нем с первой минуты,— отрекаться стали лишь через несколько дней. О будущем делались разные предположения. Говорили, что Пален намерен ввести в России конституционный образ правления и что Платон Зубов посылал в библиотеку кадетского корпуса за «Английской Конституцией» Делольма. Говорили также, что полковник Измайловского полка Николай Бибиков предлагает перерезать всю царскую семью.

Через Рождественские ворота де Бальмен вошел в Михайловский замок и поднялся в бельэтаж по той самой винтовой лестнице, по которой шли убийцы. Задушенный император лежал на постели в спальне, одетый в гвардейский мундир. Лицо его, в черно-синих полосах, было тщательно, но плохо загримировано и раскрашено художниками. На голову и левый глаз надвинули огромную шляпу. Шею закрыли широким галстуком.

У тела толпились цареубийцы. Они были все еще пьяны,— после убийства начался разгром дворцовых погребов. Здесь рассказывали разные подробности и слухи, часто сильно преувеличенные. Говорили, что душой всего дела был Пален, который, впрочем, обеспечил себя на случай неудачи покушения: он тогда бы явился с отрядом солдат и арестовал Александра и заговорщиков. Убийцами Павла были Николай Зубов, князь Яшвиль, Татаринов и Скарятин, а распорядителем — генерал Беннигсен. Говорили также, будто деньги на предприятие дал английский посол Уитворт, который действовал через свою любовницу Же-

ребцову, сестру Платона Зубова. По рассказам других, вездесущий Буонапарте за несколько дней до убийства узнал об английском заговоре против царя и люди первого консула неслись будто бы из Парижа в Петербург — предупредить и уберечь Павла. Не сомневались в том, что теперь с Англией будет заключен мир. Говорили даже, будто какой-то видный француз, отдавая последний долг праху императора, словно нечаянно, а на самом деле нарочно, сдвинул с его шеи галстук, — и страшные следы скарятинского шарфа открылись глазам дежурных гренадеров. С особенным удовольствием рассказывали о роли Александра в деле и еще преувеличивали эту роль, обеспечивавшую всем безопасность. Описывали с разными подробностями ужин у Талызина, экспедицию двух отрядов и зловещее карканье вспуганных ворон на старых липах Летнего сада. Сообщали шепотом, что Платон Зубов сильно струсил, когда камер-гусар Кириллов у дверей царской спальни поднял крик, и что император непременно спасся бы, если б не хладнокровие Беннигсена, который распоряжался убийством, как сражением. Передавали подробности глумления над трупом: слова Палена на ужине заговорщиков «pour faire une omelette il faut casser les oeufs» [1] — были пьяными офицерами приведены в исполнение буквально.

Де Бальмену стало жутко. Он вышел из спальни и очутился в маленькой голландской кухне, которая в этом странном дворце была устроена рядом со спальней императора. Комната была пуста. Но в углу на табурете, опустив голову на плиту, сидела княгиня Анна Гагарина, любовница убитого императора, и глухо безутешно рыдала. Двадцатилетний де Бальмен вдруг почувствовал неизъяснимую жалость к этой женщине, которая одна во всем мире, если не считать далекого, таинственного Буонапарте, сожалела о смерти безумного царя. Он хотел сказать ей что-либо нежное, утешительное, но ничего не придумал и пошел дальше бродить по переполненным людьми покоям мрачного замка. В овальном зале, где обычно помещался караул от конной гвардии, было особенно шумно и весело. Окруженный почтительною толпою придворных, там стоял, с улыбочкой на крошечных пухлых губах, последний фаворит Екатерины, князь Платон Зубов и отпускал разные шуточки, на которые неизменно отвечал громкий, почти всеобщий хохот. В нескольких шагах от этой группы пошатывался брат Платона, Николай, гусар огромного ро-

[1] «Чтобы приготовить омлет, нужно разбить яйца» *(франц.)*.

ста и необычайной силы, зять фельдмаршала Суворова. Он был совершенно пьян; на распухшем лице его виднелся большой синяк. Держа за пуговицу мундира сухого, флегматичного, длинноносого Беннигсена, который благодушно слушал его пьяную болтовню, пересыпанную народными восклицаниями, Николай Зубов доказывал, что у него силы побольше, чем у Алексея Орлова.

— Нет, ты сообрази, немецкая твоя образина,— говорил он...— Ты постой, сообрази: ведь Петра-то Алешке легко было задушить, да еще когда Федька Барятинский на руки навалился. А сынок покрепче был... Вишь, какой синяк мне наставил... Нет, ты постой, ты сообрази сам, да ты слушай меня, жидовская морда!..

Кто-то в группе Платона Зубова процитировал двустишие, только что сочиненное Виельгорским на смерть Павла: «Que la bonté divine, arbitre de son sort, lui donne le repos que nous rendit sa mort» [1]. Улыбочка Платона Александровича выразила полное одобрение, и немедленно раздался хохот. Кто-то другой заговорил о новой императорской чете. Все сразу замолчали. Князь Зубов слегка прищурился, услышав имя Александра, и небрежно заметил, что императрица Лизанька — прехорош-шенькая девочка.

— Платоша! — восторженно воскликнул пьяный гусар, выпустив пуговицу Беннигсена.— Ах ты, сукин сын!.. Лизанька!.. Какая она тебе Лизанька? Не со всякой же тебе царицей жить!.. Ты, брат, старух любишь... Эх, жалко Катю-покойницу... Вот, брат, царица была, старая ведьма, а? Немка, а Россию как вознесла, а? Тестя-то моего открыла, а?.. Дай, я тебя обниму, хоть ты и сукин сын...

Почувствовав острое отвращение, де Бальмен вышел из овальной залы. В одной из смежных проходных комнат он увидел неизвестного ему маленького мальчика в трауре с заплаканным и испуганным лицом и с ним почтенную нахмуренную даму, с таинственным видом державшую в руке карандаш и клочок белой бумаги. Мальчик был сын Павла [2], а дама — его гувернантка, госпожа Адлерберг. Кто-то сказал де Бальмену, что вдовствующая императрица Мария Федоровна, желая узнать имена убийц ее мужа, нарочно поставила здесь ребенка с гувернанткой и приказала госпоже Адлерберг записывать всех тех офицеров, которые побледнеют, проходя мимо маленького сына убито-

---

[1] «Спокойно мы вздохнем, пожалуй что, впервой:
Он отдых свой обрел,— а мы обрящем свой».

Перевод с французского Е. Витковского.

[2] Впоследствии император Николай I.— *Автор.*

го. Эта мелодраматическая затея двух немок позабавила де Бальмена, особенно когда он увидел, как князь Платон Зубов, проходя по комнате, остановился возле ребенка, ласково потрепал его по щеке длинными пальцами своей маленькой красивой руки и сказал:

— Нет, как он на деда похож. Удив-в-вительно...

Александр Антонович уже собирался уходить, как вдруг кто-то сообщил, что в спальню Павла идет приехавшая из Зимнего дворца царская семья. Де Бальмен, вместе с другими офицерами, бросился туда. Впереди шла, истерически взвизгивая по временам и останавливаясь, в красных пятнах на здоровом, полном лице, императрица Мария Федоровна под руку со шталмейстером Мухановым; за ней, пугливо озираясь по сторонам, бледный как смерть, Александр. Нижняя челюсть его необыкновенно миловидного полудетского лица конвульсивно вздрагивала. Войдя в спальню — двери были раскрыты настежь,— Мария Федоровна выпустила руку Муханова, остановилась и, театрально прошептав: «Gott helfe mir ertragen!» [1],— двинулась дальше; но, не доходя постели, с хриплым криком откинулась назад. Лицо Александра из бледного сделалось серым. Внезапно императрица повернулась к сыну и громко, во всеуслышанье, сказала ему по-русски:

— Посдрафляю вам: ви — император.

Шталмейстер Муханов поспешно опустил глаза. Александр шагнул вперед, открыл рот, поднял руки, замахал ими в воздухе — и вдруг грохнулся на пол без чувств. Елизавета Алексеевна и придворные бросились поднимать царя.

IV

Эти мартовские дни, повисшие над всем царствованием императора Александра I, имели огромное значение для де Бальмена. Разумеется, ему немедленно были возвращены и чин, и дворянство, и титул. Но три дня, проведенные в солдатской казарме, навсегда отбили у него охоту к военной службе. Ему показалось противным мучить и унижать других людей так, как в течение трех дней мучили и унижали его самого. Кроме того, после мартовских сцен в Михайловском замке де Бальмену захотелось уехать из Петербурга — подальше от окровавленных людей, которые из

[1] «Помоги, Господи, вынести!» *(нем.)*

окровавленных дворцов полновластно распоряжались судьбами огромного государства. Не то чтоб убеждения де Бальмена подсказывали ему такое желание,— у него не было никаких убеждений: их у него заменяла свойственная ему врожденная порядочность и рано приобретенное равнодушие. Он хотел сделать свою жизнь возможно более утонченной, удобной, разнообразной и изящной. Тянуло его также в Париж и Лондон познакомиться с двумя могущественными державами Запада, жертвою соперничества которых, как ему казалось, пал безумный русский император. Александр Антонович вышел из полка и поступил на дипломатическую службу. Положение его в ту пору было очень выгодное, с одной стороны, он пострадал от Павловского режима; с другой — в роковые дни был заперт в казарме и, следовательно, явно для всех не имел никакого отношения к цареубийству. Этих двух обстоятельств, в связи с умом де Бальмена, красивой наружностью и успехами у женщин, было достаточно для того, чтобы обеспечить ему самую блестящую карьеру в царствование Александра I. Карьера де Бальмена была, однако, только хорошей, а не блестящей — главным образом потому, что он сам не торопился ее делать. Он был не столько честолюбив, сколько любопытен: он хотел наблюдать вблизи, из первого ряда кресел, великое политическое представление, появляясь порою за кулисами и на сцене. Видеть — было потребностью де Бальмена, и он действительно видел очень много.

Внук искателя приключений, шотландец по крови, но русский по воспитанию и отчасти по натуре, полувоенный, полустатский, блистательный дипломат и бывший конногвардеец, светский лев и любимец женщин, герой несчетных легких романов, граф де Бальмен брал от жизни что мог,— а мог он довольно много. Ничего не делая во время своих ответственных миссий в Неаполе, Вене, Лондоне, он, однако, в середине четвертого десятка порядком устал физически от занятой праздности бездомной дипломатической карьеры и морально от своего изящного, удобного скептицизма. Эта усталость, отразившаяся на лице графа и на всей чуть наклоненной вперед его фигуре, очень шла Александру Антоновичу. Он знал, что она нравится женщинам, и даже несколько подчеркивал свое крайнее утомление от жизни. В 1813 году он снова поступил на военную службу. Собственно, это надо было сделать несколько раньше, в пору Отечественной войны, но де Бальмену как раз помешал очередной, довольно занимательный, роман с англичанкой. Ему, однако, захотелось повидать как следу-

ет настоящую войну, и, когда англичанка опротивела, он, пристроившись к штабу, проделал в чине подполковника несколько кампаний в армиях генерала Вальмодена, шведского принца, Чернышева; участвовал в битвах при Гросс-Берене, Деннеевице, Ватерлоо и получил несколько орденов. Затем война ему надоела, и он снова стал дипломатом. Но видеть в Европе больше было нечего. Венский конгресс был последним мировым представлением, очевидно для всех закончившим большой, длинный и необычайно шумный сезон. Одновременно с концом наполеоновских войн произошло другое, гораздо более важное, событие в жизни графа де Бальмена: лысина на его голове внезапно обозначилась совершенно ясно, и в ту же пору он стал чувствовать настоятельную потребность сильно сократить годовое число своих романов. Это навело его на скорбные мысли. Однажды, вернувшись с бала, он долго, почти всю ночь, не мог заснуть; ему в постели в первый раз пришли в голову мысли о смерти и даже о загробной жизни, что наутро крайне его встревожило. Он стал серьезно подумывать, уж не вступить ли ему в масонский орден, так как масоны все этакое хорошо знают и на загробной жизни собаку съели.

Еще раньше, по другим побуждениям, граф де Бальмен интересовался масонами. Окружавшая их относительная тайна, глубокая древность ордена — его производили от Соломона,— странный, но поэтический ритуал, необыкновенные названия и титулы, о которых ходили легенды, все это занимало воображение Александра Антоновича. Правда, опытные старые люди утверждали, что фармазонский орден не приведет к добру, и ссылались на примеры плохо кончивших фармазонов. Де Бальмен знал, однако, что в ложах всех стран Европы состояло очень много высокопоставленных людей, до королей включительно. Говорили, будто масоном был сам Наполеон. Таким образом и в карьерном отношении вступление в орден было, пожалуй, выгодно, хотя с этой стороны оно меньше интересовало графа. Александр Антонович стал осторожно наводить справки у людей высшего света, которых молва называла фармазонами, и очень скоро выяснил, что в России существует несколько лож. В одной из них, так называемой Loge des Amis Réunis [1], состояло много людей его круга и даже повыше: степень Rose-Croix [2] в этой ложе имели

---

[1] Ложа Соединенных Друзей *(франц.)*.
[2] Роза и Крест *(франц.)*.

герцог Александр Виртембергский, граф Станислав Потоцкий, а в *элюсской* степени состояли Воронцов, Нарышкин, Лопухин и много других представителей самого высшего общества. Ничего не дозволенного или, по крайней мере, ничего строго запрещенного в этой ложе, очевидно, быть не могло, хотя бы уже потому, что рыцарем Востока в ней был министр полиции Балашов. Существовала еще другая ложа — ложа Палестины,— но она была как-то менее интересна. Не совсем хорошо было то, что главную роль в ней играл француз Шаррьер, называвшийся великим избранным рыцарем Кадош, князем Ливанским и Иерусалимским. Француз этот служил гувернером у Балашовых,— и де Бальмен не мог понять, почему князем Ливанским и Иерусалимским сделали гувернера. И уж совсем нехорошо было, что в этой ложе состоял известный петербургский ресторатор Тардиф, у которого де Бальмен нередко обедал, причем, заказывая обед, называл хозяина по имени, а тот стоя записывал в книжечку, любезно и почтительно кивая головой при назывании разных блюд и вин. Александр Антонович был более или менее свободен от аристократических предрассудков и ничего не имел бы против ресторатора. Но ему казалось — одно из двух: или не заказывать Тардифу обеда, или не величать его в ложе по масонскому ритуалу. Странно ему было также то, что к масонскому ордену одновременно принадлежали император Павел и некоторые из его убийц: ему опять-таки казалось — одно из двух.

В обществе многие относились к масонам иронически; однако к иронии почти у всех примешивались и уважение, и легкий страх. Это чувствовал на себе сам де Бальмен. Обстоятельства помешали ему принять участие в работе масонов. Совершенно неожиданно, после битвы при Ватерлоо, ему было сделано предложение занять должность комиссара русского императора на острове Святой Елены, куда был послан в ссылку Наполеон. Де Бальмен после недолгого раздумья принял это предложение, которое до известной степени оправдывало и поддерживало установившуюся за ним репутацию Казановы. На Святой Елене он рассчитывал не только познакомиться, но и близко сойтись с Наполеоном: император должен же был в глухой, далекой ссылке оценить его блестящие способности рассказчика и causeur'a[1]. В коллекции графа де Бальмена, знавшего большинство знаменитых людей Европы, не хватало толь-

[1] Острослов *(франц.)*.

ко одного,— самого знаменитого из всех,— нынешнего узника Святой Елены. И Александр Антонович заранее предвкушал удовольствие как от интимных бесед с этим гениальным человеком, так и от тех рассказов, для которых близость к Наполеону могла ему впоследствии дать богатейшую тему. Он рассчитывал года через два или три вернуться в Европу в ореоле близкого друга развенчанного императора и хранителя всех интересных и забавных секретов европейской закулисной политики. Кроме того, комиссару на острове Святой Елены было назначено прекрасное жалованье — тридцать тысяч франков,— и должность эта по значению почти равнялась посольской.

Радужные надежды де Бальмена не оправдались. Никакой близости с Наполеоном из пребывания Александра Антоновича на острове не вышло. Бонапарт бойкотировал иностранных комиссаров. Для того чтобы получить аудиенцию у бывшего императора, необходимо было обратиться к его гофмаршалу, генералу Бертрану, а это было строго запрещено инструкцией, полученной де Бальменом, так как подобное обращение было бы равносильно признанию за узником императорского достоинства. Александр Антонович долго не мог понять, почему человек такого огромного ума, как Наполеон, придает значение этикету, совершенно бессмысленному в его положении и с его прошлым,— особенно если эти формальности лишают его общения с самым умным после него на Святой Елене человеком, каким де Бальмен не без основания считал себя. Впоследствии французы, близкие к императору, объяснили Александру Антоновичу, что глухая борьба, которую Бонапарт вел на острове за свой титул, имела династическое значение: Наполеон считал ее полезной в будущем для своего маленького сына. С другой стороны, губернатор острова, сэр Гудсон Лоу, очень не желавший встречи иностранных комиссаров с императором и всячески ей препятствовавший, с первых дней категорически потребовал от де Бальмена, на точном основании инструкции, чтобы он ни в каком случае не называл узника иначе как генералом Бонапартом,— и уже это одно исключало возможность встречи, ибо Александр Антонович чувствовал, что у него язык не повернется сказать Наполеону «mon général», как Ваське Давыдову. По этим причинам, как это ни было странно, глупо и досадно, де Бальмен несколько лет прожил в десятке верст от Наполеона, ни разу вблизи его не увидев. Он тщательно собирал всякие слухи и анекдоты, шедшие из Лонгвуда, излагал их на изысканном

французском языке, уснащал разными mots d'esprit [1] и отправлял в виде донесений в Петербург. Но это было далеко не то, что рассказывать самому. Ему к тому же стало известно, из писем друзей и от капитана Головнина, посетившего Святую Елену на фрегате «Камчатка», что император Александр, вместо его донесений, читает Библию с Крюденершей и с Татариновой. А для Нессельроде особенно стараться не стоило: этот если и оценит, то повышения все-таки не даст. Кроме того, на острове Святой Елены не было интересного общества; дурной климат расстроил нервную систему де Бальмена: он плохо спал и стал чувствовать, что уж очень быстро переходит от одного настроения к другому. Вдобавок жизнь на острове оказалась дорогой, и граф в первый же год должен был хлопотать, посредством прозрачных намеков, о прибавке жалованья до пятидесяти тысяч. Ощущалось наконец еще большое неудобство. В предвиденье его Александр Антонович захватил было с собой на Святую Елену, вместе с ящиками шампанского и коньяку, хорошенькую, удобную и не слишком надоедливую Люси, с которой он провел приятную неделю перед отъездом; но ему было дано понять, что такая нежелательная спутница роняет его достоинство императорского комиссара, и Люси пришлось спешно отправить с острова. Все это чрезвычайно наскучило де Бальмену. Он уехал покататься в Рио-де-Жанейро, представлялся там бразильскому монарху, который оказался чрезвычайно глупым человеком, хотел было поохотиться на ягуаров, но как-то не вышло, да и ягуары так же мало могли заменить собой хорошеньких женщин, как бразильский монарх — императора Наполеона.

А после возвращения из Бразилии с Александром Антоновичем случилось совсем глупое происшествие: на знойном острове Святой Елены знаменитый покоритель сердец внезапно влюбился в шестнадцатилетнюю девочку, падчерицу губернатора, мисс Сузанну Джонсон. И как он ни говорил себе, что безумно жениться и навсегда связать себя,— ему, с его характером и с его непостоянством,— как высоко он ни ценил привычную свободу холостой жизни, как ни ясно помнил, что самые интересные и красивые женщины делались ему противными много через два месяца, а чаще всего — особенно в последнее время — на следующее утро после проведенной с ними ночи, граф де Баль-

---

[1] Остроты (*франц.*).

мен сделал предложение шестнадцатилетней англичанке, еще накануне твердо решив ни за что такого предложения не делать.

V

— Ваше сиятельство, почту принесли,— радостно сказал Тишка, быстро входя с сумкой в комнату и прерывая печальные размышления графа.

Почта была небольшая. Но сразу де Бальмену бросилось в глаза то, чего он долго ждал: он поспешно вскрыл огромный конверт с печатями. Лицо его просветлело. Нессельроде через графа Ливена извещал русского комиссара, что просьба его о переводе в Россию наконец удовлетворена и что государю императору благоугодно было всемилостивейше поздравить графа с вступлением в брак. Одновременно де Бальмену назначалось кроме подъемных экстренное денежное пособие. Ничего лучшего и ожидать было невозможно.

— Александр Антонович, скоро ли в Рассею поедем? — спросил Тишка.

Между графом и слугой давно установилась некоторая фамильярность: только друг с другом они могли разговаривать по-русски, и, в сущности, Тишка был ближе Александру Антоновичу, чем сэр Гудсон и леди Лоу, члены его будущей семьи.

— Скоро. Отпуск есть... Теперь скоро. Свадьбу сыграем и поедем.

— Ну, слава тебе, Господи. А то не житье, право, не житье на проклятом острове. Просто слова сказать не с кем.

— Да ведь ты выучился по-аглицки.

— Ну, уж это какой разговор! Баб нет. На водку, бывает, пожалуете, так и водки достать негде! Виску пей, да еще какие деньги за нее плати. За эти деньги у нас ведро можно купить.

— Вот тебе и на виску. Выпей за здоровье барышни. Да вели закладывать коляску.

— К их превосходительству изволите ехать? — сказал Тишка, подмигнув.— В Плантышин-Хаус?

— Да, да, в Plantation House. Живее.

— Мигом негры заложат. И я с вами, Александр Антонович, поеду, неохота здесь сидеть.

Тишка вышел. Граф стал разбирать почту. Был ящик с книгами, газеты и всего только два письма.

«От Люси опять ничего,— подумал Александр Антонович.— Экая подлая девчонка! Стоило тратить на ее десять тысяч...»

Но, вспомнив о том, какие славные вещи знала Люси и как они проводили время, де Бальмен усмехнулся и решил, что все-таки стоило.

Первое письмо было из Лондона от сослуживца Кривцова. Он только что побывал в России и сообщал свежие новости. Положение Аракчеева крепче крепкого, и государством по-прежнему правит Настасья Минкина. Министром внутренних дел назначен Кочубей, так что люди жалеют о Козодавлеве,— кто бы мог подумать! Луиза все ездит,— только вернулся из Финляндии, поскакал в Варшаву мирить, верно, Новосильцева с Чарторыйским; в дормезе — читает Библию. Что он Крюденерше денег передарил, счесть невозможно: тебе Люси много обошлась дешевле. (Под именем Луизы был известен у дипломатов император Александр.) Думают у нас, что пора бы Луизе абдикировать [1],— хорошего понемножку. Живет Луиза, говорят, опять с Нарышкиной или, вернее, распускает такие слухи; лейб-медик же Вилье держится другого мнения и утверждает, будто Луиза, как всегда, воображает о себе гораздо больше, чем может. С кем обманывает теперь Луизу Нарышкина, в точности неизвестно,— она опять отсюда ускакала. В большой силе по-прежнему князь Александр Голицын, и все несет божественную ерунду,— ничего не поймешь. Говорят, что ссылается в Суздальский монастырь Кондратий Селиванов, иначе скопческий бог Петр Федорович, родившийся, по его словам, от непорочного зачатия императрицы Елизаветы Петровны — une drôle d'histoire... [2] Он, сказывают, недавно оскопил двух племянничков Милорадовича — умные, должно быть, мальчики! — а теперь рюминирует [3] прожект — оскопить всю Россию. Не знаю, как ты, а я не согласен,— пусть этого дурака в самом деле сошлют куда-нибудь подальше. У Татариновой в Михайловском замке по-прежнему радения в белых одеждах, с кругом, пляской, батистовым платочком и транспирациями. Подполковник Дубовицкий, преображенец, носит вериги в тридцать фунтов и для спасения души ежедневно порет не только себя, это бы ничего, но и своих детей, которых жал-

[1] Отречься от престола (*франц.* abdiquer).
[2] Странная история (*франц.*).
[3] Обдумывает (*франц.* ruminer).

ко. Сперанский тоже, слышно, спятил в Сибири с ума: целыми часами смотрит себе в пуп и повторяет: «Господи, помилуй!» — по словам одних с тем, чтобы увидеть какой-то Фаворский свет,— du diable si je sais ce que c'est! [1] — а по словам других для того, чтобы вновь подружиться с Луизой. У Гончаровых в Москве свой большой оркестр в 40 человек, причем каждый музыкант играет только одну ноту. Министр финансов Дмитрий Александрович Гурьев изобрел необыкновенную кашу, с фруктами и сладким соусом,— ее так теперь и называют Гурьевской кашей; финансы у нас плохие, но каша превкусная, и за нее можно простить курс нашего рубля; остряки даже утверждают, будто каша — единственно, что спасет имя Гурьева от забвения. Ходит по Петербургу — старый, впрочем,— листок следующего содержания: «Право — сожжено; доброта — сжита со света; искренность — спряталась; справедливость — в бегах; добродетель — просит милостыню; благотворительность — арестована; отзывчивость — в сумасшедшем доме; кредит — обанкротился; совесть — сошла с ума; вера — осталась в Иерусалиме; надежда — лежит на дне морском вместе со своим якорем; честность — вышла в отставку; кротость — заперта за ссору на съезжей и терпение — скоро лопнет»...

Другое письмо было философское и политическое. Его посылал — тоже с оказией из Европы — Ржевский, старый товарищ де Бальмена по кадетскому корпусу, либерал, энтузиаст и масон. Трудно было найти менее схожих и лучше уживающихся людей, чем Ржевский и де Бальмен. Ржевский любил человечество вообще, а де Бальмена любил особенно,— искренне желал вывести его из светской тьмы и спасти его бессмертную душу. Де Бальмен прекрасно ладил с самыми разными людьми, легко входя и бессознательно подделываясь под тон каждого из них, а с Ржевским ладил особенно хорошо,— с ним, при его доброте, трудно было не поладить.

Ржевский писал по-русски — и стиль письма слегка резнул Александра Антоновича.

«Отчего они пишут не так, как говорят? К чему эта славянщина? Писал бы лучше по-французски...»

Но письмо Ржевского как раз свидетельствовало, что французский язык в Петербурге в этом кругу не в моде. Посылая графу книги и сообщая старые уже масонские новости, Ржевский между прочим извещал его, что известный Пестель перешел из ложи Соединенных Друзей в ло-

[1] Черт меня возьми, если я знаю, что это такое! *(франц.)*

жу Трех Добродетелей, ибо в оной употребляется русский язык, а в первой — французский.

«En voilà une raison» [1],— подумал де Бальмен.

В ложе Трех Добродетелей получил Павел Иванович титло третьей степени, однако работал мало, точно разочаровался в масонстве. Считая де Бальмена своим человеком, Ржевский не скрывал от него дел, связанных с масонством,— он вообще не любил секретов с хорошими людьми. «Друг,— писал он,— оценишь ли, сколь чувствительна для нас сия потеря? Черные души только не могут любить или, по крайней мере, уважать его».

Но де Бальмен этого не оценил, ибо недолюбливал надменного Пестеля и видел в нем человека, готового на вещи очень опасные. Не слишком много доверия внушали ему и другие два масона, о которых писал Ржевский: Чаадаев и Грибоедов, хотя их де Бальмен нисколько опасными не считал.

«А пожалуй, и правы старички Аглицкого клуба. Доиграются эти господа до Сибири».

Ржевский писал о вероломстве сильных мира, о мракобесии людей, сделанных из грязи, пудры и галунов, о назначении Магницкого попечителем Казанского университета, о том, что из жалованья солдат вычитывают на розги, о том, что император говорит не стесняясь, будто каждый русский — или плут, или дурак; сообщал также о генеральном роптании военных поселян, которые на крайности легко покуситься могут.

«Кто может, тот грабит, кто не смеет, тот крадет! Что остается для честных людей! — восклицал он.— У нас всякий день оскорбляется человечество, справедливость самая простая, просвещение. Проигрывают, дарят, тиранят подобных себе человеков! Откуда взят закон сей? Где благоденствие России? Где славное Вече наших предков?»

«Ну, моих предков в славном Вече не водилось,— подумал де Бальмен.— Мои предки по отцу шотландцы, а по бабушке, графине Девьер, вряд ли не жиды... И ничего не было хорошего в этих немытых новгородцах, которые для чего-то сталкивали друг друга с моста в реку...»

«В делах Европы явно господство венского двора над нашим. Сколь много обмануты народы! Они пожалели время прошлое и благословляют память завоевателя Наполеона, которого ты стережешь,— зачем, друг? Деспотия королей хуже самовластия Бонапарта, ибо где у них его гений?

---

[1] «Вот так причина» *(франц.)*.

Нет, с царями делать договоров невозможно. Народы желают владычества законов, а в здравом смысле закон есть воля народная. И без рабства могут процветать царства. Мы, русские, кичимся, величая себя спасителями Европы. Иноземцы не так видят нас. Они видят, что силы наши есть резерв деспотизму Священного Союза. Не русских не любят, но их правительство, которое для пользы монархов утесняет народы. Что же? В Гишпании собираются инсургенты, в Италии — карбонары, в Греции — гетерия филикеров. Ужель мы хуже греков и гишпанцев?»

«Ишь куда тянет!» — не без удовольствия, хотя и с некоторым беспокойством, подумал де Бальмен.

Далее Ржевский ссылался на статью «Духа Журналов» о турецкой конституции, ограничивающей власть султана властью высшего магометанского духовенства, и сочувственно цитировал мнение этого органа печати: «Что значит сия мнимая конституция в сравнении с тою, при которой Великобритания благоденствует!» В заключение он туманно сообщал о некоем Союзе благоденствия, который по значению не уступит славному немецкому Tugendbund'у [1] (Ржевский тут же нарисовал между строк печать союза: улей с пчелами), и о других тайных обществах. В общества эти вошли почти все общие друзья.

«Вертится вокруг них, между прочим, известный тебе полковник Юлий Штааль. Говорят о нем разно. Другой твой приятель (стыдись, брат!), Иванчук теперь, как, верно, тебе ведомо, миллионщик и большая персона. Говоря правду, оба хороши, и многое о них тебе расскажу при встрече: слышно, будто вскорости будешь к нам и жалуешься флигель-адъютантом. С оным тебя не поздравляю, однако в сием звании в обществе будешь прежеланным человеком».

«Ну, я еще подумаю»,— сказал про себя с досадой Александр Антонович. Его раздражал тон Ржевского, который, очевидно, уже зачислил его мысленно в члены какого-то общества. «И пишет как,— еще надежная ли оказия!»

Письмо заканчивалось ходившими по России стишками молодого поэта об Александре I. Ржевский цитировал первые строфы этого стихотворения:

Ура! В Россию скачет
Кочующий деспот,
Спаситель горько плачет,
А с ним и весь народ...

[1] «Союз Добродетели» *(нем.)*.

Узнай, народ российский,
Что знает целый мир:
И прусский, и австрийский
Я сшил себе мундир...

Автора стихов звали Пушкиным; де Бальмен с облегчением вспомнил, что именно это и был второй, после Илличевского, из молодых царскосельских поэтов. Стишки были бойкие, но Александр Антонович с сомнением качал головой. Двадцатилетнему мальчику простительно без толку фрондировать и делать оппозицию правительствам. Сам де Бальмен хотел отнестись к делу серьезнее.

Как большинство людей того времени, де Бальмен не любил и не уважал Александра Первого. Он охотно допускал, что в России создастся новый заговор, как в 1801 и 1762 годах, и что надоевшего всем царя задушат, как задушили его отца и деда. Такое предприятие даже не представлялось де Бальмену особенно трудным, ибо, судя по всему, популярность Александра Павловича теперь ненамного превышала популярность его отца. Сам граф не принял бы участия в подобном деле, не только из страха, но также из брезгливости: он с отвращением вспоминал сцены в Михайловском замке, которые ему пришлось увидеть в дни молодости. Однако воспользоваться успехом чужого заговора де Бальмен был бы не прочь. Но люди, которые, по-видимому, входили в этот Союз Благоденствия, и сам Союз, и даже его название графу большого доверия не внушали. Де Бальмен лично знал большинство этих людей и думал, что подобные мечтатели совершенно не годятся для задуманного ими дела. Палена между ними не было. Старик Пален безвыездно жил вот уже двадцать лет в своих курляндских имениях, как говорили, боялся темноты и ежегодно напивался пьян в ночь на 12-е марта. Трудно думать, чтобы он мог стать главой нового заговора. А все эти Ржевские, Волконские, Чаадаевы, Муравьевы — прекрасные, честные люди... Они на месте в своих рабочих кабинетах с книгой или пером в руках либо за бутылкой шампанского друг с другом, в споре о благоденствии народов. Но у дверей спальни спящего императора, со скарятинским шарфом или с табакеркой Николая Зубова, они — quelle plaisanterie! [1] Лишь в одном холодном и смелом Пестеле, с его негромкой речью, есть как будто что-то от графа Палена. Однако и Пестель явно ставит себе целью не дворцовый переворот, а совершенно другое.

---

[1] Какая ирония! *(франц.)*

«Союз Благоденствия? Они думают, что моему Тишке нужна турецкая или английская конституция! Водка ему нужна, это верно, баба тоже нужна,— как мне, впрочем,— а дальше кто знает? Недаром Капнист утверждает, будто либеральные русские дворянчики на свою беду готовят либеральные чистенькие революции, ибо за всякой чистенькой революцией неизбежно последует народный бунт и новое Смутное время. Может быть, Капнист и прав...»

Но менее всего Александр Антонович понимал отношение, существовавшее между заговором и масонством, к которому принадлежали Ржевский и его единомышленники. Де Бальмен достаточно насмотрелся в разных странах на политическую кухню и отлично знал, что всякая политика, реакционная и революционная, есть вещь земная, грубая, жестокая и грязная. Масонство же как будто относилось к другому разряду вещей,— к разряду бессмертия души и загробной жизни, а не заговоров, не переворотов и не революций. Между тем Ржевский и они все, очевидно, как-то связывали свою масонскую работу с Союзом Благоденствия. «Из этого, кроме Сибири, ничего не выйдет... А впрочем, кто знает?»

Уверенности ни в чем быть не могло.

Тревожные мысли нахлынули на Александра Антоновича. Он чувствовал, что все это чрезвычайно важно и может иметь огромное значение для его будущей жизни. Но решить подобные вопросы здесь было, очевидно, невозможно. Он успокоил себя на том, что обдумает их на месте, в России, когда доподлинно все узнает и о Союзе Благоденствия, и о новом строе мысли масонов,— отчасти, конечно, в зависимости и от того, как по его возвращении на родину к нему отнесутся Нессельроде, Каподистрия и сам император Александр. Пока, нельзя не сказать, Луиза был с ним довольно мил: единовременное пособие приходилось как нельзя более кстати. Де Бальмен тут же решил, что проездом в Париже купит жене серьги, а себе коллекцию оружия, и в несколько более бодром настроении вышел на крыльцо, к которому уже подавали коляску.

VI

Прогулка молодых супругов была чрезвычайно удачна.

Граф и графиня де Бальмен выехали утром в экипаже губернатора. Близился день их отъезда в Россию. Покидая наконец Святую Елену, они пожелали в последний раз по-

кататься по острову, на котором так странно свела их злая судьба императора Наполеона. Им захотелось посмотреть напоследок те углы, где никогда еще не бывали они ни вместе, ни порознь и где никогда больше им быть не придется. Это слово «никогда» звучало зловеще для де Бальмена, как для всякого немолодого человека.

Невиданных углов на Святой Елене было довольно много. Вся жизнь иностранных комиссаров и семьи губернатора проходила в небольшой северо-западной части острова, между городком Джемстоуном и резиденцией сэра Гудсона Лоу. Дальше на восток, в трех милях от Plantation House'а, находилась зона виллы Лонгвуд, где жил Наполеон. Туда, разумеется, нельзя было поехать. Но южная и юго-восточная часть Святой Елены де Бальменам осталась неизвестной. Английские офицеры, хорошо знавшие остров, рекомендовали молодым супругам — с той слегка насмешливой и завистливой лаской, с какой все к ним относились,— посмотреть Diana-Peak и Fischer's Valley, в восточной ее части, выходящей из пределов территории Наполеона,— и, если можно, полюбоваться видом океана с высоты King and Queen. Правда, дорога была трудная, гористая и даже опасная из-за обрывов. Но офицеры советовали оставить коляску и пройти часть пути пешком.

В этот весенний день все казалось прекрасным де Бальмену: и теплая, солнечная погода, и ветерок, вдувавший в грудь бодрящую соль океана, и песня правившего лошадьми Тишки, и беспорядочные, радостные мысли, и туманные надежды на будущее. Поглядывая на красивую девочку, которая сидела рядом с ним, ощущая нежно-холодное прикосновение ее крошечной руки, он искал и, к своему удивлению, не находил в себе знакомого чувства любовного похмелья. Да, конечно, было уже не то, что прежде. Но и настоящее было недурно.

Его сомнения рассеялись. Жизнь не кончена. В тридцать девять лет он нежданно открыл новую, довольно занимательную главу в порядком надоевшей было книге. Впереди его ждали тоже все новые главы: русская деревня, гостеприимная помещичья жизнь, над которой он почему-то считал нужным смеяться, хлебосольное, бестолковое русское дворянство, которое он презирал по долгу европейца и которое любил кровной любовью, как всякий человек любит среду своего детства, сколь бы он от нее ни отрекался, сколь бы далеко от нее ни ушел.

«Теперь немного пожить в деревне животной жизнью (это очень приятно, la vie animale), а потом осесть в краси-

вом, стильном и барском Петербурге (да, конечно, в Петербурге,— он гораздо лучше Москвы), бросить бездомную жизнь дипломата, оставить свою репутацию Казановы (какой уж Казанова после женитьбы) и выходить поскорее в люди, в большие люди. А в первую очередь — забыть тяжелый бред бессонных ночей, с масонством, загробной жизнью и бессмертием души».

Де Бальмен осмотрелся кругом, улыбнулся Сузи, глубоко вдохнул поток морского воздуха и подумал, что сейчас его чрезвычайно мало интересуют бессмертие души и загробная жизнь.

«Очень может быть, что близкое будущее принадлежит все-таки заговорщикам из этого Союза. Осмотревшись, взвесив шансы, пожалуй, надо к ним примкнуть,— разумеется, не к их масонским бредням, а к подготовляемому ими серьезному политическому делу. Прежде всего следует через Ржевского близко сойтись с Пестелем, который, по-видимому, у них главный. Им нужны люди, особенно люди, как я, знающие вдоль и поперек Европу, ее политических деятелей, их явные и закулисные взаимоотношения. Кто в новой свободной России будет лучшим, чем я, министром иностранных дел?»

Александр Антонович представил себе, как он приедет к Нессельроде требовать, именем нового правительства, передачи ему всех дел. При этом неудовольствие и смущение Нессельроде, которого он недолюбливал, доставили де Бальмену истинное наслаждение.

— Darling, как по-русски summer?

— Как по-русски что? — машинально переспросил Александр Антонович.— Summer? Лето, darling.

— How do you spell it, darling? [1]

Граф ответил.

— Oh, this awful yat... [2]

Молодая графиня де Бальмен с необычайным рвением изучала теперь русский язык, геройски преодолевая свою, чисто английскую, лингвистическую бездарность. Она постоянно носила с собой розовую тетрадку, куда записывала русские слова, и повторяла их иногда в самые неожиданные для де Бальмена минуты. Сузи готовилась к жизни в России и уже была русской патриоткой: чуть не поссорилась с сэром Гудсоном, утверждая, что русские сделали для низвержения Наполеона почти столько же, сколько англи-

---

[1] Как это пишется, милый? *(англ.)*

[2] О, это ужасное ять... *(англ.)*

чане; и любила императора Александра почти так же, как своего нового King George'а. В ее комнате висели портреты обоих монархов, к большому неудовольствию де Бальмена, который терпеть не мог самодовольную алкоголическую физиономию Георга IV. Портрет императора Александра висел даже на самом почетном месте, потому что теперь он был их монарх (в глубине души Сузи все-таки больше любила King George'а). Де Бальмен с усмешкой подумал, что если он примкнет к заговору против царя, то будет довольно трудно объяснить Сузи, в чем дело; а когда она поймет, то это может очень ей не понравиться.

— Ваше сиятельство, туда дальше будет Лонгвут,— сказал с козел Тишка, усмехаясь и показывая в сторону бичом.— Прикажите, свезу в гости к Наполеону?

— What does he say, darling? [1] — заинтересовалась Сузи.

Де Бальмен перевел.

— Oh, Teeshka!.. How do you spell Teeshka, darling? [2]

«А это несколько скучно, эти how do you spell»,— подумал Александр Антонович и хотел было объяснить, как пишется Тишка; однако Сузи уже заинтересовалась другим. Часовой окликнул их, но, узнав губернаторскую коляску, отдал честь и зашагал дальше. На острове Святой Елены были повсюду сторожевые посты, часовые, наблюдательные пункты. Сузи потребовала от мужа, чтобы он объяснил ей всю систему охраны Бони. Де Бальмен, по долгу службы знавший это наизусть, охотно удовлетворил ее любопытство: время от времени надо было разговаривать с женой, и он цеплялся за благодарные легкие темы. Сузи с большим удовлетворением узнала, что кроме ее отчима и мужа Бони стерегут три полка пехоты, огромное множество батарей, отряды драгун, три фрегата, два корвета и шесть маленьких судов. Сложная система сигнализации давала возможность при первой тревоге поднять на ноги гарнизон и эскадру, находившиеся здесь исключительно для охраны знаменитого пленника.

— Все это для одного человека... Какой он страшный! — сказала Сузи, наморщив лоб. Она раз в жизни видела Наполеона, который, встретив ее в саду, послал ей конфет и розу.

Здесь де Бальмен счел уместным поцеловать жену в морщинку. Сузи сильно покраснела и показала глазами на Тишку. Оба супруга одновременно вспомнили, что офице-

---

[1] Что он говорит, милый? *(англ.)*

[2] О, Тишка!.. Как пишется Тишка, милый? *(англ.)*

ры рекомендовали им оставить коляску и часть дороги пройти пешком. Александр Антонович немедленно приказал Тишке остановиться и подождать их: лошади устали.

— Дальше можно бы проехать. До моря еще далеко, дороги не найдете,— сказал Тишка.

— Найдем. А не найдем, так у рыбаков спросим.

С моря и с речки, впадающей в него близ King and Queen, в самом деле часто проходили дорогой рыбаки.

Александр Антонович взял Сузи под руку и повел ее в рощу, стараясь идти возможно солиднее. Тишка посмотрел им вслед, усмехнулся и стал раскуривать трубку.

Через полчаса де Бальмен и Сузи сидели на траве, на берегу протекавшей через рощу извилистой узкой речки. Сузи, сконфуженная и счастливая, склонила голову на плечо мужа, который лениво держал ее за талию. Они решили не ходить на King and Queen: ничего ведь, в сущности, интересного не было в том, чтобы глазеть на море: им и так скоро придется два месяца беспрерывно любоваться с корабля. Сузи смотрела на мужа и думала, что лучшего человека на свете быть не могло: сам King George не мог быть лучше. Де Бальмен лениво старался вернуться к прежним приятным мыслям и вспоминал, что в них было самого приятного. Восстановив ход своих размышлений, он выяснил, что самым приятным был смущенный, растерянный вид крошечного Нессельроде при передаче должности; де Бальмен вдруг почувствовал, что ему чрезвычайно хочется быть министром иностранных дел Российской империи и принимать у себя на рауте дипломатический корпус.

— Look here [1],— сказала Сузи, показав на воду.— Какие миленькие рыбки!

Вода в неглубокой речке была совершенно прозрачная, и в ней видно было быстрое движение мелкой рыбы.

— Пора идти, darling,— нежно сказал де Бальмен, скрывая зевок и поднимая жену за талию.

Сузи неохотно поднялась с травы, встряхнулась и нежно сняла с мужа лепестки, приставшие к его одежде. Они пошли под руку вдоль речки, которая в роще делала довольно крутой, закрытый деревьями поворот. Де Бальмен, лениво наклоняясь к Сузи, целовал ее то сзади в шею, то в щеку. У поворота он вдруг остановился:

— Здесь кто-то сидит...

---

[1] Смотри *(англ.)*.

За углом речки на берегу, облокотившись на широкий, низко и гладко срубленный пень, действительно сидел человек.

— Это рыбак,— сказала Сузи.— Ничего, darling.

Ей хотелось продолжать забавную игру.

Но человек за углом речки не был рыбаком. Он полулежал на траве, внимательно глядя в воду. Пень закрывал почти всю его фигуру, кроме левой руки, на кисть которой он опирался заслоненной головой. Человек этот был занят пустым делом. У его локтя на пне лежала ровно сложенная кучка темно-серых камешков. Не изменяя положения тела, он брал их по одному правой рукой и, внимательно прицелившись, бросал в воду. Рыбки, вспугиваемые падением булыжника, разбегались в разные стороны — и видно было по вздрагивающему локтю и плечам наблюдателя, что все тело его колебалось от смеха.

— Oh, what a silly man! [1] — сказала Сузи.

Александр Антонович, чуть вздрогнув, уставился в сторону пня на маленькую руку, кидавшую в воду камешки. Вдруг забавлявшийся человек, вынимая из кучки новый булыжник, опустил локоть — и крик замер на устах графа де Бальмена.

Он узнал Наполеона.

— Boney? — взволнованно прошептала Сузи, с ужасом откинувшись назад и вцепившись в руку мужа, готовая пожертвовать собой для того, чтобы спасти его от гибели.

Александр Антонович постоял с минуту в оцепенении, затем на цыпочках бросился назад. Он почти бежал, не говоря ни одного слова.

«Какой вздор!.. Какой жалкий вздор были эти мечты: карьера, заговор, Пестель, Нессельроде!.. Этот человек, кидающий камешки в воду, был владыкой мира... Все пусто, все ложь, все обман... Сузи? Ему принадлежали самые прекрасные из женщин... Кончена жизнь!.. Старость... И связан, навсегда связан с этой глупенькой девочкой, которая зачем-то висит у меня на руке!..»

— Darling, what is the matter? Quelle est la matière? [2] Он нам ничего не может сделать... Он нас не видел... Тут три полка пехоты,— растерянно говорила Сузи, едва поспевая за мужем.

Де Бальмен не отвечал.

Тишка выехал к ним навстречу.

---

[1] О, какой глупый человек! *(англ.)*

[2] Милый, в чем дело? *(англ., франц.)*

Садясь в коляску, Сузи с жалостью, чуть не со слезами, смотрела на перекосившееся лицо своего мужа. Граф де Бальмен, не глядя на жену, нервно рвал перчатку и, дергаясь щекой, отрывисто произносил вслух непонятные, очевидно русские, слова. Из них графиня разобрала только одно, слово мать — mother, хорошо ей известное. Остальных русских слов в ее розовой тетрадке не было, и Сузи их никогда прежде не слыхала. Зато, по-видимому, слыхал и любил эти русские слова грум Тишка. Он обернулся к барину с козел и весело захохотал во все горло.

VII

Дни Наполеона приближались к концу.

Шел пятый год его пребывания на острове Святой Елены. События этого периода жизни развенчанного императора были немногочисленны и с внешней стороны ничтожны.

Первое время Наполеон допускал мысль о своем возвращении на престол. Холодный расчет показывал ему совершенную несбыточность этой мечты. Но вся жизнь императора была сказкой, и в ней остров Святой Елены, подобно острову Эльбы, мог быть лишь короткой, не последней главой. Так же внимательно, как прежде, Наполеон следил за политическими событиями в Европе. Без него все шло плохо и скучно,— это очень его утешало. Однако и новые книги, и газеты, приходившие на остров, и рассказы приезжавших людей, которых расспрашивали его приближенные,— все свидетельствовало о том, что в мире тихо: люди устали от войн и революций, а с усталыми людьми Наполеону нечего было делать. И самое бегство, если б оно оказалось возможным, не вернуло бы ему власти в бесконечно утомленном, им утомленном, мире.

Кроме того, в ссылке устал он сам. Мир утомился от его дел, а он утомился от того, что больше не было дела. Огромный запас энергии, принесенный им в ссылку, запас, не растраченный в шестидесяти сражениях, в завоевании всемирной власти и в ее потере, быстро иссякал от скуки. Хотя по-прежнему он мог работать двадцать часов в сутки, прочитывая по нескольку книг подряд одну за другой или диктуя без отдыха день и ночь четверть века истории, хотя по-прежнему верно служила ему его феноменальная память, хотя неизмеримо больше прежнего был, после пережитых им несчастий, его политический и





человеческий опыт,— усталая безнадежность все сильнее овладевала душой императора Наполеона.

К этому потом присоединилась болезнь,— медленная, упорная и мучительная. Когда в первый раз он почувствовал жгучий укол в правом боку, точно туда, скользя, вошла на два дюйма узенькая, тонкая, разогретая бритва, он сразу понял, что это смерть, что его сказочной жизни пришел конец,— конец не сказочный, а обычный, такой, как у всех, совсем такой конец, как у его отца, который умер, тридцати пяти лет от роду, тоже от бритвы в правом боку. Он никому ничего не сказал.

В этот день кто-то из приближенных с радостным видом сообщил, что, по газетным сведениям, революции во Франции можно ожидать каждый день, ибо чаша народного терпения переполнена Бурбонами: надо поэтому выработать хороший, настоящий план бегства с острова Святой Елены.— «Ваше величество, наверное, могли бы бежать, поместившись в корзину с бельем, которую затем слуги снесли бы на корабль».

Император, не говоря ни слова, холодным и чуждым взглядом смотрел мимо головы советчика. Отвечать не стоило: умный человек сам должен был бы почувствовать, что Наполеон не может бежать в корзине с бельем. А главное, теперь бежать было больше некуда.

Затем император, казалось, оправился. Но однажды, проходя с гофмаршалом Бертраном по Долине герани, он остановился на краю оврага у трех ив, мимо которых протекал ручеек с прозрачной, холодной водой. Отсюда в просвете между скал виднелось на горизонте море. Опершись на свою прямую крепкую трость без рукоятки, Наполеон долго молча смотрел на деревья, на ручеек, на море и особенно на небольшую площадку земли у подножья трех низко склонившихся ив. Затем, подняв голову, он коротко сказал гофмаршалу, показав тростью на это место:

— Бертран, когда я умру, мое тело должно быть погребено здесь.

Гофмаршал вздрогнул от неожиданности.

— Ваше величество переживете меня,— сказал он, желая перейти в тон почтительной шутки.— Состояние здоровья вашего вели...

Но, взглянув на лицо Наполеона, он не докончил фразы, закрыл глаза и поклоном показал, что священная воля его величества будет исполнена в точности.

VIII

Свита, окружавшая пленного императора, чрезвычайно ему надоела. Наполеону всегда был свойствен жадный интерес к людям, странно сочетавшийся в нем с совершенным к ним презрением. Он знал на своем веку несчетное количество самых разнообразных людей,— и профессиональная необходимость в несколько минут разгадать и расценить каждое новое лицо выработала в императоре особую манеру выспрашиванья: он *ударял человека молотком,* чтобы узнать по отзвуку, из чего этот человек сделан. Ошибался Наполеон редко: так велико было его природное знание людей, развитое огромным житейским опытом, и так все трепетали перед установившейся за ним репутацией безошибочного сердцеведа, что решались вводить его в обман — да и то редко — лишь самые большие мастера, вроде Талейрана или Фуше.

В ссылке на острове Святой Елены император изо дня в день видел одних и тех же людей. Ему бесконечно опротивели анекдоты Лас-Каза о старом дворе, богатая фантазия Монтолона, военные похождения Гурго и молчаливая скука, которой веяло от Бертрана. В безделье и тоске острова приближенные Наполеона постоянно между собой ссорились; они видели друг в друге конкурентов, так как все жили на счет загробной славы императора.

Наполеон не заблуждался относительно чувств, которые он внушал своим спутникам. Люди эти были, конечно, ему преданы, но почти у каждого были личные мотивы, побудившие его оставить Францию и отправиться на остров Святой Елены. Самый вид этих *товарищей в несчастьи* ясно свидетельствовал о том, какую жертву они принесли его величеству. Одни выставляли свою преданность тоньше и умнее, как граф Лас-Каз, неудавшийся писатель, всю жизнь мечтавший о литературной славе и поехавший на остров Святой Елены главным образом для того, чтобы создать бессмертную книгу из бесед с императором Наполеоном. Другие тонкостью не отличались. Особенно надоедал своей ревнивой верностью генерал Гурго, который чрезвычайно настойчиво уверял, будто спас жизнь его величеству в сражении при Бриенне, за-

стрелив наскочившего казака в тот самый момент, когда казак уже втыкал пику в неприкрытую грудь императора. Рассказ об этом эпизоде Гурго велел даже выгравировать на клинке своей шпаги. Наполеон отлично знал, что никакой казак не наскакивал на него с пикой в день битвы под Бриенном. Он, однако, не возражал и обыкновенно ласково кивал головой, слушая в сотый раз историю своего чудесного спасения. Только однажды, в дурной день, когда больная печень Наполеона еще усилила в нем обычное отвращение от людей, на том месте рассказа, где дикий скиф падал к ногам могучего властелина, на которого он осмелился занесть дерзновенную руку, император хмуро заметил, что совершенно себе не представляет, как все это могло случиться: он ни разу не видел в тот день ни казака с пикой, ни Гурго с пистолетом.

— Les bras m'en tombent! [1] — воскликнул Гурго и чуть не заплакал от горя. Он сам давно уже поверил в свою историю и был крайне расстроен неблагодарностью его величества.

Эти люди были выброшены судьбой за борт и пристали к потерпевшему крушение императору, смутно веря в чудо, в его звезду, в то, что *он* потонуть не может. Шли месяцы, годы, новое чудо не приходило — и число спутников уменьшалось. Уехал Лас-Каз. Уехал Гурго. Наполеон думал, в худшие свои минуты, что почти все оставшиеся люди с нетерпением ждут его смерти, которая дала бы им возможность вернуться в Европу в ореоле *верности до гроба*. Они должны были возлагать большие надежды и на духовное завещание императора. В то время упорно ходили слухи об огромных богатствах, скрытых Наполеоном в Европе. Сведения эти были крайне преувеличены: в последние годы царствования император истратил на войну несколько сот миллионов своего собственного состояния — то есть тех денег французской казны, которые прежде, по им же отданному приказу, были отнесены на его личный счет. Наполеон умышленно поддерживал слухи о своих запрятанных богатствах и порою давал приближенным смутные таинственные обещания, от которых, как ему казалось, у них радостно замирало сердце, и они становились еще *вернее*, и ждали его конца еще с большей угодливостью и с бóльшим нетерпением.

Император, впрочем, почти никогда ни в чем не упрекал своих приближенных, ни вслух, ни даже про себя: он

---

[1] У меня опускаются руки! *(франц.)*

во всех людях давно уже видел только существующие факты — в огромном большинстве факты очень скверные. И серьезно упрекать человека за то, что он себялюбив, зол, жаден или глуп, было так же несвойственно узнику острова Святой Елены, как упрекать зверей в зверских инстинктах. Люди, последовавшие за ним в ссылку, при всей своей ничтожности, были нужны Наполеону; без них ему жилось бы еще хуже и тяжелее. По долголетней привычке правителя, он не мешал им ни сплетничать, ни интриговать; благосклонно и даже с интересом выслушивал то дурное, что каждый мог рассказать о других,— император почти всегда верил всему дурному о людях,— и каждому наедине ясно давал понять, что ценит его гораздо больше, нежели всех остальных. А потом мирил их,— иначе они разбежались бы.

Чтобы развлечь себя и приближенных, он стал диктовать им историю своих походов. Но скоро понял, что другие ее напишут лучше и выгоднее для него: сам он слишком ясно видел роль случая во всех предпринятых им делах, в несбывшихся надеждах и в нежданных удачах. Он отлично понимал, что в каждом из его действий будет найден историками глубокий смысл и роль случая в его судьбе окажется сведенной до минимума. Не по словам и объяснениям станет судить его потомство.

Вначале он рассчитывал, воссоздавая в мыслях прошлое, найти ответ на вопрос,— где, в чем и когда была им допущена погубившая его роковая ошибка. Но понемногу ему стало ясно, что ответа на этот вопрос искать не стоило. В глубине души он пришел к выводу, что погубила его не какая-либо отдельная политическая неудача или военная ошибка и даже не тысячи ошибок и неудач: его погубило то, что он, один человек, хотел править миром; а это было невозможно даже с его счастьем и с его гениальностью.

IX

Жил он очень уединенно, редко принимая путешественников и не знакомясь почти ни с кем из аристократов острова. На Святой Елене ходил даже анекдот, будто местная колония только из европейских газет и узнает новости о генерале Бонапарте.

Впрочем, в первые годы своего пребывания в ссылке император завел себе друга. Его другом оказалась четырнадцатилетняя Бетси Балькомб, дочь местного купца, в имении которого жил Наполеон, пока отстраивалась вилла Лонгвуд. Знакомство с ним этой веселой, шаловливой девочки началось сейчас же после его приезда. Нежданно днем к даче Балькомбов Briars подъехала группа всадников,— и мгновенно распространилось известие, что один небольшой павильон дома реквизируется временно для генерала Бонапарта. Бетси опрометью бросилась в сад. В сопровождении английского адмирала, лорда Кокберна, и нескольких человек свиты, к крыльцу, на прекрасной верховой лошади, медленно подъезжал человек в зеленом французском мундире с большой звездой на груди. Бетси сразу почувствовала, что из всей группы всадников надо смотреть только на этого человека. Необыкновенное лицо его поразило девочку бледностью, красотой и тем, что выражение глаз менялось почти беспрестанно. Он соскочил с коня и быстро пошел в комнаты. Бетси не могла поверить, что этот человек, который будет жить рядом с их домом,— злой Бони. Вскоре затем адмирал и свита уехали: все спешили предоставить великого человека его скорбным мыслям. В доме ходили на цыпочках. Но еще через несколько минут генерал в зеленом мундире, насвистывая песенку, быстро вышел из павильона в сад и уселся на скамейке около площадки белых роз. Бетси из-за куста смотрела во все глаза на страшного генерала. Он слегка похлопывал себя хлыстиком по ботфорту и напевал: «Fra Martino, suona la campana...» [1] Вдруг ветка под ногой Бетси хрустнула. Человек в зеленом мундире оглянулся и, увидев прятавшуюся за кустом и с ужасом на него глядевшую красивую девочку, быстро встал и направился к ней.

— Как называется столица Франции? — спросил он в упор гробовым голосом.

— Париж,— прошептала Бетси, затрясшись от страха.

— А Италии?

— Рим...

— России?

— Теперь Петербург, прежде была Москва...

— А куда делась Москва? — еще грознее спросил император, пуча на девочку свои и без того страшные глаза.

— Ее сожгли,— не помня себя от ужаса, ответила Бетси.

[1] Фра (брат) Мартино, звонит колокол... *(итал.)*

— Кто сжег Москву? а?

— Бо... Я не знаю... Русские...

— Я сжег Москву! — зарычал император и, взъерошив волосы рукой, растопырив пальцы обеих рук, двинулся прямо на Бетси. Девочка, вскрикнув, бросилась бежать. Ей вдогонку послышался веселый, звонкий смех Наполеона.

Через день они были друзьями. Смелость Бетси дошла до того, что она предложила своему новому другу поиграть с ней в карты. Император согласился, но строго заметил, что не станет играть иначе, как на деньги.

— Сколько у тебя денег, Бетси? — деловито спросил он.

Денег у Бетси было немного, всего одна *пагода*.

Наполеон согласился играть на пагоду. Они сели за стол. И с первой же сдачи Бетси с возмущением заметила, что император мошенничает в игре.

— Shame! [1] — воскликнула она.

— Ты лжешь! — хладнокровно ответил Наполеон.— Ты сама мошенничаешь. Я играю очень честно.

И он потребовал пагоду. Граф Лас-Каз сказал с улыбкой царедворца, что этот выигрыш, быть может, утешит его величество в потере трехсот миллионов золотом, которые он оставил в погребах парижского дворца. Однако Бетси наотрез отказалась платить, клянясь, что игра ее партнера не была честна. Тогда Наполеон сгреб с постели разложенное на ней лучшее платье девочки,— в нем она должна была ехать на свой первый бал к адмиралу Кокберну,— и безжалостно унес с собой, несмотря на все мольбы Бетси. Философ Лас-Каз подумал, что поистине безграничен должен быть запас душевной бодрости у этого необыкновенного человека.

Так, дразня четырнадцатилетнюю девочку, колотя ее и утешая дорогими подарками, бывший император проводил с ней целые часы. С первых же дней он знал все родство Бетси, знал, за кого вышла замуж каждая из ее теток, и чем торгует каждый ее дядя, и сколько приданого у каждой ее кузины, и много других столь же нужных ему вещей, которые он тщательным образом выспрашивал и затем никогда больше не забывал,— в его памяти все запечатлевалось навеки. (Много лет спустя Елизавета Эбель, бывшая Бетси Балькомб, с недоумением рассказывала Наполеону III о своих долгих беседах с узником острова Свя-

---

[1] Стыдно! *(англ.)*

той Елены.) Император сообщал ей о себе всякие небылицы; она в ужасе широко раскрывала глаза,— а он хохотал, как малое дитя. Бетси больше всего мучил вопрос об его религии.

— Pourquoi avez-vous tourné turc? [1] — спросила она однажды своего друга.

Этой фразы, буквально переведенной с английского языка, Наполеон не понял. Когда же оказалось, что Бетси желает знать, зачем он принял в Египте турецкую веру, император подтвердил слух о своем обращении в мусульманство и добавил, что всегда принимает религию тех стран, где он находится.

— Какой позор! — воскликнула Бетси, покраснев от негодования. Но она начинала плохо верить тому, что Бони рассказывал о себе.

Из-за своей дружбы с Наполеоном Бетси Балькомб стала мировой знаменитостью. О ней писали газеты всех стран Европы, а жители острова, встречая иногда занятую оживленной беседой эту странную пару, смотрели на девочку как на чудо, чем она очень гордилась.

Однажды, на прогулке, Наполеон, Лас-Каз и Бетси встретили приятеля девочки, старого садовника, малайца Тоби. Бетси представила его императору.

Лас-Каз, улыбнувшись его величеству, на изысканном английском языке сказал малайцу:

— Вряд ли, милый Тоби, вы могли когда-либо думать, что будете разговаривать с великим человеком, слава которого облетела вселенную?

Но, к большому смущению Лас-Каза, его изысканная речь пропала даром: старый малаец никогда в жизни не слыхал имени Наполеона.

Бетси тоже была сконфужена.

— Тоби,— сказал укоризненно Лас-Каз,— как вы могли не слыхать о человеке, который завоевал весь мир... завоевал силой оружия и покорил своим гением, заведя порядок, возвеличив власть и дав торжество религии.

На этот раз Тоби понял, о ком идет речь, и радостно закивал старой головой. Без сомнения, добрые джентльмены имеют в виду великого, грозного раджу Сири-Три-Бувана, джангди царства Менанкабау, который покорил радшанов, лампонов, баттаков, даяков, сунданезов, манкасаров, бугисов и альфуров, умиротворил малайские земли

---

[1] Зачем вы превратились в турка? *(франц.)*

и ввел культ крокодила. Но этот знаменитый человек давно умер.

Лас-Каз грациозно засмеялся, так, как смеялись придворные 18-го века в версальской зале Oeil de Boeuf, и сказал, что у его величества был, оказывается, в свое время опасный конкурент. Однако Наполеон довольно хмуро выслушал его шутку, велел дать — потом — малайцу двадцать золотых и круто повернул назад.

В самом конце прогулки, подходя к дому, император внезапно перебил Лас-Каза, рассказывавшего анекдот из жизни старого двора, и коротко спросил:

— А много их, вы не знаете?

— Кого, ваше величество? — не понял Лас-Каз.

— Да этих, малайцев,— сердито пояснил Наполеон.

Лас-Каз сообщил, что, насколько он помнит, малайское племя исчисляется миллионами.

Император что-то проворчал и хмуро вошел в свой павильон.

В обществе взрослых людей — Бетси в 1818 году уехала со своей семьей в Европу — император бывал сух и молчалив. Он предпочитал одиночество и часто проводил целые дни, не выходя из комнаты и не разговаривая почти ни с кем. Иногда для развлечения катался по узкой опасной дороге Devil's Punchbowl, над крутыми обрывами пропастей, и, приказывая шальному кучеру Аршамбо во всю прыть гнать тройку лошадей, доставлял себе иллюзию прежней игры жизнью и смертью; иногда зачем-то из окна своей комнаты стрелял в домашних коз и баранов, приводя в отчаяние людей, заведовавших хозяйством Лонгвуда. Но большую часть дней и долгих бессонных ночей он проводил в чтении, на заваленном книгами диване своей комнаты, или в горячей ванне, в которой Наполеон просиживал долгие часы,— иногда завтракал в ней и обедал. В ванне бритва чувствовалась слабее и мысли были не так ужасны.

У одного из его приближенных — у того, кто, при всех своих недостатках, был особенно предан императору, кто оставался с ним до конца его дней и кого он сам называл своим сыном,— была красивая жена. На нее в последние годы жизни Наполеон обратил усталое внимание. У женщины этой родилась на Святой Елене дочь, чрезвычайно похожая лицом на императора. И от мысли, что жертвой

его последней холодной прихоти сделался вряд ли не единственный в мире человек, как-никак сохранивший ему верность до гроба, от мысли этой чуть шевелилось то страшное и дьявольское, что всю жизнь клокотало в Наполеоне.

X

К перрону лонгвудского дома подъехала коляска, из которой вышел небольшой толстенький человек. Графы Бертран и Монтолон, сидевшие рядом на деревянной скамейке сада, с любопытством уставились на гостя. Графам было скучно: они в этот день уже успели сказать друг другу все неприятное, что могли придумать, и коротали вдвоем долгие предобеденные часы, изредка обмениваясь соображениями относительно погоды.

Гость еще издали снял шляпу и, подойдя, почтительно спросил на плохом французском языке, нельзя ли увидеть гофмаршала.

— Это я, сударь,— ответил Бертран.

Толстяк еще раз поклонился, подал свою карточку и одновременно сам назвал себя. Он был итальянский маркиз, возвращавшийся на родину из Бразилии, и слезно молил представить его императору Наполеону. Несколько мгновений разговора с величайшим человеком в мире сделают его счастливейшим из людей; он знает, что не имеет никаких прав на столь высокую милость,— но неужели его величество ему откажет?

Бертран нерешительно смотрел на поданную карточку. Ему очень хотелось удовлетворить желание посетителя: просьба была сделана в самых почтительных выражениях, по правилам, установленным в Лонгвуде,— через гофмаршала и с упоминанием императорского титула. Маркиз, носивший звучное имя, по-видимому, имел связи,— иначе его сюда не пропустили бы. Сэру Гудсону Лоу подобное посещение будет, наверное, крайне неприятно. Все это говорило в пользу удовлетворения просьбы. Но, с другой стороны, как потревожить императора, настроенного очень плохо?

— Его величество чувствует себя нехорошо,— начал было Бертран и остановился перед выражением последней степени отчаяния, тотчас появившимся на добродушном лице маркиза.

— Какое несчастье! — воскликнул толстяк, схватившись за голову.

— Это вполне естественно,— подтвердил Монтолон.— Как не быть больным императору в этом климате, в этой обстановке?

— *Они* задались целью уморить его,— с горькой улыбкой добавил Бертран.

— Barbarissimi! [1] — еще раз воскликнул маркиз.— Уморить освободителя Италии! Проклятый Франческо! Проклятые австрийцы!

Негодование толстяка понравилось гофмаршалу, но последнее восклицание его несколько озадачило. Он пояснил гостю, что хотя грехи императора Франца перед его царственным зятем и очень велики, однако главным виновником несчастий его величества следует считать вероломное правительство Англии.

— Вы совершенно правы! — порывисто сказал маркиз, горячо пожимая руку гофмаршала.— О, проклятые австрийцы!..

И он в сбивчивой речи пояснил, что уже недалек тот час, когда весь итальянский народ восстанет против своих угнетателей и сбросит иго кровожадного Франчески.

Бертран был еще более озадачен.

— Я попытаюсь доложить его величеству,— сказал он, значительно взглянув на маркиза, точно приглашая его оценить по достоинству ту огромную милость, которая, возможно, ему будет сейчас оказана. Нерешительное обещание немедленно вызвало выражение благодарности и счастья на лице итальянца. Это выражение совсем смягчило Бертрана, и он решил, что нужно сделать что-либо для гостя.

— Я не знаю, примет ли вас его величество,— сказал он.— Но вам, вероятно, будет интересно увидеть виллу Лонгвуд. Я покажу вам спальню императора.

Он повел тихо вскрикнувшего от умиления итальянца боковым ходом. Спальня Наполеона, накуренная пастильками Houbigant, была комната в два окна, представлявшая собою, как вся вилла Лонгвуд, смесь богатства и дешевки. То, что наудачу захватили слуги перед отъездом императора из Франции, отличалось роскошью. Все остальное — и сам дом — было просто до бедности. Рядом со стулом, грубо сколоченным местными столярами, стоял умывальник из массивного серебра. На дешевом столе был разложен бесценный несессер. Маркиз, чуть слышно вскрикивая, переходил от предмета к предмету. У него в кармане

---

[1] Величайшие варвары! *(итал.)*

лежала заранее приготовленная записная книжка, но ему неловко было пользоваться ею здесь; он не знал, что можно и чего нельзя, и изо всех сил старался запомнить *все*, чтобы тотчас записать, когда его коляска отъедет от Лонгвуда. Единственной целью толстяка было запастись в этом знаменитом месте, куда его занесла судьба, темами для рассказов на весь остаток жизни. Бертран шепотом называл главные достопримечательности комнаты.

— Римский король, работы Тибо,— показал он на портрет ребенка верхом на баране,— и глаза гофмаршала затуманились слезами при мысли о маленьком сыне Наполеона.

— Il re di Roma! [1] — простонал маркиз.

— Ее величество императрица Мария-Луиза, работы Изабе,— продолжал Бертран на этот раз с неодобрением, но запрещая строгим взглядом посетителю даже в мыслях касаться интимной драмы, связанной с портретом.—Часы его величества. Цепочка сплетена из волос императрицы... Будильник, принадлежавший королю Фридриху Великому. Император взял его на память во время оккупации потсдамского дворца французскими войсками...

— La sveglia del grande Federico! [2] — пискнул итальянец и потянулся рукой к записной книжке, но спохватился.

— Шпаги Фридриха Великого император не взял, но у него были поднесенные ему испанцами, персами и турками мечи Франциска I, Чингисхана, Тамерлана. У него был также,— добавил Бертран, горько улыбаясь,— самый знаменитый из всех — его собственный меч... А вот это походная постель его величества,— показал он на узкую кровать с занавесью бледно-зеленого шелка.— На ней император провел ночь накануне Маренго и Аустерлица. Запасная постель находится *там в кабинете*,— еще тише проговорил гофмаршал, свидетельствуя своим взглядом, что в кабинете сейчас находится Наполеон.

— Зачем запасная постель? — робко осведомился маркиз.

Бертран строго посмотрел на гостя:

— Император спит на двух кроватях. Он ночью переходит с одной на другую.

И, найдя, что посетитель видел достаточно, гофмаршал повел его назад. Через открытую дверь маркиз заметил

---

[1] Римский король! *(итал.)*
[2] Будильник Фридриха Великого! *(итал.)*

в небольшой смежной каморке деревянный ящик, изнутри выложенный цинком.

— Ванна императора,— пояснил со вздохом Бертран в ответ на молчаливый вопрос итальянца.— В Тюльерийском дворце,— добавил он,— у его величества была не такая ванна...

Они вошли в приемную.

— Благоволите подождать здесь. Я сейчас доложу его величеству.

Граф Бертран вышел, оставив гостя в крайнем волнении.

— Пускай идет к черту! — угрюмо ответил Наполеон, когда гофмаршал доложил ему о просьбе итальянского маркиза.

Император сидел в кресле, прикрывшись пледом, несмотря на теплую погоду. На коленях у него лежала книга, но он ее не читал. Глаза его были неподвижно устремлены вдаль.

Бертран вздохнул, наклонил голову и направился к выходу. Он, вероятно, именно в этих выражениях и передал бы итальянскому гостю ответ его величества.

— Кто он такой? — мрачно спросил Наполеон, когда гофмаршал уже открывал дверь.

Граф Бертран доложил свои впечатления от маркиза в самых выгодных тонах: «Чрезвычайно благонамеренный и почтительный человек, со связями. Может быть очень полезен для осведомления европейского общественного мнения... Наверное, передаст с точностью журналистам в Европе все, что вашему величеству благоугодно будет ему сказать».

Наполеон долго молча смотрел на Бертрана. Было очевидно, что, как ни противен всякий новый человек, следует принять маркиза и послать через него еще несколько колких слов европейским монархам и их министрам. В мозгу Наполеона сам собою открылся тот ящик, где у него лежали разные обидные и язвительные замечания, которые он мог при случае преподнести властителям Европы.

— Я приму этого человека. Введите его сюда через две минуты.

— Oui, Sire [1],— сказал радостно Бертран и вышел с тем поклоном, которому выучил его в свое время актер Тальма, преподававший манеры и пластику придворным.

---

[1] Да, государь *(франц.)*.

«Итальянский маркиз. Флорентинец. Едет из Бразилии».

Память императора автоматически подала разнообразные сведения и замечания об итальянской аристократии, о Флоренции, о Бразилии, все, чем можно было — и зачем-то нужно — поразить, после миллиона других, еще миллион первого представителя бесконечно опротивевшей и надоевшей человеческой породы.

Медленно, привычным усилием воли, Наполеон стер со своего лица выражение скуки, усталости и физической боли. Он оправил прядь шелковистых волос на огромном лбу, откинул плед и скрестил руки. Лицо его застыло, сделалось каменным, но серые глаза заблестели. Это была та самая страшная маска, которую знал всякий ребенок в мире.

Дверь распахнулась. Швейцар, докладывавший по лонгвудскому этикету о посетителях, прокричал фамилию гостя. Итальянский маркиз вошел неловко и торопливо, замер на мгновение, столкнувшись глазами с человеком, сидевшим в кресле, и согнулся в почтительном поклоне. Он рассчитывал увидеть больного узника; перед ним сидел император Наполеон.

XI

В Лонгвуде было почти весело.

Император оживился. Его привел в возбужденное состояние разговор с итальянским путешественником. Как ни очевидно глуп был гость, не могло быть сомнений в том, что он запишет каждое сказанное ему слово и немедленно все распространит по приезде в Европу. А сказано было, по адресу врагов ссыльного императора, много неприятных вещей. После небольшой вступительной беседы Наполеон перешел на политические темы и вскользь заговорил об Александре Первом. Рассказал — к слову, — как в 1807 году царь просил его пожаловать высокую награду генералу Беннигсену, а он отказался наградить русского главнокомандующего, ибо ему было противно, что сын просит награды для убийцы своего отца. Описал, как Александр изменился в лице, поняв из прозрачного намека причину отказа. Сказал, что необычайно забавен в роли блюстителя мировой нравственности человек, подославший к своему отцу убийц, подкупленных на английские деньги. Сказал, что хорош монарх, который предоставил

извергу Аракчееву сорокамиллионный народ, предал Сперанского, единственного государственного человека страны, за недостаточно высокое мнение об его, Александра, умственных способностях, а сам со старыми немками читает псалмы. Сказал, что Россия рано или поздно потеряет Польшу, что она вряд ли удержит Финляндию и никогда не получит Константинополя. Сказал, что все другие завоевания царей не стоят медного гроша и что даже сама Россия рано или поздно пойдет к черту по вине какого-нибудь сумасшедшего деспота. Сказал, что многомиллионная масса невежественных русских народов может представить собой грозную опасность для всего мира и что Европа будет либо республиканской, либо казацкой. Покончив с Россией и с императором Александром — он знал, что напоминание о Павле, Беннигсене и Сперанском особенно расстроит царя,— Наполеон коснулся Англии и выразил удивление, почему эта страна, торгующая всем на свете, еще не научилась торговать свободой и не вывозит ее на континент, столь в свободе нуждающийся. Сделал краткую характеристику обоих Георгов и лорда Кэстльри,— характеристику, за которую должна была ухватиться вся британская оппозиционная пресса. Потом перешел к Талейрану и заметил, что для этого короля предателей состояние измены является совершенно нормальным состоянием: «Il est toujours en etat de trahison» [1]. Подробно разъяснил роль Талейрана в убийстве герцога Энгиенского, еще умышленно ее преувеличив, чтобы усилить и без того жгучую ненависть роялистов к знаменитому дипломату. Затем, остановившись на карьере Фуше, бывшего террориста и цареубийцы, потом верного слуги Бурбонов, назвал его самым совершенным и законченным типом негодяя, когда-либо существовавшим на земле, и добавил — в пику Людовику XVIII,— что только он, Наполеон, мог не бояться услуг такого злодея, ибо знал, как себя с ним вести, и однажды, при удобном случае, прямо ему объявил: «Monsieur Fouché, il pourrait être funeste pour vous que vous me prissiez pour un sot» [2]. Посмеялся над Венским Конгрессом и над Священным Союзом, участники которого, три маленьких человека, хотят самовластно править всеми народами мира по указке попов и проходимцев, тогда как править миром не мог долго сам он,

[1] «Он всегда находится в состоянии измены» *(франц.)*.
[2] «Господин Фуше, не считайте меня глупцом, это могло бы очень плохо для вас кончиться» *(франц.)*.

Наполеон. Сказал, что непризнание за ним императорского титула просто глупо, ибо титул есть пустой звук, трон — кусок дерева, обитый шелком, а у него, к счастью, имеется для представления потомству кое-что получше титула и трона. Сказал, что монархи, желая оскорбить его, плюнули в лицо друг другу: ибо если он, Наполеон, чудовище, то что же сказать о них, которые наперебой ловили его улыбки и на выбор предлагали ему в жены своих знатнейших принцесс. Напомнил, что в его приемной толпились, ожидая очереди, десятки европейских монархов и что в день его свадьбы с дочерью Цезарей четыре королевы несли шлейф его невесты. Сказал, что конфискация его богатств — обыкновенное уголовное мошенничество, которым, впрочем, он нимало не огорчен,— ему ничего не нужно; если же ему придется голодать, то он обратится не к монархам, а пойдет в стоянку 53-го полка, несущего службу около Лонгвуда,— и, конечно, простые люди английского народа поделятся куском хлеба с самым старым солдатом Европы.

При этих словах итальянец прослезился. Цель была достигнута. Втолковав все сказанное гостю, император дал ему понять, что считает его совершенно исключительным по уму и характеру человеком,— и милостиво отпустил маркиза. Итальянец еще с полчаса в коляске повторял: «Какой человек! Что за человек!»

Наполеон был очень доволен разговором. Он не питал особенно враждебных чувств ни к Александру, ни к Кэстльри, ни к Талейрану, ни к Фуше. Мысль о соперничестве с ними, хотя они одержали над ним верх, не приходила ему в голову: император никого из людей не считал равным себе по умственным и духовным силам. Симпатий и антипатий у него уже давно на свете не было — по крайней мере, в спокойные минуты: с каждым из своих бесчисленных врагов он мог установить в любую минуту самые лучшие отношения, если этого требовал его интерес. Теперь интерес больше ничего не требовал: за плечами стоял враг пострашнее Англии и России. Только по долголетней привычке наносить удары врагам, да еще иногда в порыве раздражения от больной печени, Наполеон срывал свою злобу против человечества и судьбы на ком попадалось. И уж конечно приличнее было сорвать ее на Александре или на Талейране, чем на сэре Гудсоне Лоу. Ссыльный император чувствовал, что борьба с губернатором острова Святой Елены придает мелочный характер последним годам его жизни. От подобного неприличия легче всего было

уберечься ореолом мученичества, и Наполеон всячески поддерживал этот свой ореол, хотя прекрасно понимал, что англичане в общем ведут себя довольно корректно; а если б они были и не корректны, то вряд ли он мог бы на это пенять, ибо у него на совести значились не такие дела.

Все оживилось в Лонгвуде: император объявил, что выйдет обедать в столовую. Метрдотель в зеленой, расшитой золотом ливрее ставил тяжелые серебряные блюда на шатающийся дощатый стол и, выгнав из-под буфета крысу, вынимал service des quartiers généraux [1],— драгоценный севрский сервиз, рисунки которого изображали победы Наполеона. Мамелюк Али стал за креслом его величества. Этого Али звали в действительности Луи-Этьен Сен-Дени и родился он в Версале, но был в свое время фантазией Наполеона сделан почему-то мамелюком. Шесть ливрейных лакеев, французов и англичан, разносили кушанья и напитки. Обед из семи блюд продолжался менее получаса. Император был положительно весел: он перестал чувствовать боль в боку, и ему показалось, как это иногда еще с ним бывало, что бритва исчезла и что до смерти, быть может, далеко. Наполеон прикоснулся к двум-трем блюдам — обыкновенно почти ничего не ел — и велел подать шампанского.

После обеда перешли в гостиную, куда было подано кофе. Монтолон расставил шахматы на большом коричневом столике с крошечным полем посредине. Наполеон передвинул пешку,— он очень плохо играл и никогда не думал о ходах,— но не продолжал партии: ему хотелось говорить. Он чувствовал себя в ударе. Бертран попросил его величество прочесть вслух трагедию Корнеля: гофмаршал любил это послеобеденное времяпровождение, при котором он мог незаметно подремать с полчаса, порою просыпаясь и выражая восхищение перед гением поэта и чтеца. Наполеон заговорил было о сравнительных достоинствах трагедий Корнеля, Расина и Вольтера, но посмотрел на своих собеседников и замолчал. Ему стало досадно, что ссылку делят с ним необразованные генералы, ничего не смыслящие ни во французской трагедии, ни в Данте, ни в Оссиане и вообще ни в чем ничего не смыслящие, кроме военного дела, в котором они, впрочем, тоже недалеко ушли.

---

[1] Сервиз из штаб-квартиры (*франц.*).

Разговор вернулся к политике. Граф Монтолон спросил, думает ли его величество, что французскую революцию можно было предупредить.

— Трудно было, очень трудно,— ответил после некоторого молчания Наполеон.— Следовало убить вожаков и дать народу часть того, что они ему обещали... Надо было также позолотить цепи: народ никогда не бывает свободен — и слава Богу! Но позолоченных цепей он не замечает... Революция — грязный навоз, на котором вырастает пышное растение. Я овладел революцией, потому что я ее понял. Я взял от нее все, что было в ней ценного, и задушил остальное. Заметьте, я сделал это, не прибегая к террору. Править при помощи несчетных казней, как Робеспьер, может не очень долго каждый дурак. Но вряд ли кто, кроме меня, мог успокоить Францию без гильотины. Вспомните то время... Тысячелетняя монархия пала в прах... Все было сокрушено, уничтожено, испачкано. Я поднял свою корону из лужи.

Он задумался.

— Да, революция — страшная вещь,— заговорил он снова.— Но она большая сила, так как велика ненависть бедняка к богачу... Революция всегда ведь делается ради бедных, а бедные-то от нее страдают больше всех других. Я и после Ватерлоо мог бы спасти свой престол, если б натравил бедняков на богачей. Но я не пожелал стать королем жакерии... Я наблюдал революцию вблизи и потому ее ненавижу, хотя она меня родила. Порядок — величайшее благо общества. Кто не жил у нас в 1794 году, кто не видел резни, террора и голода, тот не может понять, что я сделал для Франции. Все мои победы не стоят усмирения революции... Так далеко вперед, как я в ту пору, никто никогда не заглядывал. А понимаете ли вы, что такое значит в политике заглядывать вперед? О прошлом говорят дураки, умные люди разговаривают о настоящем, о будущем толкуют сумасшедшие... Смелый человек обыкновенно пренебрегает будущим. Впоследствии я редко заглядывал вперед больше чем на три или на четыре месяца. Я узнал на опыте, насколько величайшие в мире события зависят от его величества — случая...

Граф Монтолон почтительно заметил, что *идеологи* никогда не поймут великой исторической роли императора.

— Идеологи! — сказал Наполеон с презрением.— Идеологи... Адвокаты... Вот терпеть не могу эту породу... Всякий раз, когда я вижу адвоката, я жалею, что людям

больше не режут языков. Пока идеологи говорили умные речи, я ловил счастье в больших делах. Успех — величайший оратор в мире... И к чему только господа адвокаты стали заниматься революцией? Много они в ней смыслят! Править в революционное время можно только в ботфортах со шпорами... Правда, кроме ботфортов требуется еще голова: одни ботфорты имел и генерал Лафайет.

— Герой Старого и Нового континента,— с усмешкой произнес Монтолон прозвище знаменитого деятеля Американской и Французской революций.

— Дурак Старого и Нового континента,— сердито сказал император.

— Он верен своей прежней, устарелой системе,— заметил Бертран.

Наполеон покосился на гофмаршала:

— Дело в голове, а не в системе. Что касается систем, то нужно всегда оставлять за собой право смеяться завтра над тем, что утверждаешь сегодня.

И, сделав резкое движение, точно обозлившись на самого себя за рассуждение о политике с людьми, которые в ней явно ничего не понимали, император внезапно заговорил о войне и спросил генералов, который из его походов, по их мнению, наиболее замечателен.

— Итальянская кампания,— сказал решительно Бертран. Лицо Наполеона просветлело, но он покачал головой:

— Я был тогда еще недостаточно опытен.

— Тысяча восемьсот четырнадцатый год, la campagne de France [1],— высказал свое мнение Монтолон.— Гениальнее этой проигранной кампании военная история не знает ничего.

Император опять покачал головой и заметил, что сам он лучшим своим военным подвигом считает мало кому известный Экмюльский маневр. Он стал подробно объяснять генералам сущность этого маневра, приводя на память названия полков, расположение батарей, число пушек, имена командиров. Графиня Бертран с удивлением заметила, что поистине трудно понять, каким образом его величество может все это помнить по прошествии стольких лет.

— Madame, le souvenir d'un amant pour ses anciennes maitresses [2],— быстро повернувшись к графине, с живостью сказал император.

---

[1] Французская кампания *(франц.)*.

[2] Сударыня, это воспоминание любовника о своих давних подругах *(франц.)*.

XII

Монтолон, салонный генерал, воспользовался этой фразой и перевел разговор на игривые темы. Наполеон заметил, что любовь — глупость, которую делают вдвоем; единственная победа в любви — бегство. Сам он никогда никого не любил,— разве Жозефину, да и ту не очень.

Граф Монтолон, смягчая почтительной улыбкой вольный характер сюжета, стал перечислять известных красавиц, которые мимолетно принадлежали его величеству: госпожа Фурес, госпожа Грассини, госпожа Левер, госпожа Дюшенуа, госпожа Жорж, госпожа де Водэ, госпожа Лакост, госпожа Гаццани, госпожа Гиллбо, госпожа Денюэль, госпожа Бургуэн...

— Тереза Бургуэн? Разве? Вы, кажется, смешиваете меня с Шапталем,— перебил слушавший с интересом Наполеон.

Монтолон, еще более почтительно улыбаясь, заметил, что весь Париж утверждал, будто император был соперником Шапталя.

— Да ведь все парижские артистки распускали слухи о своей близости со мной,— возразил Наполеон.— Им за это антрепренеры прибавляли жалованья.

Но улыбка Монтолона ясно свидетельствовала о том, что он верит анекдоту.

— Вы бы еще процитировали памфлет «Любовные похождения Бонапарта»... Какого Геркулеса они из меня сделали! — сказал со смехом император.

Госпожа Бертран, находившая разговор слишком вольным, спросила, правда ли, что его величество в ранней молодости делал предложение мадемуазель Коломбье.

— Не делал, но собирался делать. Мне было семнадцать лет, и она предпочла мне некоего господина Брессье, которого я потом наградил баронским титулом — от радости, что не женился на его супруге.

— То же самое рассказывали о нынешней шведской королеве,— заметил, смеясь, Монтолон.— Говорят, ваше величество предоставили Бернадотту престол Густава Вазы из-за старых нежных чувств к мадемуазель Клери.

Лицо Наполеона потемнело. Эта женщина, которая нежно любила его юношей, на которой он хотел было жениться, но раздумал, которую, став императором, вознес так высоко, впоследствии вела против него политическую интригу с Талейраном и Фуше... Знакомое чувство тоскли-

вого отвращения от всех людей и в особенности от женщин с новой силой поднялось в душе императора.

— Любовь — удел праздных обществ,— сказал он мрачно.— Я никогда не придавал ей значения... Только магометане усвоили правильный взгляд на женщин, которых мы, европейцы, принимаем почему-то всерьез...

— Недаром англичане утверждают, будто ваше величество обратились в ислам,— заметил Монтолон.

— Мусульманская вера, кажется, лучшая из всех,— подтвердил император.— Наша религия влияет на людей преимущественно угрозами загробной кары. Магомет больше обещает награды. Что вернее?.. Не берусь сказать с уверенностью. И страх, и подкуп — великие силы... Надо, конечно, владеть обеими умело... Впрочем, ислам завоевал полмира в десять лет, тогда как христианству для этого понадобились века. Очевидно, мусульманская вера выше.

Гофмаршал Бертран сказал с тонкой улыбкой, что, по его наблюдениям, религиозные воззрения императора изменчивы и далеко не так просты, как кажутся. На словах его величество часто высказывается в духе католической веры, но...

Наполеон с усмешкой смотрел на гофмаршала Бертрана:

— Но... я не всегда говорю то, что думаю? Вы совершенно правы, любезный Бертран.

Он помолчал.

— Разумеется, в государственном отношении атеизм вещь опасная,— сказал Наполеон как бы нехотя.— По-моему, он в наше время много опаснее для государства, чем религиозный фанатизм. Но умные люди, к несчастью, далеко не во всем считаются с государственными интересами. Ну, Боссюэт, скажем, искренне верил в Бога. Правда, это было его ремесло... И ведь когда же это было: давно... Из всех замечательных людей, которых я знал,— почти никто не верил в Бога. Ученые? Монж, Лаплас, Араго, Бертолле — все были безбожники. Философы? Поэты? Я знал в Германии одного очень выдающегося писателя. Его звали Гет... Да, Вольфганг Гет. Он написал большую поэму о каком-то средневековом чернокнижнике...

Монтолон немедленно вынул записную книжку и занес в нее несколько слов, чтобы сохранить для потомства имя немца Гет, написавшего поэму о средневековом чернокнижнике.

— Он служил директором театра у этого дурака Карла Веймарского,— продолжал Наполеон.— Очень замеча-

тельный человек. Он походил внешностью, да и душой тоже, на греческого Бога. Я, к сожалению, ничего не читал из его книг, кроме романа «Вертер»; думаю, что и книги его замечательны. Так вот этот Гет был такой же безбожник, как наши энциклопедисты,— правда, на свой лад, может, даже умнее... Он называл себя пантеистом. Точно не все равно сказать: природа — Бог, или: нет вовсе Бога... Да и так ли вообще все это важно? Очень плохой знак, когда человек начинает думать о Боге: верно, ему на земле больше делать нечего.

Он постучал пальцами по своей стальной табакерке в виде гроба, на которой читалась надпись: «Pense à ta fin, elle est près de toi» [1],— и налил себе еще чашку крепкого кофе.

— Да, он был очень замечательный человек, этот немецкий поэт. Будь он француз, я сделал бы его герцогом. Его и Корнеля.

Бертран заметил, что бывают, однако, вполне верующие люди между знаменитыми писателями, и привел в доказательство Шатобриана. Наполеон опять покосился на гофмаршала. По этому взгляду и по радостному лицу Монтолона Бертран сообразил, что сделал бестактность.

— Мне нет надобности говорить вашему величеству,— поспешил поправиться он,— как я отношусь к политической деятельности виконта Шатобриана. Но можно ли отрицать его большой талант?

Монтолон, не глядя на Бертрана и сдерживая улыбку радости, рассказал ходивший в Париже анекдот: Шатобриан написал будто бы в свое время книгу антихристианского содержания и снес ее какому-то издателю. Издатель возвратил рукопись, заметив, что атеизм начинает выходить из моды. Шатобриан подумал — и через несколько месяцев вернулся с другой книгой — в защиту католической веры. Так создался «Гений Христианства», который принес автору славу, а издателю состояние.

Наполеон засмеялся радостным негромким смехом,— он любил подобные рассказы.

— Если и не правда, то очень похоже на правду,— сказал он.— Я достаточно хорошо знаю виконта Шатобриана. Он и госпожа Сталь оба хороши, каждый в своем роде. Не было ничего легче, чем купить их расположение: я должен был сделать Шатобриана министром, а госпожу Сталь своей любовницей. Но он был бы очень плохой министр,

---

[1] Думай о смерти, она близка *(франц.)*.

а она, как женщина, всегда казалась мне противной... Ce pauvre Benjamin Constant... [1] Да, да, оба они хороши,— добавил, снова засмеявшись, Наполеон,— он и она... Госпожа Сталь после моего возвращения с острова Эльбы написала мне восторженное письмо и за два миллиона предлагала свое перо. Я нашел, что два миллиона дорого. Тысяч сто я, пожалуй, дал бы, ибо она недурно пишет. Перо важная вещь. Писатели не то, что адвокаты. Феодальный строй убила пушка, современный строй убьет перо... Да, очень хороши оба: и свободолюбивая госпожа Сталь, и набожный господин Шатобриан. Впрочем, мой опыт говорит мне, что нельзя судить о человеке по его поступкам: каких только низостей не делают так называемые честные люди... Бывает и обратное.

Он отпил кофе. Госпожа Бертран незаметно отодвинула кофейник. Ей казалось, что возбуждающий напиток расстраивает здоровье императора.

— Так ваше величество вовсе не верит в Бога и в высшую справедливость? — спросил робким голосом гофмаршал.

— Я? — сказал Наполеон.— Если б я верил в Бога, разве я мог бы сделать то, что я сделал?.. Бог, высшая справедливость?.. Почти все мошенники счастливы в жизни. Увидите, Талейран умрет спокойно на своей постели...

Он нахмурился и замолчал.

Госпожа Бертран с укором заметила, что есть другой, лучший и справедливый, мир.

— Я в этом не уверен. Бывало, я на охоте приказывал при себе вскрывать оленей; они устроены совершенно так же, как мы... Почему не верить в бессмертие души оленей?.. Впрочем, и жизнь и смерть только сон. La mort est un sommeil sans rêves, et la vie un songe léger qui se dissipe... [2] Если б я хотел иметь веру, я обоготворил бы солнце...

Госпожа Бертран не согласилась со взглядом его величества и твердо сказала, что католическая религия — лучшая вера на земле.

Наполеон одобрительно кивнул головой:

— Вы правы, сударыня. В католической вере особенно хорошо то, что молитвы на латинском языке: народ ничего не понимает,— и слава Богу. Католицизм в течение пятнадцати веков мирил людей с государством, с общест-

---

[1] Бедный Бенжамен Констан... *(франц.)*

[2] Смерть — это сон без сновидений, а жизнь — легкое видение, которое исчезает... *(франц.)*

венным порядком,— чего же еще требовать? К тому же он дает людям и так называемый внутренний душевный мир... Человек — существо беспокойное, все он ведь чего-то ищет. Так пусть лучше ищет у священника, чем у Кальостро, у Канта или у госпожи Ленорман. Поверьте, они все стоят друг друга: и Кант, и Кальостро, и госпожа Ленорман... Я пробовал когда-то дать другой выход религиозным потребностям человека,— я хотел опереться на масонство. Нет, не удалось: слишком они беспокойные люди и уж очень уважают разум. Мне с ними было не по пути... Католическая вера надежнее. К тому же нельзя выбирать религию, это дело неподходящее. Каждый человек должен жить в религии своих предков. А женщина вдобавок должна твердо верить. Терпеть не могу свободомыслящих и ученых женщин. Ученые мужчины — другое дело. Признаться, я не понимаю, как до сих пор существуют верующие образованные христиане. Например, папа Пий VII. Он верил в Христа,— с удивлением сказал Наполеон, обращаясь к мужчинам.— Il croiait, mais là, réellement, en Jésus Christ! [1]

Бертран и Монтолон не совсем поняли, почему, собственно, так удивительно, что папа Пий VII верил в Христа.

— Да ведь евангельский Христос, конечно, никогда не существовал,— раздраженно пояснил император: он любил, чтобы его понимали с полуслова.— Верно, был какой-нибудь еврейский фанатик, вообразивший себя Мессией. Подобных фанатиков повсюду расстреливают каждый год. Мне и самому случалось таких расстреливать.

— Боже! — воскликнула в ужасе госпожа Бертран.

— Жестоко? — переспросил Наполеон.— Я по природе своей не жесток. Но сердце государственного человека— в его голове. Он должен быть холоден как лед.

— Ваше величество очень дурного мнения о людях.

— Да, можно сказать. Il faudrait que les hommes fussent bien scélérats pour l'être autant que je le suppose [2].

— Но ведь есть и честные люди.

— Есть, конечно. Il y a aussi des fripons assez fripons pour se conduire en honnêtes gens... [3] Тот, кто хочет править

[1] Подумать только! он в самом деле верил в Иисуса Христа! *(франц.)*

[2] Люди должны были оказаться большими негодяями, чтобы быть такими, какими я их себе представляю *(франц.)*.

[3] Но есть такая порода мошенников: они мошенники в достаточной степени для того, чтобы вести себя как люди порядочные... *(франц.)*

людьми, должен обращаться не к их добродетелям, а к их порокам.

Наступило молчание. Даже светский Монтолон не находил темы для продолжения разговора.

— Что, однако, трудно было бы объяснить и верующим людям, и атеистам,— вдруг сказал Наполеон изменившимся голосом,— это моя жизнь. Я на днях ночью припомнил: в одной из моих школьных тетрадей, кажется 1788 года, есть такая заметка «Sainte Hélène, petite île». Я тогда готовился к экзамену из географии по курсу аббата Лакруа... Как сейчас, вижу перед собой и тетрадь, и эту страницу... И дальше, после названия проклятого острова, больше ничего нет в тетради... Что остановило мою руку?.. Да, что остановило мою руку? — почти шепотом повторил он с внезапным ужасом в голосе.

Страшные глаза его расширились... Он долго молча сидел, тяжело опустив голову на грудь.

— Но если Господь Бог специально занимался моей жизнью,— вдруг произнес император, негромко и странно засмеявшись,— то что же Ему угодно было ею сказать? Непонятно... Двадцать лет бороться с целым миром — и кончить борьбой с сэром Гудсоном Лоу!.. Я знал в начале своей карьеры одного странного старика... У него было несколько имен, и никто точно не знал, кто он, собственно, такой. Даже моя полиция не знала. Шутники называли его вечным жидом. Позже я потерял его из виду, так и не знаю, куда он делся. Он мне предсказывал мою карьеру. Я теперь вспоминаю его мысли... Умный был человек и проницательный, а делать ничего не мог. Может быть, не хотел. А может быть, и не умел... Мне он все предсказывал, что меня погубит вера в славу... А вот слава меня одна и не обманула. Все обмануло, а слава нет. Уж историк-то меня кругом обелит и оправдает...

Он опять замолчал.

— Oui, quel rêve, quel rêve que ma vie [1],— повторил он.

— Пути Божии неисповедимы,— заметил граф Бертран после продолжительного молчания.

Наполеон поднял голову и долго неподвижным взором смотрел на гофмаршала.

— Я больше не задерживаю вас, господа,— произнес он наконец.

---

[1] Да, какой сон, какой сон — моя жизнь *(франц.)*.

XIII

У крыльца — не из удали, а по долголетней привычке — бил ногой землю знавший порядок Визирь, небольшой старый арабский конь, подарок турецкого султана. Его держали под уздцы кучер Аршамбо и форейтор Новерраз.

Император, в мундире гвардейского егеря, тяжело ступая и звеня шпорами, медленно сошел с крыльца. Поверх мундира на нем была какая-то серая накидка, похожая на дождевой плащ.

— La redingote grise! [1] — сказал тихо Аршамбо.

За Наполеоном, приноравливаясь к его шагам, следовал преданный генерал.

Визирь для порядка заржал и чуть привстал на дыбы, ударив коротким хвостом по тавру, изображавшему корону и букву N.

— Ваше величество поедете далеко? — почтительно спросил генерал.

— В Dead-Wood, потом еще куда-нибудь,— небрежно ответил Наполеон.

Ему внезапно стало смешно: преданный генерал всегда так почтительно провожал императора — даже тогда, когда император отправлялся к его жене.

Ласково, с легкой усмешкой, пожелав доброго вечера преданному генералу, Наполеон привычным движением взял левой рукой поводья и вдел ногу в широкое, во всю ступню, стремя бархатного, расшитого золотом седла.

И вдруг ужасная боль в правом боку едва не заставила его вскрикнуть. Лицо императора сделалось еще бледнее обыкновенного. Он зашатался и выпустил поводья.

Бритва вонзилась снова. Смерть была здесь.

Он трижды, напрягая волю, повторил свою попытку, и трижды тело отказывалось служить.

Старые слуги, Аршамбо и Новерраз, отвели глаза в сторону.

Император Наполеон не мог сесть на лошадь.

Генерал, удерживая охватившее его волнение, почтительно попросил его величество отказаться от прогулки: его величеству явно нездоровится.

---

[1] Серый сюртук! *(франц.)*

— Вы правы... Я лучше пройдусь пешком,— глухим голосом сказал Наполеон.

Аршамбо тихо тронул коня. Визирь повернул свою точеную голову, тряхнул седой гривой, повел глазом и удивленно заржал. Его увели в конюшню.

Наполеон медленно взошел на площадку, откуда видно было море. Заходящее солнце кровавым потоком золота заливало волны, и на смену ему, как бывает в этих широтах, сразу зажигались луна и звезды. Император смотрел на небо и искал свою звезду... На земле больше искать было нечего.

Вдали, по морю медленно проходил какой-то корабль.

XIV

На корабле этом уезжали с острова молодые супруги де Бальмен. В пустой кают-компании сидел немного осунувшийся лицом граф Александр Антонович и угрюмо разбирал при свече русские книги, присланные ему Ржевским. Это были в большинстве старые новиковские издания.

«О заблуждениях и истине, или Воззвание человеческого рода ко всеобщему началу знания. Сочинение, в котором открывается Примечателям сомнительность изысканий их и непрестанные их погрешности, и вместе указывается путь, по которому должно бы им шествовать к приобретению физической очевидности о происхождении Добра и Зла, о Человеке, о Натуре вещественной, о Натуре невещественной и о Натуре священной, об основании политических правлений, о власти государей, о правосудии гражданском и уголовном, о науках, языках и художествах»...

«Не слишком ли много?» — подумал де Бальмен.

...«Философа неизвестного. Переведено с французского. Иждивением типографической компании. В Москве. В вольной типографии И. Лопухина, с указного дозволения, 1785 года».

«Это перевод. Лучше прочту в подлиннике».

Он отложил толстый том Сен-Мартена и стал просматривать другие книги.

«Химическая псалтирь, или Философские правила о камне мудрых»...

«Хризомандер, аллегорическая и сатирическая повесть различного и весьма важного содержания»...

— «С этого сочинения начну читать. Оно, кажется, легче других».

«Братские увещания»...

«Крата Репоа, или Описание посвящения в тайное общество египетских жрецов»...

Де Бальмен вздохнул и раскрыл одну из книг наудачу:

«Древние мудрецы, писавшие о философском камне, говорят о соли, сере и меркурии. Химисты, не разумея их загадочных и иносказательных речений и не ведая философской соли, серы и меркурия, работают без размышления наудачу, и, вместо куч золота и всеобщего рвачества, вырабатывают себе дрожание членов и нищенскую суму»...

«Неужели Ржевский в самом деле читает это?» — спросил себя граф, подавляя зевок, и перевернул несколько страниц.

«Читай, брат мой, читай священное творение, читай его постепенные следствия, читай его ясным внутренним оком мудрых, имущих око свое во главе, как говорит премудрый Соломон. Читай неспешно, как читает большая часть чтецов, спешащих только до другого листа скорее дочесться. Читая неправильно на сем листе, не можешь ты надеяться пользы на другом листе, разве обратишься назад; итак, читай правильно и сначала. Если желаешь читать историю сотворения, то придержись первого стиха: «Bereschith bara Elohim eth haschmajim weeth haaretz» [1] — и читай его несколько лет, а потом уже читай далее».

«Mais il se moque de moi, le bonhomme» [2],— подумал раздраженно Александр Антонович и, отшвырнув книгу, зашагал по маленькой кают-компании.

«Начитаешься таких сочинений, вправду спятишь с ума и будешь смотреть себе в пуп, как Сперанский, ожидая *Фиванского* света. Ржевский всегда был дураком и не поумнел со времени корпуса... Я тоже очень хорош... Как только приеду в Париж, сейчас же разыщу Кривцова. Верно, из Пале-Рояля не выходит... Пусть он скажет: я ли на острове помешался или они в Петербурге посходили с ума?.. И Люси тоже разыщу. И черт с ними со всеми!..»

Граф де Бальмен сложил в ящик книги, с некоторой

---

[1] «В начале сотворил Бог небо и землю» (*др.-евр.:* Бытие, I, 1).
[2] «Этот человечек смеется надо мной» (*франц.*).

опаской к ним прикасаясь, и вышел на палубу подышать свежим воздухом моря.

В каюте, отведенной русскому комиссару, лежала на койке Сузи и, уткнувшись головой в подушку, горько плакала.

XV

Доктор Антоммарки, врач, состоявший при особе Наполеона, молодой, малообразованный и очень глупый человек, был уверен в том, что болезнь императора имеет политический характер. Тонкая и развязная улыбка, с которой Антоммарки говорил об этой болезни, выводила из себя Наполеона. Император, никогда не веривший в медицину, упорно отказывался от помощи итальянского врача.

— Я выбрасывал за окно лекарства, которые назначали мне мои доктора Корвизар и Ларрей, лучшие врачи в мире,— отвечал он на упрашивания приближенных.— Как же вы хотите, чтобы я принимал снадобья этого мальчишки ветеринара?

Но весной 1821 года даже Антоммарки стало ясно по виду императора, что болезнь его приняла очень опасный оборот. Доктор испугался ответственности, пожелал устроить совещание с английскими врачами и стал убеждать Наполеона лечиться серьезно.

— Кажется, я не обязан вам отчетом, милостивый государь,— резко отвечал Наполеон.— Думаете ли вы о том, что жизнь может быть мне и в тягость? Я не стану приближать к себе смерть, но и ничего не сделаю для ее отдаления.

Он отдал только одно медицинское распоряжение: непременно после смерти вскрыть его желудок для того, чтобы исследование их наследственной болезни могло пригодиться его сыну.

Император почти совсем перестал выходить из своей комнаты. Он проводил большую часть дня в ванне или на диване в полутьме, тщетно стараясь согреть горячими компрессами холодеющие ноги. Черты его лица становились все искаженнее и тоньше, а прекрасные маленькие руки совершенно исхудали. Все понимали, что Наполеон умирает.

Однажды вечером Бертран, желая развлечь императора, предложил ему выйти в сад: англичане говорят, будто

на небе появилась комета. Теперь при ясной погоде ее можно хорошо рассмотреть.

— Как комета? — вскрикнул Наполеон. Он быстро вышел в сад.

— Перед смертью Юлия Цезаря тоже была комета,— тихо сказал он по возвращении гофмаршалу, снова опускаясь на диван.

Бертран невольно развел руками.

«Неужели его величество и небесные явления относит к своей особе?» — спросил он себя в недоумении.

Наполеон стал спешно составлять свое духовное завещание. Занятие это его увлекло и даже привело в хорошее настроение духа. Он работал целые дни. Изредка для отдыха приказывал читать себе вслух Гомера.

Скоро завещание было готово.

— Теперь жалко было бы не умереть, когда я так славно привел в порядок свои дела,— сказал он по окончании работы своему любимцу, молодому камердинеру Маршану,— и тут же подумал, что и эта внезапно пришедшая ему в голову фраза перейдет в историю, так как Маршан, конечно, тотчас ее запишет.

— Вот что, голубчик,— прибавил он.— Я завещал тебе пятьсот тысяч франков, но мои деньги далеко, во Франции. Бог знает, когда ты их получишь. Возьми пока...

Он вынул из ящика бриллиантовое ожерелье.

— Оно стоит тысяч двести. Я тебе его дарю. Спрячь. Ступай.

И, прекратив брезгливым жестом выражения благодарности камердинера, пожелавшего поцеловать ему руку, Наполеон велел позвать того генерала, с женой которого он был близок.

— Вам я оставил по завещанию... — с усмешкой назвал он огромную цифру.— Но, быть может, вы хотите больше?

Генерал, почтительно склонив голову, ответил, что ему дороги не деньги, а знак милости императора, который, как он надеется, будет жить долго.

— Таким образом, ваши бескорыстные и преданные услуги навсегда отмечены мною перед потомством,— медленно, с той же усмешкой сказал Наполеон.

На лице его снова появилось выражение брезгливости. Он погрузился в дремоту.

В середине апреля император призвал к себе духовника, аббата Виньяли, и долго говорил с ним о религиозном церемониале своих похорон. Выразил желание, чтобы над его гробом были выполнены в точности, как у самых набожных людей, все обряды, предписанные католической церковью. Обрадованный аббат предложил его величеству исповедаться. Но Наполеон, чуть улыбнувшись, отклонил *пока* это предложение.

Аббат Виньяли в мыслях взволнованно возблагодарил Господа за то, что Он обратил наконец на путь истинной, вечной и единственной веры эту непокорную человеческую душу. Уходя, аббат, словно нечаянно, оставил на столе императора Священное Писание.

Вечером Монтолон и Бертран, войдя в комнату Наполеона, застали его на диване за чтением толстой книги. Плечи императора слегка тряслись. Монтолон почтительно заглянул издали в книгу. Это было Пятикнижие.

— Моисей!..— говорил Наполеон, с оживлением глядя на вошедших и сдерживая разбиравший его смех.— Какой ловкий человек, а? Правда, ловкий человек был Моисей?..

Генералам невольно показалось, что император, столь благочестиво говоривший с аббатом Виньяли, не верит ни в Бога, ни в черта.

Граф Бертран стал читать императору только что полученные английские газеты. В одной из них была резкая статья против лиц, виновных в расстреле герцога Энгиенского. Внезапно, во время чтения, Монтолон толкнул Бертрана в бок. Гофмаршал поднял глаза от газеты и с ужасом заметил, что у императора страшное лицо; такое выражение он видел у его величества за двадцать лет всего раза два или три,— в последний раз после битвы при Ватерлоо, когда Наполеон сказал окружающим с легким эпилептическим смехом:

— Все кончено... Все погибло...

Бертрану представилось, что у его величества и сейчас начнется эпилептический припадок.

— Завещание... Дайте сюда мое завещание! — прохрипел Наполеон.

Монтолон бросился за завещанием. Император дрожащими пальцами вскрыл пакет и, ничего не говоря, приписал несколько строк к последнему параграфу первого отдела:

«Я велел арестовать и судить герцога Энгиенского потому, что этого требовали безопасность, благополучие и честь французского народа; в то время граф д'Артуа, по собственному его признанию, содержал в Париже шестьдесят наемных убийц. В подобных обстоятельствах я и теперь поступил бы точно так же»...

В тяжелом настроении генералы вышли из кабинета. Было поздно. Маршан приготовил обе постели императора и помог ему раздеться. При этом камердинеру показалось, что у его величества сильный жар.

Ванна была готова. Император погрузился в горячую воду, морщась от прикосновения холодного цинка к плечам. Ноги его немного согрелись.

Ему стало совестно, что за несколько дней до смерти он мог еще приходить в бешенство от пустяков, от газетной статьи. Императора особенно раздражало то, что из тысяч преступлений, которые были им совершены, глупые люди неизменно попрекали его убийством несчастного герцога Энгиенского. Два миллиона людей погибло по его воле, а английские дураки думают, будто он может и должен сожалеть об одном каком-то человеке, ибо этот казненный по его приказу человек был принц королевской крови. Другой причины нет... Рабы!

Он со злостью запер на ключ этот нечаянно раскрывшийся ящик мозга и открыл другой, где были мысли о смерти. Но здесь в последние месяцы все было изучено, передумано и перерыто до основания. Наполеон знал, что умрет через несколько дней, умрет совсем и никакой другой жизни у него больше не будет, а если и будет, то та, другая, жизнь ему не нужна и совершенно неинтересна. Никто из философов ничего нового об этом ему сказать не мог, так как он знал жизнь лучше всяких философов. И даже усталый израильский царь, который скончался три тысячи лет назад и оставил после себя умным людям несколько умных, *настоящих* мыслей о жизни и смерти, не имел такого опыта, как он. Ибо царь этот родился на престоле, не покорял мира, не глядел в лицо смерти в шестидесяти сражениях и не знал, вероятно, лучшей человеческой радости — войны и победы...

Наполеон внезапно вспомнил Тулон, где он впервые постиг эту высшую радость жизни... Батареи Санкюлотов и Конвента, на которых он проводил долгие бессонные ночи, обдумывая план штурма, свежий ветер, шедший с моря на батареи, запах смолы у старой часовни...

В памяти императора встала серая твердыня Эгильет,— в ней он тогда разгадал ключ к неприступной крепости... И заседание военного совета, когда он, неизвестный молодой артиллерист, указав эту позицию на карте, сказал уверенно и твердо: «Тулон — здесь!..» И неспособный генерал Карто, который не понял его слов и посмеялся над невежеством молодого офицера, смешивающего Эгильет с Тулоном... И умная старая женщина, жена Карто, неизменно говорившая мужу: «Laisse faire ce jeune homme, il en sait plus que toi» [1]. И самодовольная фигура Барраса... И штурм, и первая рана,— вот ее след на старом теле,— и пожар города, и расстрелы...

Мысли его стали смешиваться. Ему представился день коронования,— собор Notre Dame de Paris. Он хорошо знал этот страшный средневековый собор. Помнил его запущенным, опустошенным, грязным, каким он был в революционные годы: внутри веселилась чернь, темные вековые стены осыпались, статуи наверху были повреждены, разбиты. На крыше у подножья правой башни виднелась одна такая фигура,— дьявол с горбатым носом, с хилыми руками, с высунутым над звериной губой языком... Зачем там был дьявол? Или он был не там?.. Потом и в церкви, как во всей стране, восстановился порядок... В тот день, в день коронованья, орган гремел в горевшем огнями соборе, стены домов города тряслись от крика: «Да здравствует император!..»

Из-за ванны по полу с шумом пронеслась огромная крыса.

Наполеон вздрогнул, вышел из воды и, тяжело ступая, перешел в кабинет. Он поднял выше подушку, с трудом лег на постель и скоро задремал, несмотря на мучительную боль в боку. Но сон императора не был спокоен. Жар усиливался, кровь приливала к голове.

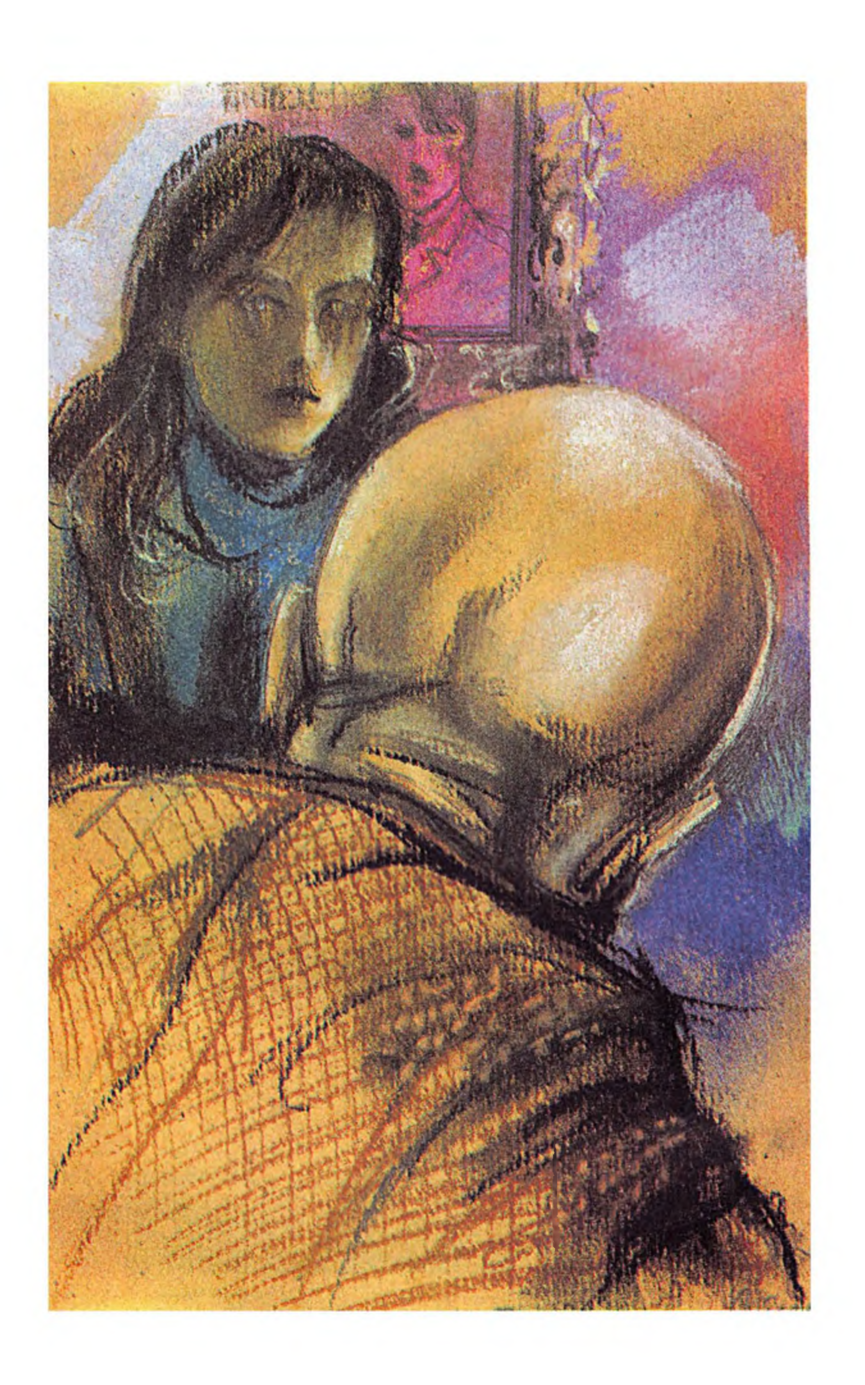
XVI

Ему снился страшный сон. Ему снилось, будто огромная неприятельская армия через Бельгию, по незащищенным равнинам у Шарлеруа, лавиной вторгается во французскую землю. И ужасы вражеского нашествия, те дела, которые он сам столько раз проделывал в чужих странах,

---

[1] «Не мешай этому молодому человеку, он знает больше, чем ты...» *(франц.)*.





ясно ему представились. Надо призвать к оружию национальную гвардию. Надо поднять на защиту родины весь народ. Надо спасти Париж, к которому неудержимо рвется неприятель. Сложные стратегические комбинации стали рождаться в умирающем мозгу Наполеона. На знакомых берегах Марны есть выгодные позиции. Твердыни Вердена должны помешать обходному движению врага. Но кому, кому поручить защиту страны? Кто из французских генералов поймет, что нужно делать?..

Император вдруг поднял голову с подушки. На мгновение к нему вернулась память. Нет больше в живых никого... На полях Маренго пал Дезе. Под Люценом убит Бессьер. У берегов Дуная ядро оторвало ноги Ланну. Под Макерсдорфом разорван на куски Дюрок. Заколот в Египте Клебер. Выбросился из окна Бертье. Расстрелян в Неаполе Мюрат. Расстрелян в Париже Ней. В его, наполеоновской, тюрьме *удавился* — лучше не вспоминать об этом — изменник Пишегрю, тот из генералов Революции, в котором молодой, стремящийся к престолу Бонапарт видел когда-то опаснейшего из своих военных соперников...

А ему самому осталось жить только несколько дней! Нельзя терять ни одной минуты.

Пот выступил на похолодевшем лбу императора. Дрожащими руками он зажег свечу, хотел было позвонить, но не нашел своего медного колокольчика. Опираясь рукой то на стену, то на стол, он надел халат, туфли и прошел в спальню Монтолона.

Всю свою долгую жизнь граф Монтолон помнил ту минуту, когда, проснувшись от сильных толчков в плечо, он потянулся, открыл глаза, мигнул несколько раз на шатающийся огонек — и оцепенел. Перед ним, держа в руке свечу, с которой капал воск, стоял умирающий император. Лицо его было искажено. Глаза горели безумным светом.

— Вставайте, оденьтесь, идите за мной! — отрывисто приказывал Наполеон.

Они прошли в кабинет.

— Пишите!

В комнате, освещенной одной свечой, было темно и холодно. Смертельный безотчетный страх охватил графа Монтолона.

— Ваше величество,— проговорил он, стуча зубами,— позвольте, я разбужу доктора Антоммарки...

— Пишите! — хрипло, со страданием в голосе, вскрикнул Наполеон.

Монтолон взял лист бумаги и стал писать. Перо плохо ему повиновалось. В бреду, держась рукой за правый бок и сверкая глазами, император диктовал план защиты Франции от воображаемого нашествия.

XVII

В день пятого мая разразилась страшная буря. Волны с ревом кинулись на берега острова. Тонкие стены лонгвудского дома вздрагивали. Потемнели зловещие медно-коричневые горы. Чахлые деревья, тоскливо прикрывавшие наготу вулканических скал, сорванные грозой, тяжело скатывались в глубокую пропасть, цепляясь ветвями за камни.

Как ни бодро расхаживал по комнатам виллы Лонгвуд развязный доктор Антоммарки, с видом человека, который все предвидел и потому ничего бояться не может, было совершенно ясно, что для его пациента настали последние минуты. Казалось, душа Наполеона естественно, должна отойти в другой мир именно в такую погоду,— среди тяжких раскатов грома, под завывания свирепого ветра, при свете тропических молний.

Но тот, кто был императором, уже ни в чем не отдавал себе отчета. Нелегко расставалось с духом хрипящее тело Наполеона. Отзвуками канонады представлялись застывающему мозгу громовые удары, а уста неясно шептали последние слова:

«Армия... Авангард...».

У постели, в кресле, не сводя красных глаз с умирающего, сидел генерал Бертран. Граф Монтолон записывал в книжку все хоть немного походившее на слово, что срывалось с уст императора. Около десятка французов толпилось в кабинете и у дверей, ожидая последнего вздоха. В соседней комнате аббат Виньяли готовил свечи.

В пять часов сорок девять минут дня Антоммарки, взглянув в сторону постели, быстро подошел к ней, приложил ухо к сердцу Наполеона — и печально развел ру-

ками, показывая, что теперь даже он ничего больше сделать не может. Послышались рыдания. Граф Бертран тяжело поднялся с кресла и сказал глухим шепотом:

— Император скончался...

И вдруг, заглянув в лицо умершему, он отшатнулся, пораженный воспоминанием.

— Первый консул! — воскликнул гофмаршал.

На подушке, сверкая мертвой красотой, лежала помолодевшая от смерти на двадцать лет голова генерала Бонапарта.

Английский офицер, прикомандированный к вилле Лонгвуд, с переменившимся от волнения лицом вышел на крыльцо. Буря утихала. Удары грома слышались реже. Офицер вздрогнул, завернулся в плащ и прошел к сигнальной мачте.

Шли часы. К крыльцу дома со всех концов острова подъезжали экипажи и верховые; перешептываясь, сходилось население. Дом наполнился военными людьми, смотревшими на все с любопытством и с испугом.

Камердинер Маршан раскрыл настежь двери кабинета. Высоко держа на руках какое-то синее одеяние с серебряным шитьем на красном воротнике, гофмаршал генерал Бертран вошел в комнату.

— Шинель императора при Маренго! — дрогнувшим голосом провозгласил он, накрывая мертвое тело Наполеона.

Этого не мог выдержать ни один военный. Французы, с самим стариком гофмаршалом, заплакали, как маленькие дети. Английские офицеры вынули носовые платки и одновременно приложили их к глазам. Им было жутко оттого, что умер такой великий человек,— правда, враг дорогой старой страны, но все-таки the greatest man in the world[1], по сравнению с которым ничего не стоила жизнь их, обыкновенных людей. Жутко было и потому, что там, в Англии, еще никто этого не знает; каждому офицеру захотелось скорее написать письмо на далекую милую родину. Один из англичан приблизился к кровати и поцеловал край шинели императора; другие последовали его примеру.

Французский комиссар де Моншеню вошел в комнату вместе с крайне расстроенным губернатором. Маркиз, тридцать лет ненавидевший Наполеона, никогда в жизни

[1] Величайший человек в мире *(англ.)*.

его не видел. Он подошел к постели и долго молча смотрел на мертвое лицо с закрытыми глазами.

— У кого завещание? — отойдя, тихо спросил он гофмаршала.

Аббат Виньяли не хотел расставаться с телом до самого момента похорон. Он был спокойнее других: для него смерть означала не то, что для светских людей. Аббат незаметно подошел в столовой к буфету, съел крылышко холодного фазана, выпил полстакана вина и вернулся в кабинет, где лежало тело императора. Все посторонние уже вышли из комнаты. Аббат взял со стола свою Библию, нарочно им забытую там несколько дней тому назад,— книга лежала раскрытой,— и стал читать.

«Всему и всем — одно: одна участь праведнику и нечестивому, доброму и злому, чистому и нечистому, приносящему жертву и не приносящему жертвы; как добродетельному, так и грешнику, как клянущемуся, так и боящемуся клятвы».

«Это-то и худо во всем, что делается под солнцем, что одна участь всем, и сердце сынов человеческих исполнено зла, и безумие в сердце их, в жизни их; а после того они отходят к умершим».

«Кто находится между живыми, тому есть еще надежда, так как и псу живому лучше, чем мертвому льву».

«Живые знают, что умрут, а мертвые ничего не знают, и уже нет им воздаяния, потому что и память о них предана забвению».

«И любовь их, и ненависть, и ревность их уже исчезли, и нет им более части вовеки ни в чем, что делается под солнцем».

«И обратился я и видел под солнцем, что не проворным достается успешный бег, не храбрым — победа, не мудрым — хлеб, и не у разумных — богатство, и не искусным — благорасположение, но время и случай для всех их»...

Аббат Виньяли глубоко вздохнул, уселся удобнее в кресле и перевернул страницу.

...«Доколе не пришли тяжелые дни и не наступили годы, о которых ты будешь говорить: «Нет мне удовольствия в них!»

«Доколе не померкли солнце, и свет, и луна, и звезды, и не нашли новые тучи вслед за дождем».

«В тот день, когда задрожат стерегущие дом и согнутся мужи силы; и перестанут молоть мелющие, потому что их немного осталось; и помрачатся смотрящие в окно»;

«и запираться будут двери на улицу; когда замолкнет звук жернова, и будет вставать *человек* по крику петуха и замолкнут дщери пения»;

«и высоты будут им страшны, и на дороге ужасы; и зацветет миндаль, и отяжелеет кузнечик, и рассыплется каперс. Ибо отходит человек в вечный дом свой, и готовы окружить его на улице плакальщицы»;

«доколе не порвалась серебряная цепочка, и не разорвалась золотая повязка, и не разбился кувшин у источника, и не обрушилось колесо над колодезем»...

Аббат вздохнул опять и посмотрел искоса на мертвое тело императора. На погонах синей шинели играл бледный свет восковых свечей.

XVIII

Старый малаец Тоби очень испугался, когда услышал звуки залпов. Он подошел, тяжело передвигая ноги, к знакомому повару, доброму человеку, который никогда его не обижал, и спросил, что такое случилось: почему стреляют? Куда это поехал сам раджа острова и пошел весь народ?

Повар посмотрел на него с удивлением.

— Как что случилось? Как почему стреляют? — переспросил он.— Наполеона хоронят. Сейчас его тело подвозят к Долине Герани. Я оттуда иду,— обед надо готовить, иначе не ушел бы. Народу там тьма, весь остров, войска... Беги скорее смотреть! Наши батареи салютуют.

Но у престарелого малайца память стало отшибать. Он забыл имя зеленого генерала, который когда-то подарил ему двадцать золотых монет, и робко спросил, кто был умерший раджа.

— Эх, видно, выжил ты, брат, из ума,— ответил со смехом повар.— Не знаешь, кто такой был Наполеон Бонапарт? Да он весь мир завоевал, людей сколько переколотил,— как его не знать? Все народы на свете победил, кроме нас, англичан... Ну, прощай. Некогда с тобой болтать.

Малаец вдвинул голову в плечи, пожевал беззубым ртом и сделал вид, будто понял. Но про себя он усмехнулся невежеству повара, который явно что-то путал: ибо великий, грозный раджа Сири-Три-Бувана, знаменитый джангди царства Менанкабау, победитель радшанов, лампонов, баттаков, даяков, сунданезов, манкассаров, бугисов и альфуров, скончался очень давно, много лет тому назад, задолго до рождения отца Тоби и отца его отца, которых да накормят лепешками, ради крокодила, сотрясатель земли Тати и небесный бог Ру.

Повести

БЕЛЬВЕДЕРСКИЙ ТОРС

Руки Микеланджело не всегда могли выразить его великие и страшные мысли.

Вазари

В обстоятельных трудах по истории папского Рима обычно уделяется несколько страниц (а чаще строк) покушению Бенедетто Аккольти. Много лет тому назад Леопольд фон Ранке, имевший доступ ко всем книгохранилищам Рима, нашел рукопись под названием: «Questo è il sommario della mia depositione par la qual causa io moro». («Сущность моего показания о том, из-за чего я умираю».) Знаменитый историк очень кратко изложил содержание дела, упомянув (не совсем точно), что никаких других сведений о нем нет. Новейшие исследователи почти ничего не прибавили к рассказу Ранке, да и вряд ли видели рукопись № 674 (некоторые из них называют главное действующее лицо Аскольти); и лишь совсем недавно рукопись была опубликована бароном Пастором. Это главный источник по темному и странному делу, которое лежит в основе рассказа.

I

ПОЗДНИЙ СИРОККО

1

На этого человека, который впоследствии погиб страшной смертью, тогда еще обратил внимание один из сторожей капеллы. День был праздничный, богослужение кончилось, посторонних пускали свободно. Обмениваясь шепотом восторженными замечаниями, они осматривали — кто фрески Перуджино, кто Филипепи, а большинство зрителей стену со «Страшным Судом». Потолком любовались бегло, ибо держать долго запрокинутой голову было неприятно, особенно в такой знойный день. Прислушиваясь со снисходительной улыбкой к замечаниям соседей, молодой художник копировал ту часть фрески, гдеБотичелли изобразил себя с Моисеем. Невысокий, некрасивый человек в потертой темно-синей куртке, не взглянув ни на что другое, долго стоял перед стеной «Страшного Суда», отошел, снова вернулся и уставился неподвижным взглядом на произведение Микеланджело Буонаротти. Люди стали расходиться, утомленные жарой и обилием фресок,— всего не рассмотришь. Молодой художник, собрав свои вещи, ушел. Сторож, торопившийся как все, на игры Тестаччо, проходя мимо человека в темно-синей куртке, сказал, что капелла сейчас закроется. Оттого ли, что сторож сказал это громко (тогда как в капелле все говорили вполголоса, почти шепотом), или потому, что он не заметил приближения сторожа, человек в темно-синей куртке вздрогнул и изменился в лице. Сторожу тогда показалось, что он уже несколько раз на своих дежурствах видел в капелле этого человека.— «Десятый час, капелла закрывается»,— повторил сторож. Человек в темно-синей куртке что-то пробормотал и вышел.

Покинув Ватикан, он рассеянно пошел туда, куда шли другие, по правому берегу Тибра, в направлении к Авентину. Уже вторую неделю в Риме стояла нестерпимая жара,— такая, что непривычные люди, случалось, падали замертво, а привычные — с полудня до вечера сидели полуголые дома, часто обливаясь тепловатой, почти не освежавшей водой. В этот день подул, поднимая столбы пыли, сухой, горячий ветер, редкий в Риме поздний сирокко.

Странный человек перешел через реку у острова. На Козьей Горе[1], изнемогая, он присел на огромный, пролежавший века без движения камень и уставился на средину площади. Не так давно, по совету Микеланджело, на эту площадь перенесли древнюю конную статую, которая изображала не то Константина Великого, не то Марка Аврелия. Человек в темно-синей куртке подумал, что, быть может, где-нибудь тут же будет стоять и его памятник. Он взглянул на свои худые, слабые руки, сравнил себя мысленно с бронзовым атлетом на лошади — и горько усмехнулся. А впрочем, верно, и Марк Аврелий не был похож на свой памятник. Так он просидел минут пять, глядя на корову, пасшуюся посредине площади. И вдруг он снова услышал голос. Бледное измученное лицо его стало еще бледнее.

Свиньи хрюкали на форуме. Проходили люди, спешившие на игры. Человек в темно-синей куртке пошел за ними. По дороге он вспомнил, что ничего не ел с утра. Есть ему не хотелось, но силы были нужны. Он вошел в трактир. Там было жарко, душно, пахло дымом и дешевой плохой едой: хозяйка приготовила к обеду бараний суп, с чесноком и капустой. Запах этот был ему противен. Он присел к краю стола и спросил молока и хлеба. Хозяйка посмотрела на него неласково, как и соседи по столу. Обед кончался, вина было выпито немало, разговор был общий и веселый; в этом бедном маленьком трактире все друг друга знали. Говорили об играх; мельник сказал, что их цех пожертвовал таких быков, каких никто не видел с сотворения Рима; за пустое хвастовство женщина плеснула в мельника остатками супа, он швырнул в нее коркой, все захохотали. В комнату неторопливо зашел мул,— опять раздался хохот. Человек в темно-синей куртке ел хлеб, ни с кем не разговаривая, глядя все в одну точку: туда, где упиралось в стену второе из закопченных крашеных бревен потолка с повисшей на нем паутиной. Допив молоко, он расплатился и направился к выходу, но увидев полку с разноцветными бутылками, точно только теперь догадавшись, что в трактире могут быть спиртные напитки, спросил рюмку водки и проглотил ее залпом.

С непривычки быстро захмелев, он пошел за толпою. Так же рассеянно, без всякого интереса, смотрел, как на

[1] Так тогда именовался превращенный в пастбище Капитолий. *(Автор.)*

вершине Тестаччо выстраивались обитые красным сукном телеги, как, при общем радостном хохоте, погонщики привязывали визжащих поросят и впрягали озирающихся быков, как занимали назначенные им места игроки,— некоторые из них бледнели, обнажая мечи. Раздался сигнал. Ошалевшие от жары, от ветра, от шума, от ударов, от уколов быки понеслись с горы, побежали и столь же ошалевшие участники игры. Когда один из них, задыхаясь, проскользнул перед самой мордой разъяренного быка, взмахнул мечом и страшным ударом отрубил поросенку голову, в общем реве, гоготе, визге потонул и отчаянный крик человека в темно-синей куртке. Пошатываясь, дрожа мелкой дрожью, он пошел прочь. Он и не видел, что внизу один из игроков, столкнувшись с другим, упал под ноги быка, и что к месту, по которому пронеслись телеги, бросились люди с носилками. С искаженным лицом он шел по направлению к термам Каракаллы. Ему хотелось выпить еще водки, но трактира по дороге не было.

Голос, мучивший его по ночам, теперь преследовал его и днем. В этот день голос с самой минуты его пробуждения, изредка лишь замолкая, твердил ему все одно и то же, твердил, что он избранный человек, что он должен совершить убийство, что он должен заколоть отравленным кинжалом папу Пия IV.

Впоследствии стало известно, что его зовут Бенедетто Аккольти и что он сын давно сосланного, преступного кардинала. Знавшие его люди, как водится в таких случаях, рассказывали, что всегда считали его человеком, способным на самые ужасные дела. Но другие, знавшие его люди, тоже как водится (только шепотом), утверждали, что Бенедетто Аккольти не способен был бы обидеть муху. Некоторые вспоминали, что в глазах у него часто зажигались безумные огоньки; прежде, однако, они об этих безумных огоньках не говорили. Что он был за человек, так и осталось тайной.

2

Известный художник и писатель Джорджио Вазари, побывав в Ассизи для изучения фресок Сан-Франческо, решил перед возвращением во Флоренцию заехать в Рим, хоть было это никак не по дороге. Вазари придумал для

себя дела, но главная цель его поездки заключалась, собственно, в том, чтобы еще раз побывать в Риме, подышать римским воздухом, полюбоваться римскими сокровищами и повидать разных художников, ваятелей, архитекторов: он готовил второе, переработанное, издание своей книги о людях искусства, которая принесла ему, пожалуй, больше славы, чем его картины. Образованные итальянцы читали его книгу с интересом и с гордостью: почти никто из них и не знал, что в Италии есть столь великие и изумительные люди. Остались, в общем, довольны книгой и художники, но каждый из них находил, что Вазари перехвалил других.

В этом была единственная неприятная сторона его поездки: он знал, что в Риме ему опять придется выслушать немало упреков, жалоб и даже брани. Думал он об этом с покорной скукой: иначе и быть не может. По долгому опыту ему было известно, что бесполезно говорить с художниками о других художниках,— а уж если говорить, то надо это делать умеючи. Вазари не очень любил людей, хотя прекрасно с ними уживался. Художников он предпочитал другим людям,— тем, у которых никогда не будет биографов, и которые никак не могли бы отличить Рафаэля от Джорджоне. Однако, всех художников, за редкими исключениями, он считал людьми ненормальными, а многих и буйно-помешанными. Так как никакой власти они друг над другом не имели и даже встречались редко, давно между собой рассорившись или просто будучи очень противны один другому, то особой опасности собой не представляли, в отличие от многих других сумасшедших. Тициан с яростью говорил Вазари, что Веронез и Тинторетто не имеют представления о красках; Микеланджело, в одну из своих редких кротких минут, объяснял ему, что из Тициана мог бы выйти превосходный живописец, если б только он умел рисовать. Вазари вежливо слушал, мягко соглашался или чуть спорил для приличия и с Тицианом, и с Микеланджело.

Когда художники очень ему надоедали, Вазари порою хотелось сообщить всю правду о том, что они говорили ему друг о друге. Это способствовало бы продаже его книги, но ему совестно было печатать такой вздор; скандалов он не любил и суждения художников передавал в очень смягченном и даже приукрашенном виде. Приукрашивал он и те общие мысли, которые слышал от великих мастеров. Иногда Вазари с огорчением, но и с усмешкой, думал, что от громадного большинства людей искусства во-

обще за всю свою жизнь ни одного умного слова не слышал; как он ни украшал их суждения, выходило все-таки неинтересно. Он, впрочем, говорил себе, что настоящее они берегут для себя и выражают — и то лишь неполно — в своих произведениях. Вдобавок, знал он не всех и думал, что, верно, Леонардо да Винчи был другой.

Те же люди искусства, которых он знал, говорили с ним больше о делах житейских. Одни горько жаловались, что их все обижают и что живут они в совершенной нищете; другие постоянно рассказывали, как они знамениты и как их боготворят бесчисленные поклонники. Вазари все выслушивал и многое записывал, хоть отлично знал, что его собеседники все врут или, по крайней мере, привирают: одни не умирают от голода, другие не получают по пяти тысячи дукатов за картину. Слушал он и жен художников, которые были еще ревнивее к славе мужей, чем сами мужья,— с женатыми художниками было совсем трудно. Но к трудностям своего ремесла он давно привык; отведя необходимое время вздору, жалобам, упрекам, брани, похвальбе, переходил к делу и небрежно спрашивал, нет ли чего интересного в мастерской. Обычно оказывалось, что настоящего, собственно, ничего сейчас нет, но есть так, пустячки. Показывая эти пустячки, снимая покрывало с картины, мастер часто менялся в лице и с беспокойством на него глядел: всем было известно, какой он знаток. Это льстило Вазари: он знал, что суждению тонких ценителей из общества художники никакого значения не придают и, если, слушая, не хохочут, то лишь из вежливости или из боязни. Благодаря своему опыту, терпению и порядочности, Вазари поддерживал очень добрые отношения с громадным большинством знаменитых мастеров и только с одним из них навсегда рассорился: этот дурак нагло ему сказал, что он, Вазари, пишет под влиянием Андреа дель Сарто, и что его «Тайная Вечеря» в монастыре Мурате много хуже той, которую покойный Леонардо написал в трапезной Санта Мария делле Грацие.

3

Дорога утомила Вазари, хоть путешествовал он не торопясь: дела были не спешные. Он с грустью думал, что прежде, в молодости, совершал гораздо более дальние поездки, притом не на муле, а на горячем жеребце, и усталости не чувствовал, или усталость тогда бывала другая.

В ту пору путешествия, пожалуй, были главной радостью жизни: так любил он все новое, новые города, новые сельские виды, новые сокровища искусства, которые были лучше всяких картин природы. Он постоянно переезжал из города в город, нигде не засиживаясь, не привязываясь к отдельным местам, не требуя никаких удобств. Путешествия были, пожалуй, радостью еще и теперь, но со второго, с третьего дня приходили мысли о мягкой постели, о радостях оседлой жизни. Эти мысли его пугали, хоть было в них и чувство спокойной безнадежности, порою почти приятное.

К некоторому своему удивлению, он о женщинах теперь думал много больше, чем в юности. Тогда все было просто, мимолетно, как будто весело,— так, по крайней мере, ему казалось. А может быть, он тогда совершенно ошибался: это весело не было. Иногда всю ночь напролет он думал об этом,— о том, как нелепо и страшно устроен человек. Когда ему встречалась влюбленная пара, он смотрел на нее не с веселым сочувствием, как в молодости, а с чувствами мрачными — и чуть не с облегчением думал, что и для них придет — очень скоро — время увядания, старости и смерти. В чувствах и мыслях этих ничего не было, он знал, ни умного, ни нового, ни хорошего. Но отделаться от них Вазари не мог. С приятелями и сверстниками он беседовал о любви неохотно, так как они говорили о ней неискренно: одни прикидывались жизнерадостными победителями и развратниками; другие — давно остепенившимися людьми, и все говорили весело о том, о чем ему думать было тоскливо и страшно. Вазари думал, что в его жизни снова должна быть и будет большая, настоящая любовь,— последняя, а то, может быть, и предпоследняя. Он думал также, с усмешкой, что Тициан, которому исполнилось 86 лет и который всех уверял, что ему скоро 80, еще бегает за дамами,— правда, дамы и гонят его, со всей его гениальностью и славой. Однако, 52 года совсем не то, что 86.

В Ассизи Вазари был слишком занят фресками. Но в дороге мысли эти им овладевали при виде любой молодой женщины — ни с одной ведь больше никогда встретиться не придется, и так она и не узнает ни о нем, ни об его мыслях.

Когда он находился в нескольких переходах от Рима, вдруг началась нестерпимая жара. Он останавливался у каждой избы и жадно пил, что давали: молоко было теплое, желтовато-розовое Дженцано невкусно,— во Фло-

ренции у него был запас превосходного французского вина из Арбуа. На переходах от колодца к колодцу Вазари очень страдал от палящего зноя: если бы знал, что будет так жарко, то отказался бы от поездки в Рим.

У одного из последних колодцев перед Римом он неожиданно встретил флорентийского знакомого, Леонардо Буонаротти, племянника Микеланджело. Это был приятный, но простой, малообразованный человек, интересовавшийся искусством только по семейной необходимости — из-за дяди. Вазари был рад встрече, он соскучился по человеческому разговору: в последние дни говорил только о питье, о ночлеге, о том, шалят ли поблизости разбойники. Ему, однако, показалось, что Буонаротти не очень обрадовался. На вопрос о здоровье Микеланджело, уклончиво ответил, что дядя, кажется, здоров, но писем от него давно не было: уже ничего не видит, и писать ему трудно. Тут же, немного поколебавшись, он сконфуженно попросил Вазари ничего не рассказывать об их встрече: «Дядя не должен знать, что я в Риме». Вазари понял, что Буонаротти приехал на разведку: он был наследником Микеланджело. С улыбкой, сделав вид, что считает просьбу вполне естественной, Вазари перевел разговор на другой предмет. Но настроение у него стало еще хуже, и опять он, в тысячный раз, вспомнил свое правило: ничего не ждать от людей и заниматься только тем, что создают и после себя оставляют некоторые, наиболее нелепые и несчастливые из них.

Вазари всегда останавливался в Риме на одном и том же постоялом дворе, где его знали и делали ему скидку как знаменитому человеку. Но на этот раз, сам как будто не зная почему, он выбрал другой постоялый двор, между Квириналом и Тибром. Ему отвели комнату в верхнем этаже. Поднимаясь по крутой лестнице, он вдруг с ужасом почувствовал сердцебиение — этого прежде с ним никогда не было; очевидно, так подействовала на него жара послеполуденных часов. Не раздеваясь, он повалился на диван. Слуга предложил поесть, Вазари не мог и думать о еде; потребовал кувшин воды и выпил залпом три стакана. К большой его радости, на постоялом дворе можно было принять ванну; он велел ее приготовить с мускусом, с мятой, с кедровыми листьями. В ванне отдохнул и успо-

коился: сердцебиение было от жары, и от этого адского ветра.

Шел шестой час вечера. Как бывает с людьми, приехавшими в город, где у них много знакомых и мало дела, Вазари испытывал не совсем приятное недоумение: как будто на все и времени не хватит, а сейчас делать нечего; повидать следовало очень много людей, но никого не нужно было видеть в особенности; все, вероятно, были бы рады встрече, но никто не был бы ему рад чрезвычайно; и к каждому из знакомых лучше было для начала прийти днем, а то вечером, без предупреждения, можно и помешать. Прежде всего, конечно, надо было бы зайти к Буонаротти, но мысль об этом посещении не очень улыбалась Вазари, хоть оно могло дать несколько интересных страниц для второго издания книги: Микеланджело в 90 лет.

Чувства к этому человеку были у него двойственные. Он считал Буонаротти величайшим живописцем, скульптором, архитектором, когда-либо существовавшим на земле, и в письмах своих отзывался о старике в самых восторженных, нежных выражениях. При встречах они обнимались и даже плакали «per dolcezza» [1] (старик был слаб на слезы, хоть едва ли кого-либо любил). Дружба была старая, прочная, однако Вазари никогда не мог до конца преодолеть в себе ужас перед неестественным или сверхъестественным существом Микеланджело. В последний свой приезд в Рим он побывал у старика поздно вечером. Страдая бессонницей, Буонаротти работал и по ночам; в халате, в странной высокой шапке, к которой была прикреплена свеча из козьего жира, стоя на табурете с молотком и резцом в руках, дряхлый старик яростно правил статую,— у него она вызывала злобу и бешенство, а Вазари показалась верхом совершенства. При слабом, дрожащем свете свечи, в мастерской с пляшущими тенями, Микеланджело был похож на дьявола. Срывающимся старческим голосом, он проклинал всех и все,— и свое искусство, и жизнь, и мир, в котором он так засиделся. Воплем и проклятьем были и чудесные его стихи.

Вазари надел надушенное белье, выбрал самый легкий шелковый костюм, с досадой увидев, что в сундуке навер-

---

[1] Здесь: от умиления *(итал.)*.

ху лежал тяжелый бархатный, отороченный мехом кафтан, взятый на всякий случай: вечера бывают холодные. Одевался он как подобало человеку его лет: без тщательности,— но опытному глазу было видно, что этот небрежно одетый человек привык и умеет одеваться отлично. Он очень легко поужинал, поговорил с хозяином,— тот, очевидно, никогда не слышал и его имени,— да, слава условна; в сущности, условно и доброе имя.

Он вышел с хозяином за ворота. Хозяин, точно чувствуя себя виноватым, говорил, что такого отвратительного сухого ветра в Риме летом никогда не бывает, это поздний сирокко, проносящийся чрезвычайно редко, быть может, раз в человеческую жизнь.

Жара все-таки немного спала. Давно знакомое, ни с чем не сравнимое очарование Рима охватило Вазари. Здесь с особой ясностью чувствовалось, что все условно, что надо пользоваться жизнью, что и в большом, и в малом надо жить по-своему, не оглядываясь ни на кого и всего менее на добродетельных семейных граждан. Вазари небрежным, чуть вызывающим тоном задал хозяину несколько вопросов. Хозяин нисколько не удивился,— привык давать гостям всевозможные указания — и, почти не понизив голоса, посоветовал сходить к одной очень славненькой генуэзке, недавно приехавшей в Рим и жившей совсем близко, у реки — объяснил, как пройти, но предупредил, что эта женщина стрега[1]. — «Ну, они все колдуньи»,— сказал Вазари. Хотя мнение хозяина нисколько его не интересовало, ему все же было приятно, что, несмотря на его возраст, тот, видимо, не нашел ничего удивительного в его желании.— «Да, но некоторые не любят»,— ответил хозяин. Вазари снова поднялся к себе в комнату. Сердцебиения не было. Он расчесал гребнем из слоновой кости длинную, с густой проседью, бороду,— недоброжелатели говорили, что Вазари и бороду носит под Леонардо,— спрятал в сундук деньги, захватил кинжал и вышел в хорошем настроении духа.

Невысокая, совсем молоденькая, еще с девичьей угловатостью, женщина, с красивыми чертами без нужды подрумяненного, умного личика, с большими, раз навсегда изумленными глазами, с выкрашенными в черный цвет, по-генуэзски, зубами, очень ему понравилась. Она действительно оказалась стрегой и скоро ему в этом созналась, добавив, что ее сестра — сибилла, а тетка — фата моргана.

[1] Колдунья (*итал.* strega).

Вазари, хорошо знавший женщин веселого поведения, нисколько не возражал, не делал вида, будто поражен или принимает сообщение в шутку, и равнодушно поддакивал: фата моргана, так фата моргана. Стрега торговала разными полезными снадобьями; в красивом бронзовом ящичке у нее оказались берцовая кость, кусок человечьей кожи, подошва, срезанная с сапога покойника, детский пупок и несколько волшебных мазей разного назначенья. Никакого снадобья Вазари не купил, но ящичек зарисовал в записной книжке. Узнав, что он живописец, стрега обрадовалась и попросила написать ее: ей давно хочется, так хочется, иметь свой портрет, хороший, настоящий. Вазари засмеялся. В этой милой молоденькой женщине, неизвестно почему занимавшейся таким ремеслом, было то самое, что когда-то было в нем, а может и еще сохранилось: страстная любовь к жизни, желание взять от нее все что можно. Он с улыбкой подумал, что, верно, она и свое ремесло стреги знает превосходно и что она своими руками готова была бы задушить других стрег. «При вечернем свете нельзя, я приду завтра»,— сказал он весело.

В маленькой комнате было жарко и душно, пахло мускусом и снадобьями,— стрега красила черные волосы в соломенный цвет смесью из апельсинной корки, виноградного сока, пепла и чего-то еще. Она принесла белого вина,— Вазари присмотрелся к нему подозрительно, но вино было обыкновенное, без детских пупков, и недурное, только теплое. Он был очень доволен этим первым вечером в Риме. Под утро стрега заплетающимся языком объясняла ему, что недавно летала на крыльях в Париж и очень боится, как бы ее не сожгли. Вазари, засыпая, лениво и невнятно спрашивал ее, хорошо ли она слетала, и свежо ли было в воздухе, на большой высоте.

Утром стрега накормила его яичницей и fritto misto [1]. Он сказал ей, что давно так вкусно не завтракал. Стрега посмотрела на него, широко раскрыв изумленные глаза,— точно он говорил необыкновенные, волшебные слова. От платы она отказалась, сказав совершенно искренно, что любит его,— и взяла только за вино и завтрак; но за вино и завтрак посчитала столько, что в обиде не осталась. Это тоже позабавило Вазари; он незаметно сунул в ящичек дукат. На прощанье она заставила его обещать, что

[1] Блюдо из жареного лося (*итал.*).

завтра он к ней вернется, и срезала прядь его волос, на память. Вазари знал, что она прокипятит волосы в масле и будет продавать как любовное снадобье. Но он ничего против этого не имел: всем надо жить, надо жить и стреге.

Сирокко еще усилился за ночь. Вазари быстро шел по узкой улице, зажмурив глаза и сжав губы. Он думал, что эта женщина необыкновенно мила и что он чуть только не влюбился в стрегу. Ему было и смешно, и совестно: вот что такое оказалось жить по-своему! Конечно, было бы гораздо лучше сделать визит Микеланджело или осмотреть свои давние работы. Но ни Микеланджело, ни фрески не уйдут. Опять ему пришли в голову мысли, что в любви и в творчестве есть общее.

Хозяин постоялого двора с одобрительной улыбкой встретил его у ворот. Вазари смущенно улыбнулся и снова заказал прохладную ванну. Солнце палило, дышать при этом ветре было трудно и больно.

4

В канцелярии папы Вазари пришлось ждать довольно долго. Из кабинета заведующего доносились голоса; посетителей, очевидно, можно было принимать только по очереди; тем не менее Вазари чувствовал раздражение: во Флоренции положение его в последние годы стало значительным, он привык к почету со стороны сановников и самого герцога. В приемной было очень душно; окна были затворены из-за сирокко.

Заведующего ждали четыре человека. В трех из них легко было узнать художников; они желали получить пропуск в капеллу папы Сикста для копированья фресок. Никто из них Вазари не узнал. Этому тоже удивляться не приходилось,— откуда им было знать его по наружности? Но он угрюмо думал, что, если б сторож сейчас громко назвал его фамилию, то не последовало бы восторженного шепота: «Вазари, Вазари!!». Молодые художники становились все невежественнее.

Вскользь, по профессиональной привычке к наблюдению, он обратил внимание на четвертого посетителя, немолодого, некрасивого человека в темно-синей куртке. Этот был не художник. Лицо у него было странное, из-

можденное и злобное; оно чем-то напомнило Вазари лицо Микеланджело. Человек в темно-синей куртке не сидел на месте, как другие, а все пересаживался со стула на стул или быстрыми маленькими шагами прохаживался вдоль стены. Художники поглядывали на него с насмешливым недоумением. Его первым позвали к заведующему; через минуту он вышел из кабинета с пропуском в руке,— так и не спрятал пропуска в карман,— еще раз прошелся по приемной, точно не мог сообразить, что теперь нужно делать и где выходная дверь, затем, ни на кого не взглянув, поспешно удалился.

Позвали, наконец, в кабинет и Вазари. Он сухо объяснил старому благодушному монаху, что дела, собственно, не имеет, но находясь проездом в Риме, счел долгом явиться в Ватикан и был бы весьма признателен, если бы при случае о нем доложили святому отцу; быть может, папа пожелает объявить ему свою волю относительно времени возобновления работы над фресками Scala Regia начатой им три года тому назад?

Заведующий канцелярией был очень любезен. Сказал, что слышал о нем, Вазари, самое доброе,— книг же его не читал и картин не видел или не помнит: «это ведь дело не наше»,— пояснил он с такой простодушной улыбкой, что обидеться было никак нельзя. Он посоветовал Вазари явиться на ближайший выход папы: святой отец, наверное, побеседует с ним отдельно, а может быть, его пригласят и к столу,— папа Пий очень прост, с церемониалом мало считается, не то, что покойный папа Павел,— и нередко приглашает к своему столу писателей, ученых, художников. Вазари поклонился. Являться на выход в надежде, что позовут к столу, было совестно,— а вдруг не позовут? Ему, впрочем, случалось обедать за столом папы. Стол в Ватикане был превосходный, подавались и трюфли, и феррарская стерлядь, и павлины со спаржей, и необыкновенные вина,— но те светские люди, которые любили поесть, принимали приглашение к папскому столу не слишком охотно: по церемониалу, каждый раз, как папа подносил кубок к губам, все гости должны были вставать; а если папа отказывался от какого-либо блюда, то его не давали и гостям. Вазари, однако, чувствовал, что, несмотря на эти неудобства, от приглашения папы не откажется.

Получив постоянный пропуск, он вышел из канцелярии. Ветер — все тот же, жгучий, мучительный,— дул еще сильнее, чем раньше. «Как они тут в Риме от этого про-

клятого сирокко не сходят все с ума?»,— хмуро подумал Вазари. Вдруг на дворе произошла суматоха. Конюхи быстро провели великолепного мантуйского жеребца. Стража вытянулась, люди упали на колени. Вазари издали увидел, что по лестнице спустился папа Пий IV. Он кивнул головой сопровождавшим его людям, очень легко, несмотря на свой возраст вскочил на коня, расправил поводья и ускакал по направлению к Ватиканским садам. За ним, в некотором отдалении, поскакали тайные полицейские агенты,— папа ездил каждый день верхом по Риму и не выносил сопровождения стражи. Упавшие на колени люди вставали и обменивались восторженными замечаниями: римляне очень любили доброго, милостивого папу и ласково его называли «Медичино»: он был из простых миланских Медичи, не имевших общего с знаменитой флорентийской семьей. Нравилось римлянам и то, что в свои годы он ездил верхом, да еще так прекрасно: этого не видели со времен Льва X. У лестницы Вазари, с неприятным чувством, увидел того же человека в темно-синей куртке,— как и все, он глядел вслед папе. «Какое страшное лицо!»,— подумал тревожно Вазари.

Он вошел в вестибюль. Осмотр фресок не доставил ему никакого удовольствия. С тягостным недоумением глядел Вазари на свою работу: неужели это написал он? В сущности, и сделано было не очень много, работы оставалось на годы. Не понравился ему теперь и замысел,— а ведь тогда казалось чудесно. Долго осматривал он фрески и становился все мрачнее. Кое-что было, правда, недурно, но и это требовало переделки: лучше бы все начать сначала. «Да, если бы еще прожить лет сто, можно было бы оставить и настоящее...» В вестибюле, на лестнице никого не было: никто его живописью, очевидно, не интересовался.

В капелле папы Сикста, напротив, работало человек десять художников; почти все они копировали Микеланджело. Посетителей не было,— только впереди кто-то стоял перед стеною. Художники оторвались от работы и бегло взглянули на вошедшего человека; шепота «Вазари, Вазари!» опять не последовало. Вазари оглядел потолок, столь давно ему знакомый: он знал тут не только каждую группу, но каждое красочное пятно, знал — когда-то изучал с восторженным изумлением — чудеса этих фресок. Все это было, конечно, чудом искусства, чудом знания, чудом изобретательности: техническим откровением был каждый ракурс. Но ему теперь не хотелось восторгаться Микеланджело.

Рядом с ним какой-то юноша уже почти закончил «Иеремию». Вазари с отвращением смотрел и на него, и на его работу: этот молодой человек был явно бездарен, и ему лучше всего было бы немедленно бросить живопись и заняться торговлей или скотоводством. Другие казались как будто способнее, но и их следовало бы отсюда выгнать. Вазари думал, что престарелый Микеланджело давно стал душителем искусства: он их раздавил своим гением, авторитетом и славой, все они хотели бы писать под него, и выходит дрянь, так как писать под него невозможно. Микеланджело иногда горько жаловался, что не оставляет после себя школы. Но Вазари, знавший его наизусть, отлично понимал, что старик и не хочет никого учить,— никому никогда, за самыми редкими исключениями, своих секретов не раскрывает, именно для того, чтобы не делать художников. И, в сущности, он прав: если наказывают плетьми за обыкновенное воровство, то надо было бы наказывать плетьми и за воровство в искусстве. Однако, тут же Вазари угрюмо подумал, что сам он учился у Андреа дель Сарто, у многих других, и всего больше на этих же фресках,— да учился же в молодости и Микеланджело! Мысли его о молодых художниках были несправедливы,— но он не подрядился всегда и во всем быть справедливым.

Вазари приблизился к стене «Страшного Суда». Он знал, конечно, и это старческое произведение Буонаротти, но оттого ли, что с этими фресками он познакомился не в молодом возрасте, а гораздо позднее, «Страшный Суд» запечатлелся в его памяти горазде хуже, чем фрески потолка. Он оглядел все, затем отдельные группы, фигуры, подробности фигур, затем снова все.

Вазари не помнил, кто тут кого изображал. Смутно ему вспоминалось, что изверг внизу, замахнувшийся веслом на толпу, был, кажется, Харон, а человек, непристойно охваченный змеей, Минос,— а может быть, и не Минос: кто их разберет, да и как они-то сюда попали? На фресках были тела, все голые, страшные, неестественно-атлетические тела,— сколько их? двести? триста? — а то кости без мяса, кости, чуть обросшие мясом, скелеты, уже похожие на людей, люди, еще похожие на скелеты. Тут были изображены все виды страданий и мучений, несчастны, неприятны были и те, кого оправдал суд. Вазари спросил себя, что все это может означать. Он знал, как пишут художники, и понимал, что философского смысла в картинах искать и не следует. Это, однако, был Ми-

келанджело, к нему требования другие. Вазари порою сомневался, верит ли старик хоть во что-нибудь, и скорее склонялся к тому, что не верит ни во что: уж очень он мрачен и уж очень всех ненавидит. «Но с чертями у него счет запутанный. Вот и здесь черти торжествуют так весело. В это, в торжество чертей в мире, он верит. И так естественно идут у него люди в ад: туда им всем и дорога. Чем же мы виноваты, что ему смертельно опротивел мир? А может быть, ему просто надо было изобразить по-новому сотни тел, так, как их до него никто не изображал, и так, чтобы ни одна поза не повторяла другую? Лучше бы тогда изображал что-либо другое, только сбивает с толку людей,— с раздражением думал Вазари, вспоминая, что и папа был недоволен фресками Микеланджело и если не велел их замазать, то лишь из уважения к гениальному человеку.— У этого полубезумного старика душа преступника, и место его фрескам на стене ада или дома умалишенных...»

Вдруг взор Вазари упал на человека, который стоял наискось от него, впившись глазами в стену. Это был тот самый человек в темно-синей куртке, с мрачным, преступным лицом, попадавшийся ему сегодня в третий раз. И из-за мыслей, только что у него проскользнувших, сходство этого человека с Микеланджело теперь поразило Вазари.

В самом мрачном настроении он вышел из зала и быстро спустился по лестнице, стараясь не глядеть на свои фрески: все-таки после фресок Микеланджело ему на свои смотреть стало еще тяжелее. Он внезапно почувствовал усталость и сел на скамью в вестибюле. Кругом стояли статуи, много статуй, все прекрасные статуи. Статуи стояли и за стеной, за окнами; там на бельведерском дворе стоял и нашумевший древний торс, найденный при раскопках у театра Помпея. Вазари и собирался все это осмотреть, освежить в памяти торс, статуи, казино. Но теперь ему никуда идти не хотелось: он чувствовал отвращение от искусства, от скрытого в нем тревожного, мучительного начала. Он думал, что только неискренние люди могут долгими часами подряд любоваться всеми этими утомительно-белыми фигурами, вот хотя бы этой мраморной красавицей... Вдруг на мраморной красавице появи-

лись изумленные глаза, плечи ее стали угловаты, и она пошла к очагу быстрой, энергичной походкой, как-то странно, на бок, размахивая на ходу руками. «Старый дурак, ошалел от этой стреги! — озадаченно сказал себе Вазари. Но лицо его просветлело. Он встал и направился к выходу.— Уж не это ли настоящее? Поздно же догадался»,— с насмешкой над собою думал он. Сбоку, со стороны сада, рванул и обжег его сирокко.

5

Стрега не без волнения поднялась по лестнице и постучала в дверь к жившему над ней соседу. Он поселился тут совсем недавно, вскоре после нее, и очень ее интересовал: по ночам долго ходил по комнате, разговаривал, кажется, сам с собою, а иногда громко вскрикивал,— потолок был тонкий, окна отворены, и слышно было почти все, что делалось у соседа. Шум не мешал ей, спала она отлично, но ее очень занимало: что за человек? По некоторым признакам ей казалось, что он колдун. Стрега знала, что есть колдуны настоящие,— не такие, как она. Вдруг этот настоящий? Впрочем, по другим признакам как будто выходило иначе: нет, не колдун.

Изнутри кто-то на цыпочках подкрался к двери,— это не понравилось стреге. Через полминуты хриплый голос негромко спросил: «Кто стучит?» Дверь отворил человек в темно-синей куртке: он... Из квартиры пахнуло острым, неприятным запахом трав или лекарств.— «Так и есть, колдун!»,— подумала стрега, замирая, и пожалела, что пришла. Запинаясь, объяснила: он, верно, ее знает, она его соседка по дому, у нее в кухне погас очаг, а трута, как на беду, нет, нельзя ли получить огня? На всякий случай улыбнулась деловой улыбкой. В первую минуту ей показалось, что напрасно она старается: тут делать нечего. Человек в темно-синей куртке оглядел ее тяжелым взглядом, подумал, заглянул в свою комнату и вполголоса попросил соседку войти.

Оттого ли, что голос у него был тихий, лицо с отсутствием и следов улыбки, а глаза неподвижные, или от сильного запаха в комнате, ей стало не по себе. Комната была такая же, как у нее (это почему-то немного ее успокоило), но обставлена иначе,— потом она смутно вспомнила, что там были книги, что-то стеклянное, непонятная посуда. На столе стоял котел,— отсюда, верно, и шел запах. Но стоял он не на огне,— значит, не суп и не лекар-

ства: она свои снадобья всегда варила, больше по привычке к кухне. «Очень трудно мужчине, если кто одинокий»,— сказала она, чтобы не молчать, привычную фразу. И вдруг ей показалось, что первое впечатление, редко ее обманывавшее в таких делах, могло быть неверным. Ничего не ответив, не сводя с нее своих маленьких, стеклянных глаз, он зажег и подал ей щепку. Ей без причины стало совсем жутко. Она что-то пробормотала, не докончила и поспешно вышла, точно опасаясь нападения.

На лестнице стрега, немного успокоившись, с досадой бросила и растоптала щепку: огонь у нее был. «Неприятный человек! Тяжелый человек! — подумала она.— Какие разные бывают мужчины: сравнить только со вчерашним живописцем! Тот такой милый, какая жалость, что старик...» Она спустилась по лестнице с беспокойным чувством,— неприятно все-таки иметь такого соседа,— и радостно вскрикнула: на пороге входной двери появился вчерашний живописец.

Аккольти задвинул засов и со вздохом вернулся к работе. Снял крышку с котла,— неприятный запах очень усилился. В котле готовился вежетабль: отравленные мышьяком, мелко истолченные жабы в немецком соленом вине настаивались на ядовитых травах. Это было действительнее, чем сулема, фосфор или яд Цезаря Борджиа. Из вежетабля изготовлялась мазь, которой смазывалось оружие.

Снизу послышались радостные голоса. Он прислушался. У этой блудницы был гость,— один из тех людей, что там изображены, на стене, в правом нижнем углу. В ад ему и дорога! Ее жалко... Аккольти помешивал в котле палочку, прислушиваясь: не заговорит ли голос? Но голос как на беду молчал и больше не объяснял, почему надо убить папу. Все говорили, что папа очень добр. Но ведь это знал и голос, а он неизменно твердил: надо убить папу, надо претерпеть муку, очень скоро будет столпотворение[1], затем страшный суд — тот самый, что написан

[1] Посланник герцога Феррарского в Риме, Фр. Приорато, видевший Аккольти в тюрьме, на своеобразном итальянско-немецком языке доносил герцогу об этом Горгулове XVI-го века: «Inspirato dal demonio et da pazzia... Accolti verkündet so falsche Prophezeiungen, dieses Jahr werde alles drunter und drüber gehen, dass er pazzo scheint», («Под влиянием демона и своего безумия... Аккольти делает столь нелепые предсказания (в этом году все пойдет прахом), что он кажется сумасшедшим») — *Автор.*

там на стене,— и он, Аккольти, станет владыкой мира. Внизу целовались. Он вдруг пришел в волнение и даже вынул палочку из котла. Велика в мире власть женщины... Не лучше ли привлечь сообщников. Монфреди влюблен в графиню Каносса, можно привлечь всех трех... Если дело завтра не удастся, надо будет привлечь их. Это значит отложить надолго. Но, может быть, нужно еще пожить грешной жизнью: ведь голос молчит... Он зашагал по комнате, прислушиваясь к тому, что происходило внизу. Ему захотелось, чтобы завтрашнее дело оказалось неосуществимым.

6

— Бракеттоне! Бракеттоне! [1],— закричали молодые художники. Безобидного вида старичок вошел, с трудом волоча за собой лесенку. Его так встречали всегда, и он давно привык к своему прозвищу. Но на этот раз хор был особенно шумный и продолжительный: молодых художников собралось много и им было весело. По долгому опыту бракеттоне знал, что лучше всего делать вид, будто их крики очень ему приятны. Руки у него были заняты, да и голову наклонять было из-за лесенки неудобно, и он раскланивался только глазами и бровями. Хор продолжал петь, у молодых художников давно выработался и напев. Бракеттоне осторожно поставил лесенку у стены «Страшного Суда», попробовал, как бы не повалилась, затем снял, как все, куртку, вытер голову платком и неторопливо полез наверх. Ему было поручено начальством закрашивать неприличные места на фресках Микеланджело. Плата была не сдельная, а помесячная, и старичок не спешил. Он этой работой жил не первый год, как до него жили другие. Начальство смотрело на медленность работы сквозь пальцы: за такое дело возьмется не всякий.

Молодые люди орали; это было приятным, хоть и утомительным в жару, развлечением. Бракеттоне не обращал на них ни малейшего внимания. Вид его ясно говорил: «Охота ж вам, право! Разве я сам не понимаю? Но ведь есть и пить надо?..» Художникам скоро надоело орать, они занялись своим делом, разве изредка кто-либо пробасит или выкрикнет фальцетом: «Бракеттоне!..»

Юноша, закончивший «Иеремию», теперь работал над «Созданием человека». Старичок с лесенки сказал ему

[1] Переводится: «Панталонщик».— *Автор.*

комплимент: Адам очень подвинулся с прошлой недели, а левая рука у него и совсем хороша. Бракеттоне не пользовался авторитетом, над ним все потешались, однако юноша просветлел: левой рукой Адама он и в самом деле особенно гордился, хоть ему чрезвычайно нравилось и все остальное: ну, не как у Микеланджело, а все-таки очень, очень хорошо. Старичок дал ему полезный совет относительно красок; хоть претензий он давно не имел, но коечто знал в своем деле; к его указанию прислушались и художники постарше, а один даже что-то переспросил. Ободренный вниманием, бракеттоне стал рассказывать о прежних художниках. Он отлично помнил, как Буонаротти писал этот потолок, был знаком с Рафаэлем и даже присутствовал при легендарной ссоре Микеланджело с Леонардо да Винчи.— «Врешь, врешь»,— закричали художники, и в самом деле, как будто, это по годам не выходило: Леонардо умер почти полвека тому назад, и не перед самой же его смертью была ссора. Но бракеттоне божился, что собственными глазами видел,— как сейчас помнит, вот как стоял Леонардо,— «красавец был, ах, какой красавец!».— «Врешь, ну, конечно, врешь»,— твердили художники. Старичок не обиделся и продолжал рассказывать. Он вообще много видел собственными глазами. Побывал и во Франции, и в Германии; в Эйслебене на улице ему однажды показали нечестивого монаха Лютера, у которого на голове были рога, как у оленя. Его как раз вскоре после того свели в могилу евреи: он простудился, а они сейчас же сговорились с дьяволом и послали ледяной ветер,— разумеется, на этот раз очень хорошо сделали, но...— «Врешь, врешь!..» — заорали художники.

Вдруг дверь отворилась — так, как отворяется только перед высокопоставленными людьми. Поспешно вошел слуга и, повернувшись, помог войти дряхлому сгорбленному человеку. В зале произошло смятение. Бракеттоне застыл на лесенке. Молодые люди вскочили с табуретов. «Микеланджело!»,— прошептал кто-то. Юноша так и обомлел. Одни художники не видели этого человека никогда, другие не видели очень давно. Ему было почти девяносто лет, он редко выходил из дому и, по слухам, болел; говорили, что он может умереть каждую минуту.

Он был в самом деле очень дряхл и неестественно сгорблен,— трудно было даже понять, как собственно он ходит. При согнутой колесом спине, голова его была под-

нята, и это придавало ему звериный вид. Правой рукой он тяжело опирался на палку, левой нервно обдергивал редкую, довольно длинную, желтовато-седую бороду. Он остановился на пороге, не сразу сообразив, где находится,— видел теперь очень плохо; на солнце, через 10—15 минут, больше не видел почти ничего, и прогулка для него всегда была опасна, хоть его сопровождали слуги. При мягком свете залы зрение к нему вернулось; маленькие карие глаза вдруг зажглись. Он тяжело вздохнул, шагнул вперед и снова остановился, как бы не зная, что делать дальше.

Бракеттоне бесшумно, на цыпочках, спустился по лесенке, надел куртку, маленькими шажками приблизился к старику и произнес цветистое приветствие: для них, для скромных художников, великая честь и счастье увидеть своего короля, гордость мира, солнце Италии. Микеланджело молча на него уставился, не слыша или не понимая его слов. Художники продолжали стоять, раскрыв рты. Этот человек, создавший несколько искусств, споривший с Леонардо да Винчи, бывший знаменитостью почти семьдесят лет тому назад, собственно уже не мог и считаться человеком: он был сказкой, как Дант, Гомер или Фидий.

Слуга, наклонившись к его уху, громко сказал, что тут молодые художники хотят показать ему свои картины,— хорошие картины,— и, подмигнув, знаком велел художнику, стоявшему ближе других, подать что есть. Художник сорвался с места и схватил свою картину с подставкой. Это была копия одной из групп «Страшного Суда». Микеланджело как будто не понял, чего от него хотят, затем приблизил голову к картине. Он не сразу узнал, что это такое, и ужаснулся, что не сразу узнал. Еле слышным голосом он сказал несколько слов. Растерянный художник низко поклонился и потянулся было, чтобы поцеловать ему руку. Но Микеланджело, тяжело опираясь на палку, пошел дальше.

В этом помещении он провел много лет. Четыре года подряд, весь день и часть ночи, лежал наверху на досках, работая над фресками потолка. Затем уже почти стариком снова сюда вернулся для работы над «Страшным Судом».

Столько мук, столько горя, столько же радости и счастья — нет, радости и счастья гораздо меньше, неизмеримо меньше! — пережил он в этой на весь мир, на тысячелетия, прославленной им капелле. Теперь он едва видел то, что здесь создал, и знал, что видит это в последний раз в жизни...

Бракеттоне почтительно следовал за ним, стараясь отвлечь его от стены «Страшного Суда». Молодые художники пришли в себя и заговорили. Старик на них оглянулся: это все были молодые люди, учившиеся искусству,— их ждал тот же обман, их ждет то же, что ждет его, быть может, сегодня, самое большее через несколько месяцев. «Потолок этой капеллы лучше звездного неба, и когда смотришь хотя бы на «Создание Адама...» — журчал испуганно бракеттоне: Микеланджело упорно шел к стене. Взгляд его остановился на «Страшном Суде». Он подумал, что навсегда унесет с собою все то, что хотел сказать, все свои тяжелые, страшные мысли. «...Чувствуешь, что несешься в рай!»,— уже с трепетом прожурчал старичок. Микеланджело заметил его работу. Он знал,— но забыл,— что его фрески приводятся в порядок,— это когда-то вызывало у него припадки бешенства. Из его уст полилась ужасная брань, смешанная с проклятьями, которых и не слыхали никогда молодые художники: это были ругательства прошлого века.

Бракеттоне перестал журчать, на лице его изобразилось почтительное огорчение: он явно был тут ни при чем. Слуга неодобрительно качал головой: нехорошо старику так ругаться. Молодые художники молчали. Вид Микеланджело был страшен. Пошатываясь, он пошел к выходу. Бракеттоне тревожно на него глядел: что, если он сейчас умрет?

Аккольти в этот день с утра побывал в Ватикане. На этот раз больше по привычке, и то лишь на мгновенье, рассеянно остановился перед фресками Микеланджело. Вид у него был уверенный: «Да, знаю, все знаю!..» Он в этот день, рано утром, снова услышал голос: дело надо совершить сегодня. Пришел он для того, чтобы все в последний раз осмотреть и обдумать на месте. Времяпровож-

дение папы ему было теперь хорошо знакомо: утром прогулка верхом, затем месса, государственные дела в кабинете, обед, прогулка пешком в саду, аудиенции. Давно было принято решение, что заколоть папу надо во время послеобеденной прогулки, было выбрано и место. Пий IV гулял без охраны, лишь в сопровождении слуги, который нес за ним зонтик.

С виду Аккольти был совершенно спокоен, и разве только очень наблюдательный человек мог бы заметить в его поведении что-либо странное. По двору вели лошадей: да, в самом деле папа должен отправиться на прогулку верхом. Аккольти подумал было, не совершить ли дело сейчас. Нет, голос сказал: после обеда. И в самом деле тут папу всегда провожает много людей. А что все-таки, если попробовать сейчас? Скорее конец... Он задумался — и не сразу вспомнил, что ведь кинжала при нем нет,— сам удивился, как мог забыть об этом. Глядя вслед лошадям, он представил себе снова, в сотый раз, сцену четвертования. Страшно? Да, конечно, страшно, но голос знает, что нужно. Вдруг он увидел, что гнедую лошадь ведут не к лестнице, по которой папа выходил из своих покоев, а куда-то дальше, в сад. Это чрезвычайно его взволновало: в чем дело? Он поспешно подошел к разгуливавшему по двору гвардейцу и спросил, куда же это ведут лошадей святого отца,— спросил и сам ужаснулся неосторожности своего вопроса. Но гвардеец, очевидно, ничего странного в вопросе не нашел и ответил, что папа, из-за адской жары и сирокко, переехал вчера в свой летний домик, в казино.

Аккольти остановился пораженный. Однако, голос все знал и тут же твердо заявил, что перемена решительно ничего не значит: хотя папа ночует в другом здании, порядок его дня не изменился, и он, конечно, сегодня пойдет гулять так же, как во все другие дни, только из казино. Это было верно. Ну, что ж... Аккольти прошел к аллее, которая вела от казино к Бельведеру. Пускали всех свободно, никакой особой охраны не было. Да, голос прав, он всегда прав.

Выбрав новое место, Аккольти вернулся домой: еще оставалось немало дела. Мазь из вежетабля была готова, но надо было смазать кинжал. Поднимаясь к себе по лестнице, он вспомнил о женщине, которая к нему заходила, почему-то остановился у ее двери и прислушался. Лицо у него стало тяжелое. Не было слышно ничего: верно, нет дома. Аккольти вошел в свою квартиру, задвинул тща-

тельно засов и достал из ящика большой кинжал прекрасной восточной работы. Кинжал был в ножнах. Он долго думал, оставить ли ножны. Если оставить,— потеряешь несколько секунд, от которых все может зависеть. Если взять без ножен,— очень легко уколоться. Аккольти решил, что можно, вместо тонкой куртки, надеть кафтан, а под кафтан толстый кожаный камзол,— тогда не уколешься. Попробовал, переоделся, в самом деле выходило хорошо: под кафтаном кинжал совершенно незаметен, а выхватить его — одно мгновенье. Он смазал лезвие мазью так ловко и осторожно, точно всю жизнь этим занимался. Теперь любая рана смертельна.

Засунул кинжал концом длинной рукоятки за пояс камзола, лезвием вверх, попробовал — очень удобно,— походил по комнате, ожидая, не заговорит ли голос, и, ничего не услышав, лег на постель. Так он пролежал с полчаса. Вдруг он поднялся, трясясь всем телом. «Нет, не боюсь, не боюсь!..» — пробормотал он, озираясь по сторонам, и с невыразимым облегчением подумал, что можно выпить водки. В бутылке ничего не оставалось. В самом деле все выпито прошлой ночью. В лавку идти далеко, да лавки и закрыты в эти часы. Он подумал снова о своей соседке: у таких женщин всегда бывает вино. Спустился по лестнице и постучал, сначала тихо, потом вдруг громко и яростно.

За дверью послышался недовольный мужской голос, женский шепот. Стрега отворила дверь и попятилась. Он оглядел ее тяжелым взглядом, шагнул вперед, она взвизгнула и бросилась в комнату. На пороге появился полуодетый мужчина. На его лице изобразилось изумление.— «Что вам нужно?» — резко спросил он. Глядя на него с ненавистью, Аккольти объяснил свою просьбу и тут только сообразил, что под расстегнутым кафтаном у него за поясом кинжал, лезвием вверх. Он очень смутился, что-то пробормотал и запахнул кафтан. Вазари продолжал с изумлением на него глядеть. Стрега, стоявшая на пороге комнаты, засуетилась: «Водка? Ну да, разумеется, есть водка, отличная, сейчас, сейчас...» — и потащив за рукав рубашки Вазари, скрылась за дверью. Аккольти слышал, как мужчина спросил вполголоса: «Кто этот сумасшедший?..» Женщина зашикала и вынесла незакупоренную глиняную бутылочку.— «Отличная, старая водка...» Он поблагодарил с изысканной учтивостью и предложил заплатить.— «Что вы, что вы, какая плата между соседями!» — говорила, вздрагивая, стрега. Мужчина сто-

ял на пороге и, кажется, у него теперь что-то было в руке. Аккольти поблагодарил еще изысканнее и вышел. Дверь захлопнулась несколько быстрее и громче обычного.

Он поднялся к себе и выпил залпом всю порцию водки. Его очень обожгло, но стало гораздо легче. Сел на постель и подумал, что потерял голову: как же можно было в таком виде показываться людям? Донесут? Нет, не успеют. Аккольти подошел к окну, времени все еще оставалось много. Снизу, из окна, до него донесся смех, звук поцелуев. Он вдруг пришел в ярость, вышел, хотел было снова постучать — и опомнился. Застегнув кафтан, он выбежал из дому.

8

...За Микеланджело, стараясь приспособиться к его ходу, шел тот молодой художник, который копировал группу «Страшного Суда». Он что-то восторженно говорил. Микеланджело шел, не глядя на него и не слушая, он только чувствовал, что это счастливый человек, верящий — как они все — в искусство, верящий в то, что искусство — великая радость. Бесполезно и незачем было объяснять им правду. Он думал, что теперь все кончено: посмотрел в последний раз, руки больше не слушаются, глаза больше не видят. На солнце он опять лишился зрения. Сбоку заржала лошадь, он не видел лошади, но по ржанию почувствовал, что это прекрасное животное,— страстно любил все живое, за исключением людей. Молодой художник продолжал нести вздор о «Страшном Суде»,— точно он мог это понять, точно кто-либо мог понять это...

Какой-то человек нагнал их и, низко поклонившись, сказал, что святой отец просит мессера Буонаротти пожаловать к нему, в сад. Микеланджело не обратил внимания на эти слова,— зачем ему теперь люди, зачем ему и сам папа? Слуга вполголоса ответил, что старик очень устал и болен: святой отец извинит.

«Если домой, то направо»,— прокричал слуга. Микеланджело остановился и растерянно обвел двор ничего не видящими глазами. «Это бельведерский двор, вот торс, ваш торс»,— пояснил с улыбкой художник.

— Бельведерский торс! — вскрикнул Микеланджело.

На дворе стоял древний торс, найденный при раскопках у театра Помпея. Художникам было хорошо известно, что Микеланджело считает этот обломок высшим из самых

высоких творений искусства: он говорил, что никто никогда не создал ничего хотя бы близкого к этому по достоинству. Слуга осторожно подвел его к торсу. Старик прикоснулся к мрамору одной рукой, потом двумя, на лице его изобразились радость и нежность. Неизвестно, когда жил в древности человек, неизвестный афинянин Аполлоний, сын Нестора, и изваял эту статую, и два тысячелетия ждал другого человека, который мог ее оценить, хотя не мог создать равного. Он думал, что в этом торсе есть священная простота, без которой нет ничего, и что сам он был ее лишен и потому проиграл свою жизнь. В его фресках было значение, непонятное другим людям. Но *это* ничего не значило. Тот лучше знал, как надо творить,— он же во всем заблуждался: все было обман. «Beati pauperes spiriti, quoniam ipsorum est regnum caelorum» [1],— сказал он вдруг и заплакал. Художник смотрел на него с недоумением, испугом и жалостью. Микеланджело рыдал, гладя руками мрамор Бельведерского торса.

9

Пий IV в самом деле не считался с церемониалом. К обеду приглашал гостей, хоть папе полагалось обедать одному, за небольшим столом, под балдахином; а некоторых приглашенных, притом не самых почетных, сажал против себя, хоть по правилам никто не должен был сидеть против папы. В этот день, впрочем, заведующий церемониалом не мог особенно пожаловаться: к столу, в только что отстроенном казино, были приглашены кардиналы и иностранные послы. К концу обеда мажордом доложил, что в Ватикане сейчас находится престарелый Микеланджело. Папа обеспокоился: зачем старик выходит в такую жару, при сирокко? — велел позвать гостя к себе в сад и вынести для него из дворца покойное кресло. Гости только переглянулись: никто из них иначе, как за столом, не садился в присутствии папы. Заведующий церемониалом был так недоволен, что, докладывая просьбы об аудиенции, пропустил в этот день имя Вазари: достаточно милостей художникам.

Гости перешли во вторую залу. Папа отправился на прогулку. За ним слева шел слуга, несший над его голо-

---

[1] Блаженны нищие духом, ибо их есть царствие небесное (*лат.*).

вой зонтик. Только важнейшие должностные лица знали, что этот ничем как будто не выделявшийся лакей в действительности лучший римский сыщик, приставленный к папе для незаметной охраны. По его виду никак нельзя было подумать, что он ударом кулака может сбить с ног сильного человека, что зрение у него как у хищной птицы, что он все видит, ни на что не глядя. Так и теперь сыщик, не сводивший, казалось, глаз со своего зонтика (держал его очень ровно, все на одном расстоянии от головы папы), еще шагах в пятидесяти заметил, что в конце главной аллеи, справа, несколько раньше, чем нужно, опустился на колени какой-то человек. Сыщик не рассуждал логически и не подумал вполне отчетливо, что у этого человека из-под черного бархатного кафтана торчит снизу кожаный камзол, что люди так не одеваются, особенно в жару, что упал он на колени ближе к средине аллеи, чем полагалось бы, и что сделал рукою странное движение. Но почти бессознательно сыщик впитал в себя все это. Самым естественным, незаметным движением он взял зонтик из правой руки в левую, отстал, как бы случайно, на полшага, оказался по правую сторону папы и небрежно опустил руку в карман, где у него находился тяжелый, короткий кастет. Чуть наклонившись собранным телом вперед, нисколько не изменив положения зонтика, он задумчиво шел за папой дальше, совершенно не глядя на упавшего на колени человека.

Аккольти сунул руку за пазуху и осторожно, не коснувшись лезвия, взял кинжал за рукоятку. Он вполне владел собой и твердо помнил: уколоться — умереть. Подумал еще, что это был бы лучший исход: совершить великое дело, избегнув пыток и казни. Папа подходил все ближе. Аккольти чуть приподнял от земли левое колено, уперся носком в землю и повернул руку за пазухой. Сыщик, еще немного наклонившись, искоса бросил на него мгновенный режущий взгляд, на всю жизнь запомнил его лицо и подумал, что надо, непременно надо, возможно скорее выяснить, кто этот человек. Аккольти показалось, что неприятный лакей, так неудачно загородивший ему дорогу, может помешать делу.

В эту минуту с новой силой рванул затихший было сирокко. И в порыве ветра Аккольти вдруг услышал голос. Он замер: голос предписывал ему отложить дело, необходимы сообщники. Рука его разжалась, его душу залило

счастье, почему-то в воображении промелькнула соседка... Папа прошел по аллее. Неприятный лакей рассеянно оглянулся и поверх головы Аккольти смотрел назад, куда-то вдаль. Зонтик плыл в воздухе все на том же расстоянии от головы папы.

II

МУДРЕЦ

Молодые Буонаротти очень обрадовались, узнав о предстоящем приезде Вазари. Трудно было найти более приятного гостя, а они теперь были рады всем — с особым удовольствием показывали свое новое имение. Оно этого действительно стоило. С ремонтом, с пристройками, с покупками обошлось в большую сумму, но Леонардо мог себе это позволить: получил от дяди огромное наследство. Микеланджело их при жизни не баловал, да и сам жил весьма небогато, во многом себе отказывал, постоянно всех уверял, что разорен и что умрет под забором.

На наследство они с Кассандрой рассчитывали давно, часто между собой по вечерам, уложив спать детей, об этом наследстве тихо говорили.— «Что, если он все оставит на благотворительные дела? Что будет с детьми?»,— испуганно спрашивала мужа Кассандра.— «Нет, никогда он этого не сделает, он нас любит,— обычно отвечал Леонардо,— рано или поздно все останется нашим детям» (легче было говорить: «детям», чем «нам»). Но уверенности у них не было, и говорили они «рано или поздно» уже немало лет. Разговор о наследстве, несмотря на некоторую его семейную уютность, был скорее неприятен Леонардо: он любил дядю, хоть с детских лет очень его боялся. Думал про себя, что старик поступает нехорошо и неразумно: если б выделил им при жизни часть своего богатства, они жили бы как следует,— много ли им нужно? — молились бы за него Богу и всей душой желали бы ему долголетия. «Впрочем, мы и так желаем»,— испугавшись, мысленно добавлял он.

К кончине Микеланджело он опоздал: получил извещение о болезни поздно; выехав из Флоренции в Рим в тот же день, застал дядю уже в гробу и тотчас, еще на лестнице, там где дядя написал на стене «Смерть», узнал, что почти все, превзошедшее ожидания, богатство завеща-

но им. Теперь Кассандре, детям навсегда была обеспечена свободная, привольная, хорошая жизнь. Леонардо не мог этому не радоваться, так как страстно любил семью: ему самому и вправду почти ничего не было нужно,— были бы кров, обед и бутылка сносного вина. Однако, увидев на зловещем парадном красном атласе желтое, ссохшееся, сморщенное, теперь, с закрытыми глазами, больше не страшное лицо дяди, он горько заплакал навзрыд: все-таки старик, если и не любил его (никого ведь он не любил), то поддерживал их всегда, а теперь их обогатил, и с ним прошла, хоть большей частью издали, вся жизнь, и был он великий человек,— Леонардо не интересовался искусством, но отлично это знал; а если б и не знал, то об этом достаточно наглядно свидетельствовали скорбь всех ученых людей во Флоренции и в Риме и те почти королевские почести, которые воздавались праху дяди. Леонардо роздал большие деньги на помин души, слугам, бедным, и всем вообще, кто его о деньгах просил. Траур был соблюден строго. Имение они купили под Флоренцией лишь тогда, когда это никому не могло показаться преждевременным и неприличным.

О бумагах, оставшихся после Микеланджело, Вазари ему написал тотчас после кончины старика. Потом они вскользь обменялись об этом несколькими словами во Флоренции, на необыкновенно пышных похоронах. Вазари едва мог разговаривать: беспрестанно вытирал слезы, говоря, что этот человек унес с собой весь гений и всю славу мира. Оттого, что он плакал и что с ним плакали, забыв теперь вражду, зависть, личные счеты, старые люди, знаменитейшие художники Италии, все росли горе и волнение Леонардо.

Свидание по делу о бумагах Микеланджело довольно долго не налаживалось. Получив письмо, Леонардо тотчас ответил, что Кассандра и он будут чрезвычайно рады приезду Вазари, ждут его непременно. В большом прекрасном доме все пять комнат, предназначенные для гостей, в эти чудесные весенние дни были заняты. Для нового гостя приготовили лучшую комнату дома, называвшуюся рабочим кабинетом, хоть собственно Леонардо ни над чем не работал. Хозяева отправили во Флоренцию дворецкого (у них теперь был и дворецкий), велели купить книг,— много, не меньше ста,— положившись на выбор книгопродавца, а также ящик с красками, холсты, картоны. Леонардо все же недаром был племянником Микеланджело: знал, что нужно для такого гостя, и надеялся,

что он прогостит у них долго. Выбрал для Вазари лучшую из двенадцати лошадей, теперь стоявших у него на конюшне, велел заново выкрасить ее и надушить благовонной жидкостью, как делали только очень богатые люди, и в назначенный день, на другой свежевыкрашенной лошади, выехал встречать гостя.

Леонардо ахнул при виде Вазари,— так тот изменился: состарился, исхудал, поседел. Тут только Леонардо вспомнил то, что мельком стороной слышал: с его знакомым случилась история, на старости лет он влюбился будто бы как юноша в женщину веселого нрава, чуть только не колдунью, которая его, разумеется, скоро бросила и даже, как говорили, обобрала. По разговору Вазари, однако, никак нельзя было сделать вывод, что он несчастлив. Как всегда,— быть может, даже несколько больше, чем всегда,— он был оживлен, приветлив, занимателен. Всем интересовался, как оказалось, очень много работал и по живописи, и над вторым изданием своей книги. Кассандре наговорил любезностей, от которых она, по непривычке, зарделась, детей расцеловал и роздал им дорогие подарки, чрезвычайно хвалил дом, сад, мебель. Вправду, невозможно было подыскать более приятного, светского гостя.

Пока Леонардо показывал — Вазари в первый раз, а другим гостям в третий или четвертый — имение, лошадей, собак, Кассандра, дворецкий и повар работали над обедом. Он был изготовлен и сервирован превосходно. Салат, с кремонской мортаделлой, имел форму слона, устрицы были в раззолоченных раковинах, соус надушен, птица начинена орехами; перед обедом в серебряных кубках подали венгерское, а после обеда апельсины в горящем соусе и генуэзский пирог, политый еврейским вином. Все это было модно и доступно только богатым людям. Но, хотя гости были люди не очень большого достатка и хотя всем им было отлично известно, что еще совсем недавно молодые Буонаротти жили почти бедно, на деньги, которые им присылал изредка Микеланджело, насмешливого недоброжелательства к хозяевам почти не было: так ясны были каждому их добродушие и желание доставить возможно больше удовольствия приглашенным; они были новыми богачами, но без пороков и чванства новых богачей.

За обедом разговор зашел о политических новостях, о заговоре против папы. Один из гостей, приехавший прямо из Рима, рассказывал подробности этого дела. Главарем был некий Бенедетто Аккольти, по-видимому, сума-

сшедший. Он утверждал, что ему предписал убить папу какой-то голос, что скоро произойдет изгнание турок из Европы, потом столпотворение, потом что-то еще,— и весь мир станет счастлив...

— Возьмите к мясу этой фиговой подливки, она очень вкусная,— предложила Кассандра.— Извините, я вас перебила. Так как же вы сказали?

— Дело это темное... Подробности держатся в тайне. Говорят, что Аккольти должен был заколоть отравленным кинжалом папу не то в Сигнатории, не то в Сикстовой капелле,— у фресок вашего дяди,— сказал гость с улыбкой, обращаясь отчасти к Леонардо, отчасти к Вазари, как к самому осведомленному во фресках человеку (всем показалось, что Вазари немного изменился в лице). Когда папа проходил во главе процессии, Аккольти бросился на него с отравленным кинжалом. По другим слухам, он только пытался выхватить кинжал и не решился, а арестовали его дома, их выследил какой-то замечательный сыщик. А может быть, их просто выдали... Удивительнее всего то, что ему удалось найти сообщников, которые уверовали в его бред, и он их совершенно подчинил своему влиянию, а между ними были люди из хороших семейств, как, например, граф Каносса...

— Каносса? — переспросил Леонардо и рассказал, что покойный дядя вел их род от каких-то графов Каносса.— Серьезно требовал, чтобы я подписывался Леонардо ди Буонаротто Буонаротти Симони... Как многие незнатные дворяне, дядя часто говорил о своем происхождении, и я отлично знаю, что настоящие князья и графы над этим смеялись.

— У великих людей есть маленькие слабости,— сказал приехавший из Рима гость.— Что до этого Каносса, то он умер под пыткой. Другие были четвертованы на Козьей Горе. Аккольти проявил необыкновенное мужество...

— Козья Гора ведь это Капитолий? — спросил Леонардо, упорно желавший перевести разговор на менее мрачные предметы. Он рассказал, что покойный дядя очень интересовался раскопками в старом Риме и чрезвычайно высоко ставил найденный при раскопках торс.

— Не смею говорить в вашем присутствии,— обратился он к Вазари, который все время молчал,— но мы, простые люди, ничего особенного в этом торсе не видим. Я, однако, вполне признаю,— смеясь, добавил он,— что дядя понимал это лучше меня. Его лакей рассказывал мне, что он уже слепым приходил к этому торсу, гладил

его и плакал. Это так меня взволновало, что я тогда же, в Риме, заказал себе хорошую копию торса. Вы ее верно видели? Она стоит в моем кабинете...

— И я допускаю, что ваш дядя понимал многое нам недоступное,— сказал, тоже улыбаясь, Вазари.

После обеда Вазари повели к детям.— «Так уж у нас полагается, ничего не поделаете»,— говорили весело родители. Нельзя было не поддаться атмосфере радостной, привольной, честной жизни, которая стояла в этом счастливом доме. Дети были славные.— «Который гениальный?» — спросил, не удержавшись, Вазари.— «Ни одного гениального нет,— смеясь, ответил Леонардо,— вся наша семейная гениальность, видно, ушла в покойного дядю, а они будут, как я, неучи и дураки... Правда, Буонаротто?..».— «Ну, ну, перестань»,— запротестовала Кассандра.

Обещав детям сейчас же вернуться, они прошли в кабинет устраивать гостя. Там Вазари заговорил о своем деле; Леонардо тотчас, с полной готовностью, достал из шкапа дорогую шкатулку: в ней было все, что осталось от Микеланджело.— «Рисунков сохранилось мало, дядя многое сжег перед смертью»,— пояснил Леонардо.— «Вот уж не понимаю, зачем. Лучше бы оставил для бедных, верно, за каждый его рисунок можно получить золотой»,— вставила Кассандра.— «Дело не в этом,— поспешно поправил ее муж,— зато письма у меня сохранились, кажется, все. Одно только,— сказал он, засмеявшись на этот раз несколько принужденно,— дядя был человек суровый и со мной не церемонился. Я не хотел бы все же, чтобы вы судили меня слишком строго. Дядя иногда бывал ко мне несправедлив»... Вазари успокоительно потрепал его по плечу.— «Я достаточно знал Микеланджело»,— сказал он.

Оставшись один, Вазари устало опустился в кресло. Он почти жалел, что приехал: так тоскливо ему было в этом чужом доме. Подумал, что с утра его верно рано разбудят: детская была рядом с кабинетом, и оттуда доносились радостные крики. На столе в необыкновенном порядке были расставлены письменные принадлежности. Около стола, на этажерке стоял тот самый торс. «Изваял афинянин Аполлоний, сын Нестора»,— прочел Вазари гре-

ческую надпись.— «Да, конечно, это прекрасно, я помню,— подумал он,— но одним художественным совершенством ничто не могло поразить Микеланджело. И сам он мне что-то говорил о простоте, о спокойствии, о мудрости. Он называл этого грека мудрецом... Теперь это пенат у Леонардо... Ну, что ж, и этот тоже мудрец».

Вазари вздохнул и стал просматривать письма, написанные хорошо ему знакомым твердым, четким, вертикальным почерком. В них интересного было немного: все дела житейские и семейные. Микеланджело действительно не церемонился с племянником. «Не знаю, приехал ли бы ты ко мне, если бы я находился в нищете и без куска хлеба,— читал Вазари.— Ты только и заботишься о том, как бы получить мое наследство, а говоришь, что это был твой долг приехать сюда из любви ко мне. Если бы ты и вправду так любил меня, ты бы написал: «Дорогой Микеланджело, истратьте эти деньги на себя в Риме, так как вы нам уже достаточно давали, нам ваша жизнь дороже ваших денег...» Я был болен, ты же пришел ко мне, ожидая моей смерти и желая знать, оставляю ли я тебе что-нибудь. Неужели тебе мало того, что я имею во Флоренции? Ты очень похож на твоего отца, который выгнал меня из моего собственного дома. Знай, я так составил мое завещание, что ты не должен больше мечтать о моем имуществе в Риме. Убирайся с Богом, не показывайся мне на глаза и не пиши мне больше...» Эти письма, очевидно, нельзя было использовать в книге.

Оказались в шкатулке и стихи Микеланджело. «Condotto da molti anni all ultime ore — Tardi conosco, o mondo, i tuoi diletti...» [1] — читал Вазари. «Да, невесело прожил старик,— подумал он.— Но кто же прожил умно? Уж не я ли?..» Он усмехнулся и, оторвавшись от стихов, уставился в выходившее в сад окно. «Вот и я узнал поздно... Она ворвалась в мою жизнь, исковеркала ее... Она в самом деле была колдунья... Нет, она просто не понимала, в чем дело: за что я сержусь, почему мучаюсь, чего хочу? Повеселились — и слава Богу... От меня сбежала с мальчишкой, теперь сбежала и от него...» Из детской донеслись счастливые голоса, визг. «...La pace, che non hai, altrui prometti,— E quel ripose che

[1] До последнего часа сожалею об истекших годах,— поздно изведал я, мир, твои наслажденья *(итал.)*.

anzi al nascer muore...— Che'l vecchio e dolce errore...» [1] «Она тоже говорила, что все было ошибкой... Я знаю, ей не сносить головы, как тому сумасшедшему...» — «Di me, che'n ciel quel sol ha miglior serte — Che ebbe al suo parte più pressa la morte...» [2] — «Вот разве что так. Но чему же тогда научил его афинянин Аполлоний, сын Нестора!».— «Ты глуп, Буонаротто, ах как ты глуп, Буонаротто Буонаротти Симони!»,— говорил за стеной счастливый голос Леонардо.

ПУНШЕВАЯ ВОДКА

(Сказка о всех пяти земных счастьях)

I

В канцелярии курьеру Михайлову было велено скакать в две упряжки в день, а где можно, то и ночью. Подорожная была составлена так, что отказа в лошадях нигде быть не могло. Михайлов, крупный, широкоплечий, лысый человек лет сорока, с умным, хитрым, выразительным лицом, выслушал эти слова молча с угрюмой усмешкой, ясно говорившей: «зачем всякий раз повторять один и тот же вздор?» Он ездил по России лет пятнадцать и знал по опыту, что такие приказы никакого значения не имеют: ехать будет как Бог даст, иногда в самом деле днем и ночью, а иной раз придется просидеть на станции неделю. Прогонные и кормовые были выданы ему в размере, повышенном против правила, так как дорога была очень тяжелая: в Пелым, тысячи три верст.

До отъезда оставались сутки. Михайлов привык к своей бездомной жизни, но в Сибирь его еще никогда не отправляли. Эта поездка означала по меньшей мере два месяца скачки при лютой стуже, по стране дикой, ему неизвестной и опасной: долгие дни и ночи безрадостного существования, без развлечений, без столичных кабаков, почти наверное без женщин. В канцелярии понимали его чувства, считали их естественными и заранее знали, что он сегодня напьется: не может не напиться. Но знали также, что за

---

[1] «...Неведомый тебе покой другому ты сулишь,— Покой, что умирает, не родившись,— лишь сладостное заблужденье...» *(итал.)*

[2] «...Скажи мне о том, что небо, на котором прекрасное солнце восходит, многое знало о смерти ..» *(итал.)*

пакетами Михайлов завтра явится в полной готовности, в точно указанное время: он считался одним из лучших курьеров; его ум, исполнительность и честность очень ценили, поэтому и назначили его в такую поездку. Все же, из предосторожности, денег вперед на руки дали только три рубля: остальное при отъезде. Михайлов поворчал, но не очень торговался: понимал, что и канцелярия права.

Отправился он вечером в кабачок на петергофской дороге, в котором торговали его любимой пуншевой водкой. Там во вторую комнату допускались простые люди, и для них там была простая еда. В первой же, большой, комнате постоянно бывали господа, кто проездом в Петергоф или в Ораниенбаум, кто так, ценя кухню и развлечения: в последнее время в кабачке играли на гитарах, пели и плясали невиданные еще в Петербурге лаеши[1], которым при покойной государыне Елизавете Петровне было строжайше запрещено показываться в Россию. Михайлову очень нравились их пение и они сами, бездомные, как он, необыкновенные, ни на кого не похожие люди. Водил с ними знакомство и у молодого лаеша Хапило выучился плясать, адски хлопая себя по сапогу,— у них и сапоги были необыкновенные: красные, зеленые, желтые. Старался и петь как они: одновременно голосом, улыбкой, выражением лица, плечами, подтаптыванием. Впрочем, лаеши хохотали, глядя и слушая, как он пляшет и поет по-ихнему; он сам чувствовал: то да не то.

У подъезда перед кабачком стояли великолепные сани, запряженные цугом четверкой вороных лошадей с красными бантами, с красной сафьянной сбруей, с золоченым набором. Михайлов прошел со двора, через кухню, во вторую комнату. Там закусывали люди, очевидно, из этой кареты: бритый, пудреный, с косою, кучер в бархатном кафтане, гайдук, одетый гусаром, бегун, в бархатной шапочке с кистями и, как лошади, с бантом на голове. Их господам все носили в залу дорогие блюда: похлебку из рябцев, кронштадтских ершей с пуре, сладкое ягнячье мясо, а также бутылки замороженного шипучего французского вина.

Михайлов сквозь приотворенную дверь заглянул со-

[1] Цыгане. *(Автор.)*

чувственно в господскую комнату. За уставленным бутылками столом ужинали молодые офицеры, все, как на подбор, огромного роста и красавцы. Они были похожи друг на друга, как братья, но и среди них выделялся один: совершенный великан, необыкновенно грозного вида, с лицом настолько страшным, что людям невольно хотелось поскорее отойти от него подальше. Он пил бокал за бокалом, видимо, нисколько не пьянея. Против него саженях в трех, у стены, скрестив руки, более темные, чем лицо, неподвижно, как столб, стоял старый большой лаеш в белой рубахе с золотым позументом, в зеленых сапогах, без гитары, ничего не делавший, даже как будто ни на что не смотревший, и все же совершенно необходимый другим; два лаеша вполголоса пели, глядя не на публику, а друг на друга, точно сообщая один другому о чем-то,— и вдруг в их напевный разговор врывалась красивая горбоносая лаешка, и все переходило в общий дикий хор. Хапило, не прекращая ни на секунду игры, ловко перебрасывал и ловил свою отделанную накладкой гитару. Великан за столом, без следов улыбки, хлопал в такт огромными страшными руками, не спуская неподвижных глаз с молодой лаешки.

Закусывая, Михайлов разговорился с людьми. Узнал, что офицеры в самом деле братья; фамилия у них была обыкновенная, не княжеская, неизвестная. Бегун вполголоса добавил, что господа пускают пыль в глаза: именья мало, а денег, бывает, и совсем нет.

Лаеши пели до поздней ночи, и до поздней ночи в господскую залу носили вино. Михайлов вначале пил пуншевую водку. Она стоила дорого, и ею он новых знакомых не угощал. Хотел было купить в дорогу хоть одну бутылку,— знал, что этой водки нигде, кроме столиц, не найти,— но раздумал: что ж одну бутылку брать с собой? Все равно до первой станции. С полуночи он стал пить дешевый *взварец* из вина, пива и меду с кореньями, потчевал им других и часам к двум уже был почти пьян: под доносившееся из залы дикое пение, хлопанье, топот, обнимался с бегуном, плакал и говорил, что уезжает надолго, а, может, и совсем не вернется: посылают очень далеко, к ссыльному. На вопрос же бегуна, какой-такой ссыльный и где живет, Михайлов отвечал загадочно, отчасти, чтобы придать себе интереса, отчасти из любви к присказкам и к образной речи: «На море на Окияне, на острове на Буяне, как бык печеной, ест чеснок толченой...» В действительности, он и сам не знал толком, что за ссыльный живет в Пелыме. Содержание пакетов всегда держалось в секрете,

но почти всегда, из канцелярских разговоров, курьерам было смутно известно, с чем их посылают. На этот раз Михайлов знал только, что пакеты приятные: царская милость.

Часа в четыре ночи пение и пляска кончились. Братья офицеры поднялись, расплатились щедро,— это было видно по лицам вернувшихся лакеев,— и уехали; бегуна послали куда-то пешком, о чем-то между собой пошептавшись: скороходы при господах заменяли почту. И у всех в обеих комнатах была мысль, что верно бегун послан за женщинами. Горбоносая лаешка приняла вид достойный и оскорбленный.

После отъезда офицеров в кабачке стало скучно. Необыкновенные люди убирали гитары, деловито разговаривая на непонятном языке, считали деньги, стараясь, чтобы никто не видел сколько, и как будто из-за денег переругивались, впрочем без злобы: вдруг стали обыкновенными. Это расстроило Михайлова. Его три рубля были на исходе; он о них не жалел: деньги вообще берег, но когда проводил ночь хорошо, не огорчался, что много истратил. Вещей же своих он не продал и даже в долг не влез, хотя пользовался у кабатчика кредитом, с осени повышенным до сорока копеек.

На рассвете он был дома, проспал два часа, окатился водой и без единой минуты опоздания, совершенно трезвый, ничего не забыв, ни валенок, ни мешка с провизией, ни пистолета, явился в канцелярию. Получил пакеты в казенной шкатулке, спрятал деньги в мешочек за пазуху, сказав: «Держи девку в тесноте, а деньги в темноте», и с тем же угрюмо-насмешливым видом выслушал те же наставления: скакать во всю мочь, нигде не останавливаясь, в две упряжки. Затем ему пожелали счастливого возвращения, а он мрачно ответил: «Со счастьем на клад набредешь, без счастья гриба не найдешь». Канцелярист еще намекнул, что от помилованных ссыльных бывает иногда немалая награда. На это Михайлов ничего не сказал: не очень верил, да и не вспомнил присказки на такой случай.

II

Чем дальше от Петербурга, тем больше внимания оказывалось курьеру. О смерти государыни и о восшествии на престол императора Петра III уже было известно везде. Но приезжих из столицы в далеких городах еще было очень

мало. О новом государе почти никто ничего не знал. Знали только, что он приходился племянником императрице Елизавете Петровне и внуком Петру Великому. Но о семье его отца, немецкого принца, о родстве новой государыни было в глуши немного сведений, а о событиях, о духе, о прочности нового царствования еще того меньше. Поговаривали втихомолку, что может вернуться на престол потомство царя Ивана Алексеевича.

Обо всем этом Михайлов не знал решительно ничего. Но свое ремесло он знал отлично и на станциях придавал себе таинственный вид. На вопросы отвечал: «тайна грудью крыта, а грудь подоплекой», или что-нибудь в таком роде. Если же раззадоренные любопытством люди давали на водку, описывал наружность царя и царицы, хоть ни разу их не видал. Спрашивавшим о новых порядках и о слухах не отвечал ничего, так как опасался тайных подсыльщиков, но к вопросам прислушивался внимательно и становился по мере удаления от Петербурга все осведомленнее о столичных событиях.

Он благополучно проехал через Засурский лес, пользовавшийся худой славой. Знал, что разбойников в России много меньше, чем рассказов о разбойниках, однако пистолет держал наготове. Ехал за совесть, делая иногда по полтораста и по двести верст в сутки. Отдохнул немного на Суксунских демидовских заводах, где всех проезжих, и дворян, и купцов, и простых, содержали бесплатно сколько угодно времени. За Кунгуром начинал подниматься Уральский хребет. Курьера стало приглашать и начальство: приказывало накормить как следует, давало на чай, где пятак, где гривенник, и спрашивало, как и что в Петербурге. Он отвечал отрывисто, таинственно и держал себя как власть с властью. О пакетах, которые он вез, его не спрашивали: это не полагалось, да и никого особенно не интересовали пакеты, адресованные другому начальнику.

Дни становились все холоднее, места все пустыннее, на тракте случалось проезжать верст восемьдесят, не видя станции. Михайлов ночевал в сторожках, или съезжая с тракта, в крестьянских избах. Там от денег за еду и ночлег почти всегда отказывались. Это было приятно, но разговаривать с мужиками ему было неинтересно по их невежеству и безразличию к столичной жизни. Впрочем, говорил и с ними: сначала грубо и презрительно, потом смягчался от водки и общего почтения и рассказывал, что послан к одному ссыльному, который на море на Окияне на острове на Буяне, как бык печеной ест чеснок толченой.

Но на темных мужиков красная речь не производила должного впечатления.

За Яиком дорога стала еще тяжелее из-за свирепых холодов, скуки и безлюдья. Нелегко было доставать и продовольствие. Водка была везде,— не пуншевая, конечно, а простая,— но все дорожала с приближением к Сибирской губернии. Появилась растительность, неизвестная курьеру ни по виду, ни по названию: крушина, боярка, черный тополь, сибирский кедр. Показались глубокие пропасти, грозные, в полдень темные, леса, называвшиеся здесь «кондовыми», никаких форштмейстеров никогда не видевшие. Изредка с адским топотом и ржаньем, вызывавшим невольный ужас, проходили по тракту перегоняемые *косяки* бесчисленных коней. Появились инородцы, по всей видимости некрещеные, а среди русских — люди со зверскими клеймеными лицами и рваными ноздрями. Край был страшный.

Михайлову велено было сообщить об указе первым же властям туринского округа. В небольшом городе на тракте он явился по начальству и вручил свой пакет. Узнав, в чем дело, полицейский капитан изменился в лице. Прочел бумагу, перечел ее, вытаращенными глазами посмотрел на почтительно вытянувшегося курьера, затем подошел к двери.

— Миниху вышло помилование! — сказал он с таким видом, точно ждал, что там вскрикнут и всплеснут руками. Отклика он однако не нашел.

— Миниху? Ну, и слава Богу,— ответил за дверью равнодушный старческий голос. Капитан пожал плечами, вернулся к курьеру и стал было его расспрашивать. Но, как опытный человек, скоро понял, что курьер ровно ничего не знает. Услышав, что есть к ссыльному и личное письмо, которое приказано отдать в собственные руки, подумал, походил по комнате, сел за стол и очинил перо.

— Пакет отдашь самому генералу. Я тебе и от себя дам записку. От генерала проедешь в Пелым, к *его высокопревосходительству*. Ну а здесь отдохни до завтрашнего утра. На кухне тебе дадут пообедать. И вот тебе, братец, от меня двугривенный.

Михайлов не сразу догадался, что его высокопревосходительство — это ссыльный, к которому он едет. Имя Миниха ему было неизвестно, хоть в Петербурге, когда его произнесли в канцелярии, оно показалось ему знакомым: как будто слышал, когда был мальчишкой. Накормили его

на кухне так, как он очень давно не ел. Из окна он видел, что куда-то понеслись верховые. Понял, что его хотят опередить; по этому и по другим признакам курьер сообразил, что для здешних властей привезенный им указ имеет очень большое значение. Ему показалось также, что они не очень им довольны.

Это впечатление еще укрепилось в следующем, главном городе. Не успел он показать на заставе подорожную караульному офицеру, как получил приказ, несмотря на поздний, неприсутственный час, никуда не заезжая, ехать прямо на гору, к генеральскому дому.

Дом был большой, двухэтажный, с будками для часовых. В чистых уже полутемных сенях не было ни соринки. Михайлова тотчас ввели в генеральский кабинет. Такого кабинета он никогда не видал у начальства и в России. Глаза у него разбежались: диваны и кресла из черной кожи с медными гвоздями, синяя печь на столбах, коричневые шпалеры с зелеными человечьими лицами, на стене полуголая женщина с огромной змеей, впившейся в румяные груди — сразу в обе,— огромный стол, а за столом сам генерал, невысокого роста старый человек, в наплечниках и при регалиях. Из соседней комнаты доносилась музыка. Михайлов подал пакет и остановился, вытянувшись до пределов возможного.

Генерал читал бумагу очень долго, точно хотел заучить ее наизусть. Затем в раздумьи положил ее на стол и велел подать второй пакет. Михайлов не осмелился возразить, хотя ему было велено вручить письмо в собственные руки ссыльного. Повертев нерешительно пакет в руках, генерал, не вскрывая, вернул его курьеру и сказал:

— Так сейчас же в полную прыть скакай в Пелым и скажи его сиятельству, что я сам в Пелым тотчас приезжать буду, и что все по желанию графа делано будет. И вот тебе один полтинник...

Он с недовольным видом оглянулся на дверь. Вошла пожилая очень толстая дама со свечой в серебряном подсвечнике. Она бросила недовольный взгляд на монету, которую отдавал курьеру генерал, от своей свечи зажгла свечи на столе, подставив под фитилек лодочкой ладонь, чтобы воск не капнул на черную кожу, и заговорила с генералом не по-русски.

— Das hat nur gefehlt! [1] — отпустив курьера, сказал жене генерал. Он не мог справиться с досадой. Ему, однако, тотчас стало совестно.— Разумеется, за него я очень рад, но...

[1] Этого еще не хватало! *(нем.)*

— Что же он может против нас иметь? — беспокойно заметила генеральша, уточняя мысль мужа. Мысль эта приблизительно заключалась в том, что возвращение в милость ссыльного не может обещать ничего хорошего тем, у кого он в течение многих лет находился в поднадзорной ссылке.— Кажется, никакого зла он от нас не видел. И наша ли вина, если...

— Все-таки странная страна! — в сердцах прервал ее генерал.— Держат человека двадцать лет в ссылке, и вдруг... Ему возвращено все: он снова граф, фельдмаршал и генерал-фельдцейгмейстер. Еще, быть может, станет опять первым министром!

— Но ведь ему, кажется, восемьдесят лет?

— Если не больше. И каких лет! Но он, говорят, свеж, как молодой человек!

Музыка в соседней комнате прекратилась, в комнату вошла молоденькая, очень хорошенькая блондинка.

— Папа, кто это молодой человек? — по-русски спросила она и, узнав, что речь идет о Минихе, засмеялась. Послушала разговор родителей, который интересовал ее очень мало. «Кончат ли? Сейчас кончают,— подумала она,— папа в плохом настроении: не позволит...»

— Я сейчас же после обеда выеду в Пелым,— продолжал по-немецки генерал.— Пусть мне приготовят все, что нужно.

— Господи! В такой мороз, в Пелым!

— Что же делать! Все это очень серьезно... Я говорил, что нужно было послать ему шубу. Все-таки это был бы знак внимания. Если он пожелает мстить, мы еще сами окажемся...

Он взглянул на дочь и замолчал.

— Папа, где мы окажемся? — по-русски спросила барышня.

— Там, где Макар гонял своих теленков,— сказал, улыбаясь, генерал, переходя на русский язык. Барышня весело засмеялась.

— Ах, как это будет интересно! Папа, а за что был сослан Миних? Вы мне рассказывали, но я забыла, извините.

Генерал обстоятельно объяснил, что граф фон Миних, родом не то немец, не то датчанин, состоял сначала на французской, потом на гессен-дармштадской, на английской, на голландской, на саксонской службе, затем сделал блестящий карьер в России при Петре Великом, при Екатерине, при Анне Иоанновне; он был очень талантливым полководцем, одержал много побед и в сущности создал

русскую армию,— Петр Великий, а потом он. Затем он произвел переворот, арестовал своего врага Бирона, сослал его в Пелым, стал первым министром и полновластным правителем России. Позднее он ушел в отставку, а когда императрица Елизавета арестовала Анну Леопольдовну, Миних был приговорен к четвертованию. Императрица заменила ему смертную казнь пожизненной ссылкой в тот самый Пелым, куда он сослал Бирона: он и поселился в Пелыме, в доме, который им же был отведен Бирону. Говорят, что при его отправке в ссылку и при возвращении Бирона в Россию они встретились на какой-то станции и раскланялись.

— В общем и целом это один авантюрист,— закончил свой рассказ генерал.— Ein Abenteurer! Но очень умный и образованный человек к тому. Так он есть.

— Как жаль, что ему восемьдесят лет! Я вышла бы за него замуж,— сказала Валя. Она подумала, что было бы хорошо, если б Володя проделал такой же карьер; представила себе, как их обоих сослали в Пелым, и замерла от счастья: всегда с ним неразлучно, он и она!.. Вот только четвертования не надо, хотя бы и с помилованием в последнюю минуту.— Он женат, папа?

— Женат с баронессой Мальцан, которая жена обергофмаршала Салтыкова была. Но она сама и в себе есть никакая интересная женщина.

Генерал снова озабоченно заговорил с женой по-немецки о приготовлениях к своей поездке в Пелым. «Ежели папа уезжает после обеда, то надо отложить,— подумала Валя,— папа денег даст, но не позволит, мама позволит, но не даст денег. Все-таки это лучше...» Ей надо было получить разрешение родителей на участие в любительском спектакле и деньги на костюм.— «Ежели папа уедет в Пелым, то потом запретить будет невозможно...» Она внимательно смотрела на родителей, но не слушала их разговора. Думала, что мама, верно, двадцать лет тому назад была похожа на Клеопатру, висевшую на стене кабинета. «Право, уж лучше, когда папа говорит по-немецки, перед чужими не совестно. Володя тогда, я видела, давился от смеха...»

— ...Ах, я всегда говорил! Я два раза говорил в прошлом году, что нужно послать ему хотя бы мою старую беличью шубу! Но разве в этом доме слушают то, что я говорю!

— Ты забываешь, что эта старая шуба очень может пригодиться, через год я себе сделаю из нее шлафрок.

Кроме того, удобно ли делать подарки, если человек — ссыльный! Это ты тоже забыл!

— Ссыльный, ссыльный! Вот и ссыльный! Sonderbares Land, verrücktes Land! [1] — сердито сказал генерал.

Но, взглянув на жену, он смягчился: очень любил свою генеральшу, не верил ходившим о ней когда-то сплетням и считал ее неоцененной женщиной.

— Я тебе сделаю новый шлафрок, не из старой шубы,— сказал он.— И у самого лучшего портного! Но пусть сейчас же все приготовят к моему отъезду.

Он подошел к жене и поцеловал ее в лоб. Валя с удивленной улыбкой на них смотрела. Ей было и странно, и смешно, что родители целуются,— выходило так, словно они насмехались над ней и над Володей.

III

Валя вернулась в свою комнату, все обдумывая план. «Как только папа уедет, обратиться к маме, сказать, что трагедия не какая-нибудь гадкая, французская, что сочинитель состоит в Санкт-Петербурге при императорской Академии Наук (так было написано на обложке трагедии), что его сочинения ставили при покойной государыне на театре в шляхетском корпусе. Мама согласится. Тогда потребовать денег три рубли, меньше нельзя: атласу зеленого шесть аршин и алой камлотовой платок... Не даст! — со вздохом подумала Валя,— скажет, что можно без костюма, или велит перешить бабушкин роброн!.. Это чтобы Маруська хохотала! Ну, хорошо, тогда согласиться: главное, чтобы позволили. А потом, когда папа вернется из Пелыма, попросить денег у него. Ежели этот злющий старик там не очень раскричится, папа приедет веселый, немного поворчит и даст деньги...» Она представила себе речь отца: «сие есть не ошень прилишно, штоп молоденькая девица...», и засмеялась.

В ней ничего немецкого не было. В городе злые языки говорили, что ее отцом был русский офицер, известный повеса, с которым нынешняя генеральша когда-то в Петербурге часто ездила на *Крештофский*. Слухи эти доходили и до Вали; они были и неприятны ей, и порою не совсем неприятны. Она себя считала русской и сибирячкой. Ей

[1] Странная страна, проклятая страна! *(нем.)*

было и смешно, и немного стыдно, что ее родители — немцы, плохо владеющие русским языком.

На любительском театре ставилась трагедия Михайлы Ломоносова: «Тамира и Селим». Роль Селима, царевича багдатского, была сразу, почти без споров, отведена Володе Кривцову. Он был студент недавно основанного в Москве университета, носил студенческий мундир, не столь красивый, сколь редкий, впрочем, пожалуй, даже красивый. И сам он был очень красив; в него были влюблены все барышни города, в их числе, и больше всех, Валя. Ни один из местных захудалых офицеров с ним и в сравнение не мог идти. Володя это знал и что-то не очень спешил в Москву учиться, затянув до зимы свой вакационный отпуск. За роль Тамиры, царевны крымской, дочери Муметовой и возлюбленной Селимовой, шла жестокая борьба между Валей и Марусей Полуяровой, дочерью бывшего рентмейстера. Валя одержала верх и по положению, как дочь генерала, и по наружности, хотя Маруся указывала на то, что блондинка не должна играть крымскую царевну, которая наверное была претемная брюнетка. Этот довод был отвергнут всеми участниками спектакля, и Марусе с зубовным скрежетом пришлось довольствоваться ролью Клеоны, мамки Тамириной.

С родителями были нелады и у Маруси, и репетиции пока шли в тайне. К ним все актеры дома в одиночку разучивали свои роли. Валя стала перед большим венецийским трюмо, и принялась читать,— по тоненькой, хорошо изданной на комментарной заморской бумаге книжке. Читала она и за Селима: это ей доставляло еще больше удовольствия, чем ее собственная роль; однако учить наизусть всю Селимову роль было незачем. Селим с жаром, голосом Володи, говорил:

...Приятностей твоих везде мне блеск сияет;
Тобой исполнен я и в яве, и во сне.
Недвижимый мой дух и крепость оставляет,
Я больше уж себя не нахожу во мне.
На горькое смотря, дражайшая, мученье,
Поверь, что мой живот в любезной сей руке!

В этих последних стихах Володя и громовым голосом, и сильными жестами, и отчаянным выражением лица вызывал дружные рукоплескания почти у всех участников спектакля. Шипел только его давний недоброжелатель, поручик Шепелев, игравший роль гордого Мамая, царя Татарского. Да еще исподтишка шипела, впрочем, восторгаясь, Клеона, мамка Тамирина: слова Селима относились к Тамире. Ясно

было, что наибольший успех достанется Володе. Он, если не врал, был знаком и с сочинителем трагедии, которого видел в Москве в их университете. Володя вообще знал много известных людей, и сам был человек вполне столичный... Валя сделала паузу и прочла страдальческим шепотом, с швермереей [1], свой ответ:

Какое дать могу тебе я облегченье,
В лютейшей будучи погружена тоске?

Она взглянула на себя в зеркало. Швермерея ей удавалась, но ее румяное личико с трудом выражало лютейшую тоску. Если б не этот глупый румянец, если б лицо было *матово-бледное*, роль Тамиры вышла бы иначе,— да и многое другое в жизни! Валя, замирая, подумала, что дерзкий Володька грозил в той сцене, где Тамира пытается заколоться кинжалом, поцеловать ее «прямо в губки, не взирая ни на какой скандал». В губы они еще никогда не целовались... «Ежели мама денег не даст, что ж делать, обойдусь без алого платка. Своих есть семьдесят копеек, рубль даст няня, на камлот хватит, а доброна, хоть убей, не возьму!.. И сердце Володе отдать раз на всю жизнь, чтобы любить друг друга пребезмерно...» Алый платок мог быть все же очень для этого полезен. Она погрузилась в расчеты.

IV

В генеральском доме Михайлова не накормили и не предложили ему переночевать. Напротив, велено было выехать в Пелым через два часа,— обещали за него сговориться с ямщиком-вогулом. Михайлов погулял по городу, презрительно поглядывая на дома, лавки, женские наряды. Не рассчитывая получить на генеральской кухне провизии в дорогу, он купил калачей, жареной дичи, пирогов, чего-то еще, а на водку истратил весь данный ему генералом полтинник и немало доложил из кормовых. О пуншевой здесь мечтать не приходилось, но и обыкновенная кизлярская стоила дорого. Зато дичь была дешева.

Его предупредили, что путешествовать в Пелым придется на собаках, но он все не мог этому поверить. Однако у крыльца служб генеральского дома уже стояли деревянные, с березовыми полозьями, сани, запряженные десятью

[1] Мечтательность (*нем.* Schwärmerei).

похожими на волков собаками, привязанными попарно к ремню далеко впереди саней. Низкорослый, узкоглазый человек с бородкой, с выдающимися скулами, в оленьей шкуре, с большим колом в руке, низко в пояс поклонился курьеру. Поклон доставил Михайлову удовольствие, но вид ямщика доверия ему не внушил: ежели заснешь, может зарезать очень просто. Пошептался с провожавшим его сторожем, тот расхохотался и сказал, что честнее и добрее вогула на свете не сыщешь человека: не то, что не убьет, а мухи не обидит.

Ямщик, говоривший на ломаном русском языке, усадил Михайлова в сани и сложил туда его пожитки. В санях лежало и добро ямщика: пищаль, один мешок с сырой рыбой, другой с морожеными пельменями, постукивавшими в мешке, как погремушки. Затем он ловко отрезал от шкуры небольшой кусок, вырвал по шерстинке у каждой собаки и прикрепил все к дереву. Сторож объяснил, что вогул так поручает себя своему богу, Воршуду.

Курьер смотрел на ямщика с испугом. Соседство с некрещенным человеком было неприятно Михайлову, но, к его удивлению, ямщик с ним не сел. Никаких возжей на собаках не было. Вогул стал одной ногой на полоз, оттолкнулся от земли колом и прикрикнул на собак. Сани тронулись, выехали за заставу и понеслись. Михайлов не сразу понял, что вогул так всю дорогу и простоит на полозе. Он то отталкивался колом от земли, то им же тормозил сани, то бросал им в ленивую собаку, ловко нагибался и ловил на земле кол. Время от времени он необыкновенно похоже рычал по-звериному (Михайлов всякий раз вздрагивал и с ужасом оглядывался) или выкрикивал непонятные слова,— собачий вой после этого становился совершенно исступленным: ямщик обманывал собак, пугая их близостью зверя или обещая им впереди отдых и еду. Михайлову казалось, что он несется на взбесившихся животных, которыми правит сошедший с ума звероподобный человек.

После пятидесятиверстного пробега, они остановились у *поварни*. Вогул соскочил с полоза, опять поклонился в пояс и помог выйти окоченевшему, несмотря на ситцевое белье, кожаную куртку, шубу и валенки, одуревшему от крика, лая, визга Михайлову. Юрта была наполовину завалена дровами. Вогул вытащил из саней мешки, развел огонь тоже как-то не по человечески, растопил снег в котелке и бросил в мутноватую воду большую горсть пельменей. Затем вышел к отчаянно лаявшим собакам, накормил

их сырой, мороженой рыбой и вернулся в юрту, из трубы которой уже валил белый дым с искрами.

Михайлов предложил вогулу своей еды и водки. От калачей ямщик отказался, а стакан водки выпил залпом. «Ничего пьет»,— подумал сочувственно курьер. Его внимание заняла вынутая из мешка с пельменями фляжка. «Если простая, то зачем вытащил, когда угощают!..» На мгновение у него шевельнулась дикая мысль: что, если во фляжке пуншевая? Вогул налил в жестяной стакан странно-знакомо пахнувшей жидкости и угостил курьера. Михайлов осторожно попробовал и сплюнул с отвращением — это был скипидар.

Они поели супа, мороженой дичи, поговорили. Отвечая на вопросы Михайлова, ямщик сказал, что он собственно и не вогул, что отцы его пришли сюда из другой земли, а из какой, не мог объяснить; поселились они сначала у вотяков, потом у вогулов,— у них не принято долго жить на одной земле, это приносит несчастье, мрет скотина. Михайлов выразил недоумение, зачем ямщик пьет дрянь, когда есть водка. «Чем скипидар, уж лучше пить воду»,— сказал он с отвращением. Выяснилось, что воды ямщик никогда не пьет, так как в воде живет очень важный бог,— он назвал имя этого бога.— «Ну, а мыться как? В баню ежели сходить?» — насмешливо спросил Михайлов и узнал, что ямщик никогда не моется: большой грех пачкать воду. «То-то от него такой дух»,— подумал курьер и с любопытством продолжал расспрашивать. Но услышав, что умершая сестра ямщика превратилась на том свете в лихорадку, так как в этой жизни была старой девой, прекратил расспросы. «Совсем дурак!» — подумал он.

Юрта быстро обогрелась. Ямщик, не выносивший тепла, вышел к собакам и заговорил с ними; по-видимому, они хорошо понимали друг друга. Когда собаки отдохнули, дикий бег возобновился.

В последней юрте перед Пелымом Михайлов допил остаток водки, хоть перед отъездом казалось, что ее должно хватить на месяц пути. После этого он задремал в санях. Когда ямщик его разбудил, сани стояли перед остроконечным бревенчатым забором. У ворот была караульня. Из нее вышел дежурный. Ямщик поклонился ему в пояс и помог выйти из саней курьеру, у которого одеревенели ноги.

Через несколько минут Михайлов отошел. В караульном домике было тепло. На столе кипел самовар. Дежурный осведомился о подорожной, но не потребовал ее сразу.

Узнав, что курьер привез из Петербурга пакет, разговорился и предложил выпить чаю. Порядки в этой крепости, видимо, не опасавшейся нападения ниоткуда, были нестрогие. Михайлов отвечал на вопросы дежурного без таинственной важности. С наслаждением чувствовал, что ничего не отморозил, что впереди долгий отдых, тепло, настоящий обед. Все же от ответа на вопрос, с чем приехал, уклонился, понимая, что такое известие надо сообщить первым. Расспрашивая о крепости, о коменданте, о порядках, вскользь осведомился, где же тут помещается *ссыльный Миних*. Дежурный отвечал без интереса: Миних был достопримечательностью Пелыма, но был ею уже двадцать лет, и здесь все к нему давным-давно привыкли.

— Что ж, *он* теперь дома?

— Сейчас верно детей учит. Он у нашего купца в учителях. А может, уже и вернулся. Тебе зачем?

— Дело есть,— небрежно ответил курьер, преодолевая желание огорошить дежурного своим известием. Дежурный посмотрел на него с удивлением.

— С делом к нему не полагается,— сказал он, насторожившись.

Курьер улыбнулся, допил чай, встал с лавки, поблагодарил за гостеприимство и вышел к вогулу, который беседовал с собаками: не счел нужным зайти в караульню погреться. Сани тронулись. «Городишка, как будто, дрянной, не лучше большого села»,— подумал Михайлов. Показались худые дворы, дома с заваленными снегом берестовыми крышами. Пелымские собаки ответили бешеным лаем на вой собак ямщика. Стали выбегать ребята. «Сенацкий курьер»! — прокричал чей-то испуганный голос. Мальчишки бежали за санями. Курьер спросил у них, где тут живет ссыльный Миних.— «Да вот где»,— указали они. Михайлов удивился: уж очень небогат был этот дом для человека, которого именовали его высокопревосходительством, графом и господином фельдмаршалом.

Курьер велел вогулу остановиться, не доезжая дома, вышел из саней, поднялся на грубо сколоченное бревенчатое крыльцо и постучал в дверь. Отворила женщина, как будто не совсем барыня, но как будто и не баба. «Кухарка-сударка»,— решил Михайлов и неуверенно поклонился не как барыне, но и не как бабе. С недоумением на него глядя, она его впустила в небольшие сени с некрашеным деревянным полом. Образов не было. Михайлов вынул па-

кет и громко, отчетливо произнес заранее, еще в дороге, приготовленную фразу:

— Его сиятельству, графу Миниху!

В сенях появился осанистый красивый человек с пудреной головой, высокого роста, державшийся прямо, несмотря на свою глубокую старость. На нем был французский кафтан малинового цвета, с камзолом. Михайлов тотчас понял, что это и есть фельдмаршал. Он молча поклонился в пояс и вручил пакет старику. Миних кивнул головой, сказал: «Здравствуй, братец»,— и неторопливо распечатал пакет. Руки у него немного дрожали.— «Ты, верно, озяб?» — спросил он и прочитал бумагу. В сенях было не очень светло. Все молчали: и фельдмаршал, и курьер, и женщина, застывшая с выпученными глазами. Лицо Миниха было бледно. Он подвинулся поближе к окошку и снова прочел бумагу. Затем протянул ее женщине, которая, видимо, не могла выговорить ни слова.

— Так, так,— сказал он самым обыкновенным тоном и обратился к курьеру.— Ну, спасибо, братец. Ты, верно, озяб и проголодался? У нас сегодня уха.— Он вздохнул, засмеялся, снова повторил: «так, так», и направился в соседнюю комнату. У двери на секунду было остановился и как-то неестественно взялся рукой за ручку,— точно тяжело оперся. Курьер хотел было к нему подбежать, но не успел. Миних отворил дверь и вышел.

V

Через час стали приходить гости, видные пелымские люди, говорившие волжским говорком: потомки угличан, переселенных в Пелым Борисом Годуновым в наказание за убийство царевича Димитрия. Почти все, кланяясь и прося не побрезговать, подносили подарки: кто беличий мех, кто банку икры, кто бочонок кедрового масла. Явился, в мундире, при кавалериях, комендант крепости, но войти не решился и лишь просил передать его сиятельству, что хотел засвидетельствовать нижайшее почтение, а обеспокоить не осмелился, думая, что его сиятельство, быть может, почивает.

Михайлову предлагали ночлег в крепости, но он предпочел остаться у фельдмаршала: при доме была большая баня, ему отвели предбанник. Немного тревожило его, что награды пока не дали никакой. Местные люди, правда, ему сказали, чтобы он был покоен: сейчас и дать-то не из чего,

их сиятельству комендантом выдается по рублю кормовых денег в день.— «А потом в обиде не останешься! Хочешь, за двадцать пять рублей откупаю у тебя награду?» — сказал купец, сыну которого Миних давал уроки математики. Михайлов слушал внимательно и не то, чтобы не верил, но предпочел бы получить хоть пятнадцать рублей наличными сейчас,— господа ненадежный народ: «пиши долг на двери, а получать будешь в Твери».

Гости, видимо, вначале не знали, как себя теперь держать и как их примут. Но принимали их хорошо, хоть фельдмаршал не показывался: только велел всех душевно благодарить. О нем шепотом говорили, что он заперся в своей комнате и чувствует себя худо. «Как бы не помер», — подумал Михайлов, успевший и соснуть, и слегка закусить: он видел, что готовится большое угощение.

Действительно, под вечер в бане, в предбаннике и на кухне начался пир. От хозяев дали лучшее, что было в доме: икру, белужью тешку; рыбу из *тумана* на Тавде, щи с завитками. Купец притащил бочонок кизлярской водки, множество бутылок разных вин: в городке нашлось и цымлянское, и даже венгерское.

Погода все ухудшалась. Ямщик, которого по долгу гостеприимства нехотя пригласили в баню, сказал, что будет метель. Он оставался в доме недолго: чувствовал себя лишним, да ему было и тяжко в натопленном помещении: устроился с собаками в берестовом шалаше, саженях в двадцати от дома. Купец на радостях дал ему икры и бутылку вина. Вогул сходил в лавку, обменял вино на скипидар, вернулся в шалаш, выбросил икру, доел пельмени, запил скипидаром и завалился спать: собирался завтра же с зарей выехать назад в город.

Пели «обнимай сосед соседа, подливай сосед соседу»... Пьяный, ошалевший от восторга купец обнял Михайлова, подарил ему рубль и сказал доверительно, как другу, что теперь надеется получить чин коллежского советника. В это время дверь отворилась и в предбанник неожиданно вошел старый фельдмаршал. Все вскочили. Купец хотел было поцеловать ручку, но Миних не дал, только, смеясь, потрепал купца по плечу. «Эх, осанка какая! А вчера учил детей!» — подумал Михайлов. Граф Миних всех благодарил, выпил за общее здоровье рюмку вина и удалился. После его ухода довольным честью гостям стало еще веселее.

VI

Немец-генерал прибыл вечером, измученный поездкой и весьма расстроенный: догадывался, что встреча и разговор будут неприятные. Он сначала заехал к коменданту, привел себя в порядок, затем отправился в дом Миниха. Его заставили прождать в сенях минут пять, хозяин к нему не вышел, прислал просить в кабинет. Но и в кабинете никого не оказалось, и генерал ждал еще несколько минут. Он нервно ходил по небольшой, бедно обставленной комнате, рассеянно глядя на белые некрашенные книжные полки. Здесь были труды на разных языках по военному и инженерному делу, по математике, по истории, груды ведомостей, исписанные листы, тетради.

Миних вошел очень мрачный, поздоровался сухо, еще суше принял поздравления. На немецкое приветствие ответил по-русски; генерал смущенно перешел на русский язык; сказал, что всегда в меру возможного делал все от него зависевшее, но приказ для военного человека свят, не так ли? На это фельдмаршал ничего не ответил. Генерал смущенно спросил, когда его сиятельству угодно будет отбыть в столицу, и не следовало ли бы, в интересах здоровья его сиятельства, подождать установления более теплой погоды. Миних кратко сообщил, что уедет очень скоро, через несколько дней.

— Если бы ваше сиятельство на навигацию подождать хотели, то за ваше сиятельство один трешкоут присылать можно было. Тогда моя жена и я счастливы были бы у нас одному столь знаменитому мужу гостеприимство предлагать, и весь наш дом предоставлять,— нерешительно сказал генерал.

Миних опять ничего не ответил: точно и не слыхал сказанного. Генерал помолчал. Ни чаю, ни вина ему не предлагали. Подавив обиду и раздражение, он вынул перевязанный зеленой ленточкой пакет.

— По русскому обычаю,— сказал он,— моя жена и я хотим вашему сиятельству скромный сувенир подносить. И я так счастлив был, что моей библиотеке сей давний артикул оказался, который ваше сиятельство видеть радовать будет.— Миних смотрел на него с недоумением. Он дернул ленточку и развернул старательно сложенный номер ведомостей; одно сообщение было красиво и необыкновенно ровно обведено красным карандашом.— Указ 11 ноября 1740 года,— значительным тоном сказал он и прочел с внушительными интонациями.

«Генерал-фельдмаршалу графу фон Миниху по вышеписанным обстоятельствам и особливо в рассуждении при нынешнем случае нам, родителям нашим и всему государству оказанной ревности, при которой он, оставляя свое и своей фамилии благополучие и не щадя пота и крови, поступал, дабы он по то время, пока ему Бог живот и силу продолжит, в состоянии был нам ревностные услуги оказать, всемилостивейше пожаловали чин первого министра в наших консилиях, и как он ныне уже первый ранг в империи имеет, то ему по генералиссимусе первым в империи быть, при чем и супруге его пред всеми знатнейшими дамами, в том числе и тех принцев, кои невладеющие в нашей службе обретаются, супругами, первенство иметь...»

Генерал остановился, торжественно глядя на собеседника.

— Сие будет меня весьма радовать,— сказал он,— ежели ваше сиятельство эта вещь в презент от меня и моей жены принимает?.. Ежели она у вашего сиятельства не находится?

— Нет, не находится,— ответил, смеясь, Миних,— для того, что, как ведомо вашему превосходительству, я уезжал из Петербурга в кондициях не совсем ординарных. Был приговорен к четвертованию — верно, тоже за *оказанную ревность* — и помилован уже под эшафотом.

Генерал вздохнул, с подобавшим случаю выражением на лице.

— Ах, мой дорогой Бог! — сказал он,— фортуна есть так переменчива. Но есть всем ведомо, что ваше сиятельство тоже тогда десперат [1] не были [2].

— Тогда обо мне никто не вспомнил. Люди любят иметь с фортуной общих приятелей,— сказал весело фельд-

---

[1] В отчаянии (*лат.* desperatus).

[2] Князь Яков Шаховской, отправлявший Миниха в ссылку, в своих «Записках» рассказывает: «В смятенных моих размышлениях пришел я к той казарме, где оный бывший герой (Миних), а ныне наизлосчастнейший находился, чая увидеть его горестью и смятением пораженного. Как только в оную казарму двери передо мною отворены были, то он, стоя тогда у другой стены возле окна ко входу спиною, в тот миг поворотясь в смелом виде с такими быстро растворенными глазами, с какими я его имел случай неоднократно в опасных с неприятелем сражениях порохом окуриваемого видеть, шел ко мне навстречу и приближась, смело смотря на меня, ожидал, что я начну. Я, сколько возмог, не переменяя своего вида, так же как и прежним двум уже отправленным, все подлежащее ему в пристойном виде объявил и довольно приметил, что он боле досаду, нежели печаль и страх на лице своем являл».— *Автор.*

маршал. В знак примирения он положил руку на рукав генерала и перешел на немецкий язык. Миних хорошо говорил по-русски, особенно после двадцатилетнего пребывания в Пелыме; но выражаться на иностранных языках ему было легче. Думал же он смесью четырех или пяти языков: по-русски, по-датски, по-немецки, по-французски.

Хозяин предложил гостю стакан вина. Гость, немного поколебавшись, отказался, несмотря на свою незлобивость: хотя добрые отношения восстановлены, все-таки следовало отметить несправедливость и непозволительность оказанного ему нелюбезного приема. Он поднялся с места. Миних его не удерживал, но до сеней проводил. Генерал быстро прошел по комнате и коридору, стараясь не замечать их убогой обстановки. Прощаясь, хозяин дома вскользь дал понять, что уезжает в Россию без злопамятства и что *никому* ничего опасаться не надо. Хотя генералу не хотелось выходить из быстро им усвоенного тона обиженной стороны, он, услышав это, просиял и крепко пожал руку Миниху, который просил его поблагодарить за подарок супругу.

— Я слышал, что у вас очаровательная дочь. Пожалуйста, поцелуйте ее от меня,— неожиданно сказал он, к некоторому недоумению генерала.— Ей семнадцать лет? Какая счастливица! Ах, если бы мне было семнадцать лет! Но мне больше!.. Я в семнадцать лет попал в Версаль и представлялся Людовику XIV... Так, пожалуйста, не забудьте поцеловать от меня вашу дочь.

— Это был без сомнения великий монарх, Людовик XIV,— сказал генерал.

VII

К ночи поднялся холодный ветер. Начиналась низовая метель. В кабинете, служившем Миниху и спальной, с вечера затопили железную печь. Он весь вечер разбирал бумаги, сжигая то, что не предполагал увозить в Петербург. Иногда пробегал некоторые документы. Иные из них относились к делам мрачным и кровавым. По бумагам скользили тени людей, ушедших давно, так давно, что страшно было и подумать. Петр умер почти сорок лет тому назад, Людовик XIV — почти пятьдесят. Давно сгнили в могиле Мальборо, принц Евгений, Август, Меншиков, Остерман, Шетарди. Но мысленная возня с мертвецами скоро его утомила. Бумаги ему надоели. Миних прилег на диван не раздеваясь и задремал под свист поднимавшейся метели.

Когда он проснулся, была глубокая ночь. Забытая им сальная свеча дымя догорала в подсвечнике. В кабинете было жарко и душно. Он с усилием поднялся с дивана. Голова у него немного кружилась от угара. Приоткрыл окно,— рванул холодный ветер и задул свечу. В кабинет проник лунный свет. Миних надел шубу и вышел на крыльцо.

Пелым давно спал. Была совершенная тишина. Снег несло горизонтально, ниже крыльца. Луна холодно светилась на белых крышах. Ничего не было видно, кроме необозримых, нигде, казалось, не кончающихся снегов.— «Пелым? Какой Пелым? Почему Пелым?» — спросил себя он, точно вчера поселился в этом городке. Ему самому непонятно было, как случилось то, что он, сын немецкого инженера датской службы, после долгих, шумных странствий по разным, почти одинаково близким, почти одинаково чужим землям, оказался на вершинах власти в России, как очутился затем в Пелыме и провел здесь двадцать лет.

И все-таки этот дикий, затерявшийся в снегах городишка был теперь ему ближе, роднее, чем Дания, чем Версаль, даже чем Петербург,— давно сам не знал, где его настоящая родина, и кто он собственно такой: русский? немец? датчанин? «Да, почему Пелым? До шестидесяти лет и не слыхал никогда о таком месте, а в последние годы, еще вчера, был уверен, что здесь буду погребен...» Невольно взглянул в сторону занесенного снегом кладбища. «Ускользнул! Здесь лежать не буду!.. Пусть же мертвые хоронят мертвых! Разумеется, странно, что в восемьдесят лет начинается еще какая-то новая жизнь. Но главное — жизнь! Чтобы переменить кладбище, не стоило выходить из могилы...»

Подумал о новом государе: что за человек? похож ли на *того* Петра? Будет ли продолжать его дело, *их* дело? Размышляя в ссылке о прошлом, Миних открыл причину своего величия и падения: будучи пришельцем, старался, вслед за Петром, преобразовать чужую — все-таки чужую — страну, необозримую и страшную, как эти сибирские снега. По крайней мере, так ему теперь казалось: честолюбие, любовь к власти, непреклонный характер не могли объяснить в его судьбе всего. «Главное было *то*,— подумал он и с неудовольствием заметил, что размышляет о себе в прошедшем времени.— Нет, я не буду греться у печки в Петербурге, не для этого возвращают, и тем лучше, если это *им* неприятно...»

Они были враги, давно считавшие его похороненным заживо. С давно забытой радостью он представил себе их

раздражение и страх. Но тут же подумал, что настоящие враги его почти все давно в могиле. Один Бирон где-то доживал в глуши свою кровавую жизнь. Вспомнил их последнюю театральную встречу на станции, холодный театральный поклон. «Неужели еще придется встретиться и с Бироном? Как же с ним встретиться?» О других не стоило думать: они были немногим лучше сегодняшнего осла с сувениром. «Без врагов скучно жить, надо будет завести себе новых...»

Он так давно ушел из жизни (хоть старался за всем следить по ведомостям), что ему трудно было себе представить новое царствование, новых людей, новый Петербург: пелымских купцов теперь знал неизмеримо лучше, чем нового государя или новую армию. Почти с бешенством он думал, что за эти украденные у него, вычеркнутые из его жизни двадцать лет мог бы, находясь у власти, перевернуть Россию! Думал, что все-таки еще не поздно, что на месте быстро во всем разберется, что будет дальше, до конца, до последней минуты, делать свое дело. И еще о многом другом думал граф Миних, глядя в ту ночь с крыльца на спящий под снегом, забытый Богом Пелым... Метель уже неслась выше уровня крыльца. В шалаше вогул, почувствовавший во сне наступление снежной бури, проснулся, вскочил, чтобы помолиться Воршуду о своей несчастной, превратившейся в лихорадку, сестре, и спросонья, с ужасом, красными от скипидара глазами уставился на освещенную луной огромную фигуру, точно всплывавшую из снежного вихря.

VIII

Над Петербургом стояла волшебная белая ночь. В саду при особняке на Мойке пышно цвела сирень, еще доцветала черемуха, и смешанный аромат их, ни с чем несравнимый по прелести, изнурял жильцов дома, вызывая головную боль и бессонницу. Профессор Ломоносов давно перешел из спальной в небольшую комнату рядом с кабинетом. Но и там спал очень плохо. Было жарко и душно, сладкий запах его преследовал. Давала себя чувствовать и боль в ногах, оставшаяся от недавней тяжкой болезни,— не надеялся было выздороветь. Он долго ворочался на диване, вставал, подходил, морщась от боли, к окну, садился там с книгой,— читать можно было без свечи, единственное в мире волшебство,— но не читал и, посидев, снова возвра-

щался на диван. Эта ноющая, тупая, нудная боль одинаково мешала и сну, и работе. Вернувшись в пятый или шестой раз, решил больше не вставать: все равно. Кроме боли и духоты, мешало заснуть то обилие мыслей, которое составляло и радость, и гордость, и несчастье его жизни,— об этом когда-то стихи написал:

Так я в сей бездне углублен,
Теряюсь, мысльми утомлен...

Теперь все почти мысли, даже сулившие новую славу, были густо окрашены в черный цвет: поздно, едва ли что удастся довести до конца. После болезни стало ясно, что на долгий век рассчитывать нечего. Он старался не думать о смерти и действительно думал о ней не много, а когда думал, то чувствовал не страх и не отчаяние, а раздражение, решимость и торопливость: кому-то не поддаться и спешить,— главное спешить, как перед отпуском, когда непременно накапливаются важные срочные дела. В последнее время люди, с которыми проходила его жизнь, стали умирать как будто уж очень часто, и он всякий раз испытывал то же чувство: скорей похоронить, не думать — и торопиться: отрывают от важного дела.

В эту ночь он, замученный непрекращающейся болью, почувствовал, что окончательный отпуск близок. Мозговая машина, крепко заведенная с вечера, не могла и не хотела остановиться. Мысли вертелись беспорядочно, им не было конца. Нужно закончить работу над катадиоптрической трубой об одном зеркале,— заодно вспомнил и о своей старой ночезрительной трубе, и над ней надо бы еще поработать. Следовало непременно улучшить и анемометр, указывающий скорость и сторону ветра. Недокончен был план исследования вязкости жидких материй по числу капель. Хотел бы довести до конца рассуждения о происхождении кометовых хвостов, об электрических воздушных явлениях, о выходе каменного угля из торфяников, о причинах северного сияния, о кристаллах, о подземном огне, о натуре цветов, о произведении теплоты. Опять подумал, что огонь Аристотельской или, как говорили новые ученые, теплотворная материя, скитающаяся без малейшей причины из тела в тело, один только вымысел: на самом же деле теплота есть коловратное движение частиц, образующих всякую материю. Затем снова вернулся к своим трубам,— подумал со злобой, что академическая обсерватория и теперь служит больше к профессорским ссорам, чем к наблюдениям светил и небесных приключений: прохождение Ве-

неры через солнце наблюдать не удалось, исследовал иностранец,— еще слава Богу, что француз, а не немец. Понял, что уж наверное не удастся совершить дальние путешествия, особенно в страны подполярные,— об этом всегда мечтал: был уверен, что можно найти корабельный ход севером в Японию через Сибирский океан, и что предприятие северного мореплавания способствовало бы умножению российского могущества на востоке. Отсюда перебросился мыслью к делам государственным, ко всему тому, что говорил сто раз, о чем еще недавно писал Шувалову: о большем просвещении народа, о истреблении праздности, о исправлении земледелия, о размножении ремесленных дел и художеств, об уничтожении суеверного лечения волшебством и чародейством, о лучших пользах купечества, о торговле с внешними народами, о лесах, о ландкартах, о призыве иностранных поселенцев и вообще обо всем, касающемся пользы русского государства. По этим разным вопросам он не только высказывал суждения, но и предлагал определенные меры. Однако, несмотря на его известность, слушали его мало, а исполняли из того, что он предлагал, еще меньше. Все его раздражало: и большое, и малое, и непорядки в государственных делах, и паутина над лабораторными шкафами; причиной и паутины, и расстройства государственных дел было в сущности одно и то же: невежество, лень, нерадивость, равнодушие к общественной пользе, все, с чем он боролся с молодых лет.

Заснул он в пятом часу, уже совсем не надеясь заснуть. Спал худо, снились инструменты, планы работ, перемешавшиеся так нелепо, что потом было дико вспоминать. Снились и люди: недавно попавший в немилость Шувалов и давно скончавшийся академик Рихман. Они сердились друг на друга. Рихман жаловался, что его вдове платят недостаточную пенсию,— за его заслуги и смерть могли бы платить пощедрее. Шувалов отвечал, что, как ни неприятно это говорить усопшему, госпожа Рихман вышла замуж вторым браком, и ежели дети приняты на казенный счет, то какого ему еще нужно рожна?

Во сне это тоже выходило толково и разумно, а когда проснулся,— непостижимая чепуха: какие-то крючки сцепились в мозгу? За окном было полутемно, в комнате так же душно и так же — или чуть легче? — болела нога. Профессор Ломоносов сел на постель, надел красные сафьянные туфли, подошел к растворенному окну: да, как будто идет к грозе. Вот почему приснился Рихман. Но почему Шувалов? Подумал, что странное дело сны, что следовало

бы поразмыслить об этом в свободное время. Сейчас же было необходимо воспользоваться грозой и повторить опыты Рихмана. Собственно следовало давно: он откладывал очень долго, уступая жене и близким людям. Теперь больше нельзя: отпуск.

Он поспешно умылся, оделся и проделал по своей системе гимнастические упражнения, стараясь не обращать внимания на усилившуюся боль. Телесная сила несомненно шла на убыль. Еще не очень давно студенты академии и гимназисты академической гимназии, когда он бывал в духе, с почтительной завистью его спрашивали, правда ли, будто он гнет подковы и свертывает узлом кочергу. Это ходячее выражение всегда его раздражало; он отвечал, что и подковы, и кочерга бывают разной крепости. Так и теперь, подумал, что можно было бы изобрести прибор, который показывал бы силу точным, математическим способом. Ему тотчас пришли соображения, как следовало бы такой прибор построить; он занес было их в память: «как-нибудь в свободное время»,— но сам усмехнулся: какое уж теперь свободное время! Спросил себя, не уменьшаются ли и умственные силы, и с гордой уверенностью тут же ответил: нет, не уменьшаются,— напротив, и знаний, и мыслей все больше.

Прошел мимо спальной жены на цыпочках, чтобы ее не разбудить: только помешает работе, увидит, что он у прута, и начнется стон; хочет, как Рихман, погубить себя, сожжет и ее, и весь дом. Представил себе, как жена будет кричать все это сначала по-немецки, потом на ужасном русском языке, и поморщился. Он не то недолюбливал жену, потому что она была немка, не то недолюбливал немцев, потому что был женат на немке.

По своему обычаю, первым делом прошел через двор в палату, где шли мозаичные работы. «Полтавская баталия» подвигалась, но не очень быстро. Колеры смальты составлялись по его способам, выработанным посредством бесчисленных опытов в печи. Цильх работал недурно, то, чему он его научил, знал хорошо, но своей сметки не имел ни на грош. Напротив, Матвей Васильев многое схватывал на лету, но химии не знал, вообще не знал ничего и ничему не хотел учиться. Хмуро осмотрел картину: да, подражать камешками и стеклами не так просто, как картиной из масла.

— Составщики могли бы работать лучше. Мастика худо проварена, и вот кусок не прошлифован,— сердито заметил он Цильху. Затем произнес несколько крепких слов, обращаясь преимущественно к Васильеву и не объясняя,

что именно имеет в виду: знал, что тот поймет и без объяснений. Васильев действительно понял и из приличия потупился. Цильх смущенно оправдывался: денег отпускается слишком мало, всего по десяти копеек на фунт, так римского состава не получишь.

— Денег? Да, деньги всего важнее,— с угрюмой усмешкой сказал Ломоносов.— Деньги, что и говорить, наиважнейшее. Но к деньгам не худо иметь и голову.

Вышел из мастерской, хмуро бормоча: «гельд... аржан... ратра... пекуниа... хрэма...» Безденежье было его большим, давним и вечным бедствием. В тысячный раз подумал, что у ничего не делающих вельмож, у иных мошенников-купцов денег куры не клюют, а он всю жизнь прожил, не имея лишней копейки не только для себя, но для опытов, необходимейших России и науке. Эта мысль, при все усиливавшейся раздражительности профессора, привела его тотчас в бешенство.

Остановился на мгновенье, любуясь своим садиком. Злоба его еще усилилась: садовник не подрезал кустов,— «ну, погоди ты, каналья этакая!..» — произнес вслух несколько очень нехороших слов из своего богатого запаса, в котором были слова архангельские, московские, киевские, польские, немецкие и всякие другие, вынесенные из разных скитаний.

В самом мрачном настроении он вошел в дом. В коридоре из двери выглянула Елизавета Андреевна, бывшая Христина Генриховна, и сразу, по виду мужа, по его лицу, по тяжелой походке, поняла, что беспокоить его не нужно; она поспешно затворила дверь. Мужа своего она не знала и не понимала, хоть и очень много лет прошло с той поры, как он, молодым человеком, в Марбурге женился на ней, покрывая грех. Но ей было известно, что, когда он гневен, раздражать его нельзя.

Огромная комната служила и кабинетом, и ботаническим музеем, и физическим институтом, и химической лабораторией. Всюду были заставленные инструментами столы, полки с книгами, со склянками. Превозмогая боль в ногах, Ломоносов взобрался в углу на табурет, выдвинул проведенный через крышу прут, вызывавший, из-за худой молвы о доме, любопытство и недоумение прохожих. Слезть было труднее, чем встать... У него даже исказилось лицо при неосторожном движении. Пошатываясь, подошел к огромному столу, сел в кресло; боль была очень сильна: надо передохнуть. Но сидеть у стола без дела было для него невозможно.

Разыскал в ящике папку, в которой было собрано все, что относилось к смерти академика Рихмана. Тут была и ученая литература, были и вырезки из «Санкт-петербургских ведомостей». Они сначала его удивили: это зачем? «Да, тогда все собрал в память...»

«Никто бы не чаял, чтоб из Америки надлежало ожидать новых наставлений о электрической силе, а однако учинены там наиважнейшие изобретения. В Филадельфии, в Северной Америке, господин Вениамин Франклин столь далеко отважился, что хочет вытягивать из атмосферы тот страшный огонь, который часто целые земли погубляет. А именно делал он опыты, для изведания, не одинакова ли материя молнии и электрической силы, и действие догадку его так подтвердило, что от громовых ударов следующим образом охранять себя можно: на вершинах строений, или кораблей, надлежит утвердить железные востроконечные прутья перпендикулярно поставленные, вышиной от 10 до 12 футов и для охранения от ржи позолоченные, а от нижнего конца прутьев спустить проволоку к подошве строения наземь, или от мачтового каната на кораблях. Как чинили сей опыт в марлийском саду железным прутом, вышиною на 40 футов поставленным и на электризованном теле утвержденным, во время грому, который шел через то место, где был прут, то бывшие при том персоны вытянули такие искры и движения, которые подобны тем, кои производятся обыкновенною электрическою силою. В Париже 18 мая из утвержденного на 99 футов вышиною и в виноградном саду поставленного прута вытягивали многие искры чрез полчаса и более в то самое время, тогда как густая туча стояла над тем местом. Сии искры совершенно походили на исходящий из фузеи огонь и причиняли такой же стук и такую же опасность. Другими опытами тоже подтверждено, и явилось, что с помощью востроконечных прутов у громовых туч огонь отнять можно».

Во второй вырезке был газетный отчет о смерти Рихмана: «В сенях дома стоял шкаф вышиной в 4 фута, на котором учреждена была машина для примечания электрической силы, называемая указатель электрической, с железным прутом толщиною в палец, а длиною в 1 фут, которого нижний конец опущен был в наполненный отчасти медными опилками хрустальный стакан. К сему пруту с кровли оного дома проведена была сквозь сени под потолком тонкая железная проволока. Когда г. профессор, посмотревши на указателя электрического, рассудил, что гром еще далеко отстоит, то уверил он грыдоровального мастера Со-

колова, что теперь нет еще никакой опасности, однако, когда подойдет очень близко, то де может быть опасность. Вскоре после того, как г. профессор, отстоя на фут от железного прута, смотрел на указателя электрического, увидел помянутой Соколов, что из прута, без всякого прикосновения, вышел бледно-синеватый огненный клуб, с кулак величиною, шел прямо ко лбу г. профессора, который в самое то время, не издав ни малого голосу, упал назад на стоящий позади его у стены сундук. В самый же тот момент последовал такой удар, будто бы из малой пушки выпалено было, отчего и оной грыдоровальной мастер упал на земль и почувствовал на спине у себя некоторые удары, о которых после усмотрено, что оные произошли от изорванной проволоки, которая у него на кафтане с плеч до фалд оставила знатные горелые полосы. Как оной грыдоровальной мастер опять встал и за оглушением оперся на шкаф, то не мог он от дыму видеть лица г. профессора и думал, что он только упал, как и он; а понеже, видя дым, подумал он, что молния не зажгла ли дому, то выбежал, будучи еще в беспамятстве, на улицу и объявил о том стоящему недалеко оттуда пикету»...

«За чудо надо почитать, что сам тогда жив остался»,— подумал Ломоносов. Он в тот день производил точно такой же опыт, изучая цвет искр — из-за этого у него с Рихманом был спор. Оба, заметив в первом часу дня, что от норда поднялась громовая туча, бросились по домам, каждый к своему аппарату. И только он отошел от своего прута,— жена закричала, что простынут щи,— как прибежал, запыхавшись, человек Рихмана и объявил, что профессора зашибло громом. «Может, сегодня мой черед. Лучше смерти и быть не может...»

Встал и подошел к своему прибору, соединил цепь, приготовил электрический указатель, фосфорический барометр, маленький сосуд с нефтью, поставленный для пробы: не загорится ли? Не хватало только грозы. Снова подошел к окну, взглянул на небо. «Ох, кажется, проносит!» — подумал он и с досадой, и с невольным облегчением.

IX

Шагах в десяти от окна кто-то радостно замахал шляпой, закивал головой. Это был товарищ по академии Штелин, ординарный профессор элоквенции и царский библиотекариус.

— Здравствуйте, Яков Яковлевич,— угрюмо сказал профессор Ломоносов.— Ко мне? Просим милости.

Приготовил приветливую улыбку, пока гость проходил через сени. Впрочем, в визите профессора Штелина ничего неприятного не было,— разве только, что отрывал от работы. Этот любезный, благодушный, всегда веселый человек был из немцев наилучший: никогда ни под кого не подкапывался, от интриг держался в стороне, русских не задевал и не презирал. Немцы академии даже сердились на него за то, что он поддерживает дружеские отношения с русской партией и с ее главой: ворчали, что он старается дружить со всеми, так как будущее никому неизвестно.

Это было неверно. Профессор Штелин, как все, отстаивал свои интересы, но ни к кому особенно не подлаживался. Отличаясь по природе чрезвычайной благожелательностью, он был вполне убежден, что под солнцем есть достаточно места для всех, и что уже для него-то, во всяком случае, место под солнцем найдется, и даже очень хорошее место. Так оно в самом деле и было.

Он не выносил не только ссор, но даже простых споров: всегда чувствовал непреодолимую потребность согласиться с собеседником, с кем бы ни разговаривал, пока разговаривал. Случалось, что на следующий день профессор Штелин соглашался с человеком, высказывавшим мнение противоположное. Но этого он не замечал, не придавая большого значения ни своим, ни чужим словам. А если бы кто обратил его внимание на противоречие, то и с этим он тотчас вполне охотно согласился бы: да, разумеется, противоречие,— и первый посмеялся бы весьма благодушно. Профессор Штелин был счастливый человек. Все его считали своим и все любили за незлобивость, за редкую услужливость, и за то, что всем он внушал бодрое настроение: никаких бед на свете не существует, это все выдумки, впрочем, выдумки милых людей.

— Пришел проведать болящего, а нахожу здорового Михайлу Васильевича, и слава Богу! Зачем хворать? — сказал весело профессор Штелин, входя в кабинет, по своему обыкновению чуть горбясь и потирая руки. Он радостно поздоровался и подробно расспросил Михайлу Васильевича о здоровье: всегда твердо помнил, кто чем болен или на что жалуется. Сказал, что боль в ноге это пустое; вот ежели бы болело сердце, тогда было бы другое дело. Ломоносов, больше для того, чтобы смутить гостя, вставил, что болит и сердце. Но профессор Штелин не смутился

и признал это также совершенно неопасным: хорошо бы прикладывать компрессы loco dolenti [1]. Справился о здоровье Елизаветы Андреевны и выразил полное удовлетворение по случаю того, что она чувствует себя не худо. От чаю гость отказался, кофей назвал вредным напитком модников,— more majorum [2] согласился *испить стаканчик пивца:* собственно, пить с утра пиво ему не хотелось; однако, очень давно живя в России, он знал, что русские люди не могут не угощать, в какой бы час дня к ним ни явиться: кроме того, думал, что самому Михайле Васильевичу будет приятно воспользоваться предлогом и выпить: как все немцы, считал Ломоносова пьяницей. Пусть же лучше пьет пивцо, чем водку.

Они выпили пива и поговорили. Профессор Штелин рассказывал новости, которых у него всегда было много. Сообщил, несколько понизив голос, что отношения между его величеством и ее величеством, к несчастью, становятся все хуже: ежели дело так пойдет дальше, то можно ждать для ее величества самых дурных последствий. При этом вопросительно смотрел на Михайлу Васильевича. Ломоносов, однако, своего мнения не высказал. Затем профессор Штелин сказал, что у императора сейчас находится в большой милости вернувшийся недавно из Сибири граф Буркгардт фон-Миних.— Fortuna vitrea est! [3] Все составляет прожекты и, по слухам, весьма дельные. Император пытался примирить его с герцогом Бироном, тоже теперь возвращенным: пригласил их обоих во дворец, велел подать вина и вышел, как бы невзначай в соседнюю комнату, чтобы оставить их наедине, дать им возможность объясниться и закончить давнюю вражду. Однако, когда его величество вернулся, то нашел комнату пустой, а вино в бокалах нетронутым.

— Каковы старцы! Особенно граф Миних, ему за восемьдесят, а он здоровее нас с вами,— сказал, смеясь, профессор Штелин и тотчас согласился с Ломоносовым в том, что граф Миних был человек весьма замечательный.— Великий муж! — решительно заявил он. О Бироне хозяин отозвался, напротив, отборно-бранными словами, гость поддакнул, но очень бегло: не любил ни этих слов, ни таких отзывов.

---

[1] К больному месту *(лат.)*.
[2] По обычаю предков *(лат.)*.
[3] Судьба — вещь хрупкая *(лат.)*.

— Non decet[1], Михайла Васильевич, non decet,— слабо смеясь, сказал он и, чтобы перевести разговор, рассказал анекдот о Петре Великом; профессор Штелин собирал эти анекдоты и надеялся найти для них издателя на выгодных условиях. Затем сообщил академические новости, посмеялся без злобы над врагами Михайлы Васильевича и сказал, что, пока Михайла Васильевич к делам не вернется, порядка в академии не будет. Хотя Ломоносов знал цену любезностям гостя, слова эти были ему приятны, а новости интересны,— сам дивился: какая чепуха занимает, когда следовало бы думать о предметах важных.

Затем профессор Штелин перешел к погоде: «Воздух-то как охолодел, Михайла Васильевич!» — и все не объяснял, для чего пришел. Хозяин предполагал, что у него есть дело; впрочем, при любезности Штелина, мог зайти и *так*, именно чтобы проведать болящего. На вопрос, как с производством в статские советники, профессор Штелин ответил несколько уклончиво: не любил особенно распространяться о своих успехах, зная, что, по человеческой слабости, это может быть другим не совсем приятно: вот и Михайле Васильевичу, конечно, хотелось бы получить повышение в чине; с другой же стороны, думал, что до производства лучше людям ничего не говорить,— вдруг испортят дело, тоже по человеческой слабости: если сообщить, может быть вред; а если не сообщать, то никак вреда быть не может.

Он встал, потирая руки, подошел к рабочему столу и стал расспрашивать о приборах: отчасти опять, чтобы перевести разговор, отчасти из искренней любознательности: был и сам человек очень образованный. Имел ученые работы о состоянии турецкого двора, о бардах или первых поэтах древних германцев, о свадебных обрядах у древних жидов, греков, римлян и других народов, о размножении рыбы крошицы, обыкновенно здесь форель называемой, такожде и лососей,— эта еще не была закончена. Был также хороший версмахер и метер дес инскрипционс[2]. Профессор Штелин слушал объяснения, потирал руки от удовольствия,— вот как хорошо работает Михайла Васильевич,— и говорил комплименты.

— Люблю, когда люди имеют интерес к разным музам. Pauciquos aequs amavit Jupiter[3],— сказал он.— Но вы, Ми-

[1] Не подобает *(лат.)*.

[2] Стихотворец и сочинитель надписей *(нем., франц.*— versmacher, maître des inscriptions).

[3] Мало кого одного любит Юпитер *(лат.)*.

хайла Васильевич, наряду с упражнениями в физике, занимаетесь и высокой литературой, и элоквенцией, и грамматикой, описываете древность российского народа и славные дела наших государей!

— Настоящее мое упражнение: физика, химия, металлургия и прочее к ним относящееся,— сказал угрюмо Ломоносов, впрочем, и тут не оставшийся нечувствительным к похвалам.— А другое это забава. Человек желает успокоения от трудов, иной ищет себе провождения времени картами, шашками, бильярдом и другими забавами. От него я уже давно отказался затем, что нашел в них одну скуку. А до смерти надо мне закончить мои химические труды, в которых я столь много лет упражняюсь. Бесплодно потерять их мне будет несносное мучение.

— Сие будет мучение для всей России, в тот день все музы оделись бы в траур! — подхватил профессор Штелин.

Сами того не замечая, они, обратившись к предметам возвышенным, стали выражаться литературным языком, как и учил Михайла Васильевич; до того говорили больше штилем средним,— не надутым и не подлым. Впрочем, хозяин иногда впадал и в штиль самый подлый: произносил раздраженно такие слова, что профессор Штелин только махал руками, слабо смеялся и повторял:

— Non decet, Михайла Васильевич, non decet.

Просидев с полчаса, он, наконец, перешел к своему делу. Ему поручено было руководить празднествами по случаю предстоящего коронования. Профессор Штелин очень желал привлечь к этому и Ломоносова, с которым, случалось, работал в таких делах и прежде, хоть не всегда вполне гладко.

— Вам памятно, Михайла Васильевич,— сказал он,— что я ведал и коронацией покойной государыни. Завел тогда оперу «Милосердие Титово», сам написал к ней пролог, сам играл при лютне на флейте траверсе, сам учинил план к фейерверку иллюминации, сам писал артикулы в «Ведомости»...

— Так зачем же вам я? — сердито перебил его Ломоносов, выразившись более крепкими словами. Профессор Штелин слабо засмеялся, но не сказал «non decet», так как не надо часто повторять одно и то же. Грубость собеседника была ему тягостна. Он несколько холоднее обычного объяснил, что химическую материю знает недостаточно, что вспоможение Михайлы Васильевича может быть очень полезно и что за это вспоможение заплатят хорошие деньги.

— Хорошие деньги, гельд, аржан, хрэма,— пробормотал профессор Ломоносов. Деньги после болезни были ему очень нужны. Они — в среднем штиле — сговорились об условиях и перешли к обсуждению проекта. Штелин стоял на том, чтобы особенно себе головы не ломать, а взять, что можно, из старых проектов, кое-что обновив, изменив и переделав сообразно с обстоятельствами.— «Идея всегда одна: бывшая в печали Россия ныне паки обрадована»,— пояснил он и вкратце — высоким штилем — изложил свой план. Не изобразить ли на иллюминационном театре башню с бойницами и пушками, и чтобы из-за башни выходил корабль, при дующих в парусы зефирах, при увеселительных звучных огнях, при пушечной пальбе, при трубящих тритонах, при играпии на трумпетах?[1] И еще можно было бы тут представить Добродетель, в виде крылатого дитяти с лавровыми венцами, или Надежду наподобие женщины с надписью: «Не подвигнусь».

Ломоносов слушал внимательно, задача тотчас его заинтересовала. Но план Штелина ему не очень нравился. Сказал, что душа не лежит к трумпетам и к пушечной пальбе: войн было довольно при покойной государыне, не лучше ли наметить дух нового царствования фигурами не воинскими, а мирными? России более всего нужны мир и работа. Изобразить бы великий русский Колосс, и по правую сторону чтоб был храм Мира, а по левую храм Изобилия с принадлежащими тому украшениями, а над ними восходящее солнце.

— Можно, пожалуй, сочинить и так,— согласился профессор Штелин: знал, что император не станет особенно вникать в символическое значение иллюминационного театра, лишь бы было красиво.— Тогда, Михайла Васильевич, необходимо, чтобы Солнце было с далече простирающимися лучами, и чтобы на каждой стороне стояло по пять вазов на пристойных скамьях, убранных фестонами, а над Колоссом великий двоеглавый орел, устремляющий свой полет к правой стороне и обращающий вторую главу на левую сторону. И над всем театром буст Его величества Императора Петра III, с царскими вензелями.

Минут через десять спорные вопросы были разрешены. Профессор Ломоносов согласился взять на себя всю химическую материю. Но на нерешительный вопрос профессора Штелина, не согласится ли Михайла Васильевич, с присущим ему великим талантом, перевести на русский язык

[1] Труба (*от франц.* trompette).

стихи, которые он, всенижайший, по-немецки напишет к коронованию, хозяин сухо ответил, что подумает: не любил переводить чужие стихи, а в особенности стихи профессора Штелина.

Гость не настаивал, вполне удовлетворенный и тем, чего удалось добиться. Посидел еще минут десять, рассказал второй анекдот о Петре и простился, пожелав скорейшего, самого полного исцеления, засвидетельствовав особое уважение Елизавете Андреевне. Профессор Ломоносов проводил его до крыльца, сожалея о вырвавшейся резкости. Знал, что профессор Штелин человек достойный, и ценил внимание товарища: зашел проведать, говорил любезные слова и предложил заработок,— ту же работу мог ведь выполнить и немец.

X

Профессор Штелин возвращался домой в прекрасном настроении. Он был очень доволен соглашением. Ломоносов взял за работу недорого. В достоинстве его работы сомневаться было невозможно,— лишь бы только Михайла Васильевич не заболел. Штелину показалось, что вид у его товарища был в этот день очень плохой. «Верно, плохо спал?»

Совершенно независимо от его воли, мысль профессора Штелина ненадолго остановилась на том, что произойдет, ежели Михайла Васильевич скончается. Он менее всего желал смерти столь замечательному человеку, которого искренно любил и уважал. Но дело не в любви и уважении: надо смотреть правде в глаза. Профессор Штелин не мог не знать, что, если Михайлы Васильевича не станет,— чего избави Бог! — то произойдут большие перемены в руководстве академией, в отношениях партий, откроются разные вакансии, появятся кандидаты на должности. Зная же это, профессор Штелин не мог не подумать и о себе: коечто имел в виду. Однако, предпринимать какие-либо предварительные действия было бы весьма бестактно. Он тотчас отогнал от себя предосудительные мысли. Человек слаб, предосудительные мысли могут забрести всякому, надо только тотчас их гнать.

Дома ему хотелось поболтать с семьей, но это не годилось: утром все должны работать. У него, действительно, все в доме работали: жена, дети, прислуга. Он прошел в свой кабинет, убранный очень хорошо. Профессор Штелин знал толк во всех искусствах. На стенах его кабинета ви-

сели прекрасные картины, преимущественно венецианской школы, а также гравюры прошлого века: Гольциусы, Блемерты, Ворстерианы. За портьерой была большая ниша с окном, и в ней на стенах висели картины более легкомысленные. Ротари подарил ему эскиз к «Спящей девице, которую будит юноша, щекоча ей ноздри колосом пшеницы». А против нее в нише находилась Либериева беременная Каллисто, из той серии, что в музеях не показывается. Кроме достоинств живописи, профессору Штелину было приятно и то, что и Ротари, и Либертино были графами. Это придавало несколько иной оттенок легкомысленному содержанию картин; показывая немецким гостям нишу, он всегда внушительно пояснял: «работы графа Ротари», «работы графа Либери»... Людей же особенно приятных и не слишком сурового нрава профессор Штелин иногда угощал собранием китайских картинок, которое держал под замком. Впрочем, легкомысленные материи большого места в его жизни не занимали: он не был развратником ни на деле, ни в мыслях; китайские картинки держал больше ради забавы,— приятно развлечь друзей. Для собственного же удовольствия собирал, кроме гравюр, коллекцию денег разных стран.

Он сел за стол и стал уточнять смету коронационных торжеств; знал цену и своим, и чужим деньгам. Работавшие с ним люди с усмешкой говорили, что он бережет казенные деньги на всем, кроме собственного жалованья,— но говорили они это благодушно: профессор Штелин ни в ком злобы не вызывал. Поработав с час над сметой, он нашел расход, который можно было сократить, по крайней мере, на пятнадцать рублей, а то и на все двадцать. Это доставило ему чрезвычайное удовольствие.

От казенных дел перешел к собственным. Они были теперь в довольно хорошем состоянии. Работа по торжествам оплачивалась щедро; он рассчитывал перевести крупную сумму в Гамбургский банк. Считал это помещение денег более выгодным и, главное, более надежным, по сравнению с землей или домом в России. Профессор Штелин приехал в Россию еще при императрице Анне Иоанновне, видел в Петербурге много перемен, переворотов, возвышений, опал, обогащений, конфискаций и не слишком верил в устойчивость всего русского: страна огромная, богатейшая, прекраснейшая, но деньги держать в Гамбурге вернее. Latet anguis in herba...[1]

---

[1] В траве скрывается змея (*лат.*). Здесь: возможен подвох.

Затем профессор Штелин отыскал свои старые версы, написанные еще ко дню восшествия на престол императрицы Елизаветы Петровны. Тогда художественная мысль у него была счастливейшая: изобразить Россию в виде крепости, которую взяла приступом дщерь Петра. Версы были отпечатаны на золотообрезной дорогой бумаге:

К нашему давно желанному благополучию,
К удовольствию твоего отечества,
Мудрой твоей храбростью взята удержанная крепость.
В воспоминание сего дела, в честь сея ночи,
Мы по должности нашей и верности,
Сию иллюминацию сооружили.

Остался не очень доволен: тогда еще не умел совсем хорошо писать русские версы. Но, главное, теперь было трудно использовать написанное к тому случаю, хотя бы с переделкой. Образ взятой крепости не годился: царь Петр III взошел на престол законно, без переворота, без сея ночи. Профессор Штелин вдруг вспомнил о распре между государем и государыней Екатериной Алексеевной: как бы все это не кончилось худо! Зачем ссорятся такие персоны? Мысль эта возбудила у него столь неприятно-тревожное чувство, что он, вопреки обыкновению, отложил работу. «Надо переменить Каллиопу на Евтерпу, macte animo generose puer!» [1] — сказал он себе полушутливо: иногда и с собой разговаривал так, как с другими, и оставался доволен собеседником. Он взял флейту и стал наигрывать мадригал из отличного зингшпиля, который слышал еще студентом в Лейпциге.

XI

«...Как жена г. профессора, услышавши такой сильной удар, туда прибежала, то увидала она, что сени дымом, как от пороху, наполнены. Соколова тут уже не было, и как она оборотилась, то приметила, что г. профессор без всякого дыхания лежит навзничь на сундуке у стены. Тотчас стали его тереть, чтоб отведать, не оживет ли, а между тем, послали по г. профессора Краценштейна и по лекаря, которые через десять минут после удару туда пришли и из руки кровь ему пустили; однако, крови вышла только одна капелька, хотя жила, как то уже было после усмотрено, и действительно отворена была. Биения же жил и на самой

[1] «Слава тебе, благородный юноша!» *(лат.)*

груди приметить не возможно было. Г. Краценштейн несколько раз, как то обыкновенно делают с задушившимися людьми, зажал г. Рихману ноздри, дул ему в грудь, но все напрасно...»

Профессор Ломоносов подумал, что о нем, верно, сказали бы: «хотел, по своей гордыне спасти от грома людей, а себя самого не спас». Но грозы не было, следовательно, об этом опыте рассуждать не приходилось. Расстаться с мыслью о нем было все же нелегко. «Да, добрая была бы смерть и легкая. А далее что?» В загробную жизнь он верил плохо. «Материя изменится...» Об этом у него тоже были давние мысли, не умозрительные, а опытные, совершенно чуждые и неизвестные другим ученым. «И это тоже останется незаконченным... Сейчас же, сейчас довести до конца!..» Торопливо, почти с отчаянием, он разыскал те свои рассуждения и стал читать:

«Все перемены, в натуре случающиеся, такого суть состояния, что сколько чего у одного тела отнимается, столько присовокупится к другому. Так, ежели где убудет несколько материи, то умножится в другом месте... Сей всеобщий естественный закон простирается и в самые правила движения; ибо тело, движущее своей силой другое, столько же оное у себя теряет, сколько сообщает другому, которое от него движение получает...»

«Между разными химическими опытами, которым журнал на 13 листах, деланы опыты в заплавленных накрепко стеклянных сосудах, чтобы исследовать, прибывает ли вес металлов от чистого жару. Оными опытами нашлось, что славного Роберта Боила [1] — мнение ложно, ибо без пропу-

[1] То есть Бойля.— В научных работах Ломоносова на каждом шагу встречаются догадки и идеи поистине гениальные. Он опередил и русских, и иностранных современников лет на пятьдесят или даже на сто. Теперь достаточно известно, что Ломоносов был предшественником Лавуазье. Но к этому надо добавить и то, что он, по крайней мере, в некоторых отношениях, был продолжателем дела Декарта в Европе и уж во всяком случае первым картезианцем России. Напомню, что сам он писал в 1746 году: «Славный и первый из новых философов Картезий осмелился Аристотелеву философию опровергнуть и учить по своему мнению и вымыслу. Мы кроме других его заслуг особливо за то благодарны, что он тем ученых людей ободрил против Аристотеля, против себя самого и против прочих философов к правде спорить, и тем самым открыл дорогу к вольному философствованию и к вящему наук приращению. В новейшие времена науки столько возросли, что не токмо за тысячу, но и за сто лет жившие едва могли того надеяться. Сие больше от того происходит, что ныне ученые люди, а особенно испытатели натуральных вещей, мало взирают на родившиеся в одной голове вымыслы и пустые речи. но больше утверждаются на достоверном искусстве. Главнейшая часть натуральной

скания внешнего воздуха вес сожженного металла остается в одной мере...»

Мысль о том, что никто в мире не знает и не догадывается о столь важном рассуждении, наполняла его гордостью и счастьем. Но не все выводы отсюда были ясны: смутно чувствовал, что не ясны самые главные выводы, особенно важные для него именно теперь. «Ну, хорошо, молния убивает профессора Михайлу Ломоносова, куда же девается все то, что на своем веку думал и передумал Михайла Ломоносов? Мировая материя перейдет в землю, и столько же присовокупится к материи земли. Но ведь столько же присовокупилось бы от такого же количества материи бараньего или бычьего мозгу? Нет ли тут полного трудностьми вопроса, по коему и я ведаю не более, чем старушонка из богадельного дома?»

XII

Слухи о том, будто граф Миних находится в большой милости у царя, были очень преувеличены.

Миних выехал из Пелыма через неделю после получения известия о помиловании. Уехал бы даже раньше, если б не были в отъезде слуги, посланные до того на ярмарку для закупки провизии на год. Как на беду, в Пелыме необычно рано началась оттепель, санная дорога испортилась, все советовали подождать водного пути, но он об этом не хотел слышать. В день отъезда один погулял по окружавшему Пелым густому лесу, обошел городок, свой дом и сад... Его провожало все немногочисленное население; кое-кто и плакал.

Дорога была тяжелая, но фельдмаршал все торопил ямщиков. Его нетерпение росло по мере приближения к *России*. Вначале они скакали днем и ночью. За Яйком стали изредка останавливаться. В *гербергах*[1] Миних по ночам часто просыпался в ужасе: не умереть бы, не доехав до Санкт-Петербурга!.. Путешествовал он быстро, но молва о нем неслась еще быстрее. Ему готовили встречу в Екатеринбурге, в Казани, в Нижнем,— он не остановился ни в одном из этих городов. В Москве пришлось остановиться. Жившая там графиня Апраксина, вдова фельд-

---

науки физика ныне уже только на одном оном свое основание имеет. Мысленные рассуждения произведены бывают из надежных и много раз повторенных опытов...» — *Автор.*

[1] Постоялые дворы (*нем.* Herberge).

маршала, который когда-то служил под его начальством, потребовала, чтобы Миних у нее отдохнул, иллюминовала по этому случаю дом и хотела позвать на знаменитого гостя всю Москву. Он едва убедил ее от этого отказаться. Понимал, что все это делается не столько в его честь, сколько против памяти императрицы Елизаветы Петровны: фельдмаршал Апраксин был в последние три года жизни под судом, умер апоплектическим ударом на заседании следственной комиссии и тоже почитался неповинной жертвой произвола императрицы. Миних очень не любил Елизавету Петровну, но в выпадах против умершей участвовать не хотел. Оставался он в Москве очень недолго и странно себя чувствовал, оказавшись, после двадцати пелымских лет, в богатом роскошном доме Апраксиных.

Поездка его из старой столицы в новую была, как все говорили, шествием триумфатора. На большие станции выезжали встречать Миниха старые офицеры его армий, служившие когда-то при нем гражданские лица и просто любопытные помещики, которым хотелось людей посмотреть, себя показать, узнать новости, поздороваться со знаменитостью и выпить шипучего «в честь воскресшего из мертвых»,— так, точно сговорившись, называли Миниха все.

Недалеко от Санкт-Петербурга фельдмаршала встретил его сын со своей дочерью, которой Миних никогда не видел. Ей не было двадцати лет, она была красавица, недавно вышла замуж; ее муж тоже выехал встречать деда. Миних, как умел, проявлял нежность. Внучка очень, по общему отзыву, походившая на него лицом, в самом деле его растрогала. Но разговаривать с родными, после первых объятий, было нелегко; они, видимо, не знали, о чем с ним говорить, *занимали* его, и это было довольно тягостно. Впрочем, пути до столицы оставалось уже немного.

Въехали они в Санкт-Петербург рано утром, улицы еще были довольно пусты. Фельдмаршал жадно во все всматривался, узнавал многое, но не все, и сердце у него стучало, пожалуй, сильнее, чем при встрече с родными.

Прибывший тотчас к нему генерал-адъютант почтительно его поздравил с возвращением, передал ему царский подарок,— почетную шпагу странного, нерусского образца,— и сказал, что государь будет рад его увидеть, как только он немного отдохнет от трудного пути.

Миних и сам не думал, что его так взволнует давно знакомая, давно забытая обстановка дворца, раззолоченные залы, раззолоченные люди,— не рассчитывал снова увидеть все это. Но сам царь Петр Федорович его разоча-

ровал с первого же взгляда: совершенно не походил на того Петра!.. Видимо, император также не знал, о чем с ним говорить. Был ласков и приветлив, но спросил, желает ли граф воспользоваться покоем, на который имеет столь заслуженное право, или склонен был бы еще занять *какое-либо место?* Вопрос этот неприятно поразил Миниха: покоя у него было достаточно и в Пелыме. Он ответил кратким словом; говорил несколько более пышно, чем обычно (кое-что мысленно подготовил заранее). Начал с похвалы деду царя Петру Великому; сказал затем, что русская земля необъятна,— никто ведь толком и не знает, как идут в точности ее границы; что ее населению нет числа, и никто его не счел, хоть давно надо бы счесть; что русский народ в иных отношениях, особенно же по своей выносливости, наипервейший в мире; что работе на российской земле нет и не будет конца; что он, Миних, только и жаждет отдать этой работе остаток своих, когда-то немалых, сил и весь жар, которого не остудили сибирские льды...

Царь Петр Федорович благосклонно улыбался, но, как показалось Миниху, не очень слушал и не без нетерпения поглядывал по сторонам. Ответил, что очень рад и постарается найти столь замечательному человеку достойную его работу; подарил дом взамен конфискованного при ссылке имущества, просил бывать во дворце запросто и начать с нынешнего же дня: вечером большой куртаг. Вообще был милостив, однако, по всему было видно, вызвал его из Пелыма не для того, чтобы поручить ему должность первого министра. Граф Миних был весьма разочарован.

В тот же день, в точно указанное время, он появился во дворце на приеме. Царская чета еще не выходила. Залы были уже полны. Не успел он подняться до средины парадной лестницы, как по всем залам пронеслось известие, что во дворце граф Букгардт Миних! В комнатах, в которых до выхода втихомолку шла игра с негласного разрешения императора, люди побросали карты. Залы, расположенные вдали от лестницы, опустели. Толпа хлынула в первую залу. Его окружили люди, в громадном большинстве незнакомые. Новые сановники подходили и почтительно представлялись. Несколько человек, оставшихся от *тех* времен, горячо пожимали ему руки. Миниха засыпали лестью, приглашениями, знаками внимания. Он был со всеми сдержанно любезен, говорил мало, вообще принял такой тон, точно никогда не покидал дворца, а со старыми знакомыми здоровался так, будто расстался с ними вчера.

Ему не очень понравился характер этой общей любезности: по-видимому, к нему относились как к диковинке, как к редкой игре природы, почти как к существу из кунсткамеры. В самом деле, никто не мог думать, что снова окажется в столице этот человек, заживо погребенный в Пелымской могиле. Он был стар, но для эффекта люди еще прибавляли ему возраста, удивлялись его необыкновенной крепости, словно ему полагалось быть развалиной, и как будто восторгались тем, что он еще не вполне развалился. До него то и дело доносился из раззолоченной толпы шепот: «Истинное диво!.. Ведь в какой находится старости!.. Да ведь и жизнь какая была!..»

Вдруг окружавшая его толпа расступилась, и по ней пробежал легкий гул. Он оглянулся и шагах в десяти от себя увидел — Бирона! Оба они тотчас узнали друг друга. На мгновенье оба застыли. Миних знал, что герцог в Санкт-Петербурге, но почему-то не подумал, что он может быть на приеме во дворце. Наступила совершенная тишина. Все смотрели на них, затаив дыханье. Они холодно раскланялись, как на станции, тогда, двадцать лет тому назад, и тотчас отвернулись — «Нет, право, в Пелыме было очень хорошо»,— улыбаясь, сказал Миних одному из старых вельмож двора Анны Иоанновны. Бирон тотчас оживленно заговорил по-немецки с другим стариком. Придворные, радостно взволнованные произошедшей на их глазах исторической сценой, переглядывались с многозначительными улыбками.

Кто-то чрезмерно громким голосом пригласил всех перейти в голубую залу: ее величество выходит из своих покоев. Миних неторопливо, не оглядываясь, пошел туда, куда звали. К его удивлению, в голубую залу перешли только немногие придворные. Удивило его и то, что государыня выходит одна, отдельно от царя. Да собственно и выхода никакого не было. Без всякого церемониала, без свиты, в залу вошла невысокая миловидная дама в траурном платье. «Это что ж, траур по Елизавете Петровне? Почему же она одна в трауре?» — с недоумением спросил себя Миних. Ему показалось, что немногочисленные придворные склонились в поклоне не очень почтительно, совсем не так, как в его время кланялись Анне Иоанновне. Некоторые незаметно исчезли из голубого зала.

Императрица Екатерина Алексеевна очень ему понравилась и по внешности, и по манере. Неизвестный Миниху придворный, объявивший об ее выходе, представил царице фельдмаршала. Она удивленно на него взглянула: очевид-

но, не знала, что он в столице, и заговорила с ним чрезвычайно любезно (говорила по-русски с сильным немецким акцентом и неправильно). Упомянула о прошлом графа, назвав его победу при Ставучанах: помнила даже это трудное название, и это было ему приятно. Он выразил удивление: битва при Ставучанах, ведь это теперь почти то же, что битва на Куликовом поле! Государыня ласково улыбнулась. Выяснилось, что она помнит и другие его дела и планы (сказала: «ваши великие дела и помыслы»): взрыв днепровских порогов, выход в Черное море, захват Стамбула. Знала даже, что он в молодости участвовал в кампании герцога Мальборо, и назвала год, хоть с ошибкой, но близко к истине. Оба они посмеялись, подсчитав, что это было больше шестидесяти лет тому назад. Миних сказал по этому случаю мадригал в старинном, несколько вольном вкусе. Но к мадригалу императрица отнеслась холодно,— Анна Иоанновна, Анна Леопольдовна приняли бы его лучше, а Елизавета Петровна была бы в восторге. Он говорил с императрицей довольно долго и ласково-нежно как с умной хорошенькой девочкой, хотя она собственно была уж не так юна. По-видимому, и ей было приятно разговаривать с ним: в зале почти все явно ее избегали. Как старый придворный человек, граф Миних не мог этого не заметить. Он слышал, что отношения между императором и императрицей не очень хороши, но не думал, что императрица в такой опале.

Вскоре после первого куртага Миних был назначен на разные должности, довольно значительные и почетные, но совершенно его не удовлетворявшие. Ему поручено было ведать каналами, и по одной этой службе дела было столько, что хватило бы людям гораздо его моложе. Он взялся за работу очень горячо, ездил по каналам, составлял новые проекты, писал и представлял *промемории*. От его трудов была несомненная польза, однако, радости было не так много. Работа на каналах кое-как шла и без него (хоть при нем пошла успешнее и быстрее), и у всех своих подчиненных он чувствовал скрытую мысль, что за месяц или за год ничего сделать нельзя, а за десять лет или за пятьдесят все сделается само собой, — незачем, стало быть, проявлять особенное рвение.

Это было то самое, с чем он, как и Петр Великий, боролся в России всю жизнь. Но теперь бороться с этим было особенно трудно, так как Петр давным-давно умер, а сам

он полной власти не имел: все надо было представлять в комиссии, затем на апробацию. Между тем на верхах то же чувство — торопиться некуда и незачем, поспешишь людей насмешишь — сказывалось еще сильнее, чем внизу. Его новые проекты требовали вдобавок больших денег, которых ему давать не хотели и не могли: казна, после долгой войны с Пруссией, была пуста. Влиятельные люди, которых он утомлял и раздражал своей энергией, ворчали, что сумасшедший старик по-прежнему воображает себя первым министром Анны Леопольдовны и полным хозяином России.

Из этих влиятельных людей никто не внушал графу Миниху большого уважения. В борьбе партий и *клеотур* [1] ему было трудно разобраться: он все-таки жил мысленно в до-пелымском мире. После первых бесед с царем Миних с ясностью убедился, что от Петра Федоровича ждать нечего. Он не был ни зол, ни жесток,— был гораздо добрее Петра Великого, да, быть может, и царствовавших за Петром женщин. Но Россией он совершенно не интересовался, будучи воспитан в надежде на занятие шведского престола, не считал себя русским, из двух своих знаменитых дедов предпочитал не Петра, а Карла XII, по натуре своей серьезных дел не любил и заниматься ими не хотел.

Не получив должности первого министра, Миних удовлетворился бы постом главнокомандующего армией, особенно в случае настоящей, серьезной войны: ему хотелось померяться с прусским королем, военные таланты которого гремели по всему миру. Но с Пруссией война кончилась тотчас по вступлении на престол благоговевшего перед Фридрихом царя. Вместо этого намечалась война с Данией. С ней Петр III враждовал из-за шлезвигских владений, как голштинский принц. Он сам об этом сообщил графу Миниху. Фельдмаршал слушал, вытаращив глаза: не считает же царь все-таки Россию придатком к голштинскому герцогству? Пытался объяснить, что в отношении русского интереса такая война совершенно бессмысленна, что она не может дать ни выгоды, ни славы. Царь слушал с тем же веселым восхищением: нет, ведь девятый десяток, и еще не рассыпался!

Постоянно бывая при дворе. Миних с изумлением убеждался, что во дворце говорят об императоре в духе весьма вольном и неприязненном. Люди, почти не понижая голоса, рассказывали, что Петр Федорович называет Россию

[1] Искаженное — креатура.

проклятой страной, что он нисколько не чтит православной веры, что он в придворной церкви принимает иностранных министров, громко с ними разговаривает и смеется во время богослужения, что он носит на руке кольцо, подаренное ему Фридрихом, целует публично бюст прусского короля, говорит: «воля короля Фридриха для меня Божья воля», что он намерен перевести Россию в люторство и собирается устроить во дворце люторскую молельню.

Миних прекрасно понимал, что далеко не все в этих рассказах верно. Знал, что такие рассказы всегда пускаются врагами о царях и правителях; он сам когда-то распускал, хоть и с большим основанием, такие слухи о Бироне; да и о нем самом то же или почти то же — разумеется, без всякого основания,— говорили погубившие его враги. Но беспокоило Миниха, что рассказы эти передавались почти открыто во дворце, в двух шагах от царя. Особенно недовольны были гвардейские офицеры — и спешным, постыдным окончанием войны, ничего не давшей, несмотря на победы и на занятие Берлина, и тем, что гвардию переодели в некрасивые прусские мундиры, и тем, что царь приказал экзерцироваться, как у Фридриха, по утрам каждый день, какая бы ни была погода. Миних понял, что новое царствование начинается худо и, вероятно, не кончится добром. Он знал, по долгому своему опыту, особенно после двадцати пелымских лет, что нелюбовь народа сносить вполне возможно; народ к столичным событиям довольно равнодушен,— хоть десятилетиями ворчал: «какое житье за бабой?» Однако, с придворными и особенно с гвардией шутить никак не приходилось.

Граф Миних всегда думал, что власть, желающая держаться прочно, должна внушать людям либо любовное уважение, либо сильнейший страх; лучше всего, разумеется, и то, и другое одновременно,— этого, впрочем, он никогда нигде не наблюдал, ни во Франции при Людовике XIV, ни в России при Петре I. Теперь в Санкт-Петербурге не было к власти ни любви, ни уважения, ни страха, и ему казалось, что переворот вполне возможен и даже весьма вероятен. Чутье говорило Миниху, что переворот этот всего легче произвести во имя русского национального духа, с отказом от союза с Пруссией, от датской войны, с заменой голштинских солдат русской гвардией. Но он не видел, кто же и ради кого может пойти на такое дело. Русское потомство Петра Великого пресеклось. Не Брауншвейгский же дом? Не эта же милая молодая царица, рожденная ангальт-цербстской принцессой, плохо говорящая по-русски,

станет воплощением русского народного начала? И, разумеется, как иностранец, совершенно не подходил для подобной перемены и он сам.

Разумеется ли? Иногда по ночам Миних думал (спал теперь гораздо хуже, чем в Пелыме), что двадцать лет тому назад поставил свою ставку ошибочно: надо было войти в соглашение с Елизаветой Петровной, а он согласился с Анной Леопольдовной,— вдруг ту же ошибку повторяет и теперь? Миних говорил себе, что не может быть речи об измене царю, вернувшему его из ссылки. Но сам же отвечал, что в подобных случаях об измене говорить не приходится: как быть, если Петр Федорович оказался таким человеком? С усмешкой вспоминал: его с юных лет в чужих землях считали кондотьером. Вспоминал тоже с усмешкой, что московский иерарх, фамилию которого он забыл, когда-то называл его «птицей-человекоядом» и «дьявольским эмиссарием»... И самые странные мысли приходили в бессонные ночи графу Миниху.

Имущественное его положение было довольно неясное. Подаренный царем дом был очень хорош, но жалования на жизнь не хватало. Шел запутанный спор с новыми владельцами о конфискованных когда-то имениях,— особенно о Вартенбергском владении,— тут, после разных перемен и конфискаций, справедливейший на земле человек едва ли мог бы сказать, кому оно теперь должно принадлежать и по закону, и тем более по правде. Миних жил открытым домом, но гостей принимал не каждый день, как богатые русские баре, а в определенные дни и с разбором; кухня в его доме была не тяжелая, чрезмерно обильная, а тонкая, французская; вина к обеду были французские или иностранный эльбир. Мужчинам подавали турецкий курительный табак, а дамам еще довольно редкий *чекулат*. Гости чувствовали себя в его доме как в гостях у большого европейского вельможи. И только жена графа Миниха бледнела и вздрагивала всякий раз, когда по вечерам раздавался стук в дверь.

XIII

Курьера Михайлова на обратном пути из Пелыма ждала неприятность. В Москве он неожиданно получил срочное назначение в новую поездку, в Киев и в Азовскую губер-

нию. Эта поездка, в отличие от сибирской, нисколько не была тяжелой, но обычно курьерам по возвращении из дальних краев давали некоторое время на отдых: две недели, а то и целый месяц. Михайлов ругался и жаловался, но уклониться от исполнения приказа было невозможно. Он поскакал на юг и там пробыл долго. Жизнь в Малороссии была хорошая, женщины одна лучше другой, сады на загляденье, и нигде он не видал такого изобилия во всем и дешевизны: ел каждый день чуть не как господа; птица, окорока, сахар, чай, мед, масло, сало, водка,— все отдавалось почти даром; вот только пуншевой водки нигде не держали.

Вернулся он в Санкт-Петербург лишь в июне и по-настоящему прослезился, увидев город, в котором родился, свою Невскую перспективу со знакомыми домами и лавками, свою реку,— река после сибирских показалась разве чуть менее широкой, но все-таки другой Невы нигде на свете не было. Теперь новый сказочный царский дворец был уж совсем готов.

В канцелярии Михайлова шумно встретили писари, подканцеляристы, рассыльщики. На радостный гогот вышел из своей комнаты сам расходчик, маленький, тщедушный, кривой старичок. Это был добрый человек, отечески относившийся к подчиненным. Однако подчиненные его недолюбливали: уж очень много старичок говорил, и всегда одно и то же, и голос у него был неприятный, журчащий. Расходчик поздравил Михайлова с возвращением и долго говорил о том, что в дороге, верно, было очень хорошо, а теперь будет еще лучше: «Вот поездил, людей повидал, в Сибири побывал,— разве не славно? А теперь будешь четыре недели отдыхать, и никто тебя никуда не пошлет: живи, гуляй, делай что хочешь,— или не хорошо?»

Как только старичок заговорил, канцеляристы со скукой разошлись по местам. Михайлов слушал покорно, зная, что расходчик может так говорить очень долго, а сколько назначил наградных, скажет только в конце. Старик журчал минут десять, затем сообщил, что наградных назначено двадцать пять рублей: — «Я тебе это страктовал, разве не славно?» — «Ну, не то, чтобы очень славно»,— подумал чуть разочарованно Михайлов: он собственно рассчитывал именно на двадцать пять рублей, но, подъезжая к Петербургу, думал: «вдруг отвалят больше? ведь в Сибирь ездил, а потом без очереди...» Однако жаловаться не приходилось: двадцать пять рублей выдавались в награду редко, могли дать и двадцать. Служащие опять собра-

лись,— вопрос о наградных всегда всех волновал,— и по лицам канцеляристов Михайлов тоже понял, что назначили столько, сколько следовало: ни ему не обидно, ни другим курьерам.

Тем не менее старика он не поблагодарил: показать, что доволен, в следующий раз дадут меньше.— «Да ты, брат, кажется, не рад?» — сказал расходчик.— «Ну, там, Егор Иванович, рад или не рад, об этом что ж говорить... Богомолов в Астрахань ездил, ему двенадцать дали...» — «Так то двенадцать, а не двадцать пять».— «Так то Астрахань, а не Пелым!» — «А что двойной кошт получал, это забыл? Кто тебе это склеил? Я».— «Да, двойной кошт, много на вашем коште сбережешь! И трешницы не сберег».— «Знаю я твою трешницу. Ну, не рад, твое дело. Да верно и граф Миних тебя славно наградил?» — спросил старичок с лукавой улыбкой, бережно вынимая из ящика запечатанные столбики с деньгами: «десять, еще десять»... — «Ничего не дал, старая собака!..» — сердито ответил Михайлов. Рассыльщики захохотали.— «Смотри, какие хорошие рубли, новенькими тебе даю, с изображением царя-батюшки Петра Федоровича... Славный у нас царь, дай Господи ему здоровья и счастья!» — сказал расходчик, распечатывая третий столбик: отсчитал пять серебряных рублей и любовно выровнял в полстолбика.— «А старика ты напрасно хаешь, верно он забыл тебя наградить, ведь старый человек, старость не радость, память уже не та, наверное, он забыл...»—«Да, забыл! Знаю я их, господ!..»

Старичок засмеялся и вынул из ящика небольшой пакет вида коробки, обернутый в серый холст, запечатанный по углам красными печатями.— «Давно тебя ждет, прислан от графа Миниха,— сказал он вспыхнувшему от радости Михайлову,— по весу словно не рубли. Может, золотые? И не болтаются: верно, в соломе?» Служащие их окружили с любопытством: о пакете никто ничего не знал, расходчик готовил сюрприз. «Вот видишь, а ты говоришь: старая собака! Ты бы сначала узнал, а потом ругался. Или не рад?» — «Тот дурак, кто пирогу не рад!» — взволнованно ответил Михайлов, разрезая холст ножницами, которые ему услужливо подал подканцелярист. «Ровнее режь, холст мне отдашь, пригодится. Так и есть, коробочка...» Михайлов над столом поднял ножницами прибитую гвоздиком крышку. Из коробочки посыпались с соломой золотые.

Все обомлели. Обомлел и сам Михайлов. Стал считать, руки у него немного тряслись, хоть он никогда жаден к

деньгам не был. В коробочке было двести рублей. В канцелярии произошло смятение. Даже расходчик разинул рот. Михайлова поздравляли, кто искренно, кто позеленев.— «Твое счастье, с тебя могарыч, поставишь нам шипучего»,— говорили все сразу. Старичок опрокинул коробку и постучал по дну пальцем: больше ничего, кроме соломы, не выпало.

— Славно как, а? По-графски наградил! — сказал он и посоветовал Михайлову сдать деньги на хранение в канцелярию; а то что ж, пойдет все девкам да кабатчикам. Если, скажем, истратить червонец, это дело, для чего не истратить? и выпить не грех, и с девкой погулять славно. Ну, а более — жалко, деньги славная штука, могут пригодиться, без денег человеку худо, совсем худо. «Да он теперь, Егор Иванович, и службу бросит!» — сказал писарь, воспользовавшись мгновением передышки у расходчика. «Женится! Землю купит!» — подхватили другие. Послано было за водкой и пивом. Старичок долго говорил, что и службу бросить недурно, и жениться для чего не можно, но первое дело — беречь деньги. «Теперь у тебя есть деньги, разве не хорошо? Право, хорошо»,— журчал расходчик.

Михайлов оставил на хранение в канцелярии только пятьдесят рублей; сказал, что, может быть, в самом деле что-нибудь подыщет и купит. Он вышел к Неве и долго ходил по набережной, взволнованно-радостно думая, что теперь делать. Первая его мысль и вправду была: не жениться ли? У курьеров считалось прочно установленной, проверенной истиной, что при их ремесле, как при солдатском, жениться нельзя: бабу ни в дорогу не возьмешь, ни дома одну не удержишь. Но теперь в самом деле можно было бы бросить проклятую службу. Мысленно счел свои деньги: двести, да двадцать пять, да тридцать два сберег на коште, всего двести пятьдесят семь. Легко завести лавку хоть на Невской. Однако, у него всегда было отвращение от торговли. Представил себе: с раннего утра до позднего вечера сидеть в душной, пахнущей сельдями или овчиной, комнате, ругаться с приказчиками, лебезить перед покупателем, дрожать над выручкой,— ну, нет. Открыть трактир? Это лучше, но и тут радости немного: буяны, дозоры, полиции плати. Вернулся мыслью к женитьбе: жениться можно, но и холостым жить тоже хорошо. Если б можно было так, чтобы полгода быть женатым, полгода холостым? А то женишься — пожалеешь, и не женишься —

тоже пожалеешь. В бабах недостатка нет и для женитьбы, и *так*. Вспомнил Киев, ночь над Днепром, красивую рыжеволосую хохлачку, и про себя нерешительно подумал, что, может, и не так уж худо их ремесло, которое они по привычке иначе как проклятым не называли. Ведь не всегда стоит стужа, и в Сибирь посылают не так часто. К тому же, через четыре года выходил в старшие курьеры: этих отправляли только в Москву. Чем свой трактир открывать, не лучше ли ходить в чужие, то в Москве, то здесь?..

Вдруг он с ясностью почувствовал, что хочется ему, по-настоящему хочется, одного: пожить как живут господа! Михайлов и не любил господ, и как мог подражал им. В его мыслях они немного сливались с удалым добрым молодцом из сказок,— он и сам бессознательно подделывался под этот образ, а может быть и вправду в себе чувствовал что-то от доброго молодца, которому все нипочем. «Богатому житье, а бедному вытье», — подумал он и потрогав в кармане кошелек,— появилась новая забота,— отправился в Гостиный двор.

Обошел сначала лавки так, ничего не покупая, лишь присматриваясь к товарам и ценам. Хотелось ему купить решительно все, он страстно любил новые вещи. После долгого торга, купил нарядный *становой* кафтан, с перехватом на пояснице, с хрустальными пуговицами, с запястьями у коротких широких рукавов, с высоким, закрывавшим затылок, атласным воротником-козырем,— знал заранее, что все будут шутить: «Что, брат, *козырем* ходишь?..» Купил красные сафьянные, шитые золотом, сапоги, вроде тех, что носили лаеши. Купил серебряные часы заграничной работы,— давно мечтал. Купец объяснил ему, как разбирать время,— он уже раньше присматривался и теперь живо понял. В другой лавке ему хотели было подсунуть горлатную шапку. Михайлов знал, что таких шапок никто из господ больше не носит, видел, что мех вовсе не от горла и качества среднего, да и странно было бы обзаводиться меховой шапкой летом,— но чуть было не купил: уже нерешительно говорил себе, что зимой, в поездке, горлатная шапка может очень пригодиться. Однако вовремя опомнился: и без того много ушло денег,— страшно было не что ушли, а что ушли так быстро. «Правду говорят люди: денег вволю, а еще б поболе...»

Вышел из лавки, с наслаждением взглянул на часы и тотчас, много через минуту, разобрал, что половина пятого. Прибèрегая к вечеру аппетит, съел на ходу купленный у разносчика кусок пирога и вернулся в канцелярию.

В курьерском общежитии переоделся, не без смущения выслушал насмешливо-завистливые «козырем, брат, ходишь», навел справку, где живет граф Миних. Затем отправился в его дом,— благодарить,— по дороге с досадой говорил себе, что выходит свинья-свиньей: деньги были присланы давно, его сиятельство не может знать, что его в Петербурге не было.

Разыскал дом — «в Пелыме не так жил!» — вошел со двора и вызвал дворецкого; понимал, что нельзя мужику беспокоить самого фельдмаршала, да и не примут. Попросил передать, что приходил курьер Михайлов, ездивший с царским указом в Пелым, только что вернулся в Петербург и слезно благодарит за награду, и будет вечно молить Бога за его сиятельство. Дворецкий, вначале введенный в заблуждение становым кафтаном, снисходительно кивнул головой и небрежно сказал: «Хорошо, братец, не за что».— «Ах, ты, сукин сын! — подумал, рассердившись, Михайлов,— точно я тебя, свинью этакую, благодарю...— Так не забудь, *братец*, все передать его сиятельству, как я *велел*»,— сказал он и ушел, не дожидаясь ответа дворецкого. «Ничего, подлец, не передаст...»

Затем он снова, с таким же удовольствием, поглядел на часы: уже разобрал время совсем легко. Было семь часов. Снова потрогал кошелек,— цел,— и отправился на Петергофскую почтовую дорогу в кабачок, в котором торговали пуншевой водкой.

Немного поколебавшись, зашел на этот раз не со двора, а через главный двор. Лаешей в первой комнате не было, и вообще не было никого. Ему показалось даже, что кабачок полинял и облез. Во второй комнате хозяин поднялся навстречу с радостной улыбкой. «Давно ли, брат, вернулся? Здорово! Эким ты козырем, и не узнать тебя!..» Они поговорили, Михайлов с большим огорчением узнал, что лаеши уехали. «И полиция их не гнала, и я честью просил остаться,— уехали! Не сидится им на одном месте, проклятому племени...» Понизив голос, хозяин объяснил, что дела кабачка стали много хуже. Неизвестно почему, господа перестали ездить, оттого ли, что нет больше лаешей, или по чему иному: ходит какая-то тревожная молва в городе, а в чем дело, не поймешь.

Вошел, зевая, половой. По его презрительному выражению, тоже сейчас было видно, что в кабачке дела нехороши. Заглянули две женщины. Одна из них, высокая, румяная, с широким ртом и крепкими белыми зубами, с заплетенной черной косой, с небольшими насмешливыми черными глаз-

ками, сразу обратила на себя внимание Михайлова. Женщина оглядела его и вошла в комнату; другая пожала плечами и исчезла.— «Бутылку шипучего *подать!*» — приказал Михайлов половому, совсем как офицер лейб-кампанец. Вытащил из кармана кошелек и, словно пересчитывая, поиграл золотыми. Хозяин вытаращил глаза. Высокая женщина подошла к столу и, вопросительно улыбнувшись, села.— «*Машкой* зовут»,— представилась она, предупреждая вопрос. Михайлов кивнул головой, хлопнул Машку по спине и заказал из еды самое дорогое, то, что заказывали господа.— «А всего прежде, братец, подай *моей*»,— сказал он хозяину.— «Уж я, брат, сам знаю, что ты любишь»,— ответил кабатчик и развязно, и подобострастно. Он принес бутылку пуншевой водки. Самый вид ее почти до слез умилил Михайлова. Выпил с наслаждением рюмку.— «Господи, до чего хорошо! Полгода не пил!» — «Недурна,— сказал он небрежно.— Нет, ты, братец, не уноси, а оставь на столе всю бутылку!»

Машка радостно сказала, что эту водку любит больше всего, тоже отпила глоток и попросила для начала ломаных пряников. Через минуту зажглись новые свечи в господской комнате, хозяин предложил перейти туда. Где-то забренчала настраиваемая гитара. Половой перестал зевать, и с его лица сошло презрительное выражение. По кабачку пробежал слух, что курьер тратит казенные деньги. Но это никого не касалось: так у каждого гостя разбирать, откуда золото,— не рад будешь жизни. Машка спросила, где *остановился* Михайлов. Он не знал, что ответить. Курьеры между поездками обычно ночевали в общежитии. Но получив месячный отпуск, имея двести рублей капитала, он в самом деле мог *остановиться* где угодно.— «Еще никуда не заезжал. А что?» Она сообщила, что по другую сторону почтовой дороги, в доме, принадлежащем владельцу кабачка, сдаются *господам* комнаты. «Отчего бы и нет?» — подумал польщенный Михайлов, все более входя в роль удалого молодца. Позвал хозяина, снял, не торгуясь, комнату и предложил задаток. «Что ты! Не со вчерашнего дня знакомы»,— ответил хозяин, взял рубль и, подмигнув, сказал, что комната будет готова хоть через час.

Выпито в этот первый день, Михайлов помнил, было очень много, и они перешли с Машкой через почтовую дорогу лишь в четвертом часу ночи. Утром их разбудили

крики: «Ур-ра!..» Михайлов вскочил, подбежал к окну и увидел, что по пыльной дороге катятся кареты, раззолоченные, восьмистекольные, запряженные восемью лошадьми каждая, с лакеями на запятках. Люди бежали за поездом и кричали: «Да здравствует царь Петр Федорович!..» «Да здравствует государь император!..» «Ур-ра!..» Михайлов ахнул. Государь уже проехал, его видно не было. В каретах сидели важные люди с пудреными головами, в бархатных и атласных кафтанах, дамы в робронтах. «У этой глазетовая... Фижмы, видишь?» — взволнованно говорила Машка, смотревшая в окно через плечо Михайлова. Последняя карета скрылась в облаке пыли, и не стало сказочного господского виденья. Долго с восторгом они обменивались впечатлениями между собой, затем с другими, завтракая в кабачке. Говорили, что царский поезд проехал в Ораниенбаум. «Видел государя вот как тебя вижу!» — восторженно говорил кабатчик.

Начались дни, навсегда неясно оставшиеся в памяти Михайлова лучшим временем его жизни. Он впоследствии и сам не мог толком вспомнить, сколько прожил на петергофской почтовой дороге. Несмотря на серебряные часы, времени был потерян счет,— этому способствовали и белые ночи. Никогда на своем веку он не пил так много, пил в кабаке, пил с Машкой в своей комнате, и себя не обманывал: понимал, что ничего не останется от его капитала, что ничего больше он не купит, и не женится, и навсегда останется бобылем-курьером. Плакал пьяными слезами, думал с умилением о своей щедрости, бездомной жизни и молодецкой натуре. Ему и в самом деле не очень было жалко нежданного богатства: хоть недолго, а пожил по господски: это для него зажглись необожженные свечи, и открылась комната кабачка, в которой гуляли первейшие господа столицы!..

В кабачке появлялись и подсаживались к его столу другие женщины, до которых тоже дошел слух, что курьер пропивает сенатские деньги. Машка в дом никого к нему не допускала,— а в кабачке, пожалуй, балуйся. Все молчаливо признавали ее права на курьера и на казенное золото, но пользовались случаем выпить. Впрочем, Михайлов, улучив минуту, внушительным шепотом сказал хозяину, чтобы не смел и предлагать шипучее вино (оно ему вдобавок и не очень нравилось).— «Мне и Машке — пуншевую, а другие пусть хлещут пиво!..» После второй или третьей ночи хо-

зяин попросил денег. Михайлов презрительно дал ему три золотых. Дал также два червонца Машке, у которой при виде золота всякий раз разгорались глаза. Хотя он был все время почти пьян,— твердо помнил, что кошелька не надо оставлять ни на одну минуту. Деньги плыли, Михайлов о них не думал, и счастье наполняло его душу от того, что он кутит, как господа, от того, что он удалой молодец, а всего более от пуншевой водки.

Еще одно смутное воспоминание осталось у него от счастливого пьяного времени,— было это уже под конец. Поздно ночью на дороге вдруг послышался приближающийся быстрый топот. У подъезда кабачка остановилась коляска. Хозяин вышел посмотреть, что такое, и вернулся с выражением испуга на лице. Торопливо шепотом он попросил Михайлова и Машку перейти ненадолго во вторую комнату. «Зачем во вторую? Нам и тут хорошо!» — пробормотал курьер заплетающимся языком.— «Мы деньги платим почище господ!» — сказала гневно Машка. Оба они вскочили. На пороге показался тот самый сказочного роста офицер, с рубцом ото рта к уху, что кутил здесь в ночь перед отъездом Михайлова в Пелым. Вид у него был еще страшнее, чем тогда. Он окинул их тяжелым взглядом, отвернулся, вырвал из рук хозяина бутылку, стукнул по донышку,— пробка вылетела,— приложил горлышко к губам и выпил все до дна, не отрывая бутылки ото рта, все больше запрокидывая назад голову. Затем отер левой рукой губы, швырнул в сторону бутылку (она разбилась на куски), бросил хозяину монету и вышел, не сказав ни слова. На дороге снова послышался топот скачущих лошадей.

XIV

Граф Миних по утрам, до начала работы, катался верхом: это было полезно для здоровья, для настроения духа, да и для размышлений. Купил, вскоре после приезда, кровного неаполитанского жеребца и ежедневно, в восьмом, а то и в седьмом, часу уезжал, часа на полтора или на два. В седле чувствовал себя прекрасно, но садиться на лошадь было уже не совсем легко. Чаще всего ездил на острова или на Петергофскую дорогу и с удивлением присматривался к новому. Ему все еще трудно было привыкнуть к тому, что у офицеров кобура из красной кожи, что они

шарф носят не через плечо, что у артиллеристов теперь зеленые мундиры с желтыми пуговицами. Раз как-то остановил на Перспективе офицера и спросил, какого полка. Оказалось, слободской гусар,— он о таких никогда не слышал. Новые мундиры ему не нравились, но выправка, не мог отрицать, теперь была лучше, чем при Петре Великом, лучше даже, чем при нем. Мысль эта была чуть-чуть ему неприятна, и Миних сам удивлялся с усмешкой: вот о каких пустяках думаешь в восемьдесят лет.

В этот день ему понадобилась для промемория точная справка о личном составе Преображенского полка. Ехать в казармы еще было рановато. Погода была прекрасная. Он поскакал на Петербургский остров, за Карповку, к Большой Невке, затем, вдоль Малой, направился в Слободу Разночинцев; рассеянно проехал шагом по мосту — и вдруг оказался у здания Коллегий: на *той самой* площади. По случайности ли или следуя инстинкту, еще ни разу здесь не был. Сердце у него страшно застучало, почти как в тот день. Он нервно дернул поводья, жеребец заржал. Миних выехал на край площади и остановился. Здесь его когда-то «четвертовали».

В Пелыме он часто возвращался мыслью к тем дням; это было и мучительно, и приятно: уж очень хорошо тогда себя вел. Думал, что самой ужасной минутой было объявление приговора. Когда услышал слова «через четвертование», у него пресеклось дыхание. Но из находившихся в зале людей, верно, никто ничего заметить не мог. Он приятно улыбнулся, поддерживал на лице улыбку все время, пока был на людях, и даже, когда остался один в камере, улыбка эта механически еще держалась несколько минут на его лице.

Впрочем, последовавшие затем часы были еще ужаснее. Сохранять недолго на людях улыбку было легче, чем потом, в крепости, пить, есть, *спать*, все с той же мыслью: впереди четвертование. Самое слово это было отвратительно на всех языках, которыми он пользовался в мыслях,— на одном отвратительнее, чем на другом (почему-то довольно долго припоминал, как по-английски четвертование,— все не мог вспомнить, не раз к этому возвращался: как же четвертование по-английски? — и вспомнил только в Пелыме). По случайности, он не знал вполне точно, в чем заключается эта казнь: кажется, человека разрывают на части лошади,— длится несколько часов: оторвать руки

и ноги нелегко, под конец палач надрезывает мускулы, из жалости к измученным лошадям,— так было с Равальяком или с кем-то другим? Невольно согнул руки, взглянул, скосив глаза, на судорожно сжавшееся плечо, и вдруг ахнул: ведь в России четвертование как будто означает иное: Стеньке Разину просто, без лошадей, отрубили руки и ноги!.. Впоследствии в Пелыме он, с усмешкой, думал, что это была в его жизни очень счастливая минута: русское четвертование гораздо лучше западного.

Его не раз позднее спрашивали: как же можно было вынести муку долгого, бесконечного ожидания столь страшной казни? Он не знал, что ответить. «Как можно вынести?» Но от него не зависело, выносить или не выносить: выносил, ибо ничего иного сделать не мог. Вспоминал впрочем, что не раз в крепости по нескольку часов подряд, как в полусне, бессмысленно думал: нельзя ли усилием воли положить жизни конец,— способов самоубийства не имел никаких,— отчего нельзя просто волей заставить сердце остановиться? и даже пытался минуты две не дышать,— потом вздрагивал и приходил в себя. Вспоминал и то, что порою приходили мысли постыдные, недостойные: ценой какой-либо гнусности, пожалуй, можно купить жизнь, нужную для больших, важных дел. Об этом тоже думал подолгу, хоть твердо знал, что никогда этого не сделает: *нельзя!* Думал, что людей, ни в каких обстоятельствах неспособных на предательство, очень мало, а неспособных и на мысль о предательстве — почти нет. Но про себя знал твердо: нельзя.

Спрашивал себя, почему нельзя, и отвечал после раздумья: честь, долг, суд истории. Надеялся, что когда-нибудь кто-нибудь напишет о нем одну из именуемых историей сказок. Но будет это верно нескоро, когда на земле не останется ни одного из знавших его людей,— и не все ли равно, что скажет неизвестный человек, который вдобавок ничего не будет знать толком, по-настоящему? Ему будут известны так называемые факты, то есть тысячи происшествий из миллиардов. Но то, что стояло за этими фактами,— случайности, мелочи, побуждения, мысли, жажда жизни, любовь, ненависть,— все это до него не дойдет и дойти не может: записать нельзя, ибо этого не помнишь и не замечаешь сам, а если помнишь и замечаешь, то не скажешь всей правды, непременно будешь лгать. К тому же, ежели сказочник будет враг, то, по злобе, он под видом правды, подчеркнет все худое, чего достаточно в любой жизни. А ежели он будет друг, то ради красоты, тоже под

видом правды, все пригладит и принарядит, как приглаживали и принаряжали жизнь и смерть всех знаменитых людей. Вспомнил, как безбожно врали люди, писавшие о Людовике XIV, о Петре, о принце Евгении, о герцоге Малборугском, и только улыбнулся: «Цезаря и Аннибала не знал, но этих помню».

Накануне казни он заснул именно на таких мыслях. Распоряжавшиеся казнью люди разбудили его; на их лицах было заметно лестное для него удивление. Он тотчас надел на себя ту же равнодушно-презрительную усмешку. Сказал что-то подобающее,— кажется, «видно, спать уже больше никогда не придется»,— и почувствовал, что душевных сил хватит: все в нем было точно зажато стальным винтом, он теперь принадлежал тому самому сказочнику, о котором накануне размышлял с совершенным пренебрежением. Когда их вывели на улицу, подумал, что теперь следовало бы обратиться к другому,— ну, хоть поднять глаза к небу,— как обычно живописцы рисуют осужденных или гибнущих людей. Он действительно взглянул на небо. Две тучи медленно плыли одна навстречу другой.— «Еще могу увидеть, как сольются»... Но ему неинтересны были ни тучи, ни небо,— чувствовал, что на *этот* высокий лад душу настроить никак не может даже в подобную минуту. Вся его воля была направлена на то, чтобы равнодушная улыбка не стерлась, чтобы походка осталась гордой (шел не так, как всегда), чтобы никто не мог догадаться, как страшно бьется его сердце. И это ему удавалось: *винт* действовал безупречно.

На перекрестке глашатай зазывал народ, читая заунывно по листку: «Понеже некоторым людям за важные и противу государственного покоя учиненные вины, сего января 18 числа по полуночи в девятом часу, на Васильевском острову, против коллегий, чинена будет экзекуция, того ради через сие объявляется во всенародное известие, чтобы всякого чина люди о сем ведали и для смотрения означенного числа, в том часу, приходили на оное место»,— впоследствии ему в крепость прислали этот листок, он сохранил его и в Пелыме перечитывал не без удовольствия. Тогда, разумеется, всего не слышал, но какой-то обрывок задержался в сознании,— еще подумал, что «всякого чина людям» все равно, улыбается ли он или нет, никто из них этого не сохранит в памяти, не расскажет внукам и не запишет: они даже не знают, кто преступники, и за что казнят, но верят, что это преступники,— иначе не казнили бы,— и, главное, не желают упустить зрелища. Сказочник ничего не узна-

ет,— стоит ли равнодушно-презрительно улыбаться? Думал это и продолжал поддерживать презрительную улыбку. Опять равнодушно взглянул на небо: нет, тучи еще не слились. В эту минуту он увидел эшафот. «Зачем же над ним балдахин?» — спросил он себя, думая и теперь с той же улыбкой.

Загремели барабаны, от их привычного боевого грохота стало легче,— хоть только глупый человек мог сравнивать мужество солдата в бою с мужеством человека, готовящегося к страшной казни. Он внимательно оглядел палачей — «ну, что же сейчас? С кого начнут?» К эшафоту медленно подъехали сани («вот где стояли, а эшафот был здесь»...). Солдаты и палачи подняли из саней старичка. «Да, ведь Остерман и тут ухитрился *заболеть*»,— подумал он с улыбкой, теперь *почти* настоящей. Хотя он терпеть не мог Остермана, с удивлением признал, что старый министр, всегда заболевавший в трудных случаях жизни, теперь ведет себя тоже очень достойно и своим куражем сделал бы честь воину. Подумал, что, пожалуй, для сказочника было бы удобнее, если б все другие проявили малодушие,— но не принял этой мысли: нет, так лучше. Подумал еще, что на Остермане та же лисья шуба и бархатная шапочка, которые он всегда носил дома, опасаясь простуды,— «вот и тут может простудиться»... Барабан замолк. Настала мертвая тишина. Мелькнуло искаженное ужасом лицо извозчика: палачи как раз выносили Остермана из саней,— этого извозчика признал бы и теперь через двадцать лет. Подумал, что у старика сбился парик: снимет ли парик палач? как казнят, в парике или без парика? Скользнула еще мысль, что хоть тут следовало бы установить человеческое отношение к Остерману, с которым прошло столько лет жизни,— но он почувствовал, что не может этого сделать. И еще равнодушно отметил в сознании, что палач неловко положил голову Остермана на плаху — на бок, видно лицо,— и что Остерман оброс бородой, тогда как сам он успел побриться... Сделал еще усилие, вслушался в то, что, пришепетывая, читал секретарь, и поразился нелепости обвинения: царевну хотели выдать замуж за убогого, худородного принца,— как глупо! Чтение прекратилось,— значит, сейчас! — взглянул на небо,— тучки слились, кончилась жизнь! — глубоко вдохнул и выдохнул воздух и последним усилием еще туже завинтил *винт*...

Секретарь помолчал с полминуты, затем снова начал читать. В толпе поднялся гул. «Вот тебе на!» — наивно-удивленно сказал рядом с ним кто-то из стражи. Палач,

державший Остермана, отпустил его. Миних понял не сразу. «...Бог и государыня даруют тебе жизнь»,— читал тот же гнусавый голос, видимо, старавшийся — не очень удачно — изобразить некоторое волнение: секретарю были одинаково привычны и приговоры, и помилования: «Если ему, то и мне!» — подумал Миних. Сердце застучало так, словно еще минута и разорвется.— «А может, только ему». Секретарь встретился с ним взглядом, и Миних понял, что спасен, хоть гнусавый человек тотчас отвел глаза, быть может найдя страшными его лицо и улыбку. «Только ли Остерману или всем?!.» Думал, что не доживет, что сердце не выдержит и разорвется, слушал, затаив дыхание, но *винт* делал свое дело, и на лице его висела та же равнодушная улыбка.

Помилование вышло всем, других и не возводили на эшафот. Снова забил барабан. Их повели в крепость, и он смотрел на небо с торжеством. Гул толпы усиливался: «всякого чина люди весьма разочарованы смягчением участи, оттого ли, что большинство преступников — немцы, или же просто жаль упущенного зрелища. Да, они не виноваты, что звери! И я не виноват, что счастлив!..» Он шел, гордо подняв голову, и улыбка на лице его становилась все презрительнее. «Что же вместо казни? крепость? ссылка? если ссылка, куда?» А когда узнал, что в Пелым, то не мог сам над собой не посмеяться: видно, промысел Божий,— сам туда же сослал Бирона! «Но почему промысел Божий мстит за такого человека, как Бирон?..»

Он теперь не был совершенно уверен, что действительно тогда испытал и продумал все это: едва ли можно было ясно, точно, отчетливо запомнить то, что было пережито в столь короткое, в столь ужасное время: в Пелыме так часто возвращался мысленно к тому дню, что позднейшие мысли могли смешаться с подлинными ощущениями минут ожидания казни. Но вполне ясно он помнил одно: день этот был днем его высшего торжества над миром. В чем было торжество, он и сам понимал плохо. Помнил еще, что вечером долго думал в крепости о натуре счастья, и были у него странные мысли, которых теперь не мог восстановить с ясностью. Думал, что в жизни всякого государственного мужа есть или может быть,— или должна быть? — катастрофа: гибель, тюрьма, казнь,— все равно, какая: вот и четвертование бывает разное, с лошадьми и без лошадей,— и этому, пожалуй, присуща доля справедливости...—

«Я высшее в жизни счастье испытал над горой трупов в день Ставучанской битвы, и еще в ночь переворота, удавшегося мне благодаря коварству, и вот в этот день, когда меня должны были четвертовать... Оттого, что не четвертовали? От торжества и волнения. И *этого* больше не будет!»...

Он обвел глазами площадь, то место, где стоял эшафот, то место, где стоял сам, и подумал, что, быть может, больше никогда площади не увидит: *все-таки* восемьдесят лет. Старичок-сторож с любопытством на него смотрел из подворотни. «Может, он и тогда тут был, всякого чина человек...» Миних тронул коня и поскакал к мосту.

Из отворенного окна Преображенских казарм доносился гул голосов. Постукивали биллиардные шары. В офицерском собрании было, по-видимому, весело. Не слезая с коня, Миних приказал вытянувшемуся радостно дневальному вызвать дежурного офицера. Дневальный рванул дергач, появился унтер-офицер, ахнул и побежал в казарму.

Через минуту из казармы вышел огромного роста капитан. Его лицо, с большим шрамом от рта к уху, остановило внимание Миниха. «Кто такой?» — подумал он с любопытством. Глаза у капитана были дерзкие, насмешливые и страшные. Он почтительно рапортовал, что в лейб-гвардии Преображенском полку все обстоит благополучно, так же почтительно выслушал вопрос и сразу, не задумываясь, ответил, что в двух мушкетерских и в одном гренадерском батальоне полка сейчас значится нижних чинов две тысячи девятьсот тридцать семь. Миних нахмурился: «уж не шутит ли шутки?» Было маловероятно, чтобы дежурный офицер мог назвать цифру столь точно. Но цифра подходила близко к его предположениям, и трудно было допустить, чтобы капитан, отвечая на вопрос фельдмаршала, позволил себе столь неуместную шутку.

— У вас отменная память, капитан,— сухо сказал Миних.— Ваше имя?

— Алексей Орлов, ваше сиятельство.

Миних с минуту молча на него смотрел. Фамилию эту носил какой-то шалый стрелец, буйный из буйных, не то казненный при Петре Великом, не то помилованный царем на плахе. Да, был такой же случай, что со мной. Может, дед этого или прадед? Яблоко от яблони...» Несмотря на дерзкое выражение лица — или благодаря дерзкому выражению,— офицер понравился Миниху. Понравился ему

и взгляд, брошенный Орловым на неаполитанского жеребца,— взгляд любителя и знатока.

— Более ничего. Благодарю вас, капитан,— сказал он и тронул лошадь. Отъехав шагов двадцать, Миних быстро оглянулся. Офицер смотрел ему вслед тяжелым взором страшных в особенности своею неподвижностью глаз. «Надо обратить внимание, кто такой... Дед — ежели дед? — в меня, а внук и того более...» Этот капитан действительно напомнил ему его самого в молодости. Промелькнуло в памяти то, что когда-то о нем говорили: «Кондотьер», «Птица-человекояд», «Дьявольский эмиссарий».— «Ну, что ж, молодые Минихи идут на смену старому, и отлично. Но на *этого* надо бы обратить особое внимание. Может, далеко пойдет, а может, высоко: на виселицу...» Он свернул на боковую улицу и на повороте снова бросил взгляд в сторону казармы. Капитан по-прежнему смотрел ему вслед.

Кабинет Миниха был во втором этаже. Лестница немного его утомляла, особенно после верховой прогулки. Он нарочно поднялся быстро, как молодой человек, в кабинете устало опустился в кресло и вздохнул. На письменном столе лежало несколько писем. Граф Разумовский звал в свою мызу Гостилицы на бал, который обещали осчастливить присутствием государь и государыня. Миних с досадой бросил приглашение на стол. Гостилицы были его имение, когда-то — Бог знает как давно — пожалованное ему Петром Великим, затем конфискованное при ссылке, вместе со всем другим имуществом. Теперь мыза *принадлежала* Разумовскому. «Все-таки у этого *певчего* должно было бы хватить такта не звать меня в гости в мой собственный дом!..»

От резкого движения упал один из стоявших на столе рисунков. Это были *скицы*, которыми он от скуки занимался в Пелыме и которые захватил с собой на память. На рисунке изображен был ямщик-вогул, привозивший в Пелым почту; он стоял на полозе странных, запряженных собаками саней. Миних с улыбкой вспомнил смешного красноглазого человека, его дикую езду, исступленный лай собак, которых он обманывал, то пугая близостью зверя, то обещая подачку. «Так не то, что собаками, так и людьми правят, в этом их счастье»,— подумал Миних и взял со стола другое письмо.

На нем была надпись: «Секретнейшее. В собственные Его Сиятельства руки». Хоть он в правительстве теперь не состоял, у него были кое-где тайные осведомители и персональные, и по службе,— нельзя же совсем без них. Миних,

хмурясь, прочел письмо. Ничего особенно тревожного в нем не было, но накануне были получены еще два таких же, от других агентов. В совокупности это было тревожно. Почти все говорило, что недовольство в гвардии велико, и почти все наводило опытного человека на мысль, что где-то кем-то готовится заговор.— Где и кем? Это было бы нетрудно узнать, имея власть, получив на то полномочия от царя. Он стал соображать обстоятельства, вспоминая собственный большой опыт, и заговорщический, и правительственный. Нити вели, конечно, к казармам гвардейских полков. «Тогда нельзя терять ни минуты!» — сказал себе граф Миних и уже хотел было потребовать карету. Но подумал, что *пока* фактов никаких нет. Лучше немного подождать. Несмотря на усталость, он поднялся и стал ходить взад и вперед по кабинету, испытывая необыкновенное, давно забытое, волнение. «Что ежели настал день? Что ежели *снова* настал день?..»

XV

Профессор Штелин был очень близок к новому двору, но, в отличие от многих других придворных людей, не только не хвастал этой близостью и не подчеркивал ее, а, напротив, в меру возможного ее скрывал и отрицал. Поступал он так из врожденной скромности, из благоразумия — мало ли что может случиться? Россия отнюдь не domus secura [1] — и еще оттого, что не хотел вызывать в людях зависть. Это чувство было ему довольно чуждо, и он его считал чувством плебейским; но знал, что оно очень распространено, как все плебейские чувства. Зачем завидовать? Nachbars Kuh ist eine herzensgute Kuh, gibt aber keine Milch [2].

Получив в июне от придворной конторы приглашение приехать в Ораниенбаум и в Петергоф, Штелин не трубил об этом по столице. Кому же необходимо было сообщить, скромно объяснял, что берут его как библиотекариуса, да еще для обсуждения вопроса о предстоящих коронационных торжествах, и вид принимал такой, точно приглашение ему тягостно. Он сам толком не знал, для чего его пригласили, и хотя гордился честью, но и действительно не так уж радовался приглашению. Работы у него было

[1] Надежное пристанище *(лат.)*.
[2] Хороша у соседа корова, да мало молока дает *(нем.)*.

очень много: к обычным делам прибавились еще ода, надпись для транспаранта на иллюминационных торжествах и другое такое же. Правда, работать можно было и в Ораниенбауме, однако знал по опыту: дома удобнее.

Вдобавок, его смущали и огорчали разные тревожные слухи, все упорнее ходившие по столице. Немцы шепотом говорили, что у кайзерин есть своя партия, что на ее стороне некоторые гвардейские полки и что могут произойти серьезные события. Императрица была по рождению немка, тем не менее, лица у немцев при передаче таких рассказов становились серьезные и печальные. Профессор Штелин слушал с досадой, но не возражал. Его всегда задевало то, что немцы себя выделяли и что их выделяли другие, из общей массы верноподданных граждан. Фамилии у людей, которых считали людьми кайзерин, были почти исключительно русские,— это ничего не значило. Зачем забегать вперед? Зачем заранее опасаться каких-то гонений? Профессор Штелин трусом никогда не был. Напротив, он был человек мужественный и не очень испугался бы настоящих опасностей, как война, болезнь или мор. Однако с неудовольствием замечал, что и на него действует чужая беспричинная тревога. Раз даже спросил себя, не слишком ли *ангажировался* с партией царя Петра. Сомнение было нелепое, но он почти пожалел, что принял на себя руководство коронационными торжествами. Впрочем, тотчас отогнал от себя эту мысль. Решил в Ораниенбауме, закончив оду и транспарант, заняться большой, давно намеченной научной работой. Это его успокоило: Frisch gewagt ist halb gewonnen [1].

На случай отъезда в путешествие, у профессора Штелина был раз навсегда составленный список вещей, которые нужно брать в дорогу. Он все делал основательно, не обращая внимания на обычные русские насмешки над немецкой аккуратностью. В числе многих предметов, над которыми размышлял профессор Штелин, был и вопрос об особенных чертах и свойствах разных народов. Подделываясь немного (не слишком) под тон своих русских товарищей, он порою и сам вслух посмеивался над чертами немцев,— частью изнутри как немец, частью со стороны как русский. Но про себя посмеивался и над людьми, у которых эти черты вызывали шутки и остроты. Думал,

[1] Смелость города берет *(нем.)*.

что его русские товарищи о немцах судят по наблюдениям над ремесленниками Васильевского острова. Знал, что история германских стран полна всевозможных крайностей и неожиданностей более, чем какая-либо иная; находил также, что между его русскими товарищами есть такие специалисты аккуратности, каких среди немцев не сыщешь; а главное, не понимал, что же здесь собственно худого или смешного? Человек встает каждый день в семь часов утра и, вставая, знает, что будет делать в течение дня, знает, где будет есть, кого повидает, над чем будет работать, когда ляжет спать,— ничего тут нет стоящего осуждения или насмешки, хотя бы и благодушной. И не более ли заслуживает осуждения русская черта: думать, будто их, русских, никто не понимает, а они, русские, всех иностранцев насквозь видят. Их же широкие натуры — это в сущности любовь к скандалам.

В дорожном списке значилось все необходимое из белья, платья, обуви, походная аптечка, картуз виргинского табаку, порошок француза Детардиу для изведения мышей, клопов и прочей гадины, впрочем на этот раз ненужный, ибо ехать было недалеко, и останавливаться на станциях не предполагалось. Книг профессор Штелин захватил на целый месяц (а на месяц ему требовалось книг немало). Взял большой запас бумаги, карандашей, перьев. Взял и бутылку мушкателя,— любил это вино. Уезжал не без удовольствия: летом на море очень хорошо. Но и жаль было оставлять свой уютный, прекрасно устроенный дом.

В ораниенбаумском дворце ему отвели небольшую комнату во фрейлинском флигеле. Других людей приблизительно одного ранга с ним устроили лучше, да и то они ворчали и ругались. Профессор Штелин не ругался; это было не в его привычках, особенно во дворцах. Однако, умываясь с дороги, думал, что, быть может, поворчать следовало бы. Нехорошо, конечно, иметь славу неуживчивого, всем недовольного человека, но у скромности есть и худая сторона: если приучить людей к тому, что ты ничего не требуешь и ни на что не жалуешься, то они понемногу придут к мысли, что ничего требовать, ни на что жаловаться ты и не имеешь права. Напротив, над людьми требовательными, обидчивыми, всегда себя восхваляющими, сначала посмеются, а потом что-то останется вроде мысли: может, и в самом деле замечательные люди, и во всяком случае лучше их не трогать.

Он робко попросил у лакея чаю; принесли не сразу, а через полчаса. К царскому столу его не звали,— может, еще позовут в последнюю минуту? Повесил в шкап три кафтана,— дверцы шкапа раскрывались от всякого толчка,— разложил в комоде белье, на столе книги, бумагу, перья, карандаши. Спросил чернил,— лакей только посмотрел на него с недоумением и обещал сказать в конторе. Впрочем, садиться за работу Штелину еще не хотелось. Он вышел из дворца, осмотрелся, с наслаждением вдохнул воздух,— с моря дул ветерок,— и сказал, вслед за Петронием: «Valete curae» [1]. Погода была превосходнейшая. Профессор Штелин говорил друзьям, что красоты натуры всегда умиротворяют его душу,— друзья же думали, что, быть может, и душа у него не такая бурная.

Он погулял, зашел в крепость Петерштадт, осмотрел медные однофунтовые пушки, побывал на галерах, заглянул и в новый дворец, тот, что был устроен в крепости. Дворцы, золото, расписные плафоны, штучные полы, дорогие штофы, резного дерева двери, умиротворяли его душу еще более, чем натура. Погуляв с час, он вернулся. Приглашения к царскому столу все не было. Подумал, что общество сильных мира сего ему не нужно; но сам же себе ответил, что было бы приятнее так думать, постоянно бывая в обществе сильных мира. Впрочем, вообще он на это пожаловаться не мог,— верно, просто забыли.

Можно было, конечно, пообедать бесплатно во дворце, со служащими придворной конторы, или с голштинскими офицерами. Но профессор Штелин признал это для себя не подходящим и, не пожалев денег, отправился в герберг у Катальной горки. Выпил рюмку гданской водки, закусил размоченной в молоке и в меду гусиной печенкой, заказал гласированную семгу, ветчину с горошком и с фисташками, сладкий дутый пирог.

Рядом с ним обедали молодые офицеры Астраханского полка, занимавшего караулы в Ораниенбауме. Он одобрительно на них поглядывал; относился вообще весьма благожелательно к начинающим карьеру людям: когда мог, всегда помогал и молодым ученым, зная, что от них отчасти будет зависеть его посмертная слава. Но разговор офицеров очень ему не понравился: без малейшего стеснения, нисколько не понижая голоса, они ругали порядки, всячески поносили немцев, в особенности голштинские войска, и говорили, что скоро придет всему этому конец.

---

[1] «Прощайте, заботы» (*лат.*).

Обидеться профессор Штелин не мог: как было офицерам знать, что он немец? на лице не написано. Но он огорчился,— откуда такая злоба у людей и что им сделали немцы? Его сын служил в голштинской артиллерии, был прекрасный офицер, всей душой преданный царю и России: если опять будет война, исполнит свой долг не хуже коренных русских,— чего же хотят эти люди? А главное, его встревожило то, с какой бесцеремонностью все это говорилось: ведь если на лице не написано, что немец, то не написано и что за человек,— вдруг шпион или доноситель? Профессор Штелин опять подумал, что тут все очень неустойчиво, и снова с тревогой себя спросил, не слишком ли он ангажировался с нынешним двором?

Не доев дутого пирога, он вышел из герберга. В виде порицания офицерам, не приподнял, уходя, шляпы, что непременно сделал бы, если б их речи не были таковы. И тут же себе сказал, что расстраиваться из-за этого не следует. Мудрый Гораций учил populi contemnere voces [1].

Делать ему было собственно нечего. Собирался, вернувшись, поработать над надписью, но теперь прошла охота. Он остановился у театра-комедии: не зайти ли, право, от скуки? Сторож однотонным равнодушным голосом повторял, что сейчас шпрынгеры, штукмейстеры, балансеры, позитурные мастера дадут отличное представление, покажут фокус-покусы, телодвижения, шпрынгмейстерские действия, а машинка, сделанная кинарейкой, пропоет как живая; и что подлые люди в гнусном платье никто в театр-комедию впущены не будут, а с купечества брано будет по полуполтиннику, с благородных же — по их изволению. Профессор Штелин пожал плечами: к чему подобное разделение в благоустроенном государстве? Подумал, что в Лейпциге или в Меммингене, ежели бы «по изволению», то все входили бы, не платя ни гроша. А здесь все строится на амбиции! Не сочувствуя этому и не слишком интересуясь шпрынгмейстерами, отправился домой.

Когда он подходил ко дворцу, к главным воротам быстро подъехала высокая веерообразная карета, запряженная четверкой взмыленных коней. Лакей соскочил с запяток, отбросил подножку. Из кареты вышел граф Буркгардт Миних. Голштинские часовые вытянулись. Фельдмаршал быстро прошел во дворец. В его приезде ничего

[1] Презирать голос толпы (*лат.*).

неожиданного не было: он довольно часто бывал у царя. Тем не менее тревожное чувство у профессора Штелина без причины очень усилилось. «Что-то у него странное лицо! Или мне так показалось?»

Он поднялся по лестнице фрейлинского корпуса в свою комнату; прежде всего взглянул на стол, чернильницы не было,— только вздохнул. К счастью, были карандаши. Штелин сел за работу. Несмотря на тревожное чувство, решил потрудиться над надписью к транспаранту. В основу положил ту, что была приготовлена для Воронцовского бала, но кое-что хотел переделать. Стал писать карандашом на большом листе золотообрезной бумаги (жаль было изводить такую бумагу на карандашный черновик):

О вы, Нева, Москва и все Российски реки,
Теките радостно в златые наши веки,
Как простирает власть над вами Третий Петр,
Великодушен, добр, правдив, возлюблен, щедр...

Работа, почти всегда успокаивавшая профессора Штелина в тревожные минуты, на этот раз не произвела на него умиротворяющего действия. Надпись не подвигалась. Он с досадой отложил сломавшийся как на зло карандаш и не без труда перешел от русского высокого штиля к мыслям немецким и обыкновенным. «Да что же случилось? Приезд графа Миниха? В этом ничего необычного нет. Его вид?..» Профессор Штелин, знавший секреты хорошей литературной речи, сказал было мысленно, что глаза графа Миниха метали молнии. Но это было в высоком штиле,— если б писать исторический труд, то так, конечно, и надо было бы сказать. В действительности же, молний глаза Миниха не метали. Вид у него, однако, был грозный,— «точно он как дряхлый папа Сикст V, выпрямившийся в минуту, когда его избрали папой, и запевший «Te Deum» громоподобным голосом! Да Бог с ним, с Минихом. Was ist los? [1] — подумал он.— Какое мне дело до его вида! Допустим, что этот безрассудный старик, которому мало одного эшафота, решил теперь еще рискнуть другим, при чем же тут я?»

Профессор Штелин мог со всей искренностью сказать, что он тут совершенно ни при чем. Переворота он не хотел, терпеть не мог переворотов, потрясений, кровопролития. Вдобавок, несмотря на некоторые мелкие огорчения, был вполне доволен царем. «Но допустим,— подумал он,— допустим самое худшее. Допустим, что сумасшедший ста-

[1] Что случилось? *(нем.)*

рик приехал сюда производить какой-то переворот, что на престол взойдет государыня, хотя этого избави Бог. Разве я тогда буду преступник или злодей? Никоим образом. Мне до всего этого нет дела, и я это честно объясню, и буду дальше работать на общую пользу, кто бы ни сидел на престоле. А если с штандпункта[1] сумасшедшего старика это неблагородно, то пусть он думает, все что ему угодно...»

Профессор Штелин чуть было, вопреки своему обыкновению, не сказал: «пусть он идет к черту!». Он понимал, что с штандпункта старика его позиция могла в самом деле показаться неблагородной. Но ведь штандпункт был очень глупый. Штелин справедливо считал себя человеком весьма порядочным,— дай Бог, чтобы таких было везде поболее. Он никому зла не желал и, в меру возможного, зла не делал, служил музам наук и искусств, служил с большой пользой для муз и для России, которую считал второй родиной, хоть многому в ней все еще удивлялся и не ко всему мог привыкнуть. Совершенно ясно, что от профессора, от служителя муз нельзя требовать того, чего требуешь от старого воина («даже если этот воин и не сумасшедший»). Кроме того, наряду с обязанностями в отношении государства, есть обязанности в отношении семьи, родных, самого себя. «Мне до их историй нет ни малейшего дела»,— подумал он и проверил себя: чего хочет? Хочет здоровья и счастья жене, сыну, самому себе. Худо это? Нисколько не худо. Хочет денежного благополучия,— что ж, для того, чтобы истратить все на разврат, на прелестниц, на шипучее вино? Нет, неправда: для того, чтобы обеспечить своей семье безбедное, спокойное, достойное существование. Худо это? Нисколько не худо. Для сохранения же этого что нужно? Вовсе не нужно подличать, обманывать, пресмыкаться,— к этому он был почти неспособен. Нужно лишь ладить с людьми, ни с кем особенно не ангажируясь, держаться подалее от безрассудных дел, не злить других, не забывать себя, да еще изредка говорить и писать условные, ничего в сущности не значащие, слова, вроде того, что Нева, Москва и все реки текут радостно в златые наши веки. Против этого решительно ничего нельзя возразить, и так во все времена поступало громадное большинство людей, в том числе люди почтенные и знаменитые. Проживешь свой век честно, без крови и без грязи, без Пелымов и без эшафотов. Это

[1] Точка зрения (*нем.* Standpunkt).

и есть тайна земного счастья. Так и тебе дадут возможность делать в жизни твое малое — а может быть, и не совсем малое — дело. «Sors tua mortalis, non est mortale quod optas» [1],— подумал профессор Штелин, и гордость наполнила его душу. Не желая поддаваться нехорошему чувству, он пододвинул к себе золотообрезный лист, очинил карандаш и принялся за работу.

XVI

Деньги плыли быстро, и Михайлов старался заглядывать в кошелек возможно реже. Но Машка, по-видимому, знала состояние кошелька и становилась суровее. Это впрочем мало его огорчало: погуляли по-господски и будет. К тому же, подходил к концу и отпуск.

Тем временем на престол нежданно-негаданно вступила царица. Вначале была большая тревога, особенно из-за того, что никто долго ничего не мог понять. Первые слухи принес сторож с рогаточного караула на заставе, свой человек. Понизив голос, он сообщил кабатчику, что беда: царица подняла бунт, сбежала из Петергофа, царь пустился за ней, да не догнал. Толком и сторож ничего не знал. Говорил, однако, что сам утром видел государыню: изволила проехать в коляске, лошади замученные, взмыленные, а рядом с государыней — Преображенского полка капитан, ростом с колокольню, и косая сажень в плечах. Сторож был человек глупый и вдобавок враль. Кабатчик обругал его дураком и грозно приказал замолчать. Михайлов было прислушался, но не разобрал: уж очень он много выпил в этот день.

Затем стали приходить новые слухи, один непонятнее другого. Сторож не соврал: царица пошла войной против царя. По почтовой дороге проносились коляски, в них сидели все важные господа, и вид у них был встревоженный или даже испуганный. Проскакал куда-то галопом кавалерийский отряд. К вечеру недалеко от заставы раздался выстрел, за ним другой,— потом оказалось, палили караульщики, прошедшие по дороге с еще не зажженными фонарями. Хозяин почему-то решил: двери на запор,— кто хочет, ступай прочь, а кто остается, так и будет сидеть взаперти сколько потребуется. Никто почти не ушел.

[1] Жребий твой смертен, то, к чему стремишься, бессмертно (*лат.*).

В кабачке люди обсуждали дело. Общее сочувствие, особенно у женщин, было на стороне царя: где же видано, чтобы жена шла против мужа! — «Помяни мое слово, *заточит* ее царь в монастырь. Велит постричь и *заточит*»,— говорил другой завсегдатай, стряпчий, щеголявший ученым словом.— «Еще может и того хуже статься»,— заметил кто-то и, видимо, сам испугался своих слов, хоть люди все были знакомые. Хозяин мрачно на него покосился, но ничего не сказал.

Под вечер кабатчик, убедившись, что на дороге ничего страшного нет, кое-как, с помощью Машки, отвел Михайлова в его комнату. От долгого пьянства и от господской еды Михайлов ослабел и в последние ночи беспробудно спал дольше, чем обычно. На этот же раз проспал особенно долго, и когда проснулся, оказалось, что были и прошли большие дела: матушка-государыня победила. Ничего важного он так и не видел; не видел ни проехавшей верхом в гвардейском мундире царицы, ни войск, прошедших в направлении к Петергофу. Небольшие отряды еще шли то в одном, то в другом направлении, проносились всадники с радостно-озабоченным видом, толпы народа, солдат и вольных, ревели у заставы: «Да здравствует государыня императрица! Ура!..» Хозяин чуть не рвал на себе волосы: оказалось, что государыня заночевала отсюда в нескольких верстах в Красном кабачке,— ведь могла же остановиться и у него!

Выпили и почесали язык с добрыми людьми, все радовались победе матушки-царицы. От событий ли или по другой причине, стало очень весело. К вечеру о государственных делах больше не говорили. Машка пела и плясала, кто-то бренчал на гитаре, не так, как лаеши, но не худо, и снова лилась водка. Дорожили теперь курьером в кабачке как будто меньше. Хозяин даже дружески попросил его перейти во вторую комнату: из проезжавших по почтовой дороге господ многие останавливались у дверей, заходили перекусить, выпить. Обида Михайлова потонула в вине. Зная, что деньги идут к концу, он решил напоследок гулять вовсю. Машка очень его в этом поддерживала, и долго еще шло господское житье.

Как-то, проснувшись в двенадцатом часу с головной болью, он увидел, что Машка сидит у стола и раскладывает деньги из кошелька. Это его рассердило. Нисколько не смутившись, она объявила, что у них осталось девять

рублей с копейками.— «Ох, врет, скверная баба!» — подумал Михайлов. Считал естественным, что Машка, как все люди, желает поживиться где и когда можно; но было бы лучше, если б она, как следует, приласкалась и попросила у него денег, а не лезла тайком в его кошелек.— «Свой кошель припаси и как хошь тряси»,— сердито сказал он и сообщил, что идет в город: дело,— а какое дело, не объяснил, в знак неудовольствия. Ей не было известно, что у него еще есть пятьдесят рублей в канцелярии.— «Хозяину должны три рубля семьдесят копеек»,— холодно сказала Машка.— «Велики деньги!» — проворчал он с презрением и вышел.

Улицы были полны народа. Было еще весело, особенно оттого, что никакого порядка; но первое веселье уже проходило. Женщина, видимо, солдатка, предложила Михайлову из-под полы вино. Он сухо отказался, догадываясь, что бутылка из разграбленных погребов: по своей честности, краденого терпеть не мог. Вдобавок, его угнетала мысль о без толку истраченных деньгах, о конце господского житья. Становой кафтан его был уже грязен, а серебряные часы стояли.

В канцелярии он обратился за деньгами к расходчику не без робости, улучив минуту, когда в комнате никого больше не было. Старичок изумленно на него уставился и, вопреки своему обычаю, молчал довольно долго. Затем прожурчал: «Все, братец, пропил?» — «Все не все»,— ответил смущенно Михайлов. К приятному его удивлению, расходчик нашел, что он хорошо сделал: «Ну, что ж, зато погулял в свое полное удовольствие. Много ли, брат, толка от денег? Вот ты хотел бросить службу,— уж чего хорошего? А теперь будешь дальше служить,— он хотел было сказать «батюшке царю», но спохватился и сказал: «матушке государыне»,— разве не хорошо? Добрая у нас царица, дай ей Бог счастья и здоровья»...

Расходчик поговорил минут десять, затем отсчитал пятьдесят рублей, стараясь не глядеть на изображение царя Петра Федоровича.— «Ну, а все-таки эти бы сберег,— полувопросительно сказал он Михайлову и добавил, что в конце недели надо будет ехать в Казань.—Значит, будь, брат, готов».— «Слушаю, Егор Иванович»,— ответил Михайлов, приободрившись. Слова расходчика его немного успокоили. «Ну, что ж, в Казань, так в Казань. Всю жизнь ездил и дальше буду ездить»,— подумал он и опять вспомнил Киев.

У выхода ему встретились быстро шедшие, почти бе-

жавшие, канцеляристы. Они тихо, каким-то восторженно-отчаянным шепотом сказали, что в Ропше прошлой ночью скоропостижно скончался бывший царь Петр Федорович,— только что пришло известие: впал в прежестокую колику и скончался! Михайлов, бледнея, снял шапку и перекрестился. Спрашивать ни о чем не стал, понял, что тут дело нечисто; да и канцеляристы пробежали дальше, торопясь сообщить известие другим.

Машка в кабачке плясала с каким-то человеком, не из простых и не из благородных: верно, какой чиновник не из важных, писарь или справщик. Это было неприятно Михайлову, хоть она ему надоела. Занял место вблизи хозяйской стойки и громко сказал хозяину: «Подай-ка, братец, *моей*... Да за мной долг? Сколько?..» Вынул кошелек и стал небрежно считать золотые. Машка, проносясь по середине комнаты, взглянула на него изумленно. Михайлов заказал себе то, что она любила: гусиные полотки, миндальные ядра. Выпил залпом полстакана пуншевой. Сразу стало легче. Прошла как будто и головная боль. Через минуту Машка подошла к столу и нерешительно сказала, что ей постыл этот писаришка, да он, верно, сейчас уйдет. Михайлов ничего не ответил с видом полного равнодушия,— ни сержусь, ни не сержусь, всего обиднее для бабы,— и велел подать жаркого одну порцию. Машка отошла.

Хозяин поманил Михайлова в дальний угол и шепотом спросил: *«Слышал?»* — «Слышал»,— ответил, снова бледнея, курьер.— «А *кто*, знаешь?» Курьер отрицательно покачал головой и остолбенел от ужаса, узнав, что государя задушил тот самый, с рубцом на щеке, офицер-великан, который не раз бывал в кабачке.

Принесли жаркое, Михайлов еле к нему прикоснулся, но пил стакан за стаканом. Машка под разными предлогами раза два подходила к его столу, отпивала глоток пуншевой с таким видом, будто это само собой, и отпускала ему игривые улыбки. Однако со своим большим опытом чувствовала, что напрасно старается: кончено. Это было ей обидно: для чего деньги достанутся другой или жулику-кабатчику? К тому же, курьер ей нравился: хоть мужик, а в душе почище барина. Михайлов не глядел на нее и думал, что можно с Машкой, можно без Машки, и можно пропить двести рублей и все вообще можно, если делать умеючи, как господа, как тот страшный капи-

тан, который убил царя и за это осыпан золотом. Потом была пьяная драка с писарем. Потом они помирились, он заказал еще бутылку, за ней другую. Михайлов пил и блаженно думал, что все полбеды, что все трын-трава, что Машка врет — не в одних деньгах дело,— что есть на свете счастье, хоть от него болит голова, и что это счастье — пуншевая водка.

XVII

В болезни профессора Ломоносова опять произошло ухудшение. По настоянию Елизаветы Андреевны, к нему ездили лекари, все самые лучшие, что учились и работали при гофшпитале. В последнее время приезжал старый лекарь, помнивший еще аптекарского боярина, ученик самого Бидлоо, сбежавший от него в молодости по причине тяжких побоев. Он не отставал от успехов европейской науки, умел щупать пульс и знал, как лечить все две тысячи четыреста болезней. Ломоносовскую болезнь относил к классу второму, к порядку первому, и только насчет специи сомневался: шестая или седьмая? Лихорадку же, считая не гуморальной, лечил маковым декохтом, дусамером и драконовой кровью. Ломоносов слушал его угрюмо, а иногда говорил нехорошие слова, впрочем не из самых страшных. Лекарь не обижался; знал вдобавок, что могут последовать и слова самые страшные.

Вид у лекаря был подчеркнуто-успокоительный. Он очень советовал уехать в чужие края на теплые воды: говорил, что болезни второго класса там вылечиваются легко, особенно если подтвердится, что это специя шестая, ephemera a phlogosti, а не седьмая, ephemera anglica. Обычно в конце визита Елизавета Андреевна делала ему *еле заметный* знак, который можно было увидеть за версту, и лекарь, глядя в сторону, говорил, что при всех без изъятия специях первого порядка второго класса болезней пуще всего надо избегать горячительных напитков. Однако нос у него был красный, и говорил он это несколько менее уверенно, чем все другое.

Затем Елизавета Андреевна, тоже совершенно незаметно, уводила его в другую комнату, и не в соседнюю, а подалее, или в сени, и возвращалась к больному не скоро, с таким же успокоительным видом, но со следами слез на лице. Сообщала радостно, что лекарь не нашел ничего дурного, надо только отдохнуть и, главное, ни одной капли спиртного. Наивность жены больше почти не раздра-

жала Ломоносова. Не раздражал даже ее немецкий говор. Думал, что какая бы она ни была, а верно прослужила ему много лет, и вся жизнь прошла с нею, и нет на свете человека, более ему близкого и преданного. Он притворялся, что верит ей и лекарю. Про себя же понимал, что дело его плохо. Шестая ли специя или седьмая, а весь вопрос,— сколько: год? два? или месяцы? От этого многое зависело и для его работ: надо хоть кратко, хоть несколькими словами, записать то, что еще нужно оставить науке и России.

В начале июля он почувствовал себя совсем худо. Лекарь это приписывал жаре и долгой бессоннице от белых ночей. Сам же он думал, что болезнь его ухудшилась от событий в государстве. Ломоносов мало знал низложенного государя и совсем не знал новой царицы. Слышал, что она женщина очень умная и образованная. О Петре Федоровиче этого не говорили даже тогда, когда он был всемогущ. Следовательно, были основания радоваться событиям. Ходили также слухи, будто теперь владычеству немцев придет конец. Крови было пролито очень мало. Ломоносов считал переворот довольно разумным. Тем не менее события, особенно убийство царя, потрясли его.

Непонятна ему была в этом деле роль графа Миниха. О ней рассказывали чудеса. Говорили, что восьмидесятилетний Миних один не растерялся во всей компании, окружавшей царя (теперь о царе говорили без стеснения): сохранил хладнокровие в общем смятении и растерянности и предложил смелый план, который непременно спас бы царя и погубил бы царицу, ежели бы Петр III был не Петр III и передал старику всю власть и строго следовал его указаниям. Фельдмаршал тотчас заявил, что ни в Ораниенбауме, ни в Петергофе защищаться с голштинцами против взбунтовавшейся гвардии нет возможности, а надо отплыть, не теряя мгновенья, в Кронштадт и укрыться за стенами и орудиями грозной крепости. Когда же, из-за колебаний, болтни и промедления, в крепость ранее проникли эмиссары царицы, Миних умолял Петра Федоровича высадиться на валу и прямо пойти на бунтовщиков в расчете на вековое обаяние престола: русский солдат не решится стрелять в царя. А как и это было отвергнуто, с отчаянием убеждал отплыть на галере в Ревель, оттуда в Померанию к армии, и с ней двинуться на столицу: головой ручался, что вдребезги разобьет войска императрицы. Да и в самом деле у государыни не было полководца, равного ему по опыту, искусству и славе.

Люди говорили: «ежели б Петр III был не Петр III...» Но это и удивляло Ломоносова: столь умный государственный человек, как Миних, мог и должен был знать цену царю. Петр III *был* Петр III, и никакие «ежели б» тут в счет не идут. Играешь в политический фараон, так ставь на верную карту. А главное, зачем было в *этот* фараон играть? Чего ради граф Миних с ревностью защищал Петра Федоровича? чем тот его прельстил? Размышляя над этим, профессор Ломоносов пришел к выводу, что граф Миних по природе *фараонщик:* ему лишь бы азартно сыграть, и играет он не иначе, как *пароли,* все удваивая ставку на карте. Такие игроки часто идут в конце по миру. Но во все времена, верно, из подобных фараонщиков и выходили государственные люди.

Он думал, что государственные дела и вообще на три четверти состоят из зла, и разве на одну четверть из добра. Так было в России, так было и будет во всем мире. В России, пожалуй, жить было даже несколько легче, чем в других странах, частью из-за особенностей русского характера, частью по безмерной величине земли: люди, занимавшиеся делами государства, отравляли жизнь только на небольших участках страны. Но его угнетало это отношение, неизвестно кем и почему установленное. Считал в воображении возможной и такую политику, при которой на долю зла приходилась бы лишь десятая доля, а все остальное служило бы добру: миру, народному благу, образованию, здравоохранению, свободе, науке. Думал также, что из имевших власть людей каждый в отдельности и не зол, и не глуп, и не жесток,— за изъятием редких злодеев, вроде Бирона. Почему же в совокупности эти люди служили главным образом злу? Вместе с тем, смутно чувствовал, что, ежели б убрать всех этих людей и назначить на их место других, подобрее и поученей, то будет, пожалуй, еще хуже, а может быть, тогда не останется и России, которая, при нынешних, все же как-то ширится, присоединяя к себе новые земли: правда, при этом льется кровь и совершается немало зла, но они не иначе как забудутся, а земли останутся.

Чем больше он об этом думал, тем становился тоскливее, и тем больше отвращения у него вызывало все, что он, больной, читал в русских и в иностранных ведомостях, *пренумерантом* которых состоял. Тон у ведомостей был неизменно приятный, точно все везде шло отлично. Но по существу писали они главным образом о зле. Добром же никто не занимался, и всего наименее занимало людей ис-

следование истин естественности, бесчисленных таинств натуры. То, чему он отдал свою жизнь, в мире отклика почти не вызывало. «Я знак бессмертия себе воздвигнул — Превыше пирамид и крепче меди,— Что бурный Аквилон сотреть не может,— Ни множество веков, ни едка древность...» — с горькой усмешкой он вспоминал, что в самом деле искренно это думал. Но сильные мира так же мало о нем пеклись, как о Горации его современники, и за него, как за последнего мужика, сами все решали: кому править страной, с кем править, как править. События, приключившиеся в столице, довольно о том свидетельствовали. И, преодолевая раздражение и гнев, Ломоносов твердо себе сказал: пусть безумный мир делает все что угодно,— он же недолгий остаток дней отдаст одному размышлению.

В жаркий июльский день, после очередного посещения лекаря, он сидел у растворенного окна и читал бывшее у него в четком списке житие протопопа Аввакума. Этот человек воплощал многое из того, что всегда отталкивало Ломоносова. Тем не менее, читая, он не раз испытывал и восторг, и умиление, и гордость: не за себя, а за Россию. Ему попались строки: «А ты мужик, да безумнее баб, не имеешь цела ума. Ну, детей-то переженишь, жену — ту утешишь, а затем что? Не гроб ли? И та же смерть, да не та, понеже не Христа ради, но общий всемирный конец. Блаженны умирающие о Господе!.. А хотя и бить станут или жечь: ино и слава Господу Богу о сем. На се бо изыдохом из чрева матери своея. А в огне-то здесь небольшое время потерпеть — аки оком мгнуть, так душа и выступит. Боишься пещи той? Дерзай, плюнь на нее, не бойся... Много никониане людей перегубили, думая службу приносити Богу. Мне сие гораздо любо: освятилась русская земля кровью мученическою...»

Оттого ли, что этот человек не только так говорил, но в самом деле погиб на костре, хоть погиб ради мыслей и чувств, совершенно чуждых, даже просто непонятных профессору Ломоносову, или из-за собственных размышлений о близости смерти, о тщете жизни,— страница эта чрезвычайно его взволновала: вот кто не думал ни о высоком, ни о среднем, ни о подлом штиле,— а как писано, и не вздор ли штили! Он смахнул слезу, опустил книгу на колени и долго думал об Аввакуме, о себе: при всем различии, чувствовал в себе и какое-то, хотя отдаленное,

сходство с сожженным протопопом, надеявшимся убедить мир, что в костре — счастье. «Да, «затем что? не гроб ли?» А ежели так, что же «превыше пирамид и крепче меди»? Какая-нибудь никтоническая труба? Через десять или много через двадцать лет устроят никтоническую трубу лучше моей. И все испытание натуры — не та же ли данаидова бочка? Данаиды были наказаны за убийство,— а мы за что же?..» Вспомнил однако общие свои рассуждения о неизмеримой обширности всемирного строения, те мысли, что передумывал наново в день, когда хотел повторить Рихмановы опыты. «Да, *это*, быть может, не сотрет и множество веков...» Вся его жизнь ему казалась полной мук и горя, но было в ней несколько мгновений счастья, недоступного обыкновенным людям.

Елизавета Андреевна показалась на балконе и бодрым тоном сказала, что лекарь остался очень доволен: лучше, много лучше. Он смотрел на нее и видел, что лекарь сказал: хуже, много хуже.

— Что это у тебя, Лизанька? — спросил он.

— Почта принесли из Академия,— ответила она, положила что-то на столик и поспешно вышла.

Одно письмо было не почтовое, присланное от профессора Штелина. Он просил извинить, что не заходит проведать болящего,— непременно зайдет на сиих же днях, тем паче, что есть и дела: сообщал, что назначен ведать коронационными торжествами государыни императрицы Екатерины Алексеевны, и по-прежнему твердо рассчитывает на помощь Михайлы Васильевича в химической материи. «Кое-что малое в наших прожектах придется натурально изменить»,— писал он бегло, как будто не без смущения. Затем просил Михайлу Васильевича скорее поправляться, на радость бесчисленным почитателям, и уж на что другое, а на врачей денег не жалеть, хоть они дорогоньки: Dat galenus opes [1].

Еще был иногородний, почтовый пакет, пришедший в Академию из Сибири. Ломоносов распечатал,— книга, его собственная: «Тамира и Селим». Приложенное письмо объясняло, в чем дело. Молодые люди играли на театре его трагедию, благодарили сочинителя за доставленное им

[1] Гален дает богатство *(лат.)*.

отменное наслаждение и просили сделать на книге надпись. Адрес был указан неизвестного ему Владимира Кривцова. Некоторые, любовные, места трагедии были отчеркнуты черными и красными чернилами, как будто разной рукой. Из этого, да еще из того, что подписи на письме были уменьшительные: Валя, Володя, следовало, что писали влюбленные.

Ему сначала это показалось неприятным. Терпеть не мог свою трагедию, написанную когда-то по заказу, в среднем посредственном штиле, впрочем не опускавшемся в подлость. Написал вздор,— им восхищается вся Россия. А *настоящее* — кому доступно? может, навсегда останется без оценки. Странной показалась и беззастенчивость молодых людей: незачем выставлять напоказ дела сердечные и посылать чужому человеку книгу, служившую для обмена нежными помыслами. Потом ему стало смешно, он вспомнил свою молодость, Марбург, усмехнулся и написал на книге: «Милым Вале и Володе — старый сочинитель».

Елизавета Андреевна лежала у себя в комнате и плакала. По словам мужа, по ласковому выражению, ей вдруг стало ясно, что им с лекарем его обмануть не удалось, что он все понимает: знает, что жить ему осталось недолго, и утешает ее лаской, и просит не поминать худом, когда его не станет. Не нужно душам содержание слов, а нужен звук их, и сопровождающий их взгляд. И эти слова: «Что у тебя, Лизанька?»,— «Почта принесли из Академия», верно, были самыми важными из всех, какими обменялись они за всю их жизнь. Елизавета Андреевна о них вспоминала впоследствии, в ту Пасху, когда он скончался, и еще через годы, на своем смертном одре, думая, со слезами обо всем, о надвигающемся конце, о прошлом, о необыкновенном, ни на кого не похожем, человеке, с которым когда-то в Марбурге так странно свела ее судьба.

XVIII

Тамира, царевна крымская, дочь Муметова, держа в правой руке кинжал, готовилась в зале к самоубийству из-за ложного известия о гибели Селима, царевича багдатского, убитого на поле брани. Эта сцена больше всех других волновала Валю, ибо и над ней, совсем как над

крымской царевной, нависла было угроза: Володя еще в прошлом году, при покойной государыне, собирался оставить университет и поступить в конную гвардию: рвался на войну с прусским королем. Из этого тогда ничего не вышло: в конную гвардию не хотели принять семнадцатилетнего. Злобствующий же поручик Шепелев по секрету всем говорил, что не так уж Володя и рвется. Потом Валя вздохнула: царь Петр Федорович заключил с прусским королем мир, и она была царем очень довольна. Но недавно пришли слухи о готовящейся войне с Данией, и Валя опять приуныла: Дания была не лучше Пруссии, теперь Володе уже исполнилось осемнадцать, от обещаний он уклонялся, говорил скучные слова о долге русского дворянина, а раз даже обещал, *обмолвившись*, повергнуть к ее стопам осыпанную алмазами шпагу. Валя долго плакала: она была согласна, чтобы к ее ногам повергли шпагу, да еще осыпанную алмазами, но ей нужен был Володя, а не шпага. Об этом она и теперь подумала на репетиции, читая вполголоса:

Я смертью лишь могла, Селим, тебя лишиться,
Когда наш век продлить изволилось судьбе ..

Репетиции происходили в доме Полуяровых, где была хорошая зала. Мирил участников представления крымский царь Мумет, человек постарее других — ему было двадцать четыре — и большой дипломат. Клеона, мамка Тамирина, два раза отказывалась от роли и, вспыхнув, говорила, как хозяйка, что дом и зал к их услугам и далее, она будет очень рада, и нисколько, ни чуточки не обижена, но сама более выносить все это не хочет и не может! Раз вспылил и Володя; заявил, что ежели этот господин не извинится, то он будет вынужден — не успел объяснить, к чему именно будет вынужден, ибо Мумет признал его кругом правым и заставил этого господина, Мамая, царя татарского,— не извиниться, но выразить сожаление. К концу подготовки представления, общее дело, живой интерес к нему в городе всех захватили и примирили. Отец Вали дал ей три рубля. Заключив заем в рубль у няни, она обзавелась алым платком и сшила себе зеленое атласное платье. Маруся Полуярова провела тревожную ночь, хоть платья еще не видела: удар ей готовился лишь к вечеру представления. У нее у самой платье было дешевое, камлотовое,— «но ведь мамке и нельзя ни в атласном, ни в гродетуровом,— ласково говорила Валя,— это было бы просто смешно»...— «Разумеется! И вы очень славненькая мамочка!» — энергично подтверждал царь Мумет.

Накануне представления, в ожидании чаю, участники последней репетиции разбрелись по дому. Маруся шепталась с матерью в столовой, хватит ли печенья и достаточно ли будет одной бутылки венгерского для поручика Шепелева: «остальные ведь не пьют, и незачем вам, детям, пить»,— убедительно шептала рентмейстерша. Другие актеры переодевались, смывали с лица грим. Валя и Володя в зале еще отделывали в последний раз главную сцену пятого действия. Володя ждал своего выхода у двери. Валя смотрелась в зеркало и думала, что и сейчас недурно, а завтра в атласном будет совсем хорошо. Язык же ее старательно договаривал давно заученный, со всеми интонациями монолог:

...Но ныне не хочу и в смерти разлучиться:
Ты умер для меня, я следую тебе.

Она направила себе кинжал в сердце. На прежних репетициях это движение все ей не удавалось. Кинжал, доставленный поручиком Шепелевым, был настоящий, она боялась порезаться, порвать платье, и жест выходил нехорошо. По словам крымского царя Мумета, здесь вообще можно было погубить представление: надо, чтобы Селим выбежал из-за кулис и схватил Тамиру за руку в то самое мгновение, когда ее груди коснется кинжал,— а стоит ему замешкаться хоть на миг, и все пропало. Раза два на репетициях Селим действительно опаздывал,— быть может, нарочно, для смеха,— и все, кроме Вали, хохотали до слез. На этот раз он не опоздал. Но вместо того, чтобы схватить ее за руку с криком: «Я жив, дражайшая, я жив и торжествую!» — Володя просто и даже неторопливо отобрал у нее кинжал, обнял ее,— у нее как-то сама собой запрокинулась голова,— и поцеловал в губы.

— Сказал, что сделаю, и сделал! — совсем тихо прошептал он. Лицо у него побледнело.

Потом пили чай в столовой. Было, кажется, весело. Рентмейстерша расщедрилась на две бутылки, выпил вина не один поручик Шепелев. Одни участники представления говорили, что «не спят вторую ночь»; другие, напротив, уверяли, что им совершенно все равно, что они не волнуются ни чуточки, хоть знают заранее: будет стыд и срам! Валя не принимала участия в беседе. У нее замирало сердце. Старалась не смотреть на Володю, который тоже был очень взволнован. Но он в беседе участие принимал; он был из тех, кто не волнуются ни чуточки.

Затем, в шестом часу, Валя поднялась и, взглянув на Володю, сказала, что у нее немного *кружится голова*. Рентмейстерша непременно хотела послать с ней горничную: нельзя барышне под вечер идти по городу одной. Валя решительно отказалась: она очень часто гуляет одна (все знали, что это неправда). Володя, конечно, понял. Он понял, что она пойдет к беседке над рекой, в которой они уже раз встречались, в тот день, когда послали книгу сочинителю Михайле Ломоносову; понял также, что он не должен выходить с ней тотчас: надо, как ни тяжело, выждать еще минут десять, чтобы заткнуть глотку Маруське и поручику Шепелеву. Валя расцеловалась с Марусей, с ее матерью,— та все ужасалась: как можно? слыханное ли дело? — слабо пожала руку Володе и ушла. Он же поднялся через пять минут и сказал, что ему еще надо поработать. Оттого ли, что все имели твердое мнение о работах Володи, или по какой другой причине, кое-кто за столом насмешливо улыбнулся. Володя вышел с неприятным сознанием, что хитрость не удалась, что глотку Марусе и Шепелеву не заткнул.— «Но и мне, и ей все равно!» — решительно сказал себе он.

Они стояли над рекой, целовались и говорили те слова, ради которых стоит жить. Володя обещал не поступать в конную гвардию и не идти на войну с Данией. Сказал, что будет просить ее руки через год, когда кончит курс, и добросовестно добавил «или через два», не вполне уверенный в своих успехах. Сказал, что по окончании курса у него будет положение, будут деньги, и они поселятся в Санкт-Петербурге или в Москве, или, быть может, он станет дипломатом и увезет ее в чужие края. Ей было все равно: Санкт-Петербург, Москва, чужие края, лишь бы с ним!

Стало темно. По пустынной улице он провожал ее к генеральскому дому. Им встретился знакомый красноглазый ямщик-вогул. Он поклонился им в пояс и, в ответ на слова: «Здорово, брат, что новенького?», в рассеянности произнесенные Володей, сказал, что в России правит уже не царь, а царица.— «Что ты, брат, врешь? Скипидару нахлестался!» — заметил Володя. Валя же не обратила внимания на слова вогула, да и не слышала. Не доходя будки, они расстались, из страха перед общественным мнением.— «Теперь связаны мы навсегда!» — прошептал Во-

лодя. Поцеловаться было совершенно невозможно,— будочник увидит,— но они поцеловались. Вогул смотрел им вслед и одобрительно думал, что это умная девушка: не останется старой девой и не будет с ней того, что случилось с его бедной, несчастной сестрой, которую превратил в лихорадку великий, гневный Воршуд.

Дома Валю немедленно позвали в кабинет отца. По тревожному выражению на лице няни Валя поняла, что ей сильно достанется. В кабинете были зажжены не две, а четыре свечи. Мать говорила долго и сурово: Валя скомпрометировала всю семью; за ней в шесть была послана к Полуяровым горничная, Полуяровы сказали, что у ней закружилась голова и что она ушла домой, а было это два часа тому назад, теперь девятый! Где она была? Понимает ли она, что она сделала? Понимает ли она, что о ней и о них обо всех скажут? Отец, сидевший за письменным столом, поддакивал и от себя вставлял строгие замечания: «Это есть весьма неприлично, штоп одна юная девица..,» но, видимо, думал не об этом: перед ним лежала на столе депеша. В другое время Валя, быть может, рискнула бы огрызнуться: семь бед, один ответ,— и уж наверное подумала бы, что мама, по слухам, к себе в молодости не была так строга. Теперь она молчала, опустив глаза, как полагалось послушной и виноватой девице. Потом начал говорить отец и, видимо, исполняя поручение, коснулся предметов, о которых никогда с ней не говорил. Почему-то сказал, что мужчина смешон, ежели женится ранее двадцати пяти лет, что мальчишкам надо прилежно учиться, а не обманывать вздором девиц... Валя не сразу поняла и мысленно ахнула: «Откуда им известно?! Ведь я одной Наташе сказала! Она честное слово дала! поклялась никому не говорить!..» Лицо у нее побагровело По существу слова отца ее не интересовали Они могли быть справедливы в отношении мужчин вообще и мальчишек вообще, но здесь было не вообще, здесь был Володя! Отец говорил длинно, скучно, как назло, по-русски, и все одно и то же: учение, мальчишки, обман, не ранее двадцати пяти лет,— «почему именно двадцати пяти? Уж лучше сказал бы, что нельзя жениться до сорока». Она слушала так, словно не понимала, о ком и о чем идет речь.

— Во всяком случае,— сказал с силой генерал,— *теперь* должен каждый благородный молодой дворянин глупости из головы вышибать и только на отечество и на события себя внимательным делать...

— На какие события, папа? — тихо и грустно спросила Валя, больше для того, чтобы что-либо сказать: нельзя же все слушать молча.

— Вопрос кажется мне глупый быть,— ответил сердито генерал.— Я говорю, что благоверная императрица Екатерина на российский престол вступала, и об это так далеко как я знаю, говорит весь город.

Валя смотрела на отца удивленно. «Верно, с вечерней почтой пришло известие,— думала она: у Полуяровых о нем еще ничего не знали.— Но в чем же дело? Ну, *вступала*, нам-то что?» Затем мать сказала по-немецки, что девушка, которая вешается на шею молодому человеку, губит себя, что встречаться наедине с молодым человеком для барышни из хорошего семейства грех и позор, что они с отцом примут решительные меры: надо будет даже решить, может ли она дальше участвовать в этом глупом и неприличном представлении, и не надо ли вообще отослать ее к бабушке. «Sehr richtig... Selbstverständlich» [1],— рассеянно говорил генерал. Валя ужаснулась. Ей стали ясны и вина ее, и глупость (зачем сказала Наташе?), и надвигающиеся на них беды. Она растерянно слушала мать, страдала, была счастлива, страдая из-за Володи, была счастлива, чувствуя себя грешницей. А со стены, поверх головы змеи, впившейся в ее румяные груди, царица Клеопатра укоризненно смотрела на Валю, словно говорила: «Да, да, и я была такая же, как ты, и я была грешница, и у меня был Володя, и я была счастлива, и вот, посмотри, что из всего этого вышло...»

АСТРОЛОГ [2]

Рассказ

I

«Сударыня, я получил Ваше письмо и благодарю Вас за доверие. Я тотчас приступил к сложным вычислениям, которых требует составление гороскопа. Эта работа еще да-

---

[1] Совершенно справедливо... Разумеется *(нем.)*.

[2] Автор осенью прошлого года посещал в Европе французских и немецких астрологов. Их сообщения и сеансы частью послужили материалом для настоящего рассказа. *(Прим. М. А. Алданова)*.

леко не закончена, но я уже мог убедиться в том, что судьба складывается для Вас как будто весьма благоприятно.

Могу уже сделать и некоторые выводы относительно Вашей личности. Ваш характер весьма симпатичен. Вы очень умны, хотя Ваши недоброжелатели это отрицают. Вы сотканы из противоречий. Иногда Вы тверды и мужественны, но иногда легко поддаетесь чужим, не всегда благотворным влияниям, теряете мужество и бодрость. Вы страстно жаждете жизни, однако порою чувствуете большую душевную усталость. Некоторых противоречий Вашей сложной натуры Вы еще не знаете сами. Не все люди видят Ваши редкие и прекрасные качества.

Счастливы ли вы? Не думаю. Между тем в Вашей судьбе заложены возможности великого счастья. Некоторые из них уже были Вами упущены, о чем Вы, вероятно, и не догадываетесь. Опытный руководитель мог бы сделать Вас счастливейшей женщиной. Предлагаю Вам свое испытанное руководство.

По Вашим словам, Вас еще больше, чем Ваша судьба, интересует отношение к Вам человека, которого Вы любите. Но разве одно не связано теснейшим образом с другим? Думаю, что Вы созданы для этого человека и могли бы сделать его счастье. К сожалению, указаний, которые Вы о нем даете, совершенно недостаточно. Для бесспорного ответа на волнующие Вас вопросы я должен составить и гороскоп этого лица. Поэтому мне необходимо знать дату его рождения. Кроме того, многое может быть выяснено и не астрологическим путем. Вам известно, что я не только астролог. Не сочтите меня нескромным, если я скажу, что своей мировой славой я обязан в такой же мере своим познаниям в хиромантии, онейромантии, офиомантии, рабдомантии, экономантии [1],— великих и древних науках, изучению которых посвятили долгую жизнь и я, и все мои предки.

Все это требует личного свидания и беседы. Вы спрашиваете о моих условиях. Как Вам, конечно, известно, я не корыстолюбив и охотно работал бы на пользу людей совершенно безвозмездно, если бы в этом не было элемента, оскорбительного для моих клиентов. Ваша личность так привлекательна и судьба Ваша так меня заинтересовала,

---

[1] Онейромантия — предсказание будущего путем истолкования снов. Офиомантия — предсказание с помощью змей. Рабдомантия — обнаружение подземных источников и залежей руды с помощью лозы. Экономантия — хозяйственные предсказания по приметам.

что я готов предоставить Вам льготные условия, которых я не предоставляю даже самым знаменитым писателям, врачам, адвокатам, удостоивающим меня издавна своего доверия. Предлагаю Вам следующее:

1)За сообщенное в настоящем письме я не беру с Вас *ничего.*

2) Ваш полный гороскоп обойдется Вам в двести (200) марок. С рядовых клиентов я обычно беру вдвое больше. До войны мне случалось составлять гороскопы представителей англо-американской плутократии, как Франклин Рузвельт, Рокфеллер, Вандербильт, герцоги Вестминстерский и Норфолькский, сэр Вальтер Скотт. Они платили мне тысячи долларов, которые я почти целиком отдавал на благотворительные дела.

3)Если Вы пожелаете иметь также гороскоп человека, о котором Вы говорите в письме, то я по совокупности возьму с Вас за оба гороскопа триста пятьдесят (350) марок.

4) Если Вы сделаете мне честь посетить меня в среду, в 10 часов утра, то консультация, с раскладкой карт, обойдется Вам лишь в пятьдесят (50) марок.

В ожидании Вашего скорого ответа прошу Вас принять уверение в моей совершенной преданности. Heil Hitler!»

За подписью следовала дата: «13 апреля 1945 года. Сидеральный[1] час 10.30». Наверху листа были выгравированы имя и адрес Профессора, номер его телефона и слова: «Просят прилагать почтовую марку для ответа». Имя у него было длинное и странное. Прежде он считался индусом, но с начала войны говорил, что он индонезиец.

Профессор перечел копию своего письма и вздохнул. Не любил обманывать людей, однако надо было жить. «Ах, Боже мой, очень многое в жизни построено на человеческом легковерии, и какое это было бы несчастье, если бы люди не были легковерны!» — подумал он и на этот раз. Пожалуй, в письме не следовало упоминать об англо-американской плутократии, особенно теперь, когда дела Германии шли так плохо. Но гестапо нередко вскрывало его корреспонденцию. Кроме того, в день, когда он писал письмо, положение стало лучше: русские больше не наступали, радиокомментаторы говорили, что между большевиками и демократиями произошел разрыв. Умер президент Рузвельт, и это событие тоже толковалось радиокомментаторами как огромная удача национал-социалистов. Быть

[1] Звездный (*древнегреч.*).

может, лучше было бы и не упоминать о Вальтере Скотте: впрочем, Профессор по долгому опыту знал, что его клиенты в громадном большинстве люди необразованные. «Письмо написано хорошо. Нет такой женщины, которая не думала бы, что она очень умна, что у нее редкие, прекрасные качества и сложная, противоречивая натура, что она создана для любимого человека и что ее не ценят недоброжелатели».

В письме, полученном им от этой дамы, не было ничего интересного. Большая часть клиентов не называла вначале своего имени и просила посылать письма «до востребования». Позднее же многие, особенно дамы, не только называли имена, но и сообщали о себе все, вплоть до самых интимных дел. Профессор первые свои выводы делал по слогу письма, по бумаге и почерку. Перед свиданием он всегда перечитывал запрос и копию своего ответа. Годы на нем сказались: память ослабела, он стал в последнее время болтлив и повторял одно и то же еще много чаще, чем это делают все люди.

В этот день у него с утра было знакомое неприятное ощущение под ложечкой, обычно, хотя и не всегда, предвещавшее припадок. Он плохо спал, проснулся очень рано, первым делом отворил окно, застегнув халат, чтобы не простудиться, и прислушался. В Берлине говорили, будто по ночам слышится отдаленный грохот пушек. «Нет, кажется, ничего не слышно... Ночью налета не было... Ох, пора уезжать...»

Это был маленький старичок с желтыми волосами вокруг желтой лысины, с хитрыми желтыми глазками, с желтой бородой, с желтым утомленным лицом. Профессор страдал болезнью печени и по возможности это скрывал, чтобы не повредить своей торговле: хотя клиенты не могли требовать, чтобы астролог был бессмертен, болеть ему не полагалось. Он был чистокровный немец, но с годами в его внешнем облике появилось что-то восточное,— это было даже не совсем безопасно: могли принять за еврея. Говорил он с неопределенным иностранным акцентом, справедливо рассчитывая, что в Берлине никто не может знать, с каким именно акцентом говорят по-немецки индонезийцы. Разумеется, полиция прекрасно знала, кто он. Однако астрология запрещена в Германии не была. У Фюрера были свои астрологи. Первого из них, Гануссена, давно убили — это могло объясняться его еврейским происхождением. Новый астролог Гитлера, Дитерле, по слухам, и теперь постоянно у него бывал, в рейхсканцлерском дворце, на

фронтах, в «Орлином Гнезде», в нынешнем подземном убежище на Вильгельмштрассе. В последнее время астролог Вульф стал посещать Гиммлера. Профессор был знаком и с Ганусеном, и с Дитерле, и с Вульфом; отзывался о них всегда сдержанно-корректно, как порядочный врач отзывается о других врачах, но в душе их терпеть не мог и считал шарлатанами.

Он прошел в ванную комнату — горячей воды давно не было — и минут сорок занимался туалетом. Чистота была слабостью Профессора; он говорил приятельницам, что у порядочного человека может быть в общественной жизни только один идеал: дожить до того времени, когда купаться каждый день будет так же обязательно, как есть каждый день. Надушившись крепкими восточными духами, расчесав золотым гребешком бороду, срезав торчавшие из ушей и ноздрей желтые волосы, он надел черный костюм, сшитый у лучшего портного, с двумя внутренними карманами, с отворотами на брюках, правда, сшитый уже довольно давно, в ту пору, когда из Бельгии и Голландии привезли в Берлин прекрасное английское сукно. Профессор не был богат. Его состояние, скопленное годами труда, растаяло в пору инфляции,— знакомые скептики, к крайней его досаде, издевались: «Как же вам звезды не сообщили, что марка полетит к черту?» Правда, заработки его увеличились при Гитлере. Все случившееся в Германии было так странно и неправдоподобно, что, по-видимому, люди стали больше верить в колдовство. Попадались клиенты и среди новых господ. Профессор их боялся, но и они боялись астрологов; впрочем, платили скупо, торговались и порою намекали на свои связи. Он с достоинством отвечал, что, кое-какие связи найдутся и у него, однако тотчас соглашался на скидку. По своей доброте и жизнерадостности, Профессор недолюбливал национал-социалистов и до 1933 года называл Гитлера «Маляром». Веймарскую республику Профессор тоже недолюбливал — всего больше за инфляцию — и называл Эберта «Шорником». Настоящая жизнь была до первой войны. Профессор ненавидел войну и приходил в уныние, когда в газетах начинали появляться географические карты.

Его небольшая квартира была обставлена частью в готическом стиле, частью в восточном: не то индийском, не то турецком. Профессор был женат два раза. Обе жены от него ушли: первая признала, что он для нее слишком глуп, вторая — что он слишком глубок: они не интересовались астрологией, и им было с ним скучно. «Чаще всего люди

разводятся оттого, что им не о чем говорить друг с другом»,— грустно думал он. Впрочем, он не очень горевал и находил, что в одиночестве есть известные преимущества: например, очень приятно спать одному — зажигаешь лампу, когда хочешь, тушишь, когда хочешь, тянешь к себе одеяло, как хочешь. Его приятельницы жаловались, что он всегда рассказывает одни и те же истории, все больше астрологические. Он недоумевал: неужели это не интересно? Однако иногда сам удивлялся, что ему не о чем рассказывать: так мало событий случилось с ним за семьдесят лет, в самую бурную эпоху истории. Изредка он приглашал бывших приятельниц на обед, всегда в очень хороший ресторан, и заказывал дорогие вина. Скуп никогда не был, хотя, случалось, с легким огорчением вспоминал об истраченной без необходимости сотне марок. Любезен он был чрезвычайно и всем знакомым, дамам и мужчинам, говорил в глаза только приятное, зная, как мало этим люди избалованы и как это ценят. В пору своих поездок на курорт он в вагоне, надев шапочку и мягкие туфли, угощал соседей конфетами и хвалил удобства железных дорог. Профессор даже о погоде старался отзываться лестно, точно допускал, что и она любит комплименты. О политике же он старался не говорить, особенно с июля прошлого года: заговор поразил его еще больше, чем война,— войны бывали всегда, но уж если вешают германских фельдмаршалов, значит, в мире возможно решительно все.

В столовой был приготовлен утренний завтрак. Профессор не держал ни горничной, ни кухарки. Он всегда чувствовал неопределенное беспокойство, когда в доме находился посторонний человек. Утренний завтрак готовила уборщица Минна, угрюмая, неболтливая женщина, приходившая только на два часа в день. Она была совершенно равнодушна к личности своего работодателя и к его занятиям, убирала же квартиру хорошо. Прежде по утрам Минна готовила ему яичницу с салом, овсянку, компот. Теперь все было трудно доставать. Яичница запрещалась при камнях в печени. Профессор выпивал утром только две чашки кофе с поджаренным хлебом. Однако утренний завтрак по-прежнему составлял одну из лучших радостей его жизни. Кофе был сносный. Но он помнил *настоящий* кофе, тот, что был при императоре Вильгельме, тот, что он пил у Кранцлера, у Бауера и в Café Victoria.

За завтраком Профессор развернул газету и изменился в лице. Русские начали наступление на фронте шириной в триста километров. Наступали одновременно десять совет-

ских армий. На первой странице был помещен приказ Фюрера по войскам восточного фронта. «Наш враг № 1, иудо-большевики, бросили свои азиатские орды против нашего отечества с тем, чтобы положить конец германской цивилизации. Мы предвидели это наступление и с 11 января установили прочный фронт»,— читал Профессор с проклятиями. «Знаю, как Маляр все предвидел! Красил бы лучше заборы!» — думал он. «...Большевиков на этот раз ждет участь всех азиатских завоевателей. Они погибнут под стенами нашей столицы...» — «Вот оно что! Уже дошло до «стен нашей столицы...»,— мрачно думал Профессор. «...В момент, когда судьба убрала из мира величайшего военного преступника всех времен, решается судьба войны...» Профессор не сразу понял, что величайший военный преступник всех времен был президент Рузвельт. «Кажется, Маляр совершенно выжил из ума... На западном фронте дела были не лучше, чем на восточном. Третья американская армия генерала Паттона перешла чешскую границу. Первая армия генерала Ходжеса тоже стремительно продвигалась вперед. «Хоть бы они сюда пришли первыми, а не русские,— подумал Профессор.— Конечно, надо бежать, но как? Давным-давно надо было уехать в Швейцарию...»

Он вздохнул и перешел в свой рабочий кабинет. В этой большой роскошной комнате на одной стене висела огромная картина, изображавшая процессию факиров на Ганге, а на другой — знаки Зодиака. На полках стояли прекрасно переплетенные Эфемериды. На небольшом узком столе, крытом желтой бархатной скатерью с вышитыми на ней восточными письменами, лежали магический шар и старинный футляр с картами. По сторонам узкого стола стояли два высоких готических стула. Все было в совершенном порядке. В комнате приятно и странно пахло. Профессор отворил готический шкаф, надел желтую мантию и белый тюрбан. Несмотря на многолетнюю привычку, ему всегда было немного совестно надевать этот наряд.

До времени, назначенного клиентке, еще оставалось минут десять. Он плотно затворил дверь и пустил в ход радиоаппарат. В этот час обычно говорила тайная германская радиостанция. Профессор относился к ней подозрительно: не очень верил в существование тайной радиостанции в Германии. Кроме того, три четверти ее сообщений казались ему враньем. Сердитый голос внезапно с середины фразы закричал, что теперь дело Гитлера, конечно, совсем кончено. Никак не приходится ему надеяться и на

распрю между большевиками и демократиями: президент Трумэн твердо решил не включать в свой кабинет Бернса, который высказывается против уступок России, а назначение Молотова главой советской делегации в Сан-Франциско свидетельствует об искренней дружеской симпатии Сталина к новому президенту Соединенных Штатов.

В передней прозвучал очень короткий, какой-то робкий и жалостный звонок. Профессор поспешно закрыл радиоаппарат и перевел стрелку на другую, далекую волну. Затем усилил огонек под медной чашкой с восточными ароматами и вышел в переднюю. Он отворил дверь, приложил правую руку к тюрбану и впустил даму в кабинет.

II

— Прошу вас садиться,— с индонезийским акцентом сказал он, пододвигая даме готический стул и внимательно в нее вглядываясь. Личные наблюдения над клиентами были главным источником его предсказаний. Он был наблюдателен, знал (особенно прежде) толк в людях и отлично понимал клиентов. «Помесь Фрейда с жуликом»,— сказал о нем посетивший его из любопытства иностранный писатель.

На даме была густая вуаль. В этом для Профессора тоже ничего необычного не было: многие клиентки вначале скрывали наружность, хотя он никак не мог их знать, и поднимали вуаль лишь минут через десять «Одета хорошо. Молода и, кажется, красива»,— подумал Профессор. Женщины теперь волновали его меньше, чем прежде, но волновали (в прошлом году он по-настоящему расстроился, когда в первый раз в его жизни дама уступила ему место в автобусе). «Очень нервна. . Деньги требовать вперед незачем: эта заплатит...» Клиенты иногда его обманывали: отказывались платить за гороскоп да еще ругались. Это обычно бывало в тех редких случаях, когда гороскоп оказывался неблагоприятным. Профессор отлично знал, что неблагоприятные гороскопы невыгодны, и по возможности их избегал. Однако, когда клиент требовал уж слишком большой порции счастья, когда уродливая дама желала пламенной любви, глубокий старик — еще полустолетия жизни, биржевик — удвоения стоимости акций Allgemeine Elektrizitäts Gesellschaft, Профессор им в этом отказывал: нельзя было портить себе репутацию однообразием благоприятных предсказаний. Если же клиент повышал го-

лос или начинал скандалить, Профессор кротко говорил, что не несет ответственности за показания небесных светил и денег насильно не требует. В таких случаях не прикладывал руки к тюрбану, но полицией никогда не грозил. Недолюбливал полицию даже во времена императора Вильгельма.

— Вы пришли в ранний час: в час Сатурна,— сказал он медленно глубоким низким голосом. Говорил обычно одно и то же: больше для того, чтобы дать клиентке время справиться с волнением. Вдобавок любил себя слушать.— Чем раньше беседовать с Роком, тем лучше. Я всегда встаю до зари и каждое утро любуюсь великим чудом мира. Темная ночь бежит от восходящего Солнца. Пышно и величественно появление величайшего из небесных светил. На Востоке появляются первые пурпурные полосы. Но еще темен небосклон на Западе. Солнце всходит. Солнце взошло. Его приветствует вся тварь земная. Поют птички. Все радуются начинающемуся дню. Только слабый безумный человек не радуется каждодневному чуду. Отчего?

— Я... Не знаю,— тихо сказала дама. Профессор, впрочем, и не ожидал ответа: знал, что даже очень находчивому человеку трудно ответить на его вопрос. Он попрежнему изучал даму. Она ни на что не смотрела: ни на его мантию, ни на знаки Зодиака, ни на картину. «Женщина легкого поведения? Конечно, нет. Артистка? Тоже нет...»

— Солнце,— продолжал Профессор,— исполнено разума. Это знал еще Кеплер, величайший из всех астрономов и астрологов мира. Помните ли вы его трактат о Марсе? В нем он мудро говорит: «Планеты *должны* обладать разумом: иначе они не могли бы так правильно следовать по элиптическим путям в полном соответствии с законами движения».

Дама, очевидно, не помнила кеплеровского трактата о Марсе. Она сидела молча, неподвижно глядя перед собой.

— Ваш приход сюда, сударыня,— сказал Профессор,— показывает, что вы приняли мое предложение и мои условия. Перед тем, как перейти к картам, я должен задать вам несколько вопросов. Вы страстно любите одного человека. Судьба обычно снисходительна к нашим страстям, если они чисты, не гибельны для души и не вредят другим людям. Вы писали, что сомневаетесь в любви этого человека к вам. Он не женат, обещал вам на вас жениться и не выполняет своего обещания. Так, сударыня? —спросил Профессор. Он называл своих клиенток по-разному, то «сест-

ра моя», то «госпожа моя», то «радость моей души», то просто «сударыня».

Дама молча наклонила голову.

— От астролога не должно быть секретов, да и не может быть: звезды скажут мне то, что вы утаили бы от меня... Вы находитесь в греховной связи с этим человеком?

— Нет... Да,— поколебавшись немного, прошептала дама.

— Думаете ли вы, что он любит другую?

— Нет.

— Быть может, ему нужны деньги, а их у вас нет?.. Я это говорю не в плохом для него смысле. Очень порядочные люди иногда не женятся потому, что не могут содержать семью...

— Деньги тут ни при чем,— перебила его дама.

— Чем же вы объясняете его отказ исполнить свое обязательство?

— Я... Я именно это хотела узнать у вас.

— Я это вам и сообщу,— сказал Профессор и пододвинул к даме магический сосуд.— В этом шаре находится вода Ганга. Положите на него левую руку. Но сначала, конечно, снимите перчатку. И если вам все равно, поднимите вуаль. Зачем она? Зачем скрывать лицо, когда я вхожу в соприкосновение с вашей душой?

Дама подняла вуаль. Она в самом деле была хороша собой. «Что-то есть в ней простонародное. Кажется, здорова как бык, но глаза маньячки, очень странное сочетание»... По привычке он хотел было определить, представляет ли эта женщина доброе или злое начало жизни, но затруднялся. «Нет, доброты ее лицо не выражает. Страстность — да. Неразделенная страсть».

— Левую. Я сказал левую,— поправил он ее. Когда дама положила руку на шар с водой, Профессор немного помолчал и подлил жидкости в медную чашку. Приятный, чуть пьянящий запах усилился.

— Сусабо! Мизрам! Табтибик! [1] — глухим голосом сказал Профессор и положил свою руку на руку дамы. Ее рука была холодна. Лицо ее все бледнело. «Очень нервна»,— подумал он, не сводя с нее глаз. Затем он закрыл глаза. Он и сам был немного взволнован. «Жаль, что написал о Вальтер Скотте... Неглупа... Бедная женщина... Кажется, она плохо кончит»,— думал он, подготовляя свой ответ.

---

[1] Магическое восклицание древневавилонских жрецов.

— Я не могу... Я больше не могу! — шепотом сказала дама. Профессор открыл глаза и сказал строго:

— Вы должны были молчать. Ваши слова нарушили цепь душ. Теперь ее надо восстановить.— Он встал, вспрыснул руку жидкостью из хрустального флакона, вытер ее белоснежным платком, снова положил ее на руку даме и снова закрыл глаза. Его лицо тоже стало бледнеть. Через минуту он поднял руку и приложил ее к тюрбану.

— Вы будете счастливы. Вы будете жить очень долго: еще сорок девять лет, семь месяцев и шестнадцать дней.

— А он? — спросила дама, безжизненно на него глядя. По-видимому, его слова не произвели на нее впечатления. Это немного задело Профессора.

— Позвольте перейти к картам,— сказал он, точно не слыша ее вопроса, и взял со стола футляр.— Как вы знаете, карты колоды соответствуют разным человеческим характерам. Вы трефовая дама. Трефовая дама означает доброту, благородство и ум, при некоторой неустойчивости характера.— Он принялся метать.— Правая карта указывает на характер человека. Левая говорит о том, что его ждет. Вы видите, я не ошибся: трефовая дама лежит справа.

Он положил карты и поднял руку.

— Сусабо! Мизрам! Табтибик! — повторил он еще внушительнее, чем в первый раз, и, по-прежнему не сводя глаз с дамы, снова взял колоду.— Девятка бубен... Сударыня, вы находитесь накануне важных решений. Очень, очень важных. Девятка бубен выпала аргонавтам, когда они решили сесть на корабль Арго. Шестерка червей... Благородный, самоотверженный поступок,— сказал Профессор, качая головой, точно с сомнением.— Восьмерка червей... Свершится то, чего вы давно и страстно желаете... Думаю, что вы будете счастливы.

— Значит, вы не уверены?

Профессор немного помолчал.

— Сударыня, в жизни есть два начала: доброе и злое. Какое из них сильнее, этого не дано знать людям. На первый взгляд ненависть более могущественное начало, чем любовь. Но прочно в жизни только доброе начало. Вечное начало любви, то единственное, что дает счастье в жизни. Ненависть приносит удачу, счастья же она не дает,— сказал он и задумался, с сокрушением глядя на даму. Профессор точно вдруг спохватился.— Вот то, что я пока могу вам сказать. Но, как вы знаете, ваш гороскоп еще не вполне составлен. Показания небесных светил обычно не расходятся с показаниями карт. Однако бывали и исключе-

ния. Великий Валленштейн был исключением... Еще был ли он, впрочем, велик? У великих людей этого рода, в сущности, необыкновенна была только энергия. Всем их идеям была грош цена. Может быть, и как людям им была грош цена... Не всем, конечно,— вставил Профессор, опять спохватившись.— Это, конечно, не относится к такому необыкновенному человеку, как Фюрер... Вы спрашиваете, женится ли на вас человек, которого вы любите. Я должен вернуться к тому, что сказал в письме. Для полной уверенности я должен составить и его гороскоп. Если вы небогаты, я сделаю для вас скидку. Второй гороскоп обойдется вам всего в сто марок. Деньги совершенно меня не интересуют.

— Дело не в деньгах!.. Но... Я не могу вам назвать его имя... Это было бы с моей стороны нескромно.

— Его фамилия мне не нужна. Я ведь не спрашивал о фамилии и вас. Для удобства я желал бы знать ваше имя... Впрочем, и это не обязательно. Прародительница женщин была Ева,— с улыбкой сказал Профессор то, что он говорил всем клиенткам, не желавшим себя назвать.— Так вас и будем называть в гороскопе. Мне нужно знать число и год его рождения или число и год его зачатия. Больше ничего.

— Как?.. Как вы?.. Как можно знать число зачатия человека?

— Разумеется, в громадном большинстве случаев дату зачатия можно знать только приблизительно. Но небесные светила не меняют своего положения в домах Зодиака в одно мгновение. Ошибка в несколько дней не имеет большого значения. Ведь даты рождения людей в древности не были известны с совершенной точностью. Между тем их гороскопы были составлены и сбылись... Разве вам не известна дата рождения человека, которого вы любите?

— Нет... Да, она мне известна... Он родился 22 апреля 1889 года.

«Не очень же он молод, ее голубчик!» — подумал Профессор с некоторым удивлением. Он взял стилограф, наполненный красными чернилами, и написал на блокноте красивым, четким почерком с завитушками: «Рожд. 22 апреля 1889 г.».

— Оба гороскопа будут готовы через неделю. Зайдите ко мне в среду, опять в сидеральный час Сатурна... В десять часов утра,— пояснил Профессор и вспомнил, что через неделю он, быть может, уже уедет.— Или, если хотите,

заплатите мне сейчас, а я пошлю вам гороскоп по почте... До востребования, до востребования.

— Ради Бога... ради Бога, сообщите мне все раньше!

— Хорошо, во вторник.

— Еще раньше, умоляю вас. Неужели нельзя получить гороскоп завтра? Ну, хоть послезавтра.

— Тогда мне придется работать всю ночь. Я готов для вас и на это, но я должен буду прибегнуть к помощи одного молодого сиамца, которого я посвятил в простейшие тайны нашей науки. Он помогает мне в вычислениях. Вы поймете, однако, что я не могу эксплуатировать его труд. Это будет вам стоить еще пятьдесят марок.

— Я охотно заплачу что надо. Нельзя ли завтра?..

— Нет, завтра нельзя,— строго сказал Профессор. Он спорил только для престижа: ему было совершенно все равно, когда сдать гороскоп.— Знаю, с каким трепетом люди ждут моих предсказаний. Поверьте, вам нечего волноваться: мне уже почти ясно, что гороскоп будет благоприятен. Он женится на вас.

— Вы думаете? Вы уверены?

— Я почти уверен: почти,— внушительно сказал Профессор.

III

Четыреста марок были деньги. Однако настроение духа у Профессора улучшилось лишь на несколько минут. Неприятное ощущение под ложечкой не проходило. «Настоящее счастье в мире одно: никогда не чувствовать ни одной точки своего тела. И именно это счастье мы начинаем ценить только тогда, когда оно исчезает»,— подумал Профессор. Он любил философию и в молодости одолел половину «Критики чистого разума»; только дочитав до 300-й страницы, решил, что незачем истязать себя: «Я не приват-доцент и не факир». Книг же вообще прочел довольно много.

Профессор спрятал деньги в потайной ящик письменного стола. Минна воровала только натурой: таскала сахар, кофе, реже простыни, но денег не брала. Лучше было, однако, не вводить людей в искушение. В ящике лежало пять тысяч марок, триста пятьдесят швейцарских франков, десять золотых монет императорского времени, золотой портсигар, два кольца. Больше у Профессора ничего не было. Страхового полиса он не имел, так как не верил в прочность валюты, в банке денег не держал, так как не ве-

рил банкам. При виде военного с пышными усами, с гордо закинутой головой Профессор, вздохнув, подумал, что в то счастливое время человека, не верившего банкам, сочли бы психопатом, а о падении валюты никто и не слышал. «Да, плохо. Все стало гадко. Пожалуй, еще можно улететь».

Один сановник-клиент, хорошо к нему относившийся и гораздо более благодушный, чем другие, мог достать ему место на аэроплане. Виза в Швейцарию у Профессора была готова: он давно чувствовал, что их дело идет к концу,— так вошел с годами в роль восточного волшебника, что теперь на немцев смотрел как бы со стороны и даже мысленно говорил «они». «Везде в мире очень многое зависит от успеха, но у н и х от успеха зависит решительно все. Они циники и нигилисты, сами того не замечая»,— думал Профессор. Тем не менее уезжать было тяжело. Он любил Германию, любил Берлин, когда-то такой уютный, любил свою квартиру, мебель, вещи. «Минна растащит все... И как же это: уехать навсегда? В политике будто бы ничего не бывает «навсегда». Но когда человеку под семьдесят лет, то «навсегда» не очень много и значит»... С некоторых пор стал читать медицинские статьи в газетах. «Однако гороскоп дал прекрасные результаты»...

Профессор не верил ни в хиромантию, ни в офиомантию, ни в рабдомантию. В сны не верил совершенно: они обычно бывали слишком глупы даже для самых глупых клиентов. Но в астрологию, в *настоящую* астрологию, он верил твердо. Помнил, что Теаген с точностью предсказал Октавию его судьбу, что Скрибоний составил изумительный гороскоп Тиберию, что Нострадамус предсказал мировые события за четыре столетия вперед. Для своих клиентов он особенно не старался: нельзя было тратить месяц на каждого клиента. Над собственным же своим гороскопом работал очень долго и лишь недавно его закончил. Он вынул тетрадь в прекрасном кожаном переплете.

В тетради были отлично вычерченные карты, страницы расчетов, текст заключений. Все было написано разноцветными чернилами, старинным письмом. В день рождения Профессора Солнце и Сатурн шли параллельно в 9-м и 10-м домах Зодиака. Так было в день рождения Людовика XIV, и этот король жил 77 лет. Сатурн находился в сфере влияния Марса. Это обычно ничего хорошего не обещало. Влияние Марса сказалось на судьбе Сади Карно, который, правда, стал президентом Французской республики, но был заколот анархистом. «Правда, при некоторых обстоя-

тельствах влияние Марса парализуется влиянием Венеры, и у меня дело обстоит именно так. Гороскоп отличный... Но уезжать все-таки надо. Денег года на два, при скромной жизни, хватит и в Швейцарии. Правда, очень противна скромная жизнь»,— рассеянно думал он сразу о нескольких предметах.

В передней вдруг прозвучал звонок, совершенно не похожий на первый: властный, долгий, непрерывный. Так часто звонили люди из Гестапо. Профессор поспешно встал и направился к двери. «Что это такое? С ума он сошел, что ли»... Посетитель не отнимал пальца от пуговки. В переднюю не вошел, а скорее ворвался высокий, очень широкоплечий человек в черном штатском пальто. «Грабитель!»

— Что такое?.. Что вам угодно?

— Я к вам... По делу,— сказал незнакомый человек неприятным сиплым голосом. Очевидно, он грабителем не был, да грабитель и не стал бы так звонить. Тем не менее Профессор продолжал смотреть на него растерянно. Лицо у незнакомого человека было рассечено шрамом от уха до рта. «Где я его видел?.. Кто это? Чего ему нужно?» Незнакомый человек, не снимая пальто, вошел в кабинет, бросил быстрый взгляд по сторонам, впился тяжелыми глазами в хозяина и, не дожидаясь приглашения, сел на высокий готический стул, который чуть хрустнул под его тяжестью.

— Прошу покорно садиться,— сказал Профессор, забыв об индонезийском акценте. Сердце у него билось. Он и сам не мог понять причины своего волнения. Никакого злого умысла у этого человека все-таки быть не могло. «Кто такой? Какая зверская морда!.. Шрам не от мензуры и скорее недавний... Выправка военная, но у кого же из них нет военной выправки? Одет плохо, хотя все новенькое и дорогое. Не умеет носить, не привык»...

— Вы этот... Колдун? — спросил человек с шрамом.

«Может быть, он пьян? — подумал Профессор.— Если бы он был подослан Гестапо, он был бы вежлив и любезен».

— Я не колдун, а астролог,— мягко сказал он.— Я предсказываю людям их участь главным образом на основании научной астрологии. Иногда я пользуюсь также методами хиромантии, онейромантии, офиомантии, рабдомантии и экономантии,— добавил он. Профессор вначале говорил всем одно и то же, но о восходе солнца, о птичках и о Кеплере этому посетителю не сказал. Человек с шрамом тотчас перебил его.

— Я ничего ни в каких таких мантиях не понимаю! Мне сказали, что вы гадаете по картам, по звездам и по руке.

— Смею ли спросить, кто вас ко мне направил?

— Это все равно.

— Мне это действительно все равно. Моя наука, в которой нет ничего недозволенного, открыта всем. Кроме спекулянтов. Ко мне изредка приходят люди, желающие знать, когда кончится война. Им это, верно, нужно для их биржевых операций. Но небесные светила не интересуются денежными вопросами, и положение планет на небе не может быть использовано для наживы, которая противоречила бы воле Фюрера,— сказал с самым невинным видом Профессор, слышавший, что Гестапо в последнее время подсылало к предсказателям провокаторов, справлявшихся о будущем курсе военных займов. «Вот сейчас увидим, спросит ли он, кто у меня бывал по этим делам». У Профессора был готов ответ, что он никогда не спрашивает фамилию клиентов. Однако человек с шрамом такого вопроса не задал.

— А что показывают эти... небесные светила?— спросил он.

«Нет, не провокатор»,— подумал Профессор. «Может быть, клиент из Гестапо, таких много. А может быть, и не из Гестапо». Ему было хорошо известно, что у многих деятелей Гестапо вид очень мирный и добродушный.

— Наша наука,— сказал он уже спокойнее и с индонезийским акцентом,— основана на одном факте, проверенном мудростью столетий. Этот факт заключается в следующем. В жизни каждого человека бывают два момента, когда его судьба пишется на небе и определяется на всю жизнь. Это день его рождения и день его зачатия. Впрочем, древние мудрецы определяли положение небесных светил еще и в третий момент: в день смерти человека.

— Зачем в день смерти человека?

— Для определения благоприятного момента для погребения: для того, чтобы обеспечить человеку радушный прием в лучшем мире,— сказал Профессор и увидел, что радушный прием в лучшем мире не интересует этого клиента. «Конечно, грубый материалист, как они все»,— подумал он с презрением: терпеть не мог материалистов. «По всей видимости, наци... Это мы тоже сейчас проверим».— Показания небесных светил,— продолжал он,— желательно пополнять показаниями волшебных карт. Есть разные системы гадания по картам. Я, например, никогда не поль-

зуюсь древней системой египетского тарока, потому что в нем все основано на сопоставлении судьбы человека и букв еврейского алфавита. Это было бы несогласно с предначертаниями Фюрера. Каждая буква еврейского алфавита, как мне известно из обличительной литературы, что-то означает. Так, буква «шин» означает близкое сумасшествие, а буква «ламед» — виселицу.

— Ламед? — повторил, вздрогнув, незнакомец.

— Да. Как ариец, я не желаю пользоваться этой системой, хотя Аристотель именно по ней предсказал будущее Александру Македонскому.

— «Ламед»! К черту ламед! — сердито сказал незнакомец. «Так и есть, наци. Едва ли офицер. Скорее из Гестапо или дружинник»,— подумал Профессор.

— Я и говорю. Но есть другие, чисто арийские, системы. Вам угодно ограничиться картами?

— Сколько все это стоит?

— С вас я взял бы всего двадцать марок за гадание по картам и столько же за гадание по линиям руки. Гороскоп должен стоить дороже: пятьдесят марок,— сказал Профессор. Он назначил ничтожный гонорар, лишь бы не спорить с этим человеком и поскорее от него освободиться.

— Я вам дам за все пятьдесят марок. Этого больше чем достаточно.

— Деньги меня совершенно не интересуют. Я согласен,— сказал Профессор.— Благоволите показать мне руку.— «Ну и рука! Ему бы быть палачом!» Рука у человека с шрамом была толстая, громадная, с волосатыми короткими пальцами. «Пальцы короче кисти — бестиальность. Линия жизни, к сожалению, длиннейшая. А вот на линии головы островок: быть может, он сойдет с ума. Если он уже не полусумасшедший. Давно я не видел столь противной фигуры!»

— Ваша линия жизни очень длинна. Это почти обеспечивает вам долгую жизнь. Правда, она красна и широка.

— А это что значит? — быстро спросил человек с шрамом.

— Это свидетельствует о сильных страстях. Извините меня, у вас тяжелый характер,— сказал Профессор. Он, собственно, больше и не смотрел на руку клиента: смотрел, скрывая отвращение, на его лицо.— У вас есть враги. Опасные враги, но и вы им опасный враг.

— Что с ними будет? — спросил незнакомец, слушавший очень внимательно.

— По вашей руке я могу предсказывать только *вашу* судьбу. Если вы хотите знать судьбу ваших врагов, вы должны прибегнуть к картам и к гороскопу... Я продолжаю. В мире есть два начала: начало любви и начало ненависти. Вы начала любви не выражаете. Линия головы...

— О чем говорит линия головы? — перебил его человек с шрамом.

— Об умственных и моральных особенностях человека...

— Это меня не интересует,— сказал незнакомец, отдернув руку так резко, что Профессор вздрогнул.— Перейдем к картам. Но так как предсказанье по руке не закончено, то я за него заплачу вам меньше. Сколько всего есть линий?

— Пять,— сухо ответил Профессор, хотя линий было девять.

— Вы хотели за предсказанье по руке двадцать марок. Значит, я вычту шестнадцать.

— Очень хорошо... Вы хотите знать вашу судьбу или судьбу вашего врага? Главного врага? Отлично,— сказал он и взял в руки колоду. По правилам здесь надо было бы произнести: «Сусабо! Мизрах! Табтибик!» — но Профессор смутно чувствовал, что этого теперь говорить не надо. «Каков может быть его враг?» Он принялся метать.

— Червонный король,— неопределенно заметил он.— Но на эту карту нельзя гадать вашему врагу. Червонный король означает мирную натуру, целиком отданную религии, богоугодным и благотворительным делам.

Человек с шрамом грубо рассмеялся.

— Да, ему на эту карту гадать нельзя!

— Я так вам и сказал... Его карта будет первой слева... Шестерка пик. Я так и думал.

— Что означает шестерка пик?

— Шестерка пик означает страшный обман, замеченный слишком поздно. Троянцам выпала шестерка пик, когда они впустили в свои стены греческого коня.— «Кажется, подействовало. Больше не гогочет»,— подумал Профессор.— Тройка пик, еще хуже: танец смерти, его танцуют Парки... Я не хотел бы быть на месте вашего врага. Быть может, вы не настаиваете на составлении его гороскопа?

— Когда может быть готов его гороскоп?

— Обычно это берет три дня...

— Я должен иметь все завтра.

«Странно, странно»,— подумал Профессор. Его безотчетная тревога росла. Этому клиенту он не сказал о молодом сиамце и не потребовал прибавки.

— Хорошо, я вам пошлю завтра. Благоволите сообщить мне день рождения или день зачатия вашего... знакомого,— сказал он, снова вынимая из кармана самопишущее перо.

— Как же к черту можно знать день зачатия человека?

— Ошибка в несколько дней не имеет большого значения. Небесные светила не меняют в одно мгновение своего положения в домах Зодиака. Надо просто вычесть двести семьдесят дней из даты рождения.

— Его день зачатия семнадцатого июля тысяча восемьсот восемьдесят восьмого года,— сказал, подумав, человек с шрамом.

— Семнадцатое июля тысяча восемьсот восемьдесят восьмого года,— повторил Профессор и записал на том же листе блокнота: «Зач. семнадцатого июля тысяча восемьсот восемьдесят восьмого г.» Неприятное ощущение под ложечкой у него вдруг усилилось.— Это все. Завтра я пошлю вам гороскоп, куда вы укажете.

— Я сам зайду за ним завтра, в одиннадцать утра,— сказал незнакомец. Профессор хотел было сказать, что завтра не будет дома, но вместо этого поспешно ответил:

— Я мог бы послать до востребования. Разумеется, как вам угодно.

— Послушайте,— вдруг нерешительным, почти просящим тоном сказал незнакомец.— Я вижу, вы дельный человек... Вы только предсказываете события? Я хочу сказать: быть может, вы умеете... Вы умеете на них и влиять?

«Вот оно что!» — подумал Профессор.

— Нет, я влиять на них не могу,— ответил он холодно. Его самоуверенность увеличилась, как только уменьшилась самоуверенность клиента.— Я могу сказать, что будет с этим человеком, но его участь от меня не зависит... Вероятно, вы, узнав его карты, хотите ему помочь? Нет, я тут ничего не могу сделать. Карты показали, что ему грозит тяжелая участь. Если гороскоп это подтвердит, то никакие силы спасти вашего знакомого не могут.

— Вы угадали, я именно хотел помочь ему,— сказал, вставая, человек с шрамом.

Проводив его, Профессор вернулся в самом мрачном настроении духа. Он испытывал такое чувство, будто после ухода этого клиента надо отворить в кабинете окна и вспрыснуть карболкой готический стул. «Конечно, он хочет кому-то сделать большую пакость. Но тогда, значит, он

не из Гестапо? Люди из Гестапо могут сделать кому угодно пакость и без астрологов»... Профессор хотел было вернуться к своему гороскопу, но почувствовал, что больше не в состоянии сосредоточиться. «Разве выпить?» — подумал он. Профессор вышел в столовую и, хотя это было строго запрещено врачом, выпил залпом три рюмки коньяку. Стало легче. Он вернулся в кабинет, сел за стол, рассеянно взглянул на блокнот — и помертвел.

На листке, одна под другой, были написаны две даты: 22 апреля 1889 года и 17 июля 1888 года. Профессор мысленно добавил 270 дней. Кровь отливала у него от сердца. «Что же это?.. Господи, что же это такое!.. Быть не может!.. Да, конечно, это он!.. Ведь я им сам сказал, что ошибка в два-три дня не имеет значения, они изменили дату, каждый по-своему. Но кто же они? Чего они хотели? Что я им сказал?.. Господи!»... Ему было теперь ясно, совершенно ясно, что женщина и человек с шрамом, незаметно, заметая следы, говорили с ним об одном и том же человеке: 20 апреля 1889 года родился Гитлер.

«Но если так, то надо бежать! Бежать сейчас же, сию минуту»,— сказал себе Профессор. Он понимал, что запутался в страшную историю. «Правда, ей я ничего не сказал! Сказал только, что она выйдет за него замуж... Ему и это может очень не понравиться. Но тот! Что я наговорил тому!.. В памяти Профессора замелькали обман, троянский конь, танец смерти, тяжелая участь, никакие силы. «Кто же это был? Заговорщик? Провокатор? Одно хуже другого. По тому заговору погибли десятки ни в чем не повинных людей!» Он ясно понимал, что для людей, запутавшихся хоть как-нибудь, хоть очень отдаленно, в дело о заговоре, есть только одно спасенье: бежать, бежать без оглядки, бежать, не теряя ни минуты.

Тяжело дыша, Профессор прошелся по кабинету и столовой, выпил еще большую рюмку коньяку, затем отворил потайной ящик, рассовал по карманам все, что там было, взял с собой кожаную тетрадь. Паспорт всегда находился при нем. «Неужели так навсегда все бросить?..» Опустил шторы и снова их поднял. «Если он места не даст, я все равно сюда не вернусь. Оставить записку Минне? Нет, не надо... Теперь она, конечно, все разворует... Да может быть, мне все приснилось?.. Может быть, я сошел с ума?.. Ведь мой гороскоп благоприятен!.. А если он именно потому и благоприятен, что я сейчас уйду отсюда и вечером улечу в Швейцарию? Нет, нет, оставаться здесь нельзя!.. Взять с собой вещи? А вдруг они уже следят? Уж

лучше вернуться за вещами в сумерки... Первым делом надо узнать об аэроплане»... Он надел пальто, запер за собой дверь и вышел на улицу, оглядываясь по сторонам.

IV

В этом глубоком двухэтажном подземелье были телефоны, радиоприемники, телеграфные аппараты, трещали пишущие машины, снизу доносился слитный, ставший почти незаметным шум моторов, а сверху отдаленный, с каждым днем усиливавшийся гул канонады. Мимо кухни, через общую столовую, стараясь не оглядываться по сторонам, точно им было стыдно, подчеркнуто бодрой решительной походкой проходили фельдмаршалы и генералы. В сопровождении сыщиков и телохранителей, тоже очень быстро, но теперь с менее решительным видом, спускались по лесенке в нижний этаж убежища люди, значившие в последние годы больше фельдмаршалов. Днем и ночью по коридорам, лестнице, столовой, небольшой проходной комнате, названной «конференц-залой», растерянно пробегали секретари, слуги, шоферы, рассыльные и, случалось, толкали сановников, сами тому на бегу изумляясь.

Лица у всех были зеленые, с воспаленными глазами, измученные от бессонницы, от вечного электрического света, от вечного шума, от спешки, от страха, от желания казаться спокойными, от тесноты и всего больше от духоты. Несмотря на искусственную вентиляцию, на семисаженной глубине под землей не хватало воздуха. Порядок еще коекак соблюдался, но прежней дисциплины, почтительности, подобострастия уже быть не могло. В столовой иногда *закусывали* (не полагалось говорить: обедали, завтракали), телефонистки или стражники из Begleitkommando[1] почти рядом (все же не совсем рядом) с людьми, имена которых в последние двенадцать лет беспрестанно упоминались в газетах всего мира. И хотя люди эти делали вид, будто им очень приятна товарищеская близость с младшими сослуживцами, и ласково улыбались,— от их престижа, после смущения первых дней, уже оставалось немного. Из левой комнаты нижнего этажа, служившей кабинетом самому главному вождю, иногда и в верхний этаж доносились истерические крики. В этот кабинет и теперь еще на цыпочках входили секретари и как бы на цыпочках сановники.

[1] Сопроводительная команда *(нем.)*.

Около дверей стояли зверского вида часовые из Reichssicherheitsdienst [1], и быстро поглядывали на проходивших сыщики из Kriminal Polizei; однако все понимали: то да не то,— если вражеская армия подходит к Берлину, то, значит, Фюрер не совсем Фюрер. Смельчаки же, особенно из военных, случалось, пожимали плечами, слыша доносившийся из кабинета или конференц-залы дикий гортанный крик, еще недавно наводивший по радио страх на весь мир.

За столом в кантине некоторые служащие с *жаром* говорили, какое было бы счастье умереть за Фюрера. Сановники одобрительно кивали головой. Думали же об этом всерьез лишь очень немногие: эти понимали, что их все равно найдут и не пощадят. Они наскоро вспоминали то, что знали о Валгалле, о Нибелунгах, о последней картине Götterdämmerung [2], о прыжке Брунгильды в костер Зигфрида. Больше всего, задыхаясь от отчаянья, ненависти, бешенства,— была в руках полная победа! — думал об этом самый умный из находившихся в убежище людей — человек, который был талантливее Гитлера, говорил лучше, чем он, и не стал самым главным вождем преимущественно из-за неподходящей наружности.

Были в подземелье и люди, собиравшиеся ценой Гитлеровой головы спасти свою собственную. Теперь это мысленно называлось: освободить Германию от безумца. Один же из главных сановников, чуть ли не лучший друг Фюрера, превосходный архитектор и техник, проходя с любезной улыбкой по подземелью, ласково раскланиваясь с младшими товарищами, обмениваясь крепкими, много без слов говорившими рукопожатиями с другими сановниками, заглянул в вентиляционный отдел и принял давно задуманное решение: ввести в трубу ядовитый газ, лучше всего Tabun или Sarin, изготовленные на случай химической войны,— тогда через несколько минут погибнут — что ж, легкой, безболезненной смертью — и сам Фюрер, и все важнейшие вожди. «Да, это будет нетрудно»,— подумал сановник, обсуждая про себя технические подробности. Выйдя из убежища, он принялся за осуществление плана,— позднее был очень огорчен, узнав, что в подземелье есть отводная труба, благодаря которой Фюрер может и не погибнуть.

---

[1] Охрана общественного порядка (*нем.*).
[2] «Сумерки богов» (*нем.*).

Однако и этот сановник, и генералы, теперь снова считавшие Гитлера невежественным безумцем, и люди, спустившиеся в подземелье для того, чтобы помочь Гитлеру совершить самоубийство, иногда не могли отделаться от сомнения: что, если он найдет выход из безвыходного положения? что, если он вывернется и на этот раз? Десять лет его сопровождала невиданная в истории удача. По законам логики, по теории вероятности, он давно должен был находиться в могиле: в новой Валгалле или в яме повешенных. Но не все в мире идет по законам логики или хотя бы по теории вероятности.

Громадное же большинство собравшихся в убежище людей сами не знали, для чего их тут держат, чего ждет начальство, на что оно надеется. Думали же почти исключительно о том, как бы спасти шкуру от «казаков». Проще всего было бы незаметно ускользнуть из подземелья. Но это строго запрещалось, инерция дисциплины еще кое-как действовала, да и выйти из подземелья при все усиливавшейся бомбардировке было чрезвычайно опасно. В трезвом виде люди скрывали друг от друга все: мысли, чувства, содержимое бумажников, чемоданов, сумок, поясов. Однако пили почти все, даже женщины, гораздо больше обычного, и иногда языки развязывались. Люди шепотом говорили, что не остается больше ничего, кроме капитуляции: «Если бы дело шло об американцах или англичанах, это был бы, конечно, лучший исход. Но русские! Казаки!..» — «А чем же будет лучше, если казаки нас возьмут без капитуляции?» — «Это, конечно, так, но...» — «Кто знает, быть может, именно с русскими будет легче всего договориться. Сталин очень умный человек, я всегда это говорил!» — «Да разве *он* согласится на капитуляцию!» — «Все-таки не можем же мы погибать с женами и детьми оттого, что *он* не согласится!»

Случалось же, по подземелью проносился слух, будто в другом подземелье в глубокой тайне устроен аэродром, что на нем держатся про запас десятки самых лучших новейших аэропланов, что их всех скоро вывезут с семьями и имуществом. Тотчас приходили и более точные сведения: аэродром находится под развалинами гостиницы Адлон, 62 аэроплана вывезут всех сегодня ночью, ровно в 12 часов. Женщины бросались складывать чемоданы, рассовывали драгоценности и валюту по еще более потаенным местам («в суматохе особенно легко украсть!»), жалостно спрашивали мужей: нельзя ли все-таки перед отъездом как-нибудь пробраться к себе на Motzstrasse и захватить

оставшееся там серебро,— бедная фрау Коген, ведь все равно ее вещи тогда пропали бы,— просто нельзя себе простить, что так много добра оставили дома, когда уходили в это проклятое подземелье,—но ты мне ни слова не сказал,— разве ты со мной говоришь о важных вещах,— разве я могла знать,— разве это женское дело,— Господи, кто только мог думать?..

V

В помещении, оставшемся от нового канцлерского дворца, принимал немолодой чиновник с растерянным, измученным лицом. «Хорошо, что старик»,— подумал Профессор, знавший по двенадцатилетнему опыту, что в Германии кое-как еще можно иметь дело лишь с пожилыми людьми. Чиновник изумленно на него взглянул, так же изумленно пробежал пропуск и, вместо того чтобы заполнить формуляр о посетителе, предложил поискать сановника в убежище. «Его здесь нет, теперь все в убежищах, спросите там».— «В каком же именно убежище и пропустят ли меня?» — мягко начал Профессор. «Поищите во всех! Скорее всего у Геббельса»,— раздраженно сказал чиновник и, схватив карточку, на которой было напечатано: «Führersbunker» [1], что-то на ней написал. «Искренно вас благодарю, но если?..» — «Идите ко всем... Ради Бога, идите!» — вскрикнул чиновник и схватился за голову. «Извините меня. Теперь прежних формальностей нет». Профессор не обиделся, но был озадачен, в особенности тем, что чиновник назвал министра пропаганды просто по фамилии. «Да, видно, *их* дела очень плохи»,— подумал он не без удовольствия, хоть с тревогой: к несчастью, с их делами были связаны и его дела.

Он бродил более часа по убежищам Wilhelmstrasse и все не мог добиться толку. Сановника нигде не было. В какой-то Dienststelle [2] сказали, что он уехал на фронт и ожидается с минуты на минуту в «Führersbunker». «Так я там его — подожду?» — робко спросил Профессор и, не получив ответа, отправился в это убежище. Как только он оказался в главном подземелье, находившемся под старым канцлерским дворцом, началась сильная бомбардировка. Люди сбегали вниз, пропусков больше не спрашивали.

---

[1] «Бункер фюрера» *(нем.)*.
[2] Контора *(нем.)*.

Профессор немного осмотрелся: как будто ничего страшного не было. Только дышать было тяжело. Он прошелся по коридору. Какая-то девица отдыхала у пишущей машинки, обмахивая себя вместо веера листом бумаги. Она с любопытством взглянула на Профессора, вынула из сумочки зеркальце и подвела брови карандашом. В конце коридора у лесенки стоял часовой. «Там, верно, *покои* Фюрера?» — спросил без индонезийского акцента Профессор. В девице тоже не было ничего страшного, и женщин он боялся меньше. Она засмеялась и подкрасила палочкой губы. «Сначала ее *покои*, покои Эбе,— сказала она,— с собственной ванной, не так, как мы живем! Но горячей воды все-таки нет, и трубы утром испортились,— радостно добавила девица.— Его покои дальше, слева от конференц-зала». Профессор был поражен. «Какая Эбе? И уж если Гитлера называют *он*!..»

Походив по коридорам, он устало сел на табурет в углу комнаты, которая служила столовой. Ему очень хотелось есть и пить, но он не решился обратиться к угрюмому человеку за стойкой, сердито отпускавшему пиво и сандвичи. Проходившие люди иногда поглядывали на него с удивлением, но никто его ни о чем не спрашивал. Говорили о бомбардировке, она усиливалась с каждой минутой. «Надо вести себя здесь очень, очень дипломатично»,— думал Профессор. Осмелев, он подошел к одной группе, подошел с неопределенно-любезной улыбкой: каждый мог думать, что его знают другие. Профессор, ласково улыбаясь, послушал разговор. Говорили об ужине, будет яичница с колбасой. «Я полжизни дал бы за то, чтобы закурить»,— сказал кто-то. «Полжизни — это, может быть, теперь не очень много»,— ответил другой. Все преувеличенно радостно засмеялись. «Кажется, они не очень здесь заняты? Странно... Может быть, все делается в нижнем этаже?»

К вечеру сановник не вернулся. Люди говорили, что такой бомбардировки еще никогда не было. От волнения ли или от выпитого коньяку у Профессора вдруг начались боли. Он еле добрался до чиновника, ведавшего хозяйством в подземелье, объяснил ему дело, назвав сановника своим близким другом, и попросил разрешения провести ночь здесь. «Говорят, выйти — верная смерть!» Чиновник что-то сердито пробормотал,— по-видимому, здесь каждый новый человек считался врагом,— однако велел отвести койку. Поместили Профессора в очень тесную каморку с тремя голыми койками, находившуюся рядом с уборной. Два

бывших там молодых человека даже не кивнули головой в ответ на его учтивое приветствие и тотчас, с ругательствами, вышли в коридор.

Воздух в камере был ужасный. В первую минуту Профессор подумал, что не высидит здесь и четверти часа. Он спрятал под матрац кожаную тетрадь и бессильно опустился на койку. Знал, что при болях лучше всего сидеть, не прикасаясь ни к чему спиной. «Ах, если б он приехал утром, если б он дал мне место!.. Господи, что же делать?..» Он не взял с собой ни пижамы, ни мыла, ни зубной щетки. Из лекарств был только белладональ: накануне купил в аптеке и забыл вынуть дома из пиджака. Профессор с усилием, без глотка воды, проглотил пилюлю.

Через полчаса он почувствовал себя лучше. Снял пиджак, сложил его так, чтобы ничто не могло выпасть из карманов, и прилег, положив его себе под голову. Думал, что в убежище должны быть блохи, мыши, даже крысы. Думал, что не сомкнет глаз. Однако скоро мысли его стали мешаться. «Все-таки гороскоп благоприятен, очень благоприятен»,— говорил он себе. Иногда пользовался системой Куэ [1], но она давала хорошие результаты только тогда, когда и обстоятельства жизни складывались с каждым днем лучше, все лучше.

Молодые люди вернулись поздно и, по-видимому, были навеселе. Он заметил, что на них белые чулки. «Значит, принадлежат к *его* молодежи, к фанатикам. Вероятно, они служат на кухне или в кантине»... Они тоже легли на свои койки не раздеваясь. Засыпая, он смутно слышал их разговор. «Ну, что, кажется, ты еще не улетел?» — саркастически спросил старший. «Нет, я еще не улетел!»,— ответил, подумав, другой, видимо, понимавший шутки не сразу. «Шестьдесят два аэроплана еще стоят под гостиницей Адлон?» — «Да, они еще там стоят».— «Куда же нас увозят? В Москву?» — «Нет, совсем не в Москву. Зачем в Москву? В Москве русские. Нас увезут в Берхтесгаден».— «А что же мы будем делать в Берхтесгадене?» — «Как что делать? Защищать Фюрера и Германию. Там приготовлены неприступные укрепления».— «Такие же неприступные, как линия Зигфрида, или еще лучше?» — «Говорят, еще лучшие».— «Говорят также, что там в холодильниках приготовлено сорок миллионов гусей с яблоками и столько же бутылок рейнвейна. Впрочем, ты всегда был дура-

---

[1] Куэ Эмиль (1857—1926) — французский психотерапевт. Его система — метод излечения самовнушением.

ком».— «Нет, я никогда не был дураком»,— ответил, подумав, второй.

Под утро Профессор проснулся и опять услышал доносившийся сверху глухой слитный гул. Он взглянул на часы и ахнул: двенадцатый час. Молодых людей в камере не было. Ему очень хотелось пить. Рога для надевания туфель не было. Пришлось подсовывать под пятку указательный палец, это было неудобно и больно. Он сразу устал. Бумажник был цел, кожаная тетрадь по-прежнему лежала под тюфяком. «Что будет, если он еще не приехал! — подумал Профессор, оправляя воротник, галстук, бороду.— Все-таки где-нибудь же здесь да моются?..» Он вышел, чувствуя, что голова у него работает плохо. «Верно, от белладоналя»...

Вдруг дверь позади его с шумом распахнулась. Профессор оглянулся и остолбенел. Из уборной выходил Фюрер. По привычке Профессор вытянулся, поднял руку и сорвавшимся голосом закричал: «Heil Hitler!» Впрочем, тут же почувствовал, что лучше было бы не кричать. Фюрер бросил на него быстрый, подозрительный взгляд — в глазах его проскользнул ужас. При свете фонаря лицо у Гитлера было землисто-желтое, измятое. и больное. Он был сгорблен, одна рука у него отвисла, пальцы тряслись. «Просто узнать нельзя!» — с удовольствием подумал Профессор, не раз видевший его и вблизи, и издали. Гитлер немного разогнул спину, тоже поднял руку и, должно быть, хотел придать себе величественный вид. «Правда, очень трудно принять величественный вид человеку, выходящему из уборной... Верно, его уборная испортилась?.. Или это для общения с массами: у Фюрера одна уборная с обыкновенными людьми!.. Затравленный зверь! Что ж, не все же травить других»,— думал Профессор, с изумлением глядя вслед Гитлеру. Впереди люди отшатывались к стене, вытягивались и поднимали руки, но никто приветствия не выкрикивал.

Перед стойкой кантины выстроилась очередь. Кофе не было. Профессору сунули в руку бутерброд и кружку пива. Он отошел с ними в угол и прислонился к стене, чтобы не упасть. «Холодное пиво при камнях строго запрещено. Это гораздо вреднее, чем коньяк»,— подумал он. Но ему мучительно хотелось пить. Он с наслаждением залпом выпил всю кружку и откусил кусочек хлеба. Вдруг шагах в двадцати от себя он увидел человека с шрамом! Он пил что-то прямо из бутылки, запрокинув назад голову. Про-

фессор уронил бутерброд, вскрикнул и на цыпочках побежал по коридору.

В каморке он повалился на свою койку. Боли у него тотчас усилились. Через полчаса они стали невыносимы. Он подумал, что у него камень проходит через канал: врачи говорили, что это может случиться. Стоны его понемногу перешли в крики. Таких болей он никогда в жизни не испытывал. Хотел было достать белладональ, но и это было выше его сил.

Старший из молодых людей, зайдя в камеру, изумленно на него взглянул и спросил, что с ним. Спросил грубо, впрочем, больше потому, что не умел говорить иначе. «Доктора... Ради Бога, доктора»,— прошептал Профессор. Молодой человек пожал плечами и вышел. В подземном убежище были врачи Фюрера, беспрестанно дававшие ему какие-то особые, нарочно для него придуманные снадобья, и почти целый день проводил врач для простых людей.

Минут через двадцать врач для простых людей пришел с молодым человеком, осмотрел Профессора и что-то ему впрыснул. «Его бы отсюда убрать. Куда-нибудь в больницу, что ли? Что ему здесь валяться? Только будет мешать спать людям, которые целый день работают»,— сердито сказал молодой человек. «Может быть, и автомобиль за ним прислать?» — спросил врач. В убежище теперь очень многие говорили только в саркастическом тоне. «Лежите здесь, я буду заходить»,— добавил он.

Боль у Профессора стала слабеть, затем совершенно исчезла. В бреду он горячо благодарил молодого человека, с жаром говорил, как он любит Фюрера, говорил, что президент Рузвельт был прекрасный человек, что, наверное, очень хороший человек и президент Трумэн, что скоро сюда придут американцы. Они арестуют того злодея, уберут эту уборную, очистят воздух и дадут очень много денег на восстановление Германии, как они всегда делали. Говорил, что он получит от американцев большое вознаграждение, если Минна разворует его квартиру, что он немедленно уедет в Швейцарию, где не гуляют на свободе такие страшные люди. Говорил также, что очень хотел бы принять ванну и что у порядочного человека есть только один идеал, купаться должно быть так же обязательно, как... Молодые люди, теперь совсем пьяные, вели свой разговор. «Дурак, я тебе повторяю, он женится на Эбе. Она сама рассказывает, что скоро будет фрау Гитлер»,— говорил старший. «Я не дурак, а ты все врешь»,— ответил

другой. «Я никогда в жизни не врал! Что угодно могут обо мне сказать, но никто не скажет, что я вру!» — «А вот я скажу.— Ее зовут Ева Браун, и она колдунья!» — продолжал первый молодой человек. «Фюрер не может жениться на колдунье»,— возражал другой. Старший заплетающимся языком что-то сказал о молодоженах, о свадебном путешествии, об Амуре и Венере. Профессор не слушал их разговора, как они не слушали его бреда. Но слово «Венера» дошло до его сознания. На глазах у него выступили слезы. В день его рождения Солнце и Сатурн шли параллельно в 9-м и 10-м домах Зодиака. Марс же тут ничего поделать не мог, так как его по рукам и по ногам скрутила добрая и могущественная богиня Венера.

VI

Сколько он пролежал в своей камере, Профессор потом не мог выяснить: потерял счет времени. Врач к нему заходил каждый день, давал питье, делал впрыскивания. Как-то спросил его имя и записал. Это ничего хорошего не предвещало, хотя Профессор теперь чувствовал себя много лучше.

— Доктор, мое положение опасно? Скажите правду,— прошептал он.

— Было опасно. Теперь, думаю, опасность миновала,— ответил врач.— Я хочу сказать: опасность от *болезни*. Русские в трех километрах отсюда,— уходя, добавил он с усмешкой.

«Русские? Как русские? Как в трех километрах? — с недоумением подумал Профессор.— В трех километрах, это значит, что они в Берлине? Вероятно, я ослышался...» Он, впрочем, не чувствовал тревоги. Какое ему было дело до русских! «Точно они могут преодолеть волю Венеры!» — подумал он и опять задремал. Когда он проснулся, в камере было странно тихо. Профессор прислушался: слышен ли сверху слитный гул. «Кажется, слышен... Нет, не слышен... Ах, как я устал, как я слаб!» Он надел туфли, отдохнул после этого усилия, почистил как мог пиджак и вышел, слегка пошатываясь.

В коридоре никого не было. Подземелье как будто опустело. Исчез и стоявший у лесенки часовой. В конференц-зале сидели двое военных и та самая девица. Перед ними на столе стояла бутылка. На одного из этих военных, немолодого подполковника, Профессор обратил внимание

еще в первый день: лицо его было изрезано шрамами от мензур. «Но он тогда был без монокля»... Все трое курили, что прежде было строго запрещено. Вид у них был оживленный, почти веселый и вместе несколько растерянный. Девица улыбнулась Профессору, как старому знакомому.

— Где же вы были? На свадьбе? — спросила она. Язык у нее немного заплетался. Подполковник выпустил из глаза монокль и снова вдел его. Второй офицер, артиллерийский капитан, как будто остался недоволен словами девицы.

— Какие события, какие события! — сказал он.— Человеческий ум теряется! В чем был смысл?..

— Смысл очень ясен,— сказал подполковник, не обращая никакого внимания на незнакомого человека.— Смысл в том, что Шикельгруберы [1] не должны были командовать германской армией.— Он опять выпустил монокль, что, повидимому, доставляло ему удовольствие, и хотел было подлить себе коньяку, но бутылка оказалась пустой.— К несчастью, он был музыкален. Его погубил Вагнер. И та дура тоже была из «Нибелунгов»... «Walküre bist Du gewesen!»[2] — с напевом продекламировал он.

Артиллерийский капитан вздохнул.

— Посмотрим, что сделает Дениц... Нет, ум человеческий теряется, просто теряется. Увидите, придет новый Кант или Гегель и объяснит, и все сразу осветится как от света молнии!

— Свадьба была в комнате карт. Подали шампанское. Для Эбе, конечно, нашлось шампанское,— сказала девица, подмазывая палочкой губы.

— Тогда он всем и объявил о своем намерении покончить с собой,— заметил, вздыхая снова, капитан.— Впрочем, не объявил, а только дал понять. Если б объявил, то даже *они* не устроили бы бала.

— Было очень весело. Я танцевала с Борманом, он чудно танцует,— сказала девица.

— Отчего же не с Геббельсом? Этот красавчик создан для танцев. Говорят, он сегодня тоже покончит с собой. Жаль, что все они не сделали этого раньше, особенно Шикельгрубер,— сказал подполковник. Он имя «Шикельгрубер» выговаривал как-то особенно, ласково-саркастически, растягивая первую букву, точно в ней было все дело.

---

[1] Шикльгрубер — настоящая фамилия Гитлера.
[2] «Была ли ты, Валькирия!» *(нем.)*

— Геббельс хочет отравить детей,— сказала девица.— Ему все равно, потому что это не его дети. Она изменяла ему на каждом шагу. Он женился на ней в пьяном виде... Бедный этот, актер, как его?.. Вашего несчастного фельдмаршала я тоже раз видела,— сказала она, обращаясь к подполковнику, лицо которого дернулось.

— Все-таки как же это было? Одни говорят, пустил пулю в рот, другие — пулю в сердце.

— Эбе отравилась,— сказала девица.— Мне говорил Кемпка, он выносил ее в сад.

— Там будто бы вчера расстреляли Геринга,— сказал капитан.

— Вздор! Господин «райхсфельдмаршал» давно ускакал в Каринголл.

— Верно, чтобы еще раз нацепить на Эмми все бриллианты,— вставила девица.— И что он в ней нашел! Она не только не красавица, но даже не хорошенькая... Мне, однако, говорили, будто он уехал в Баварию, чтобы устроить новую линию защиты.

Подполковник засмеялся.

— Хороша будет защита и хорош защитник! «Ни один снаряд не упадет на территорию Германии»... Что, тот еще горит?

— Час тому назад еще горел,— сказал капитан.— Я издали видел. Они были завернуты в белое, но его черные брюки торчали. Ужасный запах, я убежал.

— Простите, кто горит? Я не понимаю,— робко спросил барышню Профессор. Голова его совершенно не работала. Подполковник повернулся к нему, точно лишь теперь его заметив.

— Ш-шикельгрубер,— с удовольствием сказал он.— Ш-шикельгрубер с супругой. Monsieur et Madame Adolphe Schickelgruber.

— Какие события, ах, какие события! — грустно повторил капитан.— Но увидите, придет новый Кант, и все станет ясно как день.

В кантине, где было много людей, находился покровительствовавший Профессору сановник. Он с жадностью что-то ел. Увидев Профессора, он приветливо помахал ему рукой. Хотя о бегстве в Швейцарию больше не приходилось думать. Сановник крепко пожал ему руку — совершенно как равный — и даже не спросил его, как он оказался в этом убежище. Теперь в самом деле удивляться нечему не приходилось. Он был как тот итальянский фашист,

который говорил, что его мог бы удивить только беременный мужчина: «все остальное я видел».

— Каковы дела, а? — сказал он и сгоряча объяснил, почему опоздал и не простился с Гитлером. Впрочем, тотчас пожалел о своих словах, перевел разговор, сообщил, что сейчас уезжает опять на фронт.— А вы, оказывается, были во всем правы,— смеясь, сказал он.

— В чем я был прав?

— Не вы лично, а вы, астрологи. Гитлер как раз на днях послал за своим гороскопом, и оказалось, что звезды все предсказали: его приход к власти, войну в тысяча девятьсот тридцать девятом году, два года блестящих побед, а затем тяжелые поражения.

— Небесные светила никогда не ошибаются. Наша наука основана на фактах, проверенных мудростью столетий,— сказал Профессор.

— Правда, в гороскопе еще говорилось, что в апреле тысяча девятьсот сорок пятого года Гитлер одержит полную победу над всеми,— продолжал сановник.— Сделайте одолжение, дайте мне еще бокал пива,— ласково обратился он к проходившему буфетчику. По-видимому, он начинал новую главу жизни как простой рядовой, самый обыкновенный человек. Буфетчик презрительно взглянул на него и прошел дальше, ничего не ответив. Лицо сановника дернулось, но он тотчас снисходительно улыбнулся с видом Наполеона, терпящего оскорбления по пути на Святую Елену.

— Значит, аэропланы еще летают? — спросил после некоторого молчания Профессор.

— Какие аэропланы?.. Помилуйте, фронт сейчас у Ангальтского вокзала. Но подземная дорога еще действует, мы по ней возим солдат, продовольствие и даже артиллерию... Вы живете в западной части города? Я тоже. Хотите, поедем вместе? Мы сядем в вагон с солдатами и вернемся назад с ранеными в район Курфюрстендам... Скажите, у вас должны быть знакомые евреи, а? Вы ведь знаете, я никогда не был антисемитом и даже как-то говорил Гитлеру, что нам вредит его антисемитская политика... Между нами говоря, он был не совсем в своем уме,— доверительно сказал, по привычке понизив голос, сановник.— Если бы вы знали, что он выделывал в последние дни! Мне рассказывал генерал Штейнер. В своих приказах он нес совершенный вздор, грозил казнью всем и каждому, хотя больше никто не считался с его приказами и угрозами...

У вас, наверное, найдутся знакомые евреи? Или хоть социал-демократы? Не все же погибли.

— Но как пробраться к подземной дороге?

— Я не знаю как. Десять минут могу вас здесь подождать, больше не могу.

Профессор, все пошатываясь, побежал по коридору. Из боковых комнат поспешно выходили люди с чемоданчиками, несессерами, узелками. В своей каморке Профессор схватил кожаную тетрадь, подобрал упавший носовой платок и выбежал. Дверь уборной была отворена настежь. Там в башмаках, надетых на босу ногу, стоял старший из его соседей по каморке. Он бросал в раковину белые чулки.

1947

ИСТОРИКО-ЛИТЕРАТУРНАЯ СПРАВКА

Тетралогия «Мыслитель», публикация которой началась в 1921 г.,— дебют М. А. Алданова в художественной прозе. Хотя после Октябрьской революции большинство крупных писателей эмигрировало из России, и эмигрантская проза начала 20-х годов блистала такими именами, как Бунин, Куприн, Мережковский, «новичок» Алданов сразу же был признан крупным мастером. Его книги были переведены на многие языки, ими зачитывались. Борис Зайцев свидетельствует, что, получив роман «Девятое термидора», они с женой, торопясь его прочесть, даже разодрали от нетерпения книгу надвое.

Критики принялись искать объяснения исключительной популярности Алданова. Одним из первых напечатал о нем статью Андрей Левинсон в парижских «Последних новостях» в феврале 1922 г. В ней читаем: «Его больше интересуют люди, а не быт, а в людях движение их мысли. Никакой любви к исторической бутафории, к крохоборству археолога, заполнившим исторический роман со времени Вальтера Скотта. Точно так же и словесная форма его очень выработанная, чуждается стилизации» [1].

Эти наблюдения, однако, не исчерпывали того, что назвали «феноменом Алданова». Писатель скрупулезно точно изображает дела давно минувших дней, но почему его произведения воспринимаются как глубоко злободневные? Историк А. А. Кизеветтер отвечал на этот вопрос в статье по поводу романа «Чертов мост»: «Основной стихией человеческого существования Алданов считает то, что может быть названо иронией судьбы. Алданов на пространстве каждого своего романа несколько раз переходит от ничтожных происшествий к громким историческим событиям и обратно. Все эти переходы, при самом ярком различии жизненных красок, бьют все в одну точку: и маленькие люди, участвующие в ничтожных происшествиях, и носители крупных исторических имен, разыгрывающие торжественные акты мировой истории,— оказываются на поверку в одинаковой мере жертвами этой самой иронии судьбы, которая одних людей заставляет копошиться в безвестности, в невидимых закоулках жизни, других возносит на высоты славы — зачем? Только затем, чтобы и тех и других привести в конце концов к одному знаменателю,— на положение беспомощных осенних листьев, которые крутятся, сталкиваются и исчезают, подхватываемые жизненным вихрем...» [2].

В тетралогии, а затем в последующем творчестве, Алданов проводит мысль: историей правит случай. Философия случая не допускает никаких оправданий формуле «цель оправдывает средства», ибо,

---

[1] «Последние новости», Париж, 1922, 15 февраля.

[2] «Современные записки», Париж, 1926, № 28, с. 477.

если принять, что в историческом процессе цели нет, то остается, рассматривая исторические катаклизмы, заговоры, войны, революции, задаваться лишь вопросом: нравственны ли были средства? Современник Октября, Алданов, изображая события отдаленного прошлого, убежденно повторял: «Всякая революция по самой своей природе ужасна и другой быть не может» («Девятое термидора»).

Этот взгляд соответствовал мироощущению читателя — русского эмигранта, однако резко контрастировал со взглядом, насаждавшимся в 1920-е годы в советской литературе. Характерно, что в письме к К. А. Федину от 10 февраля 1926 г. (работа Алданова над тетралогией в это время близилась к завершению) А. М. Горький назвал творчество писателя «чрезмерно умным, но насквозь чужим», причем слово «творчество» даже взял в кавычки [1].

Критики русского зарубежья обнаружили несколько отдельных пластов в историческом повествовании Алданова. Прежде всего это громадная галерея очерков-портретов крупных исторических деятелей. Здесь Алданов даже в мельчайших деталях исключительно точен, сообщает читателю массу любопытнейшего, забытого материала, известного только специалистам. Параллельно с этими романами Алданов публиковал в периодической печати очерки о людях эпохи 1812 г. Например, в тетралогии бегло упоминается когда-то знаменитая Ольга Жеребцова; ей посвящен очерк, который дополняет художественную прозу.

Кульминация каждой части тетралогии — необыкновенно рельефная сцена крупного исторического события. Рисуя смерть Наполеона, похороны Робеспьера, Алданов возвышается до трагизма. На протяжении повествования он придерживается, говоря словами одного из критиков, «известной застегнутости чувства», но кульминационные сцены эмоциональны и изобразительны.

Еще один пласт повествования — диалоги о связи времен, язвительные афоризмы — критики связывали с французской литературной традицией, восходящей к Вольтеру. Отмечалась в то же время и связь Алданова с русским историческим романом XIX в.: метафоричность повествования, строгая продуманность сюжетной конструкции, живость диалогов [2].

Что касается вымышленных персонажей, мнения критики разошлись. «Штааль вышел совсем восковым. Алданов не дал внутренней жизни своего героя... Штааль — прием, а не живой человек»,— писал Марк Слоним [3]. Противоположного взгляда придерживался писатель М. Осоргин, считавший, что выбор Алдановым в качестве главного героя Штааля провизорски точен: «Штааль, олицетворение среднего, мизерного, мелкий бес повседневности, оказался именно тем фактором, который превращает пышную историю в суету сует. Штааль — кривое зеркало героического» [4].

Расходясь в частностях, критики были едины во взгляде, что тетралогия «Мыслитель» — одно из самых примечательных явлений литературы русского зарубежья 20-х годов. В конце 30-х годов, за-

---

[1] Горький и советские писатели. Неизданная переписка. «Литературное наследие», т. 70, М., 1963, с. 504

[2] См. статьи об Алданове В. Н. Ладыженского («Перезвоны», Рига, 1926, № 18), В. Кадашева («Годы», Прага, 1926, № 24), М. Л. Кантора («Звено», Париж, 1927, № 5) и др.

[3] М. Слоним. Романы Алданова. «Воля России», Прага, 1925. № 6, с. 161.

[4] «Современные записки», Париж, 1927, № 33, с. 524.

думывая многотомную серию романов и повестей, охватывающих события русской и мировой истории последних двух столетий, Алданов включил в нее и свою тетралогию.

Произведения, составившие тетралогию, первоначально печатались в журнале «Современные записки»: «Святая Елена, маленький остров» — 1921, №№ 3, 4, «Девятое термидора» — 1921, №№ 7, 8, 1922, №№ 9, 11, 13, «Чертов мост» — 1924, № 21, 1925, №№ 23, 25, «Заговор» — 1926, №№ 28, 29, 1927, №№ 30, 31. Первые отдельные издания вышли в Берлине, «Святая Елена, маленький остров» и «Девятое термидора» в 1923 г., «Чертов мост» в 1925 г., «Заговор» в 1927 г. Готовя к переизданию «Святую Елену, маленький остров» (Берлин, 1926) и «Девятое термидора» (Париж, 1937), автор внес в текст значительную правку.

Малый эпический жанр привлекал Алданова на протяжении всего его творческого пути. В 1921 г. писатель начал с повести «Святая Елена, маленький остров», в 1957 г., уже после смерти автора, увидела свет его последняя повесть «Павлинье перо».

В начале 1930-х годов Алданов делился с И. А. Буниным такими размышлениями: «Романа из эпохи 17-го века я писать не буду,— только потратил время на чтение множества книг: убедился, что почти невозможно проникнуть в психологию людей того времени. Дальше конца 18 в. идти, по-моему, нельзя»[1]. Однако всего через несколько лет Алданов публикует повесть «Бельведерский торс», время действия которой XVI в., и его собратья по перу Г. Газданов и Б. Зайцев относят ее к лучшему из созданного им. «Небольшая книга Алданова отличается, как все, что пишет Алданов, необыкновенной насыщенностью и тем совершенством изложения, которое сейчас недоступно громадному большинству теперешних русских писателей»,— пишет в своей рецензии Газданов[2]. Но эта повесть в серию Алданова, главное его детище, включена не была.

Философскую повесть «Пуншевая водка» Алданов назвал «сказкой», но вкладывал в это слово особый смысл. Характерные признаки сказки, по его определению, «отрывочность, сухость психологического рисунка и подчинение всего основной идее». Обе повести начинаются как приключенческие истории, первая о плане безумного итальянца убить римского папу, вторая о тайной поездке царского курьера в Сибирь, однако вскоре напряженность острой интриги отодвигается на второй план, уступает место психологическому анализу крупных, неординарных героев — Вазари, Миниха. Кульминация — раскрытие внутреннего мира гения. Микеланджело в «Бельведерском торсе», Ломоносов в «Пуншевой водке» страдают одной и той же «высокой болезнью»: ищут и не могут найти совершенства, тяготятся контрастом «неизмеримой обширности всемирного строения» и слабости, тленности человека. Подзаголовок «Пуншевой водки», «сказка о всех пяти земных счастьях», подчеркивает авторскую мысль: каждый ищет и находит для себя счастье по-разному, чем выше и мудрее человек, тем реже он бывает счастлив, но мудрец знает мгновенья счастья, недоступного простым смертным.

В начале второй мировой войны Алданова привлекают актуальные политические темы. Публикацию первых своих рассказов в «Но-

---

[1] Письма М. А. Алданова к И. А. и В. Н. Буниным. «Новый журнал», Нью-Йорк, 1965, № 80.

[2] «Русские записки», Париж, 1938, № 10, с. 194.

вом журнале», 1942, № 1, он предваряет такой заметкой: «Автор не чувствовал себя способным писать на темы, не имеющие отношения к происходящим в мире событиям». «Астролог», созданный вскоре после окончания войны, начинается как приключенческое повествование и заканчивается описанием события исторической важности, самоубийства Гитлера. В отличие от первых двух повестей в «Астрологе» преобладает ироническая интонация. Алданов писал Бунину 12 сентября 1947 г., что ироническая интонация испортила рассказ, но на наш взгляд она органична, оправдана выбором героя.

Повесть «Бельведерский торс» была опубликована в парижской газете «Последние новости» с 28 июня по 19 июля 1936 г., вошла в книгу Алданова «Бельведерский торс — Линия Брунгильды», Париж, 1938; «Пуншевая водка» — в журнале «Русские записки», Париж, 1938, №№ 7 и 8/9, вошла в книгу Алданова «Пуншевая водка. Могила воина», Париж, 1940; «Астролог» — в «Новом журнале», Нью-Йорк, 1947, № 16.

Андрей Чернышев

СОДЕРЖАНИЕ

МЫСЛИТЕЛЬ

ЗАГОВОР 7
СВЯТАЯ ЕЛЕНА, МАЛЕНЬКИЙ ОСТРОВ 315

ПОВЕСТИ

Бельведерский торс 393
Пуншевая водка 426
Астролог 507

Историко-литературная справка . . 540

Марк Александрович АЛДАНОВ

Собрание сочинений
в шести томах

Том II

Редактор тома
Н. А. Крылова

Оформление художника
Ю. К. Бажанова

Технический редактор
В. Н. Веселовская

ИБ 2467

Сдано в набор 11.12.90. Подписано к печати 22.03.91.
Формат 84×108 1/32. Бумага типографская № 1.
Гарнитура «Академическая». Печать высокая.
Усл. печ. л. 28,98. Усл кр.-отт. 29,82. Уч.-изд. л. 32,95.
Тираж 760 000 экз. Заказ № 3149. Цена 3 р. 70 к.

Ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции
типография имени В. И. Ленина
издательства ЦК КПСС «Правда».
125865 ГСП, Москва, А-137, ул. «Правды», 24.

Индекс 71201